

Владислав

КРАПИВИН

ТЕНЬ
КАРАВЕЛЛЫ

ОТЦЫ - ОСНОВАТЕЛИ :

РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ЭКСМО



Владислав
КРАПІВИН

Владислав
КРАПИВИН

ЛЕТЧИК ДЛЯ ОСОБЫХ ПОРУЧЕНИЙ
ДЫРЧАТАЯ ЛУНА
ЛУЖАЙКИ, ГДЕ ПЛЯШУТ СКВОРЕЧНИКИ
ПОРТФЕЛЬ КАПИТАНА РУМБА
ГОЛУВЯТНЯ НА ЖЕЛТОЙ ПОЛЯНЕ
В НОЧЬ ВОЛЬШОГО ПРИЛИВА
СКАЗКИ О РЫБАКАХ И РЫБКАХ
СИНИЙ ТРЕУГОЛЬНИК
МАЛЬЧИК СО ШПАГОЙ
ДАВНО ЗАКОНЧИЛАСЬ ОСАДА...
ЗВЕЗДЫ ПОД ДОЖДЕМ
МУШКЕТЕР И ФЕЯ
ОРАНЖЕВЫЙ ПОРТРЕТ С КРАПИНКАМИ
СТРАЖА ЛОПУХАСТЫХ ОСТРОВОВ
РЫЖЕЕ ЗНАМЯ УПРЯМСТВА
ОСТРОВА И КАПИТАНЫ
ТОПОТ ШАХМАТНЫХ ЛОШАДОК
ТЕНЬ КАРАВЕЛЛЫ

ОТЦЫ - ОСНОВАТЕЛИ: РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОТЦЫ - ОСНОВАТЕЛИ: РУССКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Владислав
КРАПИВИН

**ТЕНЬ
КАРАВЕЛЛЫ**

Москва

2006

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
К 78

Оформление серии художника *А. Саукова*

Серия основана в 2005 году

ТА СТОРОНА, ГДЕ ВЕТЕР

Крапивин В. П.
К 78 Тень Каравеллы: Повести / Владислав Крапивин. —
М.: Эксмо, 2006. — 704 с. — (Отцы-основатели: Русское про-
странство).

ISBN 5-699-16480-4

В очередной том собрания сочинений В. Крапивина вошли повести, написанные в 60-е годы, когда автор закладывал фундамент своего «творческого багажа». Несколько позднее появился «Болтик», но по тональности и тематике он примыкает к остальным вещам тома. Большинство героев этих произведений — ребята младшего школьного возраста. Они смотрят на мир доверчиво и открыто, хотя случается, что и к ним жизнь оборачивается далеко не радостной стороной.

Название тому дала повесть-диалогия — произведение знаменательное для автора. Оно заложило основы символики многих его будущих книг и подарило имя ребячьему отряду, которым писатель руководил более тридцати лет.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-16480-4

© Крапивин В. П., 2006
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2006

С первым ветром проснется компас.

А. С. Грин

Часть первая

АВГУСТ

Ночью грянул норд-вест. Он ударил так, что несколько шиферных плиток сорвались с крыши и застучали о деревянное крыльцо. Застонали расшатанные ворота. Потом, когда первая волна ветра ушла и он сделался ровнее, Владик слышал гудение проводов. Они дрожали в потоках воздуха, как басовые струны, и низкий звук их проникал сквозь шум ближних деревьев и беспорядочное, как перестрелка, хлопанье калиток.

Владику захотелось подняться на чердак и проверить стрелку флюгера. Но он побоялся разбудить отца. Ведь отец обязательно проснется от осторожных Владькиных шагов. Нет, пусть уж спит, он и так лег совсем недавно. Владик еще слышал неостывший запах обуглившейся газеты, которой отец прикрывал лампу, когда сидел над чертежами.

Владик нащупал упавшее на пол одеяло, натянул его до подбородка и стал медленно засыпать под шум тополей и гудение проводов. «Циклон с северо-запада», — подумал он сквозь дремоту. Сейчас он уже и без флюгера знал, с какой стороны пришел ветер.

Темнота, словно стены черной палатки, вздрагивала под ветром. И вот наконец он пробил ее, рассыпав редкие оранжевые искры. Они выросли, превратились в яркие шары с пушистыми лучами и заплясали вокруг Владика, разрывая темноту на клочья. Так всегда начинался самый хороший сон.

Но сейчас в него вмещалось что-то чужое и недоброе.

Откуда-то из глубины донеслись шаркающие шаги тетки. «Приехала уже! — недовольно подумал Владик. —

И когда успела?» Медленно и скрипуче тетка заговорила издалека:

— Продырявил крышу-то. Навтыкал всяких палок. Все не как у людей! У других-то уж, если не дал господь...

— Чего не дал? — поднимаясь, тихо спросил Владик и почувствовал, как от обиды и злости холодеет лицо.

Тетка замахала руками и стала быстро уменьшаться, словно таять.

— «Господь»... — сквозь зубы сказал Владик.

Но маленькие оранжевые солнца снова закружились перед ним, сливаясь в яркие полосы, и темнота рассеялась совсем. Владiku снилось, что кругом уже день и, как зеленые костры, полыхают на ветру деревья...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О том, что Генка три дня подряд не ходил на занятия по английскому языку, отец узнал случайно, перед самым отъездом. Сгоряча он закатил сыну такую затрещину, что у того даже зачесалось в носу. Генка отскочил в угол, прижался спиной к стене и приготовился крикнуть, что пусть хоть убьют, а толку все равно не будет, потому что...

Но отец слушать не стал. Рванул с вешалки дождевик, вскинул на плечо рюкзак и шагнул за дверь, сказав на прощание:

— Не перейдешь в шестой — шкуру спущу!

Мать посмотрела на Генку долгим взглядом, вздохнула и пошла провожать отца. Хлопнула дверь.

Генка стер со щеки слезу, пнул табуретку и, сев на подоконник, стал грызть ногти в злом раздумье.

За «шкуру» он не боялся. Отец вернется только в октябре, а тогда уже будет поздно шуметь, если Генка и останется на второй год. А в том, что он останется, Генка был уверен. К этой мысли он привык, и мучило его другое: надо было каждое утро таскаться в школу, где худая и раздражительная «англичанка» Вера Генриховна пыталась

вдолбить в голову Генке и еще нескольким неудачникам то, что они не смогли выучить за весь учебный год.

Генка передернул плечами. Он вспомнил гулкие ступени пустых школьных лестниц, перевернутые парты у стен, тяжелые шаги маляров, таскавших стремянки по забрызганным известковыми звездами коридорам, и пыльные окна класса. Класс казался теперь очень большим, потому что в нем осталось только четыре парты, остальные вынесли ремонтировать. Генка сидел там на крайней парте, у стены, и тоскливо слушал, как Вера Генриховна с расстановкой произносит:

— Пора понять: до решающей контрольной осталось не больше трех недель.

Для большей убедительности она слегка нажимала на «р»: «порра... ррешающей контрольной... тррех...» Потом она поворачивалась к треснувшей порывевшей доске и брала мел. Из-под мела сыпался белый порошок. На доске появлялись английские слова. Те слова, которые читались вовсе не так, как были написаны, и которые нельзя выговорить, не вывихнув язык.

Генка разглядывал седоватый узел волос на затылке «англичанки», уныло грыз ручку, и постепенно в него заползали тоска и безнадежность.

Так проходили два часа. Они все-таки кончались, несмотря на свою бесконечность, и Генка выходил на улицу, где в тополях и кленах посвистывал ветер августа. И в листьях плясало солнце. Но день был испорчен, потому что до вечера сидело в Генке это чувство безнадежности, едкое, как запах сырой известки в пустых коридорах...

А ветер шумел и сейчас, качал в палисаднике ветки сирени. Но Генка не радовался ветру. Он сидел и злился на весь белый свет. Злость бывает разная. Иногда рассердишься, и будто сил прибавится, а иногда наоборот: приходит злость беспомощная, такая, что даже кулаки сжать как следует не хватает силенок. Только сидишь и смотришь на все кругом из-под насупленных бровей. И хоро-

шо еще, если есть что насупить. А если вместо бровей — чуть заметные полоски редких рыжеватых волосков? Генка с отвращением глянул в зеркало на дверце облезлого гардероба. Но лица не увидел. В отраженном солнечном окне рисовался только темный Генкин силуэт — зябко сведенные плечи, круглые, чуть оттопыренные уши, торчащие вверх сосульки волос. Впрочем, Генка и без зеркала отлично помнил свое лицо — скуластое, толстогубое, с широко посаженными глазами, со вздернутым носом и пояском желтых веснушек, протянувшимся через переносицу. «Самый подходящий портрет для второгодника», — подумал он даже со злорадством.

Его злило все: шуршание ветра, хлопанье форточки, дребезжащая музыка приемника. Генка спрыгнул на пол. Со звоном закрыл форточку. Рванул штепсель. С кухни доносилось звяканье тарелок и погромыхиванье кастрюль: бабушка мыла посуду. Генка приоткрыл дверь и просунул голову:

— Чем каждой тарелкой греметь, взяла бы лучше всё сразу да об пол!..

— Уехал отец-то, — печально сказала бабушка. — Оставил ирода на погибель нашу. Не будет сладу.

— Не будет, — мрачно согласился Генка.

Вернулся в комнату и снова залез на подоконник. Прямо в ботинках на чисто вымытый подоконник.

Опять заюлила беспокойная мысль: «Что делать, что делать?» Нет, ну в самом деле, что же делать? Вот были бы такие таблетки, чтобы принять их и сразу уснуть на три недели! Лишь бы не ходить в пустой, пахнувший известкой класс, не слышать унылое поскрипывание мела. Спать и ничего не чувствовать. Даже не жалко августа и ветров. Лишь бы кончилось все скорее! Ну и пусть он будет второгодник. Второгодники разве не люди?

Мать, когда узнает, схватит, конечно, Генку за воротник, закричит и начнет колотить его сухим кулачком по спине. Это не страшно. Хуже, если она не станет коло-

тить, а просто опустит руки и заплачет. Слезы у нее крупные и медленные. Они стекают по тонким морщинкам на щеках, падают с худого подбородка и застревают в зеленых ворсинках потертой шерстяной кофточки. Генка не может смотреть на это... А бабушка обязательно будет стоять рядом и тихо говорить:

«Ведь учил отец-то его, нехристь окаянную: старайся ты, будь человеком. Не хочет, лодырь бессовестный!»

«Не хочет! Да он просто не может. Ну нет способностей. Вот на музыканта, например, ни одного человека не станут учить, если нет у него совсем таланта. А если нет никакого таланта, чтобы учить английский язык?»

«Будь человеком». А разве обязательно знать английский, чтобы стать человеком? «Будь!» А почему «будь»? А сейчас он разве не человек?..

Вдруг знакомый звук перебил невеселые Генкины мысли. Словно неподалеку сыпали на сухие доски горох. Но, конечно, никакого гороха не было. Это мчался куда-то восьмилетний малыш Ильяка — шелкали по асфальту его сандалии.

Генка усмехнулся. Вспомнил, как недавно Илькина мать вертела в руках сандалию с протертой насквозь подошвой и сокрушалась:

«Хоть верьте, хоть нет — за это лето уже третья пара. Просто горят у него на ногах».

Рядом стояли соседки и сочувственно качали головами: горят. Ильяка тоже стоял рядом, поджав босую ногу. Он поглядывал на дыру в подошве и безнадежным голосом спрашивал:

«Ну можно буду босиком бегать? Ну можно, мам?»

«Еще чего! Я вот покажу тебе «босиком»! Пропорешь ногу да получишь столбняк... Чтобы прививку сделать, тебя ведь арканом не затащишь».

Илькина мама была врачом детской поликлиники и разбиралась в таких вещах, как столбняк.

Сейчас Ильяка, судя по звонкому шелканью, бегал в

новых, четвертых по счету, сандалиях. Хватит ли до осени? Кто знает! Не зря у Ильки такое прозвище — Гонец. Если надо что-то передать, куда-то сбегать, Илька мигом! Только попросите. Он готов куда угодно. Хоть за пять кварталов, хоть за десять. Потому что это же здорово — лететь по улицам быстрее всех, и так, чтобы ветер навстречу!

Генка сразу представил: мчится Гонец — мелькают коричневые ноги, как спицы в колесе старой бабушкиной прялки. Короткий Илькин чубчик торчком встает над лбом от встречного ветра. И расстегнутая рубашка-распашонка трепещет за спиной, будто маленький плащ.

Если шелкают Илькины подошвы, значит, что-то случилось, значит, есть какая-то новость!

И вот все ближе: та-та-та-та-та... Истошно завопили у соседней подворотни перепуганные куры. Илька с размаху остановился у палисадника. Встал на цыпочки, навалился голым животом на острые рейки. Головой раздвинул ветки.

— Ген... — тяжело дыша, сказал он. Длинные ресницы вздрагивали над его темными встревоженными глазами.

— Ну?

— Гена... Он опять поднялся. Белый...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Август — месяц ветров. Широкой полосой движутся они с северо-запада, и над городом начинают шуметь старые тополя. Хлопают незапертые калитки, во дворах летит с веревок мокрое белье. А на реке над трубами буксиров рвется в клочья черный дым и полощут на мачтах флаги. В синеве, чисто вымытой ветрами, бегут маленькие желтые облака.

А под облаками, вздрагивая в потоках воздуха, стоят разноцветные квадратики воздушных змеев.

...Петька Лимон, который когда-то запустил к самым тучам «Синего демона» и стал первым флагманом змееви-

ков, теперь уже совсем не Петька, а Петр Лиманов. И живет не на западной окраине, а на другом конце города, в новом заводском поселке, и работает мастером литейного цеха. А «Синий демон» стал легендой. Но каждый год в августе, когда приходят свежие ровные ветры, поднимаются с невысоких крыш Берегового поселка пестрые летуны с мочальными хвостами.

Перечеркнутый крест-накрест тонкими планками змей похож на большой почтовый конверт. Так их и называют — «конверты». Но есть еще у каждого «конверта» свое имя. Лучше всех знает эти имена Илька. Если его поймать на улице, он охотно остановится на полминутки, запрокинет голову и, протянув в небо ладонь, посыплет звучные названия: «Леонардо», «Желтый щит», «Василек» (это уж, конечно, девчонки выдумали), «Битанго», «Восток-203» (это для запаса такая цифрища), «Гагаринец»...

Илька знает их всех. Даже по звуку трещотки может определить, какой змей сейчас у него над головой. Нет, в самом деле может. Можно даже закрыть ему глаза, и пусть кто-нибудь неподалеку поднимет свой «конверт» — Илька сразу угадает... Но своего змея у Ильки нет. Есть только мечта. Мечта о большом и легком «конверте», о таком, который при самом слабом ветре уходит из рук в небо как на крыльях и не падает никогда...

Бывает, что «конверты» падают. Если змей оборван порывом ветра, это еще полбеды: «конверт» подберут и отдадут хозяину. Хуже, если змей сбили голубятники. Они пираты. Они придумали, что воздушные змеи пугают голубей. И еще придумали закидушки. Это два камня и шпагат. Когда змей в воздухе, нить к нему от крыши тянется не прямо: она провисает и, прежде чем уйти вверх, проходит невысоко над землей. Здесь ее и заарканивают закидушками голубятники.

Прихватив добычу, они мчатся домой и по привычке ждут выкупа. Не дождавись, они выходят на улицу. Здесь их ловят и колотят. Таков закон.

Ветры и небо сдружили мальчишек-змеевиков. С утра до вечера бегут вверх по ниткам пестрые клочки бумажных «телеграмм». Это хозяева «конвертов» ведут разговор. Нехитрую воздушную азбуку понимают все, даже Илька, хотя и с обыкновенным-то чтением он познакомился всего год назад. А чего тут не понимать? Обыкновенная азбука Морзе: белая «телеграмма» — точка, черная — тире. А разноцветные клочки — это позывные. У каждого свои. У Генкиного «Кондора», например, два зеленых. Так его всегда и вызывают для беседы или для отпора голубятникам.

И есть такое правило: как появится в небе новый змей, он должен дать свои позывные. А как же иначе? Небо одно, и все в нем должны знать друг друга.

Большой белый змей появился вчера. Слово квадратная луна, взошел он из-за тополей на улице Чайковского и поднялся выше всех. Он не дал позывных и не ответил на сигналы.

Шурик Черемховский стоял, прислонившись к забору, грыз сухой стебелек и смотрел вверх. Белый квадратик змея неподвижно висел в зените. Светлая нитка, почти неразличимая в синеве, уходила от него за тополя. Небо сейчас было почти пустым. Пестрые «конверты», словно стесняясь белого незнакомца, потянулись к своим крышам, исчезли. Только над соседним кварталом невысоко маячил голубой «Василек» Надьки Колпаковой да над зеленой крышей Тольки Селькупова трепыхался, пытаясь взлететь, неуклюжий «Погонщик туч».

Белый змей шевельнулся. Было заметно, что он взял еще несколько метров высоты. И снова замер.

— Возможно, он нас не понял, — сказал Шурик, не разжимая зубов, чтобы не выпустить травинку. Стебелек дернулся вверх и вниз, словно стрелка чуткого прибора.

— Чего? — откликнулся с забора Яшка Воробей.

Он сидел на корточках, примостившись на срезе шаткого столба. Сидел и тоже смотрел вверх похожими на темные блестящие кнопки глазами. Не отрывая глаз от змея, он повторил:

— Чего не понял?

— Сигналов, — сказал Шурик.

— Ха! Все понимают, а он неграмотный, значит?

Спросил бы, научили бы...

Шурик пожал плечами и выплюнул стебелек.

Щелканье подошв рассыпалось за углом. И вылетел Илька.

Не сбавляя скорости, словно конькобежец, он описал крутую дугу и, чтобы остановиться, с разбега уперся ладонями в забор. Доски и столб закачались. Закачался и Яшка, смешно размахивая тонкими руками. Не удержался и прыгнул, отбил пятки об асфальт. Замахнулся острым кулачком на Ильку:

— Козел бешеный! Тормоза не держат, что ли? Как тресну!

Илька ловко присел.

— Оставь его в покое, — сказал Шурик. И спросил у Ильки: — Узнал?

— Про что?

Шурик движением бровей указал вверх:

— Чей он?

Илька заморгал:

— Я не знаю...

— А-а... — разочарованно протянул Шурик. — Я думал, ты узнавать бегал.

— Я еще вчера бегал, — сказал Илька немного виновато. — Но там, на Якорной, сидят Витька и Серега Ковалевы. А на улице Чехова еще какие-то голубятники. Но они ведь тоже, наверно, знают про катапульту. Им теперь только попадись. Да, Яшка?

— Еще бы, — усмехнулся Воробей, и его треугольное личико даже сделалось круглее.

— А ты при чем! — сказал Ильке Шурик. — Ты в этой истории ведь не участвовал.

— Будут они разбираться! — сказал Воробей.

Илька потоптался, вздохнул и показал на змея:

— Знаете что? Вот, по-моему, он это нарочно, вот и все.

— Кто? — рассеянно спросил Шурик. Он что-то обдумывал и опять жевал травинку.

— Тот, кто его запустил, — объяснил Илька. — Вон он где! Выше всех. Вот он и думает: раз выше, значит, плевать на всех.

Яшка скривил маленький рот:

— Гляди-ка ты, «выше»! У меня «Шмель» еще выше поднимался.

— Ух и врешь! — изумился Илька.

— И кроме того, твой «Шмель» упал, — заметил Шурик.

Яшка понял, что перегнул. Но ни ссориться, ни стучать по шее Ильку не хотелось. Белый «конверт» висел в небе, как насмешка над всеми змеевиками.

— Генкин «Кондор» все равно поднимется выше, — твердо заявил Яшка.

— Он может, — согласился Шурик. — Но Генки нет.

Илька открыл рот, но сказать ничего не успел. Сказал Воробей:

— Генка теперь злой. С английским у него дело — гроб. Увяз.

— А он и не старался выкарабкаться, — спокойно произнес Шурик.

Яшка уставился на него колючими глазами:

— «Не старался»? А ты знаешь? А чего стараться, если все равно бесполезно! Если человек не может!

Шурик согласился:

— Может быть. Я не знаю, я учу немецкий. Он, говорят, легче.

— У разных людей голова по-разному устроена, — задумчиво произнес Яшка. — У одного языки учатся хорошо, а у другого никак. У Галки, у моей сестры, в медицин-

ском институте английский язык да еще латинский, на котором рецепты выписывают. И она хоть бы что. А я в этот латинский заглянул — ну ни капельки не понятно.

Шурик пожал плечами:

— А ты сразу понять хотел? Ты хоть латинские буквы знаешь?

— Знаю. «Рэ» — как «я», только наоборот. «Лэ» — как «гэ» вниз головой. «И» — палка с точкой.

— Сам ты палка с точкой, — вздохнул Шурик.

Яшка снова задрал голову. Белый «конвертик» стоял в небе не двигаясь.

— Даже не дрогнет, — сказал Илька.

— У Генки все равно лучше, — ответил Яшка и плюнул. — Надо Генку позвать. «Кондора» поднимем, тогда этот беляк сразу...

Что такое это «сразу», Яшка сказать не умел. Но он понимал и другие понимали, что, если «Кондор» поднимется выше беляка, все будет в порядке. Илька опять хотел сказать, что Генку он уже позвал, но Шурик перебил:

— Про английский с ним не говорите, когда придет.

— Уже пришел, — хмуро откликнулся Генка.

Никто не заметил, как он оказался рядом: все разглядывали белого змея.

— Извини, я не видел, — спокойно сказал Шурик.

Генка поморщился и резко вскинул плечи. Таких людей, как Шурка, он не понимал. Терпеть не мог он, когда кто-нибудь так легко во все стороны раскидывал свои «извините» и «простите». Ему всегда было мучительно неловко за такого человека. Сам Генка в жизни своей никогда не просил прощения. Сколько раз бывало, что стоял он в учительской и завуч Анна Аркадьевна ждала от него всего четыре коротеньких слова: «Простите, больше не буду». Или даже всего одно слово: «Простите». Но он стоял и молчал, потому что легче было ему выдержать сто разных несчастий, чем выдать это слово...

Генка смотрел на змея, плотно сжав губы. Глаза его сузились и колюче блестели.

— Запустим «Кондора»? — осторожно спросил Яшка.

— Еще чего! — не двигаясь, сказал Генка.

— Ген, давай, а? — запрыгал Ильяка. — Я сбегая за ним.

Генка промолчал.

Ильяка перестал прыгать.

— Ну, а что делать? — спросил Шурик.

— Сбить.

...Они долго ничего не говорили. Сбить змея — это пиратское дело.

— Все-таки... мы же не голубятники, — нерешительно произнес Шурик.

— А я и не знал, что мы не голубятники, — сказал Генка, продолжая смотреть на змея.

Яшка молчал. У него были свои причины, чтобы молчать.

— Он ведь сам виноват, да, Гена? — заговорил Ильяка. — Ему сигналили, а он не отвечает. Конечно, надо сбить, наверно.

Шурик задумчиво почесал подбородок.

— Вообще, конечно... Раз он не отвечает...

— Как его достанешь? — глядя в сторону, пробормотал Яшка. — Высогища-то...

— А катапульта? — быстро вмешался Ильяка.

— Помолчи! — цыкнул Яшка.

— Ильяка правильно говорит, — заступился Генка.

— Так я и знал! — тихо и печально сказал Воробей. — А мне опять отдуваться, да?

Катапульта недавно отбили у голубятников. Вернее, не отбили, а увели из-под носа.

Это было грозное на вид оружие, слегка похожее на пушку. На колесах от водовозной тележки, с дощатым лафетом, с диванными пружинами и туго закрученными ве-

ревками. А вместо ствола торчал гибкий шест с примотанной на конце старой поварешкой. Голубятники полмесяца трудились над страшной машиной и похвалялись, что, когда ее доделают, ни один «конверт» не вернется на землю целым.

Доделать ее они сумели, а выполнить угрозу не смогли. В семь часов вечера пираты-голубятники спрятали катапульта в огороде у Сереги и Витьки Ковалевых. В девять она исчезла. Как это случилось, до сих пор остается тайной. Только Яшка Воробей знает, да Шурик, да Генка. И еще Володька Савин, капитан «Леонардо», и его дружок Игорь Кан, у которого «Пассат». Кроме того, пожалели малыша Ильяку и под большим секретом рассказали эту историю ему. Услыхав этот рассказ, Ильяка даже стонать начал от хохота и, лежа в траве, так дрыгал ногами, будто ему сразу несколько человек щекотали живот холодными пальцами. А потом вдруг замолчал, сел и посмотрел на всех потемневшими глазами. И сказал, что это совсем предательское дело — так к нему относиться. Все всегда про всё знают, а ему не говорят. Все всегда делают интересные дела, а его не берут.

Если думают, что он маленький и ничего не может, тогда пусть сами бегают, если надо кого-нибудь куда-нибудь позвать, или что-нибудь узнать, или принести, или еще что-нибудь. А он бегать не обязан.

Ильяку хотели успокоить, но он успокаиваться не стал, а поднялся с травы и пошел прочь.

Только он был не злой человек и скоро перестал обижаться. Да и неинтересно было ссориться, потому что на следующее утро начали испытывать катапульта и предложили Ильяке дергать веревку.

Он хорошо дергал, но стреляла катапульта плохо. Не так, как полагалось. Кирпичные обломки летели из привязанной к шесту поварешки не вверх, а низко над землей. Первый врезался в Яшкино крыльцо и оставил на нем

оранжевую вмятину. Второй пробил брешь в помидорных кустах. Третий со свистом ушел за забор, и все со страхом ждали, когда там что-нибудь зазвенит или загремит. Но было тихо.

Наконец пришел Шурик, обозвал всех непонятым словом «питекантропы» и занялся катапультой всерьез. Передвинул какую-то палку, покрутил сверху маленькое колесо от детского велосипеда, подумал, покрутил еще и сказал:

- Машина к эксперименту готова.
- Можно стрелять, что ли? — хмуро спросил Генка.
- Да.

Это был первый настоящий выстрел: камень ушел на такую высоту, что сделался как пылинка. Но это был самый несчастный выстрел, потому что камень вернулся. Он упал на старый курятник и пробил фанерную крышу. Кур там не было, но стояли стеклянные банки, которые Яшкина мать берегла для варенья. Уцелели три банки из одиннадцати.

Катапульту успели спрятать за сарай, но Яшку мать все равно поймала, утащила в дом, и оттуда донесли его за вывания.

С тех пор грозная метательная машина стояла без дела. Голубятники узнали, у кого спрятана катапульта, и просили отдать обратно. Обещали, что ни один змей больше не тронут. Но хозяйева «конвертов», даже те, кто слышал о катапульте лишь краем уха, отвечали коротко и одинаково:

— Шиш! Она и нам пригодится.

Зачем она может понадобиться, никто не знал.

Но вот пригодилась...

— Ну вас, — ноющим голосом сказал Воробей. — Опять увидит кто-нибудь. Не обрадуемся.

— Зарядим за сараем, — коротко ответил Генка. — Выкатим бегом. Раз — и обратно...

— Ага! Жить надоело? — упирался Яшка. — Заряженную выкатывать, да? Как сорвется да как даст...

— Сам выкачу, — сказал Генка и зашагал к Яшкиной калитке.

Его злая досада теперь получила новое и четкое направление — белый змей. Надо было его сбить: Генке казалось, что от этого станет легче.

— Могут подумать, что мы сбили его, потому что завидуем, — вдруг сказал Шурик, шагая за Генкой. — Лучше бы сначала поднять «Кондора».

— Сначала собьем, потом поднимем «Кондора», — сквозь зубы ответил Генка.

— Но это глупо, — сказал Шурик.

— Не всем быть умными...

Во дворе, за сараем, они разбросали лопухи и куски фанеры, которыми была укрыта катапульта. Генка ухватил конец шеста, отогнул назад и крючком прицепил его к дощатому хвосту. Потом начал вертеть маленькое колесо от детского велосипеда. Шест дрожал. Скрипучие веревки напрягали узлы. Пружины звенели и сжимались.

— Хватит! — жалобно попросил Яшка.

Он почти каждую секунду выглядывал из-за сарая: нет ли кого-нибудь во дворе. Остренький нос его даже вспотел от волнения.

Генка крутил.

— Хватит, — спокойно сказал Шурик.

Генка отпустил колесо.

— Ты бы, Шурка, приготовил нитку. И камень.

— Ну что ж...

Шурик ушел.

— Воробей, открой калитку, — велел Генка.

Яшка на цыпочках побежал к воротам. Генка сказал:

— Илья, в сторону! — и взялся за колесо.

Илья в сторону не пошел. Он взялся за другое колесо. Даже налег животом.

— Кому я говорю! — прикрикнул Генка.

— Ген, — тихо сказал Илька, — если змея собьем, можно я его себе возьму? А то у всех есть, а у меня нет.

— Ладно, возьмешь. Отойди, а то сорвется...

— Я не боюсь.

Звякнула открытая калитка. Генка толкнул катапульту. Илька тоже толкнул, и она, гудя пружинами, покатила к воротам.

На улице между асфальтовым тротуаром и пыльными кустами желтой акации, которые тянулись вдоль дороги, была травянистая полоса. В одном месте она расширялась в полянку. Там Шурик уложил кругами нить. Вместо камня он привязал к ней мешочек с землей, сделанный из носового платка.

— В целях безопасности, — сказал он. — Вдруг трахнет по чьей-нибудь голове. Конечно, вероятность мала, но все-таки...

Другой конец нитки он прикрепил к акации.

— Ну-ка, пустите. Наведу.

Генка отошел. Тут он не спорил: Шурка лучше всех управлялся с этой штукой.

Яшка все оглядывался. Но улица была пуста.

Шурик, сощурившись, глянул на змея, чуть передвинул катапульту, шевельнул сверху толстый березовый брусок. Положил тугой узелок с землей в поварешку на конце шеста.

Генка стоял, сжав губы, и ждал. Белый змей не двигался в опаленной солнцем высоте. Генка даже себе не хотел признаться, что «Кондор» на эту высоту не поднимется.

— Можно, — сказал Шурик.

— Долетит? — спросил Генка.

— Видимо, да.

— Скорее, — прошептал Яшка.

— Илька, дергай.

Дергать просто так было неинтересно. Илька набрал

полную грудь воздуха, важно покачался на тонких ногах, оглядел всех по очереди и басом сказал:

— Огонь!

Удар был крепкий! Шест выбил поперечный брусок и трахнул концом по земле. Катапульта подпрыгнула и опрокинулась набок. Брусок, закувыркавшись, улетел на дорожку. Маленькое велосипедное колесо отскочило и, вихляя, катилось по траве.

Но выстрел получился. Нить стремительно вытягивалась в спираль, уходила вверх, вслед за тряпичным снарядом.

— Есть, — очень спокойно сказал Шурик.

Нить катапульты захлестнула нитку змея. «Конверт» качнулся, мотнул хвостом, дернулся, будто хотел сбросить аркан. Но не сбросил и начал медленно падать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда падает сбитый змей, хозяин его не сидит и не смотрит спокойно. Он прыгает с крыши и мчится к месту катастрофы. И очень часто бывает, что мчатся рядом его друзья.

Генка это знал. Но он сказал:

— Пойду один.

— Лучше мы тоже пойдем, — предложил Шурик.

— Я один, — повторил Генка, и скулы у него стали острыми.

Шурик пожал плечами. Если Генка сказал, спорить не стоит, это все знают.

Яшка торопливо собирал разлетевшиеся части катапульты.

Змей упал далеко, где-то на улице Чехова или в переулке Красногвардейцев. Видно, его хозяин тянул нитку изо всех сил.

Генка сунул в карманы кулаки и, не оглянувшись, зашагал по дороге. Илька бросился следом.

— Я с тобой, Ген...
 — Не надо, Илька. Помоги Воробью.
 Илька отстал.

Генка пересек улицу Чайковского, прошел квартал по Якорной и вышел на улицу Чехова. На душе у Генки было скверно. Сквозь мысли о белом змее, о катапульте, о западных ветрах и тучах все равно пробивались мысли тоскливые и беспокойные: школа... английский... отец... Обида на отца была как тупая, несильная боль. К ней почему-то примешивалась жалость. Генка вдруг подумал, что сейчас отец уже на пароходе. Стоит на палубе, дымит сигаретами, швыряет за борт окурки.

Оставаясь за кормой, они отмечают путь парохода редкими белыми точками...

Чтобы отогнать эти мысли, Генка ускорил шаги. Почти побежал. Ведь хозяин змея тоже, наверно, спешит.

А драки Генка не боялся. Даже хотел драки.

Белого змея он увидел скоро. «Конверт» лежал на упругой зелени заросшего газона. Упал он удачно — нитка пролегла вдоль всей улицы и нигде не зацепила проводов. Длинный мочальный хвост свернулся на траве аккуратным кольцом. Змей словно прилег отдохнуть и поджидал хозяина.

Но хозяина не было. Вообще никого не было, даже случайных прохожих. Лишь через минуту Генка увидел в конце квартала маленькую, словно тушью нарисованную фигурку. Это подходил мальчишка.

Он был в черных тренировочных брюках, в черной футболке, темноволосый и тонкий. И Генка почувствовал, что драки не будет: мальчишка — хлюпик. Связываться смешно. Наверно, третьеклассник какой-нибудь.

А мальчишка шел не спеша, с опущенной головой. Словно что-то искал на дороге. В пальцах его скользила поднятая с земли нитка. Генку он будто не видел.

— Значит, мы не торопимся, — сквозь зубы сказал Генка. — Ну-ну...

Он вытянул вдоль газона хвост змея, прижал его конец подошвой, сел на штaketник и стал ждать. Капитан белого «конверта» явно решил показать свой характер. На Генку он так и не взглянул. Сдернул змея с газона, опустил на колени и стал осторожно ощупывать планки: целы ли? В точности так же, как все змеевики. Словно планки «конверта» могли болеть, как живые тонкие кости.

Змей оказался цел. Мальчишка оборвал нитку и резко встал с «конвертом» в руках. Хвост натянулся, треснула драмка, бумага лопнула, и белый квадрат змея развалился на две части.

Генка вскочил. Это было слишком! Можно показывать характер, конечно! Можно не смотреть на человека, если даже он сидит рядом на штaketнике напряженный, как готовая к драке кошка! Все это можно. Еще секунду назад Генка чувствовал даже что-то вроде уважения к этому мальчишке: не боится, выдерживает характер. Но гробить такого змея ради своего упрямства!..

— Ты что, взбесился? — с тихой яростью сказал Генка. — Не видишь, да? Не видишь, что я... держу!

Мальчишка выпрямился и прижал порванного змея к груди. На секунду лицо его сделалось растерянным. Он вскинул глаза и взглянул куда-то сквозь Генку. Но тут же снова стал спокоен. Опустил голову, отбросил змея. Сказал тихо и жестко:

— Не вижу. Ну и что?

Генка почувствовал, будто кто-то крепкой рукой ухватил его за волосы и с размаху макнул лицом в крутой кипяток. Даже в ушах зазвенело и отчаянно, как от едкого мыла, зашипало в глазах. И впервые в жизни, хрипло и неумело, Генка проговорил:

— Извини.

...Ребята сидели на двухскатной крыше Яшкиного дома. Шурик и Яшка устроились пониже — у самой лестницы — на тот случай, если во дворе появится грозная Воробеиха, Яшкина мать. А Илья, маленький и верткий, добрался до гребня и лег в тени трубы. Он был там почти незаметен: Илькины загорелые ноги и спина оказались почти такими же коричневыми, как железная крыша. И старенькие вельветовые штаны были тоже коричневые. А клетчато-зеленую рубашку Илья снял и подстелил под себя, чтобы не расцарапать о шершавые кровельные листы живот и колени.

С заречной стороны, из-за туманной лесной полосы, двигался ровный ветер. Лохматил волосы мальчишек, покачивал в небе пестрые «конверты», гнал круглые облака, похожие на белый дым от выстрелов старинных корабельных пушек. Облака не задевали солнца, и оно плавилось в синеве, все еще по-летнему теплое и высокое.

Крыша пахла нагретым железом, ржавчиной и пылью. Многим этот запах кажется неприятным. Тем, кто не понимает. А для мальчишек это запах высоты. Он связан с волнением первого запуска, когда нитка начинает ровно и быстро скользить в пальцах и вздрагивать, как живой нерв, который передает тебе силу и стремительность высоких ветров. А змей уходит, уходит в высоту. Еще не веришь в такую удачу, а он уже совсем маленький, как почтовая марка. Послушный тебе и ветру...

Но сейчас у них не было змея. Ребята сидели просто так. Ждали Генку. Ждали долго, и уже появилось нетерпение и беспокойство. И будь это не Генка, а другой, они давно бы уже созвали ватагу и помчались следом. На ручку. Но Генка этого не потерпит. Раз уж сказал «пойду один», будет один до конца и за помощь спасибо не скажет, пусть его там хоть убивают...

— Идет! — возвестил с гребня Илья. И добавил потише: — Только без змея.

Генка вскарабкался по лестнице, шагнул, грохнув же-

лезом, к ребятам, сел рядом. Но ничего не сказал. Сидел и смотрел куда-то в сторону, и было у него такое лицо, будто хочет он что-то рассказать, но не решается и поэтому злит на себя и на других. А другие ни о чем его не спрашивали. Если Генка молчит вот так, сердито, лучше его не спрашивать.

Илья первый не выдержал:

— Ген, ты подрался?

Генка молчал.

— Подрался, да?

— Сиди уж... «подрался!» — Генка говорил недовольным, но не злым голосом. — Делать мне больше нечего, как драться...

— Не нашел змея, да?

— Нашел.

Снова наступило молчание. И в этом молчании вдруг четко прозвучали два Илькиных слова:

— Эх, ты!

Генка шевельнулся:

— Чего «эх»?

— Ты, кажется, говорил, что отдадим змея Ильке, если собьем, — сухо произнес Шурик.

Генкино молчание его раздражало.

— Самому надо делать, — хмуро сказал Генка. — Нечего на готовенькое...

— А если не получается... — проговорил Илья таким голосом, словно у него щекотало в горле и он боялся закашляться.

«Захочешь — научишься», — чуть не сказал Генка. Но эти слова показались ему неприятно знакомыми. Ну ясно: это отец говорил недавно Генке. Говорил не про змея, а про английский язык, конечно...

Да, но при чем здесь английский? Ох, вспомнится же не вовремя!

— Все равно этот змей пополам развалился, — тихо сказал Генка. Помолчал и повернулся к Шурику:

— Есть у тебя еще бумага? Помнишь, на которой ты «Восток-203» вычерчивал для Борьки?

— Есть... Зачем?

— Ну... зачем, — медленно выговорил Генка и начал краснеть. — Ну, тому мальчишке... Надо же ему новый «конверт» сделать. — И вдруг разозлился: — Заладили все: «Не отвечает на сигналы. Чужой!» А как он будет отвечать, если он про нас и не знает? Если он слепой...

Шурик тихо и протяжно свистнул.

— Ой! — сказал Илька и съехал с гребня крыши к самому ее краю.

— Совсем слепой? — спросил Яшка Воробей и заморгал круглыми глазками.

— Совсем... А я его чуть не отлупил.

— Тебе бы только лупить, — сказал Шурик.

Генка не разозлился. Он был даже рад упреку, хотя и не мог бы объяснить почему.

— Ну и влипли мы! — серьезно произнес Шурик.

— Это я влип, — возразил Генка. — А вы при чем? А я тоже... Откуда я знал? Ничего ведь не заметно. Он ходит совсем как... ну, как обыкновенный человек. И глаза.

У него были обыкновенные глаза. Серые, с синеватыми прожилками. Как у многих-многих мальчишек. Мальчик их редко поднимал, почти все время глаза были прикрыты полутенью длинных, загнутых кверху ресниц. Разве догадаешься?

Генка иногда встречал на улицах слепых людей. Два раза он даже переводил через дорогу высокого, очень прямого мужчину в синих очках. У него было напряженное, какое-то застывшее лицо, движения скованные, хотя и быстрые. И это сухое постукивание неизменной тросточки...

А маленький капитан белого змея был совсем не такой. Двигался неторопливо и легко. И лицо было живое.

Славное такое лицо не робкого, но застенчивого мальчишки, который из-за своей застенчивости привык держать глаза опущенными. Ну как Генка мог догадаться, что эти глаза не видят?

Он стоял перед мальчиком и чувствовал себя каким-то беспомощным. Как обезоруженный фехтовальщик, который теперь может надеяться на что угодно, только не на свою ловкость и силу.

— Я же не знал, — сказал ему Генка с таким трудом, будто глотал комок из колючей проволоки.

— Ой, ну перестань! — быстро и смущенно проговорил мальчик. — Обязательно, что ли, знать?

Ответить на эти странные слова Генка не сумел. А стоять так и молчать было неловко и тяжело. И уйти он не мог. Чувствовал, что нельзя просто так повернуться и уйти.

Мальчик нагнулся, нащупал на земле брошенного змея, зачем-то поднял его и отбросил снова. И сказал не то Генке, не то себе:

— Все равно погиб.

— Может, еще можно починить, — пробормотал Генка, хотя понимал, что это самая настоящая глупость.

— Нет уж, — вздохнул мальчик. — А если и починить... Высоко он не поднимется.

— Не поднимется... А он высоко стоял, выше всех наших, — неожиданно признался Генка. Ведь если выше всех, значит, и выше «Кондора».

— Ваших? — Мальчик вскинул глаза.

На этот раз Генке не показалось, что глаза смотрят куда-то мимо. Наверно, слепой мальчишка по голосу точно чувствовал, где стоит собеседник, и ловко владел невидящим взглядом.

— Ваших? — переспросил он удивленно. — Значит, есть еще?

— Конечно, — облегченно выдохнул Генка. Он был рад, что кончилось тяжелое молчание. — Наших много.

Если бы ты... — Генка хотел сказать: «Если бы ты видел», но спохватился. — Если бы ты знал!

Мальчик свел брови. Они были тонкие и такие же темные, как волосы.

Мальчик медленно сказал:

— Тогда я знаю... Там другая нитка с моей перехлестнулась. Это он с вашим змеем запутался, да?

— Нет. Это мы сами... сбили.

— Зачем? — Он, кажется, ничуть не рассердился, даже не обиделся. Только очень удивился: кому помешал змей в большом просторном небе?

— Мы же не знали, — снова сказал Генка. — Всех своих знаем, а этот незнакомый. У нас сигналы есть, а твой на сигналы не отвечает. И выше всех. Ну, мы думали, что ты просто не хочешь, раз выше...

— Я и не думал, что есть еще, — тихо ответил мальчик. — Думал, что я один.

— Теперь никто не тронет твоего змея. Даже голубятники, — сказал Генка.

Мальчик нашарил в траве оторванную от змея нитку.

— Придется клеить новый. Ладно, сделаю. Только хороший такой уж не будет.

«Хочешь, возьми мой «Кондор», — хотел сказать Генка, но не решился. Лишь спросил:

— Трудно делать?

— Не очень. Но бумаги нет. Есть только ватманская, для чертежей. Она крепкая, но тяжелая.

— Ну, бумагу-то я достану, принесу, — поспешно пообещал Генка.

— Придешь? Сам, да? — быстро спросил мальчик.

— Принесу... А можно?

— Я адрес скажу, ты запомни, — заторопился мальчик. — Чехова, сорок три, в самом конце улицы, в тупике. Совсем легко найти.

— Запомню, — сказал Генка. — Зачем мне адрес? Я просто дом запомню. Дойдем сейчас вместе. Не идти же тебе одному.

Мальчик дернул остреньким плечом.

— Могу и один. А что? Пришел ведь. У меня нитка.

— Нитку надо смотать, чего ей пропадать зря. Я смотаю.

— Я сам.

Он шагнул и начал наматывать нитку на большой палец и на локоть широкими петлями, как женщины наматывают бельевые веревки.

Генка нерешительно сказал:

— Запутается.

— Не запутается. Я же знаю... А идти я могу и без нитки. Думаешь, не могу?

— Можешь, — ответил Генка, потому что понял: тут надо обязательно согласиться. — Я только думал про машины. Ты по середине дороги идешь, а вдруг машина из-за угла... А шофер ведь не знает. Незаметно ведь, что ты... что тебе трудно.

— Не так уж трудно... А правда незаметно? — как-то настороженно спросил мальчик.

— Ничуть, — быстро сказал Генка. Говорить об этом ему было неловко.

Они зашагали по дороге. Мальчик шел неторопливо, но совсем свободно. Можно было подумать, что он движется медленно только из-за нитки: ведь ее приходилось сматывать очень аккуратно. Но он остановился вдруг и попросил:

— Знаешь, ты иди рядом, ладно? Нет, ты за руку не держи, просто рядом иди, чтобы я чувствовал.

Генка торопливо пристроился с правой стороны. Через несколько шагов мальчик снова сказал:

— Незнакомая улица. Это все-таки плохо.

Генка старался идти в ногу и молчал. Его мучил один вопрос, но заговорить об этом Генка решил не сразу.

— Слушай... — наконец начал он. — Я вот не понимаю. Мы же тоже умеем. Я про змеев говорю. Мы же умеем их строить. У нас Шурка есть, он нам даже расчеты делает. А такой, как у тебя, все равно еще никто не построил. Или ты запускаешь не так?

Не это хотел спросить Генка. Он хотел сказать короче и проще: «Почему ты хотя и не видишь, а запускаешь змея выше, чем мы? В чем секрет?» Но не посмел. Он боялся произнести слово «видеть».

Однако мальчик понял.

— Это, по-моему, не трудно, — сказал он. — Просто надо чувствовать ветер. И нитку чувствовать — пальцами, рукой, плечом. Я не знаю, это само получается...

— Нитку чувствовать — это я понимаю, — задумчиво произнес Генка. — Пальцами. А плечом... Это я не понимаю.

— Каждый, наверно, по-своему держит, — негромко сказал мальчик и почему-то смутился. — Я ее по плечу пропускаю. Ну, вот так. — Он перекинул нитку через плечо. — Только она натянута, когда змей в воздухе. Вот прижми здесь, я натяну.

Генка послушно прижал двумя пальцами белую нитку к черной майке. Теперь нитка была натянута между кулаком и плечом мальчишки. Он осторожно, словно струну, тронул ее пальцами правой руки.

— Вот так, — сказал он.

— Постой, — не понял Генка. — Ну как же? Ведь нитка-то назад уходит. Значит, змей будет за спиной?

— Ну и что же... — Мальчик поднял лицо, и Генке показалось, что он смотрит, именно смотрит, куда-то далеко вперед. — Ну и пусть за спиной. Мне его все равно не видеть. Мне главное — ветер чувствовать. Вот я и стою лицом в ту сторону, где ветер. А ты не так?

— Нет, — вздохнул Генка. Он все еще держал пальцы на худом плече мальчишки и чувствовал, как под тонкой ключицей бьется тонкая жилка.

— Его зовут Владик, — сказал Генка. — Он приехал с отцом из Воронежа. Отец у него инженер. Только забыл какой. Он сказал, да я забыл.

— А матери нет, что ли? — спросил Яшка.

— Не знаю.

— А Воробеиха катапульту поломала топором, — вдруг сообщил Илька и покосился на Яшку. — Яшкина мать поломала.

— Да ну ее...

Затея с катапультной теперь казалась Генке совершенно глупой. Вроде дошкольничьей игры в лошадки. Даже стыдно было. И вообще все теперь казалось мелким и незначительным по сравнению с бедой мальчишки, которого он только что встретил.

Генка уперся пятками в водосточный желоб и лег на спину. Теплое от солнца железо грело сквозь рубашку. Лучи покалывали краешек глаза, но Генка, не моргая, смотрел вверх. Там, в зените, стояла бесконечно голубая густая синева. И двигались облака. Они бежали все так же неторопливо, но что-то случилось с ними: облака уже не походили на круглый дым от корабельных пушек. Они были лохматые и раздерганные на клочья.

Таковыми же медленными и раздерганными были Генкины мысли.

«У Владьки отец, — думал он, — инженер... И у меня... инженер. Интересно, какой отец у Владьки?.. Наверху сильный ветер: вон как растрепало облака. Медленно идут... Облака всегда идут медленно. Это только с земли кажется, что медленно, а на самом деле... И время тоже. Дни... Кажется, что дни еле ползут, а оглянешься — целый месяц прошел... Скорей бы он проходил, этот месяц! Пройдет, и все кончится, не надо будет думать об английском. Только жалко, что кончатся и ветры, и лето... У меня отец тоже инженер. Как у Владика. А Владьку отец хоть раз ударил? Ну нет, это... это же такое было бы свинство! Да и за что? Владька же, наверно, не оставался на осень по английскому... И опять этот английский! Ну здесь-то он при чем?»

Это было просто смешно. Смешно думать о какой-то двойке по английскому языку, когда рядом, на улице Че-

хова, живет мальчишка, не видящий неба, облаков, солнца. И вообще ничего. Ни-че-го. Ни малейшего проблеска света.

— Ничего... — сказал Генка и вдруг понял полную безнадежность этого пустого черного слова. Не было в этом слове даже самой крошечной, самой слабой искорки. Только непроницаемая тьма. Ничего и никогда...

Но как это можно?! Так не бывает!

Он попытался представить себя слепым. Он закрыл глаза. Но солнце просвечивало сквозь веки, и в глазах плавал яркий оранжевый туман. Тогда Генка прижал к ним ладони. Однако и сейчас в фиолетовой темноте плавали хоромы пестрых пятен.

Генка ждал. Медленно, нехотя одно за другим пятна стали угасать. Их было еще много, но они потускнели, растворились в сумраке. А фиолетовая тьма сгущалась и сгущалась. И вдруг, поглотив последние следы света, навалилась на Генку плотная и тяжелая чернота! Мгновенный страх резанул его: а если это совсем?! Генка раскинул руки с такой силой, что ссадил о железо костяшки пальцев. И солнце ударило по глазам жгучими и веселыми лучами.

— Ты что? — испугался Яшка.

— Ничего, — хмуро сказал Генка и стал слизывать с костяшек алые капельки крови.

Он успокоился. Он совершенно успокоился. Очень маленькими были его несчастья по сравнению с Владыкиным горем. Стоило ли о них вспоминать? И Генка подумал, что сегодня же он с легким сердцем закинет учебник английского языка за поленицу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утром, около девяти часов, Генка подошел к зеленой покосившейся калитке. Он боялся, что пришел слишком рано, однако другого ничего не оставалось. В девять начи-

нались занятия с Верой Генриховной, и Генка сказал матери и бабушке, что идет в школу. Белую бумагу, которую дал Шурик, пришлось свернуть по форме учебника и сунуть под мышку.

Калитка была заперта. Генка вздохнул и погромел тяжелым железным кольцом.

И сразу послышались быстрые и легкие шаги. Калитка звякнула щеколдой, отворилась, и Генка увидел Владика. Было на Владыкином лице беспокойство и напряженное ожидание, вздрагивали брови.

— Вот, я принес бумагу, — поскорее сказал Генка, чтобы Владик сразу узнал его.

Брови перестали вздрагивать. Владик улыбнулся обрадованно и чуть растерянно. И словно застеснялся своей улыбки.

— Ты проходи, — заговорил он. — Калитку не хлопывай, ладно? Может быть, скоро папа придет. А калитку хлопнешь — сразу щеколда запирается. Каждый раз идти открывать... Это тетка наша придумала такую автоматику. Воров боится, что ли...

— Сама придумала, пусть сама и отпирает, — предложил Генка, потому что почувствовал: особого уважения к тетке у Владика нет.

— А она уехала, — сказал Владик. — На целых две недели. Мы здесь пока вдвоем... Ну пошли.

Он зашагал впереди по доскам неширокого тротуарчика. Доски пружинили, и Генке казалось, что они вот-вот подкинут Владика вверх на целый метр — таким он выглядел легким.

— Бумага помятая немного, — заговорил Генка. — Намочить придется, чтобы расправить.

Владик замедлил шаги.

— Намочить? Слушай, а я про это ничего не знаю. Разве она не порвется?

— Не порвется. Еще лучше потом натянется, когда высохнет. Ну, я покажу.

— Покажешь, правда? — быстро спросил Владик. — Ты не торопишься?

— Куда мне торопиться? — сказал Генка с чуть заметной досадой. — А я... не рано пришел?

— Ну что ты! Мы знаешь как рано встаем. Папе к восьми на работу.

Владик безошибочно вел Генку через длинный двор, мимо помидорных и морковных грядок, мимо парников, к небольшому кособокому сараю. А когда подошли, точным ударом ноги толкнул дверь.

— Подождешь минутку? Я тут винт ищу для наушника... Ты садись.

Полутьма сарайчика пахла сухими стружками и была прорезана солнечными щелями. Генка сел у стены на чурбак. По углам громоздились сломанные стулья, дырявые чемоданы и другая рухлядь, которую почему-то часто жалуют и не решаются сжечь. А у двери на толстой березовой чурке поблескивали слесарные тиски. Они были новые — видно, поставили их здесь недавно.

Владик сел на корточки перед большой картонной коробкой. Солнце из щелей сразу опоясало его тремя желтыми шнурами. В коробке что-то звенело: Владик на ощупь отыскивал винт.

Генка привстал.

— Какой винт? Давай помогу.

— Я сам... Ты тут и не разберешься в моем хозяйстве. Я быстро.

И правда, он быстро нащупал среди мотков проволоки, гвоздей и гаек маленький шуруп. Из этой же коробки вытащил он и наушники на металлической дужке. Один наушник едва держался, и Владик стал его привинчивать. Шуруп входил в гнездо туго. Ногти у Владика побелели от напряжения. Он закусил губу и низко наклонил голову, будто хотел разглядеть упрямый винт.

Генка стоял рядом и мучился. Ему ничего не стоило закрепить наушник, но сказать об этом он боялся. Он знал уже, что Владик коротко ответит: «Я сам».

— Зачем они тебе, наушники эти? — безразличным голосом спросил Генка.

— Радио... слушать, — сказал Владик сквозь зубы, докучивая винт. Наконец закрутил, выпрямился и улыбнулся. — Знаешь, как с ними удобно! Включишь — и сразу знаешь, где что делается. Про весь мир. Они мне вместо газеты. И вместо книжек...

Генка почувствовал, что лицо его начинает гореть. Ладно, что хоть Владик не видит.

«Болтун несчастный!» — сказал себе Генка. И решил, что теперь ни одним вопросом, ни единым словечком не напомнит Владиду о его слепоте.

— Я думал, что динамик лучше, — объяснил он. — Хочешь, я Шурке Черемховскому скажу? Он сразу сделает репродуктор, какой хочешь.

Владик поднял коробку, утащил ее в угол и ответил оттуда:

— А у нас приемник есть. Знаешь какой? «Восток — пятьдесят семь». Это как раз для него наушники. Они же лучше, чем громкий голос. Громкость папе мешает. Он вечерами сидит, сидит, занимается, чертит. А наушники ему не мешают.

— Он и днем, и вечером работает?

— И ночью иногда, — вздохнул Владик. — Понимаешь, он такой инженер. По оборудованию. На судостроительном новый цех пускать должны, вот он там и хозяйничает. И ругается. Что-то не так построили. Станки не размещаются. Надо что-то пересчитывать там, он объяснял, да я не понял. Ну, вот и сидит считает. Чертит.

Генка молчал. Когда заходит речь об отцах, каждый вспоминает своего.

Генкин отец никогда не работал дома. Ни по вечерам, ни днем. Ему нечего было делать в этом городе. Он уезжал работать в тайгу, где строили деревообделочные и бумаж-

ные комбинаты, и дома бывал не часто, наездами. В первые дни после приезда был он каким-то непохожим на себя: торопливый, возбужденный. Ходил в кино по три раза в день и требовал, чтобы Генка с мамой ходили с ним тоже. Это были самые хорошие дни. Отец навещал знакомых, звал к себе друзей, и комнаты наполнялись густым гулом веселых мужских голосов.

Через несколько дней отец успокаивался. С утра до вечера лежал на узком скрипучем диване и читал Генкины книжки про шпионов и моряков.

Генка приходил из школы, по давней привычке толкал под диван измочаленный портфель, потом садился в ноги у отца.

— Папа... — говорил Генка.

— Угу, — отвечал из-за книжки отец.

— Ты опять скоро уедешь, да?

— Видно будет, — говорил отец. Мусолил палец и переворачивал страницу.

— Не слюни пальцы! — пугался Генка. — Книжка же новая, мне ее Володька Савин дал на три дня, как только купил. Даже сам не читал.

— Ладно, не буду...

Генка вздыхал и спрашивал:

— Папа, ты в отпуску или в командировке?

— В отпуску.

— Ты ведь уже был в отпуску.

Теперь вздыхал отец. Он опускал книгу на грудь, несколько секунд молча смотрел на Генку и наконец четкими, отдельными словами давал объяснение:

— Я разбил месячный отпуск на три части. И еще взял неделю без сохранения содержания. То есть без денег. Ясно?

Это означало: «Отвязался бы ты и не мешал читать!»

— Ясно, — говорил Генка, но вдруг его охватывало беспокойство за отца. — А как там без тебя? Там же работа. Справятся там?

Диван раздраженно скрипел: это отец лежа пожимал плечами.

— Что я, пуп земли? Заместитель есть на участке. По-терпит десять дней.

— А тайга какая?

— О боже! Большая тайга, вековая, дремучая, густая! Волки, медведи, куницы, крокодилы!

— Крокодилов нет, — тихо говорил Генка.

Отец немного смягчился, и книга опять ложилась на грудь.

— Ладно. На будущий год поедем вместе, сам увидишь... Там ты хоть человеком станешь.

Генка смотрел на длинное, с залысинами, отцовское лицо, на твердый, раздвоенный подбородок.

— А сейчас я кто? — спрашивал Генка.

— Сейчас ты так... так просто, — отвечал отец без улыбки. Даже серые светлые глаза не улыбались.

И Генкины глаза, такие же серые и светлые, не улыбались тоже.

— А когда человек человеком делается?

— Когда у него работа появляется, нужное дело. Понятно?

— Понятно. А я в школе учусь. Это, что ли, не нужное дело?

— Учение — еще не работа.

— Оно еще труднее, — обижался Генка. — С работы пришел — и отдыхай. И короткие дни по субботам. А нам еще уроки учить. Говорили, что в субботу задавать не будут, а все равно задают... А ты говоришь: «Не человек».

— Ну ладно, ладно, человек.

— Все ребята, значит, не люди?

— Люди. Не мешай.

— И студенты, раз они учатся, не люди?

— Слушай, ты дашь мне почитать?

— Ну, читай, — вздыхал Генка. — Только отдай книжку.

— Какую?!

- Ну, которая у тебя...
 — Ты что, смеешься?
 — Ну, папа, — жалобно говорил Генка, — мне же только на три дня дали! Я же сам не читал.
 — Успеешь еще.
 — Да, успеешь...

Отец медленно поднимался, садился. Коротенькие волосы у него смешно топорщились над круглым, красным от таежного загара лбом.

— Что это за порядок? Пришел из школы — и сразу же за книжку про шпионов! Небось учебник не берешь. И вообще... Ну-ка, показывай дневник!

Пожалуйста! Генка вытаскивал из-под дивана портфель. Чего ему бояться? Пусть смотрит. Тройки по природоведению да по истории? Ну и что? Не двойки ведь. И Генка сердито дергал блестящий замок, который все время заедало...

Так было, когда Генка учился в третьем классе, в четвертом. В пятом он уже не показывал дневник так охотно. Из-за английского. Да отец во время редких приездов почти и не вспоминал о нем.

И о том, что возьмет Генку в тайгу, он говорил не так часто. Но все-таки говорил иногда.

И Генка ждал. Тайга представлялась ему громадой мачтовых стволов и сплошной хвойной зелени, прорезанной тонкими лучами солнца и звенящим звуком электропил... И казалось Генке, что там, вдвоем с отцом, они будут ближе друг другу.

Но не получилась поездка. Опять все тот же английский...

Конечно, не стал Генка говорить про это Владу. Только сказал:

— У меня отец тоже инженер. Строитель. В поездках все время... А мать диспетчером на троллейбусном маршруте работает.

Он думал, что и Владик теперь скажет что-нибудь о своей матери. Владик подергал дужку наушников, примерил на голове и улыбнулся:

— Крепко держится. А то вчера знаешь что? Вечером, поздно уже, папа сидит чертит, а я лежу и пьесу слушаю: «Шторм», про моряков. Он говорит: «Хватит, спать пора». А я говорю: «Рано еще». Пьеса интересная, жалко бросать. Он опять: «Спи давай». А я залез под одеяло и слушаю. Он тогда подошел и наушники с меня тянет. А я не даю. Ну, и давай дурачиться. А они — хлоп на пол. Винтик выскочил — и в какую-то щель... А теперь уж не выскочит.

— Передачу-то дослушал? — спросил Генка.

— Папа громкость включил в приемнике. Вместе и слушали. Он говорит, что все равно голова от работы распухла. Да он так часто говорит, а все равно сидит по ночам...

— Хороший он у тебя, — чуть слышно сказал Генка.

Владик снял наушники.

— Пойдем, да? Бумагу мочить...

— Айда.

Владик первым шагнул к выходу. Генка двинулся за ним и только сейчас заметил на стене у двери велосипед. Искорки света горели на спицах и ободах. Генка крутнул переднее колесо. Оно завертелось легко, с чуть слышным шорохом.

— Горьковский, — сказал Генка. — «Прогресс». Законный велик...

Владик остановился:

— У тебя нет?

— Нет. В этом году уже не купят. Может, в будущем.

— Если хочешь, бери, катайся, — предложил Владик. — Он все равно пока без дела висит.

Это была неожиданная радость. Но Генка сдержал ее.

— А твой отец? — спросил он. — Не заругается?

Владик удивленно обернулся, и его глаза, совсем непохожие на глаза слепого, скользнули по Генке.

— Что ты! Он ничего не скажет. Он все равно не ездит на нем, это же мой велосипед.

— Твой?! — вырвалось у Генки. Правда, в ту же секунду он прикусил язык.

Ну надо же так! А если Владик ослеп недавно? А вдруг он еще этой весной, как все мальчишки, носился на велосипеде по асфальтовым тротуарам, пугая прохожих и радуясь синему блеску луж?

Но Владька не обиделся. А если и обиделся, то немного, как обижаются любой из ребят, когда ему не верят.

— Не веришь? А знаешь, как я на нем гонял, когда в Воронеже жили? Там вокруг двора асфальтовая дорожка была. Я на ней каждый поворот знал...

— Да я верю, — пробормотал Генка.

— Я ночью катался, — тихо сказал Владик. — Днем там прохожие ходят, малыши бегают, а я ночью. Мне-то все равно. Хорошо было. Только один раз на какого-то пьяницу налетел. Вот. — Он подтянул узкий рукав футболки, и Генка увидел белый шероховатый рубец. — Это я тогда ссадил, — объяснил Владик. — А ты не веришь.

— Да верю я, — смущенно повторил Генка. И все-таки не удержался, спросил: — А отец-то тебе разрешал?

— Он разрешал. Он меня сам учил, — сказал Владик. И неожиданно добавил: — Он меня и ходить учил... Так, чтобы незаметно было, что я не вижу.

Генка молчал. Он думал о том, что Владька не похож на других мальчишек не потому, что слепой. На слепого он ведь тоже не похож. Тут что-то другое...

— Ой, ну пойдем, — вдруг зашепел Владик. — Не надоел тебе мой разговор? Я в эти дни все один да один дома. Все молчу... А тут ты пришел.

— Плохо одному, — сказал Генка. Владика он понял. Но что еще мог он сказать? Это ведь только в книжках пишут, что встретятся незнакомые мальчишки и в первые же минуты: «Слушай, давай дружить!» — «Давай!» — «По-на-

стоящему?» — «По-настоящему!» А на самом деле разве так говорят? Генка не понимал, как вообще можно об этом вслух говорить.

И Владик, наверно, думал так же.

— У вас в огороде бочка. Обмакнем туда бумагу, — предложил Генка, — а потом кнопками к стене прищипим. Есть кнопки?

— Конечно.

Они пошли к бочке, и снова Генке казалось, что пружинистые доски вот-вот подбросят Владьку, как легкое черное перо. Перо закружится по ветру и улетит к зениту. Вон туда!

Генка поднял глаза.

В небе трепыхался и медленно падал «Желтый щит».

Генка даже не знал толком, чей это «конверт». Но большой желтый змей падал рывками, как падают все «конверты», захлестнутые закидушкой.

— Владик, — торопливо сказал Генка, — мне надо бежать. Сбили змея.

— Твой? — спросил Владик и остановился.

— Не мой. Не знаю чей. Но все равно бежать надо. Понимаешь, такое правило. Голубятники сбили.

Владик молча шагнул с дощатых мостков, давая Генке дорогу.

— Без меня не мочи бумагу, — сказал Генка, следя за падением змея.

— Значит, придешь? — обрадованно спросил Владик. — Сегодня придешь?

«Желтый щит» падал где-то в переулке Конноармейцев.

— Сегодня — не знаю. Нам дрова привезут, надо в поленицу складывать. Кубиков восемь. А завтра обязательно.

— Завтра обязательно? — негромко переспросил Владик.

— Да, — сказал Генка и быстро пошел, потом побежал к калитке.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Утром Генка проснулся и увидел, что окна серые. Шел дождь, мелкий, нудный, морозящий. И откуда нагнало эти низкие, пропитанные сыростью облака? Руки у Генки гудели: вчера пришлось повозиться с дровами. В ладони тихо ныла заноза. Настроение было скверное.

— Вставай, — сказала мать. — Опять опоздаешь на занятия. Как дела в школе-то?

— Лучше некуда, — буркнул Генка. Это можно было понимать как хочешь.

— Вот оно, наказание-то наше! — простонала на кухне бабушка.

«Начинается!» — уныло подумал Генка. Но вспомнил о Владике, и на душе потеплело.

Он отыскал в шкафу свою старую серую куртку. Куртка называлась непромокаемой и потому промокала не раньше чем через пять минут. А до Владика идти минут восемь. «Переживем», — решил Генка.

— Не забудь учебник с тетрадкой, — предупредила мать.

— Не забуду.

На самом деле учебник размокал за поленницей. Генка подумал об этом с полным спокойствием. Ему было все равно.

— Я пошел...

И на этот раз ему открыл калитку Владик. Он ждал, это Генка сразу понял.

— Пришел!

«Как видишь», — чуть не брякнул Генка и ахнул про себя.

— Пойдем, — заторопился Владик. — Сыро. Моросит и моросит...

Дом Владькиной тетки состоял из двух частей. Словно два домика срослись боками. Один был побольше и по-старше, под крутой двухскатной крышей, а к нему лепи-

лась недавно сделанная пристройка. Доски некрашеного крыльца еще не потеряли свежей желтизны, а водосточный желоб у края плоской шиферной крыши не был тронут ни единым пятнышком ржавчины.

В этой пристройке и жил Владик с отцом.

В узких сенях было темно и пахло новой рогожей. Владик дернул дверь, ведущую в комнату.

— Заходи.

Генка старательно вытирал о мешковину промокшие тапочки. Потом увидел светло-желтый пол комнаты и сбросил их совсем. Владик догадался по звуку:

— Ну зачем ты...

Генка бросил у порога мокрую куртку:

— А то еще наляпаю у вас тут.

В комнате было светло. Даже казалось, что солнечно, потому что на полу играли яркие желтые блики. В углу у двери прижимался к стене кособокий большой шкаф с пятнистым зеркалом. Он словно стеснялся своего неказистого вида и старался быть в тени. Даже зеркало его почти не блестело. А еще было три разных стула, длинная облезлая кровать, узкий диван, почти такой же, как дома у Генки, и широкий стол с чертежной доской. Видно, тетка снабдила родственников мебелью, что похуже. Только чертежная доска была светлая и новая. Конечно, не теткина. А на полу, вдоль стен, стопками лежали книги.

Кроме того, Генка увидел дверь, а за ней белый бок маленькой печки. Там была, наверно, кухня. Странно, что вход в нее был через комнату.

Пока Генка осматривался, Владик вытащил из-за шкафа свернутую в трубку бумагу.

— Проверь. Гладкая? — Он с громким шелестом развернул лист. — Я ее не мочил. Просто утюгом прогладил через полотенце.

Бумага в самом деле оказалась гладкой.

— Хоть сейчас можно дранки наклеивать, — согласился Генка. — Есть они у тебя?

— Есть. — Владик опять полез за шкаф. И вдруг остановился. — Гена, а как тот змей? Правда сбили его?

— Сбили, — небрежно сказал Генка. — Только все равно без толку. Мы вперед успели, подобрали.

— Я боялся, что он сам упал, — сказал Владик. И, помолчав, признался: — Не люблю, когда змей падает... У меня раньше падали.

— Но ведь тот... ну, последний... Он ведь хороший был, — пробормотал Генка. — Он же не сам...

— Сейчас они у меня получают, — сказал Владик. — Только я долго сижу над ними... Ну ладно. Если сейчас начнем, к обеду кончим. Еще ведь рано, да?

— Куда торопиться-то? Все равно дождь. И откуда его принесло?

— Я еще вчера знал, что принесет, — сообщил Владик, вытаскивая дранки. — Думаешь, он надолго? Он скоро кончится, вот увидишь.

— Вчера знал? — удивился Генка. — И не сказал ничего.

Владик насторожился.

— Ты бы не обещал, что придешь, да?

— Ну вот... Чего это ты? — досадливо ответил Генка. — «Не обещал». Из-за обещанья я, что ли, пришел?

— Я просто так... — негромко сказал Владик.

Генка, чтобы замять неловкий разговор, оглянулся: о чем бы спросить?

В углу, за диваном, он увидел большой черный футляр. Генка знал, что в таких футлярах носят баяны. Это, кстати, все, что он знал о баянах и вообще о музыке. Он был к ней равнодушен. Из всего, что за долгие столетия сочинили композиторы, Генка знал и любил две песни: «Эй, моряк, ты слишком долго плавал!» и кубинский марш «Двадцать шестое июля».

Но сейчас надо было о чем-то заговорить, и Генка шагнул к баяну. Щелкнул по футляру и спросил:

— Твой инструмент?

Владик не ответил. Он стоял спиной к Генке, и в руках его громко шелестела бумага.

— Владик, твой баян? — переспросил Генка.

— Это аккордеон, — сказал Владик.

— Ну, твой?

Владик толкнул за шкаф свернутую в трубку бумагу. Его узкие плечи как-то устало опустились.

— Ты как все, — почти шепотом сказал Владик. — Такой же.

Генка ничего не понял. Но почувствовал, что опять сказал что-то лишнее. Но что? И как ответить теперь?

Но Владик заговорил сам. Негромко, но с резкой, звенящей обидой:

— Про велосипед никто не спросит. Даже не верят. Удивляются, охают. А про эту штуку, — он безошибочно кивнул в сторону черного футляра, — каждому надо знать. «Твой?», «Учишься?», «Играешь?». А он и не мой! Это папа себе купил, а не мне. Думаешь, если... если человек ничего не видит, значит, ему только на гармошке играть, да? Думаешь, больше он ничего не может?

— Ничего я не думаю, — выдавил Генка и подумал, что хорошо бы сейчас оказаться далеко-далеко, если уж нельзя провалиться сквозь землю. Сколько раз говорил себе: «Не болтай лишнего!»

— Думаешь, очень мне нужна эта музыка... — повторил Владик.

Генка сморщился как от боли:

— Да ничего я не думаю. Ну, просто спросил.

— Кроме музыки, еще тысячи разных дел есть, — не оборачиваясь, проговорил Владик.

— Ты... ты как девчонка! — жалобно крикнул Генка. — Сам все выдумываешь, а потом обижаешься. Я же просто так спросил. Потому что здесь баян стоит. У любого бы спросил, если бы у него был баян. Хоть у кого! Понятно?

— Знаю я... — тихо сказал Владик. И было непонятно, что он знает: то ли что сам виноват в этом споре, то ли что нельзя верить Генке. Но ведь Генка не врал!

Теперь они молчали. И чем дальше, тем хуже было молчать. Наконец Владик примирительно произнес:

— Понимаешь, обидно, когда все одно и то же...

— Я понимаю, — поспешно откликнулся Генка.

Владик подошел и стал рядом. Опустил голову и покусывал губы, словно не решался в чем-то признаться.

— Хочешь... я покажу, — с запинкой начал он, — одну вещь. Только надо лезть на чердак.

Генка готов был хоть к черту на рога, лишь бы скорее забылась Владькина неожиданная обида.

Он даже куртку не надел, когда выскочил вслед за Владиком под дождь.

Владик первый взобрался на крышу дома по скользким от дождя перекладинам лестницы. Видно было, что лазил он здесь не один раз. Генка даже отстал немного.

Светло-серый ребристый шифер блестел, как мокрая стиральная доска. Там, где плоская крыша пристройки переходила в скат главной крыши, прилепилось что-то вроде крошечного домика. Это был вход на чердак. А недалеко от него торчал железный прут с жестяным широким флажком. «Флюгер», — понял Генка.

Владик согнулся и нырнул в темный квадрат чердачного входа. Пролез и Генка.

Сначала он увидел только темноту и смутные полосы деревянных балок.

— Вот... — с какой-то неловкостью в голосе начал Владик. — Здесь у меня... Понимаешь?

— Сейчас, — ответил Генка. Он ждал, когда глаза привыкнут к темноте.

Потом он догадался: шагнул в сторону от распахнутой дверцы — и стало светлее. «Бригантина», — чуть не сказал Генка.

Потому что в первую секунду чердак показался ему кораблем. Конечно, только в первую секунду. Никакой чер-

дак с кораблем не сравнишь. Но все-таки что-то похожее было: Генка вспомнил старый фильм, где высокие волны качали с борта на борт тяжелый трехмачтовый парусник, в темном трюме плескалась вода, а на мостике капитан в промокшей треуголке кричал в медный рупор красивые испанские ругательства. Почему это вспомнилось Генке? Может быть, пасмурный свет дождливого дня был похож на свет киноэкрана, а толстые балки чердачных перекрытий напоминали корабельные ребра — шпангоуты. Может быть, потому, что посвистывал и звенел влажный ветер. А самое главное — то, что на одной из поперечных балок блестели медью и никелем приборы.

Генка еще не разглядел, что это за приборы. Он видел только белые циферблаты и тонкие усики стрелок. И там же, на гвозде, вколоченном в балку, висела фуражка. Обыкновенная мальчишечья фуражка. Значит, Владькина. Висела она здесь как-то по-домашнему, словно в коридоре на вешалке. И Генка понял, что Владик бывает здесь часто, очень часто.

Может быть, Владик играет в корабль? Генка еще не очень понимал, в чем тут дело. Но он знал, что бывают игры, которые не просто игры, а связаны с чем-то важным. С какой-то мечтой или тайной. Он уважал такие тайны и знал, что нельзя их задевать ни любопытством, ни самой легкой шуткой.

Генка шагнул к приборам.

— Здорово устроено, — заметил он.

Слева висел будильник. Обыкновенный будильник, только без стекла. И цифры были не нарисованные, а выпуклые, вырезанные из картона.

— Знаешь, какой он точный! — сказал Владик. — За десять дней всего на полминуты убегает.

Справа поблескивал стрелками круглый барометр-анероид. Генка знал, что это за штука, видел у Шурика. Когда хотели поскорее узнать, какая будет погода, стучали по стеклу ногтем и смотрели, куда дернется стрелка. Генка

и сейчас хотел щелкнуть, но спохватился: как и на будильнике, здесь не было стекла. Медная стрелка-указатель торчала прямо вверх. Ее острый конец разделил пополам слово «переменно» и стоял на числе «76».

— Ага, — сказал Генка. — Ясно, как ты узнаешь про дождь.

— Ты барометр смотришь? — спросил Владик. — Думаешь, по нему узнаю? Можно и без него. Да и врет он часто. Все равно можно. Мне бы еще только термометр, чтобы стрелка была. Без стрелки я не могу.

— Бывают и со стрелками, — сказал Генка. — В Москве на университете есть такой, похожий на часы. Большущий.

— Я знаю. Только как устроен, не знаю. А то бы мы с папой попробовали сделать...

— Он тебе и это помогал устраивать? — Генка щелкнул по железному пруту флюгера, который проходил на чердак сквозь крышу.

— Нет, это я сам. — Владик сел на корточки и сжал прут в кулаке. — Тут все просто устроено.

Стержень внизу был закреплен на подставке с подшипником и поэтому легко вращался. На той же подставке, вокруг подшипника, лежало фанерное кольцо с делениями из наклеенных спичек и с выгнутыми из проволоки буквами: N, O, S, W. А над кольцом, прикрепленная к стержню, вздрагивала жестяная стрелка. Ее наконечник прыгал слева от буквы W, где-то у маленького деления, обозначающего, кажется, вест-зюйд-вест.

— ...И не надо лазить на крышу, — оживленно и немного сбивчиво объяснял Владик. — Ветер наверху... Там флажок двигается, а стрелка здесь ходит.

— Хорошо придумано, — рассеянно сказал Генка. Придумано было действительно неплохо, но Генка думал о другом. — Владик... Тут ведь все железное.

— Ну да. Из дерева делать плохо. Надо толстый шест

искать, а потом такую дырищу в крыше пробивать. Тетка бы лопнула от злости.

— Тогда хоть заземление надо сделать, — с хмурой озабоченностью предложил Генка. — А то он торчит над крышей, как громоотвод, только наоборот: громоотводы против молний, а этот притянет.

— Да ерунда, — торопливо сказал Владик. — Ничего не притянет. Это только так говорят.

Генка насупился и предупредил тихо, но сердито:

— Владька, я ведь серьезно. Вот спалишь дом.

Владик подпрыгнул, сел верхом на балку и закачал ногами.

— Ну и пусть! — заявил он как-то слишком весело. — А нам с папой скоро квартиру дадут.

— А эта... тетя ваша? В шалаше будет жить?

— Тю-у! Она новый дом построит! Думаешь, не построит? Ого!

Он пришпорил бадку и гикнул, будто пятилетний малыш, который вообразил себя верхом на горячем скакуне. Он веселился вовсю. Только было ли у него веселым лицо, Генка не видел: Владик сидел к нему спиной. Вдруг он сказал:

— Она, наверно, целых пять домов построит, если захочет. Всю жизнь деньги копит. Думаешь, она для нас эту пристройку делала? Для квартирантов. Студентов хотела в нее пустить. С каждого — по десятке. Ничего, она с нас не меньше дерет. Ты не думай, что жалко. Просто противно. Богу чуть ли не каждый день молится, про грехи какие-то бормочет, а сама такая... На людей ей наплевать.

— А она кто? Настоящая твоя тетка? Родная?

Владик раздраженно мотнул головой:

— «Родная, родная!» Ты прямо как мой папка! Он тоже доказывает... А мне хоть кто, хоть роднее всех. Если она такая...

Генка больше не спрашивал. Владик сидел, устало сгорбившись, будто проскакал на своем «коне» много

трудных километров. Потом он легко спрыгнул с балки и как ни в чем не бывало предложил:

— Пойдем, у меня там компас. Тоже сам сделал.

Он потащил Генку в дальний угол чердака. Там в пластмассовом бачке для проявления фотопленок плавала на пробковом кружке длинная сапожная игла.

— Я ее намагнитил, — объяснил Владик. — Такой компас очень точным считается. Только надо держать подальше от железа. Я не знал сначала и поставил возле флюгера. А потом догадался, что врать будет. Помнишь, в «Пятнадцатилетнем капитане» Негоро железо под компас сунул? Я, когда прочитал, догадался.

— Прочи... — начал Генка и осекся: опять Владик обидится.

Владик не то с усмешкой, не то со вздохом сказал:

— Не я, конечно, читал, а папа. Сам я редко читаю.

«Читает все-таки, — подумал Генка. — Кажется, бывают такие книги с выпуклыми буквами». Он набрался смелости и спросил:

— Есть такие книги, да? Специальные? — Он не решился сказать «для слепых».

— Есть, — недовольно ответил Владик. — Мало только. Там буквы проколами делаются. Я их не люблю, я обыкновенные буквы люблю.

Они сидели в дальнем темном углу, у компаса, на каких-то чурбаках, и Владик сказал:

— Знаешь, как я учился читать? Еще до школы. По спичкам. Папа на работу уходил, а я целый день один дома. Знаешь, как скучно!.. Маленький еще был. Тогда папа меня и начал учить, из спичек складывал. Сначала буквы, потом слова. Потом начал сказки сочинять. Я ночью сплю, а он сидит сочиняет, а потом спички на кусочки ломает, слова складывает. Сначала еще ничего, я плохо читал, сказки коротенькие были. А когда научился, знаешь как ему доставалось... Он иногда до утра сидел. А я же глупый был, мне лишь бы сказка получше да подлиннее.

Утром он уйдет на работу, я встану — и скорее к столу. Там уж газета, а на газете буквы. Если сказка длинная, мне на полдня хватало. Ползаю, разбираю... Надо ведь осторожно, чтобы спички не сдвинуть. Потом уж их папа приклеивать стал, потому что один раз окно было открыто, и ветер газету сдул... Уж я ревел! Бегал по комнате, кулаками махал, хотел ветер наколотить... Смешно, верно?

Было ничуть не смешно. Наоборот. Захотелось Генке сказать Владика какие-то хорошие слова. Про него самого и про его отца. Но таких слов Генка говорить не умел. И он лишь спросил небрежно:

— А в школе ты тоже в Воронеже учился?

— В Воронеже... И в Омске. В разных...

— В специальных?

Владик покачал головой.

— Нет. Не хочу я... В специальные интернаты... Там все время жить надо. А мы с папой... понимаешь, вместе все время.

— Понимаю, — шепотом сказал Генка.

— Я и в такой школе могу. Думаешь, не могу? У меня память хорошая, я все на уроках запоминаю. Писать в тетрадях только трудно. Ну, меня от чистописания все равно освобождали. И от рисования освобождали.

— Ты в каком теперь?

— В четвертый перешел, — вздохнул Владик. — Мог бы в пятый уже, мне почти одиннадцать. Но я как-то глупо родился, в сентябре. Когда в первый класс записывали, меня сначала не взяли. Говорят, потому что до семи полмесяца не хватает. На следующий год тоже не хотели, да я уж читать и считать умел. Одна учительница, Нина Сергеевна, меня в свой класс взяла, занималась, домой к нам ходила. Хорошая такая... А первый раз ох я и ревел, когда не приняли! — признался он. — Так же, как в тот раз, когда ветер сказку рассыпал...

«Он мне все рассказывает, — подумал Генка. — Почему? Может быть, потому, что ничего не видит и все для

него кругом как ночь, а ночью, говорят, люди бывают откровеннее?» Но Генка понимал, что это ерунда. Он чувствовал другое: Владик доверяет ему как другу.

— Я, когда маленький был, не любил ветер, — тихо сказал Владик. — Только уж потом полюбил, когда понял... От ветра знаешь как погода зависит! — Он поднялся и стал пробираться к флюгеру. — Слышишь, ветер сильнее стал и ровнее? Значит, скоро дождь кончится. Если ветер чувствовать, можно хорошо узнавать, какая будет погода...

— Это правильно, — согласился Генка.

Ломая на кусочки какую-то щепку, Владик вполголоса проговорил:

— Конечно... есть еще разные внешние признаки. Например, цвет неба, форма облаков. Облака — это ведь важно: перистые, кучевые, слоистые. Только ведь скажут, если надо, верно? Не один же я буду.

— Где? — морща лоб, спросил Генка. Опять он ничего не понимал.

Владик бросил щепки.

— Ну, где... На станциях. На зимовках. Где определяют погоду. Ты же знаешь.

«Ух ты!» — не то подумал, не то прошептал Генка. Потому что лишь в эту секунду пришла настоящая разгадка. Все встало на свои места, сделалось четким и понятным, словно в бинокле, когда повернешь окуляры до полной резкости. И деловитая стрелка флюгера над фанерной шкалой, и дребезжащий анероид, и Владькина фуражка на гвозде рядом с приборами, и сам Владька, не захотевший стать музыкантом. Владька, задумавший удивительное и дерзкое: стать метеорологом. «На станциях. На зимовках...»

В сумраке чердака пасмурный квадрат окна казался ярким и серебристым. По нему бежали рваные облака. Владькина фигурка в этом квадрате была совсем черной.

Он стоял спиной к Генке, тоненький, прямой и непод-

вижный. Что-то непонятное задело Генкину душу. Это «что-то» было тревожным и звонким, словно ждала далекая дорога и под синим грозовым небом горны проиграли походный сигнал.

Но ведь не было пока у Генки такой дороги. А у Владьки была...

— Ты не говори, — вдруг услышал Генка. — Никому не говори про это, ладно? Я тебе первому сказал, одному.

Генка кивнул. Он забыл, что Владик не увидит этого молчаливого согласия.

И, встревоженный молчанием Генки, а может быть, своими мыслями, Владик сбивчиво заговорил:

— Вот ты... как думаешь, получится это у меня? Если изо всех сил...

В голосе его вдруг прозвучало такое беспокойство, что у Генки холодок пробежал по спине.

— Получится, — тихо сказал он. — У тебя все получится.

Дождь кончился, и за ключьями низких облаков угадывалась солнечная желтизна. Ветер был еще сырой, но легкий и нехолодный. Генка и Владик выбрались на крышу. После сумрака и земляного запаха чердака небо и улицы показались Генке удивительно просторными и светлыми, а ветер приносил запахи мокрых трав.

— Ветер пахнет лесом, — сказал Владик. — Земляникой пахнет и листьями осины.

Он стоял рядом, и Генка чувствовал его острый локоть.

— Да, — ответил Генка, хотя не помнил, как пахнут листья осины.

Владик прислушался.

— Папа идет, — сказал он.

— Где?

— Ну, я не знаю. Далеко еще.

Генка зажмурился и напряг слух. Ему тоже захотелось услышать шаги Владькиного отца. Но он слышал только

незаметный шум дня: шорох ветра, далекий гул машин, голоса прохожих, басовитые гудки буксиров, музыку репродуктора... А потом звякнула калитка, и Владик весело крикнул:

— Ага, пришел! — Это прозвучало, как «ага, попался!». — А говорил, что до вечера...

От калитки шел высокий человек в сапогах, серой кепке и мешковатом темном костюме. Доски прогибались под сапогами. Лицом он показался Генке похожим на испанца: прямой нос, узкий подбородок, волосы на висках подстрижены низко, как у тореадора, которого Генка на прошлой неделе видел в киножурнале. Но губы были широкие и мягкие, а волосы светлые. Все это Генка разглядел, когда Владькин отец остановился и поднял голову.

Он улыбнулся Генке глазами, а Владiku ответил:

— Не получилось до вечера. Прогнали.

Владик испуганно качнулся вперед:

— Кто?

— Начальство, — засмеялся отец. — Ты не свались... До послезавтра приказано на работу не являться. Говорят, без меня теперь управятся. Вот как...

— Ура! — тихо, но энергично сказал Владик. — Это они правильно.

— Что же делать, будем загорать.

— Папа... — сказал Владик.

— Ну?

— Ты готов?

— Давай.

— Держи!

Владик стремительно согнулся и прыгнул вперед, с крыши. У Генки внутри что-то оборвалось. Он чуть не крикнул. Но руки отца подхватили Владика у самой земли и удержали на весу.

— Приземлились, — сказал Владик и важно покачал головой.

Генка вспомнил своего отца. Как он уехал. Какая-то

смесь обиды и зависти качнула его вперед, как волна. Не думая, Генка шагнул к самому краю крыши и тоже прыгнул.

Он прыгнул не глядя. Ноги скользнули по мокрым доскам. Он упал на бок и ударился локтем. Так что искры и слезы из глаз. Стараясь не морщиться, Генка сел и увидел над собой Владькиного отца.

— Жив?

— Жив, — сказал Генка и попытался улыбнуться.

— Ну надо же догадаться! Кости целы? Вставай тогда. — Он приподнял Генку за плечи. — Тут ведь дело не простое. У нас с Владиком все рассчитано, а ты сразу — бултых!

— Ничего, — сказал Генка, пряча влажные глаза. И добавил уже совсем глупо, сам не зная зачем: — А вы и не похожи вовсе на инженера. Я думал, вы не такой.

— Какой есть, — улыбнулся Владькин отец. И кажется, не удивился.

А Генка чувствовал, что несет чепуху, которая показалась бы смешной даже малышу Ильке. И все-таки нес:

— У меня отец тоже инженер. Тоже не похож. Наверное, все настоящие инженеры не похожи на инженеров.

— А это мысль, — сказал настоящий инженер.

Владик тронул Генку за рукав.

— Ну я и перепугался, — признался он.

— Пустяки, — ответил Генка. — Я пойду. Надо мне домой.

— А то оставайся, — предложил отец Владика. — Сейчас полную сковородку картошки соорудим. — Он обернулся к Владiku: — Ты начистил?

Владик вздохнул и зацарапал ботинком по крыльцу.

— Ну, я так и знал, — печально сказал отец. — Конечно, забыл?

— Сейчас начищу, — заговорил Владик. — Долго, что ли...

— «Долго, что ли»!.. Горе ты мое! Про крышу небось не

забыл, — усмехнулся отец. И обратился к Генке: — Слазить на крышу он никогда не забудет. Вот уродился чертеняка! Что с ним делать, не знаю. Лупить, что ли?

- Лупи! — весело сказал Владик.
- Неудобно как-то. Большой уже.
- Раньше надо было, — охотно согласился Владик.
- Вот ломаешь шею...
- Я?!

Генка молча слушал их, и ему не хотелось уходить. Но он опять сказал:

- Я пойду.
- Придешь потом? — спросил Владик.
- Завтра. Завтра утром. Можно?
- Вот вопрос! — удивился Владькин отец. — Ты, Гена, разбудить нас не бойся. Мы, как говорят, с петухами встаем. «Имя знает, — подумал Генка. — Значит, Владик говорил про меня».

За калиткой Генка вспомнил, что забыл куртку. Но уже проглядывало солнце, и он не стал возвращаться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утром за Генкой увязался Илья. Откуда он узнал, что Генка идет к Владу, совершенно непонятно. Он вылетел из-за угла, расстегнутая рубашка полоскалась за спиной.

Тормознув сандалией, Илья выдохнул:

- Ген, я с тобой. Ладно?
- Слушай, Гонец, — сказал Генка, — лети в другую сторону.

- Ну, Гена...
- Я кому говорю!

Илья сказал потускневшим голосом:

- Жалко, да?
- Жалко.

Илья опустил голову и прошептал:

- Я же не буду мешать.

— А что ты там будешь делать?

— Смотреть, — сказал Илья и с надеждой глянул на Генку.

— Что тебе там, кино? — разозлился Генка.

— Змея смотреть, — жалобно объяснил Илья. — Вы делать будете, а я учиться буду.

— Откуда ты знаешь, что мы будем делать?

Илья вздохнул:

— Догадался...

— Где не надо, ты догадливый! — проворчал Генка. — А там возьмешь да ляпнешь что-нибудь.

— Не ляпну, вот увидишь.

— Я тебе дам «увидишь»! Ты эту привычку брось, если хочешь туда пойти. Вообще такие слова забудь: «увидишь», «смотри», «глаза». Понял?

Илья понял.

— Да, еще... — хмуро сказал Генка. — Не вздумай его о матери спрашивать.

— А где она?

— Откуда я знаю! Они вдвоем с отцом живут.

— Умерла, значит, — тихо сказал Илья. — Я не буду... Вот у нас тоже, когда папа умер...

Он не договорил, а Генке стало неловко за свою суровость.

— Ну, пойдём. Только не скажи как козел.

Илья не скакал. До самой Владькиной калитки он шел задумчивый, погрузневший.

Но все-таки один раз Илья ляпнул. Когда знакомился с Владькиным отцом. Тот поставил Илью между колен и, чуть улыбаясь, выспрашивал:

— Как звать-то? Илья? Илья, значит. Илья-пророк... Ну-ну! Значит, Илюшка. А меня — Иван Сергеевич. Можно и проще — дядя Ваня.

— Лучше уж Иван Сергеевич, — сказал Илья, просто душно глядя на Владькиного отца. — У нас есть сосед дядя Ваня. Пьяница ужасный. Жена каждую субботу его из канавы домой на тачке возит. А он только мычит.

Генка довольно крепко хлопнул Ильку между лопаток. Илья смутился и стал разглядывать свое колено, смазанное зеленкой.

Иван Сергеевич и Владик захохотали. Владька даже ногами заколотил по дверце шкафа — он сидел на гардеробе, что-то искал там.

Генка смотрел на Владькиного отца виновато, словно извинялся за Ильку: что возьмешь с малыша...

— Папа, — отсмеявшись, начал Владик, — а здесь тоже нет клея.

— А я при чем?

— Ну, ты же убирал.

— Убирай сам. Сколько раз говорил: ставь на место.

— А на том месте твои лампы лежали.

— Отодвинул бы.

— Ну да! Начну отодвигать и шандарахну об пол.

— Я вот тебе тогда шандарахну... Что ты там дрыгаешься? Сам сейчас на пол слетишь.

— Конечно, — сказал Владик. — Потому что клей — вот он. Отойдите! — И он с грохотом прыгнул со шкафа. — Илья, забирай бумагу.

С Илькой он разговаривал так, будто они всю жизнь были знакомы. Илья, видно, тоже никакой неловкости не чувствовал. И Генка успокоился.

— Мы на крыльце будем клеить, — сказал Владик. — Папа, а ты ниток дашь?

— Куда вас денешь...

Владик с бутылкой клея шагнул к двери. Илья и Генка двинулись за ним.

— Гена! — окликнул Иван Сергеевич. — Подожди секунду. Помоги-ка шкаф отодвинуть. Владька за него мои чертежи завалил. Достать надо.

— Я завалил?! — возмутился Владик. — Они там целую неделю валяются! Дай я сам отодвину.

— Иди, иди...

Генка и Владькин отец остались вдвоем. Они легко отодвинули скрипучий гардероб от стены: видно, он не был набит имуществом до отказа. Иван Сергеевич отрянул пыль с трубок ватманской бумаги. Потом повернулся к Генке и, глядя без обычной усмешки в глазах, спросил:

— Ну, как?

— Что? — насторожился Генка.

— Ну, вообще, — сказал Иван Сергеевич. — Как дела у вас?.. Как мой Владик?

— А что, — стесненно сказал Генка. — Все в порядке. Обыкновенно.

— Не хуже других?

— Чем он хуже... — глядя в сторону, сказал Генка. — Он даже... Вон он какого змея построил. У нас такой никто не может. И вообще он...

В этом «вообще» заключалось очень много, но говорить о таких вещах Генка не умел.

— Знаешь, Гена, — заговорил Иван Сергеевич, — эти дни он ходит такой, будто подарок получил. Хотя нет, он подаркам не очень радуется. Тут другое. Будто он чего-то хорошего ждет. Про тебя рассказывал.

— А чего про меня рассказывать... — смущенно пробормотал Генка.

— Да так... Худо ведь ему одному. А тут ты появился. Сегодня вот еще Илюшку привел. Для него это радость такая, для Владьки... Боится только.

— Чего? — удивился Генка.

— Боится. Думает, что походишь ты и бросишь.

— Что я, дорогу забуду? — грубовато сказал Генка и сам испугался своей резкости.

Но Иван Сергеевич ничего не заметил.

— Как-то не везло ему на друзей, — продолжал он. — Ребят, конечно, много было. И в школе, и у соседей. Только сторонились они его как-то, стеснялись, что ли. И жалели. Ты его не жалея.

— Его пожалеешь! — сказал Генка.

— Он этого не любит. — Иван Сергеевич забыл про чертежи. Он стоял рядом с Генкой, придерживал его за плечо. Генка не видел его лица, он не решался поднять глаза. Иван Сергеевич помолчал и повторил: — Не любит. Мы оба жалости не любим. Живем вот вдвоем, ничего... Ты его о матери не спрашивал?

— Я ни о чем не спрашивал, — быстро сказал Генка. — Он сам рассказывает, если что надо.

— Ну и ладно. Ты с ним про это не говори.

— Она умерла? — напрямик спросил Генка, чтобы наконец решить этот вопрос.

Иван Сергеевич отпустил Генкино плечо, поднял с пола и бросил на шкаф ворох ватманских трубок.

— Разные бывают люди, Гена, — глуховато сказал он. — Ушла от нас она. Еще до того, как эта беда случилась с Владькой.

— Разве... — вырвалось у Генки. — Разве Владик... не всегда так?..

— Думаешь, он слепой родился? Нет. Это случай. Такая глупая история вышла. На берегу были бревна свалены кучей, и забрался под них котенок. Вот ребята и полезли выручать. И Владька. Три года было, а туда же... Ну, раскатились бревна. Кому руки-ноги поломало, а он упал и затылком о бревно... Так вот и получилось. Пока надежда была, пока по врачам его таскали, по больницам, я молчал. Потом написал ей. Она сперва письма посылала: вернись, приеду скоро. Потом перестала. Может быть, я это зря тебе говорю. Ну ладно, это так уж... Чтобы знал. Владька об этом не скажет... Давай придвинем.

Они придвинули к стене шкаф. Иван Сергеевич отошел к окну. Генке показалось, что в его движениях сквозит умело скрытая, но большая усталость.

Генка не знал, может ли уйти. И спросить не мог: он боялся, что Владькин отец обидится.

Иван Сергеевич словно очнулся:

— Ну, беги. Сооружайте свой космолет... Здесь хорошо, вот в Воронеже этим делом плохо было заниматься: дом большой — на крышу нельзя. А у вас простор.

— Вы теперь всегда в нашем городе будете жить? — спросил Генка.

— Пока будем. А вообще, кто знает, у меня работа такая, приходится ездить. Да ты ведь знаешь. Твой папка тоже...

— Да, — сказал Генка. — Только он один ездит.

— Ну, это понятно. У вас тут дом. Хозяйство большое, наверно.

— Да нет, — сказал Генка. — Дом что... Развалюха. Бабушка тут. Куда ей по тайге мотаться. И одну не оставишь.

Вообще, все, конечно, было сложнее. Генка помнил один разговор. Отец тогда предлагал: «Поедем». Он говорил, что есть новый поселок, что скоро, может быть, дадут квартиру.

— Ну, дадут, — сказала мама. — А через три месяца опять на голое место ехать. Хорошо это?

— Дело вкуса, — ответил отец. — Кому плохо, а кому и хорошо. Лучше, чем при своем курятнике да при огороде жизнь прожить.

— Дурень ты, — ласково сказала мама. — Дом, что ли, мне жалко? Век бы его не было, развалины этой. Только куда я там денусь, на твоём строительстве? Троллейбусы там у вас не ходят.

Но отец не смягчился.

— Нашлась бы работа. Подумаешь, диспетчер. Велика квалификация!

— Велика — не велика, — сухо сказала мама, — а люди уважают. Знают все меня, и я всех знаю. Я здесь с кондуктора начинала.

Генка редко видел маму такой. Обычно она была усталая и немного растерянная от постоянных забот и огорчений. А сейчас говорила хотя и негромко, но твердо. И сле-

лалась как-то строже. Наверно, так мама разговаривала с водителями, которые опаздывали на конечную остановку, или диктовала своим подчиненным новые графики движения.

Отец махнул рукой:

— С вами не договоришься!

— Гене тоже не дело из школы в школу болтаться.

— Ему все равно, где дурака валять. Там он, может быть, скорее за ум взялся бы. Посмотрит, как люди работают, поймет, что к чему. Самому захочется человеком стать.

— Ничего, — сказала мама. — Людьями везде становятся. Не только на ваших стройках. Сам-то давно ли увольняться хотел?

— Не для того, чтобы на одном месте сидеть.

— Да уж где тебе на месте...

Вмешалась бабушка:

— Обо мне-то уж и думать, выходит, не надо? Как мне жить-то теперь: с вами по дорогам мыкаться или здесь одной век доживать? Чего лучше-то?

— Вот я и говорю, — сказала мама. — Были бы мы с ним одни, тогда еще можно подумать.

— Ну, думайте, — невесело усмехнулся отец и ушел на пристань один...

А Генка не знал, радоваться или огорчаться, что разговор кончился ничем. Поехать, конечно, хотелось. Но тогда, как и сейчас, был август и высоко-высоко, в косматых кронах тополей, в облаках, закипали ветры. Жаль было Генке этих ветров и солнечных крыш, над которыми ревели трещотки уходящих в высоту «конвертов».

Потом-то уж он по-настоящему горевал, что отец не уговорил мать и бабушку. Может быть, в школе таежного поселка было бы легче. Может быть, там учат не английский язык, а немецкий. Или даже французский. В некоторых школах, говорят, даже испанский изучают. Испанский — вот это да!

Но не стал Генка говорить Ивану Сергеевичу обо всех

этих вещах. Зачем? Он переступил с ноги на ногу и полупропорительно сказал:

— Пойду я...

— Ну, шагай. Ждут уж они.

Генка вышел на крыльцо и увидел, что его друзья даже думать забыли про змея. Брошенный лист бумаги трепыхался на ветру. Он улетел бы, пожалуй, но один угол его был прижат бутылкой с клеем.

А Илька и Владик веселились вовсю!

Глухо стонала опрокинутая бочка, содрогалась и скрипела переброшенная через нее доска, но жалобы их были не слышны, потому что на весь двор хохотали двое отчаянных мальчишек. Еще недавно доска была частью тротуара, а бочка стояла под водосточной трубой. Но теперь это были качели. Илька на одном конце доски, Владька — на другом. Вверх, вниз! «Бедная Владькина тетка», — подумал Генка.

У Владика растрепались волосы. Он качался, не держась за доску, и сквозь смех что-то кричал Ильке. Но тот не слышал. Конец доски у Ильки был длиннее и поднимал своего легкого седока почти на два метра. Илька смешно, по-лягушачьи, растопыривал исцарапанные ноги, взвизгивал от восторга и радостно вопил на весь двор:

— Во, Владька!.. Я до неба!.. Всю землю видать!.. Даже за забором!.. — Он крутил головой на тонкой шее и был похож на клетчатую бабочку, потому что рубашка взлетала над плечами, как пестрые крылья. — Во, как с крыши!.. Все видать!..

Генка сдавленно крикнул:

— Илька! — И шепотом добавил: — Болван!

Но Илька слышал лишь свои радостные крики.

Зато Владик услышал Генку. Он повернул смеющееся лицо и, взлетая над землей, закричал:

— Эй, Генка! Хочешь с нами?!

Сам он сидел на доске, заложив руки за спину, и был похож на маленького черного наездника, усмирившего дику лошадь.

— Охота мне шею ломать! — сказал Генка.

Ему не хотелось качаться. Он прислонился к косяку и смотрел на Ильку и Владика с усмешкой, как взрослые смотрят на разыгравшихся малышей. После разговора с Иваном Сергеевичем Генка чувствовал себя немного уставшим и повзрослевшим.

Илька по-прежнему хохотал и что-то выкрикивал, но Генка уже не боялся: Владька все равно не обращал внимания.

— Еще немножко! — крикнул он Генке. — Покачаемся и за змея возьмемся!

— Качайтесь, — сказал Генка. — Куда торопиться?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Западная окраина города лежит на широком пологом холме. Этот холм обрывается у реки крутыми глинистыми откосами, а с другой стороны спускается к городскому центру длинным, почти незаметным склоном.

Если шагать по старым улицам вверх, к водонапорной башне, то даже не чувствуется, что дорога ведет в гору. Но остановишься, повернешься лицом к востоку, и сразу видно: высоко забрался.

Весь город как на ладони: разноцветные корпуса новых кварталов, трубы и стеклянные крыши станкостроительного завода, зеленая туча центрального парка, блестящий шпиль клуба речников с горящим на солнце якорем, серебряный пояс реки, краны над пристанью и, как строгий часовой, тонкая высокая телевышка.

Улицы западной окраины самые высокие. Но больших зданий здесь нет. Две четырехэтажные школы, больница, кино «Север» — вот, пожалуй, и все. Остальные дома деревянные, небольшие и главным образом одноэтажные.

И заборы деревянные, потемневшие от дождей. Кое-где у этих заборов бродят худые козы с грустными коричневыми глазами и щиплют листья лебеды и лопухи, пробившиеся сквозь узкий асфальтовый тротуар. А во дворах сердитые домохозяйки колдуют над помидорными и земляничными грядками и зорко поглядывают кругом: не пробрались ли сюда за добычей мальчишки.

Но мальчишкам не до этого. Плевать им сейчас на помидоры и землянику с высоты своих крыш. С запада дует плотный, ровный ветер. Здесь не мешают ему многоэтажные дома, и он течет над улицами холма широкой воздушной рекой.

Мальчишки под негодующие крики матерей и соседок взбираются на дома.

Крыши — взлетные площадки. С них поднимаются к желтым облакам пестрые гудящие «конверты». А еще выше, туда, где синева прошита белыми нитками реактивных лайнеров, улетают мысли, мечты о такой высоте, когда облака остаются внизу и кажутся комочками ваты, лежащими на зеленых лоскутках лесов и степей. И еще выше. Здесь, на этих крышах, начинаются звездные дороги.

Генка и Владик стоят у флюгера, на самом гребне. Спина к спине, затылок к затылку. Вот так, прислонившись друг к другу, удобнее стоять на скользком шифере, прочнее.

Владик пониже ростом, и его отросшие волосы щеко-чут Генкину шею. Еще Генка чувствует, как ходят под майкой острые Владькины лопатки. Владик медленно «качает» нитку, пробует, как держится змей. Нитка тянется от зажатой в кулаке катушки через Владькино плечо, мимо Генкиной щеки к белому «Фрегату».

«Фрегат» — Владькин змей. Выпуклый, как парус, большой. Правда, сейчас он стоит высоко и не кажется большим.

Генка тоже держит нитку. Он поднял «Кондора».

Это вопреки всем правилам. Нельзя запускать с одной крыши два змея: порывом ветра их может запутать, и тогда погибнут оба. Но Генке и Владу хочется быть вместе. Стоять здесь вдвоем, чувствовать живое дрожание нитей, тугую силу ветра, солнечное тепло и понимать друг друга с полуслова.

— Десять, — говорит Владик. Это значит, что он хочет поднять «Фрегат» еще на десяток метров.

— Давай.

Нитка начинает медленно скользить мимо Генкиного уха.

«Фрегат» качнулся вверх и снова стоит неподвижно. Трещотки «конвертов» гудят ровно и басовито, почти одинаково. Только если очень прислушаться, можно заметить, что у «Кондора» звук чуть ниже.

Генка смотрит на город. Стекланные крыши завода играют далекими солнечными вспышками. Кружатся у старой колокольни белые и сизые голуби, стайкой проносятся рядом с рыжим «Шмелем» Яшки Воробья. Яшка все-таки опять его запустил. Трещотка «Шмеля» ревет так, что даже здесь слышно. А голуби не боятся, кружатся рядом. Значит, врут их хозяева, что птицы не выносят трещоток.

— Владь, слушай, — говорит Генка. — Голубятники новую пушку придумали. Ракетную установку, чтобы наши змеи посшибать! Вчера испытывали.

— Взорвалась?

— Просто сгорела. Они для топлива опилки в керосине вымочили. Ну и костерчик был! Серегина бабушка чуть со страху не померла. Серегу до сих пор из дому не пускают. И голубей отец продать хочет.

— Жалко.

— Голубей?

— Серегу этого все-таки жалко. Любит он, наверно, голубей, — говорит Владик.

— Любит, конечно... А я не люблю, — признается Генка.

— Почему?

— Ну, так. Бесполезные какие-то. Про домашних я не знаю, может быть, они хорошие. А дикие — как настоящие тунеядцы: по асфальту целыми стаями ходят, корм выпрашивают. Толстые, как свиньи.

— Я не помню, какие голуби, — тихо говорит Владик.

Генка молчит.

— Белые? — спрашивает Владик.

— Белые, — смущенно отвечает Генка. — Коричневые бывают. А больше всего сизые. Белые еще ничего, а сизых я не люблю.

— В «Севере» фильм «Прощайте, голуби» идет, — говорит Владик. — Гена... сходим, а?

Генка не отвечает.

Он старается не показать своего удивления. Но и что сказать, он не знает. Владька — в кино?!

— Я хоть послушаю, — говорит Владик. — Мы иногда приемником телепередачи ловим. Знаешь, как интересно, если картину передают... Сходим?

— Сходим, — решительно отвечает Генка.

Он уже понял: Владик и здесь хочет быть как все. Ладно, они сходят в кино, хотя этот фильм Генка видел два раза...

«Кондор» стоит ниже «Фрегата». Что делать, у каждого змея свой потолок. Высота зависит не только от силы ветра. Важно еще и то, сколько ниток может поднять «конверт». Ведь нитки — это груз. Кажется, велика ли тяжесть, а посмотрите, как они провисают в воздухе! И тянут змея к земле. Чем больше «конверт», тем прочнее и толще должны быть нитки. Значит, и тяжелее. А если его сделать маленьким, трудно ему будет удержаться в потоках ветра. И надо чувствовать, надо рассчитывать так, чтобы змей получился не маленький и чтобы нитка была полегче.

Владик это умеет. В его тонких, быстрых пальцах будто спрятаны крошечные точные приборы, которые не могут ошибаться. Они выбирают нужный вес и толщину дранок, чувствуют упругость и плотность бумаги, легко находят центр тяжести змея. Генка может лишь завидовать, хотя он не новичок среди змеевиков. Но он не завидует.

Он просто смотрит на «Кондор» и «Фрегат», и ему хорошо. Генка зорко следит, чтобы два змея не сошлись очень близко. Если это случится, Генка рывком выпустит метров двадцать нитки. Она размотана заранее и петлями лежит у его ног. Тогда «Кондор» сразу «клюнет», уходя вниз от столкновения.

Нитка дрожит, передавая пальцам беспокойство ветров; «Фрегат» почти неподвижен, «Кондор» медленно ходит вправо и влево, словно высматривает добычу. Генка следит. Он должен следить за двоих.

Владик стоит лицом к ветру. Как всегда...

— Странный ветер, — говорит Владик.

Генке ветер не кажется странным. Обыкновенный. Хороший. Генка слегка пожимает плечами. Владик это чувствует.

— Слишком теплый ветер, — объясняет он. — Это не циклон.

Генка таких тонкостей не понимает. Все ветры, дующие в августе, кажутся ему одинаковыми.

— Как бы чего не было... — задумчиво говорит Владик.

— А чего? — спрашивает Генка.

— Не знаю пока... Чувствуешь, он перешел немного к югу?

— Ну, чуть-чуть.

— Теплый... Вот бы термометр сейчас!

— Скоро будет, — оживает Генка. — Шурка Черемховский обещал сделать. Со стрелкой, как ты говорил.

— Шурка?

— Помнишь, который рассказывал, что марсианские спутники — искусственные. Когда мы в Илькином дворе «Аэлигу» читали.

— Помню... А он разве может?

— Шурка? Он уже за шестой класс весь учебник прочитал по физике. И за седьмой тоже. Он такие штуки может делать! Вообще-то он не очень... Вареный какой-то. Шума не любит. Но он умный. Он объяснял, как хочет сделать, только я не помню. Какая-то проволока там будет. От тепла расширяется, от холода сжимается.

— Хорошо бы...

— Владька! — вдруг вспоминает Генка. — Ты почему не пошел с Илькой, когда он звал «Аэлигу» дальше слушать?

Владькины лопатки вздрагивают.

— Ну? — хмуро спрашивает Генка.

— Занят был.

— А что делал?

— Ну... не помню.

— Врешь, — говорит Генка. — Даже Илька догадался, что ты врешь. Ты сидел и ничего не делал.

Владик резко шагает вперед, и Генка, потеряв опору, чуть не валится навзничь.

— Ну, вру, — звонко говорит Владик. — А вы... вы же нарочно собираетесь и читаете. Только для меня. Вы же эту книгу читали!

— Дурак! — с удовольствием произносит Генка. Он шагает спиной вперед и снова прислоняется к Владику. — Нет, в самом деле. Читали. А нам второй раз тоже интересно. Мы вчера и без тебя читали, все равно. Двадцать три страницы. Теперь будешь дальше слушать и не поймешь ничего. Сам виноват.

Владик вздыхает. Генке кажется, что вздыхает он с облегчением.

— А помнишь, как Илька все спрашивал: «Это по правде было?» Забавно, — говорит Владик.

...Генка считает в небе «конверты». Один, два... пять... девять... Ого, вон еще два: «Сатурн» и «Битанго».

— Одиннадцать змеев, — говорит Генка. — Здорово сегодня! А «Фрегат» все равно выше всех.

Владик скромно молчит. Но, конечно, он рад.

— Стоп, внимание! — командует Генка. — Сигналы... Это Воробей с нами здороваётся. Три белые «телеграммы» — это тебе. Две зеленые и белая — мне. Какой вежливый стал Воробей!

— Ответим?

— Бумаги нет. Для его позывных желтая бумага нужна... Давай просто качнем.

Они несколько раз коротко дергают нитки, и «Фрегат» с «Кондором» снисходительно кивают Яшкиному «Шмелью». Неуклюжий «Шмель», не ожидавший такой чести, начинает кивать в ответ, радостно дергается, мотает хвостом и, не удержавшись на высоте, начинает круто падать к дальним крышам.

— Допрыгался, — мрачно говорит Генка. — Закувыркался.

— Упал?

— Как железный.

— Надо выручать, — вздыхает Владик.

— Не надо, без нас подберут... Вон «Битанго» сигналил, что подберет. Антошка Калинов.

— «Битанго»... — повторяет Владик.

— Непонятное имя какое-то, — говорит Генка. — Антон всегда выдумывает.

— Непонятно? — переспрашивает Владик. — Это испанское слово. Это и значит — «воздушный змей».

— Ты учил? — удивляется Генка. — Испанский?

Владик качает головой, и волосы его опять щекочут Генкину шею.

— Да нет... Я не учил. Мы с папой немного пробовали, когда у него отпуск был. Немного слова учили, слов по десять на каждую букву. Только времени не было, до буквы «Б» дошли и бросили. Ну, вот попалось это слово... Ты в школе английский учишь?

— Английский, — бормочет Генка и настороженно замолкает.

Владик ничего не знает о его школьных неудачах. Он спросил однажды Генку: «Ты в каком классе?» — «В пятом», — невнятно сказал Генка. Это можно было понимать как хочешь: и «учился в пятом», и «перешел в пятый». Владик больше не спрашивал. Может быть, почувствовал, что Генке не хочется отвечать.

— Мне через год тоже английский учить придется, — говорит Владик. — Ничего, папа учил когда-то, он поможет. В пятом классе толстый учебник?

— Тонкий...

Генка вспоминает свой учебник. По-прежнему он валяется за поленницей. Ну и пусть. Говорят, в этом году у пятиклассников будут новые учебники, не такие. Может быть, по ним легче заниматься. И еще, говорят, уйдет на пенсию Вера Генриховна. Тоже хорошо. С новым учителем дела у Генки пойдут, наверно, лучше. Год, конечно, пропал, но зато Генка все начнет сначала. Это ведь тоже непросто. Он сам читал в какой-то книге: «Надо иметь мужество, чтобы все начинать сначала». Вот он и имеет...

Успокоив себя, Генка прогоняет мысль об английском. Небо голубое, и облака наполнены солнцем. Басовито гудит у пристани теплоход.

— Слышишь? Прощается, — говорит Владик.

— Это «Рахманинов», — говорит Генка.

— Гена...

— А?

Владик нерешительно молчит. Генка ждет.

— Послушай, — начинает Владик. — Я рассказать хочу... Вот ночью иногда так бывает. Я не сплю, а они гудят. Разные голоса — тонкие, густые, тихие, громкие... Знаешь, я думаю иногда, что за окном не огород теткин, а море. Будто порт большой и корабли у причала. Маленькие, большие. Уходят, приходят. И огни кругом в воде отражаются... Смешно, верно?

Он всегда так спрашивает, когда совсем не смешно. И Генка теряется.

— Побывать бы на море! — тихо говорит Владик. — Ты бывал?

— Бывал. Один раз в Одессе. У нас там дядя живет, мамин брат. У самого моря.

— Синее?

— Синее, — говорит Генка, хотя море разное. Если штормовое, то совсем не синее. Но объяснить, какое оно, море, Генка все равно не сумел бы.

— Побывать бы! — повторяет Владик. — Мы все равно побываем, я папу уговорю, чтобы в следующий отпуск поехать.

— Поедете, — говорит Генка.

Он знает: Владька упрямый и все равно добьется, если задумал. Маленький, а упрямый. Генка вспоминает, как Иван Сергеевич недавно рассказывал: «Хотел его в интернат для слепых устроить. А он ни за что! Я ему говорю, что там и жить веселее, и учиться легче. Учебники там специальные, и вообще все приспособлено. А он в слезы... Ну, я переждал, а потом говорю: «Все равно поедешь». А он сел за стол, кулаками щеки подпер и так спокойно уже: «Все равно не поеду». — «Поедешь!» — «Нет, хоть убивай». — «Убивать не буду, а поедешь!» — «Без тебя никуда не поеду»... Ну, вот так и живем...»

— Гена, облака большие? — спрашивает Владик.

— Не очень.

— Белые?

— Желтые от солнца. Светло-желтые.

— Я их во сне часто вижу, — говорит Владик. — Белые, розовые. И грозовые. Они такие темно-синие, когда грозовые, да?

— Да, — почти шепотом отвечает Генка. Ему трудно разговаривать об этом с Владиком.

— Я помню... — говорит Владик.

Генка долго не решается сказать одну вещь. Но очень хочется помочь Владиду, и он побеждает неловкость:

— В газетах пишут, что такие люди есть, которые паль-

цами видят. Цвет могут определять, книжки читают. И свет чувствуют. Только тренироваться надо.

— Пробовал я, — говорит Владик с короткой усмешкой. — Даже пальцы смозолил. Не выходит.

«Зря я начал», — думает Генка.

Владик медленно, словно вспоминая, произносит:

— Иногда... у меня такие пятна перед глазами... Будто размытая краска. Понимаешь, не сплошная чернота, а мутные такие пятна... разноцветные... Вот я и думаю: значит, какие-то нервы работают?

Что может ответить Генка? Да Владик и не ждет ответа. Он стоит, пощипывая у плеча нитку «Фрегата», как струну. Генка не видит это, но чувствует. И кажется Генке, что Владик слушает незаметный звон струны-нитки.

— Илька бежит, — вдруг говорит Владик.

И Генка тоже слышит сухое шелканье сандалий.

— Ген, тебя домой зовут!

— Кто зовет?

— Бабушка сказала!

— Зачем?

— Не знаю! Говорит, обязательно!

— Я пойду, — вздохнул Генка и начал сматывать нитку на широкую фанерную «вилку». Мотать на катушку было некогда.

Илька стоял внизу, запрокинув голову, и подпрыгивал от нетерпения, будто ему, а не бабушке до зарезу был нужен Генка.

— Придешь? — спросил Владик, когда Генка был уже на лестнице.

— Конечно.

Генка вышел из калитки с «Кондором» под мышкой и, сердито глянув на незваного Гонца, зашагал домой. Илька запрыгал рядом. Только прыгал он как-то неуверенно, нехотя. И наконец перестал совсем.

— Гена, знаешь что?..

— Что?

— Гена, тебя бабушка не звала. Это я нарочно.

Генка остановился.

— Илька, — прищурившись, сказал он, — пошутить захотелось, да? Вот как врежу по башке...

Но он знал, что не врежет. Нехорошее предчувствие уже шевельнулось в нем. В самом деле, не для шутки же вызвал его Гонец.

Илька и не обратил внимания на Генкину угрозу.

— Меня Яшка послал, — хмурясь, объяснил он. — Тебя твоя учительница ищет, вот. А при Владике Яшка говорить не велел.

Нет, ни в чем не виноват Гонец. Он сделал все как надо. И Яшка тоже. Но Генке стало тошно и противно.

— Расскажи, — велел он.

Илька рассказал. Оказывается, когда Яшка побежал выручать упавшего змея, ему повстречалась Вера Генриховна. Яшку она знала, потому что в прошлом году он с разбега налетел на нее в коридоре, свалился и сломал ей указку. Сейчас он снова чуть не налетел, встал с перепугу как вкопанный и выпалил: «Здрасьте!» — «Здравствуйте, Воробьев», — сказала Вера Генриховна, а затем справилась, не известно ли Воробьеву, где живет Гена Звягин из пятого «В». Яшке это было известно. Однако он догадался, что у Генки нет желания встречаться с учительницей. Поэтому хитрый Воробей пробормотал, что дома у Звягиных никого нет, что Генка вроде бы заболел и пошел в больницу, а ему, Яшке, надо спешить по важному делу.

А потом он кликнул Ильку и послал предупредить Генку.

Теперь Генка знал все. Он мог вернуться к Владиду и снова поднять своего змея. Но он не вернулся.

«Что ей надо? — тоскливо думал Генка. — Шла бы на свою пенсию». Не глядя на Ильку, он медленно брел к дому. Не нужно было это делать: там он мог встретить «англичанку». Но Генка шел навстречу опасности, не боясь ее и не думая о ней. Его охватило равнодушие.

Дома никого не было: бабушка ушла, наверно, к соседям. Генка вытащил из-под крыльца ключ, вошел в комнату и лег на диван.

Он долго лежал, смотрел в потолок и, кажется, ни о чем не думал.

Комната потемнела. Сначала Генка не обратил внимания. Ведь так и должно быть: когда у человека все плохо, день тускнеет. Но темнота нарастала, становилось тревожной. Генка встал, подошел к окну и увидел, что над крышами вырастает темно-синяя, громадная, как материк, туча.

Генка зябко повел плечами и захлопнул форточку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Что случалось в те далекие времена, когда Генке было всего четыре года, он помнит очень смутно. Больше по рассказам бабушки. Но один случай Генка запомнил на всю жизнь. И не по рассказам запомнил, а сам, потому что он один и видел это.

Тоже была гроза. Сухая и трескучая. Скрипела открытая форточка, и ветер заносил в нее теплую пыль. Генка сидел в кухне на бабушкином сундуке и вздрагивал при каждом ударе грома. Вздрагивал от неожиданности, а не от страха. Что такое гроза, он еще не очень понимал.

Вдруг стало тихо-тихо. Полуоторванная форточка пискнула и обессиленно повисла на одной петле. По стенам разошелся неприятный красноватый свет. Генка вскинул голову и увидел шар.

Шар был большой, с новый Генкин мяч. Он висел над столом и светил, как неяркая лампа в закопченном розовом абажуре.

Потом Генка увидел, что шар крутится — так быстро, что расплывались его очертания. Генка не испугался, но ему стало как-то неуютно и беспокойно.

— Ба-а! — позвал он и опрокинулся на спину от разорвавшего уши треска.

Он ни о чем не успел подумать. Оглохший и обалдевший, лежал на твердой крышке сундука и видел над собой потолок с извилистой трещиной.

Прибежала бабушка. Запричитала, закрестилась, схватила Генку на руки и, не отпуская его, стала затаптывать язычки пламени на крышке подполья.

В кухне резко пахло тополиными листьями.

С тех пор перед каждой грозой Генку начинал давить страх. Такой же темный, тяжелый и неотвратимый, как сама грозовая туча. Когда Генка был еще маленький, страх перед молнией загонял его на диван, заставлял прятаться с головой под папиным пальто и лежать почти без дыхания, пока не утихнут самые дальние раскаты. Потом Генка вырос и прятаться перестал. Больше молний он боялся теперь, что кто-нибудь узнает о его страхе. И когда подошла гроза, Генка садился на подоконник, небрежно листал книжку и старался презрительно улыбаться при каждом громовом ударе. Но внутри у него все леденело. А если дома никого не было, он прочно закрывал все окна и форточки, проверял вьюшки, захлопывал дверь: перед собой хвастаться было глупо.

Хуже всего Генка чувствовал себя, когда оказывался в грозу на улице. Ему казалось, что он открыт всем молниям, что он, как железный шпиль, притягивает их к себе и вот-вот раздастся трескучий страшный удар. Это был страх беспомощности. Гроза могла делать все, что угодно, а Генка был беззащитен. Ведь тучу не заставишь повернуть назад, не разгонишь выстрелом из катапульты...

Генка стоял у закрытого окна и смотрел, как приближается гроза. Это была не та гроза, которая полдня собирает над городом кучевые облака, громоздит их в тучу, медленно гасит солнце, а потом уже под вспышки и гро-

хот опрокидывает на крыши ливень. Она пришла издалека и неудержимо надвигалась на город, глотая последние обрывки рассеянных солнечных облаков. Черно-синяя, плотная, зловещая.

Тусклая неторопливая молния загорелась внутри тучи и осветила дымные провалы. Грома не было. И это молчаливое движение грозы было еще страшнее.

Туча подошла совсем близко. Теперь уже без молний Генка видел темные клубы, рваные клочья и завихрения. А впереди, как первая штормовая волна, катилось длинное серое облако, похожее на клубящийся след громадного паровоза. Оно именно катилось — двигалось, вращаясь. При вращении верхняя часть этой облачной цепи устремлялась вперед и вниз, как падающий гребень морского вала.

«Грозовой фронт», — подумал Генка, хотя совсем не знал, что называется грозовым фронтом.

Крутящееся облако почти подошло к зениту. Оно было светлее тучи, которая затемнила теперь полнеба.

«Может быть, есть за ней просвет?» — со слабой надеждой подумал Генка. На юго-западе, где белела над крышами старая колокольня, и на западе, над тополями улицы Чайковского, просвета не было. Генка отодвинулся к самому краю окна и прижался щекой к стеклу, чтобы разглядеть сквозь листья северо-западный край неба.

Он и там не заметил просвета.

Но среди замерших веток сирени на темно-синем фоне грозы увидел Генка белый квадратик змея.

Это было непонятно и страшно. Владька сошел с ума! Или он не чувствует грозу? Но этого не может быть: он-то как раз лучше всех чувствует, что делается в небе.

— Дур-рак! — с отчаянием сказал Генка.

Снова сгорела в туче молния, более быстрая и яркая, и через несколько секунд откликнулся гром — короткие, как выстрелы, нераскатистые удары. Генка вздрогнул и сильнее прижался щекой к стеклу. Здесь, в палисаднике,

не шевелился ни один листик, а там, вверху, бесновались грозовые потоки, и даже отсюда было видно, как вздрагивает «Фрегат».

Генка смотрел, каждую секунду надеясь, что белый квадратик вот сейчас качнется вниз и станет опускаться за тополя.

Ведь пора. Давно пора!

Крутящееся облако уже перешло зенит. Дрогнули ветки, и осторожный шорох прошел по листьям. Потом ударил короткий ветер, и, как первые разведчики грозы, прогарцевали по дороге вихревые столбики пыли. Три электрические вспышки брызнули светом совсем близко, и гром слился в один раскат.

— Уходи... Уходи, ну уходи же! — шептал Генка Владьке и «Фрегату».

И вдруг понял. Понял сразу и отчетливо: Владик не уйдет.

Он не уйдет, он нарочно дождался грозы и стоит сейчас к ней лицом, лицом к ветру, связанный со змеем чуткой живой ниткой. Он связан с ним воедино и чувствует всю стремительность грозовых течений, и, наверно, кажется ему, что сам он там, в бешеном небе.

Конечно, так и есть. Ведь это же Владька! Он отчаянный, и он никогда не видел, как взрываются шаровые молнии! Теперь Генка понимал. Он даже ясно представил, как Владик, вытянувшись в струнку навстречу ветру, стоит на гребне крыши, маленький, бесстрашный. И беззащитный... Открытый всем молниям. Рядом с железным стержнем флюгера.

Генке показалось, что в груди у него стало пусто. Сердце съезжилось в крошечный комок, толкнулось несколько раз и затерялось в этой тошнотворной пустоте.

А белый змей, вздрагивая, стоял в темном небосводе.

Снова сверкнуло и почти сразу же грохнуло.

Генка рывками начал расстегивать пуговицы. Он сбросил рубашку, брюки и остался в майке, трусах и прорези-

ненных тапочках-спортсменках. Генка знал, что сейчас ударит ливень и в промокшей одежде бежать будет трудно.

А может быть, не надо бежать? В последний раз Генка с надеждой глянул на «Фрегат»: может быть, белый квадратик уже скользит вниз? Он не скользил. Генка поежился, сцепил зубы и рванул оконную задвижку, как затвор винтовки.

Пыльный теплый воздух вошел в комнату и закачал занавески, Генка согнулся и прыгнул в окно.

Он оглянулся на бегу. Сзади еще голубел кусок чистого неба и золотились маленькие облака. Но впереди и над головой не было ничего, кроме грозы. Кроме грозы и высоко взлетевшего белого змея. Потом змей скрылся за косматой пеленой, и Генка понял, что там уже дождь.

Он мчался изо всех сил. Колело в легких, и сердце стучало беспорядочно, не в такт бегу. Выпуклые булыжники мостовой отбивали Генке ноги сквозь тонкие подошвы тапочек. Порывистый ветер догонял Генку и толкал в спину — помогал бежать. Здесь, внизу, он почему-то летел навстречу грозе.

Тяжелая, как ртуть, капля ударила Генку в плечо. Потом сразу несколько. Потом они посыпались часто-часто, соединяясь в упругие струи, и наконец дождь хлынул так, что трудно стало дышать, и пришлось защитить рот ладонью, чтобы не наглотаться воды.

Ярко-фиолетовые вспышки резали шумящий поток ливня, и залповые удары грома, чуть приглушенные дождем, раздавались все чаще над головой.

Генка уже промчался по тому отрезку улицы, где должен был упасть под напором ливня «Фрегат», но не разглядел змея. Да и не старался. Он думал о Владьке.

Когда Генка подбежал к Владькиному дому, в канавах уже пенились ручьи. Сквозь косую завесу дождя Генка увидел на крыше черную Владькину фигурку. Владик стоял, чуть наклонившись вперед и запрокинув голову. Левая рука была привычно согнута в локте. Значит, он до сих

пор держал нитку. Значит, «Фрегат» до сих пор не упал! Не упал вопреки всем законам природы, несмотря на бешеный ливень! Видно, там, наверху, ветры вступили со змеем в союз и решили помочь ему удержаться на высоте во что бы то ни стало.

Генка не добежал до калитки: знал, что она заперта. А звать Владика было бесполезно. Подпрыгнув, Генка ухватился за верхнюю кромку забора, подтянулся, лег животом на доски и перевалился в мокрые лопухи. В ту же секунду взорвалось небо! Генке показалось, что над головой, в зените, вспыхнула ослепительная звезда, а от нее, как огненные трещины, разбежались до горизонта ломкие молнии. Удар был такой, что Генка плашмя растянулся в траве.

Он лежал под дождем и был готов лежать так, пока не уйдет гроза. Но это продолжалось две секунды. Или три.

— Трус! Заяц пришибленный! — крикнул себе Генка и рванулся из лопухов.

А Владик стоял.

Генка бросился вверх по лестнице. Ливень замирал, словно смертельно раненный страшным громовым ударом. Он превратился в обычный несильный дождь, который фонтанчиками плескался на крыше и стекал по шиферным желобкам тонкими ручейками.

Генка прыгнул с лестницы на плоскую крышу пристройки. До гребня, где стоял Владик, было несколько шагов. «Владька, сумасшедший! Убирайся вниз!» — хотел закричать Генка. И остановился, окаменев.

То, что было раньше, — зловещее наступление грозы, молнии над головой, оглушительный треск разрядов, — показалось теперь смешными пустяками и забылось мгновенно. Генка увидел по-настоящему страшное.

Сорванный ударом ветра с соседнего столба, вокруг Владика лег черной петлей и пружинисто дрожал электрический провод. Один раз он коснулся флюгера, и проскочила голубая искра.

— Владик! — громко выдохнул Генка.

Владик вздрогнул и качнулся.

— Гена...

— Стой, — негромко и отчетливо сказал Генка —

Стой, не шевелись. Нельзя.

Владик напряженно замер.

— А что? — спросил он. — Я же далеко от края.

— Владик, — очень спокойно сказал Генка, — ты стой, как стоишь. Провод кругом.

Владик понял сразу

— Под током? — быстро спросил он.

— Да.

— Близко?

— Ты стой, — повторил Генка. — Только стой. Я сейчас.

Провод касался крыши в двух точках: у самого конька и между трубой и флюгером. Но с этих двух сторон к нему нельзя было подойти: Генка рисковал или свалиться вниз, или зацепить железный флюгер, который был под током. В других местах проволока упруго качалась сантиметрах в сорока над крышей. Чтобы попасть к Владика, нужно было перешагнуть через нее. Перешагнуть и не коснуться.

Генка постоял, подумал. И перешагнул. Владик что-то сказал ему, но опять ударил гром, и Генка, вздрогнув, не расслышал.

— Я подниму тебя, — сказал Генка. — И перенесу. Держись.

— Надо смотать змея, — ответил Владик. — Он так и не упал. Здорово, верно?

Генка перехватил нитку и перекусил ее.

— Не до змея, — произнес он, сдерживая раздражение и страх. — Сделаем новый потом.

Он присел и подхватил Владика. Тот оказался не тяжелый. Почти такой же, как Илья, которого Генка не раз перетаскивал через весенние лужи по дороге из школы.

— Держи выше ноги, — велел он.

— Надо было оставаться совершенно спокойным. Генка

чувствовал, что только спокойствие поможет ему. Только оно одно. Иначе...

— Держу, — сказал Владик.

Он, видимо, понял опасность до конца. Понял и то, что нужно подчиниться Генке во всем. Только этим Владик мог помочь ему. Он сидел на руках у Генки, не двигаясь и высоко подтянув ноги.

Теперь Генке надо было сделать шаг. Вернее, два шага: перенести через проволоку сначала одну, потом другую ногу. И это было самым трудным. Едва он отрывал одну ступню от крыши, как ему казалось, что вторая сейчас же скользнет по мокрым наклонным плиткам шифера. Резиновые подошвы были стертые и ненадежны. Генка решил было сбросить тапочки, но спохватился: крыша была сырая, и на ней лежал провод. А резиновые подошвы — все-таки защита от тока.

Он снова хотел оторвать ногу от крыши и снова не решился. Казалось, что поскользнется и рухнет вместе с Владиком на проволоку. Она качалась в десяти сантиметрах от Генкиных коленей, безобидная на вид, с бегающими капельками воды. Но в ней была смерть.

Гроза слегка отодвинулась, и раскаты стали глуше, а вспышки потускнели. Дождь стал мелким, только ветер не стихал. Он обдавал мокрого Генку холодными потоками, упруго толкал в спину, словно советовал: шагай, не медли... Но Генка вздрагивал и смотрел на провод, не двигаясь. И все по сравнению с этой черной проволокой было теперь мелким и неважным: и английский язык, и запуски «конвертов», и обида на отца... От всего Генка оказался отделен, как границей, тонкой петлей провода, который, касаясь флюгера, сыпал синие искры.

Руки начали уставать. И спина устала: ведь Генка стоял, выгнувшись назад, чтобы лучше удерживать Владика.

«Глупо как-то, — подумал Генка. — Сейчас на станции дежурит у рубильника человек. Ему ничего не стоит выключить ток. Хотя бы на одну секунду. Выключил, и все в

порядке, и мы с Владькой на земле. Но он не знает ни про нас, ни про оборванный провод. И потому, что не знает, мы сейчас можем умереть». Он представил, как это — умереть. Наверно, будет прикосновение холодного металла к колену, сразу же сотрясающий удар — и темнота. У него дрогнули руки.

— Гена, — сказал Владик. — Ну-ка, отпусти меня. Ты скажи где, и я выберусь сам.

— Ну нет! — жестко ответил Генка. — Здесь-то ты ничего не сделаешь сам.

Он вдруг страшно разозлился. На грозу, на себя, на того человека у пульта электростанции, который во время грозы не выключил ток, хотя это и полагается. Что же теперь, в самом деле умирать?!

Он глубоко вздохнул, напряг мышцы и перенес всю тяжесть двух тел на левую ногу. Она, кажется, не скользила. Раз — шагнул правой ногой и остановился на секунду, проверяя: жив ли?

Два — он перебросил левую ногу через провод и, теряя равновесие, сбежал по скату на плоскую крышу пристройки.

И, словно понимая, что упустил добычу, провод бессиленно звякнул и сник — его второй конец отскочил от столба. Теперь это была обыкновенная проволока, холодная и безвредная.

— Все, — тихо сказал Генка, и руки у него разогнулись.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Владик остановился на середине кухни, стянул через голову мокрую майку и шмякнул ее на пол. На худеньком Владькином плече Генка увидел тонкий белый рубец. И понял: «Это от нитки». Ему вдруг стало тоскливо и беспокойно, словно беда еще не прошла, а только подкрадывалась, тайная и непонятная.

Владик опустил на колено и начал распутывать на ботинке затянувшийся шнурок.

В комнате хлопнула дверь.

— Папе не говори, — торопливо попросил Владик.

— Можете не говорить. Я и сам видел оборванный провод. — Владькин отец остановился на пороге.

Он стоял, нагнув голову и вцепившись в косяки. Дождевые капли стекали с низко подстриженных висков на худые щеки. Пиджак и брюки были насквозь пропитаны водой.

— Черт знает что! — не двигаясь, заговорил Иван Сергеевич. — Так и не будет мне покоя?

Владик молча ломал ногти о намокший узел шнурка.

— Горе ты мое, — глухо сказал отец. — Ну ведь просил я тебя...

Узел не развязывался. Владик нагнулся еще ниже, так что задел подбородком колено. Острые локти раздраженно дернулись. Отец шагнул с порога:

— Дай помогу.

— Я сам, — сквозь зубы сказал Владик.

Иван Сергеевич выпрямился и несколько секунд стоял над Владиком, глядя на его мокрую спину с худыми лопатками и цепочкой позвонков. Потом положил ладонь на Генкино плечо:

— Пойдем, Гена. Он все хочет сам.

Ладонь была твердая и шершавая, как у Генкиного отца. Генка послушно шагнул через порог.

Утихающий дождь плескался на оконных стеклах. Гроза еще погромыхивала, но уже без прежней силы. Она была похожа на уставшего зверя, который рычит сквозь дремоту, нестрашный и добродушный.

Иван Сергеевич подошел к окну и нагнулся, будто хотел прислониться лбом к стеклу. Но не прислонился. А Генка стоял посреди комнаты. Не знал, что теперь делать и говорить. Беспокойство не оставляло его.

Не оборачиваясь, Иван Сергеевич спросил:

— Ты его стащил с крыши?

— Как вы знаете? — хмуро сказал Генка.

— Ты?

— Вместе слезли, вот и все...

— Да... В общем... спасибо... Хотя при чем тут спасибо? Говорить как-то об этом... Провод под током был?.. Близко?

— Ерунда, — поморщился Генка.

— Ну-ну... — Владькин отец обернулся и пристально глянул на Генку. Вдруг спохватился: — Продрог ты.

Со стены, из-под занавески он сдернул мохнатый серый пиджак и набросил на Генку. Пиджак оказался Генке до колен. От него пахло известкой и табаком.

— А вы? — насупившись, спросил Генка.

— Что я? А, ну да... — Иван Сергеевич начал расстегивать мокрый костюм.

— Владьке надо переодеться, — сказал Генка. — Простынет ведь.

Иван Сергеевич шагнул к кухонной двери.

— Дать тебе сухую рубашку?

— Сам, — донеслось оттуда.

— Вот так все время. Все сам, — устало сказал Иван Сергеевич. — Все одно и то же. В Воронеже когда жили, вздумал по ночам на велосипеде гонять вокруг двора. Он ездит, а я в подъезде стою, от страха полумертвый. Один раз в какого-то пьяного дурака врезался, упал. Мне бы бежать туда, помочь, а я бочком, бочком да по лестнице домой. Не дай бог, если узнает, что следил за ним.

За дверью раздался стук: Владька стянул ботинок. Иван Сергеевич оглянулся на дверь и продолжал:

— А как гроза — значит, все. Любую работу бросаю, домой бегу. Знаю, что уже торчит где-нибудь на верхотуре. Сколько раз его с крыши стягивал.

— Грозовые потоки изучает, — неловко сказал Генка.

— Да слушай ты его больше! — с резкой горечью бросил Владькин отец. — Потоки! Знаю я эти потоки. Молнию он ждет, вот что...

Генка не понял сначала. Он даже сказал:

— Вам бы громоотвод на крышу. А то и правда...

Иван Сергеевич стащил наконец пиджак, бросил на спинку стула и остановился прямо перед Генкой:

— Гена, я серьезно...

— Что? — вздрогнул Генка.

— Вы вроде друзья. Ты присматривай за ним, ладно? Не в громоотводе тут дело. Ты слышал про Мари Латенью? И я не слышал. А он вот услышал по радио. Французская пианистка это, слепая была. Летела в Америку на гастроль, а самолет в грозу попал. Молния ударила рядом, тряхнуло как следует их. И стала эта пианистка видеть. Наверно, от испуга нерв какой-то сработал. В общем-то непонятно, но факт. И в газетах, говорят, писали... Вот Владик мой и лезет под каждую грозу... Ждет.

Генка отвернулся. Лицо начинало гореть почти так же, как тогда, при первой встрече с Владькой. «Ты что, взбесился? Не видишь, да?..» — «Не вижу, ну и что?» Генка забыл. Вернее, не забыл, а привык за эти дни к Владькиной слепоте. Но ведь Владик-то не привык. И не привыкнет никогда. Он поднимается на крышу и ждет: может быть, ударит молния. Может быть, она ударит не прямо в него, во Владьку, а где-то рядом. И тогда, может быть, случится чудо...

— Он говорил, что иногда видит разные пятна. Значит, какие-то нервы работают, — сказал Генка.

— Ты его больше слушай. Он тебе наговорит...

— Его нельзя вылечить? — тихо спросил Генка.

— Как его вылечишь? У скольких врачей были...

— Никак нельзя?

— Нет.

— Никак-никак?

Иван Сергеевич удивленно вскинул на Генку глаза. Эти глаза были очень похожи на Владькины, только усталые, с красными прожилками на белках.

— Был один врач, молодой еще. Говорил, что можно попробовать сделать операцию. Есть один шанс из тысячи. Понимаешь, один из тысячи.

— Понимаю, — кивнул Генка. — Значит, все-таки можно.

— Это еще молодой врач, — повторил Владькин отец. — Он всегда спорил с другими. И я не знаю, где он теперь. Кажется, уехал в Одессу.

— Есть же другие врачи, — упрямо сказал Генка. — Разве он был самый лучший?

— Он был очень хороший. Горячий только.

— Его же можно найти. И есть же другие.

— Есть, — сухо сказал Иван Сергеевич и встал. — Но есть еще такая штука: теория вероятности. Попробуй в тысяче горошин отыскать одну-единственную нужную. Вслепую отыскать.

Все это было, наверно, правильно. А Генка чувствовал, как растет его упрямство.

— Разве у врачей вслепую? Там наука.

— Наука... Владька надеяться будет, ждать будет, а операция не получится. Это знаешь какой удар? Это почти насмерть. И не вздумай ему говорить про это. Надежды все равно никакой, а он покой потеряет... А так я знаю: он все равно человеком станет.

— Человеком? — шепотом спросил Генка.

Он не мог спросить громко, потому что в одну секунду вскипела обида. Жгучая, как соль в горле. Злая до слез. Еще не совсем понятная, такая, когда трудно отыскать слова.

В кухне стукнул об пол второй ботинок.

— Вам бы только «человеком», — хрипло сказал Генка. — Всегда одно и то же: «человеком, человеком»!

— А ты как думал? — холодно сказал Иван Сергеевич.

— А я никак не думал. А вы Владьку спросили? Он, может быть, не хочет быть... таким... человеком! Все вы...

Генка не проговорил слово «врете». Не потому, что боялся, а потому, что почувствовал: не такие тут слова нужны. Он сказал:

— Ну и пусть. А я не буду следить за Владькой. Он все равно словит молнию!

Иван Сергеевич глянул невесело и внимательно.

— Вот именно... — произнес он вполголоса. — Ну ладно. Вот ты какой. Но ты же не знаешь всего...

— Знаю, — сказал Генка. — Вижу я...

Он снял тяжелый пиджак. Аккуратно положил его на стул и повернулся, чтобы пойти к дверям.

На пороге кухни стоял Владик.

Вот теперь было видно, что он слепой. Лицо его стало каким-то застывшим. Он поворачивал голову беспомощно и растерянно, словно хотел все-таки что-то разглядеть. Может быть, он все слышал?

— Гена, ты куда?

Генка шагнул к выходу.

— Ты придешь? — крикнул вслед Владик.

А Генка не знал. Придет? Или не придет? Владьку жаль до боли. Но зачем Владьке жалость? Ему другое нужно...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Может быть, ветры стали дуть иначе. Или солнце скатилось ближе к осени и светит неярко и печально. В общем, что-то не так в августовском небе. Грустно. Да и на земле тоже.

Конечно, тот, кто не знает, ничего и не заметит. И небо синее, и пестрые «конверты» просвечены в нем яркими лучами. Но ведь Илья-то знает. Он смотрит вверх и видит, что нет среди змеев белого «Фрегата» и черно-зубчатого «Кондора». И не было вчера. И позавчера...

Что случилось, Илья не может понять. Ильке тоскли-

во. И еще тревожно, будто «Кондор» и «Фрегат» попали в беду.

Как узнать? Генка заперся дома и не хочет откликаться. А пойти без Генки к Владьку Илья боится. Вернее, не боится, а ему кажется, что идти нельзя. Почему так, он не знает, а посоветоваться не с кем. И не хочется никуда бежать. Что хорошего бегать просто так, если это никому не надо?

Илья побывал у Шурика. Шурик лежал на полу и рассматривал лист с непонятным чертежом.

— Это что? — спросил Илья.

— Послушай, — сказал Шурик, — у тебя есть паяльник?

— Паяльник?

— Вот именно.

— У нас дома молоток есть. — сказал Илья. — Плоскогубцы есть. Отвертка есть от маминой швейной машины... Это что на бумаге?

— Где бы достать паяльник? — вздохнул Шурик.

— Генка дома сидит, — грустно сообщил Илья. — Владькиного змея не видать. Почему?

Шурик почесал подбородок о плечо и рассеянно ответил:

— Надоело, наверно, запускать.

— Надоело! — возмутился Илья. — Сам не знаешь... Сам никогда не пускал, только чертишь. Хоть бы раз попробовал, тогда бы говорил.

— А ты пробовал? — зевнув, спросил Шурик.

Он задел больную струну. Илья гордо повернулся и пошел к двери.

— Придется чинить старый паяльник... — услышал он за спиной.

Илья отыскал Яшку. Печальный Воробей сидел за сараем, там, где раньше стояла катапульта, и думал какую-то горькую думу.

— Яш, сбегает к Владьку, — сказал Илья и пересту-

пил с ноги на ногу. «Фрегат» почему-то не летает. И «Кондор» не летает. Генки нет. Скучно.

Яшка скосил на Ильку круглый птичий глаз, но ничего не ответил и снова погрузился в горестные мысли. И от этих мыслей он раскачивался взад и вперед. Все сильнее и сильнее. Так, что в конце концов стукнулся затылком о стену сарая, а лбом — о поднятые колени. Тогда он мрачно сказал:

— Никуда я не побегу. Беги со своим Генкой, если охота.

— Нет же его, — жалобно начал Илька. — Я же говорю: он дома сидит и не откликается.

В Яшкиных глазах искорками вспыхнул интерес. Но тут же погас.

— Есть у тебя рюкзак? — с печальным вздохом спросил Воробей.

— Зачем?

— Тебе все сразу знать! Придет время — узнаешь.

— Есть у нас рюкзак. Только папин, старый, — сказал Илька. Спрашивать он больше не стал. Чем больше спрашиваешь, тем хуже. Лучше подождать.

— Уеду я, — сипло сказал Воробей и отвернулся.

«Куда?» — чуть не вырвалось у Ильки. Но он удержался.

— Еще у Генки есть рюкзак, — припомнил он. — Генка с ним в лагерь собирался. Или в тайгу куда-то...

— Хоть куда уеду, — с мрачной решимостью продолжал Яшка. — Хоть в Антарктиду.

— Лучше в Африку, — сказал Илька. — Там сейчас капиталистов повыгоняли. И тепло, даже пальто с собой брать никакого не надо. Можно даже зимой в одних трусиках бегать.

— Больно мне надо бегать зимой в трусиках!

— Это же в Африке, — сказал Илька.

Яшка снова начал раскачиваться.

— Заберусь в вагон... Приеду в Одессу... Там Генкин

дядя. Потом заберусь в пароход, в трюм, и ту-ту... Все равно из дому выгнали.

— Насовсем?! — ахнул Илька.

— Мать говорит: «Чтоб носа больше домой не казал!.. Раз за керосином не ходил, жрать не дам и на порог не пушу!»

— Пойдем попросим у мамы рюкзак, — предложил Илька и с грустью взглянул на несчастного Воробья.

— Ха!.. Даст она рюкзак!

— Ну... — замылся Илька, — можно не говорить, что в Африку... Пойдем?

Но хитрый Яшка не пошел. Он знал, что керосиновая лавка в шесть часов закроется и тащиться туда с тяжелым бидоном ему не придется, а мать все равно скоро выйдет на крыльцо и будет кричать на всю улицу: «Яшка! Ты придешь домой, окаянная душа, голодранец гороховый? Сколько раз мне суп подогревать!»

Тогда Яшка посидит еще две минуты за сараем, а потом с обиженным видом поплетется к дому. А мать скажет: «Вот, гляньте, люди добрые! Прошландал где-то целый день да на меня же еще сычом смотрит! Вот погоди, придет отец...» И это будет означать, что гроза прошла.

Посмотрел Илька на Воробья и понял: ни в какую Африку он не поедет.

— Скучно, — тихо сказал Илька. Зацепил и отодрал широкую полосу дранки от старой фанеры. Этой фанерой раньше прикрывали катапульту, а теперь она валялась без дела.

— Сидит тут и портит хорошую вещь! — проворчал Яшка.

— Я порчу? — обиделся Илька. — Я не порчу. Я дранку для змея оторвал. Я сегодня буду змея делать. А фанеру эту нашел я.

— Фига у тебя выйдет, а не змей, — сказал Яшка.

— Выйдет, — ответил Илька, прищурился и согнул

дранку, будто пробовал гибкость клинка перед боем. — Я постараюсь.

— Ха!.. — уныло сказал Яшка.

— Ха? — спросил Илька. — Ну ладно...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ильке не везло с самого утра. Едва он открыл глаза, как мама спросила:

— Ты не видел черные нитки? Я недавно купила катушку десятый номер.

Илька не хотел врать.

— Видел.

— Где?

— Там, в тумбочке. Где всегда лежат.

— Я там все перерыла, — задумчиво сказала мама. — Странное дело! Где же они теперь?

Илька осторожно промолчал и потянул со спинки стула свои штаны. Чертова катушка только этого и ждала: она выскочила из единственного кармашка, пришитого к штанам где-то с левой стороны живота.

— Ой, вот она! — поспешно сказал Илька. — Я, оказывается, забыл положить обратно. Взял, чтобы ниточку оторвать, привязать хвост к змею.

— Так-так, — сказала мама. — Значит, хвост...

Илька вздохнул и полез под кровать за сандалиями. Он долго-долго искал их.

Во-первых, в нем шевельнулась совесть. Во-вторых, он думал, как быть: змей — не самолет, без ниток не запустишь.

Правда, хранился у Ильки еще моток, но нитки были тонкие. Илька боялся. Не мог он доверить нитке тридцатого номера свое сокровище, первый свой настоящий змей.

Над этим змеем он сидел три дня...

Илька боком скользнул в кухню и вытянул из-за печки

свое детище. Ровные полосы черной краски на тонкой оберточной бумаге совсем высохли.

Растянутая дранками бумага туго звенела от легкого щелчка. Лохматый мочальный хвост кольцами свернулся у Илькиных ног.

Илька на вытянутых руках поднял «конверт».

— «Тигренок»...

Еще вчера Илька хотел назвать свой первый змей «Пчелой». Но когда он, устроившись на крыльце, проводил по бумаге последнюю черную полосу, что-то зажужжало рядом и больно клюнуло в ухо. Ухо не распухло, Илька успел обмакнуть его в холодную воду. Но любить пчел Илька перестал.

А сейчас вдруг само собой придумалось новое имя, ласковое такое и смелое.

Обрадованный Илька крикнул в открытую дверь:

— Мама, я погуляю! Я не хочу есть! Я пошел! — и выскочил за дверь, спасаясь от завтрака.

Он понял, что надо делать. Надо бежать к Генке, он, наверно, даст ниток. Ради такого дела, ради первого Илькиного змея, конечно, даст. А может быть, и на крышу слазит вместе с Илькой, когда увидит его «конверт» и узнает, какое у него имя.

Так Илька думал, а ноги его уже мелькали будто спицы. Он привык думать на бегу.

И через полминуты он дернул Генкину дверь.

Дверь была заперта.

— Ге-ен! — прогудел в скважину Илька.

Сначала было молчание.

Потом Генкин голос, какой-то сиплый и заспанный, спросил:

— Чего надо?

— Гена, открой, что-то скажу, — заторопился Илька. — Гена, у меня змей! Открой, давай запустим!

— Не мешай, — прорычал Генка из-за двери.

— Не буду, — согласился Илька. — Только дай тогда моточек. Хоть один. У меня тонкие.

— Брысь! — гаркнул Генка, и в дверь ударило что-то твердое, кажется, ботинок.

Илька не дрогнул.

— Эх ты! — сказал он и стал медленно спускаться с крыльца. На последней ступеньке он услышал еще несколько неприятных слов. Но уже было все равно.

Илька прошел через двор, и хвост «Тигренка» понуро волочился следом. На улице Илька секунду стоял у палисадника и думал. Потом лег на острые планки животом и раздвинул ветки. Может быть, он увидит Генку в окне. Может быть, поймет, какая муха его укусила: давно уж Генка не был таким злым.

Но вместо Генки Илька увидел собственное лицо, которое отразилось в стекле закрытого окна. А за стеклом была задернутая занавеска.

— Ну и пусть! — сказал Илька.

Он закинул змея за спину и зашагал к дому. Не по тротуару, а по заросшей канаве, сердито ударяя сандалиями по головкам лебеды. Здесь, на дне канавы, еще не высохла роса, и разлетались брызги. Хвост «Тигренка» оставлял в мокрой траве змеистый след. А утро было хорошее: синее такое и свежее. Илька хмуро глянул в небо и засмотрелся. Редкие, совсем крошечные облачка быстро бежали к зениту. Словно кто-то очень большой отрывал за горизонтом клочки от тюка желтой ваты и пускал по ветру. Клочки летели, распались на тонкие волокна и таяли в самой середине большого неба. И таяла Илькина обида.

Вдруг проснулась и коротко взревела за спиной бумажная трещотка. Это ветер задел в полете утреннюю улицу. Змей рванулся и зарыскал на коротком поводке. «Тигренок» просился в небо.

Илька помчался к дому. Будь что будет — нельзя терять такой ветер!

Крыша сарая, который стоял во дворе, была крутой и

высокой. Илька добрался до самого гребня и встал. Выпрямился. Ветер был здесь ровный и сильный, такой, что Илькины волосы на затылке сразу встали торчком, а широкие рукава рубашки затрепетали у локтей, как маленькие флаги.

Трещотка уже просто ревела, захлебываясь воздухом, и «Тигренок» метался как живой, он не хотел больше ждать.

Илька, торопясь, вынул катушку, несколько раз подергал нитку: «Выдержишь? Выдержи, ладно?» Он привязал конец нитки к поводку. Поднял «Тигренка» и подтолкнул его вверх.

Нитка скользила, обжигая пальцы. Змей пошел ровно и быстро. Голос трещотки становился тише, «конверт» уменьшался, и, когда размоталась катушка, он стал не больше конфетной бумажки. И только дрожь натянутой нитки говорила о силе воздушных потоков там, вверху.

Это было просто чудо: таким послушным и легким оказался Илькин первый змей! Радость звенела в Ильке, и не было вокруг ничего, кроме неба — такого громадного синего полушария, в котором только ветры, да желтые облака, да «Тигренок», да еще сам Илька на самом верху высокой острой крыши...

А змей неожиданно рыскнул в сторону, заметался, потянул вправо. Теряя высоту, начал описывать круги. Видимо, хвост, намоченный в росе, высох теперь на ветру, полегчал, и нарушилось равновесие.

Илька испуганно дернул нитку.

И случилась беда.

Нитка в руках ослабела, а оторвавшийся «Тигренок», покачиваясь, начал медленно падать к разноцветным крышам соседнего квартала.

Он упал во дворе за высоким забором.

Нет, Илька не растерялся. Была еще надежда спасти змея. Уже через минуту он, обдирая колени о доски, оседлал забор.

«Тигренок» был здесь. Он висел, перекинувшись хвостом через край железной бочки, — сам снаружи, а хвост в воде. Илька, не думая, прыгнул в траву. Прыгнул, зашагал к бочке среди гряд, над которыми среди узорчатых листьев висели зеленовато-оранжевые помидоры.

В воде отражался темно-синий круг неба. В этом круге Илька увидел свою взлохмаченную голову и еще солнечный обрывок облака, похожий на парусную лодку. Лишь секунду задержался Илька, глядя в перевернутое небо. И вдруг рядом с его отражением появилось чье-то темное сердитое лицо. Крепкие пальцы ухватили Ильку за локоть.

Его держала грузная тетка в цветастом переднике, белой косынке, надвинутой на глаза, и почему-то в резиновых сапогах. Была она немногословна и деловита. Коротко кивнула на помидоры:

— Не успел еще?

— Я за змеем, — сказал Илька. — Пустите.

Он не испугался.

— Ишь ты! — Губы хозяйки искривились, как толстые дождевые червяки. — Знаем, не первый. Ну-ка, пойдем. — Она двинула Ильку в сторону ворот.

— А змей? — сказал он.

— Будет сейчас змей...

Твердая ладонь ухватила Ильку за руку у самого плеча, приподняла, и ему пришлось бежать за хозяйкой на цыпочках. Тетка шагала тяжело и быстро. Она шла не к воротам, а в угол двора, где темнели буйные крапивные джунгли, и, не сбавляя шага, нащупывала свободной рукой боковую пуговицу на Илькиных штанах.

Илька понял, что скоро-скоро, прямо сейчас, случится что-то очень неприятное, и у него ослабели колени. Но тут же он отчаянно рванулся вниз, вперед и с маху взлетел на забор.

Он мчался по улице, слыша сначала за собой топот и визгливый крик, а потом ничего не слыша...

— Илюшка!

Он остановился. Никто не гнался уже. А с тротуара звал кто-то знакомый в сером костюме и кепке. Это же Владькин отец! И Владик рядом.

Илька подошел. Он дышал еще тяжело, и вид, наверно, был взъерошенный. Иван Сергеевич серьезно спросил:

— Случилось что?

— А чего она... — сказал Илька. — Змей упал, а она...

И смелый Илька вдруг совсем неожиданно всхлипнул.

— Беда, что ли, какая? — нахмурился Владькин отец.

— Да так... — Илька коротко вздохнул, шмыгнул носом и вытер глаза. Нагнулся и стал чесать ногу. Нога горела: видно, зацепил за крапиву.

— Змей упал у него, — сказал Владик. — Сам делал, да, Илька? Первый...

Илька сердито мотнул головой.

— Ладно, пусть! Теперь я другой сделаю. Она еще узнает! Я другой сделаю, а на хвост привяжу... бомбу привяжу и запущу над ее огородом, вот! Мне Шурка сделает. От огорода только дым пойдет...

Иван Сергеевич притянул Ильку за плечо.

— Ну, будет. Первый — не последний. Еще позапускаешь... Ты скажи вот что. Знаешь, где Гена живет? К нему не забежишь?

Илька опять вздохнул:

— Я забегал. Я недавно забегал, а он не пускает. Говорит: «Идите все к чертовой бабушке в болото».

— Ты чего это так выражаешься? — сказал Иван Сергеевич.

— Это он так выражается, — печально ответил Илька и снова стал чесать ногу. — Сидит там... и не пускает. Наверно, какое-то важное дело делает.

— Ты сбегай еще раз, — тихо попросил Владик. — Сбегаешь? Очень надо.

Илька выпрямился.

— Сбегаю, — сказал он.

Владик повернулся к отцу, словно ждал, что Иван Сер-

геевич заговорит, но тот молчал. Тогда Владик снова попросил Ильюку:

— Ты ему хоть в окно крикни, если не пустит. Чтобы зашел. Потому что, наверно, ночью мы уедем.

Илька глянул на Владика и на его отца:

— Насовсем?

— Нет, — сказал Иван Сергеевич. — Но, может быть, надолго. По крайней мере, Владик... Я все ждал, когда письмо оттуда придет. Но, видимо, письмами дела не решишь. Надо ехать самим.

— А... куда? — нерешительно спросил Илька.

— В Одессу, — сказал Владик.

Иван Сергеевич снова взял Ильюку за плечо.

— Послушай. Если он прийти не может или еще чего... ты хоть спроси, не знает ли он, где там остановиться можно на первые дни. Адрес какой-нибудь. С гостиницами там не густо.

Илька энергично кивнул и снова поднял глаза на Владькиного отца. Но тот смотрел мимо Ильки и, видно, думал о чем-то нелегком и беспокойном.

Что-то важное происходило сейчас, Илька это чувствовал, хотя и не понимал. Но он ни о чем не стал спрашивать, потому что не всегда это надо. Он уже знал, что приходит время и загадки разгадываются и многое становится ясным.

А сейчас нужно спешить: ведь он — Гонец.

— Я спрошу, где остановиться. Я запомню. Я побегу.

— Пусть придет, — тихо сказал Владик.

...И стремительный Илька помчался.

Бежать хорошо, если это кому-то надо. Если кто-то ждет. Тогда можно даже забыть о погибшем «Тигренке». Ну, не совсем забыть, а на минуту. Совсем разве забудешь? Вон Яшка уже кричит с забора:

— Запустил? Эй, Гонец!

Илька с разбегу проскочил мимо Воробья. Тормознул по скользкой траве пяткой, обернулся:

— Чего?

— Где твой змей? — покачиваясь, допытывался Яшка. — Тю-тю полосатенький, да?

— Ну и пусть тю-тю, — мужественно сказал Илька. — Ты, Яшка, раз уж не уехал в Африку, слезь с забора и сходи со мной к Генке. Дело есть, а он не пустит. Я знаю.

Это он так сказал. Просто чтобы Яшка перестал спрашивать про змея. А Генка, конечно, пустит, когда узнает зачем. Но Яшка спросил:

— Какое дело?

Илька рассказал.

Яшка ловко спрыгнул в траву.

— Не врешь? Правда в Одессу?

Ну и бестолковый же Воробей! Зачем Ильке врать?

— Бежим, — заторопился Яшка. — Вот увидишь, пустит нас Генка. Мы его обрадуем. Я кое-что знаю.

— Что ты знаешь? — обидчиво спросил Илька. Потому что все-таки плохо, когда каждый что-то знает, а ты один не понимаешь ничего.

— Знаю, — ухмыльнулся на бегу Яшка.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

А с Генкой было вот что.

В день грозы, вернувшись от Владика, он вытащил из-за поленицы разбухший от сырости учебник. В комнате Генка сел к окну, разложил учебник на подоконнике и, давась от непобедимого отвращения, открыл первую страницу.

Страница пожелтела и пахла плесенью. Старая чернильная клякса в нижнем углу расплылась и посветлела. Все остальное — буквы, рисунки, цифры — было в точности таким же, как и раньше, отвратительно знакомым, надоевшим до зелени в глазах.

Эту первую страницу Генка знал до последней запятой. Сколько раз он с нее начинал прорабатывать ненавистный «инглиш». И отступал.

Но сейчас отступать было нельзя. Это железное «нельзя» встало перед Генкой как прочная решетка. Хоть головой колотись, хоть зубами грызи. Хоть ложись на землю и волком вой.

Генка посмотрел на учебник, стиснул кулаки и заплакал.

Он плакал от ненависти. Он ненавидел эту мокрую растрепанную книжку, которую хоть умри, а надо как-то понять и выучить за две недели. За две недели вместо девяти месяцев! Ненавидел себя за беспомощность, за страх перед этой книжкой. И вообще все на свете. Даже Владьку! Потому что все это из-за него...

Не шелохнув ни одну ветку, проскользнул в палисадник Яшка Воробей и как из-под земли выскочил перед окошком.

— Ох и грозища грохала! Ага, Гена?

Генка вздрогнул. В ту же секунду высохли глаза.

— Чего тебе?

В хитрых Яшкиных зрачках зашевелились крошечные искорки — он увидел учебник.

— У-у... — невинным голосом начал Яшка. — Английский учишь. А говорил...

— Что я говорил? — холодно спросил Генка.

— Сам не знаешь?

— Я все знаю, — сказал Генка. — Понятно?

Яшка присвистнул, напряжился и скакнул спиной на шаткий заборчик палисадника. Сел на нем, нахохлился и закачался, как настоящий воробей.

— Ты мне сломай загородку, — хмуро сказал Генка, — тогда узнаешь!

— Я легкий... А как по-английски будет «загородка»?

— Загородка по-английски будет «балбес», — ответил Генка.

— Сам ты... — вырвалось у Яшки.

И, перепуганный собственной дерзостью, он втянул голову и прыгнул назад, за палисадник. Потом осторожно глянул сквозь ветки. Генка сидел все так же, спокойный и грустный. Он не собирался мстить.

— Если я балбес, — сказал он, — то иди и спрашивай свою умную сестру. Она ученая. В школе училась да в институте уже целых три года.

— Четыре, — сказал Яшка.

— Ну, четыре... А еще сколько осталось?

Яшка за палисадником медленно выпрямился.

— Ско-лько... — задумчиво начал он и поднял к небу круглые коричневые глазки, будто решал трудную задачу. — Ну, сколько? Всего шесть курсов. Отнять четыре... Значит, два. Два, да?

— Ты допрыгаешься, Воробей, — сказал Генка. — Катись, не мешай.

Эх, Генка, Генка... Не умел он лукавить. Слишком быстро и неловко перевел он разговор на Яшкину сестру. А Воробей хитер и догадлив.

— В медицинском шесть лет учатся, — начал он будто между прочим. — Больше, чем во всех других. Да еще какой-то этот нужен... стаж. Когда человек работает. Галка два года санитаркой работала, а потом уж в институт. Без стажа трудно.

— Мало ли что трудно.

— Отличники еще могут, — объяснил Яшка. — А ты, что ли, отличник?

— При чем тут я? — зло бросил Генка.

— Ха-ха! — нахально сказал Яшка, потому что был далеко. — Думаешь, я дурак?

Генка смотрел на него пристально и сурово.

— Слушай, — тихо сказал он. — Ни в каком месте, никогда, никому не вздумай пикнуть об этом.

Яшка знал, когда можно шутить, а когда лучше не надо.

— Зачем мне пикать? Мне-то что... — Он равнодушно засвистел, потом вздохнул, взглянул последний раз на Генку и ушел.

А Генка смотрел на учебник полными тоски глазами. И в голове толкались две дурацкие фразы: «Хау ду ю ду, Тэдди!» — «Хау ду ю ду, Джонни!» Этих слов не было в

учебнике. Генка запомнил их на одном из уроков, когда Вера Генриховна читала вслух тонкую книжонку об английских мальчиках, которые сделали воздушного змея. Поскольку речь шла о запуске змея, Генка решил сначала отнестись к этой истории с некоторым вниманием. Но понял он только первые слова: «Хау ду ю ду...» Это благовоспитанные Тэдди и Джонни приветствовали друг друга. С тех пор, неизвестно почему, стоило Генке сесть за английский язык или даже подумать о нем, как начинало вертеться в голове: «Хау ду ю ду, Тэдди!» — «Хау ду ю ду, Джонни!»

Генка ненавидел этих Тэдди и Джонни беспощадной ненавистью. Он представлял их удивительно ярко, просто как живых видел: чистеньких, приглаженных, с аккуратными проборчиками в прическах, в пестрых чулках до колен и ярко-рыжих полуботинках. Тэдди, кроме того, еще и сам был удивительно рыжий, а Джонни белобрысый и лупоглазый. Они бестолково бегали по лужайке с подстриженной травкой и пытались запустить змея, сделанного из газеты с дурацким английским названием. Конечно, у таких растяп и дурней ничего не вышло, и змей упал в болото, распугав сытых английских лягушек.

Это Генка знал точно, хотя Вера Генриховна ничего о таком конце не сообщала...

«Хау ду ю ду, Тэдди!» — «Хау ду ю ду, Джонни!» Ну, попались бы вы Генке, он бы вам показал «хау ду ю ду»!

А учебник все еще был открыт на первой странице. Трудные дела всегда надо начинать с самой первой страницы, Генка это понимал. Но учить здесь было нечего, и он перевернул лист.

Потом еще.

А за окном среди листьев, уже просохших после дождя, посвистывал ветер августа. И Генка увидел, как из-за крыши взбирается в небо маленький голубой змей «Василек».

А «Кондор» уже не поднимется. Будут удивляться мальчишки, будут узнавать друг у друга, куда делся Генка.

Поползут по ниткам пестрые телеграммы: «Что случилось?»

Что же случилось?

А ничего.

Конечно, теперь проще всего сказать, что Генка все понял и решил исправиться. Что он дал себе слово стать отличником, выучить английский язык назубок. И что у него появилось горячее желание сделаться доктором медицины, о чем сразу же догадался хитрый Воробей.

Но ведь это же чепуха. Английский язык Генка не терпел по-прежнему, и становиться врачом ему совсем не хотелось. Кем-нибудь другим: летчиком, шофером, космонавтом, но только не врачом!

Но что он мог сделать?!

Что же делать, если есть на свете Владька, которому так плохо жить на свете, а помочь ему никто не может? А ведь кто-то должен помочь. Если отступают врачи, если боится отец, значит, должен помочь Генка. Это, может быть, смешно, но это так. Другого выхода Генка не знал и придумать не мог.

И отступить Генка не мог. Это было все равно что увидеть, как падает чей-то змей, и не броситься на выручку. Только в миллион раз страшнее: это значило бы предать Владьку. Нет, предавать Генка не умел. Морщась от жалости к себе, Генка стал считать время: от шестого до десятого класса — пять лет и в институте — шесть. Одиннадцать. Раньше нельзя — это понятно даже дураку.

Значит, одиннадцать. Это еще одна Владькина жизнь. И каждый день — это темнота без крошечного лучика света. И каждая молния может оказаться смертельной. Ведь это же Владька! Нет, Генка не мог допустить, чтобы к этим одиннадцати годам ожидания прибавился еще один — двенадцатый.

Он перевернул несколько листов. Здесь уже начинались «джунгли».

«Хау ду ю ду, Тэдди!» — «Хау ду ю ду, Джонни!»

— Ну ладно, вы у меня запоете, — сказал сквозь зубы Генка.

Шумел ветер. Генка встал и захлопнул окно.

...В половине восьмого пришла со смены мама. Генка смутно, будто сквозь вату, услышал ее шаги. Он не оглянулся.

Уже темнело, но можно было еще читать без электричества, и он сидел над учебником, навалившись грудью на подоконник. Грудь болела, но он не хотел шевелиться. Он боялся спугнуть себя. Только что Генка сделал открытие: оказывается, он кое-что помнил и знал. Это «кое-что» было отрывочным и путаным, случайно схваченным на уроках. И все-таки, значит, он мог! В конце концов, за первую и вторую четверть у него были тройки. Худосочные, ненадежные, но все-таки тройки, а не двойки...

Генка вздохнул. Он как бы проснулся. И услышал всхлипывания.

Мама плакала.

— Мама... — сказал Генка и почувствовал, как стремительно вырастает непонятный страх. «С папой беда», — вдруг вспыхнула догадка. Генка прыгнул к стене и нажал выключатель.

Мама сидела у стола, положив голову на ладони. Она не сняла ни жакета, ни косынки. Сидела неподвижно, только вздрагивали плечи.

Генка сказал шепотом:

— Ты чего... поздно пришла?

— Поздно? — Мама подняла лицо с влажными полосками от слезинок. И вдруг закричала громко и беспомощно: — Что же это такое?! Что же ты делаешь-то, лодырь бессовестный! Как ты меня перед людьми выставляешь?!

Страх отхлынул. Генка расслабленно вздохнул и снова шагнул к окну. Он еще не знал, в чем на этот раз виноват, но мысль о несчастье с отцом оказалась напрасной, и это — главное. Остальное — пустяки.

— Как людям в глаза смотреть? — продолжала мама. — У всех дети как дети, а мой...

Генке стало жаль ее. Он всегда ее жалел, когда она так на него кричала. Звучало в ее словах какое-то бессильное отчаяние. А сами слова были давно известные, те самые, которые говорят все взрослые всем мальчишкам.

— Ни ума, ни совести у тебя нет! — продолжала мама. — По крышам свищешь, а за дело взяться толку не хватает.

«Стукнула бы лучше, — тоскливо подумал Генка. — Ладно, что еще бабушки нет. Наверно, телевизор у соседей смотрит. А то бы вдвоем взялись...»

— Дубина бессовестная! — сказала мама.

— Что я сделал? — привычно мрачным голосом поинтересовался Генка.

— А ничего ты, лодырь, не сделал. Бездельничаешь. До чего дошло! Учительница к матери на работу приходит. «Здрасьте, почему ваш Гена не бывает на занятиях?» — «Как — не бывает?» Вот и поговорили. А люди кругом стоят слушают!

«Ясно», — подумал Генка. И обрадовался: значит, на него еще не махнули рукой.

— Только знаешь свои крыши да книжки шпионские! — Мама шагнула к подоконнику, чтобы схватить и выбросить Генкину книгу. И остановилась.

Учебник английского языка был ей так же знаком, как и Генке.

— Учу ведь, — устало сказал Генка. — Сама видишь.

— А что я вижу? В школу-то не ходишь!

— Ну, не хожу. Думаешь почему? Они там уже вон сколько выучили, а я отстал. Вот догоню — и пойду.

— Догонишь ты... Времени-то много ли осталось!

— Догоню, — сказал Генка.

— Гена... Ты же понимаешь. Для себя же учишься. Постарайся. — Мама говорила уже не сердитым, просящим голосом. — Ты иди завтра в школу...

— Завтра воскресенье, — сказал Генка. — В понедельник пойду... Ну, обязательно. Ой, ну не плачь ты только! Ведь сказал, что пойду...

...В понедельник он пришел в класс. Вера Генриховна сказала только одно:

— Звягин, сядь, пожалуйста, ближе к доске. У окна тебя отвлекает уличный шум.

Во вторник Генка подумал, что Тэдди и Джонни, может быть, не такие уж плохие пацаны. В конце концов, они не виноваты, что родились в Англии и должны разговаривать на этом квакающем языке...

В среду Вера Генриховна долго слушала, как Генка бахтается в словах, пытаясь перевести коротенькие английские фразы.

— Это ужасно, Звягин, — сухо произнесла она. — Тебе не хватает элементарных знаний. Не знаю пока, как ты справишься с контрольной...

— Учти, что в шестом классе тебе придется уделять английскому языку особое внимание, — сказала она мимоходом в пятницу.

В субботу утром, когда Генка, заперев окна и двери, сидел дома над учебником, постучался Илька и что-то начал говорить о своем змее.

Генка бросил в дверь ботинок. Через час в дверь постучали снова.

— Ге-енка! — прогудел в замочную скважину Воробей. — Мы от Владика. Пусти, он просил сказать...

Генка вздрогнул. «Владик...» Все эти дни Генка боролся с желанием отложить учебник и побежать к Владьке. Ну просто скучал по нему. Хотелось опять забраться на крышу, поднять свои «конверты» и стоять там на ветру, болтать обо всем на свете, будто ничего не случилось... Но ведь случилось.

Нет, Генка не мог сейчас идти к Владiku. Он не боялся встречи с Иваном Сергеевичем, хотя и не знал, будет ли тот рад его приходу. Он боялся другого — своей беспомощности перед Владькой. Маленький Владик один на один боролся со своей слепотой, боролся молча и отчаянно, как только мог. У него было горе в тысячи раз громад-

нее всех Генкиных несчастий, но Владька оказался сильнее и смелее. Генка был перед ним хлюпиком.

Чем он мог помочь Владьке? Ничем. Ведь жалостью не поможешь. Нужно было дать ему хоть какую-нибудь надежду на выздоровление. И Генка дрался за эту надежду и понимал, что, пока не победит в этой драке, не сможет чувствовать себя перед Владькой как равный перед равным.

И решил пока не встречаться с ним.

Но вот Владик сам зовет его. Просит о чем-то.

Генка отпер в сенях дверь и, не оглядываясь, вернулся в комнату.

Илька юркнул следом. А Яшка далеко не пошел. Остался у порога. Оглянулся и по привычке присел на корточки. Стоять Воробей не любил. Наохлился, хитро стрельнул птичьими глазками и сообщил:

— Владика видели.

— Ну? — хмуро сказал Генка.

— Ген, он с Иваном Сергеевичем шел. Они в Одессу поедут и адрес у тебя спрашивали, где остановиться, — сразу выпалил Илька. Не любил он долгих предисловий и хитрого молчания. — Он говорит, что письмо ждал, а теперь надо ехать самим. И Владик просил зайти. Ты зайти. Зайдешь?

— В Одессу едут? — переспросил Генка.

— В Одессу, — сказал Яшка и усмехнулся.

Генка стоял спиной к окну и смотрел по очереди на ребят. Яшка с ненастоящим равнодушием оглядывал углы. Илька смотрел на Генку большими честными глазами. Он хотел только одного: чтобы все было по-старому, чтобы высоко в небо поднялись два самых хороших змея — «Фрегат» и «Кондор», чтобы все радовались и не было непонятной тревоги.

— Значит, в Одессу... — повторил Генка.

Он один из трех понимал все до конца. Владик слышал разговор отца и Генки — только так можно было объяснить этот неожиданный отъезд. Владик слышал. Этого

было достаточно. Он узнал, что есть возможность снова увидеть свет. Крошечная возможность, один шанс из тысячи, но есть. Ну, а остальное ясно. Ведь это же Владька! Уж если он что-то задумал...

Да, но какое письмо? Может быть, Владькин отец переписывался с врачами? Переписывался, а от Владьки скрывал... И от него, от Генки, скрыл заодно. Или не успел сказать...

— Вы с Владиком поругались? — тихо спросил Илька, не отводя глаз. — Поругались, да?

«Что ты городишь!» — хотел прикрикнуть Генка, но глянул в напряженное лицо малыша и только молча покачал головой.

— Пойдешь к нему? — настойчиво продолжал Илька.

— Конечно, — мягко сказал Генка. — Вот только два предложения переведу. Я уж давно у него не был. Зубрю да зубрю.

Ответ успокоил Ильку. Было только непонятно, зачем уезжает Владик.

— Зачем им в Одессу? — спросил он.

— Ну, Илька, — сказал Генка, — я же не был еще у него. Схожу узнаю... Скажу тогда.

Яшка у порога негромко хихикнул:

— А сейчас не знаешь?

Генка промолчал.

— Ген, а у меня мой змей упал, — печально сообщил Илька. — Я ведь сам сделал. Хороший такой «Тигренок». Хорошо сначала летел, а потом в огород упал, там хозяйка... — Он опустил голову и покраснел. — Связываться с ней, что ли...

— Да, змей... — повторил Генка. Он шагнул мимо Ильки, опустился на колени и с шелестом вытянул из-под дивана «Кондор».

— Вот, возьми. Мне сейчас ни к чему.

— Мне? — шепотом спросил Илька.

— Тебе.

Он встряхнул пушистую мочалу хвоста, провел пальцами по туго натянутой бумаге. Крепкий был змей, хотя мотали его ветры немало и не раз он ударялся о телеграфные столбы...

— Лучше бы отдал мне, — подал голос Яшка. — Илька его все равно угробит.

Генка не стал отвечать на такие слова.

Илька тоже молчал. Боролись в нем сомнения.

— Да... — произнес он наконец. — А ты тогда говорил: самому надо делать. Это же я не сам...

— Ну и что? — Генка протянул ему змея. — Ты ведь помогал, бегал за дранкой и еще притащил кусок рогожи, когда не хватило мочалы. Значит, вместе делали. Потом сделаешь другой. А пока бери.

Илька взял. Мог ли он отказать от прославленного «Кондора»!

Черный змей, разрисованный белыми зубцами, был похож на квадратный индейский щит. Илька скрылся за этим щитом — торчали только тонкие, в светлых царапинах ноги и голова со взъерошенной челкой и счастливыми блестящими глазами.

— Ген, — сказал Илька, нерешительно улыбаясь, — а можно я сделаю для него свой позывной сигнал? Или пусть два: твой и мой. Можно?

— Делай свой, — сказал Генка.

Илька уже нетерпеливо пританцовывал: новая радость появилась у него, и он спешил.

— Я побегу?

— Беги.

Генка больше не думал о «Кондоре». Он думал о Владике. Только о нем. Сейчас Генка пойдет к нему, и, наверно, все будет хорошо. И сейчас, и потом. Только надо сначала перевести хотя бы эти две оставшиеся на странице фразы. «Сейчас я вас долбану. Думаете, не долбану?» — Владькиным голосом произнес про себя Генка.

Яшка не ушел вместе с Илькой. Он сидел у порога, и в круглых глазах его блестело острое любопытство.

— И чего притворяешься? — вдруг заговорил он. — Не знаешь, что ли, зачем они едут? Там, в Одессе, специальная больница, где слепых лечат.

— Это я получше тебя знаю, — сказал Генка, садясь к окну.

— Ну и вот!

— Что «вот»? — хмыкнул Генка.

— А что! Если можно, его и так вылечат.

«А если нельзя, вылечу я», — подумал Генка, но вслух спросил:

— Как это «так»?

— Ну... без тебя.

— При чем здесь я?

— Ха! — сказал Яшка. — Я, думаешь, дурак? А зачем за английский засел? Теперь все равно зря...

— Знаешь что, Яшка... — начал Генка.

— Что? — настороженно откликнулся тот.

— Воробей ты и есть воробей. Мозги воробьиные.

И тогда Яшка обиделся. Не на прозвище он обиделся, к нему Яшка привык, а на то, как Генка говорил про его мозги — спокойно и насмешливо.

— Ладно, — ответил Яшка и встал. — Мозги... Я хоть на второй год не оставался.

Он ждал, что теперь-то Генка взорвется. Но, листая страницы в конце учебника, где был словарь, Генка хладнокровно произнес:

— А кто оставался?

Это было совсем непонятно. Он стал какой-то непробираемый. От такой неожиданности Яшкина обида исчезла, осталось только удивление. Но Генка сидел к нему спиной и разговаривать не собирался.

Яшка толкнул плечом дверь:

— Пойду я...

— Хау ду ю ду, — усмехнулся Генка. — То есть гуд бай.

Часть вторая

ЛЮДИ С ФРЕГАТА «АФРИКА»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На реке бухали взрывы. Удары были негромкие, но другие. Почему-то Яшке представилось, что в жидких сумерках плавают и лопаются черные тугие мячи.

Лампочки в комнате не горели. Яшка сидел, скрючившись, на кровати и смотрел на окно. Окно было синим. За ним коряво торчали черные ветки. Яшке было тошно, грызла его тревога. Вернее, не тревога, а тоскливое ожидание завтрашнего дня.

Снова лопнул мяч, большой и тяжелый. Воздух мягко толкнулся в стекла, костлявые ветки вздрогнули и заскребли по раме. Кухонная дверь скрипнула и отошла, засветилась желтая щель. Стало слышно, как ворчит и ругает подрывников мать. Потом захныкал во сне Санька.

Яшка скользнул на пол и босиком прошлепал в кухню. Там у порога отыскал отцовские галоши, сунул в них ноги и вышел в сени, сердито хлопая подошвами.

— Опять раздетый шатаешься, ирод, — сказала вслед мать.

Яшка молча захлопнул за собой дверь.

Какая разница: одетый или раздетый? Все равно ничего ему не делается. Конечно, хорошо бы сейчас простудиться как следует. А может быть, даже и помереть. В самый раз было бы. Но он не заболит и не помрет, потому что такая у него судьба: все в жизни наоборот.

Яшка вздохнул, поежился и шагнул на крыльцо. Так, подышать свежим воздухом.

Вечерний воздух был немного колючим. Пахло талым снегом и подмерзшей землей. А еще — мокрой сосновой

корой от поленницы. Из такой коры получают отличные лодочки и яхты. А если выбрать кусок покрупнее, можно вырезать большой корабль. Пустить его по разливу темно-синих луж.

Весна... Только сейчас не до корабликов, при такой жизни...

Все-таки он взглянул на лужу, которая подступила к самому крыльцу. Ее уже подернул игольчатый ледок. И в кадшке под водосточной трубой вода была тоже закрыта льдистой корочкой. Нижняя кромка изогнутой трубы обросла сосульчатой бородой. Казалось, что хозяин бороды заглянул в кадку, не увидел отражения в застывшей воде и, удивившись, широко разинул рот. Забавно. Яшка даже улыбнулся чуть-чуть. Но тут он заметил другое, более интересное: на изломах сосулек, на кристалликах льда мерцали алые искорки. Совсем-совсем крошечные. Не всякий бы их увидел, но Яшкин острый глаз заметил эти пылинки света. И Яшка удивился: откуда они? Он глянул вверх. Выбрасывая сигнальные вспышки, бесшумно шел реактивный лайнер. Потом, нарастая, пришел его тяжелый гул. И медленно, неохотно утих.

Яшка скользнул глазами от самолета ниже к горизонту. Чем ближе к земле, тем светлее делалось небо. Из темно-синего превращалось в сиреневое, потом становилось зеленоватым, а над самыми крышами еще отсвечивал бледно-желтый закат. И там, где желтый свет сливался с зеленым, висел чуть заметный месяц. Тоненький, как серебряная проволочка. Вербы и рябины тянули к нему из-за темных заборов растопыренные пальцы: словно готовились подхватить, если месяц сорвется. Но как он мог упасть, легонький такой, прозрачный?

Крыши соседних домов — с трубами, антеннами и скворечниками — резко выступали на неярком закате. Были они почти одинакового роста, лишь один четырехэтажный новый дом, высокий и строгий, поднимался над ними, как суровый крейсер над беспорядочной толпой

шталанд и буксиров. В этом доме с недавней поры жил Илька. И четырехэтажную громаду все ребята привыкли называть «Илькин дом». Конечно, там почти сотня квартир, а Илька с матерью живет в одной, маленькой, на первом этаже. Но все равно — Илькин дом.

Яшка продрог, но с крыльца не уходил. Пока он стоял так, смотрел на дома и небо, тревога о неминуемой беде завтрашнего дня почти улеглась.

«Может, пронесет», — подумал Яшка. По крайней мере, помирать уже не хотелось.

Один за другим бухнули три взрыва. Упала с карниза и рассыпалась у Яшкиных ног стеклянная палочка — сосулька. Темной молнией махнул из-под крыльца перепуганный кот Степка.

Ахнул четвертый взрыв.

Это был тайный салют весне. Тайный, потому что без ракет и вспышек, только гул разносился по улицам.

В ожидании близкого и опасного ледохода подрывники заранее громили лед у деревянного моста.

Говорят, утро вечера мудренее. Это значит, люди утром лучше соображают и тверже обо всем помнят. Но не всегда это хорошо. Яшка проснулся, вспомнил и понял, что надеяться не на что.

Когда у человека на душе скверно, солнце его не радует. Яшка брел в школу и жмурился от жуткого отвращения. Солнечный свет казался ядовито-желтым и противным, лужи резали глаза бритвенным сверканием и пахла бензином. Каждая капля, падая с карниза, норовила скользнуть за шиворот. А шелкали по асфальту эти капли в точности так же, как каблук Галины Николаевны, когда она ходит по классу. Ходит и говорит: «Я одного не могу понять, Воробьев. О чем ты думаешь, когда решаешь? Ведь задача-то пустяковая! Как я могу поставить тройку, если у тебя все решение кувыркком? Можешь ты мне ответить?»

Он не может. Он стоит и всегда царапает каблуком половицу. И смотрит куда-то вниз и вбок. Не рассказывать

же, в самом деле, какие мысли заползают в голову, когда решаешь задачу. Да он и сам не помнит точно. Разные. Мысль — не кот Степка, за хвост не ухватишь.

Последний раз почему-то думалось про пустыню. Пустыня лежала под заходящим солнцем, а по оранжевому песку шли черные верблюды... А задача была про ящики с яблоками...

Чтоб их черви съели, эти яблоки! У всех задача получилась в четыре действия, а у Яшки — в три. У всех в ответе двадцать восемь ящиков, а у него — сорок. И с примерами такая же штука. Только один пример, самый маленький, решил так же, как у остальных. Вот и попробуй надеяться на тройку.

Двойки для Яшки тоже не новость. Но разные они бывают, эти двойки. Есть и такие, что получишь — и сразу забудешь, но сегодняшняя — хуже смерти. Нынче суббота. Значит, из журнала двойка сразу перекочет в дневник. Дома, конечно, за дневник сразу ухватится мать: «А ну, показывай!» Днем-то, может быть, все одним криком кончится. А потом, вечером... В шесть родительское собрание, про это в дневнике уже написано. Уж на собрании-то она про все наслушается. И про голубя, которого они с Толькой Сенцовым в парте кормили. И про воздушный шарик, который лопнул. И про самое главное: «Вы подумайте, товарищ Воробьева! Ведь у него и так двойка за первую четверть. А если еще и за четвертую будет двойка, что тогда? Ведь это была проверочная контрольная го-роно...»

Мать вернется, шагнет в комнату, шумно дыша. Будто бежала всю дорогу. Швырнет в угол тяжелую хозяйственную сумку: она ее всюду с собой таскает, даже когда не надо. Молча ухватит Яшку за ворот и будет таскать по всему дому, пока не найдет старый отцовский ремень или какую-нибудь веревку...

Да черт с ней, с веревкой. Но теперь уж ни за что в жизни не выпросить рубль. И пропали марки...

Яшка со злостью поддал ботинком пустой спичечный коробок. Размокший коробок взмыл по дуге и шмякнул в спину какой-то тетке. Тетка обернулась и начала визгливо кричать про хулиганов и лодырей. Яшка молча обошел ее.

В такой скверный день — все назло. Арифметика по расписанию первый урок, а Галина Николаевна сделала его четвертым.

А первым чтение. Думал Яшка, что сразу все выяснится, а теперь жди и мучайся.

И он ждал и мучился. На чтении, на письме, на труде. Хорошо, что ни разу не вызвали, а то была бы еще одна двойка.

Собственно говоря, ждать было нечего. Все ясно заранее. Но Яшка все-таки немножко надеялся. Самую крошечку. Ну, бывают же чудеса! Ведь хоть раз в жизни может, наверно, случиться, что все решили неправильно, а один человек правильно?

Нет, не может...

И до чего же обидно! Сколько неприятностей из-за одной отметки... Ну, что стоило Галине Николаевне красным своим карандашом не делать противного двоичного хвостика, а завернуть маленькую круглую скобку! Чуть-чуть не в ту сторону двинуть грифелем. И была бы тройка. И не было бы никакой беды.

И главное, были бы марки.

Они все время стоят перед глазами. Голубые, желтые, розовые, нежно-зеленые. С жирафами, львами, носорогами. Со слонами. Разноцветные, как сказка, марки королевства Бурунди.

Два рубля двадцать копеек — весь набор. Рубль и два гривенника уже есть, да какой теперь толк от них...

Одна марка там особенно хорошая. Даже плакать хочется, как вспомнишь. Синяя-синяя, большая, с пятнистым леопардом.

Ну, будь какие-нибудь другие марки, тогда ладно. А то ведь Африка! Африка...

Яшка горько вздохнул и заворочался. Брезентовый ремешок от полевой сумки скользнул из парты и упал ему на колени. Яшка растянул его на ладони, посмотрел. И вместо того, чтобы записывать в дневник домашнее задание, начал писать на ремне слово «Африка». Аккуратно, печатными буквами, вкладывая в это дело всю свою тоску и горечь...

...Три урока прошли наконец. Длинные, тягучие, они все-таки кончились, и вслед за ними кончилась последняя перемена. И Галина Николаевна принесла стопку тетрадей.

Сначала она раздала тетради с пятерками. Их владельцы подходили к столу без улыбок, с напряженными лицами. Старались показать, что пятерка эта не очень-то им нужна. Только маленький толстый Кадочкин сиял, как африканское солнце. Он всю жизнь получал пятерки и всю жизнь радовался им, как первоклассник. Ну и что! Яшка тоже радовался бы...

Потом пошли те, кто заработал четверку. Их оказалось больше чем полкласса: контрольная-то была совсем нетрудная. Тройки получили только шесть человек, но и среди них не нашлось места Яшке.

Остались на столе три или четыре тетрадки. Галина Николаевна привычно вздохнула и объяснила:

— Здесь лежат контрольные работы тех, кто огорчил нас... Вот Клепиков. Я думала, что дополнительные занятия пойдут ему на пользу, а он... В общем, забирай свою тетрадь. Не решение, а каша из ошибок и клякс.

Грузный второгодник Клепиков спокойно забрал кашу из ошибок и клякс и отправился на место, хлопая себя тетрадкой по колену. Яшка посмотрел на него с печальной завистью: Клепиков свои двойки всегда принимал гордо и независимо. Яшка так не умел.

Вторую двойку получила Танька Сапожкова. Она вернулась за парту и сразу принялась реветь.

— И еще наградил нас двойкой Антон Калинов, — сообщила Галина Николаевна. Ее красивое лицо стало совсем печальным. — Такого сюрприза я не ожидала.

— Я тоже, — с юмором заметил Антошка. Он и двойки, и пятерки получал с одинаковой легкостью.

Осталась Яшкина тетрадь. Яшка ее видел. Она лежала на краю стола, голубая, с маленькой кляксой в верхнем уголке... Что же молчит Галина Николаевна? Наверно, в тетрадке не двойка. Наверно, кол. Но это же все равно.

Галина Николаевна медленно сказала:

— Остался еще Воробьев... Ну, скажи, Воробьев, о чем ты думаешь, когда решаешь? — Она открыла тетрадь. — Просто чудовишно...

Яшка встал, хотя, наверно, можно было и не вставать. Он прекрасно знал, как нелепо сейчас выглядит: маленький, сторбленный, остроносый. Тонкая шея смешно торчит из воротника. А что делать? Он не Клепиков...

— Просто чудовишно, — повторила Галина Николаевна. — Делишь сто шестнадцать на два, и получается восемьдесят. Откуда же будет правильный ответ? Даже во втором классе не делают таких нелепых ошибок...

Конечно, не делают... Но и Яшка тоже не всегда ошибается.

Например, он точно подсчитал, что марки королевства Бурунди стоят двадцать копеек штука — их одиннадцать в наборе. Только их не продают в отдельности, а то бы он купил хоть некоторые, самые красивые. Особенно синюю, с леопардом...

— Я не знаю, что с тобой делать, Воробьев... Главное, очень обидно: ведь решение задачи у тебя интересное и более простое, чем у остальных. У всех четыре действия, а у тебя три. Но считаешь ты хуже первоклассника...

Веселый пятнистый леопард с синей марки стоял перед глазами как живой. «Миленький, ну спаси меня, по-

жалуйста», — тихонечко сказал ему Яшка. И в глазах у него зашипало от жалости к себе. Оттого, что не у кого больше попросить защиты от беды.

— Просто ужас до чего обидно, — печально сказала Галина Николаевна. — Такое остроумное решение. А какую я могу поставить оценку при таких ошибках? Возьми тетрадь, Воробьев... Тройку я поставила все-таки. Конечно, с минусом.

Ух как грянуло в окна солнце!

В марте капризная погода. Пять минут назад был сверкающий день, и вдруг из-за реки примчались темные облака. Такие растрепанные, что лужи не захотели отражать их и задернулись мелкой рябью. Ворвался в город серый тяжелый ветер и на старых улицах начал раскачивать скрипучие ворота. А потом с размаху пронесся дождик. Вернее, не дождик, а полоса летучей водяной пыли.

Прохожие ворчали, нахлобучивали шапки и шляпы, прятали в воротники отсыревшие носы.

А Яшка не ворчал. Не поднимал воротника и не заталкивал в карманы покрасневших рук. Все зависит от настроения. Можно сказать про такую погоду — слякоть, а можно и по-другому: циклон с зюйд-веста, несущий штормовую облачность и порывистые дожди. От таких слов гудение ветра делается радостным и торжественным, а случайные проблески солнца напоминают вспышки праздничного салюта.

Яшка подумал о салюте и вспомнил про вчерашние взрывы. И захотелось ему взглянуть с берега: хорошо ли поработали подрывники и не грозит ли старому мосту опасность. Он еще постоял на углу Первомайской и Пароходной, подумал: не побежать ли домой, чтобы поскорее выпросить обещанный рубль и помчаться за марками? Но затем сообразил, что мать сначала будет ворчать, потом заставит обедать, и до перерыва в магазин он все равно не

успеет. Яшка повернул к реке и зашагал навстречу штормовой облачности и порывистым дождям.

Он топал весело и смело. Впереди никаких неприятностей. Даже уроков на дом не задали, потому что суббота. Длинный-длинный выходной день впереди. И заляпанный пятнами леопард на синей марке королевства Бурунди...

Улица выбегала к речному обрыву и рассыпалась там на отдельные домики. Они опасливо жались подальше от береговой кромки, только одинокая мазанка бесстрашно пристроилась на самом краю.

Внизу черная вода медленно поворачивала ноздреватые льдины. Справа, у моста, эти льдины натыкались на железные гребни быков-ледорезов, разламывались, огибали их и тяжело проплывали между деревянных опор. По мосту шли самосвалы, и он привычно стонал, прогибая настил. Яшка пожалел беднягу: когда этот мост сооружали, таких машин, наверно, и в помине не было.

Яшка не стал спускаться к воде, а пошел навстречу плывущему льду по кромке обрыва. Ветер заботливо толкал его подальше от края, но Яшка не слушался ветра. Свистел, размахивал сумкой и сбивал вниз ботинками комки сырого снега и глины.

Так он дошел до Монахова мыса.

Это был острый береговой выступ на изгибе реки. Когда-то здесь стояла большая монастырская церковь, а потом стала оползать к воде, и ее взорвали. Но Монахов мыс назывался так не из-за церкви, а потому, что давно-давно, до революции, здесь разбился и затонул пароход «Монах» фабриканта Витаса.

Разбиться было совсем нетрудно, особенно во время половодья. По всему берегу между водой и откосами тянулась плоская песчаная полоса, а здесь из-под глины выходила гранитная порода и отвесно обрывалась в реку. Мыс врезался в воду, как бастион береговой обороны; не хватало только пушек. Льдины по очереди тыкались в его под-

ножие и, убедившись в прочности камня, отходили по-дальше.

Яшка устал смотреть на кружение льдин. Взгляд его заскользил вверх по гранитным ребрам. Из каменных щелей торчали редкие сухие стебли и дергались под ветром.

Там, где раньше стояла церковь, остался невысокий земляной холм. Его край нависал над обрывом узким козырьком, лохматым от прошлогодней травы и вылезших корней. Казалось, что мыс хмурит брови.

Облака не выдержали наконец солнечного напора и в одном месте разбежались. Рванулся широкий сноп лучей. Склон холма, обращенный к реке, так заблестел обледенелым снегом, что Яшка зажмурился. И не сразу увидел, как на этом снегу, над самым козырьком, копошатся две маленькие фигурки.

А когда увидел, удивился.

Сначала просто удивился: что они там делают? А потом испугался. Слишком уж близко от края они были. И даже отсюда было видно, какой скользкий этот склон, облизанный косыми лучами и теплым ветром. Балбесы! Наверно, первоклашки какие-то. Ума, как у цыплят.

Скользя подошвами, он взбежал на бугор, чтобы крикнуть оттуда: «Вы, малявки! Марш наверх! Жить надоело?»

Он не крикнул. Не успел, потому что один из ребят, тот, что держался повыше, поднял голову и крикнул сам:

— Эй! Помоги вылезти! А то мы, кажется, затарахтим вниз!

«Факт, затарахтят», — подумал Яшка. И почувствовал непрошеную радость оттого, что не он царапается на скользкой и опасной кромке. Это была скверная радость, Яшка понимал. Но, в конце концов, при чем здесь он? Ведь не по его вине оказались там эти безмозглые котята.

— Удобно устроились, — ехидно сказал Яшка. — Чего это вы там искали?

Тот, что просил помочь, — худощавый малыш в сбитом на затылок шлеме с медными пуговками и в пальтиш-

ке из такой же серой материи, — медленно и сердито посмотрел на Яшку. Потом пожал плечами. В самом деле, не до разговоров. Другой мальчишка, в синей вязаной шапочке с помпоном, сказал:

— Вербку бы...

Яшкина радость испарилась. Положение было жуткое и дурацкое. Уйти он теперь не мог: чего доброго, эти акробаты и вправду загремят с обрыва. Высота с трехэтажный дом, а внизу или жгучая от холода вода, или льдины. Неизвестно, что хуже... Вербку бы... Где ее возьмешь? Сбежать бы в какой-нибудь дом, но страшно: вернешься, а вдруг этих уже нет...

Яшка осторожно спросил:

— Эй, вы... Вы еще держитесь?

— Держимся, — ответил мальчик в синей шапке. — Только, кажется, снег сползает.

Ох, этого еще не хватало!

Они вели себя очень спокойно. Яшка даже позавидовал такой смелости. Двигаться было опасно, и оба малыша почти не шевелились теперь. Они просто ждали от Яшки помощи. Тот, что в синей шапке с белым помпоном, замер на четвереньках. Он вцепился в ледяной выступ, и даже сверху Яшке было видно, какие красные и застывшие у него пальцы. А второй держался на спине, цепляясь каблуками и локтями за вмятины в обледенелом снегу. На Яшку он теперь не смотрел: было неудобно поворачивать голову. Он смотрел на рваные облака. Маленький матерчатый шлем совсем съехал на затылок. Волосы у мальчишки были светлые и курчавые. Ветер ерошил и спутывал эти мелкие колечки. Яшке стало совсем нехорошо. Начал в нем подниматься тяжелый, расслабляющий страх.

Яшка не боялся бы так, если бы еще не знал точно, что делать. Но он уже знал. Он видел, как, выступая из-под наледи, тянется наискосок по склону узкая грядка глинистых комьев. Конец ее совсем недалеко от ребят. Если протянуть им оттуда сумку...

А если сорвется ботинок? Глиняные комки небольшие и, наверно, крошатся под ногами...

Яшка сбросил с плеча и взял в левую руку сумку. Выдохнул сквозь сжатые зубы воздух и скользнул по мокрой ледяной корке к выступу из глины.

Страх булькал в нем, как вода, но Яшка довольно быстро добрался до конца рыжих комьев и остановился прямо над мальчишкой в шлеме, осторожно присел на корточки и толкнул к нему по снегу сумку. Все оказалось просто. Малыш вцепился в ремень, перевернулся на живот и ловко выбрался к Яшке, встал рядом.

— Топай навверх. Да осторожней, — сурово сказал Яшка.

— А Валерка? — Мальчик смотрел на оставшегося товарища.

— Мотай навверх! Обойдемся без тебя! — прикрикнул Яшка.

Он перестал бояться. Всю жизнь все командовали Яшкой, а сейчас командовал он, и его слушались. Попробовали бы не послушаться!

— Марш! — повторил он. Посмотрел на перемазанное серое пальтишко и добавил: — Перемазался как черт. Дома тебе достанется...

— Наверно... — вздохнул малыш и, оглядываясь, начал выбираться навверх.

С Валеркой было труднее. Сумка не доставала до него. Никак не доставала. Яшка вспомнил про нож. Ржавым своим перочинным ножом он принялся перепиливать ремень там, где он был пришит. Дергал тупым лезвием и опасно поглядывал: держится ли еще Валерка? Тот держался.

Наконец ремень был перерезан. Сумка висела теперь на одном его конце, зато длина ремня стала больше в два раза.

— Держи!

Валерка ухватился за сумку и лег на живот.

— Ты чего? — испугался Яшка.

Валерка виновато улыбнулся:

— Сейчас. Отдышусь.

«Когда еще он отдышится...» — подумал Яшка. Скомандовал:

— Двигай ногами. Я поташу.

Валерка послушно зацарапал по снегу коленями.

Запрокидываясь, Яшка потянул ремень. Оттаявшая глина поползла под каблуком. Он переступил и потянул снова.

Ну, вот и все. Валерка рядом, в шаге от Яшки. Уже на ногах. Счастливый, что выбрался. Круглолицый, темноглазый, немного на Илью похожий, только помладше.

— Ух, — сказал он, улыбаясь. Повернулся и вдруг закачался на глинистом гребешке, теряя равновесие.

— Стой ты! — Яшка рванул его, удержал. Но не удержался сам и скользнул на подошвах туда, где недавно цеплялся за лед Валерка.

Он даже не успел испугаться, только на миг, будто от боли, сжались все мышцы.

Ничего страшного не случилось. Новые каблуки с острыми краями — хороший тормоз. Яшка остановился в метре от обрыва. Он стоял довольно прочно, да и ветер помогал держаться. Не было теперь ни капельки страха.

Яшка осторожно повернулся лицом к ребятам. Валерка суетливо и неумело наматывал на ладонь ремень сумки.

— Я сейчас тебя вытащу!

«Вытащу!» Сам едва стоит. Лапы красные, как петушинный гребень, застывшие. Брюки на коленях насквозь промокли. И отчетливо слышно, как хлюпает у него в ботинках.

— Иди навверх! Топайте домой оба! Пусть вас матери повесят над печкой сушиться!

— А ты? — сказал сверху кудрявый.

— А ты? — сказал Валерка.

— Что — я? Думаете, царапаться буду, как вы? — Врубаясь каблуками в подтаявшую наледь, он сделал несколько шажков. — Видели? Не то что вы, черепахи!

— А дальше? — потребовал Валерка.

Дальше надо было встать на четвереньки и дотянуться до сухого стебля, который жестко торчал из-под снега. Но ползти на коленях при этих малышах было унижительно.

— Идите, вам говорят!

— А ты вылезешь?

— Может, я вниз буду прыгать?

Он осторожно присел, будто для того, чтобы затянуть шнурок на ботинке. И бросил через плечо:

— Сумку там положите наверху...

Видно, эти спокойные слова и небрежная смелость ловкого мальчишки убедили малышей. Они постояли еще, но Яшка сидел на корточках и делал вид, что любит-ся заречными далями. Хочет — и сидит здесь. Его дело.

Ребята ушли.

Тогда Яшка дотянулся до стебля.

Стебель, такой прочный на вид, хрустнул и рассыпался в труху. Яшка плюхнулся на живот, пытаясь задержать скольжение. Он вдавливал в наледь пальцы, носки ботинок, даже подбородок. Но съезжал все ближе и ближе к жуткому краю. Тяжелый страх опять накрыл его с головой. Но было что-то сильнее страха. Яшка мог еще крикнуть. Изю всех сил, чтобы услышали: «Валерка, на помощь!»

Он не крикнул, упрямо царапая ногтями лед.

Ему удалось задержаться. Но это была слабая задержка. От каждого движения, даже от вдоха, он съезжал ближе к пропасти. Медленно, сантиметр за сантиметром.

Времени прошло, наверно, очень много. Проглядывало солнце, и опять набегали облачные тени. На берег, на Яшку.

Яшка заплакал.

Он плакал и, вжимаясь в рыхлый лед подбородком, смотрел вверх по склону. За бугор улетали разорванные облака. Было пусто, и Яшка понимал, что никто не при-

дет. Разве только такие же случайные мальчишки заглянут.

Из-за бугра торчала верхушка телеграфного столба с поперечными брусьями. Белые ролики сидели на них парами, как послушные птенцы. По этим перекладам Яшка видел, что он все-таки едет и едет к обрыву. Сначала скрылась за скатом одна, потом вторая, и коснулась земли третья.

Яшка понял, что, когда и эта скроется из глаз, будет конец.

И тогда он снова вспомнил о ноже. О ржавом своем ноже с тупым, но довольно длинным лезвием. Нож лежал в кармане пальто. Яшка сунул его в карман, когда отпилил ремень. Даже лезвие не захлопнул. Главное теперь — набраться смелости и дотянуться до кармана.

Яшка перестал плакать. Плавно-плавно приподнял правую руку и перенес назад. Пальто сбилось на сторону, и карман оттопырился, словно старался помочь хозяину. Яшка нащупал плоскую железную рукоятку. «Хороший ты мой», — сказал ножу Яшка. Он вынул руку и медленно занес нож. Это движение стоило ему еще пяти сантиметров. Но было уже не страшно.

Со всей силой, со всем своим отчаянием Яшка ахнул ножом в ненавистную ледяную корку.

Клинок пробил лед, ушел до конца, и даже под кулаком осталась вмятина.

Все. Нож сидел крепко. Можно было отдохнуть минуту, затем осторожно подтянуть колени. Потом подтянуться самому. И так, врубаясь ножиком, он доберется до спасительных глиняных комков. Всего-то метра два с половиной.

Все радости дня снова вспомнились Яшке: счастливая тройка, незаданные уроки. И марки... А как здорово он вытянул этих двух пацанят!

Яшка улыбнулся и сквозь непросохшие слезы глянул на верхушку столба. Перекаладина с птенцами-роликами

скрылась за бугром. Острая верхушка становилась все короче. Яшка лежал, не скользил, а столб исчезал из глаз!

Тайные ручейки-разведчики подмыли пласт слежавшегося снега. Он тронулся и вместе с Яшкой пополз к обрыву. Все быстрее... И вот, надломившись, он ухнул в реку.

«Только бы не насмерть...» — успел подумать Яшка.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В конце мая внезапно ударила жара. С утра было еще прохладно, а к полудню разжарило, словно в июле. Солнце било в окна и так нагревало парты, что краска липла к ладоням. Илька едва досидел до конца четвертого урока и побрел домой, совершенно ослепший от солнца и оглохший от зноя.

Жесткий воротник безжалостно тер мокрую шею. Можно было снять куртку, но для этого пришлось бы скидывать ранец. Кроме того, брюки держались на широких шелковых лямках, которые Илька ненавидел и показывать никому не собирался. Он шел и ругал шепотом тех, кто придумал такую дурацкую школьную форму. Разогретое толстое сукно пахло шерстяным одеялом. Этот запах Илька терпеть не мог еще с детсадовских времен, когда всех ребят насильно укладывали спать после обеда.

Дома Илька грохнул на пол ранец, как из скафандра, выбрался из раскаленной формы и с головой нырнул в шкаф — искать нормальную одежду. Из старых штанов и рубашек он вырос, но мама еще в марте позаботилась о новом «летнем обмундировании». Мама молодец! Через три минуты Илька танцевал перед зеркалом в желтой тенниске и коротеньких штанах с косыми карманами. Потом с удовольствием протянул в петли скрипучий новенький ремешок.

Красота! Словно крылья выросли.

Илька крутнулся на пятке и решил, что обедать ему не

хочется, а хочется бегать. Он прыгнул в коридор, хлопнул дверью и выскочил на улицу.

Вот это жизнь! Мчишься так, что ветер свистит в ногах и мохнатыми лапами забирается под рубашку. А веселое солнце не отстает, не выпускает из теплых ладоней.

Вот так и начинается лето! Не с первого дня каникул, а со встречного ветра, скорости и солнца...

На всем скаку повернул Илька в широкий Сосновый тупик. Тупик, он и есть тупик, машины не ходят. Но тишины здесь не бывает: ее разгоняют футболисты.

Семь или восемь мальчишек, разделившись, гоняли мяч.

— Я за кого?! — крикнул Илька на бегу.

Обе команды хором ответили:

— За нас!

Его теперь везде принимали, не то что в прошлом году.

Как-то незаметно это получилось. Раньше могли сказать: «Обожди, не суйся», а сейчас Илька знает — не скажут. Может быть, это после того, как он у всех на глазах катался на лыжах-коротышках с откоса за пристанью? Все топтались наверху, а он взял да и ахнул вниз, бросив при этом непонятные слова: «Трусов родила наша планета...» Левую лыжу потом так и не нашли в снегу... А может быть, после того, как он сцепился с одним пятиклассником и держался, пока не подоспели Генка, Шурик и Антон Калинов? Или просто потому, что девять лет гораздо больше, чем восемь?

Когда играешь в футбол, время летит так же быстро, как гоняешь мяч. А знатоки про Ильку говорят, что в технике игры он не силен, но скорость развивает бешеную. И четыре часа мелькнули как четыре минутки. Илька даже не отдышал и остановился лишь тогда, когда длинный Тимка Савельев саданул ему ботинком под колено. Сгоряча Илька полез в драку, но тут же сел в пыль, и ему очень захотелось заплакать от боли и какой-то неожиданной слабости.

— Жердина ходячая, — глотая соленые слезы, сказал он. Тимка стоял, опустив руки, и в десятый раз объяснял, что он не нарочно.

— Лошадь, — сказал Илька и начал растирать ладонями здоровенный синяк.

Мальчишки сочувственно молчали. Такое молчание не понравилось Тимке, и он отругнулся:

— Если слезки на колесиках, ходил бы в балет, а не в футбол играть...

Он, кажется, намекал. Дело в том, что зимой Илька занимался в балетном кружке, но был выгнан за чрезмерную горячность и невнимательность. «Слишком, слишком много темперамента», — сказала Илькиной маме седая сухопарая руководительница.

Это воспоминание прибавило Ильке злости.

— А твоими копытами только сваи забивать, — ответил он. Встал и захромал домой.

Мама была уже дома. Она цепко оглядела Ильку, сразу увидела кровоподтек и поздравила с «первым поцелуем лета». Илька промолчал и присел на стул.

— Носишься как угорелый и не думаешь, что я беспокоюсь, — сказала мама. — Неужели обязательно являться домой после меня?

— Все равно я забыл ключ, — вяло сказал Илька.

— Как всегда.

Илька решил было ответить, что на этот раз не «как всегда», а оставил в кармане брюк. Но не ответил. Не хотелось почему-то говорить.

— И с утра голодный, — продолжала мама. — Стал как щепка. Посмотри на себя.

Смотреть на себя Илька не стал, а сказал, что у них в классе есть толстый Малахов и все его зовут Дыней.

— Тебе это не грозит, — заметила мама и ушла разогревать котлеты.

Илька почувствовал, что есть совершенно не хочется. Тошно думать о котлетах. Водички бы глотнуть, а то сухо во рту. Но мама заставит пить кипяченую.

Котлеты на кухне отвратительно трещали в масле. Ильку слегка затошнило.

К счастью, пришел дядя Володя, мамин знакомый.

У дяди Володи было красивое худое лицо и черные мушкетерские усики. Одевался он тоже красиво: носил разноцветные свитеры и удивительно отглаженные брюки. Но сегодня он явился в сапогах и брезентовой куртке.

— Боже мой, Владимир?! — удивилась мама. — В какую дальнюю экспедицию вы опять собрались?

— Не «в», а «из», — сказал дядя Володя и ловко бросил у порога рюкзак.

— Когда же вы успели? Вы же недавно у нас были.

— Двадцатый век! Скорости...

— Проходите. Илька, ты почему не здороваешься? Снимайте куртку.

— Знаете, Тamarочка, не удержался и специально соскочил с автобуса, чтобы заглянуть к вам, — объяснил дядя Володя. — Хочу похвастаться необыкновенной добычей. Разрешаете?

— Разрешаю, — улыбнулась мама.

С загадочным лицом дядя Володя вынес на середину комнаты рюкзак. Расстегнул и опрокинул над желтыми половицами. Илька вытянул шею. Что-то непонятное, большое, светясь нежно-розовым пухом и сверкая пунцовыми перьями, медленно вываливалось из рюкзака. Наконец вывалилось и тяжело ударилось об пол. Илька увидел длинные птичьи ноги. Тоже розовые, со скрюченными пальцами.

Удивительная птица раскинулась перед Илькой. С длинной лебединой шеей, но на лебедя совсем не похожая. Всех цветов зари. Только алые крылья оторочены черной каймой.

Это была мертвая птица.

— Ой, что это? — громко сказала мама, обходя ее стороной.

— Вы, Тamarочка, не поверите. Сплошная экзотика.

Самый настоящий фламинго... Каким южным ветром занесло его в наши края?

— Действительно... — произнесла мама.

Дядя Володя повесил пустой рюкзак на спинку Илькиного стула и со скромной гордостью шагнул в сторону: пусть все полюбуются на его добычу.

Илька сполз с сиденья и встал перед птицей на колени. Провел пальцем по розовой шее. Шелковистые перышки легко пружинили. Случайно Илька задел коленом клюв и вздрогнул: клюв был гладкий и очень холодный. Илька отодвинулся.

Дядя Володя праздничным голосом рассказывал:

— Представляете, чистейшая случайность. Встала машина, что-то стряслось с мотором. Водитель такой болван... Я вылез ноги поразмять. Смотрю — летит. Высоко. Думал, журавль. Даже не надеялся, что попаду. Бросился в кабину, схватил чье-то ружье — трах! Смотрю — падает. Прямо на шоссе. Глазам своим не поверил...

Глаза фламинго были затянuty пеленой.

Илька спросил:

— Разве журавлей едят?

— Нет, конечно...

— Тогда зачем вы «трах»?

— Илька... — укоризненно сказала мама.

Дядя Володя сдержанно улыбнулся.

— Законный вопрос. Если рассуждать логически, стрелять не следовало. Но есть такая штука в человеке — охотничий азарт.

— Дурацкий азарт, — рассеянно отозвался Илька.

— Илька! — страшным голосом произнесла мама. — Как ты смеешь! Извинись сию же минуту!

Илька выпрямился.

— Извините, пожалуйста, — сказал он, — это я нечаянно. Я хотел подумать, а получилось вслух.

— Негодный мальчишка, — сказала мама с некоторым облегчением.

— Ну-ну, зачем так... — вступился дядя Володя. —

Дело ведь не в форме выражения, а в самой сути. Допустим, азарт дурацкий. А разве ты не стреляешь из рогатки по воробьям?

— Он не стреляет, — поспешно заверила мама.

Илька снова взглянул на фламинго.

— Это же не воробей. Сравнили пень с ярмаркой.

— Илька! Выставляю в кухню, — пообещала мама. И не выставила, наверно, только потому, что догадалась: он сразу полезет к холодному крану.

Илька притих и снова наклонился над птицей.

Приподнял крыло. Перья сухо шелестели.

— Можно, я возьму одно перо?

— Да ради бога! Подожди, я оторву...

— Я пошутил, — сказал Илька.

— Ну... Как хочешь.

Он стал укладывать добычу в рюкзак.

Мама вздохнула:

— Все-таки жаль, что убили такую красоту...

— Эта красота не пропадет, — бодро откликнулся дядя

Володя. — Выйдет отличное тучело.

— Да, конечно, — сказала мама.

Дядя Володя выпрямился и бросил рюкзак на плечо.

— Извините за непрошенный визит. Я пойду.

— Куда же вы? А обедать?

— Спасибо, хочется домой поскорее. Я ведь еще не был у себя...

Мама проводила его до двери и вернулась с каменным лицом. На Ильку не взглянула.

— А чего он врет, — мрачно сказал Илька.

— Что значит «врет»?

— То, что с автобуса прямо к нам пришел. У него в рюкзаке, кроме птицы, ничего не было. С пустым рюкзаком он ездил, да? Он уж тыщу раз дома побывал, а потом к нам пришел хвастаться.

Мама смешно приоткрыла рот.

— Ну... ну, может быть. Наверно, ему неловко было

просто так заходить, вот он и придумал. Такой характер. А ты ведешь себя безобразно.

— А зачем он говорит «Тамарочка»...

— Ильяка... Что за глупости! Ну, привычка такая. Он мой хороший знакомый.

— Иван Сергеевич так не говорит.

— При чем здесь Иван Сергеевич? С Володей мы учились в одном институте. Меня там все звали Тамарочкой.

— Он мне не нравится, — сказал Ильяка.

Мама взяла его щеки в ладони.

— Мне тоже, — тихо сказала она. — И все-таки надо стараться быть вежливым. Договорились?

Ильяка нехотя кивнул. Но мама не убрала рук. Ладони скользнули со щек на лоб. Они были очень холодными.

— Ой, Ильяка... Начинается опять лето.

«Ну и хорошо. Лето в тыщу раз лучше зимы», — хотел ответить Ильяка. Но язык сделался совсем сухим, просто деревянным. Ильяка неловко вздохнул и присел на диван. Привалился к спинке. Мамины пальцы, как встревоженные человечки, забегали по нему от пуговицы к пуговице...

Ильяка проснулся от того, что шелкнул замок сумочки. Значит, мама сейчас уйдет на работу. Обычно они выходили вместе, но когда Ильяка не спешил, он просыпался позднее — от этого сухого шелчка.

Ильяка приоткрыл глаза. Мама стояла у зеркала. Сумочку она держала в правой руке, а левой торопливо поправляла прическу.

— Проснулся? Доброе утро, — сказала мама, не обернувшись.

Как она узнает, что Ильяка уже не спит?

— Еще не совсем проснулся...

— Нет уж, ты постарайся совсем. И слушай внимательно. Температура у тебя нормальная, я проверяла. И, наверно, не поднимется, если не будешь слишком много скакать по комнате.

— Не буду... — лениво сказал Ильяка.

Где уж ему скакать? Ноги и руки гудели и казались жидкими, как вареные макароны. И в горле скребло.

— Но обязательно позавтракай, слышишь? Разогрей котлеты.

«Ой...» — подумал Ильяка.

— И молоко тоже согрей. Оно уже кипяченое, но немного остыло. Выпьешь кружку горячего. И не забудь принять биомоцины.

Ильяка вздохнул:

— Не забуду.

Впервые, что ли? Каждое лето у него ангина. По несколько раз. Мама однажды сказала: «Простываешь постоянно. Носишься разгоряченным под всеми ветрами...»

Ильяка не почувствовал раскаяния. Эти слова ему понравились. «Под всеми ветрами...» Было в них что-то широкое, шумное, синее... Но ангины продолжались.

В прошлом году мама хотела, чтобы Ильяке удалили гланды, водила в свою больницу. Там его осмотрели, взяли кровь на анализ и сказали маме: надо подождать. Мама опечалилась, а Ильяка нисколько...

— Я сегодня вернусь пораньше, — сказала мама. — Не скучай. — Подошла и чмокнула Ильяку в лоб сухими губами. — Проветри комнату, но не торчи под форточкой. Договорились?

Ильяка двинул головой: договорились. Мама продолжала смотреть на него, глаза у нее были большие и печальные.

— Похудел моментально, — сказала она. — Раньше хоть лицо было круглое, а сейчас щеки ввалились... А ночью нес всякую чепуху. Что тебе снилось?

— Какая-то мохнатая дрянь, — припомнил Ильяка. И прибавил, чтобы успокоить маму: — Не бойся, я оторвал ей хвост.

Мама улыбнулась.

— Ты запомнил все, что я сказала?

Илька морщил лоб.

— Мама... А где живут фламинго?

— Ну вот! Я тебе про одно, а ты...

— Я все запомнил, — поспешно сказал Илька. — Но ты не знаешь, где живут фламинго?

— На юге.

— Я знаю. Но где на юге? Мне надо точно.

— Не помню. Я постараюсь узнать, хорошо? А теперь еще поспи.

Она ушла, а Илька стал думать о жарком ветре, принесшем в их края удивительную птицу. Скверную шутку сыграл с ней этот ветер. А может быть, он не виноват? Не знал ведь он, что фламинго нарвется на выстрел... Может быть, она вывела бы здесь птенцов и чудесные розовые птицы стали бы летать над городом. Живые... А что? Ведь живут на недалеких озерах такие же, как в Африке, пеликаны...

Илька незаметно уснул и проспал до одиннадцати часов. Разбудил его голод. Илька уже без всякого отвращения стал думать о котлетах.

Ноги теперь почти не гудели. Илька выбрался из постели, протопал на кухню и ухватил котлету пальцами со сковородки. Не разогревать же, в самом деле. Потом он вспомнил про молоко. С минуту лень боролась в нем с угрызениями совести. Потом он попробовал молоко и решил, что оно и так достаточно теплое. Илька запил им биоминцин.

В комнате Илька открыл форточку и печально уселся от нее подальше. Начинался скучный день.

За окнами шумело веселое солнце, качались на ветках молодые листики — яркие, как зеленые огоньки. Прыгали счастливые воробьи, у которых не бывает ангины. Промчался на велосипеде «Спутник» бородатый спортсмен в таких же, как у Ильки, серых штанишках и в майке, розовой, как грудь фламинго... Потом прошагал с портфелем в руках по другой стороне улицы длинноногий Шурка Че-

ремховский. Неужели из школы? Так рано? Он свернул за угол, Илька не успел его окликнуть. А жаль... Шурка-то, конечно, знает, где живут фламинго.

Илька вытащил коробку с карандашами «Искусство» и тетрадь для рисования. Достал сначала красный и розовый карандаши. Он трудился долго, но фламинго все равно не получился. Ведь Илька видел только мертвую птицу, а рисовал живую. Не вышло. С досады он нацарапал бородатого черта на велосипеде и закрыл тетрадь. Тоскливыми глазами посмотрел за окно.

И тогда, к великой своей радости, увидел он, как через дорогу прямо к окну шагает Генка.

Забыв про запрет, Илька взлетел на подоконник и высунул голову в форточку.

Илька, видимо, так сиял, что Генка чуть-чуть улыбнулся в ответ, хотя настроен был хмуро. Он тут же снова посерьезнел и спросил:

— Ты один?

— Мама на работе.

— Дай чего-нибудь пожевать. В брюхе свистит от голода.

Илька удивился, но молча скользнул с подоконника. Если у человека свистит в животе, ему не до расспросов. Отрезал Илька почти полбатона, положил на кусок две котлеты и все это переправил Генке через форточку.

— Сила! — сказал Генка.

Бросил к ногам сумку, прислонился к стене и принялся за дело. Изредка поглядывал вверх, через плечо, на Ильку. Илька вылез из форточки почти по пояс, и сандалии его скребли по стеклу. Сверху видна была Ильке Генкина макушка с маленьким хохолком. Генка жевал так, что хохолок дергался.

Илька спросил осторожно:

— Ген... Тебя, что ли, из дому выгнали?

Генка перестал жевать.

— Чего?..

— Да нет, я так... — смутился Илька.

— Чтоб из дому выгнали, надо в этот дом попасть сначала, — сердито объяснил Генка. — А попробуй попади. Там во какой замок! И ключ отец на работу унес, забыл оставить. И окна заперты... Только жареной картошкой из-за двери пахнет.

— У меня еще молоко есть, — сочувственно сказал Илька. — Принести? Только оно кипяченое.

Генку передернуло.

— А я ничего, пью, — со скромной гордостью заметил Илька. — Приходится, раз ангина... Ой! — вдруг встревожился он. — А если ты заразишься от котлеты? Ты не боишься ангины?

Генка обернулся. На лице его проступила сытая улыбка.

— Не, — сказал он и потянулся. — Я от голода помереть боялся, а теперь ничего не боюсь... А ты из-за ангины дома сидишь? Я думал, из-за ноги. Нога-то целая?

Илька подтянул пижамную штанину и с удовольствием показал кровоподтек. Если рана не болит, ею очень удобно хвастаться.

— Сгибается? — спросил Генка.

Илька попрыгал на подоконнике.

— Козел, — усмехнулся Генка.

Илька довольно заулыбался. Козел — это совсем не обидно. Это вовсе не значит — драный козел, с соломой в бороде и репьями на худых боках. Это значит — горный козел, житель скалистых круч, летающий над жуткими провалами, по диким тропинкам. Легкий круторогий зверь.

— Да, я же забыл совсем, — спохватился Генка. — Зачем я к тебе шел-то! Я утром Ивана Сергеевича видел. Он просил сказать, что не зайдет к вам, потому что к Владьке улетает.

Илька огорчился и обеспокоился:

— Зачем?

— Я не знаю, он на ходу крикнул. Бежал на остановку автобуса и размахивал билетом.

— Что-то случилось, — полувопросительно заметил Илька.

— Да ну... Что может случиться? — возразил Генка. Но как-то неуверенно возразил и помрачнел. Потом сказал, стараясь прогнать тревогу: — Все хорошо было, Владька же писал. Недавно писал мне.

— И мне, — согласился Илька, но не успокоил себя. — А знаешь, Ген, в больницах бывает, что сегодня хорошо, а завтра плохо...

Генка, конечно, это понимал.

— Он так бежал, что я даже спросить не успел... Стой, Илька! Если бы что плохое, он бы грустный был! А он совсем не грустный. Потом даже рукой мне помахал как-то по-смешному. — Генка поболтал в воздухе ладонью. — Вот так... Я поэтому и не подумал о плохом, пока ты не сказал. Ты всегда панику поднимаешь, козел несчастный.

Илька облегченно засмеялся, подпрыгнул и снова повис в форточке.

— Правильно! Иван Сергеевич недавно говорил, что никакой опасности нет. Он маме письмо от врача показывал.

— А что, он к вам часто заходит? — как-то слишком небрежно спросил Генка.

Илька смутился. Сам не понял почему.

— Заходит... — сказал он и завозился в форточке. — Он зимой начал заходить, когда я ногу вывихнул. Помнишь?

Генка, видимо, не помнил. А Илька помнил очень хорошо, как сидел на скользком асфальте и не мог сдерживать слезы. Генка и Яшка стояли рядом и ругались, потому что он не давал тронуть ногу. Хорошо, что Иван Сергеевич проходил мимо. Он без разрешения вправил Ильке ступню, на руках отнес его домой и долго убеждал маму, что ничего страшного не случилось. Будто не мама, а он работал врачом. На другой день он зашел снова и, смущаясь, сказал: «Как-то на душе беспокойно. Все думаю, правильно ли я ему ногу дернул? Может быть, не в ту сторону?»

Все было правильно: Илька еще прихрамывал, но уже прыгал по комнате. Увидев такое дело, Иван Сергеевич стал прощаться, но мама усадила его пить чай и стала расспрашивать про Владика.

В третий раз Иван Сергеевич появился с письмом. «Владик про вас спрашивает, про ребят... Что написать? Как ты живешь, Илья-громовержец?» Илька удивился: он сам недавно нацарапал письмо Владике. Но радость от прихода Ивана Сергеевича была сильнее удивления. Потом Иван Сергеевич стал приходить просто так. Он жил теперь совсем недалеко, тоже в новом доме. «Сижу один, как крот, в пустой квартире. По вечерам тоска берет. Думаю, дай забегу на огонек», — признался он однажды. А мама объяснила Ильке: «Он по Владике скучает, а вы, наверное, похожи. Вот он тебя и навещает».

Такое объяснение не понравилось Ильке. Он вспомнил Владика и долго крутился у зеркала. Решил: «Нет, не похожи! Владик здесь ни при чем...»

— А, вспомнил... — вдруг спохватился Генка. — Это в зимние каникулы было. Он как дернет ногу, а ты как взвоешь!

Илька огрызнулся:

— А ты бы не взвыл?

— Взвыл бы, наверно, — честно сказал Генка. — Я ведь не смеюсь, а так... Я знаешь что думаю, Илька? Может, Владьку уже выписать решили?

— Тю... — сказал Илька.

— А что?

— Его в июне выпишут. Еще целый месяц ждать.

— Да знаю я. А если все хорошо, то, может быть, раньше?

— Раньше из больницы не выпускают, — с железной уверенностью заявил Илька. — Спроси у мамы.

Генка поднял свою сумку.

— Пойду я. Может, мать пришла с работы, открыла...

Илька сразу загрустил: опять сидеть одному. И тут он вспомнил:

— Гена, подожди! Не знаешь, где живут фламинго?

— Чего? — сказал Генка и поднял брови.

— Не «чего», а «кто», — строго поправил Илька. — Фламинго, такая розовая птица. Большая... Да ты не знаешь, раз спрашиваешь.

Генка подумал.

— Яшка, наверно, знал. Он всякие марки собирал про зверей. Иностранные.

— Яшка...

Они помолчали. Мало ли что знал Яшка! Этого теперь никто не узнает...

— А может быть, он не утонул, — тихо сказал Илька. — Может быть, он все подстроил, сумку на берегу оставил, а сам сбежал. Он в прошлом году в Африку собирался, у меня рюкзак просил.

— Брось! — серьезно сказал Генка. — Даже его мать сейчас так не думает.

«Яшка умер», — отчетливо подумал Илька и закрыл глаза. Он попытался представить мертвого Яшку Воробья, но не смог.

Илька не боялся размышлять о смерти. Он относился к ней серьезно и спокойно. С печалью, но без страха он вспоминал, как хоронили отца.

Но Яшку он помнил только живым. Веселым. Вместо Яшки представился почему-то застреленный фламинго, а потом, совсем некстати, вспомнился разговор с дядей Володей: «Это же не воробей. Сравнили пень с ярмаркой...»

— Наверно, еще Шурка знает про это... про птицу, — перебил Генка Илькины мысли. — У него голова всем, чем хочешь, набита. Ты покарауль, когда он из школы пойдет, и спроси.

— А он уже шел из школы. Совсем рано. Я видел.

— А, верно! — вспомнил Генка. — Ребята говорят, что его с уроков прогнали.

Илька дернулся в форточке:

— Врешь!

Генка засмеялся:

— Нет, правда. Потеха.

Илька обиделся за Шурика:

— Никакая не потеха! За что его выгнали? Он же отличник.

— Вот это и смешно, — объяснил Генка. — Если бы меня прогнали, тогда ясно. А за что его? Говорят, поругался с учителем... Да ладно, обойдется... А зачем тебе эта фламинго?

— Надо, — хмуро сказал Илька, потому что сам толком не знал зачем.

— В биологическом кабинете у нас карта есть. На ней все звери показаны, где они живут. Прямо так и нарисованы: львы в Африке, тюлени на севере...

— И птицы?

— И птицы.

— В кабинет нас не пускают, — опечалился Илька. — Да я и в школу в этом году не пойду, наверно. Четыре дня до каникул.

— Ну, в магазин учебных пособий сбегай, там все карты продаются.

— Точно? — с беспокойством спросил Илька. Он уже ясно представлял громадную карту, усыпанную фигурками львов, медведей и крокодилов.

— Точно, — сказал Генка. — Мы зимой с рисования сбежали и пошли в этот магазин скелет смотреть. Я там эту карту видел. Копеек сорок или пятьдесят стоит.

— Подожди! — крикнул Илька и исчез из форточки.

Отыскал в ящике стола свой новенький полтинник, зажал в кулаке и снова кинулся к окну.

— Гена! купишь карту, ладно? Вот, есть деньги.

Генка озадаченно заморгал.

— Ни фига... Это, значит, мне топать в магазин?

— Ну, Ген... — проникновенно сказал Илька.

— Чего «Ген»! Думаешь, охота за тридевять земель тащиться?

— Скелет смотреть охота была, — упрекнул Илька.

— Скелет... Тогда все равно делать было нечего.

— А сейчас?

— Сейчас у меня ботинок жмет...

Илька внимательно посмотрел на Генкины ноги.

— Ты вчера в этих ботинках в футбол играл. Не жали?

— Чтобы ты провалился, — мрачно сказал Генка. —

Давай сюда деньги...

Когда ждешь, время тянется медленно, как застывший резиновый клей.

Илька чуть не протер носом стекло в окне. Потом решил, что магазин закрыт на учет, или Генка потерял деньги, или какие-нибудь хулиганы отобрали у него карту. От таких горьких мыслей ангина снова заскребла ему горло. Илька лег и отвернулся к стене.

Тогда кто-то легко стукнул по стеклу.

Илька птицей метнулся к окну. И от огорчения чуть не заплакал: там стоял не Генка, а Шурик.

Шурик знаками показал: открой форточку. Илька взгромоздился на подоконник и открыл. И спросил сиплым от обиды голосом:

— А Генка? Ты Генку не видел?

— Видел, — сказал Шурик. — Возьми, пожалуйста, карту.

И только после этих слов заметил Илька, что у Шурика в руках большая бумажная труба.

— Купили! — возликовал он.

— Да нет, не купили, — сказал Шурик. — В магазине таких сейчас нет. Генка ко мне зашел. У меня разных карт целый ворох. Ну, вот эту нашли. — Он просунул в форточку трубу. — У нее один край помят, но не очень. Зато уже склеенная карта. А новую пришлось бы из четырех листов склеивать.

Подумаешь, край помят! Карты дальних экспедиций и плаваний, наверно, еще не так бывают помяты! И дожди

барабанят по ним, и колючие искры костров прожигают их навывлет...

— Ой, Шурка, спасибо! — шепотом сказал ошарашенный Илька.

— Да ну, пустяки. Подожди, я чуть не забыл. Гена сказал, что пятьдесят копеек тебе завтра отдаст. А сейчас он на них два билета в кино взял.

При чем здесь пятьдесят копеек! Скорее бы развернуть карту... Но так нельзя, нехорошо оставлять под окном Шурика.

А вежливый Шурик поинтересовался:

— Как твое горло? Все болит?

— Ни капельки! Только на улицу нельзя. И ко мне никому нельзя заходить: инфекция.

Шурик сочувственно вздохнул.

— Лучше бы уж в школе весь день сидеть, — печально сказал Илька. И вспомнил: — Ой, Шурка! А правда, тебя сегодня выгнали?

— Было, — с усмешкой сказал Шурик. И вдруг сделался немного похожим на Генку. Посмотрел мимо Ильки, холодно и как-то упрямо. И словно мускулы напрягил под рубашкой. А какие у него мускулы! Почти как у Ильки.

«Не надо спрашивать», — подумал Илька. Но Шурик сказал сам:

— Глупая история вышла. Из-за Яшки.

— Из-за Воробья? Как это?

— Да так. Из-за разговора. На истории. Есть у нас учительница. Ты, наверно, ее видел: такая, с бородавкой.

— На носу бородавка...

— На носу... Изображает из себя профессоршу, а на самом деле... Вспоминать не хочется. Не столько по истории рассказывает, сколько лекции по воспитанию читает. Тоска зауспокойная...

«Ну и Шурка!» — ахнул про себя Илька.

— И сегодня тоже завелась... — Шурик передохнул и гнусавым голосом начал: — «Мне совершенно непонят-

ны легкомыслие и беспечность нынешних школьников. Совершая необдуманные поступки, они не желают представить, какой результат может повлечь за собой такой поступок. У вас уже есть печальный пример. Воробьев из четвертого класса «А» неосторожно вел себя на берегу и, как установило следствие, сорвался и погиб. А зачем, спрашивается, он...» Тьфу! Мне противно стало. Я поднялся и спрашиваю: «Откуда вы знаете?» А она: «Что именно?» — «Ну, то, что он погиб из-за легкомыслия. Ведь никто не видел, как он погиб». А она давай опять тянуть: «Достаточно знать его характер, чтобы сделать выводы. Известно, сколько неприятностей он доставлял педагогам». Тут наша одна девочка говорит: «А Галина Николаевна плакала, когда узнала про Воробьева...» А историчка в ответ: «Ну что же, мне тоже жаль этого мальчика...» А ведь ей, Илька, нисколечко не жаль! Это сразу видно. Тут меня будто дернули за язык. Я перебил и говорю: «Однако у него было одно хорошее качество. Он никогда не говорил подлостей про тех, кто умер...»

Шурик нервно засмеялся и быстро взглянул Ильке в лицо. Илька висел на форточке, приоткрыл рот от изумления и восторга.

Шурик вздохнул:

— Ну, вот... У нее даже бородавка побелела. Она губами пошлепала и говорит: «Я б-буду, Черемховский, н-настаивать, чтобы в-вы не присутствовали на моих уроках. П-па-а-трудитесь выйти».

— А ты? — выдохнул Илька.

Шурик пожал плечами:

— Потрудились...

Илька подумал и серьезно сказал:

— Шурик, ты молодец. А что теперь будет?

— Да ничего, наверное, не будет. До конца года три урока по истории осталось. Переживу.

— А дома? Тебе не влетит?

— Что значит «влетит»? Мне в общепринятом смысле

вообще не влетает никогда. А впрочем, не знаю. Видишь ли, со мной первый раз такая история.

Илька почувствовал, что переплет рамы сильно давит ему живот. Неудобно торчать в форточке, лежа животом на тонкой перекладине. Илька завозился.

— Иди в комнату! — спохватился Шурик. — Ты же можешь опять простудиться! Я тоже пошел, мне пора.

И он исчез, вежливо сказав «до свидания».

Илька прыгнул на пол. Бумажная труба лежала у его ног. Илька не разворачивал. Что-то слишком тяжелой стала голова. Может быть, снова поднимался жар? Обо всем думалось сразу: фламинго, Яшка, обрыв, Шурик, его учительница... Все перепутывалось...

Илька потрянул головой. Все-таки карта перед ним. Вот она. С открытыми тайнами зверей и птиц. Сейчас... Тоненькой стрункой начинало в нем звенеть радостное нетерпение. Сейчас...

Он встал на колени и прижал у карты один уголок. Потом катнул от себя трубу. Карта развернулась сразу: легко, почти без шелеста. Лишь края чуть приподнялись над полом.

Илька вздохнул как от встречного ветра. И засмеялся.

Ну, поймите Ильку. Никогда-никогда он не видел вблизи таких громадных карт. Ребятам постарше они, конечно, знакомы, а он, второклассник, где мог их увидеть? И вдруг с размаху развернулся перед ним удивительный синий мир. Синий и пестрый. Словно в полутемной комнате бесшумно упала стена и открылись за ней незнакомые страны.

По Африке, желтой от песка и высохших трав, мчались антилопы и жирафы, неторопливо и царственно двигались львы, шагали независимые слоны. Киты и акулы пенили воды океанов. Веселые кенгуру скакали через всю Австралию, белые медведи и моржи выползали на льдины у полюса. Тигры и зайцы, лоси и удавы, утконосы и кро-

кодилы... От них рябило в глазах. Может быть, и в самом деле они двигались? Не Земля, а веселый зоопарк. Нет, не зоопарк: звери здесь были свободны...

Илька не нашел фламинго. Долго искал по всем берегам и странам, видел удивительную птицу лиру, потом попала еще странная птица секретарь. А фламинго не было.

Илька не огорчился. Он почти забыл про фламинго. Вставала перед ним гудящая зелень джунглей, грозно темнели коричневые горы, обнимал со всех сторон темно-голубой океан. И очередями били с карты разнокалиберные буквы названий: Ямайка (Я-майка!), Хоккайдо, Шпицберген, Канберра, Скагеррак (Скагер-р-рак!)... И звонкое, как сигнал трубы, — Горн! Мыс Горн...

Буквы прыгали через оленей и зебр, а львы смешно шевелили хвостами. Илька улыбнулся и прилег щекой на западное побережье Африки.

...Когда пришла с работы мама, он спал, раскинувшись между Австралией и берегом Аргентины. Ладонь его бережно прикрывала мыс Горн, известный своими бурями.

...Карту Илька прибил над кроватью. Мама не спорила. Ей только не нравилось, что Илька торчит перед картой целыми часами. Встанет в кровати, упрется в моря и горы ладонями и что-то бормочет.

Мама подходила, трогала лоб. Большого жара не было. Илькина ладонь корабликом скользила по карте.

— О чем ты шепчешь? — спросила мама.

Илька улыбнулся и тихо сказал:

— Под всеми ветрами...

Мама наконец не выдержала:

— Ты засиделся дома. Вся ангина давно кончилась. Мог бы и погулять, а то привыкнешь к пижаме, как пенсионер...

Илька оторвался от карты. Но медлил. Он знал, что, оглянувшись, увидит обыкновенные скучные стены, знакомый до последней шелки шкаф, знакомое окно и зна-

комый кусок улицы в нем. Не будет в окне джунглей и жирафов.

Он обернулся и увидел скучные обыкновенные стены...

...Он вышел на улицу. Стоял безветренный вечер. Очень теплый. Клейкие, но уже подросшие листики густо сидели на ветках. Солнце ушло за крыши, но было еще светло. В тупике галдели футболисты. Илька постоял на углу. Генки среди игроков он не заметил.

— Иди за нас! — крикнул издали забывший про ссору Тимка.

Илька покачал головой. Медленно зашагал в другую сторону. Ему было грустно и немного тревожно.

Илька свернул на Пароходную улицу. Впереди, за берегом, не было ничего, кроме неба, и в небе вставал закат. Громадный и ясный. Илька еще не видел такого. У самой земли небо горело алым светом, а выше делалось оранжевым.

Оранжевый свет постепенно терял красноватые тона и переходил в чисто желтый. И в этом желтом океане, как потерянное перо фламинго, висело узкое облако: пунцовое, с темной оторочкой.

Берег был пуст, и одинокая мазанка над обрывом казалась хижиной Робинзона.

Щелк-щелк-щелк — стучали Илькины подошвы. А больше — ни звука.

Илька отчетливо понял, что сейчас что-то случится.

И он почти не удивился, когда из-за ближних заборов выплыла в просвет улицы и заскользила по закату высокая тонкая мачта. С перекладиной и тросами, с узким повисшим флагом. Она двигалась над обрывом, и даже мазанка не закрыла ее верхушку.

Илька охнул и рванулся к берегу.

Был невиданный разлив, и горящие на закате плесы уходили к горизонту. Внизу, вдоль береговых откосов, шел большой пароход. С круглыми иллюминаторами вдоль черных высоких бортов, с белой рубкой и мачтой, похожей на мачту фрегата.

Это было нездешнее судно. Видно, пользуясь высокой водой, пароход пришел с низовьев и теперь опять уходил в родные места.

Илька провожал его глазами. Вертелось в голове какое-то слово. Очень нужное и очень знакомое. И наконец Илька догадался: про этот пароход можно было сказать то, что никак не подходило плоским неуклюжим буксирам и пассажирским теплоходам, похожим на плавучие рестораны.

Можно было сказать: «корабль».

И тут Илька понял, что же ему не дает покоя. Отчаянно хотелось в дальнюю дорогу. Туда, где незнакомые берега и города.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Телеграмму принесла сердитая тетка. Она долго ругалась, что на калитке нет заметного номера, и цепко разглядывала Генку: можно ли доверять? Потом велела расписаться и ушла, тяжело топая.

Генка взглянул на первую строчку. Из Москвы.

Значит, служебная, отцу.

Распечатывать Генка не стал: отец не любил, когда трогали его почту. Ну, а если в телеграмме что-то срочное? Генка заколебался. Отец придет поздно. Весной он перешел на новую работу, чтобы меньше ездить, но ничего не выгадал: дела на участке шли неважно, и он, начальник, иногда пропадал там круглыми сутками.

Может быть, телеграмма из того московского института, куда отец отправил свой проект? Он сидел над этим проектом четыре месяца...

Генка понял, что придется плестись к отцу на участок. По жаре, через весь город. Автобуса, конечно, не дождешься... Чтобы она сторела дымным факелом, эта бумажка.

За калиткой Генка еще раз посмотрел на открытые строчки. Внимательней.

«Москва 9007...» Еще какие-то цифры... Город, улица, дом, Звягину... Что?

Звягину Геннадию.

Что за фокус?

Он рванул бумажную ленточку.

«Третьего поезд шестнадцать вагон семь Владик».

Владька... Ура!

Он, кажется, крикнул вслух. Две студентки, проходившие мимо, оглянулись, хмыкнули. Генка дерзко засмеялся им вслед. И вдруг испугался: третье число сегодня. А когда приходит поезд?

Со скоростью Ильки бросился он на угол к автомату, вывернул карман, вытряхнул медяки. Автомат слопал две монеты подряд и не откликнулся ни единым гудочком. Генка шепотом сказал проклятому телефону подходящие слова и подкрепил их кулаком.

В будку заглянул худощавый мужчина в соломенной шляпе.

— Молодой человек, пожалейте технику.

— Техника! Только деньги жрет!

— Позвольте, я помогу.

Генка позволил. Дядька был, кажется, ничего.

— Вам какой номер?

— Справочное вокзала, — сказал Генка. — Только я не знаю. Надо сначала справочное города.

— А что на вокзале?

— Шестнадцатый скорый.

— В четырнадцать двадцать три.

— Это точно? — с подозрением спросил Генка.

— Честное слово. Я им вчера из Москвы вернулся.

Повезло!

Четырнадцать — это два часа по московскому времени. Четыре — по местному. Да еще двадцать три минуты.

А сколько сейчас?

Генка кинулся навстречу первому прохожему:

— Который час?

— Надо говорить: «Скажите, пожалуйста», — сообщил худой длинноногий парень с желтой папкой.

— Пижон, — отчетливо сказал Генка.

— Шпана!

— Сам...

Ближайшие часы были у почтового отделения, недалеко. Когда Генка примчался, они показывали половину второго. Можно было не спешить.

Можно было позвать ребят.

Но кого?

Шурка в школе на практике. Да и что Шурка? Будет вежливо мычать и топтаться рядом. Тимка и Антон незнакомы с Владиком, у них своя компания. Был бы хоть Яшка...

Оставался один Илька.

Илька сидел в открытом окне с книгой на коленях и с унылым лицом. Книжка была старая — «Побежденный Карабас». Генка знал, что Илька давно прочитал ее.

— Хорошо, что ты дома. Я думал, скачешь где-нибудь, — приветствовал он печального Ильку.

— Вчера на скакался...

— Мать заперла, да?

— Никто не запирает.

— Велела дома сидеть?

— Ну...

— А чего нашкодил?

— Я, что ли, виноват?! — вскинулся Илька. — Тимкины дурацкие часы! Мы все бегаем, а у него все «шестой час» да «шестой час». Потом поглядели, а у них одна стрелка вообще отвалилась. Домой пришел, когда уже восемь часов. А мама велела в шесть.

— Ты бы объяснил.

— Объяснил я... А она говорит: на полчаса еще можно из-за этого опоздать, а два часа — это голо... головопят... Нет, как это?

— Головопяство, — сухо сказал Генка.

Он знал, что, если мать запретила, Илька не выйдет из дома, хоть распахни сто широких ворот. В глубине души Генка считал это основательной глупостью, но Ильку не перевоспитывал. У каждого свой характер.

— Долго тебе сидеть?

— Пока мама не придет.

— А раньше никак нельзя выйти?

Илька вздохнул и помотал головой.

— Вот балда! — возмутился Генка. — А если что-нибудь нужно? Ну, вдруг дом горит?

— Он ведь не горит, — с некоторым сожалением сказал Илька.

— А если другое важное дело? — Генка вытащил телеграмму. — Вот!

Илька читал медленно и внимательно. С самого начала. И вдруг взвился на подоконнике, издав непонятный восторженный крик:

— У-ых!

— А ты говорил — через месяц, — усмехнулся Генка. — Не через месяц, а через сорок минут. Ясно?

— Ясно, — огорченно откликнулся Илька. — Только мне нельзя.

Генке не хотелось идти на вокзал одному. Было почему-то неловко и страшновато.

— Боишься? — сказал он Ильке.

Илька удивился:

— Я? Я не боюсь, просто нельзя.

— Думаешь, мать не отпустила бы, если бы знала?

— Ну, Ген... Она же не знает. Она скоро придет, а меня нет...

— Записку напиши.

— Записку?

— Илька, козел ты, — серьезно сказал Генка. — Владька же приезжает, а ты...

Илька прыгнул с подоконника в комнату.

— Я напишу. Ладно. Если надо, я могу ведь завтра це-

лый день просидеть... Ген, а почему из Москвы, а не из Одессы?

— Ясно почему. В Москве у них пересадка.

...По западной части неба, громокая, проходила темная гроза. Но здесь, над привокзальной частью города, сияло солнце. Вымытый ливнем поезд выскочил из-под грозы и помчался к перрону. Сверкающий, зеленый. Все ближе и ближе к перрону.

Генке стало страшно. Илька вертелся и прыгал рядом, а Генка стоял и не знал, что сейчас будет.

Как они встретятся?

Надо что-то сказать при встрече. А что?

Он ждал этого дня, как праздника, а почему? Ну, в самом деле, почему? Они были знакомы с Владькой две недели. А потом? Несколько писем за девять месяцев. Коротеньких писем. Кому охота писать длинные?

Вот выйдет Владик, посмотрит на Генку вежливым и скучным взглядом, и оба они не будут знать, что говорить друг другу...

«Посмотрим!» — вдруг разозлился Генка. В самом деле, надо еще знать, на кого смотреть! Владька же его и не видел ни разу. Как он узнает, кто здесь Генка?

Поезд уже шипел тормозами, как сто рассерженных кошек. Генка с Илькой рассчитали точно: седьмой вагон стал прямо перед ними.

Сначала полезла из вагона какая-то тетушка, нагруженная узлами и корзинками. Откуда такие берутся в наш космический и атомный век? За тетушкой попрыгали на перрон веселые солдаты в расстегнутых гимнастерках. Потом выгрузились два гражданина в майках и пижамных штанах, с пустыми пивными бутылками для обмена. Генка посмотрел на круглые животы этих пассажиров и заскрипел зубами. В тот же миг радостно завопил Илька, и

Генка увидел, как он взлетает в крепких руках Ивана Сергеевича.

Генка шагнул к ним, отчаянно шаря глазами в толпе. Владька-то должен быть рядом!

— Гена...

Конечно, Генка сразу понял, что перед ним Владик. Но это был не такой Владик, какой вспоминался. Совсем не такой. Не было строгой напряженности в лице, от которой постоянно вздрагивали чуть сведенные брови. Генка хорошо помнил, как они дрожали. Сейчас у Владика весело блестели глаза. Лицо было темным от загара, и белки глаз выделялись особенно ярко. В уголках их прыгали точки солнца. Генка вдруг понял, почему говорят: глаза смеются.

Правый глаз у Владика чуть косил. Раньше этого, кажется, не было.

«Каким же глазом он видит, а каким — нет?» — подумал Генка. И смущенно отвел взгляд.

— Я тебя сразу узнал, — весело сказал Владик.

— А я тебя — нет, — брякнул Генка.

— Почему? Я вырос, да? — быстро спросил Владик.

— М-м... — Генка замотал головой. — Наоборот. Раньше ты мне был — вот... — Он ребром ладони стукнул по переносице. — А сейчас — во... — Он чиркнул пальцем по подбородку.

Владик серьезно смерил Генку взглядом. Подумал, покусывая нижнюю губу. Без улыбки сказал:

— Нет. Наоборот не бывает. Просто ты рос быстрее. За уши тебя тянули, наверно.

— Тогда бы уши выросли, а не я, — хмыкнул Генка, чувствуя, как исчезает неловкость. Все-таки это был Владька. — Ты когда из вагона выскочил? Я и не заметил.

— А я с той стороны. А потом — сюда, под вагоном.

— За такие дела драть надо! — громко заявила грузная проводница. Она как раз проходила мимо.

— Зверская старуха, — сказал Владик. — Всю дорогу со

мною ругалась, что я окна в коридоре открываю. А такая жара в вагоне...

Иван Сергеевич отпустил Ильку, и он сунулся между Генкой и Владиком.

— Владик, а ты получил письмо про фламинго? — начал он без всяких предисловий. — Я целый лист написал.

— Ничего я не получил, — сказал Владик, серьезно разглядывая Ильку. — А ты почему такой длинный? Папа, ты говорил, Илька маленький, а он, смотри, мне до уха. Ну-ка, встань рядом.

— А вы похожи, — сказал Генка. — Правда, похожи. Будто братья!

— Ни капельки мы не похожи! — вдруг взъелся Илька и отскочил от Владика. — Врешь и язык не мозолишь!

— Козел, — снисходительно сказал Генка.

— Может быть, домой двинем? А, пираты? — спросил Владькин отец.

— Здравсте, Иван Сергеевич! — спохватился Генка.

— Пап, а Гена меня не узнал, — важно сказал Владик.

— Это сначала, — объяснил Генка. Теперь ему казалось, что Владик не так уж изменился. Только стал будто помладше. И веселее. Не было в нем прежней сдержанности и готовности вскинуть, как щит, свое гневное: «Я сам!» Что ж, это понятно.

Однако Генке показалось, что Ивана Сергеевича огорчили Владькины слова.

— Тут, наверно, одежда виновата, — сказал Генка. — Я Владьку в черном запомнил. Весь он какой-то черный был. Не то что сейчас.

Сейчас на Владике были короткие синие штаны и удивительно пестрая рубашка навывпуск. Яркие пятна и клеточки перемешивались на ней так, что в глазах мелькало.

— У меня еще мексиканская шляпа была, — весело похвастался Владик. — Ветер унес ее из вагона. Из окна. Проводница радовалась до упаду.

— Эх... — горестно произнес Илька.

А Владик опять посерьезнел. Они обогнали Ивана Сергеевича с Илькой, и тогда Владик сказал вполголоса, но жестко и упрямо:

— Я черный цвет ненавижу. Тогда мне было все равно, а сейчас на черное смотреть не могу... Черное — как слезота.

— Я понимаю, — откликнулся Генка. Он в самом деле понимал. Он вспомнил чердак, похожий на корабль, и косые нити дождя в окне. И еще — Владькины слова, как он, маленький, гонялся за разбойником-ветром.

А Владик вдруг улыбнулся чуть виновато, обогнал Генку на полшага, заглянул в лицо.

— Я сейчас уже почти привык, — тихонько сказал он. — А сначала я как сумасшедший был. Все смотрю, смотрю, просто понять не мог, откуда на земле столько... ну, вещей разных. И красок. Уставлюсь на какой-нибудь камень и пятнышки целый час разглядываю. Или прожилки у листа. Или пестрое платье увижу на ком-нибудь и давай краски считать. Смешно, да?

И, конечно, было вовсе не смешно. Скорее наоборот. Но Генке стало весело. Потому что опять, как раньше, Владька открывал ему свои секреты. Чуть застенчивый, но доверчивый Владька.

Они вышли на улицу, по которой полосой прошелся ливень. Асфальт был темно-фиолетовый, и в нем, опрокинувшись, стояли размытые отражения кленов.

Струи дождя смыли с тротуаров пыль и мусор, но не смогли смыть начерченные мелом клетки «классов». Владик разбежался и запрыгал на одной ноге из квадрата в квадрат. Он четко проделывал какие-то сложные комбинации, выбивая подошвой брызги.

Генка засмеялся. Сам он, пожалуй, не стал бы так легкомысленно скакать на виду у прохожих.

— Эй, народ! — окликнул Иван Сергеевич. — Вы веселитесь, а Илька вдруг загрустил. Почему — не знаете?

— Ой, знаю! — спохватился Генка. — Он из дома без спросу рванул, чтобы вас встречать, и теперь боится нахлобучки.

— Сам ты боишься, — уныло огрызнулся Илька.

— Стойте, люди! — забеспокоился Иван Сергеевич. — Так же нельзя. Мы должны немедленно идти и принять на себя все громы и молнии. А то они падут на эту невинную голову. Идем, Владик? Это по пути.

Илька радостно завертел невинной головой.

Илькина мать встретила гостей весело. Видно было, что по-настоящему обрадовалась. Но на Ильку взглянула холодно.

— Ну, ма... — протянул Илька.

— Ты мне хочешь что-то сказать?

— Ты сердишься, да?

— А ты как думаешь?

— Ну я же оставил записку...

— И что из того?

— Я же написал: «Не сердись».

— Ты написал «нисирдись». Все вместе и везде «и». После этого я не должна сердиться? Грамотей.

— Ну, мам... — тихонько сказал Илька и потерся щекой о мамин локоть. Как котенок.

— Тамара Васильевна, мы просим о помилровании этого грешника, — вмешался Иван Сергеевич. — Мы специально зашли.

— И напрасно, — откликнулась она. — То есть просить решили напрасно. Этот подлиза и сам все выпросит... Иди поставь чайник, горюшко.

Счастливый Илька умчался на кухню, и там сразу что-то загремело.

— Чудовище, а не ребенок, — жалобно сказала Тамара Васильевна. — Господи, когда он вырастет? Был бы такой, как Гена, — совсем другое дело...

Генка пожал плечами. Он не видел особой разницы.

К тому же, по словам бабушки, маленький он был «не ребенок, а одна радость», а теперь «бес проклятуший».

— ...или такой, как Владик, — продолжала Тамара Васильевна. — Наверно, Владiku не пришло бы в голову устраивать в ванной кукольный театр с настоящим морем и бурей...

— Не знаю, — скромно сказал Владик. — Я еще не жил в квартире с ванной. Папа ее без меня получил.

— Владик умный ребенок, — вмешался Иван Сергеевич. — Не прыгает, не скачет, ни с кем не спорит. Под вагоны тоже не лазит...

— Не стыдно ябедничать? — спросил Владик.

Он держался спокойно и свободно, будто много раз бывал у Ильки.

И Тамара Васильевна говорила с ним как со знакомым, не расспрашивала, не разглядывала. А она ведь первый раз в жизни видела Владика.

А Генка чувствовал себя не очень хорошо. Не привык он бывать в компании взрослых чужих людей. Ну, Ивана Сергеевича он почти не стеснялся, а Илькиной матери побаивался.

Генка скользнул в кухню. На газовой плите булькал и плевался чайник. Илька, взгромоздившись на стул, навис над чайником, будто коршун над кроликом.

— Я домой пойду, — сказал Генка. — Вы с Владькой потом заходите...

— А чай пить? — забеспокоился Илька.

— Да ну тебя с чаем...

— Мама! — предательски завыл Илька. — Генка хочет уйти, а чаю не хочет!

— Не ори, — процедил Генка.

Тамара Васильевна заглянула в кухню:

— Гена, а в чем дело?

Генка насупился:

— Домой мне надо...

— Вот уж напрасно. Я как раз купила торт с орехами.

Генка представил, как ему дадут кусок торта на тарелочке и неизвестно будет, что с ним делать: руками брать, ложкой, вилкой или еще как-нибудь? Скользкий крем начнет липнуть к пальцам и шлепаться на скатерть... Генка понял, что первый же кусочек торта плотным комком засядет у него в горле.

— Мне правда домой надо.

— Жаль. Я думала, ты мне немного поможешь. Надо за сахаром сходить. Мне самой некогда, Владик дорогу не знает, а Ильку я боюсь посылать. Деньги крупные, а этот растяпа уже два раза сдачу терял.

Деваться было некуда.

— Ну, я схожу. Это же недолго.

Владик просунул в дверь голову:

— Гена, я с тобой.

Илька загремел со стула:

— И я!

— А ты будешь мыть чашки, в которых разводил краску.

— Я уже мыл!

— Это называется «мыл»? Почему они внутри желтые и зеленые?

С листьев еще скатывались капли и шлепались на головы прохожим, но асфальт уже просыхал. Темные пятна влаги выцветали на глазах.

— Жара, как в Одессе, — сказал Владик.

— Еще не так бывает, — заметил Генка. — А бывает, что снег в июне.

— Снег я только на картинках видел, — сказал Владик и поддал ногой пробку от пивной бутылки. — Да еще в учебнике видел снежинки. В «Природоведении». Вот такие большие, как пробка. Красивые...

— Ты в нашей школе будешь учиться?

— Конечно.

Генка осторожно спросил:

— А как теперь? В каком классе?

— В пятом. Если за четвертый сдам... Я сдам, там легко. Только пишу с ошибками.

— Не привык еще писать, да?

— Я бы привык, но много мне нельзя пока. И читать тоже...

— Мне вот можно, а я все равно за диктанты двойки иногда хватаю, — признался Генка.

Владик деликатно промолчал.

Они купили пачку сахара, и сдачу Генка опустил Владиду в карман.

— Отнеси им. Я пока домой пойду. Я потом приду к тебе.

— Ой, ну зачем ты так? — огорчился Владик. — Обязательно, что ли, уходить?

— Да ну... чай там этот.

— Ну и пусть. Разве плохо?

— Чего хорошего...

— А я люблю, — сказал Владик. — Люблю рисунки на чашках разглядывать. Цветы, узоры всякие.

Генка не понял, смеется он или всерьез.

— Правда, не уходи, — попросил Владик.

— Ладно.

От досады, что попал в такую переделку, Генка даже расхрабрился и за столом сказал Ильке:

— Не болтай ногами, козел.

Это очень понравилось Тамаре Васильевне.

Торт они ели руками. Чашки были зеленые, с желтыми попугаями на пузатых боках. Владик вертел одну до тех пор, пока она не выскользнула на пол.

— Докрутился, — сказал Иван Сергеевич.

Илькина мать сделала вид, что ничуть не огорчилась. Сказала, что это к счастью.

— Пустяки какие. Сейчас я замету осколки.

— Я сам, — поспешно сказал Владик.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Втроем они вышли на улицу.

— Куда? — спросил Генка.

Владиду было все равно. Везде интересно.

— На берег, — попросил Илька.

Он помнил пароход с высокими черными бортами и белой рубкой. С круглыми иллюминаторами. Большая вода уже уходила, и было ясно, что такие пароходы не поднимутся к городу раньше новой весны. Но берег сам по себе хорош. Ведь все-таки иногда приходят к нему большие корабли...

От мазанки, в которой жил неизвестно кто, сбегала к воде тропинка. Петлями и зигзагами, с уступа на уступ. Илька обогнал друзей и, не оглядываясь, заскакал вниз. Струйки сухой мелкой глины зашуршали ему вслед. Закачались верхушки конопли и полыни. С последнего уступа Илька спускаться не стал, а птицей махнул на песчаную полосу, к самой воде.

Упал на колени, вскочил и крикнул так, что зазвенела вся река:

— Эй, не бойтесь!

— Вот труба... — сказал Генка.

— Надо проверить, может, у него правда рога пробиваются, — серьезно посоветовал Владик.

— Чего?

Владик улыбнулся:

— Он в самом деле как горный козленок.

— А... — сказал Генка.

Конечно, козленок. Только Генка его так назвать не решился бы. Неловко как-то: слишком уж ласково. Козел — проще...

— Козлята всегда бесятся и прыгают, когда у них рога прорезаются, — объяснил Владик.

— Айда, — сказал Генка.

Он стал спускаться первым. Он ступал, не глядя назад и напряжив спину, готовый принять на себя Владика,

если тот сорвется. Но Владик прыгал почти как Илька. Только один раз он задержался перед широкой промоиной, которая разорвала тропинку. Генка протянул руку.

— Сам, — быстро сказал Владик и прыгнул, обвалив за собой глиняный пласт...

Илька ждал их внизу, танцуя от нетерпения.

— К мысу пойдём, да, Гена?

— Пошли. Тут и приткнуться негде.

Вода, отступая, освободила под обрывом узкую полоску песка. Но песок был завален мелкими бревнами, корягами, кусками коры. Плавник хрустел под ногами, как сухие рыбы кости.

— Купаться я не буду, — предупредил Илька. — Вода еще мутная. И холодная.

— Скажи лучше: мама не разрешает, — поддел Генка.

— А я и не спрашивал.

— Я тоже не буду, — сказал Владик.

— Кто же у мыса купается, — усмехнулся Генка.

Монахов мыс не казался снизу таким высоким и грозным, как с обрыва. Освещенный солнцем, светло-серый, с травой и кустиками в трещинах камней, он похож был на грузного добродушного старика. Но река не верила в его доброту. Желтая вода сердито крутила у подножия острые воронки.

Песчаная полоса невдалеке от утеса разбивалась и терялась в нагромождении рухнувших пластов глины и камней. Там, на широком уступе, был ровный травянистый пятючок. Очень удобное место, чтобы сидеть, смотреть на катера, загорать и бездельничать. Генка знал его еще с прошлого года. Но чтобы попасть туда, нужно было переправиться через ручей. Он выбивался из-под берега и сбегал в реку. Сам ручеек — в ладонь шириной, но глины размесил вокруг себя, словно землесосный снаряд.

Илька разбежался, прыгнул. И не долетел до твердой земли. Увяз до самых коленок. С чмоканьем вытянул ноги, а потом отдельно сандалии.

Владик разбежаться не стал. Просто разулся и перешел глиняное месиво.

Вдвоем с Илькой они ускакали далеко вперед, пока Генка, чертыхаясь, расшнуровывал кеды и подворачивал джинсы.

Он еще не перебрался через ручей, когда услышал, как Илька и Владик зовут его отчаянными голосами:

— Скорее!

Он рванулся, прыгая через камни.

— Во чего мы нашли! — радостно сообщил Илька.

— Я думал, скала на вас упала, — хмуро сказал Генка.

На твердой площадке у самой воды лежала вверх днищем лодка. Темная и грузная. Похожая на припавшего к земле угрюмого зверя. Один борт был проломлен, а в носовой части днища чернела неровная дыра. Такая большая, что голову можно просунуть.

— Ее наводнением вынесло, — сказал Илька.

— В самом деле? — отозвался Генка. — А я думал, что ее пираты забыли.

Илька не обиделся.

— Ее починить можно...

— Можно, Гена? — спросил Владик.

— Чем вы такую дыру забьете?

— Фанеркой, — предложил Илька.

Генка вздохнул.

— И бок проломан, — сказал Владик.

— Бок-то чепуха, — заметил Генка. Нагнулся и отковырнул щепку. — Тут вообще одна гниль. Эта посуда и до половодья была утилем.

Владик тоже колупнул днище.

— Жалко, верно? А то бы сделали себе кораблик. Парус бы поставили. Покатались бы.

Генка промолчал. Зачем говорить зря? А покататься они, пожалуй, смогут. Здесь же, у самого берега, приткнулись пять связанных бревен — обрывок большого плота. Река, огибая мыс, закручивала здесь свое течение, чтобы спрятать за скалой добычу покрупнее.

— Вот корабль! — Генка прыгнул к плоту. — Не потонет, не перевернется. — Он шагнул на бревна. Они вразной заходили под ногами. — Ничего, выдержат. Можно на них к нашей тропинке спуститься. Хоть через ручей снова не полезем. Идет?

Владик не ответил. Осторожно сошел к плоту. Потом сказал:

— Не хочется, Гена.

— Я тоже не поеду. Мне мама не разрешает, — с вызовом заявил Илька.

— Не разрешает — не надо, — миролюбиво откликнулся Генка. Соскочил на берег, поднатужился и оттолкнул плот. — Пусть без нас плавает. Будет кому-нибудь находка. Дров — на целый месяц.

Они забрались на травянистую площадку.

— Желтый день... — вдруг сказал Владик.

Генка понял. Шла у берега беспокойная желтая вода, и солнце, уходя к западу, тоже рассеяло в небе янтарный свет.

— Скорее не день, а вечер, — заметил Генка.

— Гена... — тихонько сказал Владик. Он сидел с опущенным лицом и сцарапывал с ноги светлую корочку подсохшей глины. — Знаешь что... Ты, может быть, думаешь, что я трус. Из-за плота... Ну, я правда боюсь. Я просто видеть не могу мокрые бревна. Скользкие... Знаешь, сразу кажется, что опять затылком грохнусь...

— Да брось ты, ничего я не думаю, — поспешно сказал Генка.

Но говорил он почти машинально. Ему стало не по себе, как при близкой опасности. Словно перехлестнулся в него Владыкин страх. Ведь в самом деле: поскользнешься, ударишься — вдруг снова беда?

Он сказал сбивчиво и хмуро:

— А ты... не скажи зря-то... Ты на Ильку не гляди. Пусть он прыгает, если голова дырявая.

Илька презрительно промолчал.

Генка вдруг встревожился: опять что-то случилось не так.

Илька неожиданно спросил, будто о пустяке:

— Владик, а больно, когда операция?

«Вот балда!» — подумал Генка. Он увидел, как шевельнулось и напряженно застыло Владыкино плечо.

— Что, Илька? — сказал Владик.

— Наверно, больнее, чем нога, когда ее дергают, — сердито вмешался Генка.

Владик поспешно спросил:

— Какая нога?

— Да зимой этот козел ногу подвернул. Сел и ревет. Хорошо, что твой отец мимо проходил. А то мы с Яшкой хотели «Скорую помощь» звать.

Так было сказано о Яшке. Впервые за весь день. Мимоходом.

Но сразу они замолчали и, повернувшись, посмотрели на верхнюю кромку мыса. Илька и Генка. И Владик, который знал о Яшкиной гибели из Илькиного письма.

— Его где похоронили? — вполголоса спросил Владик.

— Похоронили? — удивился Илька.

— Его даже не нашли, — сказал Генка. — Его, наверно, сразу затянуло под лед. А потом такой разлив... Знаешь, какая вода была? Другого берега не видно, как на море.

«Как на море», — сказал он, и тогда Илька понял, что пора спросить Владика о главном. Он не хотел говорить об этом раньше, на ходу, среди суеты и шума. А сейчас, когда сидят они серьезные и немного печальные, Владик, наверно, расскажет...

— Владик, расскажи про море, — попросил Илька. И строго взглянул на Генку: не вздумай опять ехидничать.

Генка ногтями отщипывал от какой-то щепки волосные лучинки.

— Я ведь почти не видел моря, — огорченно сказал Владик. — Так глупо все получилось. Меня раньше времени выписали. Из больницы до последнего дня не выпускали. А у папы всего один день свободный был.

— Целый же день, — обиженно возразил Илья.

— Целый... А с утра холод и туман. Такой туман... Как молоко. Говорят, такие туманы осенью бывают, а тут вдруг летом. И моря совсем не видать. Ну, как стена из ваты. Только слышно, как пароходы в порту трубят. Будто манты заблудились.

Илья горько вздохнул:

— Кораблей, значит, тоже не видел?

— Мы потом к причалу спустились, там «Адмирал Нахимов» стоял. Такая белая громадина. Вплотную, конечно, видно было. И воду видно. Темно-зеленая вода. Небо серое, а вода все равно темно-зеленая... Плещется так звонко, будто в железной бочке. И солеными огурцами пахнет. Смешно, верно?.. А «Нахимов» такой высоченный в тумане... А потом чайка пролетела...

Илья благодарно молчал. Все-таки зеленая вода и белый громадный корабль — это кусок настоящего моря. И чайка...

— На следующий день снова тепло было. И ясно, — сказал Владик. — Только нам уже на вокзал надо было. Я море только из автобуса увидел, издалека. Такое синее, в сто раз синее неба... Просто зареветь хотелось... Ну, мы, наверно, с папой в августе еще раз съездим. У него за прошлый год отпуск не использован.

— В августе? — переспросил Генка и бросил щепку.

— Да. А то обидно так...

До августа, конечно, далеко. И все-таки Генка огорчился. Август — время устойчивых ветров. Генкин любимый месяц. Не хотелось, чтобы, как в прошлом году, был он месяцем тревог и расставаний.

Да, но какие тревоги? И надолго ли расставание? Все равно. Генка не хотел никакого.

Но что он мог сказать? Не говорить же: не ездил. Это Илья брякает все, что у него на уме.

Генка покосился на Илью. Вернее, на то место, где Илья недавно сидел.

Его там не было.

Опустив голову, Илья медленно и как-то упрямо шагнул к серым камням обрыва.

— Ты куда? — окликнул Генка.

Илья не ответил. Только придержал шаги и глянул вверх.

Посмотрел и Генка. Высота — метров десять. Кустики на камнях, жесткие колючие стебли. Трещины, уступы, карнизы. Кое-где камень отслоился, и серые пластины торчат, как акульи плавники. Желтое тихоходное облако уползает за мыс...

Илья встал на камень у обрыва и напружинил ноги.

— Не смей! — сдавленно крикнул Генка.

Илья прыгнул вперед и вверх, словно решил телом пробить каменную броню Монахова мыса. Не пробил, но остался на отвесной гранитной стенке. Словно приклеенный. Потом нащупал ногой трещину, дотянулся до выступа и вдруг, извиваясь по-кошачьи, взял без остановки первый трехметровый отвес.

Он постоял на карнизе несколько секунд. Зачем-то погладил камень, словно зеркало перед собой протирал. И полез дальше.

Генка стоял под обрывом, не отрывая глаз от сумасшедшего Ильки.

Он словно подталкивал его взглядом. Ругаться и кричать было бессмысленно: спуск сейчас оказался бы опаснее подъема.

У Генки ныли натянутые, как для прыжка, мышцы. Но что он смог бы сделать, если бы Илья сорвался?

Рядом молчал Владик. Лишь один раз сказал он шепотом:

— Бешеный дурак...

А когда вдруг Илья покачнулся на маленьком уступе, Владик со свистом втянул сквозь зубы воздух...

А Илья не испугался. Покачнулся и снова прижался к обрыву. Камень был теплый, шероховатый. Кожу царапа-

ли жесткие, как птичьи коготки, травинки. В щелях и выбоинах застоялся запах недавнего дождя и мокрой пыли.

Илька зацепился за новый карниз и поднялся еще на полметра. Он знал, что не упадет. Он не боялся обрыва и не винил этот мыс в Яшкиной смерти. А вверх его толкала одна только мысль. И при каждом рывке Илька повторял злым шепотом:

— Пусть уезжает. Ну, пусть, пусть, пусть...

Не было зависти в его обиде. Только слезы все равно толкались у горла. Илька знал почему. Но сказать про это словами он бы не сумел. И не стал бы. Злился на себя, когда в голову лезли такие мысли.

И злость эта помогала ему брать метр за метром. Он не трус, пусть боятся другие...

«Трусов родила наша планета, все же ей выпала честь: есть мушкетеры...»

Есть слова, от которых щиплет в глазах и хочется вскочить на коня, чтобы мчаться в атаку. Есть такие песни. А как назывался тот фильм? Да, «Двадцать лет спустя». Непонятное название. А все остальное понятно.

— Есть мушкетеры, есть...

Он лег животом на край обрыва. Подтянулся, ухватился за траву.

Поднялся на колени. Встал.

Мельком взглянул вниз. Генка покачивал над головой кулаком. Илька неумело засвистел и отвернулся.

Недалеко на склоне двое мальчишек сидели у остатков церковного фундамента. Видно, до сих пор они были заняты своим каким-то делом, а теперь с изумлением разглядывали Ильку: откуда он появился?

Илька принял бодрый и независимый вид. Прошелся вдоль кирпичной кладки и взглянул на ребят. Они сразу заинтересовали Ильку. Один — из-за пустяка: худенький, курчавый, он одет был в точности как Илька. Даже ремешок такой же. Но за ремешком лихо, как пистолет, торчал

молоток с длинной ручкой. Это было очень красиво. А второй... Илька не сразу догадался. А потом понял: этот мальчик похож на Владика. Правда, похож. Не то что Илька...

Оба мальчишки были помладше Ильки, и он чувствовал себя вполне уверенно.

— А вот бы ты загремел... — задумчиво произнес кудрявый. — Сразу бы в лепешку.

— Я? — небрежно спросил Илька.

— Ага...

— Тю... — сказал Илька.

— А ничего не «тю», — серьезно возразил похожий на Владика мальчик. — Мы весной чуть-чуть не свалились. Вот тут же были, а потом как поехали по льду...

Илька снисходительно глянул на мальчишек. Все-таки они еще малявки. Тот, с молотком за поясом, наверно, еще в школу не ходил.

— По льду... — сказал Илька со взрослой усмешкой. — Я же по камням взбирался, а они шершавые. А по льду — конечно... У нас один мальчишка сорвался отсюда весной. Его не нашли даже... И вас бы тоже не нашли. Ясно?

Им, видимо, было ясно. И тогда было ясно, и теперь.

— А мы не упали. Нам какой-то мальчик выбраться помог, — сказал кудрявый. — Он нас сумкой вытащил.

— Как это — сумкой? — спросил Илька. Просто так спросил. Думал-то он не про сумку, а про молоток. Очень уж здорово он торчал за ремешком у этого мальчишки.

— Очень просто, — охотно объяснил мальчик. — Сумку нам бросил и потянул за ремень.

— А-а... — сказал Илька.

И шагнул к обрыву посмотреть, что делают Владик и Генка.

Он не посмотрел. Именно в эту секунду толкнулась в нем догадка.

— Эй, послушайте, — тревожно сказал Илька. — А какой это был мальчик?

Ребята переглянулись.

— Большой...

— Нет, не очень большой. Но больше тебя.

— Мы его не знаем...

— Эх вы! — бросил Илька. — Он вас от смерти спас, а вы даже не знаете.

— Он нас прогнал, чтобы сушились. А сам остался.

«А вдруг в самом деле?» — подумал Илька.

— У него на ремешке у сумки фамилия была написана, только я не прочитал, — объяснил кудрявый.

Они говорили с Илькой как-то слишком охотно и чуть виновато. Может быть, почувствовали что-то серьезное?

Илька сурово спросил:

— Ни одной буквы не помнишь?

— Это не фамилия, — сказал другой мальчик. — Я прочитал. Таких фамилий не бывает...

ГЛАВА ПЯТАЯ

— Не было никакого слова там написано, — сказал Генка. — Все это дичь и ерунда.

— Ну, Геня. Зачем они станут врать? — вмешался Владик.

— Я про вранье не говорю. Значит, это не Яшка был. Яшкину сумку я, как свою, знаю. Мы этой сумкой сто раз в футбол играли.

— Когда в футбол играют, на ремень не смотрят, — сказал Илька. — Ремень тогда в сумку закидывают.

— Да ну тебя... — отмахнулся Генка.

Яшкину сумку он действительно помнил отлично. Черная, кирзовая, с обтрепанными уголками, с протертой на сгибе крышкой. А ремень зеленый, брезентовый, разломаченный у пряжки. Без всяких букв...

— Ты же говорил, что сумка осталась, — сказал Владик.

— Осталась, только милиция забрала для следствия.

— Может, потом отдали... — нерешительно заметил Илька. Подождал и тихо добавил: — Все равно идти надо.

Все равно надо идти. Генка это и сам понимал. Не молчать же о том, что узнали.

Они шли от реки, и в спину им светило низкое солнце. И встречные люди думали, что трое мальчишек просто так, от безделья бредут по улице и разглядывают на асфальте свои смешные, размазанные в длину тени.

Илька медленно сказал:

— И пальто у Яшки было серое. Я помню.

— Я знаю, — отозвался Генка.

Конечно, идти необходимо. К Яшкиной матери. В тот дом, где Яшка Воробей жил, мастерил неуклюжие змеи, придумывал свои хитрости, смеялся и получал колотушки.

Ой, но как не хотелось идти! Честно говоря, было просто страшно. Генке казалось, что в доме, куда они придут, темно, как на старом кладбище, и каждое слово говорится шепотом. К тому же сердитая Воробейиха не очень жаловала Яшкиных друзей. Как она их встретит теперь?

— Шурику надо сказать, — вспомнил Илька.

Это была мысль! Во-первых, Шурка — голова, он что-нибудь придумает. Во-вторых, он в школе пострадал из-за Яшки. В-третьих, идти четвером просто лучше.

Шурка сидел дома и был мрачен. С Владиком поздоровался без долгих вежливых разговоров. Сообщил свою печальную новость: учительница истории, с которой он поспорил из-за Воробья, в будущем году станет их классным руководителем.

— Съест, — сказал он в заключение.

— Не съест, — сказал Генка. — Ты слушай...

И рассказал про двух малышек.

— Ого, — произнес Шурик. — А они не врут? То есть я хотел сказать, что они могли ошибиться.

— Они вроде бы толковые ребята, — возразил Генка. — Они всё рассказали, как надо.

— Даже день вспомнили, когда это было, — добавил Владик. — Только жаль, что он заплакал...

— Кто?

— Тот, которого Юриком зовут. Маленький такой, кудрявый.

— Почему заплакал? — озабоченно спросил Шурик. — Вы, наверно, их перепугали. Наверно, насели на них со своими допросами?

Генка нахмурился:

— Никто не наседали... Ну, сначала насели немного, а потом все спокойно было. Он уже после заплакал ни с того ни с сего.

— Значит, испугался. Наверно, решил, что попадет теперь.

И тогда обиделся Илька. За Юрика обиделся, за этого незнакомого мальчишку с молотком за поясом.

— Ты думаешь, он трус? Думаешь, только от страха плачут?

Илька чувствовал, что на месте Юрки он и сам мог бы заплакать. От жгучей досады, что поверили Яшке и ушли с берега.

— Я так не думаю, — сказал Шурик. — Я только боюсь, что они обиделись на вас. С маленькими надо разговаривать осторожно... А вдруг еще придется что-нибудь у них узнавать?

Владик покачал головой.

— Они не обиделись. Они обещали еще рассказать, если что-нибудь вспомнят... Они там все время на берегу.

— Что они там делают?

— Клад ищут, — усмехнулся Генка. — Там же церковь была, вот они и долбят кирпичи. Думают, что тайник найдут.

Яшкин дом стоял в глубине двора. С улицы виден был только гребешок железной крыши, с которой Яшка в прошлом году запускал своего «Шмеля».

Калитка была приоткрыта.

Ребята остановились. Посторонний мог бы подумать, что их смутила облупленная табличка «Во дворе злая соба-

ка». Но ребята знали, что злой собаки во дворе никогда не было, а добродушный Тобик потерялся два года назад.

— Пошли, что ли? — спросил Генка и переступил на месте.

Тогда вперед сунулся Илька и первым нырнул в калитку.

Перед ними был знакомый двор. Желтые звезды одуванчиков в траве, березовая поленница у сарая, веревка с мокрыми простынями и наволочками.

На крыльце стоял толстый карапуз с голым животом и серьезно рассматривал гостей.

— Ой, это Санька! — удивился Илька. — Ходит уже.

Санька не обратил на Ильку внимания. Смотрел он только на Генку. Пристально и строго. Потом сказал:

— Дядя...

— Сам ты дядя, — обиделся Генка.

Санька опасливо попятился, повернулся, полез через порог и шумно шлепнулся. Подумал и нерешительно захныкал.

В доме захлопали двери, и на пороге появилась Яшкина мать.

Видимо, она удивилась, заметив ребят. Может быть, даже не узнала в первый момент. Не отрывая взгляда от мальчишек, машинально подняла Саньку, машинально хлопнула пониже спины, вместо того чтобы отряхнуть и успокоить. Санька, видно, привык к таким вещам. Реветь не стал, а снова взглянул на Генку и повторил:

— Дядя.

Яшкина мать вдруг заулыбалась.

— Дядя, — ласково сказала она. — Дядя Гена. И дядя Илька. И еще дяди... Яшины дружочки пришли к Яшиной маме. Проходите в дом, ребятки. Я и не узнала поначалу-то... Видишь, Саня, какие хорошие мальчики!

Санька был, однако, иного мнения. Он для верности опустил на четвереньки и, сопя, полез через порог подалее от подозрительных мальчиков и дядей.

— Здравствуйте, — запоздало сказал Шурик.

Подталкивая и пропуская вперед друг друга, они прошли в дом, куда раньше входили не часто и не очень охотно.

Не было в комнатах ни траурной темноты, ни заброшенности. Рыжие пятна вечернего солнца лежали на полах. Тонкий оранжевый луч насквозь пробивал аквариум и рассыпался на полированной спинке кровати. На заляпанном кляксами столике, где Яшка всегда готовил уроки, спал серый котенок. Над ним отчетливо стучали часы.

Вошла Яшкина мать, начала торопливо двигать стулья.

— Садитесь, ребятки. Жалко, отца-то нет. Он уж сколько раз говорил: «Хоть бы дружки Яшины пришли».

«Скоты мы все-таки», — подумал Генка.

Они усаживались, молчаливые, подавленные, хотя мать Яшки казалась вовсе не печальной, даже веселой.

— Садитесь, Гена, Шурочка... И ты, мальчик. Ты уж извини, я что-то не припомню тебя.

— Это Владик, — сказал Илька.

— Ох, Владик... Яшенька-то говорил. Вылечился, знает?

— Наполовину. Один глаз, — сдержанно сказал Владик. Видимо, неловко ему было говорить о своей радости, когда здесь такое горе.

— Яшенька-то все письмо писать собирался. Какие-то марки чтобы ты купил в Одессе. А я говорю: не смей. Мальчик в больнице, у него беда такая, а ты со своими марками суешься. Он и не стал... Он уж над этими марками прямо с ума сходил. Даже спать с альбомом ложился. Я теперь берегу альбом-то. Вроде и ни к чему он, подарить бы кому-нибудь, а жалко.

— Я думал, альбом вместе с сумкой потерялся, — осторожно заметил Генка. — Он ведь все время в сумке лежал. Мы в школе сколько раз смотрели.

— Так ведь и сумка у меня. Ничего не потерялось.

— Отдали в милиции?

— Все отдали, до последней бумажечки. Только ремешок порван. Я им говорю: не могли уж поосторожнее, чтобы не порвать? А они говорят, так и было.

— А можно посмотреть? — спросил Илька. Он меньше всех смутился. Он торопился узнать главное.

Яшкина мать не удивилась просьбе. Вышла и вернулась с сумкой, шлепнув на ходу подвернувшегося Саньку.

Вот она, сумка. Яшки нет, а она есть. Все такая же. Старая, много раз битая ногами. С учебниками и тетрадами, которые Яшка нес из школы в последний день...

Ремешок был засунут внутрь, Генке пришлось вытаскивать все учебники, чтобы достать его. Посыпались огрызки карандашей, бумажки, резинка. И наконец брезентовая спираль ремня развернулась, открыв чернильные буквы.

Слово было написано крупно и четко. Будто Яшка оставил пароль, чтобы ребята разгадали, как он погиб.

...Яшкина мать плакала. Не очень сильно, просто слезы текли по щекам, и она вытирала их Санькиным тряпичным картузиком.

— Посмотреть бы на мальчиков этих...

— Мы попросим. Они придут, наверно, — пообещал Генка.

— Отца-то нет. Он к брату в деревню уехал. Он ведь не работает сейчас, не может пока. Когда беда-то случилась, у него руки отнялись. Два месяца двигать не мог...

Шурик аккуратно укладывал в сумку учебники. Генка смотрел и думал: «Он старается так, будто завтра с этой сумкой кто-то пойдет в школу».

Они вышли из Яшкиного дома. В этом доме не было завешенных окон и никто не говорил приглушенным голосом, а горе все равно не уходило оттуда, и люди жили с ним вместе.

Генка шагал впереди и глядел себе под ноги. Не оборачиваясь, он пообещал:

— Илька, козел рогатый, если еще будешь на обрыве акробатничать, шею измочалю.

— Хочу и буду, — сказал Илька ровным голосом.

Генка взорвался и заорал:

— Я тебе покажу «буду»! Ты грохнешься, и наплевать тебе на все! А у других руки будут отниматься, как у Яшкиного отца!

Илька сказал со спокойным вызовом:

— У меня нет отца. Он умер.

Может быть, Илька ожидал, что эти слова смутят Генку. Но Генка был слишком злой сейчас.

— Мать-то ты еще не свел в могилу? Вот и подумай о ней. Яшка хоть двух человек спас, не зря убился. А если ты грохнешься, твоей матери и вспомнить нечего будет!

Илька не ответил, потому что хотелось заплакать. Владик вдруг нагнал его и пошел рядом, словно захотел молча утешить.

Генка оглянулся на них. Шли они, касаясь друг друга плечами, оба тонкие, темноволосые, похожие. Как два брата — старший и младший. Но они не были братьями. И, остывая, Генка сказал:

— У Яшкиной матери хотя бы Санька имеется. А если ты трахнешься, кто у твоей матери останется?

— Тебе-то что? — неохотно огрызнулся Илька.

— Козел, — вздохнул Генка.

Владик тихонько засмеялся.

И наверное, чтобы совсем загладить размолвку, вмешался Шурик:

— Я и не знал, что у Яшки брат есть.

— Санька? — откликнулся Генка. — Это двоюродный брат его. Яшкина тетка с мужем развелась, а Санька ни ей, ни мужу не нужен. Мне Яшка зимой говорил. Вот они и взяли.

Дальше шли молча. К Илькиному дому. Был уже настоящий вечер. Ушло солнце, и в воздухе стоял запах реки и теплого асфальта.

Шурик вдруг спросил:

— Что с этой бумагой делать? — Он вертел в пальцах мятый листок. — Забыл в сумку положить. Смотрите-ка, сочинение.

— Прочитай, — потребовал Илька.

— А можно? Не наше...

— Да читай ты, — досадливо сказал Генка.

Они остановились посреди тротуара. Илька встал на цыпочки, чтобы заглянуть в бумагу, которую Шурик держал у близоруких глаз.

— Сочинение, — прочитал Шурик. — На тему: «Какую погоду я люблю».

— Ну, — нетерпеливо дернулся Генка.

— Начинается ветер, — сказал Шурик, — и большие деревья шумно встряхивают плечами...

— Какой ветер? — разозлился опять Генка. — Его читать просят, а он...

— Он читает, — сказал Владик.

— Я читаю... «Начинается ветер, и большие деревья шумно встряхивают плечами, прогоняют последний сон... А простыни на веревках громко хлопают и полощут, кажется им, что они паруса...»

— Это сочинение? — с веселым удивлением спросил Илька.

— Это стихи, — сказал Владик.

— Что за стихи, — не поверил Генка. — Никакого складу.

— Бывают стихи без рифмы, — объяснил Шурик. —

Но здесь написано, что это — сочинение. Подождите, тут еще... «Я подумал, что хорошо бы сделать парус из этих простынь и поставить его на лодку. Только мне не дадут. Взрослые думают, что без паруса жить можно, а без простынь нельзя никак...» Это, наверно, все-таки стихи, ребята.

— А отметка есть? — спросил Илька.

— Нет отметки. Это, наверно, черновик.

Странное было сочинение. Не похоже, что Яшкино. Однако почерк его... Хотя почему не похоже? В ветрах-то Яшка разбирался.

— Прочитай еще раз, — попросил Генка. — У тебя как-то интересно это выходит.

Шурик прочитал снова, размеренно подчеркивая ударения и отбивая строчки.

Да, это были все-таки стихи. Но едва ли сам Яшка знал об этом, когда писал...

— Какой из него поэт, — с сомнением произнес Генка.

Шурик аккуратно складывал листок. Он с Генкой не согласился.

— А что такого? Фантазия у него работала. Помнишь про поезд?

Генка вспомнил. Смешная история. Яшка пришел расстроенный и рассказал, что на вокзале стоит поезд с желтыми и оранжевыми вагонами, на которых нарисованы черные верблюды и зеленые попугаи. В переднем вагоне играет оркестр, а на платформе веселый дядька с усами продает билеты всем, кто хочет отправиться на экскурсию в жаркие страны. Взрослый билет стоит рубль сорок шесть копеек, а детский — семьдесят три копейки. У Яшки денег хватает, но мать спрятала свидетельство о рождении, а без документов за границу, конечно, не пускают.

Над Яшкой тогда посмеялись, а он так и ушел грустный. А потом все забыли про желто-оранжевый поезд со зверями на стенах вагонов...

— Это он из-за марок выдумал, — сказал Генка.

— Он тогда еще не собирал марки, — возразил Илья. Но спорить ему больше не хотелось, и он скорее заговорил о другом: — Гулять еще будем или домой?

— Давайте домой, — попросил Владик. — Я своего дома еще и не видел.

И только сейчас все вспомнили, что он приехал лишь сегодня и дома у себя еще не был.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Владик просыпался рано. После шести уже не спишь. Как ни задергивай штору, солнце все равно просачивается в какую-нибудь шелку.

Июньское солнце высокое и веселое. В самом крошечном луче столько тепла, что любой сон испаряется, как лужица на асфальте.

Владик прищуривает глаз. На кончиках ресниц загораются радужные шары. Разноцветные капли, звезды и кольца кружатся в этих шарах. Вот какое чудо случается, если близко-близко рассматривать солнечные искры.

Владик распахивает ресницы. В комнате такой свет, будто сейчас не утро, а яркий полдень. Это потому, что стены покрашены в цвет слоновой кости.

Слоновую кость и самих слонов никогда Владик не видел.

Только на картинках. Но картинки были даже не цветные. А посмотреть бы их живых — громадных, серых, добродушных. И тонких жирафов, и желтых львов... И верблюдов...

Владик перестает улыбаться. В беззаботные мысли его вползает воспоминание и начинает мешать им, как тревожный тонкий звон. Верблюды, и львы, и попугаи... На желтых и оранжевых вагонах. Это придумал человек, который погиб. А если человек умер, самая веселая история покажется грустной.

Владик медленно тянет с себя простыню и спускает ноги. Отец, конечно, еще спит. Ему хорошо на диване, за книжным шкафом. Солнце царапает лучами по стеклянным дверцам, а до дивана добраться не может. Владик видит только папин затылок. Жесткие короткие волосы. Среди них есть несколько белых. На полу у дивана пепельница с раздавленными окурками. Один, два... пять. До которого же часа он не спал? Ну и ну...

На столе — краски и дольки ватманского листа. С вечера остались. Убрать было лень, до того спать захотелось, что чуть хватило сил раздеться.

Осторожно подходит Владик к столу и разглядывает рисунок. Чепуха! Мазня какая-то. Краски непослушны, карандаш — тоже. Очень хотелось нарисовать громадные

лесные цветы и маленького волшебника среди них. А получились наляпанные пятна. Краска растеклась и смешалась. Волшебник похож на лягушку в красных штанах.

Надо, чтобы рисунок был яркий, краски веселые и яркие. А они сливаются и мажутся. Попробовать еще? А что рисовать? Трудно придумать: что-то крутится в голове — то ли забытый сон, то ли дивная сказка. Что-то синее, вечернее и немножко таинственное. Но это никак не нарисовать.

С недавних пор временами приходит к Владу непонятное беспокойство. Совсем недавно все казалось простым и праздничным: смотри и радуйся. А теперь он не может просто смотреть. Увидит мелкий цветок в гуще травы, птицу какую-нибудь или облако, и хочется нарисовать что-то такое же или лучше. Или что-нибудь еще сделать: хотя бы стихи сочинить. Да ничего не получается. Только один раз стихи немного получились. В поезде.

Солнце, большое и расплющенное, уползло за лесную полосу. Навстречу вагону летели мелкие деревца, и верхушки их были растрепаны ветром. И вдруг из-за бугра с локатором выполз и развернулся плоский аэродром с узкими темными самолетами. И было такое чувство, словно сейчас случится какое-то приключение... Владик досидел до темноты в коридоре вагона. И в это время колеса выстукали ему такие строчки:

В чистом поле, за бугром,
Видел я аэродром...
Но все там было незнакомо:
И направления ветров,
И солнце, красное, как кровь,
За полосой аэродрома.
И только теплый запах трав
Такой же был, как дома...

Этот запах влетал в открытые окна и носился по вагону вместе с ветром и пухом тополей...

Стихи понравились Владу. Сначала. А потом — нет.

Они хорошо читались под стук колес, а после показались глупыми и неуклюжими.

Еще позавчера Владик хотел сочинить другие стихи. Про старого отважного петуха, который не боится даже овчарок: «Красный гребень солнцем просвечен, крылья рыжие, как огонь...» Дальше Владик не придумал и придумывать не будет. Потому что Шурик показал ему Яшкино сочинение, которое переписал, разбив на строчки.

Начинается ветер,
И большие деревья
Шумно встряхивают плечами,
Прогоняют последний сон.
А простыни на веревках
Громко хлопают и полощут.
Им кажется, что они — паруса.
Я подумал, что хорошо бы
Сделать парус из этих простынь
И поставить его на лодку.
Только мне не дадут.
Взрослые думают,
Что без паруса жить можно,
А без простынь нельзя никак...

— В конце, конечно, все сбито, — сказал Шурик виновато, будто он сам это сочинил. — Но теперь уж не исправит.

Ну и что же, что сбито! Зато сразу чувствуешь, как с размаху налетает настоящий ветер, и качает старые заборы, и устраивает кутерьму в вершинах тополей. Такая сила! И всякие петухи после этого кажутся сплошной глупостью.

Владик не помнит Яшку. Встречался с ним всего раза три и теперь даже голос его забыл. Говорят, что временами Воробей был довольно вреден. А кто не бывает вреден? Временами. И вот Яшки нет, а остались только строчки о ветре.

А может быть, нарисовать веселый Яшкин поезд? Желтое и оранжевое с черным — это будет ярко и красиво. Стремительный поезд, летящий сквозь африканские ветры...

Жаль, краски неважные, неровно ложатся.

Владик потянул к себе коробку. Она скользнула на пол, и разноцветные кирпичики красок с треском рассыпались на половицах. Владик кинулся их собирать.

И проснулся отец.

Он повернулся на спину, несколько секунд молча смотрел на Владика, потом заметил:

— Все хорошие люди спят хотя бы до семи часов утра и не мешают другим.

— И не курят по ночам, — добавил Владик.

— Гхм... — обеспокоенно произнес отец и покосился на пепельницу.

— По пять папирос, по крайней мере, не курят, — уничтожающе добавил Владик.

— Это клевета. Четыре я выкурил в кухне. Только одну в кровати.

— И все окурки принес в комнату?

— Это совершенно случайно. По забывчивости.

— А на работу ты окурки не носишь? По забывчивости!

— Я больше не буду, — жалобно сказал папа.

Владик вздохнул:

— Будешь. Ты уже сто раз обещал.

— Скверный у тебя отец...

— Недисциплинированный...

— Я перевоспитаюсь.

— Посмотрим.

— А почему ты не спишь?

— Солнце...

Такие разговоры с шутливыми перепалками случались каждое утро. После этого отец отворачивался и засыпал до семи. А Владик включал чайник и садился листать учебники.

Но сегодня было не так.

— Владик, послушай-ка. Это серьезно. Я еще вчера хотел сказать... Мама письмо прислала. Мне на завод. Хочет приехать. Просит...

То, что было в раннем детстве, до того страшного случая на бревнах, Владик не помнит. Ни комнат, где жил, ни улиц, ни деревьев, ни людей. Но одно все-таки запомнилось. Всего несколько минут из жизни. Он стоит в пальтишке, в шапке и варежках, а мама завязывает шарф. Сейчас они пойдут гулять. Владiku хочется скорей на улицу, но шарф не желает завязываться. Мама дергает его концы, Владик чуть не падает. «Стой как следует», — говорит мама. Владик рад бы стоять как следует, но ему жарко. Мама одевает его рядом с горящей печкой. За чугунной дверцей голландской печи басовито гудит огонь. Горячо светится продолговатый глазок поддувала. Оно похоже на золотое яичко курочки Рябы...

«Не вертись же ты...»

Видимо, уже вечер. В комнате плотные синие тени, только лицо у мамы светлое. Огонь из золотого глазка освещает его. Лицо совсем не сердитое, только голос сердитый.

«Господи, мученье, а не ребенок...»

А он совсем не мученье. Очень жарко, и воротник трет шею. А печка так и пышет. И поддувало совсем не похоже на золотое яичко. Оно — как глаз Змея Горыныча. И пламя воеет злорадно и глухо. Ух ты, зверь! Владик рвется из маминых рук и валенком бьет по дверце. На поддувало с лязгом падает круглая заслонка. Мамино лицо гаснет в синей темноте.

Гаснет воспоминание...

А если оно появляется снова, Владик опять ударяет ногой по воображаемой дверце. Чтобы упала железная заслонка...

— Так как же? — осторожно напомнил папа.

Надо было отвечать. Владик старательно и медленно стал подбирать слова:

— Она же не маленькая... Кто ей может запретить приехать? Только где она остановится? Ты же говорил, что

в гостиницах трудно устраиваться. А тетя Надя не любит посторонних...

— Ага, — сказал папа. — Ну хорошо... Я, пожалуй, еще посплю. Ты поставишь чайник?

— Конечно.

Отец опять отвернулся к стене.

Владик зажмурился. Синяя комната, оранжевые блики огня... Сейчас это слишком долго не забывалось. Владик с размаху ударил босой ногой по ножке стола. И, словно в ответ на удар, в коридоре совсем не по-утреннему взревел звонок. Держась за ушибленные пальцы, Владик на одной ноге запрыгал к двери.

Кто мог явиться в такую рань? Конечно, Илька. Он возник на пороге слегка взъерошенный и озабоченный.

— Ты уже не спишь? Хорошо...

— Папа, между прочим, спит, — ядовито заметил Владик. — Вернее, спал, пока ты не затрезвонил как на пожаре.

— Я осторожненько нажал, — притихшим голосом объяснил Илька.

— «Осторожненько». Звонку ведь все равно.

Отец крикнул из комнаты:

— Владик, что там? Телеграмма?

— Илька.

— А! Тащи его в комнату!

— Тащу.

В свете солнечной комнаты Илька предстал во всей своей красе.

— Вот пижон, — сказал Иван Сергеевич с оттенком восхищения.

Илькин костюм был легок и живописен. Все те же серенькие штаны, сандалии на босую ногу и желтая косынка с черными горошинами, повязанная как галстук. За ремень был засунут крупный молоток, а из кармана торчала ручка отвертки или стамески. Вот и все. Если не считать четырех царапин, идущих наискосок через весь живот. Словно чья-то большая лапа цапнула Ильку. Царапины были красные и припухшие.

— Судя по всему, Тамара Васильевна сегодня на дежурстве? — полувопросительно заметил Иван Сергеевич. — Сын ее ведет самостоятельную бурную жизнь.

— Веду, — со вздохом сказал Илька.

— Но даже при такой жизни следует завтракать. Этим мы сейчас и займемся.

Илька незаметно облизнулся. Но, видимо, мысли о завтраке занимали его не очень сильно. Когда Иван Сергеевич удалился на кухню, Илька деловито сообщил:

— Нужна веревка.

— Может быть, скажешь зачем? — поинтересовался Владик.

— Ага... Сейчас. — Илька наморщил лоб, подбирая нужные слова.

Потом сел перед Владиком на стул, подтянул колено, почесал его об подбородок. Глянул исподлобья.

«Что он задумал?» — уже забеспокоился Владик.

— На мысе есть такой гладкий... — Илька поводил в воздухе ладонью, — ну, скос, что ли... Как стенка каменная. На обрыве у самого верха. Ее отовсюду видать. И даже сверху видно, если отойдешь чуть-чуть по берегу... Буквы бы на этом месте выбить...

— Какие буквы?

— Яшкино имя.

Он смотрел в лицо Владiku не отрываясь. В его глазах была отчаянная боязнь насмешки и готовность моментально огрызнуться.

Владик молчал, вспоминая, как в прошлый раз Илька закачался на каменном карнизе.

— Если бы он просто так утонул... — тихо сказал Илька. — А он же не просто так. Он же спасал. А никто не знает. У него даже могилы нет с именем. Это справедливо, а?

— А второго гладкого камня там нет? — очень серьезно спросил Владик.

— Зачем?

— Для тебя. Если тоже сорвешься.

— Я не сорвусь. Я сегодня пробовал. Там как раз выступ. Только неудобно держаться. А если сверху веревку спустить, будет хорошо.

— Будет хорошо... — повторил Владик, разглядывая в упор царапины на Илькином животе. — Веревку я дам. Когда Генка придет. Этой веревкой мы тебя выдерем, а потом привяжем, чтобы не лазил на обрыв. Тебе Генка что говорил?

— А мне наплевать, — надменно сказал Илька. И вдруг отвернулся. — Трус твой Генка. И ты...

— Дурак, — растерянно сказал Владик.

У Ильки дрогнуло плечо.

— Ну, послушай, — немного виновато начал Владик. — Ты там один крутишься...

— Я не один. Там Юрка и Валерик.

— Ой, да брось ты! Помогут они, что ли... Когда Яшка сорвался, они тоже были...

— Не было! Он их сам прогнал!

— Ну, не было. Все равно, какой от них толк?

— Они за веревкой следить будут. С ней совсем не опасно. А с реки еще ветер дует... Прижимает к камню...

Прижимает...

Начинается ветер.
И большие деревья
Шумно встряхивают плечами...

— Там же гранит, — сказал Владик. — Сколько времени надо, чтобы выбить буквы? Все лето.

— Можно все лето. По утрам, пока народу мало.

— Камень серый, и буквы серые. Будет незаметно.

Илька торопливо повернулся и замахал влажными ресницами.

— А как, чтобы заметно?

— Подожди, — сказал Владик.

Если с веревкой, то, наверно, можно. Илька ведь все равно не успокоится. А если привязаться как следует...

Владик вспомнил отвесный борт «Адмирала Нахимо-

на, маленькую люльку на веревке, матроса с длинной кистью. Он закрашивал желтые потеки и казался лилипутиком по сравнению с громадой корабля... Потом представился Владiku другой корабль, тоже громадный, серый, как гранит, с красными буквами на борту: «Яшка Воробьев». На всех, кто гибнет, не хватает кораблей. Но камень-то на обрыве есть...

— Есть такая краска, — сказал Владик. — Корабельная. Сохнет моментально. Ею днища пароходов красят. Может быть, папа достанет. Мы тогда вместе все сделаем.

— Генка, наверно, не захочет, — засомневался Илька. — Ругаться станет.

— Почему?

— Ну так... Я знаю. Потом согласится, а сперва станет ругаться.

Была в Илькиных словах какая-то правда.

— Ладно, — сказал Владик. — Если так, то вдвоем тоже можно.

Илька заулыбался:

— Так даже лучше. Он потом увидит и удивится.

В кухне затрещало масло.

— Котлеты? — с опаской спросил Илька.

— Сиди, не прыгай. Яичница, — сказал Владик.

Он думал о краске. Мысль о пунцовых буквах на граните уже нравилась ему самому. Было что-то справедливое в этом красном имени на камне. Было утверждение, что Яшка погиб не зря.

— Те, кто умылся, могут завтракать, — сообщил из кухни Иван Сергеевич.

— Илька, идем!

Все было здорово! Все было весело! Они брызгались в ванной, а потом мокрые влетели в кухню. За столом голодный Илька уронил себе на колени кусок горячей глазуньи и по-кошачьи взвыл. Владик долго не мог разогнуться от смеха.

Но сквозь этот смех и веселье почему-то продолжали

стучать размеренные слова: «Я подумал, что хорошо бы сделать парус из этих простынь...»

— Папа, — сказал Владик, — ты ведь, кажется, кораблестроитель.

— Кажется, да. Авторитетные товарищи именно так говорят.

— Помоги построить лодку.

Илька перестал болтать ногами и положил вилку.

— Мы нашли одну лодку, — продолжал Владик. — На берегу. Но она гнилая, ее не починить. Но ведь можно построить новую. С парусом...

— Новое дело, — сказал отец, глядя в тарелку. — Зачем это?

— Чтобы плавать, конечно.

— Вот именно. Чтобы плавать. А потом потонуть. Ты даже на воде не умеешь держаться.

— Я научусь. Ты же разрешил купаться с Геной.

— Он научится, — поспешно пообещал Илька. — Генка научит.

— Д-да... И с чего это такая фантазия пришла?

— С парусом бы... — тихо сказал Владик.

— С парусом... А мне на работе опять ни минуты покоя не будет? Только о вас и думать.

— Раньше ты так не боялся, — обиженно сказал Владик. — Велосипед был опаснее.

— Дурень. Много ты знаешь.

— Мы бы не стали часто кататься. Можно было бы только с тобой.

— Пока не научимся сами, — добавил Илька.

— Ну, папа... Скажи хоть что-нибудь.

— А что сказать? Я инженер, но не плотник. И досок нет. Ну, посмотрим...

— А что — посмотрим? — оживился Владик.

В отцовском голосе явно слышалась уступка:

— Поговорю я... У нас на строительстве нового цеха прораб есть, рыбак. Говорил, что новую лодку купил. Спрошу, что со старой будет делать.

— Ура! — шепотом сказал Илька.

— Не очень-то «ура». Старая лодка — это дыра на дыре. Можете с ремонтом все лето провозиться. А плавать когда?

— Можно и осенью, пока не застынет, — сказал Владик.

— Можно, — подтвердил Илька.

— Может быть, и можно, — нерешительно согласился Иван Сергеевич. — Если на озера ее перебросить... Там такие места, под Ново-Каменкой. Кругом озера, а между ними протоки. Я прошлой осенью был. Вода черная, а в ней желтые листья... Но если только и в самом деле лодка будет, дурака не валять. Ясно?

— Ясно! — гаркнул Илька.

Владик помолчал, думая о желтых листьях на черной воде. Ему даже показалось, что слышен запах осеннего леса.

По черной воде
В золотых берегах
Плывет наш фрегат,
Раздвигая упавшие листья .

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Илька танцевал от нетерпения.

— Ну, мам...

— Не крутись. И не растопыривай локти. Откуда у тебя эта привычка? Чуть что не нравится — сразу локти в стороны!

Локти были ни при чем. Когда Илька хотел уговорить маму или что-то доказать, он прижимал к груди (или к животу) стиснутые кулаки. Для убедительности. Локти при этом растопыривались сами собой.

— Не пля-ши, — с расстановкой повторила мама. — Чем спокойнее будешь стоять, тем скорее кончим. Ну-ка, держи руки по швам.

Илька внутренне застонал, но перестал приплясывать и начал держать руки по швам. Лишь бы скорее.

— Не могу же я шить без примерки, — сказала мама.

Илька вкрадчиво заметил:

— Можно сейчас и не шить. Зачем мне сейчас эта куртка?

— А затем... — начала мама и повернула Ильку вокруг оси. — Затем, что всю свою одежду ты превратил в лохмотья. И не в чем тебя в люди вывести. Ну-ка, повернись боком.

Илька повернулся боком и поинтересовался, как это его собираются выводить в люди.

— Ну, в цирк, например, в чем бы ты пошел?

— В белой рубашке.

— А вечером будет прохладно.

— Не будет прохладно.

— Убери локти!

Вот и поговори. А времени уже одиннадцать. Владик пришел к Генке, и Шурик, конечно, пришел. Они не опаздывают. Сейчас сидят под навесом на чурбаках и разносят Ильку на все косточки. Потому что Илька не идет и не несет обещанные гвозди.

— Я же тороплюсь, — жалобно сказал Илька.

— Я тоже. Однако сижу и занимаюсь твоей курткой.

«Чтоб она сгорела», — про себя добавил Илька.

Мама отодвинула его и полюбовалась на свою работу.

— Ну, вот видишь! Вполне приличная курточка. Очень модный фасон. Сейчас и взрослые носят такие, без воротника.

Ильку ни капельки не интересовало, что носят взрослые. Это их взрослое дело. А ему все модные фасоны нужны, как кошке рога. Все излишки одежды хорошо бы вообще перешить на паруса и флаги. Только мама не даст...

Мама продолжала любоваться:

— Очень хорошо. Подрублю рукава, подол, пришью пуговицы, и все будет в порядке. Ну, тебе нравится?

Илька скосил глаза на темно-голубое сукно. Конечно, следовало сказать, что нравится. Но прямота характера не позволила.

— Мне в такой и ходить?

— Конечно, — сдержанно сказала мама. — А что?

— Камзол какой-то...

— Что-о?

— Длинная какая! Будто платье. Смотри, даже штанов не видать почти.

— И очень хорошо! — с радостью отозвалась мама. — По крайней мере никто не увидит, во что ты их превратил. Это были единственные приличные штаны для лета. Ты их отделал за полмесяца. Ну, что это такое?

— Это краска и капелька смолы, — осторожно объяснил Илька. — Мы же лодку конопатили. Это, мама, все отчистится ацетоном или отстирается. — Он хотел увести маму от опасного разговора, но она уводиться не хотела.

— Много ты чистишь и стираешь! Неужели нельзя надеть что-нибудь старое, когда возишься с этой вашей лодкой?

— У старых штанов ремня нет! Куда инструменты совать?

Мама печально вздохнула:

— Крепкой руки на тебя нет, вот что. Снять бы с тебя этот ремень, а потом эти штаны, которые в смоле... Ну-ка, снимай.

— Что? — испугался Илька.

— Куртку. Раз она тебе так не нравится.

— Она нравится, — тихо сказал Илька. — Только обрежь немножко, пожалуйста. Вот настолечко. — Он растопырил пальцы.

— Пожалуйста. В конце концов, тебе носить.

Пока мама решительно орудовала ножницами, Илька заталкивал за ремень молоток и стамеску, а карманы загроужал гвоздями.

На стол легла широкая полоса синего сукна. Илька

устремил на нее прицеливающийся взгляд. Нерешительно потанцевал.

— Мам... Эта тряпочка ведь, наверно, не нужна?

— А можно узнать, зачем эта тряпочка тебе?

— Для пробоины. Понимаешь, в лодке есть дырка...

— Дырка?! — Мамины глаза стали круглые и синие, как пуговицы для новой курточки. — И на этой лодке вы хотите плавать?

— Ну, мама! Мы не будем плавать, пока дырка. Мы ее заделаем.

— Этим лоскутком?

— Деревом. А лоскуток для прокладки. Нам Генкин папа говорил, что раньше на плотинах из сукна прокладки делали. Знаешь, как крепко получалось! Вода ни капельки не просачивалась. Мы тоже просмолим и прибьем...

— У меня такое впечатление, что вы строите не лодку, а мой собственный гроб, — сказала мама. — Я сойду в могилу. Как вспомню, у меня волосы седеют. Неужели вам хочется утонуть?

— С нами Иван Сергеевич будет.

— Да, но когда-нибудь вы поплывете и одни.

— Когда научимся...

— Ой-ой-ой, — сказала мама. — Хоть бы она дольше не ремонтировалась, эта ваша посудина... Бери сукно и убирайся, мне к докладу на собрании готовиться пора.

Илька повязывал на шею косынку.

— Почему ты не наденешь рубашку? Неужели нравиться ходить таким голопузым чучелом? Пират какой-то.

— Рубашку я ведь тоже могу перемазать. И мне влетит от тебя. А пузо я отмою.

— Прекрасно, — сказала мама. — Не вздумай опоздать к обеду. Худо будет.

— Ладно... Я возьму соленый огурчик?

— Ты голодный?

— Нет. Владик говорил, что соленые огурцы морем пахнут.

— В самом деле? — удивилась мама. — Тогда принеси и мне.

Илька ускакал за огурцами, и Тамара Васильевна слышала, как он распевает в кухне песню, которую она никогда не пела ему у колыбели:

Мы днища смолили, костры разведя,
В огне обжигали мы кили,
На мачту вздымали простреленный флаг
И снова в поход уходили..

Лодка лежала в Генкином дворе под навесом.

Ребята сидели на лодке.

Владик и Шурик смотрели на Ильку с обыкновенным нетерпением, а Генка — мрачно и пристально.

— Мама не пускала, — поспешно сказал Илька. — Зато я вот что принес. Для заплат.

Илькину идею одобрили, и Генка не стал ворчать и ругаться. Он встал, с треском отодрав от лодки прилипшие к смоле штаны.

— Давайте за работу...

Они работали уже четвертый день. Очистили, отскребли лодку, проконопатили щели. Осталось заделать небольшую дыру в борту, а потом браться за покраску.

Банки с белилами, черной краской и суриком стояли здесь же.

За ними вчера пришлось идти на завод, потому что Иван Сергеевич брать на себя это дело не захотел:

— Значит, я должен краску под полкой через проходную тащить? Чему вы меня учите? Нет уж, дудки. Идите к директору и просите сами. В порядке дружеской помощи.

Правда, к директору он пошел вместе с ребятами.

В кабинете вся компания от робости застряла у порога, а Иван Сергеевич прошел к столу.

— Вот, Владимир Леонидович, привел весь пиратский экипаж.

Директор поднял от бумаг лицо, и Генка заморгал. От неожиданности он, кажется, даже снова сказал «здравствуйте».

— Здравствуйте, — вежливо откликнулся Владимир Леонидович. — Неожиданная встреча. Ну, как тот вредный автомат? По-прежнему плетает монеты?

— Я больше не звонил, — сказал Генка.

— Мы вместе однажды телефонную аппаратуру осваивали, — объяснил директор Ивану Сергеевичу. — Ну, так... Значит, надо вам свой фрегат ремонтировать?

Он сказал, что краску, так и быть, даст. В порядке шефской помощи юным кораблестроителям и в память о знакомстве. Только если новый танкер «Иртыш» уйдет со стапелей с непокрашенной кормой, отвечать будет эта пиратская команда. Потом он позвонил на склад и в проходную.

У проходной они встретили маленького лысого прораба Павла Романовича, бывшего хозяина лодки. Павел Романович был чудесным человеком. Когда он отдавал лодку, то отказался от всяких денег. Только намекнул, что не прочь ради такого дела распить с Иваном Сергеевичем четвертиночку. Владик со смехом рассказывал, что они распили не одну, а две четвертиночки и потом долго вспоминали детские годы и удивительные случаи в истории кораблестроения.

— Довезли свой крейсер? — поинтересовался Павел Романович. — Не растрясали по досочкам?

— Целенький, — сказал Генка.

Лодку пришлось везти из-за реки, через мост. Скрипячая двухколесная тележка заваливалась на правый борт, а за спиной ругательски гудели грузовики. Но все это было теперь позади.

А впереди — работа. Красить, руль делать, мачту ставить, парус шить...

Мачту Иван Сергеевич поможет сделать. Руль тоже сколотят все вместе. Парус Шурка сошьет, он на машинке, как портниха, строчит. И выкройку для паруса уже сделал: гафельный грот. Работает у него голова.

Сначала хотели парус из старых мешков кроить, а по-

том вышел из дома Генкин отец, постоял у лодки, посмотрел, как они щели конопатят, и сказал:

— Чего уж с мешковиной-то плавать. Смех один. Присмотрите в магазине какую нужно материю...

Они, конечно, присмотрели. Плотная широкая бязь. Парус будет что надо. Отец, правда, крикнул, когда услышал про цену, однако от своих слов не отказался.

Он вообще эти дни ходил очень добрый и веселый. В доме опять стали появляться шумные люди с вьедливым, совсем не южным загаром на лицах. Из Москвы пришло письмо, которое отец очень ждал. Генке он сказал, что «проект в принципе одобрен, и даже очень». А потом, видимо на радостях, взялся объяснять, какой это проект и для чего он нужен. Генка ничего не понял. Вернее, понимал кое-что, пока слушал, но почти сразу забыл. Запомнилось только, что вся эта штука связана с лесохимическим комбинатом и называется технологией производства.

А вскоре выяснилось, что для дальнейшей работы над проектом отец должен оставить работу в городе и, как выражалась бабушка, «бежать в леса». Мать, когда услышала такие новости, сказала:

— На хвосте мочала — начинай сначала... Я в твоём рюкзаке картошку держу. С чем поедешь?

— Я уже новый купил, — сказал отец.

...Пробоину заделали. Изнутри и снаружи. Зачистили, просмолили заплаты. Вытянули лодку на солнце, чтобы смола просыхала скорее.

— С кормы уже красить можно, — сказал Генка. — Чего зря время тянуть.

Как ее красить, давно было решено. Днище они покроют суриком, так же как у настоящих кораблей. Верх сделают черным с тонкой белой полосой по бортам. Внутри лодка будет белой — чистой и светлой, ни единого пятнышка.

Илька вдруг спросил:

— А буквы какие будут? Красные?

— Буквы? — удивился Генка. Он не думал об этом.

Лодка есть лодка. Названия бывают у пароходов. Да и не все ли равно? Лишь бы ходила как следует.

Он так и сказал. Но тут с ним никто не согласился. Даже Шурка, который вообще-то не любил спорить. Он сказал как о самой ясной вещи:

— Что ты! Название, конечно, необходимо.

— Ну ладно. А какое?

Он увидел, как Владик смущенно отвел взгляд. Будто ему стало неловко за Генку. Илька смотрел как-то полубоженно, полувопросительно. Он-то уж не отведет глаза.

Но в чем же дело? Словно всем ясно, только он, Генка, чего-то не понимает.

— Я вчера в школе был, — беззаботным тоном сообщил Шурик. — Там ремонт, дым коромыслом. Все доски из классов в коридор выставлены, стоят рядами. Я мел подбрал и написал на каждой: «Яшка Воробьев». Потом — когда родился и когда утонул. И еще внизу: «Погиб, спасая двух человек...» Если наша историчка увидит, будет великий шум.

Яшка... Ну, так бы и сказали. Генка и сам про это думал, да потом показалось, что не надо. Вроде бы неловко называть человеческим именем небольшую лодку. А по правде говоря, даже не в этом дело. Не хотелось Генке лишнего напоминания о смерти. Он невольно старался меньше думать о таких вещах. Но раз все решили...

— Значит, имя и фамилию писать на бортах? Полностью? — спросил он.

— Можно просто имя, — быстро сказал Илька.

— С фамилией лучше, — возразил Владик. — А то непонятно: какой Яшка?

— Ребята, — озабоченно сказал Шурик. — Что-то не так получается. Я только сейчас подумал. Нехорошо как-то «Яшка». Это же не на улице кричать.

Генка уже вскинулся, чтобы заспорить, но не стал. Кажется, Шурка был прав.

Владик незаметно пожал плечами. Наверно, он не считал, что «Яшка» звучит плохо.

Илька не без ехидства напомнил:

— А сам на досках писал: «Яшка Воробьев».

— Не подумал, — откликнулся Шурик. — Но доски — это пустяк. С них тут же все сотрут.

— А как же писать? — спросил Генка. — Его иначе как Яшка никто и не звал.

В самом деле, не писать же «Яша Воробьев». Какой же он Яша — маленький, остроносый, растрепанный Воробей? Он сам удивился бы до заиканья, если бы услышал, что его так зовут.

— Тогда «Воробей», — с усмешкой сказал Шурик.

— Фрегат «Воробышек», — отозвался Генка.

Все понимали, что это несерьезный разговор. Шутили, хотя шутить не очень хотелось.

— Какой же фрегат? — возразил вдруг Шурик. — Фрегат — это громадина с кучей парусов.

— А пусть. Все равно, — тихо и упрямо сказал Илька. — Маленький фрегат. Жалко, что ли?

— Не жалко... Но уж тогда не «Воробышек».

— «Африка»... — вдруг сказал Илька.

— Что?

— Название такое: «Африка», — повторил Илька и надулся. — А что? Яшка любил все про Африку...

— Да ну... — недовольно начал Генка и замолчал. Почувствовал, что название это единственное и что оно намертво прикипает к лодке.

— «Аф-ри-ка»... — в третий раз сказал Илька. Он будто на ладошке покачивал это слово.

— Ай да Илька! — заметил Шурик.

— Оранжевыми буквами, — предложил Владик. — Давайте, а? Оранжевое на черном будет огнем гореть.

— Нет оранжевой краски...

— У нас дома желтая есть. С красной смешаем. Принести?

«Сейчас Илька увяжется», — почему-то с неудовольствием подумал Генка.

— Я с тобой! — тут же вскочил Илька.

Если бы он пошел не с Владиком, если бы с другим, Генка наверняка бы взъелся: «А кто работать будет?» Но Владик улыбнулся Ильке: «Побежали». И Генка улыбнулся тоже.

Илька оперся ладонью о днище, прыгнул через лодку к Владiku. И прежде чем оторвать руку от шероховатых досок, он незаметно и ласково погладил их.

Илька теперь любил эту лодку, как живую.

Он думал о ней все время. Думал о том, как ветер приподнимет и натянет парус, как желтая вода забормочет у черных бортов, как острый лодочный нос, качнувшись, приподнимется на пологой волне.

Карту со зверями он изрисовал силуэтами лодок и пароходов.

По ночам ему снились реки с заросшими берегами. Мачта цеплялась за сплетение веток, разгоняя оранжевых попугаев. Высокие пароходы осторожно выползали из-за мохнатых от зелени мысов и обрадованно трубили, выбравшись на широкую солнечную воду. Львы неторопливо выходили из джунглей и провожали спокойными взглядами маленький парус.

На мелководье, как громадные цветы, стояли на розовых ногах фламинго...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Смола и краска въелись в Генкины ладони. Руки пахли лодкой. У лодки был запах праздника, солнца и путешествий.

Генка приходил вечером в дом, падал в постель и засыпал, засунув ладони под щеку. Летучие сны, которых он не помнил, тоже пахли краской, смолой и мокрым песком

отмелей. На этих отмелях Генка, Илька и Владик купались после работы.

Просыпался Генка словно от веселого дружеского толчка: вставай, вспомни, сколько всего впереди!

Впереди ждала радость нового дня. Вернее, много радостей. И самой главной была не лодка, не ожидание первого плавания и не свобода летних дней. Главной Генкиной радостью был Владик.

Не сразу Генка понял, что радость редко бывает без тревог. Тревога впервые кольнула его, когда Владик вдруг отложил стамеску, сел на чурбак, отвернул лицо и не ответил на какой-то вопрос. Генка не умел расспрашивать. Он молча драил наждачной бумагой оструганную мачту, а мысли его были о другом: неужели он сам, не заметив, чем-то обидел Владьку?

Он понял вдруг, что без Владьки жить спокойно не сможет. И ни при чем тут прошлый год, и летучие «конверты», которые запускали вместе, и тот проклятый провод на крыше. Если бы Генка встретил Владика сейчас, было бы то же самое.

Так, по крайней мере, казалось.

Владик был нужен Генке. А нужен ли он, Генка, Владiku так же сильно?

Впрочем, тревога была недолгой.

Владик обернулся, и на лице его Генка не увидел никакой обиды.

— К тете Наде ходил вчера, — сказал Владик устало, будто тетя Надя жила километров за сорок. — Не к ней самой, а на чердак... Приборы хотел взять для лодки.

— Ну и как? Все разломано, да?

— Все цело, — тоскливо сказал Владик. — Только я туда больше не пойду. И брать не буду... Я без этого чердака раньше жить не мог. Ну, понимаешь, он для меня самым главным был. А сейчас посмотрел — грязь да паутина. Железки ржавые. Компас — просто склянка с водой. И темно...

— Можно ведь все поправить, вычистить. Или тетка не разрешит?

— Не знаю... Разрешит. Только я не хочу. Там и раньше так было, просто я не видел... А сейчас как-то страшно там даже.

Он отвел взгляд и опустил плечи. Генка снова почувствовал: самый большой Владькин страх — это страх перед новой слепотой. И темные углы помогают страху оживать.

Генка взглянул на ребят. Илья с восторгом мазал красной кистью днище лодки. Шурка же бессовестно бездельничал и давал Ильке руководящие указания. Оба они на разговор не обращали внимания.

Генка решил спросить:

— Владь... А как же тогда? Помнишь, ты говорил про метеорологов?

— Помню, — твердо ответил Владик. — Не хочу. Тогда хотел, а сейчас не хочу. Думаешь, струсил?

Генка пожал плечами. Думать так было бы глупо.

— А чего хочешь? — спросил он.

— Не знаю, — тихо сказал Владик. — Я хочу чего-нибудь очень хотеть. И делать что хочется. Чтобы получалось. Но я не знаю. За что ни возьмусь, ничего не выходит. Даже рисовать не могу, только красками мажу.

— Научишься, — осторожно сказал Генка.

— Может быть... — сказал Владик.

Стояла веселая вихревая погода. В небе на разной высоте и с разной скоростью летели желтые и серые облака. Они лохматились и рвались, обгоняя друг друга. Но их косматое кипенье не закрывало синевы и солнца. Небо в эти дни казалось особенно высоким и звонким, а солнце ловко увертывалось от облачных стай и жарило мальчишкам плечи.

Как всадники, налетали удалые ветры. Гнули у заборов репейники, прижимали лопухи. Иногда вместе с ними, барабана и звеня, проносились короткие озорные дожди.

Солнце во всех краях неба строило и рассыпало горбатые радуги.

Генка рано вышел на крыльцо. Босиком. Доски были теплые и влажные после очередного дождика. Земля еще не высохла.

По двору, высоко поднимая лапы, ходил с кислой мордой полубродячий Яшкин кот Стефан.

— Кис-кис, Степка, иди ко мне, — дружелюбно сказал Генка.

Стефан пренебрежительно дернул кончиком хвоста и ушел в калитку.

— Я знаю, кто сожрал цыпленка, — сказал Генка вслед.

Стефан перешел на трусливую рысь.

Генка обогнул дом и зашагал к навесу.

Перед лодкой на корточках сидел Илья. Кончиками пальцев Илья осторожно проводил по форштевню. Сначала Генка решил, что он проверяет, высохла ли краска. Но сделал еще два осторожных шага и услышал, как Илья говорит:

— Маленький мой... Фрегатик хороший...

Генка нагнулся и шумно захлопал по штанине, будто стряхивая пыль. Краем глаза он заметил, как Илья вскочил, смущенный и готовый огрызнуться.

— Не сохнет? — спросил Генка.

Илья растопырил ладонь со следами белил.

— Зря ты лапаешь! — сердито заметил Генка. — Следы на краске будут.

— Я тихонечко, — сказал Илья и вытер ладонь о живот.

— Что за белила! — начал возмущаться Генка. — Вся краска давно сухая, а они липнут и липнут. Еще не меньше трех дней ждать придется, а то штаны от скамеек не отдерем потом.

— Лопнуть можно, — уныло откликнулся Илья.

— За три дня не лопнешь.

— Шурика жалко. Уедет, так и не поплывет с нами.

— Что ты мелешь?

— Точно. Он вечером мне сказал... Вот он идет! Спроси.
— Уезжаешь, что ли? — хмуро поинтересовался Генка.

Шурик присел на чурбак, подпернул на коленях отутюженные брюки. Он был в новой рубашке и сверхмодных сандалетах цвета кофе с молоком. Довольно скучным голосом Шурик сообщил:

— Совершенно фантастическая история. У отца объявились родственники в Подмосковье. Двоюродный брат и его жена. Пожилая пара, у которой нет детей. Узнали, что имеется у них племянник, то есть я, и пожелали видеть этого племянника в гостях у себя.

— А племянник желает их видеть? — спросил Генка.

— Племяннику выбирать не приходится. После той истории в школе ему объявили, что он не созрел для самостоятельных решений. В тисках держат.

— Да-а... — произнес Генка, не разжимая зубов.

— Переживу, — сказал Шурик. — Будут кормить вареньями. пляж, река... Велосипед с мотором. Бесплатное кино: тетушка — администратор кинотеатра. Лес рядом...

— ...и тоска зеленая, — заключил Генка.

— Есть такая опасность, — согласился Шурик. — Но у меня одно соображение появилось. Они в Дубне живут, и, возможно, мой двоюродный дядя имеет отношение к этой круглой штуке, которая называется синхро-фазотрон. Вот если бы попасть туда...

— Так тебя и пустят, — хмыкнул Илька. — Там атомы разгоняют.

— Не атомы, а частицы... Может быть, не пустят, а может быть, и повезет. Попробовать стоит, по-моему.

— Разваливается наш экипаж, — сказал Генка. — Еще лодку не спустили на воду, а команда разбегается.

Он не то что огорчился Шуркиным отъездом. Скорее чувствовал себя виноватым перед Шуриком: работал человек, парус шил, а плавать не будет.

— Я ведь не на все лето, — объяснил Шурик. — К августу, наверно, вернусь. Как раз когда Владик уедет. Иначе

все равно экипаж наш в лодку не влезет, если с Иваном Сергеевичем.

— Влезли бы... — сказал Генка. Напоминание об отъезде Владика еще сильнее расстроило его.

Илька не то в шутку, не то всерьез надул губы.

— Все уезжают... Я тоже хочу.

— Можешь хотеть, — сказал Генка.

— Захочу — и поеду!

— Валяй.

— В Африку, — прищурясь, сказал Илька.

— Лучше в Бразилию, на Амазонку, — предложил Шурик.

— Хочу в Африку, — дурачась, настаивал Илька.

— «В Африке акулы, — напомнил Генка. — В Африке гориллы... В Африке большие злые крокодилы...»

— В Африке расисты, — серьезно сказал Шурик. — И всякие другие гады. Это вам не крокодилы. С крокодилами еще можно договориться, а как ты договоришься с такими скотами, которые отрезают детям головы и насаживают на штыки?

— Разве с ними надо договариваться? — спросил Генка.

— Все равно. Там и свободные страны есть, — упрямо сказал Илька.

— Есть, — согласился Шурик. — И свободные страны. И рабство. И партизаны. И львы с крокодилами, и пальмы с пирамидами. И много-много туристов.

— Я не к туристам. Я к партизанам сбегу, — пообещал Илька.

— Ой-ой! — сказал Генка.

Илька глянул на него зло и быстро.

— А что скажет мама? — спросил Генка.

— Не дразнись, — вмешался Шурик. — Что за радость довести человека до слез?

— Я не дразнюсь, — серьезно сказал Генка. — Я вспомнил Яшкину мать.

Илька подошел к лодке и поцарапал краску на буквах.

— Не лапай! Сколько раз говорить? — прикрикнул Генка.

— Яшкина мама Владiku свитер отдала, — вдруг сказал Илька. — Для Яшки вязала, да не успела. Владiku в самый раз. Синий с белыми кубиками.

— Владик взял? — спросил Генка и поежился, как от холодка.

— Ага... Сначала я примерил, но он большой для меня.

— Когда это вы успели?

— А вчера. Когда с мыса вернулись. Шли мимо и зашли...

— Зачем вас к мысу носило? — настороженно спросил Генка.

— Лодку размалевывали. Помнишь ту, старую? Глаза нарисовали, пасть. Будто чудовище на берегу. Еще чешую нарисовать бы.

— Забавно, — заметил Шурик.

— Допрыгаются они, — сказал Генка.

— Не допрыгаемся, — сказал Илька. И прыгнул через лодку.

В середине дня, не заслоня солнца, опять прошумел пятиминутный ливень. Последние капли еще бились о стекло, а из Соснового тупика уже летел шум футбольного побоища. Генка отодвинул книгу и лениво прислушался. Идти к футболистам без Владика, без Ильки и Шурика не хотелось. Книжка тоже была так себе. Генка зевнул.

Впервые среди суматохи последних дней выдался свободный час, и вот — скучно.

Капли перестали стучать, и вместо них послышался стук в дверь. Торопливый, нервный какой-то. «Нет, не заскучаешь», — машинально подумал Генка и пошел в коридор.

Он очень удивился, когда увидел на пороге Илькину мать. Вместе с ней пришел Иван Сергеевич, но это было не так странно: он заходил и раньше. А Тамара Васильевна пришла впервые.

— Гена, — встревоженно сказала она, — ребята у тебя?

— Илька? Давно уже ушел. И Владик тоже, — сказал Генка, взглянув на Ивана Сергеевича.

— Куда? — спросил тот.

— Я думал, домой. Обедать. Делать пока нечего, лодка сохнет.

— Ну что за отвратительный мальчишка! — с беспомощной досадой сказала Тамара Васильевна. — Я же ему говорила: в час будь дома. Уже без четверти три. Такой дождь, а он даже без рубашки.

— Рубашка в такой дождь как раз и ни к чему, — заметил Иван Сергеевич. — Интересно другое: где их черти носят? Ты не знаешь, Гена?

— Не знаю, — сдержанно ответил Генка, и стало как-то неуютно от знакомого предчувствия близкой опасности. Потому что он знал. По крайней мере догадывался.

— Может, в кино ушли? — спросил он как можно спокойнее.

— Денег у них нет, — возразила Тамара Васильевна. — Я очень боюсь, что они пошли купаться.

— Не бойтесь, — твердо сказал Генка. — Владик без меня купаться не будет и не даст Ильке.

— Где же они тогда?

— Они срочно нужны? — спросил Генка.

— Честно говоря, не очень, — сказал Иван Сергеевич. — Просто нервы не на месте. Ты ведь знаешь...

— Я могу поискать...

— Если не трудно, Гена, пожалуйста, — заговорила Тамара Васильевна. — И если найдешь, пусть оба ко мне идут. Я Ивану Сергеевичу позвоню на работу.

Прежде чем выйти на улицу, Генка заглянул под навес. В углу среди инструментов и красок он не нашел банки с суриком. Сомнений почти не оставалось: Генка помнил Илькин рассказ про размалеванную лодку.

Он выскочил за калитку и торопливо зашагал к реке.

Снова жарило солнце, и асфальт высыхал на глазах. Прицепившись к уходящему дождевому облаку, таял розовый обломок радуги. Трое малышей-дошколят с лохматым щенком скакали через лужу и верещали от счастья, когда удавалось перепрыгнуть. Щенок сипло тявкал.

Но все это солнце и веселье пролетало мимо Генки почти не замеченным. Он спешил, спешил на берег.

Чтобы опять не перебираться через ручей, он вышел на обрыв левее мыса и, скользя по глинистой тропинке, почти кубарем скатился к воде.

Мыс закрывал от него лодку. Прижимаясь грудью к камням, Генка по выступам и карнизам обошел мыс над самой водой. Прыгнул на песчаный пятачок. Лодка лежала, устрашающе глядя на Генку круглыми нарисованными глазами величиной с тарелку. Красная пасть лодки-чудовища была насмешливо оскалена.

Один борт оказался приподнят и опирался на обрубок бревна. Из-под лодки торчали Илькины ноги, перемазанные глиной и краской. Генка сначала увидел шевелящуюся ногу, а потом услышал, что под лодкой идет негромкий разговор.

От радости, что ничего не случилось, Генка позабыл разозлиться на беглецов. Прыгнул к лодке, кулаком забарабанил по днищу.

— Эй вы, в тереме! Медведя дожидаетесь?

Илькина нога поспешно втянулась, и появилось его лицо. На лице были разводы краски и нерешительная улыбка.

— Ой, Гена...

Рядом с Илькой высунул голову Владик.

— Гена! Мы здесь дождь пережидали.

— Пора перестать, — сказал Генка. — Дождя давно нет.

— Мы здесь сказки рассказывали, — объяснил Илька.

— Сказки будете родителям рассказывать, — мрачнее, заметил Генка. — Они вас по всему городу ищут.

— Ох... — вполголоса сказал Владик и торопливо выбрался из своего укрытия.

За ним Илька. Генка с усмешкой оглядел перемазанных друзей.

— Ну и хороши вы...

— Искупаться бы, — робко предложил Илька.

— Ну уж дудки! Вас и так дома ждут. И все равно вы краску не смоее, только глину. Нахлобучка так и так будет.

— Думаешь, будет? — с беспокойством спросил Илька.

— Про Владьку не знаю, Иван Сергеевич на работу ушел. А тебе-то уж точно будет, — обнадежил Генка.

Илька задумался.

Генка взглянул на них обоих.

— Как вы сумели так извозиться?

Они не ответили. Молчали и смотрели куда-то вверх. Генку слегка обидело и рассердило это загадочное молчание. Он отвернулся и зашагал к тропинке.

Не посмотрел вверх и не заметил на плоском гранитном выступе красную надпись, видную издалека. Там, под звездой с тремя языками огня, были слова:

ЯШКА ВОРОБЬЕВ

1955—1966

...Нахлобучки не было. Тамара Васильевна лишь печально посмотрела на Ильку и сказала:

— Совести у тебя нет ни капельки. — И отвернулась.

Илька засопел.

Владик стоял за ним и переступал босыми ногами. Раскисшие тапочки он бросил в коридоре.

Генка тоже чувствовал себя неловко. Словно виноват был он, а не Илька и Владик.

— Ну, мам... — сипло сказал Илька.

— Не желаю я с тобой разговаривать.

Илька горестно вздохнул и начал оттирать с живота краску.

Тамара Васильевна обернулась:

— Ну, скажи, пожалуйста! Прилично ли ходить по улицам в таком жутком виде?

— Я вымоюсь, — поспешно пообещал Илька.

— Воображаю! Нет уж, ласточка, на этот раз за тебя я сама возьмусь. Здесь нужен бензин и железная терка... Боже мой, Владик! И ты? У вас было соревнование по прыжкам в краску? Или в лужу? Кто победитель?

— Понимаете, Тамара Васильевна, — нерешительно произнес Владик, — такой дождь.

— Понимаю, — сказала Илькина мама. — Дождь из масляной краски и глины. — Она приняла решительный вид. — Оба в ванну. Сию же минуту и без всяких разговоров. Быстро, быстро!

— Ну, ма... — воспротивился Илька и растопырил локти.

— Никаких «ма». Владик...

Владик вздохнул, ухватил Ильку за плечо и легким подзатыльником направил к ванной. Потом, у двери, виновато улыбнулся Генке: «Что поделаешь...»

«Ничего, — глазами ответил Генка. — Терпи, раз влип». И сказал в закрывшуюся дверь:

— До завтра. Я пошел.

Он шагал к дому и думал о непонятном: почему Владик так легко и безропотно подчиняется Илькиной матери? Даже отцу он всегда готов сказать свое резкое «я сам», а при Тамаре Васильевне делается маленьким и послушным...

Эти размышления занимали Генку довольно долго. И потому другие мысли, тревожные и невеселые, пришли к нему позже.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

В шесть часов неожиданно пришел Илька. Отмытый, причесанный, в белых гольфах, в синей куртке без воротника. Совершенно на себя непохожий. Новые сандалеты хрустели, как вафли. На отчищенных от глины и краски

сандалах появились складочки, отутюженные до убийственной остроты. Но сам Илька был настроен сдержанно. Наверно, парадная эта одежда сковывала его прыгучий характер.

— Что скажешь? — спросил Генка.

— Так просто, — сказал Илька. Сел на подоконник, покачал ногой.

Генка вдруг вспомнил, что раньше Илька никак не мог дотянуться ногой до пола, когда сидел здесь. А теперь царапает сандалией половицы. Вырос.

— Хотел узнать, как лодка сохнет, — сказал Илька.

— Сохнет...

Илька дыхнул на стекло и нарисовал рожицу.

— Чего это ты так нарядился? — спросил Генка.

Илька стер рожицу ладошкой, нерешительно посмотрел на Генку:

— В цирк идем.

— А-а... Ты к лодке пока не суйся, а то перемажешься.

— Иван Сергеевич три билета купил, — тихо сказал Илька. — Себе, Владиду... и еще один. Меня зовут.

— Ну и хорошо.

— Может быть, ты пойдешь? — спросил Илька, глядя в пол.

— Я? Зачем?

— Ну, так... Я потом с мамой схожу.

— Меня ведь не звали, — равнодушным голосом произнес Генка и почувствовал, как стремительно уходят от него все радости. — Тебя одного звали.

Илька промолчал. Опять подышал на стекло, но оно, протертое ладонью, уже не запотело.

— Иди, Илька, раз зовут, — повторил Генка. — Ты уже и оделся как следует...

— Подумаешь, оделся...

— Я этот цирк терпеть не могу. Особенно акробатов. Прыгают, прыгают, а что толку?

— Правда? — с облегчением спросил Илька.

— Меня туда и насильно не затащишь. — Генка старательно зевнул.

— Я пойду тогда...

— Пока.

Илька ушел, а он лег на диван и закинул руки за голову. И вот тут-то на него, на лежачего, навалились все горькие, беспокойные мысли.

Не стоило себя обманывать. Все так ясно: Владику очень хорошо вдвоем с Илькой. Без него, без Генки. Это было заметно и раньше, только не хотелось так думать. А сейчас вот хочешь не хочешь, а думается.

Все, что Генка старался забыть, вспомнилось теперь подробно и ярко. Если идут втроем, Генка — чуть в стороне, а Илька — рядышком с Владиком, за рукав цепляется. Если разговаривают, Владик Ильке три слова скажет, Генке — одно. Да разве в словах дело? Они иногда молча разговаривают. Взглянет Илька на Владика, Владик на Ильку, и сразу понимают друг друга. Будто у них тайна какая-то...

Заглянула в комнату бабушка.

— И чего это разлегся на диване-то? Накидушку не убрал.

— Захотел и разлегся, — взвинченно сказал Генка.

— Ну, лежи, лежи, бог с тобой.

— Ну и лежу...

Он отвернулся к стене.

А если разобраться, то что случилось?

Ничего не случилось. Ведь дела идут как раньше. Каждый день прибегает Владик, вместе возятся с лодкой. Все у них по-хорошему.

Не поссорились же они.

Генка резко поднялся на локте. Лезут в голову глупости!

Но рассердиться на себя не удалось. «Глупости» были сильнее и лезли в голову снова. Ведь почему-то не Генку, а Ильку, одного Ильку, позвали Владик с отцом в цирк.

Генка бы и не пошел, но обидно, когда про тебя забывают. И даже не обидно, а просто очень грустно.

Хорошо, что хватило выдержки сказать Ильке спокойно: «Иди, раз зовут». Не крикнул: «Ну и мотайте, без вас проживу!» Не крикнул, пожалел Ильку. А может, не Ильку пожалел? Побоялся настоящей ссоры...

Если бы не Владька, а кто другой, сто раз плюнул бы Генка на такое дело. В конце концов, мало ли хороших ребят? Хотя бы Антон Калинов. Такой не изменит... Да беда в том, что ни Антон и никто Генке Владика не заменит...

Генка задремал. Стала сниться всякая чепуха, а потом он вдруг увидел Владика. Будто выходит Владька на берег прямо из желтой реки, мокрый, волосы на лбу приклеились, а на груди плоский черный автомат. «Илька поплыл на нашей «Африке», — говорит Владик. — К югу поплыл. А там на берегу фашисты засели. Пришлось расчищать дорогу». «Опять Илька», — с досадой подумал Генка. И проснулся.

Ему казалось, что спал он пять минут. Но солнца в окнах уже не было, в комнату проползли вечерние тени. «Десятый час», — подумал Генка. Значит, прошло около двух часов.

Сон ему не помог. Те же мысли крутились в голове, и голова гудела, как от задачи в восемь действий. Вот ведь как по-дурацки устроен человек! Ничего не случилось, а спокойной жизни нет.

И только одним путем Генка мог вернуть эту спокойную жизнь: пойти встретиться с Владиком. Сегодня же, сейчас. Поговорить с ним. О разных вещах поговорить, просто так. Да, но как придешь к людям почти ночью без всякой причины? «А, ладно, — решил Генка, — книжку попрошу какую-нибудь. Скажу, спать не хочется, а читать нечего».

Только неизвестно, вернулся ли Владик из цирка. Представление часа три тянется. Начало в семь. Сейчас без четверти десять. Пожалуй, рано.

Все равно!

Ждать — это слишком тошно. Может быть, представление не такое уж длинное.

Ему повезло: еще издали он увидел в окне Владькиной квартиры свет. Неяркий свет зеленого абажура. Генка взбежал на второй этаж и коротко надавил кнопку, похожую на рыбий глаз.

Дверь открыл Владик. Он не удивился. Сказал:

— Заходи.

— Скучно что-то, — объяснил Генка. — Я ходил-бродил... Смотрю, окошко светится, значит, ты дома. А я думал, что цирк еще не кончился.

— Не пошел я в цирк, — сказал Владик. — Что там хо-рошего? Там фонари жгучие, смотреть больно. Да еще места на самой верхотуре. Папа последние три билета купил. Они с Илькой ушли. Может быть, Тамару Васильевну по дороге уговорили, не знаю.

Генке показалось, что зеленый свет лампы стал праздничным и ярким.

Они сели рядом на узкую Владькину кушетку.

— Завтра еще посохнет — и порядок, — сказал Генка про лодку.

— Скорей бы, — сказал Владик и улыбнулся.

Но слова его и улыбка были скучноватыми. Это снова встревожило Генку.

— Читаешь? — Он кивнул на книгу, которая лежала у лампы.

— Учебник. «Природоведение». Чепуха такая, а надо все равно читать. Перед школой спросят.

Генка вдруг подумал, что даже не знает толком, как у Владьки дела с занятиями. Ему ведь придется сдавать за четвертый класс. Надо было спросить об этом хотя бы сейчас. Но Генка посмотрел на Владика и понял, что он думает совсем не про школу.

Тогда Генка спросил напрямик:

— А правда, почему не пошел в цирк?

Владик поднялся и отошел к столу.

— Письмо хотел написать, — сказал он, не обернув-

шись. — От матери письмо пришло. — Он зашелестел на столе бумагой. — Раньше она папе писала, а в этот раз прислала мне.

Вот оно что!

— А ты? — вырвалось у Генки.

— Не знаю... — почти шепотом сказал Владик.

Генке показалось, что он сдерживает слезы и поэтому боится обернуться.

— Брось ты, — неловко сказал Генка. Подошел и встал рядом.

Но Владик не собирался плакать, лицо его было спокойным, только невеселым.

— Ты бы с отцом поговорил, — посоветовал Генка.

— Нет. Я ему про письмо не скажу. Я ведь знаю, что написать. Только не знаю как. Всего два слова получается: «Не надо, не приезжай».

— Тогда и напиши эти два слова, — сказал Генка.

— Напишу.

Он прикрыл вдруг один глаз ладонью и повернул лицо к абажуру.

— Ты что? — испугался Генка.

— Ты знаешь, Гена, я, кажется, вижу свет. Вторым глазом. Я уже несколько раз замечал. Если на яркий свет смотрю, то не вижу, а если на такой, на зеленый, будто что-то светлеет. Думаешь, вру, да?

— Ничего я не думаю. Надо врачам сказать.

— Я еще проверю сначала.

— А вдруг это нельзя? Может, опасно?

— Я же не здоровый глаз проверяю.

— Владька! — в сердцах сказал Генка. — Ты стал дурной, как Илька. Глаза не бережешь, по обрывам скачешь...

Владик медленно покрутил головой.

— Глаза я очень берегу. А по обрыву мы не скакали. Мы с Илькой надпись на камне делали. «Яшка Воробьев».

— Зачем?

— Так, — сказал Владик. — Просто надпись... Мне

папа рассказывал, что, если рыбаки в море гибнут, их имена выбивают на скалах.

— Это я знаю, — тихо сказал Генка. — А почему меня не позвали?

— Илька хотел, чтобы ты удивился.

— Удивился... — с усмешкой повторил Генка. — Козел.

Владик подпрыгнул и сел на стол, закрыв спиной лампу. Генка почти не видел в тени его лица.

— Знаешь, Гена, с Илькой история получается, — как-то нерешительно начал Владик. — Тамара Васильевна хочет на август в пионерский лагерь ехать работать. У нее отпуск в августе, а она отдыхать дома не будет, там врачом поработает одну смену. Говорит, что все-таки лишние деньги. Ильке на зиму пальто нужно да костюм...

— Ну и что?

— А Илька с ней должен ехать.

— А ты с отцом — к морю, — печально сказал Генка. — А Шурка где-то атомы изучает. Один я на нашем фрегате останусь. Боцман, лоцман и капитан. Подамся в пираты.

Владик помолчал. Потом сообщил:

— Илька в лагерь не хочет.

— Конечно. В лагере-то режим. Не поскачешь.

— Он не скакать, а плавать хочет на «Африке». А Тамара Васильевна боится, что наша посудина ко дну пойдет. Вместе с нами.

— Может, и пойдет, — мрачно согласился Генка.

— Мы с папой посоветовались... Знаешь, Гена, мы его, наверно, с собой возьмем в Одессу.

— Да? — сказал Генка.

— Ты как думаешь?

— Я? А что мне-то думать?

— Ну, насчет этого дела.

Генка усмехнулся:

— Ты будто разрешения у меня спрашиваешь... Что я думаю? Илька от радости лопнет, вот что будет.

В самом деле, Илька одурет от радости, когда узнает. Это ведь не лагерь с дачками у мелководного пруда, а

Одесса. Там ему хорошо будет. И Владке будет хорошо. Им обоим.

Владик предупредил:

— Ты только не говори ему пока. Это еще неточно.

— А чего я буду говорить? Это ваше дело... Я, Владка, пойду. Дома ждут.

— Иди, — вздохнул Владик. — Я письмо писать буду.

Никто Генку дома не ждал. Привыкли, что он часто гуляет допоздна. Каникулы. Разве что бабушка поворчит для порядка.

Генка не пошел домой. Ему захотелось посмотреть, что за надпись сделали Илька и Владик. Он знал, что увидит ее. Вечера и ночи в июне светлые, заря скользит по северному горизонту, не сгорая до конца. Кроме того, там всегда бил прожектор, высвечивая Монахов мыс.

Но когда Генка свернул на Пароходную, навстречу ему двинулся туман. Он по вечерам иногда накатывал с реки и ложился на улицы внезапно и плотно. Свет окон глох и расплзался, а раскаленные нити в лампочках фонарей проступали сквозь толщу тумана красными паутинками.

Генка вышел на берег, думая о непонятной погоде нынешнего лета: смесь ветров, туманов, гроз и жары. Говорят, виновата растущая активность солнца. Может быть...

С берега не было видно ни воды, ни огней. Мощный луч прожектора, видимо, увяз в тумане на полпути. У пристани встревоженно и сиротливо трубили буксиры.

«Как заблудившиеся мамонты», — вспомнил Генка.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Никакие горести и тревоги не омрачали Илькины дни. Радость была упругая и певучая, как тетива у лука. А сам Илька был как стрела на этой тетиве. Иногда радость тол-

кала его тугим ударом, и он мчался куда-нибудь, рассыпая шелканье подошв, пугая кур и прохожих.

— Илька, не пора ли стать серьезнее? — иногда спрашивала мама.

— Зачем?

В самом деле, зачем быть серьезным, когда все вокруг так хорошо! Дожди хорошие, и лодка, которая сохнет под навесом, и солнце, и улицы. И мама. И все люди.

Все люди хорошие, только разные. С ними по-разному надо вести себя. С Владиком можно хоть про что говорить и можно подурачиться. С Генкой надо быть сдержаннее, а то посмотрит, как на маленького, и скажет: «Вот козел». С Иваном Сергеевичем хорошо ходить по улицам, держась за руку. Только временами случается непонятное: когда Илька чувствует на плече его большую ладонь или когда Иван Сергеевич вдруг весело вскидывает его в воздух, Илька смеется, а в горле царапаются слезы. И это очень странно: ведь ничего печального не случилось.

Недавно Иван Сергеевич спас Ильку от большой неприятности. Мама сказала, что в августе поедет работать в лагерь и заберет с собой Ильку.

В августе! Когда самые лучшие ветры, такие нужные для паруса! В те самые дни, когда встанут над крышами пестрые эскадры «конвертов»! Даже сумашедший не сбежит из города в такое время. Правда, Владик уезжает, но это другое дело. Одесса лучше всех ветров и лодок...

Илька пробовал спорить с мамой, но не добился ничего, кроме крепкого нагоняя. Тогда он ушел из дома. Он пошел к Владiku, чтобы рассказать про свое горе. Услышал про Илькину беду Иван Сергеевич, подумал, посмотрел на Владика и сказал:

— Не горюй, Илья. Что-нибудь сообразим.

Илька не представлял, что тут можно сообразить. Но Ивану Сергеевичу он верил и тревожиться перестал.

К тому же до августа было далеко, и о лагере мама больше не вспоминала. Жизнь снова сделалась безоблачной.

Правда, в тот день, когда кончили красить лодку, у Ильки снова чуть не испортилось настроение.

Пришел дядя Володя.

Илька был дома один. Любой человек мог заметить это сразу, но дядя Володя все-таки спросил:

— Ты один?

— Да, — сухо сказал Илька.

— А мама?

Вот дурацкий вопрос!

— Мама на работе.

— Жаль... Очень жаль.

Илька промолчал.

— А когда мама придет, если не секрет?

— Не секрет, — сказал Илька. — В девять вечера. У нее доклад на собрании.

Дядя Володя не отрывал ладонь от дверной ручки. Он то оттягивал дверь на себя, то прикрывал ее. На его лице была большая нерешительность.

— Жаль, — снова повторил он.

Илька приподнял плечи: «Жалейте, это ваше дело».

— Тогда вот что... — Дядя Володя снова потянул дверь на себя. — Ты скажи маме, что вечером я зайду. В половине десятого. Хорошо?

И тогда Илька ответил:

— Не надо.

Он сам испугался своей решительности. Но только на одну секундочку испугался. Он отвернулся к окну и сунул руки в карманы.

Дядя Володя молчал.

Поскрипывала дверь.

— Не надо приходить, — тихо сказал Илька. — Никто не обрадуется.

— Это точно? — так же тихо спросил дядя Володя.

— Да, — произнес Илька и подумал: «Скорей бы он ушел».

Дядя Володя не уходил.

— Послушай, Илюша, — сказал он. — Может быть, ты рассердился из-за фламинго? Зря. Я же убил его не нарочно.

— При чем здесь фламинго? — сказал Илька. — И при чем здесь я?

Дядя Володя покусывал губы.

— Ладно, я пойду... — Он оглядел Ильку от стоптаных сандалет до разлохмаченной макушки. — А я и не замечал, что ты уже настоящий мужчина...

Он осторожно и плотно закрыл за собой дверь. И в Ильке вдруг шевельнулась жалость к этому человеку, который больше не придет и который не хотел убивать фламинго. Илька не стал прогонять эту жалость, но он знал, что все сказал правильно.

А настоящим мужчиной дядя Володя назвал его зря. Если бы он был настоящим мужчиной, то отправился бы путешествовать. И прежде всего заехал бы в Африку или другие места, где разные фашистские гады воюют с народом, и помог бы партизанам.

Иногда в Генкином дворе появлялись Юрик и Валерка. Они приходили тихие, чуть виноватые, останавливались в сторонке и смотрели, как ребята возятся с лодкой. Могли долго-долго стоять и молчать, если с ними никто не заговаривал.

Один раз Генка сказал:

— Чем стоять, помогли бы смолу разогреть.

— Давай, — охотно откликнулся Юрик.

— Только покажи, как ее греют, — сказал Валерка.

В этот день, когда был назначен спуск фрегата на воду, Юрик и Валерка явились с инструментами: с киркой и маленькой лопатой.

— С раскопок? — спросил Владик.

— Ага...

— Не нашли еще клад? — усмехнулся Генка.

— Нет, — серьезно сказал Юрик.

— Подсвечник нашли и кольцо какое-то, — сообщил

Валерка.

— Старинный подсвечник? — очень заинтересовался

Илька. — А какое кольцо? Где они?

— В музей унесли, — сказал Валерка будто о самом обыкновенном деле.

— Там взяли?

— Взяли. Дяденька один. Нас к нему пустили.

— Ну и что?

— Сказал: «Интересно, интересно». Десять раз сказал «интересно».

— Не десять, а три, — строго поправил Юрик.

Это было очень любопытно.

— А что еще сказал? — допытывался Илька.

— Еще спасибо. И чтобы мы одни на берег больше не лазили, а то свалимся.

Илька услышал, как Генка насмешливо хмыкнул:

— И все?

— Еще тетеньке у входа велел, чтобы нас пускали, — сказал Валерка.

— Он вот что говорил, — вспомнил Юрик: — «Этих товарищей пускайте в любое время и без билетов».

Илька вздохнул и про себя решил, что в свободное от плаваний время займется поисками кладов. И Владика попробует уговорить. А может быть, и Генку...

Забегал в перерыве между футбольными битвами Антон Калинов. Пожаловался:

— Жмут нас, братцы. Третий раз продули этим гориллам с Пароходной. У них все — во! — Он поднял над головой ладони.

— Отдышись, — сказал Генка. — Ты дымишься.

Антон обошел вокруг лодки. С уважением произнес:

— Ничего кораблик...

— Еще парус есть, — похвастался Илька.

Антон помялся:

— Когда, если время будет, покатаете?

Кому-нибудь другому Генка, наверно, сказал бы: «Когда мы работали, тебя здесь не видали». Но Антон был хороший человек. И поэтому Илька обрадовался, услышав Генкин ответ:

— Факт, катаем.

— Только когда из плавания вернемся, — добавил Илька.

— А куда собираетесь?

— Да так, вверх по реке. Дня на два, — ответил Генка. — Владь, отец договорился на работе?

— Договорился, отпустят. Послезавтра тронемся.

— Мы тоже послезавтра, — вдруг сказал Валерка. — Только мы на пароходе.

— А куда? — заинтересовался Илька. — Тоже против течения?

— В Верхний бор. Весь папин институт едет, такая прогулка. Только мы на один день, а вечером вернемся.

— Ночью, — сказал Юрик.

— А какой пароход?

— Кажется, «Орехов».

— Эта галоша еще плавает?

— Почему — галоша? — заступился за «Орехов» Антон. — Хорошая посудина. Новые-то теплоходы еле-еле скребут по фарватеру, а этот по любому мелководью шлепает. У него осадка мелкая.

— Мелкая, — ехидно согласился Генка. — Вот он со своей осадкой на каждую мель и въезжает, как на санях. Брюхо удобное. Буксиры каждую неделю его с песка стягивают.

Ильке стало обидно за Валерку и за Юрика. Они же не сами выбирали «Орехов». И у них ведь нет такого фрегата,

как «Африка». Но что сказать, Илька не успел придумать. Снова заговорил Генка:

— Вы там осторожнее на «Орехове». А то правда сядете на мель, и придется вас в воду выгружать, как балки с «Ключевой». Вот будет потеха!

— Гена, а что за «Ключевая»? — спросил Владик.

— Самоходка. Это еще в позапрошлом году было. Ветер поднялся, волна пошла, а «Ключевая» перегружена. Бетонные балки везла. Видно, заливать ее стало; капитан решил к берегу приткнуться, да не рассчитал — на отмель выскочил. Ну и сел. Волна улеглась, а самоходка — ни туда ни сюда. Буксир вызвали, а толку мало. Трос рвется. Целые сутки мучились, а потом уж видят: ждать нельзя. Разлив тогда кончался, вода уходила. Пришлось балки в воду кидать, чтобы осадка уменьшилась. Вот и все. «Ключевая» ушла, а балки так и торчат. Повтыкались в дно, когда падали.

— А где это было? — спросил Антон.

— Недалеко от лагеря «Лебедь». Я как раз там был. Мы на ту отмель купаться убегали. Дно песчаное, течения нет...

— На отмели-то? — не поверил Антон. — На отмелях всегда течение.

— А там нет. Потому что там поворот. Ну, вот смотри... — Он подобрал обрывок газеты. — Сейчас нарисую. Есть карандаш?

Карандаша не было. Маленький Валерка пошарил в кармане.

— Вот что есть. Он пишет.

На его ладони лежал желтый патрончик с тупой свинцовой головкой.

— Смотри-ка, целый, — завистливо сказал Антон. — Где ты взял?

— Один мальчик дал, большой. Он в нашем доме живет.

Пуля оставила на бумаге карандашный след.

— Здесь поворот, — объяснял Генка, — а здесь эта мель. В стороне от течения. Там тихо. Мы там, наверно, первый привал сделаем.

— Если место не занято, — сказал Антон. — Сейчас туристов по берегам знаешь сколько...

— Там их не будет. Туристам рыбалка нужна. К тому же они почти все на моторках. А с мотором туда не пойдешь, и рыбачить нельзя. Туристы на другом берегу сидят... Держи, Валерка, свой патрон. Да осторожней с ним. Не вздумай о железо тюкать или расковыривать...

Было решено, что лодку повезут к реке, когда с работы придет Иван Сергеевич. Ждали, поглядывали на облака, боясь, что утихнет ветер. Если нет ветра, какой интерес? Зачем тогда парус?

Ветер пока держался. Небольшой, но ровный. Шумел в больших тополях.

Лодку уже погрузили на двухколесную тележку, открыли ворота. Все готово.

Они увезут «Африку» к старому мосту, испытают ее и отведут на стоянку к бывшему хозяину. Он согласен. Он хороший дядька и к тому же очень уважает Ивана Сергеевича.

А Ивана Сергеевича все не было.

— Говорил, ровно в пять тридцать, а сейчас уже шесть, наверно, — нетерпеливо сказал Владик. — Сходить, что ли, встретить?

— И я! — взметнулся Илья. — Гена, мы сбегает?

— Мне-то что, — сказал Генка.

Он невесело посмотрел им вслед. Потом взглянул на лодку, на открытые ворота и вдруг вспомнил, как в прошлом году они с Яшкой катили по улице похищенную у голубятников катапульту. Ту самую, из которой потом сбили Владькин белый змей.

От катапульты не найдешь теперь ни одного колесика. Яшка не прибежит и не усядется по-птичьему на шатком столбе забора. Владька, наверно, забыл, как склеивать летучие «конверты», и все чаще убегает, не оглянувшись.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Молодой осинник хорошо упрятал круглую поляну с палаткой. Лишь со стороны реки деревца слегка раздвинулись. В этот просвет было очень удобно присматривать за лодкой.

Палатку соорудили быстро. Утоптали высокие метелки травы, нашли в сухостое несколько жердей, связали каркас, накрыли парусом. Получилось островерхое жилище вроде северной юрты.

— Все влезем, — устало дыша, сказал Илья.

— У папы ноги будут торчать, — заметил Владик.

— Пусть лучше голова торчит, — сказал Иван Сергеевич. — Я буду дежурить, не выходя из палатки.

Илья уцепился за эту мысль:

— Я тоже могу!

— Растяпы пускай помолчат, — посоветовал Иван Сергеевич.

Не зря Ильку назвали растяпой. Конечно, случается, что путешественники забывают дома разные нужные вещи. Особенно если это не очень опытные путешественники. Но кто слышал, чтобы человек оставил все имущество вместе с рюкзаком?

— А вы куда смотрели? — защищался Илья.

— На тебя, что ли, смотреть? — возмутился Генка.

— Я думал, у вас с Геной один рюкзак, — сказал Владик.

— Ну и ну, — сказал Иван Сергеевич.

Разговор этот случился, когда уже садились в лодку. До той минуты про Илькин рюкзак никто не вспомнил.

И сам Илька, привыкнув скакать налегке, тоже о нем не думал.

Иван Сергеевич снова сказал «ну и ну».

Илька улыбнулся слегка виновато.

— Смеешься? — рявкнул Генка. — А ну марш за манатками! Жди вот теперь тебя, оболтуса...

Илька не двинулся. Он сказал даже с удовольствием:

— Мама-то на работе. А дверь-то я захлопнул. А ключ-то я тоже забыл. На столе.

У Генки внутри что-то зарычало.

Владик засмеялся.

Иван Сергеевич третий раз сказал «ну и ну» и посмотрел на Ильку с большим интересом.

— Да ладно! — отмахнулся Илька и примерился, чтобы прыгнуть в лодку. — Не пропаду, не замерзну...

Иван Сергеевич ухватил его за ремень.

— Не замерзнешь, а комары тебя обглодают до косточек.

— Не обглодают. — Илька покрутил поясницей, чтобы освободиться.

— Мы его диметилфталатом натрем до медного блеска, — сказал Владик. — Все комары в округе передохнут.

— А ты взял диметил?

— Вот тебе и на! А разве я, а не ты его должен был взять?

— Гм... — сказал Иван Сергеевич. — Да... Такое вот дело. Илька, дается тебе десять минут и ключ. Минуты для бега, ключ для нашей квартиры. В кухне над краном шкафчик. На нижней полке, слева, большой пузырек с прозрачной жидкостью и коричневой пробкой. Марш!

Илька рванул за пузырьком, а Иван Сергеевич пошел звонить Тамаре Васильевне, чтобы она не падала в обморок, когда обнаружит, что ее любимый сын отправился в поход без рюкзака.

— Зря он Ильку послал, — с беспокойством сказал Генка Владiku. — Этот козел взорвет газовую плиту или устроит наводнение.

— Не успеет, у него времени в обрез...

Илька примчался через восемь минут с ключом в руке и пузатой склянкой в оттопыренном кармане.

На полной скорости влетел в лодку, чуть не пустив ее ко дну, и завопил так, что на том берегу взмыли с колокольни дикие голуби:

— По местам стоять, с якоря сниматься!

— Иван Сергеевич, вдарьте ему по шее, — сказал Генка.

И путешествие началось. Ветер упруго навалился на парус, наклонил «Африку», и она пошла легко и бесшумно, словно удивляясь собственной скорости. Потом это вспоминалось как бесконечное журчание желтой воды, просвеченный солнцем парус на фоне белых облачных груд и синевы и плавные развороты берегов...

Почти все время, пока плыли, Илька сидел на носу лодки необычно тихий и молчаливый. Напрасно Генка опасался, что он полезет к рулю или захочет управлять парусом. Видимо, пока Ильке хватало одной радости — просто плыть и смотреть.

Иногда он оглядывался, и глаза его сияли тихим восторгом...

В конце дня, когда над головами запел первый комар-разведчик, выяснилось, что Илька принес не антикомариную жидкость, а какой-то растворитель. Особый, с непонятным названием.

— Комары от него, конечно, сохнут, — сказал Иван Сергеевич, — но мазаться не советую. И давайте-ка я упрячу бутылку под скамейку. Оставим ее в лодке, подальше от костра. Бензин по сравнению с этой штукой — все равно что газированная водичка перед ямайским ромом сорокалетней выдержки... Ох, Илька, Илька...

— Ох, — согласился Илька.

— Вот и будешь от комаров в палатке прятаться. И дежурить у костра не придется.

— А я ваши сапоги возьму и пиджак. Можно?

— Дудки! — сказал Иван Сергеевич.

...Лодку вывели на отмель и причалили к бетонной балке, из которой торчал рубчатый огрызок арматуры.

Балки эти и в самом деле всюду поднимались из воды, словно позвонки и кости вымерших китов. Несладко пришлось здесь самоходке в ту штормовую ночь.

Пока устраивались, мастерили палатку, пришел наступающий вечер. Правда, не было еще звезд, но солнце крадучись уползло за дальний пологий мыс, а на середине реки засветился алый фонарь бакена. И небо над головой стало ртутно-серым, а листья почти черными.

Это значило, что приходит время костров. На том берегу они зажигались один за другим.

Комары не свирепствовали. Они лишь изредка устраивали бандитские налеты и уносились от яростных Илькиных контраатак.

Повеселевший Илька натаскал кучу дров.

Костер занялся моментально. Выплеснул огонь сквозь хворост и загудел, как самолетный двигатель. И сразу гудение это и свет примагнитили к себе путешественников. Даже Илька снова притих. Встал рядом с Владиком, загляделся на пламя. И, освещенный порывистым огнем, сделался весь оранжевым. У Владика тоже светилось лицо.

И опять Генку кольнула ревнивая мысль: если бы его, Генки, здесь не было, Владик с Илькой все равно стояли бы вот так же вместе и радовались бы огню...

Однако молчали недолго. Илька пошарил в кармане и загадочно сказал:

— У меня что-то есть...

— Ириска «Кис-кис», — хмыкнул Генка.

— Сам ты кис-кис. Патрон от малопульки. Заряженный. Валерка подарил.

— Хорош подарочек, — сказал Иван Сергеевич.

— А что будет, если его в костер бросить?

— Трудно сказать, — ответил Иван Сергеевич. — Но одно будет обязательно: уши тебе мы надерем.

— Тогда я лучше не буду.

— Лучше не надо.

Иван Сергеевич вытащил из рюкзака чайник, потерял в траве крышку, чертыхнулся и наконец выкликнул добровольцев идти за водой. Добровольцем был, конечно, Илька.

— У берега не черпай, — предупредил Иван Сергеевич. — Зайди чуть подальше, там вода чище.

— Зайду.

— Только чайник не утопи. И сам не утопись... А ты не боишься?

Илька смешно захлопал ресницами.

— Чего?

— Ну, все-таки... Место незнакомое. Лес, вечер..

— А в реке чудище какое-нибудь, — лениво сказал Генка. — Подкрадется под водой и за ногу — хап! — И он скрюченными пальцами показал, как чудище хапнет Ильку.

Илька снисходительно вздохнул, как бы говоря: «Ничего умного от тебя не дождешься».

Генка изобразил удивление:

— Смотрите-ка! Не боится чудища.

— Я ничего не боюсь, — сказал Илька не то всерьез, не то назло Генке.

— Совсем ничего?

— Совсем, — спокойно сказал Илька, покачивая большой чайник.

— А волков? — спросил Владик.

— Ха... Волки летом трусливые. Как врежу чайником по морде, сразу смоятся.

— А зимой? — не отступал Владик.

— Зимой? — Илька сделал скучное лицо. — Зимой какая разница? Бойся не бойся, все равно сожрут.

— А пчел ты тоже не боишься? — язвительно спросил Генка.

— Нет, — нахально сказал Илька.

— А мертвецов?

Илька плюнул в костер:

— Самый безобидный народ.

Конечно, это были не его слова. Но как на них возра-
зишь?

— Я знаю, чего он боится! — вдруг обрадовался Ген-
ка. — Уколов!

Илька фыркнул, как уставшая лошадь:

— Вспомнил! Это в прошлом году было!

— В прошлом году не считается, — поддержал его
Иван Сергеевич.

— А ядовитых змей тоже не боишься? — поинтересо-
вался Владик.

Илька подумал:

— Тоже.

— А контрольных по арифметике?.. Акул?.. Темноты?..
Наводнения?..

Илька, освещенный пламенем, стоял, улыбался, под-
давал коленками чайник и покачивал головой. Два ма-
леньких костра бешено плясали у него в глазах.

— А смерти? — спросил Генка.

Самое обидное, что Илька даже не моргнул. Улыбать-
ся не перестал. Еще раз брякнул коленкой по чайнику и
весело сказал:

— Не-е...

— Ну иди, иди, — мрачно предложил Генка. — Повесь
на шею камень и прыгни в воду.

— А зачем?

— Ты же не боишься.

— Дурак я, что ли, зря прыгать?

— А не зря сможешь?

— Надо будет — смогу, — со спокойствием пообещал
Илька.

— А не врешь?

Илька зачем-то перевернул над костром чайник и по-
тряс его. Потом сказал:

— Не вру.

— Ладно, иди за водой. И не забудь про чудище.

Илька неумело засвистел и пошел от костра.

На краю поляны, у осинок, он остановился и вдруг
крикнул:

— Яшка смог, а мы, что ли, хуже?

— Козел! — обрадовался Генка. — Думаешь, Яшка
знал, что погибнет, когда полез малышей вытаскивать?

— Сам козел! Он все равно рисковал!

— Одно дело — рисковать, а другое — когда на верную
смерть! Понял?!

— Без тебя знаю! — яростно крикнул Илька и бегом
бросился сквозь ветки.

Генка, Иван Сергеевич и Владик прислушивались,
пока за деревьями не затихло звяканье чайника. Иван
Сергеевич усмехнулся:

— Расходилось сине море... — И вдруг сказал Генке: —
Знаешь, а все-таки зря ты так...

— Как?

— Зря завел такой разговор. Нечестно как-то. Ты ему
будто подножку ставишь.

— Он, по-моему, сам начал, — насупившись, сказал
Генка.

— Начал-то все равно кто...

— Правда, нехорошо, — сказал Владик. — При таком
разговоре хоть кто захвастается. Если раздразнить.

«Ладно, целуйтесь со своим Илькой», — подумал Ген-
ка. Но зла на Ильку он не чувствовал. И он нашел ответ,
который Ильку защищал, а его, Генку, оправдывал:

— А он не хвастает. Он в самом деле ничего не боит-
ся... Нет, я знаю, чего боится.

— Скажи, — попросил Владик.

— Придет — скажу.

Илька, пыхтя, притащил чайник.

— Привет от морского чудища, — бросил он Генке.

— Знаю, чего боишься, — сказал Генка.

— Чего?

— Боишься, что мать бегать не пустит, если натворишь чего-нибудь.

— Подумаешь! Этого кто хочешь забойтся, — уверенно сказал Илька.

Он, видимо, не ожидал, что все так развеселятся. Посмотрел, как хохочут, и хмуро заметил:

— Лучше бы рогатину сделали. Чайник вешать некуда.

Генка встал и пошел к палатке за топориком.

Когда он вернулся, все опять молчали. Илька с Иваном Сергеевичем колдовали над чайником, сыпали из пачки заварку. А Владик снова стоял у костра и смотрел на пламя.

...Все-таки Генка многого не знал о Владике. Он не догадывался, что пламя костра напоминает что-то Владике. И, конечно, он не понял, почему вдруг Владька с размаху ударил ногой по обгоревшим сучьям.

От удара с хрустом рассыпалась головешка, скорострельно затрещали горящие ветки, а искры взлетели выше Владькиной головы. Владик быстро прикрыл лицо и шагнул назад, прямо в кучу хвороста и мелких кругляков, которые натаскал Илька. Там он вдруг покачнулся, неловко сел и удивленно сказал:

— Ух ты... Вот это фокус.

Владькин отец раньше всех понял, что случилось неладное.

— Глаз? — крикнул он. — Который?

— Да нет, — сердито сказал Владик. — Нога застряла.

— Будь ты неладен... Я думал, глаза обжег. Пляшешь у костра как бес.

— Кажется, доплясался, — откликнулся Владик.

Иван Сергеевич и Генка торопливо раскидали хворост.

Владькина нога застряла в развилке березового обрубка, похожего на большущую рогатку. Генка потянул эту рогатку, мысленно ругая ее на все корки.

— Ой, осторожней ты! — поспешно сказал Владик.

— Я тихо, — ответил Генка и снова потащил обрубок. Так осторожно, словно это была мина со взрывателем. Владькина нога вышла из развилки.

— Встань, — сказал Иван Сергеевич.

Владик шевельнулся и остался сидеть.

— Ну, в чем дело?

— Если б я мог... — виновато сказал Владик.

— Ну вот... Этого еще нам не хватало... Гена, дай фонарь.

Илька опередил Генку и кинулся в палатку за фонарем.

На щиколотке у Владика темнели две короткие ссадины: словно собака хватанула.

Нога выше ступни прямо на глазах заплывала мягкой опухолью.

— Очень больно? — шепотом спросил Илька.

— Даже в затылке отдается, — с кривой улыбкой сказал Владик.

Иван Сергеевич осторожно взял его ступню в ладони. Илька зажмурился. Он знал, что сейчас случится: будет рывок. Владик взметнется от боли. Но потом сразу станет легче, это уж точно.

— Знаешь что, Владик... — начал Иван Сергеевич и вдруг дернул его ногу крепко и резко.

Владик не крикнул. Он только выгнулся дугой, упал на трескучий хворост и закрыл глаза рукой.

— Ну что? — спросил Иван Сергеевич. Спросил растерянно, потому что видел: не удалось его лечение.

Владик молчал, не открывая лица. Генка вдруг подумал, что ни разу не видел, как Владик плачет.

— Больше не дергай, — сказал наконец Владик и начал дышать будто после долгого бега.

Иван Сергеевич посмотрел на Генку и тихо сказал:

— Неужели перелом?

Генка стоял, ужасаясь тому, как в одно мгновение может все измениться и рухнуть. Только что не грозила никакая беда. Было немного грустно, кое-что непонятно и все-таки довольно хорошо. Трещал огонь, булькал чайник, смеялся Ильяка.

И вдруг в один миг... Все кувырком!

Стоял рядом Ильяка, весь напряженный, готовый рвануться за помощью.

Но где ее взять, эту помощь?

— Черт тебя дернул плясать у костра! — проговорил Иван Сергеевич. — Ну, что теперь делать?

Пожалуй, впервые слышал Генка в голосе взрослого мужчины такую растерянность и страх.

Что делать?

Генкина память, как луч локатора, обшаривала извилины реки, здешний берег и дороги. Что есть поблизости? Роши, элеваторы, две деревни. С севера подходит лесной массив; туда уходили из лагеря в поход. Между лагерем и лесом, слева от шоссе, — Решетниково...

— Есть село, — сказал Генка. — Там больница, я помню вывеску. Хорошая больница, кирпичная. Врачей, наверно, можно найти и разбудить.

— Далеко? — резко спросил Иван Сергеевич.

— Отсюда километра два.

— Если быстро, минут за двадцать доберемся. Владика я понесу.

— Я сам, — сказал Владик.

— Помолчи.

— За двадцать минут не дойдем. Тут ведь нет дороги, — объяснил Генка. — А где дорога, я не знаю. Она по берегу идет, километров шесть.

— Пойдем без дороги. Ильяка, гаси костер.

— Ильяке нельзя идти, — вдруг сказал Генка. — Он не пройдет.

— Почему?

— Это же не по асфальту скакать. Такие заросли по пути, овраги. Даже тропинок нет. А в оврагах сам леший ногу сломит. Колючки, кусты, крапива выше пояса. Куда ему? Да еще с голыми ногами.

— Думаешь, не пройду? — прищурившись, спросил Ильяка, и в голосе его ясно прозвучала Владкина интонация.

— Ну пройдешь, — сдержанно ответил Генка. — Только будешь застревать и отставать. А тут любая секунда на счету. — И, взглянув на Ивана Сергеевича, покачал чуть заметно головой: «Он не дойдет».

— Оставлять его тоже нельзя, — нервно возразил Иван Сергеевич.

— А что делать? — Делать было нечего. Генка это знал, когда спрашивал. — Про бандитов здесь не слыхали, — сказал он. — Хищников нет.

— Пожалуйста, — сказал Ильяка тонким обиженным голосом. — Думаете, я не останусь?

Иван Сергеевич взял его за плечи:

— Ильяка... Ты ведь знаешь, если что случится, мне сразу в петлю головой...

— Ну, кто меня съест? Владька, скажи, пусть идут!

— Ты никуда не отойдешь отсюда?

— Куда я денусь?

Из-за реки негромко, но отчетливо донеслась туристская песенка:

Когда мы уходим в поход,
Погода стоит неважная,
И вновь за дождем растаял
Город многоэтажный

— Не тайга ведь... — сказал Генка.

...Этот путь был весь из темноты, запутанной травы и хлещущих веток. В первый овраг Генка ухнул на всем ходу, разодрал на спине куртку и едва успел крикнуть Ивану Сергеевичу:

— Осторожней!

Потом были еще два оврага, но Генка подкрутил стекло фонарика так, что луч стал узким и бил далеко.

Иван Сергеевич нес Владика на руках.

— Ну как? — спрашивал он иногда.

— Так же, — говорил Владик.

Потом Иван Сергеевич спросил Генку:

— Скоро?

У Генки горела расцарапанная щека.

— Не знаю, — сказал он. — Я был здесь два года назад, один раз. И даже не здесь, а чуть в стороне. Мы идем напрямик. Должны увидеть огни.

Он и сам отчаянно торопился. И не только из-за Владика. Из-за Ильки. Едкое ощущение вины выросло тем сильнее, чем дальше они уходили от костра.

Конечно, Илька и в самом деле не прошел бы. Но Генку грызло то, что оставил он Ильку без боязни, с тайной радостью. Хотелось в этом пути быть одному с Владиком и его отцом. Хотелось сделаться единственным Владыкиным спасителем. Как тогда, на крыше. Может быть, после этого Владик поймет, что не стоит забывать таких друзей, как Генка?

Но с каждым шагом, с каждым броском через черные кусты вина перед Илькой скребла Генку все ощутимей, и на помощь ей пришел страх.

Да, волки здесь не водятся, а люди, если и забредут, едва ли обидят мальчишку. Но мало ли случайностей, которых не ждешь?

Их не ждешь, а они караулят.

От удара ветра падает на крышу провод, и смерть рассыпает у твоих ног синие искры.

Скользит по наледи каблук — и человек, падая с обрыва, исчезает среди плавучих льдин...

А у Ильки в кармане патрон. Маленькая такая штучка со свинцовой головкой. Очень годится, чтобы писать как

карандашиком. И совсем не годится, чтобы кидать в костер. Генка-то это знает. А Илька знает?

Редкая желтая цепь огней встала им навстречу из-за бугра.

— Вот село, — сказал Генка, стараясь не дышать, как гончий пес. — Вы дойдете сейчас одни. Я — назад.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Одиночество не пугает сразу. В первые минуты его просто не чувствуешь.

Они ушли, но Ильке все еще казалось, что звучат рядом, повторяются голоса:

«...И никуда не отходи...»

«Если кто подойдет, скажи, что мы рядом...»

«Костер не пали сильно...»

«Мы вернемся скоро...»

«Мы бегом...»

«Иначе все равно нельзя...»

— Да ладно, знаю, — нетерпеливо ответил Илька этим голосам. И только тогда по-настоящему понял, что остался один.

Никаких голосов не было. Даже песня замолкла на том берегу. Огонь потрескивал, листья шептались еле слышно. Вот и все. Эти звуки сливались с тишиной, которая по-комариному звенела в ушах.

Чтобы прогнать этот звон, Илька шумно и старательно вздохнул. Вздох получился ненастоящий, какой-то чужой. Тишина удивленно прислушивалась несколько секунд, а потом снова принялась наигрывать на комариных скрипках.

Лучше бы уж это были настоящие комары! Но они исчезли все до единого. Наверно, решили: пусть Илькино одиночество будет полным.

Илька поежился. Прошелся вокруг костра. Тряхнул плечами, чтобы прогнать навязчивое чувство неуютности.

Это был не страх. Чего бояться? В конце концов, у него в кармане заряженный патрон. Конечно, без винтовки с таким патроном от врагов трудно отбиться, но все-таки это не простой орешек. Да и какие здесь враги?

Илька попытался засвистеть, нахло темноте, и сел поближе к огню. Попробовал лихо, как Генка, переломить о колено сук, но рассадил кожу. Бросил сук в пламя целиком и хотел обернуться, чтобы взять другой, потоньше.

И тут почувствовал, что оборачиваться страшно. Страшно было оторвать глаза от огня и посмотреть в густую темноту за спиной.

Конечно, он обернулся. Безжалостно обругал себя трусом и обернулся. С подчеркнутым спокойствием стал копаться в куче хвороста. Но каждое движение почему-то давалось с трудом, словно Илька сидел по горло в воде и должен был преодолевать ее упругую плотность.

Страх не ушел, когда Илька опять сел лицом к огню. Сразу же стало казаться, что за спиной какая-то опасность. Сначала она была неясной, просто что-то пугающее. А потом Ильке отчетливо представилось, что из кустов бесшумно вышли двое в надвинутых на глаза фуражках и смотрят ему в спину. Он сжался сначала, а затем рывком повернулся навстречу врагам.

Конечно, он не увидел никаких врагов. Но и пустой поляны не увидел. И леса. В глазах плясали разноцветные следы пламени.

Нет, нельзя было этого терпеть! Все лесные страхи ожили. Как громадные темные бабочки, слетались они к Илькиному костру.

Илька поднялся и начал из чайника заливать огонь.

Костер сдался не сразу. Он возмущенно фыркал, плевался кусками пламени, горячими углями. Но наконец огонь, обиженно шипя, уполз под красные головешки и затих. Обжигая ноги, Илька притоптал угли.

За этой работой он о страхе почти забыл. Темнота навалилась со всех сторон, но сейчас она не казалась опас-

ной. Она стала даже доброй. Не грозила ничем, а, наоборот, прятала Ильку. Он как бы слился с ней.

Илька отошел от неярких тлеющих углей. Подобрал оставленную Владиком куртку. Слазил в палатку за своим фонариком. Он не собирался сидеть у погасшего костра. Решил, что уйдет в лодку и там дожидется, когда все вернутся. Услышит шаги и крикнет, чтобы не пугались.

В лодке спокойно, как в своем доме. И нет темноты. Матово светится река, отблеск зари не гаснет на севере. Костры мерцают на том берегу. Слышны иногда голоса. Катера проходят, тепло блестя огоньками...

Илька оставил на берегу сандалии и пошел к лодке. Владькину куртку он повесил на крепкую суковатую палку, а палку положил на плечо.

Вода была теплая-теплая, днем такой не бывает. Светлый круг фонарика падал сквозь воду на песчаное дно. Илька видел, как искрятся песчинки и шныряют у его ног стайки прозрачных мальков.

Лодка закачалась, закивала мачтой, когда Илька подошел и взялся за борт. Тоже соскучилась одна.

Илька оставил горящий фонарик на корме, а сам пошел на нос. Было хорошо сидеть там и смотреть издали на яркий огонек.

Но, кроме фонарика, Илька хотел еще видеть перед собой покинутый берег. Он снова прыгнул в воду и развернул лодку. Она послушно осталась на новом месте: на отмели почти не было течения.

Потом Илька устроил поудобнее фонарик. Там же, на корме, под скамейкой, он заметил склянку со злополучным растворителем. Сказал ей: «Не бойся, этот огонь не опасный».

На реке не было глухой тишины. На правом берегу, за лесом, шипели и тяжело отдувались товарные составы. Прогудела машина. Потом долетел тихий, но отчетливый обрывок разговора:

— Витька, бородатый тип, отдай мою фляжку...

— Не отдам...

Илька обернулся, чтобы посмотреть на дальний берег, где бородатый тип Витька кому-то не отдавал фляжку.

И не увидел костров.

Берега он не увидел тоже. Вместо него небо и воду соединяла серая сумеречная пелена. Потом Илька заметил, как погасло в потускневшей воде отражение яркой звезды, а пунцовый огонь бакена расплылся и начал таять.

Шел туман.

Было непонятно, как он при полном безветрии катится с такой скоростью.

А может быть, туман рождался прямо здесь, у лодки, и лишь казалось, что он идет со стороны?

Прошло каких-то две минуты, и увидел Илька, что вокруг нет ничего. Пространство сжалось и потемнело. Тьма была не черная, а словно уголь, подернутый пеплом. Серая вата. Только фонарик на корме светился тусклым красным кружком.

Илька не встревожился. Было даже интересно, похоже на приключение. Он не отрывал глаз от фонарика. Легко было представить, что это не фонарик, а громадный, но очень далекий прожектор. А Илька — путешественник. Он плывет на свет далекого маяка. Без такого огня в этой мгле дороги не найти.

Илька тихонечко засвистел: «Без огня дороги не найти...» Слова складывались в песенную строчку. Других строчек не было, но он не огорчился. Хватит и одной.

«Без огня дороги...» Илька оборвал свист. При чем тут песня! Ведь в самом деле не найти!

Что же он наделал...

...Он испугался, погасил костер, убежал от палатки.

И не могло быть никакого оправдания. Человек, который так поступает, называется дезертир. Это значит предатель и трус.

«Я же не знал, что будет туман!» — с отчаянием сказал себе Илька. Но сразу понял, что это глупость. И без тумана

на дорога ночью нелегка. Попробуй отыскать палатку, если нет костра!

...А когда они все-таки отыщут, Генка со спокойным и скучноватым лицом будет смотреть мимо Ильки. Он не станет тратить времени даже на презрение. Владик будет жалостливо молчать. Иван Сергеевич скажет: «Илька, я же тебя просил...» И лицо у него делается таким, словно он сам, а не Илька виноват...

Илька тоскливо сжался на скамейке. Можно было даже заплакать, все равно не видел никто и не слышал. Но плакать не хотелось. Слезы помочь не могли, могли помочь только спички, а их Ильке не оставили. Забыли.

Он вскочил и начал шарить в карманах. Может быть, случится чудо и отыщется коробок? Не было чуда. В левом кармане был плоский перочинный ножичек, в правом — патрон.

Теплый патрончик, гладкий, с тупой тяжелой головкой.

Если вынуть пулю, на ладонь скользнет щепотка пороха. И найти бы тогда хоть искорку...

Где ее найдешь?

Лишь фонарик светит сквозь серую пелену. Светит все слабее. Или стал плотней туман, или садится батарейка и бледнеет в лампочке крошечный огонек.

Илька смотрел на фонарик не отрываясь, и в мыслях у него соединялись постепенно две разные вещи: лампочка и патрон.

Лампочка — тонкий стеклянный пузырек...

Раскачивая лодку, Илька бросился на корму. Ему теперь казалось, что времени прошло очень много. Наверно, ребята с Иваном Сергеевичем спешат назад. О том, что Владик может задержаться у врача, Илька просто не думал. Он с самого начала не верил, что Владьке грозит серьезная опасность. Не бывает так, чтобы столько несчастий на одного человека...

Здесь, на корме, глазок фонарика был ярче. Илька увидел при его свете, как течет и колыхнется кисея тумана. Зазубренным ножиком начал Илька скрести и строгать палку, которую принес в лодку. Палка была твердая и гладкая, как из пластмассы, но выдержать злой Илькин напор не могла. На крашеную скамейку сыпались завитые стружки, щепочки, чешуйки коры. Тонкие и сухие.

Зубами Илька расшатал и вытащил пулю. Осторожно высыпал на скамью серые крупинки. Вытянул из-под ремня рубашку и рванул от подола широкую полосу. Он знал, что в тлеющей тряпке огонь живуч и раздуть его будет легко.

Но сначала надо зажечь. Ой, только бы зажечь!..

Он свинтил с фонарика и отбросил рефлектор с линзой. Найдутся потом... Свет лампочки стал рассеянной и слабее.

Щепочки и стружки Илька вплотную придвинул к порогу. Потом выключил фонарик и лампочку прижал к острому краю доски.

Он не видел теперь ничего. Ребром ладони нащупал он гладкий шарик лампочки. Взял ножик за конец лезвия.

И ударил рукояткой!

Ударил не сильно и не слабо, а так, чтобы раскололось стекло, но не смялись проволочки.

Хрустнуло. На ногу упали стеклянные крошки.

Илька встал. Он очень боялся. Так боялся, что стук сердца отдавался в барабанных перепонках. Ведь он не знал главного: сохранился ли контакт? Будет ли вспышка?

Осторожно-осторожно тронул он усиками разбитой лампочки пороховой запал. Глотнул слюну, вздохнул поглубже и нажал кнопку.

Желтый невысокий язык пламени с шипением раскидал стружки. Он тут же погас, но на двух щепочках остались голубые круглые огоньки. Они, как светящиеся жучки, посидели, зацепившись на лучинках, и вдруг выросли, посветлели.

От этого крошечного костра поджег Илька лоскуток и скомкал его, чтобы загнать огонь внутрь. Нитки легкой материи то загорались мгновенными огоньками, то начинали тлеть, и тогда Илька жмурился и кашлял от едкого дыма.

Чтобы огонь привык к своему жилищу, Илька начал дуть на тряпку так, что зашумело в ушах. И поэтому он не сразу услышал другой шум, пришедший со стороны.

...Это было частое и тяжелое дыхание. Наверно, так дышат загнанные слоны.

Но здесь не Африка и слоны ни при чем. А звук вырос. Каждый вздох был громче и отчетливей. Казалось, что вся туманная мгла вздрагивает от этих упругих толчков и расходится кругами.

Илька вытянулся навстречу шуму и замер. С резкой ясностью он вдруг понял, как смешны были прежние страхи: темнота, тени, двое в фуражках... В темноте и при солнце, в тумане и под ясным небом земля остается землей, река — рекой, леса — лесами. Это его земля, его река и лес! Чего же бояться? Страшно другое — когда движется настоящая беда. Такая, как сейчас.

— Куда же тебя несет! — зло и беспомощно сказал он в туман.

Шах-х, шах-х, шах-х — доносилось в ответ. И понял Илька, что очень скоро пробьются сквозь мглу огни и тут же разнесется над водой скрежет, звон лопнувших стекол, скрип накренившейся мачты.

Мысль о том, что пароход пройдет стороной, даже не появилась. Звук надвигался так, что было ясно: судно идет на мель. А мель оцетинилась бетонными зубьями.

«А вдруг это «Орехов»?» — подумал Илька.

В самом деле, ведь сейчас он должен возвращаться...

Балки пробьют пароходу днище. Погаснет свет, замолчит машина. Начнут подниматься с палубы упавшие пассажиры. Кто-то с испугом, кто-то с кровью из носа.

Кто-то со сломанной рукой. А если кто-то не встанет совсем?

Там эти малыши — Валерка и Юрка... Но зачем же тогда погибал Яшка?!

Тлеющий лоскут обжег руку. Илька уронил его и, торопливо нагнувшись, увидел, как искры отразились в стекле маленькой бутылки.

С этой секунды он делал все стремительно и бесстрашно. Он не мог быть дезертиром второй раз. Швырнув на скамейку рубашку, он выплеснул на нее половину едкой, пахнувшей ацетоном жидкости. Потом дунул на лоскуток с огнем.

И бросил.

Он не ждал, что пламя будет таким ярким. Белый огонь взлетел выше головы, и тогда Илька прыгнул за борт, потому что знал: это лишь начало.

Теплая волна воздуха догнала Ильку и толкнула, когда он был шагах в десяти от лодки. Илька обернулся и увидел, как поднялся, вырос и погас ярко-желтый шар. Это взорвались остатки горючей жидкости.

Илька сделал еще несколько шагов к берегу. По инерции. Пальцы левой ноги ударились о что-то твердое. От боли Илька присел. Неизвестно откуда появилось течение. Оно мягко повалило Ильку на бок. Пришлось нырнуть. А когда Илька попытался встать, под ногами не было дна.

Он ничуть не испугался, только удивился. Ведь между лодкой и берегом не было глубины. Откуда она?

И течение...

Фыркая и молотя по воде ладонями, Илька поплыл к земле. Ему казалось, что плывет он долго и быстро, и было непонятно, почему нет ни берега, ни дна. Руки устали. И тут Илька наконец понял, что может сейчас утонуть.

— Ух ты!.. — сказал он вслух. И подумал: «А мама?»

Изо всех сил замахал Илька руками и повернулся к лодке. Там расплывалось пятно неяркого света, лодка го-

рела. Течение Ильку не пускало к ней. Но, отчаянно барахтаясь, он вдруг сообразил, в какую сторону плыть. Со всем не туда, куда плыл раньше. Он спутал направления и хотел найти берег на середине реки. Видимо, чуть заметное движение воды все-таки развернуло на отмели лодку, когда Илька сидел в ней. В тумане он этого не заметил и запутался...

Он выбрался на берег и сел на твердый песок, пробитый редкими шетинками травы.

Болели ушибленные пальцы. Болели ссадины и царапины. Непонятно, где он их заработал. Боль была едкая, как от ожогов. «Будто по углям ползал», — подумалось Ильке. И при этой мысли об углях пришла простая догадка о том, как глупо он себя вел. Стоило ли мудрить с порохом и лампочкой? Ведь на месте костра обязательно остались непогасшие угли.

Но все же хорошо, что так вышло. Иначе как бы зажег Илька сигнальный огонь?

Гудело в ушах, и шума судовых двигателей Илька сейчас не слышал. Может быть, они глохли в тумане, а может быть, пароход ушел далеко или застопорил машину. Но он не наткнулся на мель, это было ясно. Да и как он мог наткнуться? Не зря же горел фрегат «Африка»...

Наверно, пароход принял огонь за береговой костер и дал задний ход...

Илька посмотрел назад. Сквозь туман проглядывали кусты. Черные и ни на что не похожие. Илька отвернулся. Он ничего не боялся сейчас. Вернее, боялся одного: что не сможет раздуть огонь на поляне. Конечно, можно было взять огонь у лодки, но идти к ней Илька не хотел. Не хотел видеть, как она догорает. То, что лодка погибла, он понимал. Он знал, как горит дерево со свежей масляной краской.

Ладно, он найдет угли на поляне... Но и поляну еще надо было искать.

А чтобы искать, надо было встать и идти.

Ой, как не хотелось вставать! Ничего не хотелось — он устал.

Илька поднялся. Майка стала холодной и противно липла к телу, но снимать ее и выкручивать не было сил. Илька побрел у самой воды навстречу течению.

Почему-то сейчас он почти не жалел о погибшем фрегате «Африка». И несколько не боялся, что попадет от Ивана Сергеевича и ребят. Он был уверен, что все сделал как надо. И тревожила только мысль о погасшем костре...

Илька шел почти вслепую. Реки он не видел, а береговые кусты стояли с левой стороны темной массой. И вот в этой тьме зашуршали, захлопали ветки. Кто-то шел напролом.

Кто?

Илька замер и перестал дышать. А шум приближался. Илька неслышно и торопливо стал отступать в реку. Вода была уже почти до колен, когда на берегу запрыгал глазок фонаря и такой знакомый голос, просто родной, сказал:

— Черти бы сожрали эту погоду...

— Ге-на!! — завопил Илька.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

На обратном пути Генка думал об одном: лишь бы скорей! Он понимал, что все равно не сможет выйти прямо к палатке, и мчался, не заботясь о точном направлении. Главное — выскочить к реке, а там уж он доберется берегом до лодки. Он считал, что до реки рукой подать, когда попал в полосу тумана.

Это Генку разозлило: попробуй теперь увидеть лодку! Можно без толку бродить всю ночь.

Кусты оборвались, и впереди встала беспросветная пелена. От великой досады Генка в полный голос высказал этой пелене все, что думал.

И тогда-то он и услышал Илькин крик. Не то радостный, не то слезный.

Илька, мокрый и взъерошенный, вылетел на него из плотной пепельной мглы и вцепился в плечо.

— Гена! Это ты?

— Это моя прабабушка ходит в поисках знакомых привидений, — сердито сообщил Генка, чуть не тая от горячей радости, что Илька жив и цел. — Ты что околачиваешься на берегу?

Илька убрал с его плеча руку и вздохнул.

— Ты почему такой мокрый? — спросил Генка уже с тревогой.

Илька молчал.

— Ну?

Это нетерпеливое «ну» словно встряхнуло Ильку. Вернуло силу и смелость. Генка был рядом. Мир опять стал простым и прочным.

— Купался, — ответил Илька.

— В штанах?

— Ну и что?

— Ничего. Кому как нравится.

— А где Владик?

— Откуда я знаю? Наверно, в больнице.

— Они потом придут, да?

— Придут. Никуда твой Владик не денется.

— Гена... — начал Илька. — Я сжег лодку.

— Что?!

Он осветил Ильке прямо в лицо и понял, что это правда.

— Да! — со слезами сказал Илька. — А что делать, если он прет на мель, а там балки!

— Кто прет?

— Пароход, а не «кто». В тумане. Прямо на меня.

— И ты сделал из лодки маяк? — спросил устало Генка.

Конечно, все одно к одному. Если уж начались несчастья, скоро не отвяжутся. Он не отводил фонарика от

Илькиного лица, а Илька не прятал глаз от света. Глаза были темные и упрямые. Как у Владьки.

— Дубина, — увесисто произнес Генка. — Откуда возьмется пароход? В таком тумане он тут же отдаст якорь и заголосит на всю реку. Думать надо.

Илькины брови задрожали, а рот приоткрылся и сделался похож на аккуратную букву «О». И таким беспомощным стало Илькино лицо, что Генка испугался. Он сказал примирительно и торопливо:

— Ну ладно. Ты точно знаешь, что это был пароход?

— Может, твоя прабабушка? — огрызнулся Илька. Но как-то неуверенно огрызнулся.

Генка выключил фонарик. В темноте удобнее было врать. Он пробормотал, словно для себя, а не для Ильки:

— Значит, это тот сумасшедший танкер...

— Что? — откликнулся Илька.

— Я говорю: танкер. Я его сейчас видел. Мотается от берега к берегу, почти без огней.

— Что ты врешь! — возмутился Илька. — Что ты видел в таком туманище!

— Козел! — сказал Генка с почти настоящей злостью. — Ниже по течению никакого тумана нет. Сбегай проверить, если не веришь.

— Ты же не по берегу шел...

— Я везде шел. Я к реке еще за тем поворотом вышел.

Понял?

Илька тихо спросил:

— Большой танкер?

— Средний... Борта высокие. Видно, порожний...

— Значит, все зря?

— Что — зря?

— Все... Я думал, пассажирский... А танкер, пустой, ткнулся бы в мель, ничего бы не было...

— Ничего, — подтвердил Генка. — Ни танкера, ни тебя. От удара где-нибудь искра проскочила бы — и привет. Знаешь, как взрываются в пустых баках бензиновые пары?

У Генки были спички. На старых углях он развел костер, отдал Ильке свои брюки и куртку, поставил над огнем рогатины с перекладиной.

— Выжимай свои манатки, суши.

Илька был послушный и сонный. Генка пошел к реке: набрать в чайник воды и посмотреть, что осталось от лодки.

Огонь изглодал корму и борта. Мачта перегорела внизу и упала на нос. Нос пострадал меньше. На нем даже уцелела Владькина куртка. Пламя уже погасло, но тлеющее дерево еще светилось пунцовыми угольками и сочилось едким дымом. Генка ударил по обугленному борту. Борт проломился, и шипящие угольки посыпались в воду...

Когда Генка вернулся, Илька, скорчившись, сидел у огня и палкой ворошил горящие ветки.

— Что с лодкой? — спросил он, не подняв головы.

— «С лодкой»... То, что осталось, уже не лодка.

Генка повесил чайник над огнем и сел рядом с Илькой. Плечи накрыл Владькиной курткой.

— Я думал, она сгорела, — сказал Илька.

Генка промолчал. Теперь, когда кончились все другие тревоги, тревога за Владика стала расти и превратилась в самое главное. Было даже непонятно, как он мог хоть на минуту забыть об этом главном.

— Долго их нет, — сказал Генка.

— Долго, — согласился Илька.

Вскипел чайник. Его поставили на траву. Он остыл. Его вскипятили снова.

Ни Генка, ни Илька не знали, сколько времени прошло. Иногда казалось, что близко утро.

И вот от берега донесся голос. Вернее, два голоса: Владькин и его отца. Они кричали озорно и громко:

— Эй, люди! Живы?

— Живы! — взвился Илька.

Генка сказал:

— Сиди.

Он прихватил фонарик и пошел им навстречу.

Они вынырнули из тумана. Владька как маленький сидел у отца на плечах.

— Все в порядке, — сообщил он с высоты. — Вправили, бинтом замотали. Вывих был. А папа еще добавил. Меня сперва не хотели из больницы отпускать, да мы уговорили.

Как хорошо, что он сказал обо всем, не ожидая вопроса.

Иван Сергеевич опустил его на землю.

— Хватит, накатайся, наездник. Ищи себе клюку и ковыляй сам.

— Мне нельзя ковылять, — дурачась, заспорил Владик. — Что фельдшер говорил, а? Только сидеть можно и лежать... Знаешь, Гена, они нас до того поворота на больничном «газике» довели. Хотели прямо в город, а мы сказали, что на лодке доберемся.

— Илька сжег лодку, — сказал Генка.

В свете фонарика он увидел их лица. У Владьки губы вытянулись в трубочку. Иван Сергеевич нахмурился.

— Как это — сжег?

— Вы его не ругайте, — попросил Генка. — Он не нарочно.

— Еще не хватало, чтобы нарочно, — сухо усмехнулся Иван Сергеевич. — Сам-то он цел?

— Цел.

— Где этот герой?

Негромко, но яростно Генка сказал:

— Танкер в тумане шел на мель. Что было делать? Что?

Они помолчали, и он повторил:

— Порожний танкер. Ясно?

— Да, — спокойно сказал Владик.

— Ясно, — сказал Иван Сергеевич. — Значит, танкер.

И они зашагали к костру.

Чайник согрели еще раз. Надо было думать об ужине. Только сейчас вспомнили, что по-настоящему не ели с самого утра.

Илька лениво дожевывал половину бутерброда.

— Ешь, — сказал Иван Сергеевич.

— Не хочу.

— Мало ли что не хочешь. Ешь.

— Я о лодке думаю, — шепотом сказал Илька.

— Да, тогда не до еды, конечно, — согласился Иван Сергеевич.

Видимо, именно сейчас Илька понял наконец, какая случилась непоправимая беда. Фрегат «Африка» погиб. Плаваний не будет.

Не будет просвеченного солнцем тугого паруса, громадных белых облаков над водой, черных протоков с осенними листьями, незнакомых берегов...

— Что же теперь делать? — тихо спросил Илька.

— Спать, — сказал Иван Сергеевич. — Теперь спать.

— А лодка?

— Да ладно с лодкой. Главное, сами целы. Спать. Утро вечера мудреней.

— Пусть отдаст мои штаны, — сказал Генка.

Илька отдал. Переоделся и снова устроился у огня.

— Спать, спать, — повторил Иван Сергеевич и поднял Ильку на руки. Понес к палатке. — Ну, ну, не растопыривай локти. Все равно ты уже почти спишь. И не горюй. Ты сделал все как надо. Что же теперь плакать о лодке...

— Я не плачу, — донеслось уже из палатки.

Туман редел, проглядывали звезды. Повеселел, разгорелся костер, словно стало ему легче дышать. Владик снова стоял над огнем.

— Ты бы отошел, — хмуро сказал Генка.

— Я осторожно.

— Больно было?

— Я привык... Слушай, Гена. Илька ведь непугливый. Ну, чего он так сегодня?

— Туман, — сказал Генка. — Ты еще не знаешь. В такой туман разное бывает. Кто-нибудь чихнет за километр, а кажется, что под носом бомбу взорвали. Наверно, паровоз шумел на той стороне, а звук изменился. Будто рядом.

Владик недоверчиво промолчал.

Иван Сергеевич выбрался из палатки, подошел к огню.

— Ну вот, искатели приключений. Как вам нравится начало? Вспоминать будет что, особенно Ильке.

— Спит? — спросил Владик.

— Спит.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Генка ломал о колено сучья и бросал в огонь. Костер начинал торопливо гудеть и стрелять угольками. Но сухие сучья сгорали быстро, и пламя снова принималось дремать среди алых головешек.

Генке было грустно и спокойно. Гибель лодки его не так уж огорчила. Главное, что Илька не потонул и с Владькиной ногой все в порядке.

Генка посмотрел на Владика. Тот сидел, прикрыв лицо ладонью. Вернее, половину лица.

— Перестань смотреть в огонь, — сказал Иван Сергеевич. — Знаешь ведь, что нельзя.

— Я и не смотрю, — откликнулся Владик.

И Генка увидел, что он действительно не смотрит. Ладонью Владик закрывал здоровый глаз. Но другой, невидящий глаз он не отрывал от костра. Может быть, опять видел свет?

— Папа, — позвал Владик. — А завтра как? Пешком бродяжничать будем? Или домой?

— Завтра и решим, — сказал Иван Сергеевич. Свет костра лишь слегка задевал его лицо, и в каждой морщине лежала резкая тень. Владькин отец казался старым и усталым.

«Наверно, он никогда не простит себе, что послушал меня и оставил Ильку, — подумал Генка. — Из-за страха он это сделал. За Владьку боялся больше всего на свете».

«Но ведь выхода не было», — возразил Генка сам себе.

«Все равно...»

«А если бы наоборот? Если бы не с Владиком, а с Илькой случилось несчастье? Владьку он оставил бы одного?»

И понял Генка, что да, оставил бы...

— Шли бы вы спать, — сказал Иван Сергеевич. — Я посижу.

— Не хочется, — сказал Владик.

— Как там Илька?

Владик поднялся и, прихрамывая, пошел к палатке.

— Нормально, — сказал он, вернувшись.

— А ты? Нога не болит?

— Тоже нормально.

«Все нормально», — с усмешкой подумал Генка. И в этот момент Владик сказал:

— Гена, пойдем побродим.

— Куда это? — насторожился Иван Сергеевич. — На одной-то ноге.

— Да просто так. Здесь, рядом.

— Пойдем, — согласился Генка.

Сквозь осинник они выбрались на берег.

— Илька спит как убитый, — сказал Владик и оглянулся, словно хотел увидеть спящего Ильку.

— Намучился, — сказал Генка.

— Лишь бы он не узнал, что не было никакого танкера...

Туман ушел, и ночь опять просветлела. Это была обычная летняя ночь, серовато-синяя, с бледной полосой зари на севере и редкими звездами в зените. С кострами на том берегу. От костров и от бакена тянулись по реке рубиновые шнуры.

Генка обогнал Владика и повернул к воде. Мохнатые кисточки травы шелестели в ногах. Какие-то шарики на упругих стеблях шелкали по штанинам.

— Не надо, чтобы он знал, — снова сказал Владик.

— Как он узнает? — спросил Генка. — Ведь не пойдет он к диспетчеру узнавать, были танкеры этой ночью или не были.

Они подошли к воде там, где лежала широкая плоская балка. Один конец ее был на песке, другой уходил в воду. Владик сел на балку, обняв колени. Генка постоял и опустился рядом.

Вода отливала потемневшим алюминием, и на ней среди редких бетонных зубьев чернела обгорелая лодка.

«Ох и тошно завтра будет Ильке, — подумал Генка. — Он ведь еще и не видел даже, что наделал».

Владик тоже смотрел на лодку. Она была похожа на большой изглоданный полумесяц, который нарисовали сажей.

— Не починить... — вполголоса сказал Владик.

— Илька на нее просто молился, — сказал Генка.

— Ну, Ильке-то легче всех, — неожиданно возразил Владик.

— Почему?

— Завтра ему папа скажет про поездку. Нет лодки — будет Одесса.

«Значит, хуже всех мне, — подумал Генка. — Один у погорелого корабля».

— Хорошо, что парус остался, — сказал Владик. — А то где бы мы взяли новый...

Что за чушь! Не все ли равно: есть теперь парус или нет?

— Что хорошего?

— Разве новую лодку не сделаем?

— Кто? — горько сказал Генка. — Кто ее сделает? Я один?

— Шурик же вернется... А я, думаешь, ничего не могу, да? Илька тоже... И Валерка с Юриком помогут.

— Не смейся. Такие головастики...

— Помогут. Они способные.

— Нет, — сказал Генка. — Строить ведь трудней, чем ремонтировать. И настроения нет. От маленьких толку мало, Шурка возиться не захочет, вам с Илькой не до лодки — уедете скоро.

— Еще не скоро. Почти через месяц.

— Месяц — это недолго, — упрямо сказал Генка. — Да и что это за месяц? Июль. Пыль да жара... Зря вы, Владыка, в августе уезжать надумали. Ехали бы в июле, а к августу домой.

— Гена... — негромко сказал Владик. — Я не поеду, Гена.

Генка замер: не послышалось ли?

— Что? — шепотом спросил Генка.

— Не поеду, — повторил Владик.

— Почему? — сказал Генка напряженно и быстро. Он сидел чуть позади Владика и видел только его затылок и щеку на фоне реки и неба. Лица не видел. Да и что разберешь в сумерках?

— Не хочу, — отозвался Владик.

— А Илька?

— А что Илька? С папой поедет. Они вдвоем не соскучатся.

«Может быть, из-за Ильки он не едет? — мелькнула мысль. — Может, обиделся, что Илька все время липнет к его отцу?»

— Иван Сергеевич не разрешит тебе остаться, — уверенно сказал Генка.

— Разрешит.

— Он знает?

— Да.

Ох, до чего же все было непонятно!

— Владыка! — отчаянно и жалобно заговорил он. — Что ты мне мозги выкручиваешь? Сначала — «поеду», потом — «не поеду». Сам, что ли, не знаешь, что тебе надо?

— Знаю, — сказал Владик и повернулся к Генке. В глазах его блеснули точки береговых костров. Как насмешливые искорки. Но Владыкины слова были совсем не насмешливы: — Конечно, я сначала хотел... Обидно ведь, столько времени у моря жил и почти не видел его. Думаешь, не обидно?

Это Генка понимал.

— А сейчас? — спросил он.

— Знаешь, как плохо лежать после операции? — сказал Владик. — Лежишь в этой проклятой темноте и ничего еще не знаешь. Повязка на глазах. Я тогда все время про одно думал... Вот приеду домой, снова будет август. Опять змея запустим. Я свой, а ты свой. Вместе. Как в том году... А тут все кувырком пошло из-за этой Одессы. Ну, не совсем кувырком: сначала казалось, что хорошо, а потом... Опять получается: ты здесь, а я там... — И он сказал, словно ставя точку: — Я так не хочу.

Генка закрыл глаза и увидел то, что хотел увидеть: неустойчивый ход облаков и кипение ветра в тополях. От таких ветров певуче и туго начинают гудеть нити «конвертов».

Нарастающими толчками поднималась в Генке радость. Он никогда не думал, что радость можно чувствовать так же, как боль, как тепло, как ветер.

Генка рывком поднялся и шагнул к воде. Она тихо качнулась навстречу, замочила кеды. Генка зачем-то тронул воду ладонью.

— Теплая...

Он боялся, что начнет говорить сейчас суетливо и много, как говорят чересчур обрадованные люди.

Но молчать тоже было нельзя.

— А жить где будешь, пока они ездят? У тетки? Давай лучше у меня. У нас места много, отец уехал.

— Да нет... — сказал Владик. — Я, наверно, у тети Тамары буду.

— У кого? — удивленно переспросил Генка.

— Ну... у Илькиной мамы.

И, растерявшись от неожиданной догадки, Генка сначала спросил, а потом испугался своего любопытства:

— Слушай, а они поженятся, да? Твой отец и... тетя Тамара...

Владик помолчал, а Генка в эти секунды отчаянно сожалел, что сунулся с таким вопросом.

— Ну... я не знаю, — ответил наконец Владик. — То есть наверно... Да.

Генка снова сел рядом. Совсем рядом. Надо было что-то сказать Владике.

— Она хорошая. Только строгая, — заметил Генка.

— Тетя Тамара? — изумленно сказал Владик. — Да что ты. Она совсем добрая. Илька уж ни капельки не слушается, от рук отбился, козел несчастный.

Они оба засмеялись.

Илька был товарищ. Товарищ, вот и все. Генка иногда покрикивал на него по привычке, но давно уже не думал о нем как о маленьком. А Владик говорил сейчас про Ильку как про младшего братишку. И такой разговор очень многое делал понятным.

— Слушай, Владь... Значит, он будет у тебя как брат?

— Илька? Да... Значит, будет. Брат... Смешно, верно?

Все еще улыбаясь, Генка сказал:

— Ну вот. Вы с отцом ему гайки подвинтите.

— Большим гаечным ключом, — серьезным голосом подтвердил Владик.

И они засмеялись снова. Не из-за этой нехитрой шутки, а просто потому, что есть на свете отчаянный горный козленок Илька, славный товарищ и братишка.

— Хлебнул он сегодня горя, — сказал Генка.

— Я все-таки боюсь, — опять забеспокоился Владик. — Вдруг он догадается, что не было танкера?

— Но как? Как он догадается? Это же нельзя проверить! А мы не скажем никогда.

— Совсем никогда?

— Конечно.

— По-моему, потом можно, — возразил Владик. — Со всем потом. Когда он вырастет.

— Тогда можно, — согласился Генка.

Негромко протарахтел, поиграл огнями катер на середине темной воды. И ушел, мигая, к повороту. А когда о нем уже забыли, к берегу подкралась волна, вздыбилась у бетонной балки и с размаху окатила Владика и Генку.

Они не обиделись на волну. Они понимали, что это шутка.

Будут еще не такие волны. Громовые и тяжелые. Те, от которых трещит обшивка кораблей.

Ладно. Пусть будут...

1964—1966 гг.

ОРУЖЕНОСЕЦ

КАШКА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Серафиме приснился дятел. Он сидел на сухом стволе сосны и целился носом в какую-то букашку. Потом он быстро откинулся назад, стукнул клювом по коре и снисходительно посмотрел на Серафиму черным блестящим зрачком. Серафима удивилась и открыла глаза.

Дятла, конечно, не было. Был некрашенный потолок с круглыми пятнами сучков, лампочка в самодельном абажуре и пестрый табель-календарь, пришпиленный над кроватью к стене из тесаных бревен.

А еще была стрела.

Она торчала над календарем, и белое хвостовое перо ее хищно дрожало.

«Так, — подумала Серафима. — Кажется, кто-то совершил покушение на мою жизнь. Только этого мне и не хватало».

Она с беспокойством взглянула на затянутое марлей окно. В марле ярко голубела круглая дырка. Серафиме захотелось поглубже забраться под одеяло.

— Нет, стоп, — сказала она себе. — Главное — не поддаваться панике.

Серафима была рассудительным человеком. Она прогнала страх и стала вспоминать, кому причинила зло и кто мог желать ей такой ужасной гибели.

Никому она не причиняла зла! Честное слово! Правда, вчера во время ужина она прогнала из столовой Мишку Зыкова, но он даже не обиделся. Он понимал, что сам виноват: ведь никто не заставлял его опускаться в компот нытику Генке Молоканову живого зеленого лягушонка...

«Не было покушения, — решила Серафима. — Стрела случайно влетела в окно, и теперь, наверно, ее хозяин прячется в кустах и с тревогой думает: узнают или не узнают? Попадет или не попадет?»

Она вскочила с кровати, натянула сарафан и шагнула на крыльцо.

В двух метрах от крыльца росла прямая береза. В стволе березы высоко, так что не дотянешься, торчали две стрелы. Одна — толстая и короткая, с черным вороньим пером, другая — длинная, без перьев, с зелеными полосками у наконечника.

— Не нравится мне это, — задумчиво сказала Серафима и огляделась.

Горнисты еще не сыграли побудку, и над лагерем висела сонная тишина. А солнце стояло уже высоко. Жестяные наконечники стрел, глубоко вонзившиеся в березу, горели серебряными точками.

Еще одна стрела взмыла над кустами черемухи, описала пологую дугу и ушла за дальние сосны. Она была ярко-алая, с белыми перьями у хвоста. В зарослях черемухи затрещали ветки и послышались тихие напряженные голоса.

— Батюшки, — прошептала Серафима. — Волна...

Коротким словом «волна» в лагере называли массовые увлечения. Что такое массовое увлечение, каждому понятно. Допустим, один человек нашел на дороге обрезок жести и сделал из него свисток. Ходит и свистит. Другой человек услышал и думает: «У него есть свисток. А у меня нет свистка. Разве это жизнь?» Идет он тоже искать кусок жести. Режет ее, гнет и в конце концов гордо подбрасывает на ладони великолепную свистелку собственной конструкции. Потом подносит ее к губам и надувает щеки...

Когда у двух человек есть свистки, а у других нет, это большая несправедливость. И вот уже всюду стучат по металлу молотки и кирпичные обломки, сгибая в трубки

жестяные полоски. Воздух наполняется режущим свистом, и тишина рвется в мелкие клочки.

Это значит, что на лагерь накатила свистковая «волна».

Вообще волны бывают разные: вредные и полезные, опасные и безобидные.

В начале первой смены прокатилась «шляпная» волна: мальчишки и девчонки мастерили из лопухов широкополые мексиканские шляпы, украшали их подвесками из сосновых шишек и пышным оперением из листьев папоротника. Ходить без такой шляпы считалось просто неприличным. Однако лопухи увядали быстро, а росли медленно, и волна утихла, когда в окрестностях лагеря был найден и вырван с корнем последний лопух.

Через неделю прошумела другая волна — «разбойничья». Несмотря на грозное название, она была очень спокойная. Все мирно сидели под деревьями и мастерили маленьких разбойников. Туловища лепили из глины, головы делали из шишек и репейника, руки и ноги — из веток, а усы — из сухих сосновых иголок. Потом эти разбойники стояли всюду: на подоконниках, на перилах, на спинках кроватей и даже на умывальниках. Наконец их собрали в пионерскую комнату и устроили выставку.

После «разбойничьей» волны прокатилась волна «ужасов». Всем захотелось наряжаться привидениями и кого-нибудь пугать. Мальчишки после отбоя малевали на голых животах страшные рожи, приматывали к голове деревянные рога и бесшумными скачками подкрадывались к девчоночьим дачам. Но девчонки не спали. Вымазав мелом лица и завернувшись в простыни, они со зловещим подвыванием бродили вокруг дач. В общем, привидений развелось видимо-невидимо, а пугать было некого.

Потом прошумело еще несколько волн, и самая грозная из них называлась «ракетная».

Ракеты с ядовитым шипением взмывали над полянами и, куврыкаясь, падали в кусты. Иногда они сгорали прямо

на стартовой площадке. А ракета с гордым именем «Сириус-5» вышибла кухонное окно и утонула в котле с рассольником. Среди вожатых началась паника. Но эта волна угасла сама собой из-за недостатка реактивного горючего.

И вот — стрелы...

— Это, как я понимаю, не ракеты, — озабоченно сказал завхоз Семен Васильевич. — Горючего для них не требуется. А материалу сколько хочешь. Рядом с кухней сосновые чурки лежат. Сухие, будто порох. И прямослойные. Я их для лучины припас, для растопки. Было восемь чурок, а теперь, значит, пять. Куда три пропали? Вон они в воздухе летают с перьями на хвостах. Вот так.

Все дружно вздохнули и повернулись к окну. За окном была усыпанная песком площадка, а на площадке — столб с репродуктором. В столбе, не очень высоко от земли, торчала стрела с огненным петушиным пером. Появился лохматый исцарапанный мальчишка в зеленых трусиках. Подошел к столбу. Поправил на плече маленький, сильно изогнутый лук. Поднял голову, подумал и лениво подпрыгнул, чтобы достать стрелу. Не достал. Почесал о плечо подбородок, снова поправил свой лук и неторопливо удалился.

— Вот-вот... — мрачно произнес Семен Васильевич. — Про это я и говорю. Видали? Ему, тунядцу несчастному, даже прыгнуть лень как следует. Потому что стрел у него и без этой хватает. Три сосновые чурки на стрелы пустили! Изверги...

— Три чурки, три чурки, три чурки... — басовито пропел вожатый первого отряда Сергей Привалов.

— Нет ничего смешного, Сергей Петрович, — строго и обиженно сказала старшая вожатая Светлана. — Здесь не опера, а педагогический совет лагеря. Дети могут получить увечья и травмы...

— Виноват, Светлана Николаевна, — откликнулся из

угла Сергей. — Больше не буду. Хотя должен заметить, что увечья и травмы — это одно и то же.

— Товарищи, — укоризненно сказала директор лагеря Ольга Ивановна. — Света, Сережа, не надо. Вопрос-то серьезный. Продолжайте, Семен Васильевич.

— А чего продолжать. Кончать надо. Наконечники на всех стрелах, обратите внимание, железные, из жести. В виде конуса. Из консервных банок делаются. Где они банки берут, ума не приложу. А насчет дерева все ясно. Трех чурок нет? Нет. А из каждой не меньше сотни стрел должно получиться. А то и две. А еще обрезки досок на это пошли...

Он вздохнул, шумно поворочался на стуле и затих.

— Ольга Ивановна, у меня предложение. — Худая девушка в очках подняла руку. — Надо издать приказ, что стрелять из луков запрещается, а виновным грозит исключение. В своем отряде я уже объявила. Устно.

— Помогло? — печально спросила Ольга Ивановна.

— Ну... это ведь устно. А если приказ с вашей подписью повесить на доску объявлений...

— Не знаю, кто как, а я к этой доске и на сто шагов не подойду, — заявила Светлана. — Ее превратили в щит для мишеней. Там уже висит, между прочим, один приказ — с выговором за самовольное купание. Кажется, Юрию Земцову. В этом приказе торчат четыре стрелы. Их не убирают. По-моему, нарочно... Я не понимаю, Сергей, что тут смешного!

— Я серьезен, как надгробие.

— Надгробие скоро понадобится мне. От такой жизни. Я поймала Игоря Каткова (кстати, он из твоего отряда) и говорю: «Вы другого занятия не могли найти? Вы без глаз останетесь». А он хоть бы хны!

— Да? А что он сказал? — с интересом спросил Сергей.

— Что, что... Он известный хулиган и болтун. Сам знаешь.

— Все-таки, что ответил хулиган и болтун Катков?

— Как всегда, сказал глупость: «Купаться нам нельзя — говорят, утонете. Загорать нельзя — перегреетесь, в лес нельзя — заблудитесь, на карусель нельзя — закружитесь, стрелять тоже нельзя... А дышать можно?..» Нахал! Сам из речки по два часа не вылезит!.. Ну, Ольга Ивановна, Сергей опять смеется!

— В самом деле, Сережа... — Ольга Ивановна покачала головой. У нее было полное, совершенно нестрогое лицо и растерянные глаза. — Нехорошо, Сережа. Это ведь в твоём отряде больше всего стрелков. Даже девочки...

— Девять ребят и четыре девчонки. И еще пятеро делают луки, — уточнил Сергей.

— Блестящие показатели, — язвительно заметила Светлана. — Не отряд, а Золотая Орда. Твои методы работы. Вот у Серафимы, например, почему-то ни одного стрелка нет. А?

— Ну, они еще малышки, — ласково сказала Серафима. — Еще не научились. Научатся...

— Ты всегда заступаешься за Привалова!

Сергей встал.

— Дело ясное, — сказал он. — Волна есть волна. Стихия. Отбирать луки бесполезно. Сжигать стрелы — тоже. Стихию не остановить. Выход один: направить ее в безопасное русло.

— Сереженька, родной, направь! — с надеждой воскликнула Ольга Ивановна. — Я тебя потом за это на два дня в город отпущу!

— Нужно двадцать палаток, — сказал Сергей.

— Будут палатки! Одиннадцать есть, остальные в «Веселых искорках» попросим. А еще что нужно?

— Лист ватманской бумаги.

— И все?!

— И еще всю полноту власти.

В семь часов вечера на двери столовой появился лист с большими красными буквами:

ВЕЛИКИЙ и НЕПОБЕДИМЫЙ Рыцарский орден стрелков из лука

ОБЪЯВЛЯЕТ:

§ 1

Для безопасности населения все стрелковые тренировки переносятся в большой овраг.

§ 2

Назначается всеобщее стрелковое соревнование. Победители будут участвовать в грандиозном *рыцарском турнире*.

§ 3

Всякий, кто осмелится выпустить стрелу на территории лагеря, будет объявлен вне закона, лишен оружия и немедленно изгнан из славных рядов ордена.

§ 4

Запись

в

ВЕЛИКИЙ и НЕПОБЕДИМЫЙ РЫЦАРСКИЙ ОРДЕН

производится в пионерской комнате.

Примечание: турнир будет через два дня.

Лист был пригвожден к двери черной тяжелой стрелой.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Работорговец ты, Новоселов, — сказал Сергей.

— Я?!

— Именно ты. Самый настоящий.

— Ладно. Спасибо.

Волдя пнул попавшуюся под ноги шишку, отошел в сторону, сел под сосной и стал думать о несправедливости.

Вроде бы он не хуже других. За эти два дня все убедились, что стреляет он как надо. Ну ладно, этим хвастаться нечего: каждый стреляет как может. Но ведь он не только стрелы пускал, он и мишени малевал для соревнований, и оленя из фанеры помогал выпиливать, дистанции размечал в овраге. Никаких спасибо ему за это не надо, но оруженосца-то могли бы дать получше!

Это Сережа придумал, что у каждого участника турнира должен быть оруженосец. Для малышей из шестого отряда такое дело — самое подходящее. Стрелки из них никудышные, им и лук-то не натянуть как следует, а за улетевшими стрелами бегать они могут. И вообще, мало ли какая помощь потребуется во время турнира. Сразу и не угадаешь. А оруженосец всегда под рукой. Скажешь, и он сделает что нужно. И еще было решено, что, если стрелок победит в турнире, его оруженосец тоже считается победителем: славу и приз пополам.

В общем, здорово было придумано, и Володя ни за что не отказался бы от оруженосца, если бы дали ему кого-нибудь другого. Например, Мишку Зыкова — известного на весь лагерь семилетнего забияку с бесстрашными глазами. Или вон того худого малыша с незаживающими ссадинами на коленках и удивительным прозвищем Обезьяний Царь. Или, наконец, Сашку Макурина. Он хотя и увальень, но парень с головой, деловитый и не нытик.

Но достался Володе совсем другой оруженосец. Володя даже его фамилии точно не знал. Голубков или Голубев. Или Голубкин. Аркашка.

Полное имя для Аркашки оказалось, наверно, слишком длинным. Звали его просто Кашка. Он и в самом деле был как незаметная полевая кашка в траве — пройдешь и не увидишь. Может быть, в своем отряде, среди малышей, он и был чем-нибудь известен, кто знает. Но Володя на него никогда не обращал внимания. Потому что посмотришь — и взгляду не за что зацепиться: выгоревшие волосы, стоптанные сандалеты, серенькие штаны на лямках да

голубая выцветшая майка. Вот и весь Кашка. Хоть бы какой-нибудь значок на майку прицепил, или бы синяк заработал, или царапину какую-нибудь, чтобы знак отличия был. Да где уж ему!

По деревьям он не лазил, на речку не сбегал, в драки не лез, в лагерных концертах не участвовал. На линейках его не хвалили и не ругали, потому что ничего с ним не случилось. Это ведь не Зыков и не Обезьяний Царь. И не Светка Матюшова, которая однажды заманила в лагерь деревенского козла и натравила его на мальчишек из третьего отряда...

Как только Володя увидел, какого оруженосца ему подсунили, он чуть не застонал. Побежал к Сергею и в упор спросил:

— Больше никого дать не могли? Да?

— А чем тебе Кашка не нравится?

— Боже мой! — с отчаянием сказал Володя. — А чем он может нравиться? Инфузория какая-то.

— Ну, не валяй дурака. Обыкновенный он мальчишка.

Они стояли у фанерного домика, где была пионерская комната. Озабоченные важными делами, пробегали мимо ребята с охапками бумажных флажков, с фанерными щитами для мишеней и банками красок. Несколько человек остановились, чтобы посочувствовать Володе.

А Кашка сидел шагах в двадцати на лавочке. Сидел прямо и неподвижно, как в кино. Смотрел издали на Сергея и Володю. Разговора он, кажется, не слышал, но о чем-то догадывался.

— Беспомощный он, как кролик, — тихо сказал Володя. Сергей взял его за плечи.

— Вовка, ты пойми. Никто же их не назначал, этих оруженосцев. Все ребята сами выбирали и сами договаривались. Ну, кто виноват, что тебя тогда не было?

Володя обмяк. Когда Сережа разговаривал вот так просто и доверительно, спорить с ним было невозможно.

И все-таки Володя высвободил плечи. Он сказал со сдержанной обидой:

— Я, между прочим, не гулял. Я мишени собирал в овраге. Все стрелять кончили и разбежались кто куда. А мишени нужны еще... А оруженосца мне вообще тогда не надо. Я не барин.

— Тебе-то, может быть, не надо... Но куда ты его денешь? Думаешь, ему не обидно?

Володя вздохнул.

— Ну, пойми. Ведь я же не нянька, — сказал он проникновенно. — Мне же стрелять надо будет, а не нос ему вытирать.

— Ну и будешь стрелять. Не стони раньше времени. — Сережа досадливо отмахнулся и нырнул в пионерскую комнату.

— Юрка! — Володя с надеждой повернулся к Юрику Земцову. — Слушай, Юрка, давай меняться, а? У тебя ведь Мишка Зыков. Давай, ты мне Мишку, а я тебе десять наконечников и Кашку.

Юрик обалдело глянул на Володю.

— Мишку?..

— Пятнадцать наконечников, — безнадежным тоном сказал Володя. — Все из желтой жести. Как золотые. Я их для турнира берег. Ну, семнадцать... А?

Вот тогда-то Сережа и сказал, не выходя из пионерской комнаты:

— Работорговец! Человека меняет на какие-то наконечники! Догадался...

Сейчас рыцари на земле повывелись. Но в далекие времена, когда на высоких горах стояли каменные замки, когда в темных дубравах водились буйные разбойники, а ученые-астрономы носили остроконечные колпаки с серебряными звездами, рыцарей было видимо-невидимо. Громяхая латами, как пустыми умывальниками, они съезжались в чистом поле, раскидывали шатры и устраивали турниры.

В лагере «Синие Камни» шатров не нашлось, но двухместные палатки Сережа достал. Их поставили на широкой поляне, окруженной частым березняком и зарослями шиповника. Девятнадцать палаток образовали большой круг, а двадцатая — командорская — стояла в середине. Получился настоящий рыцарский табор с мочальными хвостами и пестрыми флажками на деревянных пиках у палаток, с разноцветными гербами на фанерных щитах, с синим стягом над главной палаткой. На стяге был похожий на полумесяц лук и красная стрела.

Двое суток должны жить в палатках те, кто победил в прошедших соревнованиях, — девятнадцать участников заключительного турнира. И их оруженосцы. Сорок воинов, сменяясь ежечасно, будут ночью охранять их покой и сон...

Володя шагал к палаткам. Двое часовых сурово глянули на него сквозь прорези картонных шлемов и скрестили копыя.

— Пароль?

— Идите вы с паролем, — уныло сказал Володя. Развел копыя в стороны и, не оглядываясь, пошел дальше. Часовые посмотрели друг на друга, вздохнули и остались на месте.

Свою палатку Володя увидел сразу. Кто-то уже позаботился о нем. На тонком длинном древке рядом с палаткой был укреплен бумажный флажок с Володиным гербом: желтое яблоко, пробитое навывлет фиолетовой стрелой.

Но и без флажка Володя не ошибся бы. Потому что у входа сидел на корточках Кашка.

Он увидел своего командира и торопливо встал. Будто испугался чего-то. А может быть, и правда испугался. Стоял, неловко шевеля руками, и вопросительно смотрел на Володю.

«И чего смотрит, будто кролик на удава?» — подумал Володя. И почувствовал, как закипает досада.

В серых Кашкиных глазах было ожидание. Он готов

был и улыбнуться, и робко съежиться — все зависело от того, что скажет Володя.

Володя все-таки сдержал раздражение. Надо было думать и о справедливости. Ведь этот несчастный Кашка, в конце концов, ни в чем не виноват.

Кашка ждал. Нужно было хоть что-то сказать ему.

— Ты почему не в столовой? — сказал Володя. И Кашка улыбнулся.

Улыбка была немножко виноватая и смешная, потому что у оруженосца не оказалось переднего зуба.

— Наш отряд уже пообедал, — объяснил Кашка. — Мы сегодня раньше всех...

— Значит, спать пора, наверно, — сказал Володя. — Мертвый час.

— Весь лагерь не спит, — осторожно заметил Кашка. Он, видимо, не знал, как принимать Володины слова. Как приказание или просто так?

Володя нырнул в палатку. Оруженосец полез следом.

Внутри все уже было готово: лежали два соломенных тюфяка под одеялами, две подушки. В карман, пришитый к парусиновой стенке, кто-то воткнул ветку шиповника с розовыми цветами.

— Это ты постарался? — с сомнением спросил Володя.

Кашка смущенно заморгал.

— Не я... Девочки приходили, большие. Мне сказали, чтобы я не мешался, а сами все сделали.

— Надо же... — озадаченно произнес Володя.

— Одну зовут Райка, — уточнил Кашка. Он как вполз в палатку, так и стоял на четвереньках, выжидательно глядя на Володю.

Володя сел на тюфяк. Делать было абсолютно нечего. Полагалось после обеда спать, но спать, когда никто не заставляет, мог только ненормальный. Как обращаться со своим оруженосцем и что вообще с ним делать, Володя тоже не знал. И от этого чувствовал себя при Кашке неловко и скованно.

— Где твои вещи? — спросил он.

— Вещи?

— Ну, полотенце, зубная щетка, мыло. Мы два дня будем жить здесь. Знаешь ведь...

— Я забыл, — обеспокоился Кашка. — Можно, я сбегаю за ними? Я быстро сбегаю.

«Можешь не торопиться», — подумал Володя. Но промолчал и кивнул.

Одному было хорошо. Володя вытянулся на тюфяке. Но тут же вспомнил, что и ему надо идти за своим «имуществом». Ну что же, идти так идти...

Недалеко от палатки его окликнули:

— Новоселов!

Это была Райка. Худая, коротко остриженная девчонка из второго отряда. Володя знал ее и до лагеря: они жили в соседних домах.

На Райке были черные штаны и синяя футболка, а над плечом торчал лук из можжевельника.

— Опять тренировалась?

Райка медленно покачала головой. Несмотря на воинственный наряд, она казалась немного смущенной.

— Коршун ходил над опушкой, — объяснила она. — Я хотела зацепить его. Черные перья нужны. Старые уже обтрепались на стрелах.

— Не попала?

Райка опять покачала головой. Она пошла рядом, сбивая пучком стрел колоски высокой травы.

В глубине души Володя был рад, что Райка промахнулась. Но это была скверная радость, и Володя разозлился на себя.

— У меня есть перья, — сказал он. — Только белые. Возьмешь?

— Я к черным привыкла.

— Как хочешь...

«Жаль, что она девчонка, — подумал Володя. — Завтра

я наверняка ей проиграю. Даже с ободранными перьями она обстреляет меня, как дошкольника».

— Это ты мою палатку оборудовала? — спросил он.

— Я. Ну и что?

— Так...

— Мы всем мальчишкам помогали, — поспешно сказала Райка. — Иначе же у вас кавардак будет.

— Да, наверно, — миролюбиво согласился Володя. Подумал и добавил: — Спасибо.

— Оруженосца не сменял? — осторожно спросила Райка.

— Куда там...

— Я бы тебе отдала своего, но у меня Светка Матюшова. Хохотать же все будут: у мальчишки оруженосец — девочка.

— Ладно уж... — сказал Володя.

Когда он вернулся в палатку, Кашка был уже на месте. Он сидел на тугом тюфяке, съевшись и уткнувшись острым подбородком в колено. Увидел Володю, поднял голову и торопливо сообщил:

— Я все принес.

— Ладно, — сказал Володя.

На коленке осталось от подбородка красное маленькое пятно. Кашка начал тереть его ладонью. Потом тихонько спросил, не поднимая глаз:

— Мне что надо делать?

— Пока ничего, — сдержанно сказал Володя. — Вернее, что хочешь.

— А завтра?

— Да и завтра тоже... Видно будет.

Кашка вздохнул.

— Есть еще такое правило, — вспомнил Володя. — Если со мной что-нибудь случится, ты за меня должен будешь стрелять. Но со мной ничего не случится.

— Конечно. — Кашка снова улыбнулся смешной своей улыбкой.

Снаружи раздался восторженный визг и хохот. Володя высунул голову. Из соседней палатки со свистом вылетела

подушка, потом растрепанный Мишка Зыков, а за ним желтая мыльница. Мишка перевернулся через голову, ухватил мыльницу и швырнул ее в темную щель палатки. Словно гранату в амбразуру вражеского дзота. После этого, прикрываясь подушкой, ринулся внутрь. Палатка заходила ходуном. Все было ясно: Юрка Земцов и его оруженосец прищлись друг другу по душе и развлекались вовсю.

Володя обернулся. Кашка прислушивался к веселому шуму. Глаза его были раскрыты широко-широко. Серые удивленные глаза под выгоревшими полосками бровей.

«Завидует, наверно», — подумал Володя. И вдруг пожалел малыша Кашку.

— Ерунда, — сказал он хмуро. — Земцов с Зыковым бесятся. Видно, делать им больше нечего. А мы... а у нас еще дело есть. Ты поможешь?

Кашка изумленно приоткрыл рот, потом заулыбался и кивнул.

Володя положил на колени пучок стрел.

— Смотри. Я их фиолетовыми чернилами выкрасил вместе с перьями. Хотел, чтобы от других отличались. В общем, дурака сваял: если в тень залетят, их и не видно совсем. Надо знаешь что сделать? Надо на каждой стреле повыше перьев, вот здесь, три красные полоски провести для яркости. Три таких кольца...

Володя придумал про кольца только сейчас, но выдумка и в самом деле была неплохая.

— В пионерской комнате у двери есть полка. Там с левой стороны банка с краской. Мы ею оленя вчера красили. И кисточки там же... Сделаешь, Кашка?

Кашка просиял.

...Начиналась последняя тренировка. Стрельба на скорость. Такая стрельба, когда медлить нельзя ни капельки. Выхватил стрелу, наложил на тетиву, натянул — р-раз...

И снова! Скорей! Скорей!

Мазать нельзя и мешкать опасно: через полминуты наблюдатель дернет за шнурок — и белая с красным пятном мишень свалится в кусты.

...Володя ждал сигнала. Привычный холодок пробежал по рукам. Вот-вот, сейчас... Кашка стоял рядом и держал наготове пучок фиолетовых стрел. Тройные красные колечки на стрелах горели как огоньки. Постарался Кашка, молодец...

Резко дзенькнула консервная банка — сигнал!

Володя рванул из пучка стрелу. Он знал, что не промахнется. Лишь бы не сбиться в движениях! Длинный лук из сухой березы согнулся, набрав упругую силу. Конец стрелы лежал на левом кулаке. Володя плавно повел рукой, направляя наконечник в центр мишени, и отпустил тетиву.

Щелк! Тетива, как всегда, звонко ударила о левый рукав. Но что-то влажное, липкое мазнуло по кулаку, а стрела клюнула и прошла на целый метр ниже мишени. Кто-то удивленно охнул.

Володя взглянул на руку: красная размазанная полоса на кулаке. Кровь? Наплевать! Он схватил вторую стрелу.

Стрела прилипла к пальцам. Красные кольца оставляли на руках яркие следы.

— Кашка, — тихо и яростно произнес Володя, — где ты брал краску?

Он увидел перепуганные Кашкины глаза.

— В тумбочке, — прошептал оруженосец. — На полке не было. Только какой-то «сурик».

Кругом сдержанно захихикали.

— Ба-ал-ван! — со звоном сказал Володя. Вырвал у Кашки стрелы и, не оглядываясь, пошел из оврага.

Володя пропустил ужин и возвращался к палаткам голодный и злой, как бенгальский тигр.

Часовые опасливо раздвинулись.

Володя мягкой походкой хищника вошел в палаточный городок.

Несмотря на поздний час, было совершенно светло: стояли долгие дни июля. Солнце еще выбрасывало из-за сосен длинные лучи.

Было светло и в палатке. Полости входа оказались рас-

...минуты, и Володя увидел Кашку издалека. Тот сидел на корточках спиной к выходу и что-то разглядывал на полу.

«Что с ним делать? — думал Володя. — Может, ухватить под мышку и утащить, как багаж, прямо к Сереже? Поставить перед Сережей этого горе-помощника, молча повернуться и уйти?.. Или не тащить? Лучше просто вытянуть стрелами пониже спины, и пусть бежит сам. А может быть, сначала все ему высказать? Да нет, не поймет он...»

Володя подошел ближе. Ага, вот оно что! Кашка собирал свое имущество. Он расстелил полотенце и укладывал на него зубную щетку, за ней зеленую, как лягушка, мыльницу, какую-то круглую коробку, пластилинового разбойника и оловянного мотоциклиста. Потом он попытался завязать все это в узелок. Но полотенце было маленьким, вещи вываливались. Особенно подло вела себя скользкая мыльница. Кашка принимался за работу снова и снова.

Острые Кашкины лопатки суетливо двигались под майкой. Правая лямка штанов падала с плеча, и Кашка все время поправлял ее. Он почему-то очень торопился.

Володя наклонил голову и остановился у входа. Он заслонил свет. Кашка вздрогнул и обернулся. Зеленая мыльница-лягушка вырвалась у него из пальцев и ускакала под тюфяк.

Володя молчал. Кашка тоже молчал. Так они смотрели друг на друга долго. Кашкины глаза испуганно блестели в полутьме палатки. Потом у него шевельнулись губы, и Володя расслышал:

— Мне надо когда уходить? Сейчас или завтра?

Не надеялся Кашка на прощение. Маленький, остроплечий, придавленный своей виной, он сидел на корточках перед грозным рыцарем Фиолетовых Стрел и ждал ответа. Лямка опять съехала с плеча.

— Оруженосец... — скорбно сказал Володя. — Кто тебе разрешил уходить? Марш под одеяло! Давно уж отбой был для вашей малышни.

Но заснуть так рано никому не удалось. Чуть стемнело, и за палаточным кругом развели костер. Собрались у огня

стрелки-рыцари, подошли ребята из лагеря. Только часовые остались на местах, и время от времени слышались в сумерках их завистливые вздохи.

Выбрались наружу и малыши-оруженосцы. Их попробовали отправить назад, в палатки, потому что самым маленьким полагалось спать. Но оруженосцы во главе с Мишкой Зыковым пригрозили забастовкой, и тогда им разрешили остаться.

Кашка тихо подошел к своему командиру, постоял рядом и осторожно спросил:

— Во-лодя... — Он почему-то оттягивал первый слог, когда произносил это имя. Слово оно было слишком трудным. А может быть, так получалось от нерешительности. — Во-лодя... Можно, я тоже посижу у костра?

— Сиди хоть до утра, — мрачно сказал Володя. Он хотел есть и думал, где добыть горбушку хлеба. Идти на кухню было бесполезно. Ее, конечно, уже закрыли.

Володю окликнули. На краю площадки, куда почти не долетали отблески огня, стояла Райка.

— Ну? — сказал Володя.

— Иди сюда.

Володя медленно поднялся с травы. Его чуть не тошнило от голода. Когда он подошел, Райка шепотом спросила:

— Есть хочешь?

— Еще бы...

Она протянула ему кусок пшеничного каравая и банку консервов. Володя вцепился зубами в горбушку и заурчал.

— Райка, — сказал он с набитым ртом. — Ты лучше всех мальчишек. Ты самый лучший мальчишка в лагере... Все эти тупоголовые рыцари расселись у костра и даже не подумали, что рядом человек околеваает с голоду. А ты...

— Да ладно, Вовка...

Володя с удивлением заметил, что Райка вроде бы смутилась. Отвернулась вдруг, наклонила голову, стала обламывать ветку, уколола шиповником руку и начала, словно

кошка,лизывать ладонь. Вот чудная! Будто ей в любви объяснились...

— Ешь консервы, — сказала она.

— А чем открыть?

— Возьми. — Она протянула консервный ключ.

— Где ты все это раздобыла?

— Трудно, что ли? У тети Даши на кухне попросила.

Сказала, что ты не ел. Ты почему не ужинал?

— Вон из-за того типа. — Володя качнул головой в ту сторону, где, нахохлившись, присел у огня Кашка.

— А что он натворил? Я так и не поняла.

— Ну что... — Володя проглотил громадный кусок. — Надо было полоски на стрелах сделать. Я его попросил. А он вместо корабельного сурика, который сохнет за пятнадцать минут, раскопал где-то простую масляную краску. Ей два дня надо, чтобы высохнуть. Вот я и соскребал до самого вечера. Пятнадцать стрел, и на каждой по три полоски.

Райка сочувственно вздохнула:

— Все они такие. Светка моя к костру идти не хочет, говорит, комары кусают, и в палатке одна сидеть боится. Я уж пойду... А на Кашку ты очень-то не злись, он, наверно, переживает.

Володя отмахнулся.

— Я не злюсь. Бесполезно. Только он ничего не переживает. Сидит, и все. Огонь греет, комаров нет, что еще надо? Ну какие, Райка, у такой малявки переживания?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Но Володя ошибался. Были у Кашки и переживания, и заботы.

Были у него и тайны.

Самая большая тайна — Кашкина Страна. Никакого названия Страна не имела. Кашка его не придумал. Страна — вот и все.

В Стране жили челотяпики.

Слово «челотяпики» Кашка выдумал сам. Оно означало то же, что «человечки», но было интереснее и смешнее.

Челотяпики были разные: Летчик из сломанного самолета; оловянный Мотоциклист; морской Капитан, сделанный из поплавок и спичек; старый ворчливый Шишан из еловой шишки и Матрешка — самая маленькая из всех матрешек. Раньше она сидела внутри остальных, а потом потерялась и попала в компанию челотяпиков.

Позже других появился шестой челотяпик — Альпинист, но про него речь пойдет дальше, потому что все надо рассказывать по порядку.

Прошлым летом дома у Кашки стряслась беда: сильно заболел отец. Он болел и раньше, но не очень, а на этот раз болезнь скрутила его крепко. Название у болезни было длинное и непонятное. Кашка не мог его запомнить. Но зато хорошо запомнил слова врача: «Операция нужна обязательно».

Кашкина семья жила не в городе, а в поселке Камшал. Это от города сто двадцать километров по железной дороге. В поселке врачи операцию делать не стали и сказали, что надо везти папу в областную больницу. Надо — значит, надо. Но ведь один папа ехать не мог, он даже по комнате двигался еле-еле. Пришлось маме брать на работе отпуск и ехать тоже. Она сказала, что будет жить в городе, пока отцу не сделают операцию.

Тепловоз прогудел, мама помахала рукой из вагонной двери, и поезд ушел. Он ушел, скрылся за поворотом, за станционными домами и тополями, а Кашка стоял и смотрел на блестящие рельсы. Рельсы отражали солнце. Рядом с Кашкой стояла бабушка. Это была незнакомая бабушка, папина мама. Ее звали баба Лиза. Она приехала только накануне, чтобы жить с Кашкой, пока не будут родители. До этого Кашка ее не видел. Вернее, видел, когда был маленький, но забыл. Баба Лиза жила далеко, в Ишиме, и ее пришлось вызвать телеграммой.

Рельсы слепили глаза и выжимали слезы. Кашка глотнул воздух.

Идем, — сказала баба Лиза.

Она повернулась и пошла с перрона, ни разу не оглянувшись на Кашку. Он побрел сзади. Вернее, сначала побрел, а потом засеменял, потому что баба Лиза шагала широко и быстро.

Она была высокая и худая. Кашка смотрел на прямую бабушкину спину с черным треугольником косынки и горько думал: «Худо будет теперь».

Баба Лиза оказалась хмурой и неразговорчивой. Целыми днями, сердито сжав серые губы, копалась в огороде. С Кашкой говорила мало: «Садись ешь... Сходи за хлебом... Руки помой... От дома не отходи... Ложись спать...» Вот и все. Может быть, у нее был такой характер, а может быть, она сердилась, что ее оторвали от домашних дел и заставили возиться с внуком. Кашка этого не знал и понять не старался. Он послушно бегал за хлебом в соседний магазин, старательно мыл руки перед обедом, вовремя укладывался на свою скрипучую раскладушку и от дома не уходил, потому что на целую неделю зарядили серые моросящие дожди.

На душе у Кашки было тоже пасмурно и пусто. А по вечерам эта пустота заполнялась едучей тоской. Кашка скрючивался под одеялом и щипал себя за нос, чтобы не заплакать. Он боялся плакать, потому что баба Лиза спала плохо, долго ворочалась и вздыхала за фанерной перегородкой.

Но однажды утром какой-то добрый ветер прогнал тучи, и в Кашкино окно глянуло умытое солнце. Глянуло, пощекотало Кашку лучами и позвало в дорогу.

— Ладно, — тихонько сказал Кашка и встал.

Он осторожно оделся, вынул из коробки оловянного Мотоциклиста и выбрался на непросохшее крыльцо.

Небо над Кашкой оказалось такое синее, что он даже дышать забыл. А земля сверкала. Перед рассветом прошел последний дождь, и травинки сгибались от тяжести стек-

лянных капель. А солнце огненными ручейками стекало по мокрым скатам железных крыш.

Чтобы не промочить в траве сандалии, Кашка снял их и пристегнул на животе к лямкам своих коротеньких штанов. Потом он прыгнул с крыльца. Холод, как мышонок, сразу юркнул под рубашку и зацарапал спину мелкими коготками. Но Кашка не вернулся в дом. Он поставил на ладонку Мотоциклиста, зажужжал, как мотор, и помчался в конец переулка.

За переулком начинался луг с кустарниками, а дальше — березовые перелески и бор. Там лежала Кашкина Страна.

Он торопился туда вместе с маленьким смелым Мотоциклистом.

На большой скорости они проскочили полосу кустарника и вынеслись на солнечный обсохший бугорок. Здесь Кашка залег среди высоких метелок овсяницы и пунцовых шариков клевера.

Он сжал в кулаке катушку от ниток.

На самом деле это была не катушка, а волшебная подзорная труба. Поднесешь к глазу — и видишь, как в светлом кружке обыкновенная трава превращается в заросли сказочного леса. Кажется, что все это переплетение узорчатых листьев, колосьев и цветов сразу становится громадным. Потому что смотришь снизу, травы убегают к горизонту и сливаются с настоящим лесом...

Кашка медленно обводил подзорной трубой джунгли, где жили непонятные существа, сумерки и тайны. Потом джунгли кончились, в круглый глазок трубы ударил синий свет, и Кашка увидел море.

Да, это было море. Переливалась солнечными блестками голубая вода, а по воде двигался белый парусник.

Кашка заморгал и убрал от глаза катушку. Море превратилось в крошечное луговое озерко. Но парусник не исчез. Кашка приподнялся на локтях. Одномачтовый кораблик бежал к берегу, где горели на солнце желтые люти-

ки. Парус был похож на косое крыло голубя. Кашка встал в полный рост. Тогда он услышал голоса и увидел хозяев парусника.

Это были мальчишки, и командовал ими Пимыч.

Почему его так прозвали, Кашка не знал. Но прозвище казалось очень подходящим. Пимыч был толстоватый, тяжелый, с большой головой, круглым лицом и с носом, похожим на растоптанный валенок. Ходил он вразвалку, смотрел лениво и говорил не торопясь. Мальчишки, однако, его слушались.

Кашка Пимыча боялся, а Пимыч Кашку, кажется, не любил. На это была причина: Кашкина мать работала контролером в поселковом кинотеатре «Луч» и не так давно выставила Пимыча на улицу, потому что он пробирался без билета. Пимыч ничего сказать ей не посмел, но на крыльце кинотеатра увидел Кашку и показал ему круглый красный кулак. Кашка вздохнул и отвернулся. Он, конечно, не был виноват перед Пимычем, но понял, что все равно лучше с ним не встречаться.

Кашка и сейчас не забыл о похожем на большую грушу кулаке. Но он видел кораблик. Маленький, легкий такой и быстрый кораблик, который надо было обязательно рассмотреть как следует и, может быть, даже взять в руки. И это было сильнее осторожности.

Кашка тихо спустился с пригорка и встал у воды. Никто, кроме Пимыча, не взглянул на него. А Пимыч хмуро покосился, но ничего не сказал. Это немного ободрило Кашку.

Парусник уже пересек озерко и подходил к берегу, где ждали мальчишки. Но ему не повезло: на пути оказался островок. Вернее, круглая травянистая кочка. Она торчала метра в пяти от суши и была похожа на лохматый затылок сидящего в озере великана.

Кораблик ткнулся в этот затылок носом и запутался в мокрых травяных прядях. Сразу стало понятно, что выбраться сам он не сможет, если только не случится большого шторма.

— Кто полезет? — спросил Пимыч. Сам он, конечно, лезть в воду не собирался.

Мальчишки стали переглядываться и сопеть. Разуваться, подворачивать штаны, идти в холодную от дождей воду и добираться к проклятой кочке по илистому дну — что тут хорошего?

Треугольник паруса белел за листьями осоки и просто изо всех сил притягивал к себе Кашку.

— Пимыч, — осторожно сказал Кашка. — Можно, я достану?

— Пускай достает!.. — загалдели мальчишки.

— Не потонет...

— Конечно...

— Я бы сам достал, да у меня нога порезанная, — заявил похожий на худого котенка, большеухий Левка Махаев. На эти слова не обратили внимания: все знали, что Левка хитрый враль и лодырь.

Пимыч несколько секунд разглядывал Кашку и, наверно, думал: надо ли разрешать такое интересное дело человеку, мать которого прогоняет людей из кинотеатров? И вдруг разрешил:

— Ну, вали... Не поломай только.

Вода оказалась совсем не холодная. Только ноги сильно проваливались в илистую жижу. Кашка прошагал всего половину расстояния, а вода уже была ему выше колен. Но он даже на полсекунды не остановился.

Когда Кашка добрался до островка, вода замочила ему штаны и подобралась к пристегнутым на животе сандалиям. Но зато кораблик был вот он — рядышком. Кашка раздвинул водоросли и осторожно, как раненого голубя, поднял парусник на ладонях.

Он был маленький, но совсем как настоящий. Легонький, остроносый, с тонкими бортиками, рейками, блестящими колечками и тугими снастями. О таком как раз Кашка и мечтал. Он бы отправлял на этом корабле своих смелых челотяпиков в самые дальние плавания по лесным ручьям и озерам. Они бы открывали новые острова и стра-

ны. Кашка знал, где их можно открывать, только не было кораблика. Был морской Капитан, а плавать ему приходилось на обыкновенных шепках...

С берега уже кричали, чтобы Кашка не копался. Он вздохнул и пошел обратно.

Но он хитрил. Возвращался он гораздо медленнее. Осторожно вытягивал из илистой грязи ноги, далеко обходил редкие листья кувшинок, словно это были вовсе не кувшинки, а самая жгучая крапива. Ведь, пока он шагал здесь, среди воды, кораблик был вроде бы его, Кашкин. Можно было держать его, разглядывать, шептать команды и думать о дальних островах...

— Я бы уж давно достал, — противным голосом сказал Левка Махаев.

— Закройся ты, — лениво посоветовал ему Пимыч.

Пять метров до берега — путь недалекий. Все равно пришлось выйти на землю и отдать парусник.

— Штаны-то выжми, — ворчливо сказал Пимыч.

— А ну их, — отмахнулся Кашка. И вдруг попросил: — Пимыч, сделай мне такой... кораблик.

Он, конечно, понимал, что говорит самую настоящую глупость, но не смог удержаться. И удивился, когда не услышал в ответ обидного смеха.

Пимыч недовольно сказал:

— «Сделай»... Сам не можешь, что ли?

— Не могу, — без колебаний признался Кашка.

Конечно, как он мог? Разве сумеет он построить такое чудо?

— «Не могу!» — передразнил Пимыч. — А чего тут мочь? Тут и дела-то — два раза плюнуть. Все почти готовое продается. Самую малость надо построгать да покрасть...

— Что продается? — не понял Кашка.

Но Пимыч молча возился с парусником. Наверно, устал от долгого разговора. Другие ребята сказали Кашке, что коробку с набором для модели яхты можно купить в раймаге на станции. И денег надо всего шестьдесят копеек.

Всего! У Кашки таких денег в жизни не было. Где он их возьмет?

— У матери попроси, — посоветовал Пимыч. — Небось даст...

— Мама уехала, — сказал Кашка и почувствовал, что в горле вырастает что-то твердое и угловатое, как маленький деревянный кубик.

— Ну, отец даст.

— У него операция. Они вместе уехали, — шепотом сказал Кашка. — Я с бабой Лизой живу...

— Ну... — начал Пимыч, но замолчал и задумался.

— А пускай сам заработает, — предложил Левка. — Чего попрошайничать?

— Как? — удивился Кашка.

— А как мы. На ягодах. Набери да продай на станции. По пятнадцать копеек за стакан если продавать, всего четыре стакана надо... Только тебе ведь не набрать четыре стакана.

Кашка снял с мокрых штанов прилипшую водоросль, заложил руки за спину и посмотрел на Левку как на маленького. Он даже чуть не засмеялся. Кашка знал такие ягодные места, какие Левке, наверно, даже в мечтах не мечтались. Недаром Кашка умел делать открытия.

Мальчишки продавали ягоды на станционной платформе.

Кашка бывал здесь и раньше. Правда, на перроне он появлялся редко, нечего там было делать. Зато любил Кашка путешествовать под платформой. Она была старая, деревянная и держалась на высоких столбиках. Ходить под ней можно было не сгибаясь. Там стоял сумрак, словно в кошечьем подземелье. Кряхтел и потрескивал потолок. Сыпался за воротник древесный сор. Вздрагивали на земляном полу солнечные полоски. А за дощатой стенкой, как чудовища, с тяжелым ревом пробегали вагонные колеса.

Здесь Кашка находил интересные вещи, которые падали сверху в щели: разные пуговицы, спичечные коробки с

незнакомыми наклейками, конфетные фантики, запонки... А один раз нашел он денежку — три копейки. Правда, в тот же вечер он ее потерял, но долго еще вспоминал об этой находке с удовольствием.

Но сейчас Кашке нужны были не три копейки, а целых шестьдесят. И шел Кашка не вниз, а наверх, на перрон. Осторожно прижимал к груди четыре кулька с луговой клубникой.

Мальчишки стояли, прислонившись к шаткому палисаднику. Вид у них был очень независимый. Будто они пришли не ягоды продавать, а просто поглазеть на зеленые вагоны подошедшего поезда, на тепловозы, на облака. А на пассажиров они вроде бы и не смотрели. Даже Левка Махаев стоял с равнодушно-кислым лицом, хотя у него уши дергались от волнения, когда пассажиры проходили близко, — так ему хотелось поскорее продать свою клубнику...

Кашка старался, чтобы все у него было как у других ребят. Он и кульки для ягод свернул не из газеты, а из листов старого папиного учебника. Так делали почему-то все мальчишки. Только держать себя независимо и гордо Кашка не умел. И пристроиться к ребятам он не решился, а они его не позвали. Может быть, и не заметили. Кашка ушел на другой конец платформы и встал у столба с железным плакатом: «Граждане! Ходить по путям опасно!»

Чувствовал себя торговец ягодами неважно. В животе было холодно, и все время хотелось глотать воздух. Будто вышел Кашка на опасное дело.

В глубине души он совсем не верил, что кто-то подойдет к нему и станет покупать промокшие кульки с клубникой. И не знал, что делать, если это случится. Но к нему подошли незаметно откуда-то сбоку, и Кашка вздрогнул.

Покупателей было двое. Кашка заметил, что на них серые одинаковые пиджаки и синие фуфайки с белыми полосками у ворота. И какие-то значки на отворотах пиджаков. Лица у них были тоже похожие. Разные, но все-таки

похожие. И как будто знакомые. Кашке вдруг показалось, что такие же лица — узковатые, с жесткими подбородками и легким прищуром глаз — были у летчиков, про которых он недавно смотрел кино. Только летчики выглядели постарше.

Кашке нравились люди с такими лицами.

— Продаешь? — спросил один, с золотисто-синим значком. — Почему?

В горле у Кашки что-то по-птичьему пискнуло.

— Пи...питнадцать коп...пеек, — выдавил он.

Тот, который спрашивал, наклонил голову и стал с интересом смотреть на Кашку. Так разглядывают какой-нибудь интересный пустячок, винтик, например, или брошку, если случайно найдут их на тротуаре... Потом он сказал негромко и печально:

— Слушай, ты... рыцарь наживы. Совесть у тебя есть?

Кашка считал, что есть. Но вообще-то вопрос был непонятный. При чем здесь совесть? И еще рыцарь какой-то...

— Ягоды... они хорошие, — на всякий случай сказал он.

— Я так и думал, — мрачно откликнулся человек с синим значком.

Тогда вмешался его товарищ:

— Борис... Ну чего пристал к парню? Он по такой же цене продает, как и все.

— Все они «как все», — с резкой усмешкой бросил Борис. — Я таким вот пацаненком был, когда на целину первые эшелоны шли. Мы со своих огородов помидоры тягли и к вагонам тащили, чтобы ребятам дать на дорогу. А тут — «питнадцать копеек».

Кашка почувствовал, что эти слова обидные. И все-таки не обиделся. Не сумел обидеться. Потому что Борис Кашке понравился.

А может быть, подумал Кашка, у него нет пятнадцати копеек? Ягод попробовать хочется, а денег нет.

Или, может быть, он думает, что Кашка жадный?

— Ну, возьми... — простодушно сказал Кашка. Он по нему-то даже не заметил, что обращается к Борису на «ты».

— Что? — не понял тот.

— Возьми так, — повторил Кашка со всей убедительностью. — Не надо копеек.

Что-то изменилось в лице у Бориса. Растерялся он или смутился. Запустил руку в карман пиджака, стал смотреть мимо Кашки и непонятно ответил:

— Благодарю. Я платежеспособен...

Но его спутник взял у Кашки ягоды и вложил кулек в ладонь Бориса:

— Бери, раз дают, — и подмигнул Кашке.

Кашка протянул кулек и ему. И услышал:

— А не жалко тебе?

Кашка удивился. Жалко? Наверно, этот человек не знает, сколько ягод можно отыскать на лесных буграх и полянах совсем недалеко от поселка.

Ну... конечно, хотелось купить поскорее кораблик. Но раз уж он одну порцию клубники отдал, значит, шестьдесят копеек все равно сегодня не заработать. Поэтому остальные ягоды вообще жалеть не стоит. Нисколько.

— Спасибо, — вдруг сказал Борис. — Знаешь что? Ты... — Он не договорил, потому что к ним подбежала девушка в серой куртке с блестящими застежками. Веселая такая девушка, с пестрой косынкой, повязанной, как пионерский галстук.

— Ребята, вы где? Поезд отходит сейчас!

— Мы здесь, — коротко сообщил Борис. — Мы заняты. Поезд подождет.

— Один симпатичный юноша угощает нас ягодами, — объяснил товарищ Бориса.

— Только вас угощает? Или всех? — поинтересовалась девушка.

— Вот, берите, — сказал Кашка. Он уже не робел, не стеснялся. Чувствовал только смутную зависть: сейчас эти люди сядут в поезд и поедут, а он, Кашка, останется.

Ну ладно, пусть едут. Это, конечно, хорошие люди... Да, но оставался еще один кулек.

— Куда же его? — растерянно спросил Кашка.

— Ешь сам, — хором сказали трое и побежали в конец поезда, к своему вагону.

Потом этот вагон медленно проехал мимо Кашки, и тот увидел в тамбуре всех троих. Они махали Кашке руками. И смеялись. А девушка даже сняла косынку с шеи и размахивала ею как флагом.

Кашка торопливо замахал в ответ. Той рукой, в которой держал ягоды. Они сыпались из бумаги и падали на доски, как тяжелые дождевые капли, но Кашка не обращал внимания. Впервые в жизни он провожал хороших людей в далекую путь-дорогу. Хотя нет, недавно он провожал маму и папу, и мама тоже махала ему из вагона. Но тогда было грустное прощание, а сейчас веселое...

— Ну и дурак, — услышал Кашка за спиной. Обернулся. Это Левка Махаев обругал его. Он, значит, следил за Кашкой. Теперь Левка стоял рядом и смотрел с презрением.

— Пентюх необразованный, — сказал он. — Облапошили тебя, как деревяшку. Лопух ты...

Но Кашка чувствовал, что он не лопух. Он не забудет, как три незнакомых человека смеялись и махали ему из вагона. Левке, конечно, никто не махал, хотя он и продал все ягоды.

— Остался без яхты, ну и фиг с тобой, — закончил Левка и сплюнул. — Салага...

Кашка отошел. Издалека он осторожно сказал:

— Ты, Левка, наверно, сам салага. Я завтра еще четыре стакана насобираю. И продам. И куплю кораблик. Вот...

Назавтра он собрал не четыре стакана, а семь. И сделал семь кульков. Четыре он решил, конечно, продать, а еще три... Ну, мало ли что... Вдруг случится, как вчера. Кашке очень запомнились улыбки трех друзей. С тех пор как уехали родители, ему никто еще не улыбался вот так, по-хорошему.

Но случилось не так. Сразу нарушились Кашкины планы. Подошел поезд, и на платформе появились...

Нет, сначала Кашка услышал песню. Шум колес уже затих, и песня ясно звучала за вагонными стеклами. Пели мужские голоса. Не громко, но как-то упруго. Это была не-много печальная, но хорошая песня. Такая хорошая, что Кашка замер на секунду.

А голоса стали громче, и вот тогда появились на перроне моряки.

Они по одному прыгали с подножки, и песня вместе с ними вырывалась из вагона. Кашка разобрал последние слова:

Ночь бросает звезды на пески,
Поднятые сохнут якоря.
Спи, пока не гаснут маяки...

Потом пение оборвалось, и голоса смешались:

— Братцы, здесь и папирос не купишь!

— Сколько минут стоим?

— Станция Кам-шал... Ну и станция!

— О черт, курить хочется...

— Не лопнешь.

— А вдруг?

Они были не в бескозырках. Кто в черной фуражке с якорем, кто так, с непокрытой головой. День выдался ветреный, и синие воротники плескались у них за плечами. На рукавах черных матросок алели треугольные флажки и золотились нашивки.

Был среди них один — высокий, курчавый, словно негр. На плече он, как большую лопату, держал гитару. Он, кажется, первый и заметил Кашку. Именно его, а не других ребят. Потому что те стояли в дальнем конце платформы.

Моряки обступили Кашку. Их было не трое. Не четверо. Даже не семеро. Он и мигнуть не успел, как разошлись по рукам все кульки. Просто разлетелись.

— Сколько за товар? — весело спросил гитарист. — Ну? Не стесняйся!

— Нисколько...

Они совсем не важничали перед Кашкой, эти громадные парни в черной с золотом форме. Спросили, как его зовут, а потом по очереди, шелкая каблуками, назвали себя:

— Сеня.

— Виктор.

— Сергей.

— Гена.

— С вашего позволения, Алексей Новиков, штурман дальнего плавания... будущий.

Оглушенный их веселым вниманием, Кашка только спросил:

— Дальнее — это в Африку?

— В Африку, в Индию, в Австралию, — подтвердил будущий штурман. — В обе Америки. Вокруг света. И если есть в моих словах хоть капля лжи, пусть меня поглотит Тускарора!

Тускарора представилась Кашке страшным чудовищем с черной пастью. Но ему тут же объяснили, что это не чудовище, а глубоченная ямища в Тихом океане и что эта ямища когда-нибудь обязательно поглотит будущего штурмана. Не столько за вранье, сколько за болтливость.

И снова, как вчера, исчезла, растаяла в этом веселье Кашкина робость. И тогда он сказал то, что очень хотел сказать:

— Можно, я спрошу?.. Вот вы... Это вы пели в вагоне? Это какая песня?

— А ну, мальчишки... — сказал курчавый гитарист с детским именем Павлик. И сбросил с плеча гитару.

И было совсем не смешно, было просто здорово, что взрослые мужчины так слаженно и серьезно пели колыбельную песню. Пели с какой-то суровой ласковостью: видимо, любили они эту колыбельную. Десять моряков

пели для одного мальчишки. Ну и для себя, конечно, но главным образом для него, для Кашки:

Спят большие птицы средь лиан,
Спят моржи в домах из синих льдин,
Солнце спать ушло за океан,
Только ты не спишь...
Не спишь один...
Светят в море,
Светят огоньки,
Утихает сонная волна...
Спи, пока не гаснут маяки.
Спи...
И пусть не дрогнет тишина.

...Встревоженно просигналил тепловоз, и поезд пополз вдоль платформы. Но они все-таки допели до конца. А потом взьерошили Кашке волосы и бросились за вагоном.

Поезд ушел. А Кашка стоял на перроне, по которому с размаху пролетали серые тени облаков. И ветер лохматил ему волосы. И солнце щекотало уголки глаз. А тонкие ласточки мчались вдоль путей вслед убежавшему поезду. Так, наверно, чайки летят за уплывающими кораблями.

И облака, и тени, и ветер, и ласточки были как продолжение песни.

На следующий день Кашка уже не думал о деньгах. Белокрылый игрушечный кораблик почти позабылся. Потому что появилась другая радость: дальние поезда и веселые добрые люди с хорошими песнями. Кашка шел их встречать и нес им лесной подарок.

Когда Кашка подходил к лесенке, доски в боковой стенке платформы раздвинулись. Между ними показалась ушастая Левкина голова.

— Иди сюда, — потребовал Левка. — Ну, иди быстро, скажу что-то.

Кашка пошел. Бояться-то было нечего. Плохого он Левке, кажется, не делал. Левка придержал доску, и Кашка шагнул в пахнувший старым деревом полумрак.

В тот же миг из рук у него выбили кульки с ягодами.

Потом его стукнули один раз по плечу, два раза по щеке и один раз по носу.

После этого он услышал Левкин голос:

— Еще раз притащишься с ягодами — башку свинтим! Добренький какой, денег ему не надо! Газуй отсюда, малявка полосатая!

Доски снова раздвинулись, и Кашку пинком выпроводили на свет.

Из носа капала кровь. Капли были круглые и красные, как ягоды. Кашка не боялся крови, но она падала на рубашку, и пришлось долго сидеть у палисадника с запрокинутой головой. Кашка сидел и думал.

Думал, как быть. Он знал, что заскучает теперь, если не будет встречать и провожать поезда. А показаться на станции нельзя, раз Левка дерется. Ну что он этому Левке сделал?

Жизнь снова становилась плохой и печальной. Только чуть-чуть радовало Кашку воспоминание о вчерашней лесне. Но это была прошлая радость, а впереди никаких радостей не было...

Кровь унялась.

Кашка побрел за поселок. В лесном озерке он отстирал от крови рубашку и высушил на ветру.

Между прочим, за все это время он так ни разу и не заплакал.

Домой Кашка вернулся к вечеру.

Еще издали он увидел бабу Лизу. Она стояла у калитки строгая, прямая и неподвижная. Настроение у Кашки испортилось до самого конца. Но виноватым себя ни в чем он не чувствовал и поэтому не стал пугаться строгого бабушкиного вида. Только опустил голову и хотел бочком проскочить в калитку.

Пальцы бабы Лизы ухватили его за ухо.

Это были крепкие пальцы. Как деревянные щипцы. Они так защемили ухо, что Кашка пискнул словно мышонок.

— Появился, — сухо сказала баба Лиза. — Вот и ладно. Вот теперь и поговорим.

За ухо она ввела растерянного Кашку во двор, остановила у крыльца и повернула к себе.

— Где был?

Кашка ежился и моргал. Не знал он, что сказать. Вылетели из головы все слова и где-то потерялись.

— Где был?! — тонко крикнула баба Лиза и вдруг хлопнула его ладошкой по щеке. Это было не больно. А обидеться или удивиться Кашка просто не успел. Только зажмурился и мотнул головой.

— Не кормит тебя бабка, да? — выкрикивала баба Лиза, и лицо ее некрасиво морщилось. — Деньги тебе, окаянному, понадобились?! На вокзале ягоды продаешь?! Бабку позорить вздумал!

— Я не продавал... — шепотом сказал Кашка. — Я не продавал... — Он очень хотел все объяснить, но слова не находились.

— Еще и врешь! — Баба Лиза ахнула и выпрямилась. — Ты еще и врать умеешь, негодник! Думаешь, люди не видели?! Где деньги?

— Нету...

— Показывай карманы!

Но карманов у Кашки не было. Иногда он для солидности засовывал ладони в прорези боковых застежек на штанишках, но ведь деньги туда не засунешь.

— Ну, ясно, — печально сказала баба Лиза. — Все, значит, на мороженом и проел. Ладно...

Она вдруг совершенно успокоилась. Видимо, приняла решение.

— Я твоего отца учила по-своему, человеком сделала. Тебя тоже воспитаю. Стой тут!

Она скрылась в доме, а Кашка стоял. Мог бы убежать, но стоял. «Что она хочет сделать?» — подумал он. Подумал без страха, а с какой-то едучей горечью.

— Не торговал я! — громко сказал он, и тут вместо слов пришли слезы. Кашка всхлипнул.

Баба Лиза появилась с громадным старым замком, который до этого валялся в кладовке. Его ключом Кашка иногда раскалывал косточки от компота.

— Ты у меня насидишься в темноте! — пообещала баба Лиза. — Ты мне про все расскажешь, когда с мышами переночуешь.

Кашка по-настоящему заплакал. Он никогда в жизни не боялся ни темноты, ни мышей и плакал не от страха, а от обиды и беспомощности.

На секунду что-то изменилось в твердом бабушкином лице. Но Кашка ее лица не видел. Только голос ее услышал:

— Марш в сарай!

Она подтолкнула Кашку с крыльца. Он закусил губу и, сдерживая всхлипывания, побрел к сарайчику, где лежали дрова и всякие ненужные вещи. «Умру я, — тоскливо думал Кашка. — Заболею и умру... Она даже слушать не хочет... Убегу куда-нибудь. В дальние города...» Но он не убежал, а обреченно шагал к своей тюрьме. Баба Лиза шла следом.

Но когда до сарайчика осталось несколько шагов, земля тяжело ухнула. Будто рядом упал мешок с картошкой. Только это был не мешок. Это прыгнул с забора Пимыч.

Кашка так никогда и не понял, откуда Пимыч узнал о его беде и почему решил помочь.

Поднявшись, Пимыч отряхнул колени, встал между Кашкой и бабой Лизой и бесстрашно сказал ей:

— Тебе, старая, не стыдно? Нашла на ком силу попробовать, на таком пацаненке...

Бабушка ахнула и уронила замок.

— Ах ты... Ах ты!... — начала она, а Пимыч наклонил набок голову и продолжал негромко и укоризненно:

— Чего ахать-то? Лучше бы спросила его, как он торговал. Он и денег-то не брал ни копейки ни с кого. Всяких дураков слушаешь, а с ним поговорить не можешь. Скорей за ухо...

— Иди, иди... — жалобно сказала баба Лиза и отмахнулась, словно Пимыч был нечистой силой. — Иди-ка ты отсюда. Небось сам тоже... Иди... Куда пошел, вон она, калитка-то...

— Нам здесь удобнее, — солидно заметил Пимыч и тяжело взгромоздился на забор. Сверху он сказал: — Ты, Кашка, не бойся. — И прыгнул.

Опять дрогнула земля. Баба Лиза посмотрела на упавший замок, слабо махнула рукой и устало побрела к дому. Будто Кашки и на свете не было.

Он смотрел ей вслед, пока не закрылась дверь. Потом пошел на крыльцо, устроился на ступеньке и прислонился головой к перилам. Большой радости Кашка не чувствовал. Только удивление: «Вот так Пимыч!» Но и удивление скоро прошло. Все было правильно. Совсем невиноватого Кашку хотели посадить в сарай, а ведь справедливость-то должна быть на свете. Вот Пимыч и пришел, чтобы справедливость победила. Папа Кашке про это объяснял однажды: если человек не виноват, справедливость всегда победит.

Кашка стал думать про папу. И про маму. Про то, как сделают операцию и все будет хорошо. Все опять соберутся вместе. И не надо будет вечером, когда подкрадывается тоска, щипать себя за нос, чтобы сдержать слезы.

Мысли были спокойные и не печальные. Шелестели у крыльца листья рябинки, поезда шумели за домами. Кашка чуть-чуть задремал.

Он вздрогнул, когда сзади открылась дверь.

— Иди творогу поешь, — с ненастоящей сердитостью проговорила баба Лиза. — Цельный день бегал где-то, а теперь и в избу идти не хочет.

Кашка медленно поднялся и пошел в дом.

Он сидел на кухне и ковырял чайной ложкой творог.

— Ешь, — велела баба Лиза.

— Не хочется.

— «Не хочется»... Глянь-ка, губы надул. Уж больно обидчивый.

Кашка был не обидчивый. Просто ему не хотелось есть. И веселым быть не хотелось.

— Может быть, мне еще прощения у тебя попросить? — поинтересовалась баба Лиза.

Кашке совсем не нужно было, чтобы у него просили прощения.

— Ну, чего ты молчишь-то? — тихо спросила она.

А что ему говорить?

Баба Лиза вздохнула:

— Старая я стала...

Кашка украдкой оглянулся. Она сидела, отвернувшись к окошку. Совсем нестрогая, согнувшаяся...

— Давай я за хлебом схожу, — сказал Кашка. — А то скоро закроют магазин...

После этого случая Кашка получил свободу. Он мог бродить где угодно с утра до вечера. Баба Лиза не ругалась. Только охала, когда он появлялся с оторванными пуговицами, расцарапанными ногами и сосновыми иглами в волосах.

— Господи Иисусе! Где тебя гоняет нечистая сила?

«Нечистая сила» гоняла Кашку по всей его Стране. По сухим, заросшим соснами буграм. По оврагам, доверху набитым темной зеленью: там наглухо переплелись кусты смородины, ядовитая, как гадюка, крапива и какие-то сырые пахучие травы. По лугам и по мелколесью, где среди тонких березок и ольховника попадались мохнатые коряги, похожие на припавших к земле чудовищ. По влажным тропинкам и скрипучим мостикам, по ручьям и болотистым кочкам.

Кашка делал открытия.

Он сажал своих друзей-челотяпиков в карман (если баба Лиза давала рубашку с карманом) или сжимал их в кулаке и с утра отправлялся в путешествие.

Но к середине дня любая тропинка все равно приводит-

ла его на станцию. В это время один за другим останавливались здесь три дальних поезда.

Левка Махаев больше не прогонял Кашку. Когда они встречались, Левка отворачивался, ворчал и плевался. Под глазом у него был небольшой светло-сиреневый синяк. Откуда он появился, Кашка не знал.

А другие мальчишки обращались с Кашкой совсем хорошо. Пимыч даже сказал:

— Если к тебе кто полезет, ты мне его покажи. Я ему — во... — Кашка опять увидел кулак, похожий на грушу.

И тогда, полный благодарности, Кашка пообещал:

— Знаешь что, Пимыч? Когда мама приедет, я ее попрошу, чтобы она тебя всегда в кино пускала без билетов...

Он был уверен, что мама не откажет в такой просьбе. Узнает, как Пимыч заступался за Кашку, и обязательно разрешит ему ходить в кино сколько хочется.

Пимыч подумал, покачал головой.

— Ладно... Мне это зачем? Я и с билетом могу...
Мать-то когда приедет?

Кашка вздохнул.

— Ну... скоро. Когда папа поправится.

— А бабка как? Злая?

— Да не... Теперь не злая. Только молчит и богу молится потихоньку... Пимыч, а зачем богу молятся, если его нет?

— Да мне откуда знать? Тот, кто молится, наверно, думает, что он есть.

— Разве им никто сказать не может, что его нет?

— Иди скажи своей бабке.

Кашка вспомнил бабу Лизу и подумал, что пусть уж лучше молится. Но разговор кончать не хотелось, и он рассказал Пимычу, как недавно к ним приходил дядя Миша, папин начальник в автоколонне. И как он уговаривал бабу Лизу отпустить Кашку в пионерский лагерь. А баба Лиза не пустила. Побоялась чего-то.

— А тебе в лагерь охота? — спросил Пимыч.

— Не знаю.

В лагере Кашка не бывал. Как там? Будет ли там что-нибудь хорошее? А здесь, по крайней мере, все было свое, знакомое: и поселок, и Страна, и друзья-челотяпки. Правда, не было поблизости ребят вроде Кашки, чтобы играть вместе. Или маленькие были совсем, или очень уж большие. Но зато Кашка мог встречать поезда. Мог бродить по ближнему лесу. Сидеть на крыше и смотреть на облака. Все это было привычно, и все это была радость.

И вот еще Пимыч...

Разговаривал Кашка с Пимычем не часто. Но зато у них появилась молчаливая игра. Когда Кашка приходил на станцию, он не поднимался на перрон по лесенке, а останавливался у края платформы и поднимал руку. Пимыч подходил вразвалку, хватал Кашку за кисть руки и подтягивал вверх сколько мог. Тогда Кашка цеплялся за кромку платформы левой коленкой — и готово, он уже на ногах. Все это делалось без слов.

Только однажды Кашка спросил:

— Пимыч, ты зачем ягоды продаешь? Денег нет, да?

— Мать велит, — хмуро сказал Пимыч.

На перроне Кашка занимал обычное место: у столба с плакатом. Если подходили сытые дядьки в пижамных штанах и с бутылками пива под мышкой или если появлялись рядом женщины с раздраженно-скупными лицами, с ненастоящими улыбками, Кашка угрюмо отворачивался.

— Не... Я не продаю.

Иногда к нему придирались:

— А зачем стоишь здесь?

— Встречаю, — отвечал Кашка.

Он и правда встречал. Встречал «своих» пассажиров. Он знал каких. Не всегда они были молоды и веселы, не всегда пели песни и дурачились, но обязательно в их глазах Кашка замечал теплый такой огонек и хорошую искорку любопытства.

— Ну, дорого ли продаешь? — спрашивали они и с усмешкой смотрели не на ягоды, а на самого продавца.

— Не... — отвечал Кашка. — Я просто так. Без денег.

Ему нравилось, что, услышав такие слова, люди глядели на него с веселым удивлением. И сам он неожиданно быстро научился смотреть таким людям в глаза радостно и открыто.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Но самого интересного человека встретил Кашка не на станции, а в лесу.

В тот день Кашке не везло: собрал он всего стакана полтора клубники. Правда, ягоды были крупные, спелые...

Прежде чем идти на станцию, Кашка решил навестить челотяпика Шишана, который жил в Подземной пещере один-одинешенек уже целых четыре дня. Старый Шишан был разведчиком. Он получил от Кашки задание исследовать все места вокруг пещеры, узнавать лесные новости, делать разные открытия и обо всем докладывать по радио. Но вчера и сегодня докладов от Шишана не поступало.

Подземная пещера находилась под одиноким разлапистым пнем в мелком березняке, рядом с железнодорожной насыпью. Примерно в километре от станции.

Кашка сквозь густую путаницу веток продрался на свободный зеленый пятачок, лег на живот перед пнем и запустил руку в черный лаз пещеры. Конечно! Шишан и не думал отправляться ни в какие экспедиции! Он спал на соломенной подстилке и в ус не дул. Кашка так и знал! Он вытащил лентя на свет.

— Дрыхнешь... А совесть у тебя есть?

Шишан обалдело молчал спросонок.

— Лодырь ты, — печально сказал Кашка.

Шишан хотел зевнуть, но сдержался. Кашка сел на пень, а взерошенного елового Шишана посадил на колено.

— Спишь и спишь! — выговаривал он. — Даже антенну поправить не можешь. Тунеядец... — Он сам поправил надпнем прутик антенны.

Молчание Шишана стало виноватым.

— Ладно... — смягчился Кашка. — На пенсию бы тебя.

Он стал думать, кого бы из челотяпиков поселить в Подземной пещере вместо Шишана. Можно Капитана, у него все равно корабля нет. Можно Матрешку... или нет, ее не надо. Ей скучно одной будет, маленькая еще...

За кустами, на высокой насыпи, загрел колесами, а потом зашипел тормозами поезд. «Семафор закрыт», — сообразил Кашка, но тут же про поезд забыл, потому что нечаянно опрокинул стеклянную банку с клубникой. Банка не разбилась, но крупные ягоды ускакали в траву и потерялись.

— Все из-за тебя, — сказал Кашка Шишану. — Ищи вот теперь.

Он выуживал из травы последних беглецов, когда зашумело, затрещало в кустах, будто шел медведь.

Кашка вскочил.

Вот тогда он и увидел Костю.

В ту минуту он не знал, конечно, что это Костя. Он просто смотрел и смотрел на человека, который вышел из кустов. Был человек еще молодой, вроде тех моряков. Смуглый и светловолосый, в клетчатой, как шахматная доска, рубашке.

В руке у него был складной охотничий нож.

Кашка разглядел этот нож сразу. Узкое отточенное лезвие, медные перекладки с крючками, колечко с петель из ремешка и трещинка на пластмассовой желтой рукоятке. Да, и трещинку заметил Кашка, хотя почти вся рукоятка была скрыта в кулаке.

Кончиком ножа незнакомец что-то вырезал из маленькой коричневой деревяшки. Вырезал на ходу. Крошечные стружки послушно сыпались из-под лезвия.

Все это Кашка разглядел, наверно, в одну секунду. По-

тому что в следующую секунду человек с ножом остановился и поднял на Кашку глаза. Это были серьезные светло-карие глаза. Они внимательно смотрели на растерянного Кашку.

— Вот встреча... — сказал незнакомец тихо, словно про себя. И спросил: — А ты здесь что делаешь? Тоже ищешь свою жар-птицу?

— Не... я с ягодами, — ответил оробевший Кашка. Он не сводил взгляда с ножа. И при чем тут жар-птица?

Неизвестный человек защелкнул лезвие, сунул нож в один карман, деревяшку в другой и без улыбки объяснил:

— Я не разбойник. Я вон с того поезда. — Он кивнул в сторону насыпи. — Эта колымага застряла перед семафором и, говорят, будет стоять минут сорок. Что-то случилось на станции. Интересно что? Не знаешь?

Кашка не знал. Он сказал:

— Здесь разбойники не водятся. И жар-птицы не водятся.

— Кто знает... А вдруг водятся? Жар-птицы...

— Не, — убежденно сказал Кашка.

Пассажир вздохнул.

— Ты не обращай внимания. Лопай свои ягоды, а я пойду.

Он шагнул от Кашки, но уходить раздумал. Словно вспомнил о чем-то и собрался спросить. Однако не спросил. Стоял и смотрел вверх кустов на вершины большого леса.

Бежали клочковатые облака, и быстрые тени их были как взмахи темных крыльев. Кашка смотрел на высокого незнакомца и видел его вместе с облаками. Видел сбоку его задумчивое лицо, белую полоску маленького старого шрама под ухом и волосы, словно раз и навсегда отброшенные назад ветром. Кашке хотелось сказать: «Я не буду лопать ягоды. Я их не для себя собираю. Если надо, берите. Только... кто вы? Вы далеко едете, да?»

Кашка сказал:

— Вы знаете песню про маяки?

— Какую? — ничуть не удивившись, спросил незнакомец. — Много песен про маяки.

— Там еще про птиц, — объяснил Кашка. — И про этих... про тюленей. Которые спят. И про ночь. Ее моряки пели.

— Не знаю. Я ведь не моряк.

«А кто?» — чуть не спросил Кашка, но не решился. И неловко сказал:

— Вы почему-то один едете...

— Ну и что? Разве нельзя?

— Да нет, можно... Только так не бывает, чтобы один человек. Чтобы такие... одни.

— Какие такие? Это интересно.

— Ну... — сказал Кашка. — Такие...

Он виновато замолчал. Не умел он объяснять. А хотел сказать, что такие вот молодые парни, люди с обветренными смуглыми лицами, готовые к шутке и к хорошему разговору с ним, с Кашкой, не ездят в одиночку. Студенты, спортсмены, моряки, геологи (Кашка их тоже встречал) всегда бывают вместе...

— А знаешь, твоя правда, — вдруг согласился незнакомец. — Я бы тоже ехал не один, да отстал от компании. Это чертовски скверно, когда отстаешь от своих. Да вот, пришлось... И настроение поэтому было просто слезное... Можно, я возьму одну ягоду?

— Все берите, — облегченно сказал Кашка. — Вы не горюйте, вы своих догоните.

Кашкин собеседник бросил в рот четыре ягоды, внимательно глянул на Кашку и вдруг улыбнулся. Улыбнулся так, будто не клубнику проглотил, а лекарство от печали.

— Знаешь, это ведь здорово, что я тебя встретил.

— Если бы я знал, я бы еще больше постарался набрать ягод, — простодушно сказал Кашка.

— Чудик ты, — ласково сказал незнакомец. Осторожно подвинул на пне Шишана и сел. — Давай знакомиться, пока мой экспресс не затрубил.

И они познакомились. И Кашка узнал, что этого человека зовут Костя.

— Ну, расскажи, — сказал Костя.

— А что? — растерялся Кашка. Нечего ему было рассказывать.

— Ну, вообще... Что ты за человек? Какая у тебя жизнь?.. Или вот про него расскажи. — Костя взял на ладонь челотяпика.

— А, это Шишан, — отмахнулся Кашка. — Разведчик он... Только он ленивый...

И незаметно Кашка начал рассказывать. Сначала про Шишана: какой он засоня и размазня. Потом про смелого Мотоциклиста, про Капитана, про кораблик. И дальше — про свою Страну, где живут малыши-челотяпики и где можно увидеть дремучие леса и синий океан, если посмотреть в волшебную катушку... Он рассказывал так много потому, что Костя хорошо слушал. Спрашивал, когда Кашка замолчал. Помогал найти нужное слово, если Кашка не мог его вспомнить. Смотрел серьезно, и серьезность эта была безо всякой подделки.

Наконец Костя сказал:

— Значит, мы оба бродяги-путешественники.

— Ты путешественник? — спросил Кашка.

— Как и ты. Только моя Страна побольше... Слышал про Памир? Есть такие горы.

Кашка слышал, только не помнил, где и когда. Или по радио, или от папы. Но он помнил это название дальних гор. Он даже знал, что оно означает.

— Крыша Мира... — тихо сказал Кашка.

— Да, брат, это крыша... А про ледники ты знаешь?

Про ледники Кашка не знал. Правда, у них в сарае был ледник — небольшая яма с остатками зимнего слежавшегося снега. Вроде маленького погреба, чтобы хранить продукты. Но Кашка понимал, что не о таких ледниках говорит Костя.

— Это, наверно, где много льда, — сказал Кашка неуверенно.

— Это... ледяная река, — сказал Костя и прищуренно посмотрел на облака.

Кашка молчал. Ледяная река — это было непонятно.

— Массы льда, — сказал Костя. — Они ползут вниз по горным склонам. Ползут тихо-тихо, почти незаметно. Ведь это лед, а не вода. Но все-таки движутся. И у каждого ледника свой путь. Как у реки.

Кашка закрыл глаза и представил движение льдов. В шорохе прозрачных глыб, в перезвоне ломающихся льдинок они медленно и неотвратно надвигались, надвигались на Кашку всей тяжестью. Солнце разбивалось на блестящих гранях, но, несмотря на яркое сверкание, от ледяной реки веяло жгучим холодом. Кашка передернул плечами и открыл глаза.

— У каждого ледника свой путь, — повторил Костя. — Но один ледник сбился с пути. Пошел не туда, куда нужно. И это совершенно непонятно.

Он посмотрел на Кашку выжидательно и даже немного печально. Вот, мол, какая штука. Может быть, ты объяснишь, в чем тут дело? Но Кашка, разумеется, объяснить не мог.

— Непонятно, — снова сказал Костя. — Этот ледник нарушил все законы... В общем, надо пощупать его.

— По-щупать... — повторил Кашка и прыснул. Это показалось очень смешно — «пощупать» ледник, такую громадину.

Костя тоже засмеялся. И сказал:

— Такое дело. Приходится.

Он легко вскочил и встал над Кашкой — большой, сильный человек с обветренным лицом путешественника, покоритель гор и ледяных рек.

— Пора. — Он протянул Кашке коричневую узкую ладонь. Может быть, он хотел просто попрощаться, но Кашка ухватился за ладонь, чтобы встать с травы. Ухватился и тоже вскочил.

Они вышли из кустов к насыпи.

— Надо ехать, — сказал Костя.

Вдали над линией уже горел зеленый кружок семафора, и вверх по насыпи бежали к вагонам пассажиры. Костя чуть улыбнулся Кашке и разжал руку.

Кашка вдруг почувствовал, что расставаться жаль. Горько стало ему. Не так горько, как в тот день, когда провожал маму и папу, но тоже невесело.

— До свиданья, — тихо сказал Кашка и стал смотреть на зеленый семафор.

Костя торопливо шагнул к поезду. Шагнул, остановился вдруг и сказал:

— Подожди.

Он что-то вынул из кармана, вернулся и вложил в Кашкину ладонь твердую деревяшку. А потом бросился за вагоном, который уже тронулся.

На ладони у Кашки лежал челотяпик. Вырезанный из дерева путешественник. С рюкзачком, с остроконечным топориком, чтобы вырубать в скалах ступеньки. Кашка знал, что таких путешественников называют альпинистами, он про них кино смотрел. У Альпиниста был задорный вид и улыбающееся лицо.

Когда Кашка поднял глаза от подарка, он уже не увидел Костю. Вагон был далеко. В его дверь еще прыгали на ходу пассажиры.

И некому было сказать спасибо.

Потом, вспоминая и вспоминая эту встречу, Кашка, наверно, многое поймет. Поймет, почему было грустно расставаться с Костей. Кашка ведь и раньше встречал хороших людей, но провожал их без печали, потому что знал: будут другие встречи. А в этот раз Кашка не думал о других. Когда-нибудь он догадается, что Костя мог стать хорошим другом — ведь они оба путешественники. А еще позже Кашка подумает: «Наверно, наша встреча помогла ему сделаться веселее». Потому что отстать от своих — это не значит просто опоздать на поезд, где едут друзья..

Однако в то время ни о чем таком Кашка не думал.

Уже приехали мама и папа и укатила в Ишим баба Лиза. Уехал в город Пимыч — поступать в техникум. Говорят, он заходил перед отъездом, спрашивал Кашку, но тот болтался в лесу и попрощаться не успел. Уже поступил Кашка в первый класс и получил там прозвище Тишка (это от слова «тихо»); хорошо, что потом попала в класс девочка, еще более тихая, чем Кашка, и прозвище перешло к ней. Уже кончился сентябрь, и пришла пора всех челотяпиков переселить из леса домой, в коробку из-под ботинок. Уже успел Кашка получить два нагоняя — от мамы и от отца — за то, что вытащил из погребка остатки льда и сделал во дворе ледник для Костиного Альпиниста.

И еще один раз Кашке попало. За то, что поздно вернулся домой. Но об этом случае он думал без огорчения, потому что помнил про костер.

В тот день, возвращаясь из школы, Кашка забрел в лес. Целый месяц он здесь не был. Стояла серая осенняя погода, и шумели вершины. Но и такой хмурый лес Кашке нравился.

Кашка бродил долго и зашел так далеко, как не заходил еще ни разу. Пересек сосновый бор и вышел к песчаному обрыву, под которым бежал ручеек. Вдоль ручья, по другому берегу, шла дорога. Наверно, она вела в поселок. Кашка решил по ней вернуться к дому.

Он съехал вниз вместе с пластами сырого песка. Здесь ручей казался не таким узким, как сверху. Темная вода завивалась в воронки и крутила листья, принесенные из дальнего березового леса.

Через этот ручей надо было прыгать.

Чтобы отрезать себе обратный путь, Кашка перебрался на другой берег портфель. Потом собрался с духом и прыгнул сам. Он перелетел через ручей удачно, даже ног не замочил, но его ждала другая неприятность. Оказавшись на дороге, Кашка понял, что не знает, в какую сторону идти.

Сначала Кашка сел на портфель и решил ждать прохо-

жих или машину, чтобы узнать правильный путь. Ни беспокойства, ни страха он не чувствовал, хотя и понимал, что дома попадет за такое опоздание.

Но скоро ему стало холодно. Он поднялся и пошел вверх по ручью, наугад.

Кашке повезло. И дело не в том, что он выбрал правильную дорогу. В конце концов он все равно бы вышел к дому. Ему повезло потому, что в своем знакомом лесу, уже недалеко от поселка, он увидел костер.

Огонь разожгли незнакомые ребята. Среди черных со-сен и облетевших берез играло желтое летучее пламя.

Кашка несмело подошел к огню.

— Я погреться, — сказал он, хотя никто не спрашивал.

Большие мальчишки молча раздвинулись и впустили Кашку в свой круг

Они не сажались на землю, потому что земля была сырой и холодной. Стояли и жарили на прутьях куски хлеба. Кто-то сунул Кашке в ладонь теплый подсохший ломтик. Все молчали, и Кашка молчал. У огня молчать легко. Огонь с треском перемалывал сучья. Быстрые языки его взлетали выше головы, рвались на клочья, скручивались в кольца.

Вот тогда впервые Кашка и подумал: «Огонь как живой. Он похож на жар-птицу...»

Может быть, Костя и спрашивал Кашку про костер? «А ты что здесь делаешь? Тоже ищешь свою жар-птицу?»

Костер высоко выбрасывал оранжевые перья и жаром дышал в лицо. Но Кашка не отходил. Ему было хорошо среди молчаливых мальчишек у кипучего пламени. Так хорошо, будто он получил письмо от Кости.

Но ребята разобрали рюкзаки и ушли. У них была своя дорога. А перед этим они затоптали, засыпали костер. И он умер. Осталось только угольное пятно с низкими сизыми дымками. Кашка торопливо зашагал домой.

Но он не забыл слова, которые пришли к нему у огня:

«Костер как живой, он похож на жар-птицу...»

Это были не простые слова. Они — как строчка из песни. Повторялись и повторялись сами собой. Словно продолжились...

С тех пор прошел почти год. Чуть поменьше года. Кашка многое узнал и понял. Он умел теперь находить на карте Москву, Тихий океан, Кубу. И Памир. Мог считать до тысячи (а может быть, и больше, только не хватало терпения). Сам читал книжки, и не только тоненькие, а даже такие, как «Приключения Карика и Вали». Он твердо не верил в чудеса и сказки, потому что знал: их не бывает. Лишь одной сказке, своей, он немножко верил. Верил, что огонь живой. Иначе все непонятно. Если он не живой, то почему рождается, живет и умирает? Почему бывает и веселым, и печальным, сердитым и добрым? И почему, когда горит костер, хочется быть к нему поближе?..

В июне Кашку отправили в пионерский лагерь. Собирался Кашка с охотой, но в лагере затосковал. И места, и ребята были чужими, а быстро привыкать и знакомиться Кашка не умел. Он слонялся по лагерю, глотал потихоньку слезы и, когда никто не видел и не слышал, шепотом разговаривал с челотяпиками — Мотоциклистом и Альпинистом. Но они были все-таки челотяпики, а не люди. И сейчас даже зловредному Левке Махаеву Кашка обрадовался бы как другу. А мимо пробегали незнакомые мальчишки и девчонки. Иногда окликали Кашку, кричали что-то веселое. Но никто не догадался заглянуть в его тоскливые глаза.

Лишь вечером второго дня Кашка повеселел. Было праздничное открытие лагеря, и на костровой поляне развели большой огонь. Костер примирил Кашку с лагерной жизнью. «Наверно, его будут зажигать каждый вечер», — думал Кашка. А когда стало известно, что костры здесь редкость и что, может быть, ни одного больше не будет до самого конца смены, Кашка уже почти привык жить в «Синих Камнях», и тоска по дому стала совсем несильной.

А костер все-таки зажгли снова. В честь стрелков — участников турнира. И оруженосец Кашка сел на траву,

чтобы смотреть в огонь и думать о жар-птице. Иногда он жмурился, и следы пламени танцевали в глазах, складывались в непонятные рисунки. «Если не открывать глаза, то можно заснуть здесь и, наверно, можно увидеть во сне настоящую жар-птицу», — подумал Кашка.

Вдруг она в самом деле приснится... жар-птица. Ведь костер... как живой, он похож на жар-птицу. Она... сегодня, наверно, приснится...

Так вот, сами собой и сложились эти слова. Кашка удивился такой удаче, нащупал локтем березовый пенек и привалился к нему.

Гудело пламя, и теплый воздух волнами перекатывался через Кашку. Искры возносились в небо и смешивались со звездами. Звезды мерцали так, как, наверно, мерцают маяки, которые не гаснут. Оранжевая жар-птица плясала на поляне, разбрасывая золотые перья. У нее были красные лапы и зеленые глаза-бусинки...

Спи, пока не гаснут маяки...

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ребята один за другим уходили с поляны. У огня осталось человек десять. Костер прогорел, головешки стреляли пучками желтых искр и рассыпались на красные кубики. По ним змейками пробегали пепельные тени.

Володя долго смотрел на угли, и, когда оторвал взгляд, в глазах затанцевали зеленые бабочки. Потом они растаяли, и Володя увидел черные березы. Над березами висел тонкий светлый месяц. Вдруг месяц начал расплываться, и Володя почувствовал, что слипаются ресницы. Больше всего захотелось добраться до постели и залезть под одеяло.

В палатке он включил фонарик и положил его так, чтобы свет отражался от парусинового потолка. Затем стянул рубашку и бросил на матрац. Не на свой, а на соседний. На Кашкин. И только тут сообразил, что Кашкина постель пуста.

Володя был настолько утомлен, что даже не смог разозлиться. «Пусть... — подумал он. — Никуда этот несчастный Кашка не денется...»

Да, но вдруг он все-таки куда-нибудь денется? Забредет в темные кусты и начнет скулить от страха. Или еще что-нибудь... Отвечай потом за него...

Володя чуть не заплакал от усталости и досады. «Чтоб он провалился, этот оруженосец!» Пришлось тащиться к угасающему костру.

Кашка спал у березового пенька. Спал как на кровати: подложил под щеку ладони, подтянул к животу перепачканные золой колени и, наверно, видел во сне что-то хорошее, потому что улыбался.

Над Кашкой стояла Райка. Она заметила Володю и сказала жалобно и нараспев:

— Позабыли бедного оруженосца. Бросили маленького.

У Володи пропало желание ругаться. При Райке приходилось быть сдержанным и сильным.

— Я думал, он давно в палатке, — объяснил Володя и взял Кашку за плечо: — Вставай.

— Дождик будет... — пробормотал Кашка и заулыбался во сне еще шире.

Райка тихонько засмеялась.

— «Дождик», — сказал Володя сквозь зубы. — А ну вставай! — Он тряхнул оруженосца покрепче.

— М-м... — ответил Кашка и разогнул одну ногу.

— Безнадежное дело, — вмешалась Райка. — Тащить придется.

— Придется...

Кашка оказался легоньким. Володя нес его на руках, как охапку сухих дров. Кашкины волосы мягко щекотали ему плечо, а ноги болтались и колотили пятками по бедру.

— Спокойной ночи, — сказала вслед Райка.

— Угу... — откликнулся Володя.

В палатке он не очень аккуратно брякнул оруженосца на постель и сдернул с него сандалии. Потом посмотрел

на Кашкины штаны. Они были вымазаны сажей и землей. Новые простыни светились, как нетронутый снег. Володя чертыхнулся и начал вытряхивать оруженосца из штанов.

Коричневая куколка выпала из Кашкиного карманчика. Это был деревянный Альпинист.

— Смотри-ка ты... — озадаченно сказал Володя.

Маленький путешественник смотрел на него из-под козырька крошечной фуражки. Но ведь Володя ничего не знал. Он подержал Альпиниста на ладони, аккуратно спрятал его на старое место и опять взялся за спящего оруженосца.

А когда Кашка был наконец уложен, Володя почувствовал, что спать уже не хочется. И вдруг ему стало смешно. По-настоящему смешно. «Рыцарь Фиолетовых Стрел, — сказал он себе. — Рыцарь Пеленок и Сосок. Ну и влип же ты, рыцарь...»

Володя лег поверх одеяла и выключил фонарик. «Провалю завтра всю стрельбу», — подумал он, однако особого беспокойства не почувствовал.

В палатке звенел одинокий комар. В узкой прорези входа синело ночное небо. Потом туда протиснулся месяц и зацепился за край парусины отточенным рожком. На поляне кто-то подбросил на угли сухие ветки, и в палатке запрыгали рыжие отблески.

И этот комариный звон, этот месяц и отсветы огня да еще легкий запах дыма отвлекли Володю от мыслей о стрелах, о Кашке, о турнире.

Потому что он вспомнил прошлогоднее лето. Вспомнил Белый Ключ. Костры над озерами. Отражение месяца в черной воде. Стрекоз с шестиугольными глазами. Обиды и радости прошлых каникул.

В том году, окончив пятый класс, Володя устроил дома бунт. Когда мама показала путевку с толстошеким лупоглазым горнистом и палатками на картинке, Володя сунул руки в карманы, посмотрел за окно и четко произнес:

— Не поеду.

Он устоял под первой волной упреков, угроз и уговоров. Когда мама сделала передышку, он повторил:

— Не хочу.

— Изверг, — сказала мама. — Эгоист. Я с таким трудом... Вот подожди, придет папа.

Пришел папа, и все повторилось при нем.

В заключение мама попробовала заплакать. Володя держался.

— Может быть, объяснишь, что это за фокусы? — спросил папа.

— Объясню, — сказал Володя. — Объяснить — это пожалуйста. За что я должен мучиться почти целый месяц? В столовую — строим, из столовой — строим, купаться раз в день по пять минут, да и то не всегда. Зато спать по два часа в день — обязательно! За смену это сорок восемь часов. Это двое полных суток, убитых наповал! За что? А палатки только на картинках! Издевательство...

— По его мнению, режим — это издевательство, — сухо сказала мама и отвернулась. Весь ее вид говорил: «Полюбуйтесь, кого мы вырастили».

Володя зажал в себе шевельнувшуюся совесть и нахально сказал:

— Вы нарочно хотите, чтобы я мучился.

Мама сурово выпрямилась и вышла из комнаты. Папа нерешительно спросил:

— Может быть, тебе уши надрать?

— Пожалуйста, — равнодушно откликнулся Володя. — Это не поможет.

— Чего же ты хочешь?

Володя промолчал. У него была ясная цель.

— Ты же знаешь, что с мамой в Кисловодск нельзя, там санаторий для взрослых. Дома одному — тоже не жизнь.

Володя это знал.

— Уж не хочешь ли со мной на раскопки?

Именно этого Володя и хотел. Больше всего на свете.

Но вслух это высказать не решился и неопределенно пожал плечами.

— Вовка, нельзя, — тихо сказал папа. — Не разрешат. В прошлом году у одного из сотрудников дочка заблудилась в песках, и теперь не разрешают детей брать. Специальный приказ по институту. Разве бы я не взял тебя?

Чувствуя предательскую слезу, Володя шепотом попросил:

— Ты скажи, что мне не с кем остаться.

— Тогда меня отстранят.

Это был тупик. Тупик, потому что Володя уже поведал, что в лагерь ему действительно очень не хочется.

— Ну, Аллах с ним, с лагерем, — решил папа. — Давай так. Ты поедешь в Белый Ключ.

В Белом Ключе жил дядя Юра, папин друг. Он заведовал там школой. Володя его хорошо знал. Это был сутулый, очень высокий человек, похожий на совхозного механика или бригадира-строителя и ничуть не похожий на школьного директора. Иногда он приезжал в город на разные семинары и совещания, и по вечерам Володя и он с молчаливым озорством резались в шашки. Стук стоял такой, будто шла игра в домино. Проиграв очередную партию, дядя Юра распрямлялся за столом, потягивался и говорил:

— Силен... Ты, Володька, приезжай к нам в гости. С Надеждой познакомишься. Она, брат, тебе не проиграет. — И опять нагибался над доской. — А ну давай...

Знакомство с неизвестной Надеждой не казалось Володе заманчивым, но сейчас выхода не было.

Маме доказали, что Володя не маленький и до Белого Ключа доедет один.

Он действительно доехал благополучно, дал со станции домой телеграмму, быстро отыскал дом дяди Юры, был встречен, накормлен обедом и — заскучал.

Дядя Юра, занятый ремонтом школы, исчез из дома.

Надежды тоже не было. Ее бабушка, небольшая старушка сурового вида, погромыживала в кухне сковородками.

Володя сидел в незнакомой комнате, чувствуя неловкость от своего безделья и от того, что он, кажется, лишний в этом доме. С горькой печалью вспоминал об отвергнутой лагерной путевке.

К счастью, вернулся дядя Юра. Заглянул в комнату и весело приказал:

— Володька! Долой кручину! Обживешься, познакомишься, дело найдешь! А пока шел бы погулял. Поселок посмотришь. Может, с нашими хлопцами знакомство заведешь.

Володя с облегчением ушел из дому. Он двинулся наугад, и улица привела его к большому пруду с берегами, поросшими черемухой и ольшаником. Володя продрался к воде. Он разулся и побрел вдоль берега, отыскивая место, годное для купания. Но везде было топкое илистое дно и угрожающе торчали зеленые клинки осоки.

— Болото, — сказал Володя.

В трясине одобрительно заорали лягушки. Володя плюнул, ушел от пруда и уже другой дорогой вернулся к дому.

На крыльце Володя увидел девчонку. Она остервенело терла мокрой тряпкой ступени. Короткая тощая коса серdito моталась у ее плеча.

«Надежда», — понял Володя.

Здороваться с незнакомой девчонкой было неловко. А знакомиться с девчонками Володя не умел. Можно было бы тихонько уйти и погулять, пока Надежда моет крыльцо, но Володя не успел. Она его заметила. Быстро глянула на него из-под нависших прядей, отвернулась, выжала над громадным ведром тряпку и снова принялась безжалостно драить половицы.

И нельзя уже было отступить. Смешно. Тогда Володя решил, что пройдет в дом, не сказав ни слова. Не обратит никакого внимания. В конце концов, он не обязан обра-

щать внимание на всяких лохматых злюк. А то, что она злюка, сразу видно. Вон как чешет тряпкой!

Володя сделал равнодушное лицо и зашагал к дому. Широко и независимо. Но у крыльца он все-таки остановился. Желтые мокрые доски просто светились от чистоты. Страшно было ступать на них пыльными подошвами. И чтобы не оставлять лишних следов, Володя решил прыгнуть сразу на верхнюю ступеньку.

И прыгнул.

Это был отличный прыжок. Быстрый такой и красивый. Как у спортсмена-разрядника. Но спортсменам не суют под ноги тяжелые ведра. А ему сунули. Раздался железный грохот и шум воды.

Володя стоял наверху, Надежда на средней ступеньке, а ведро лежало на земле и перекатывалось с боку на бок. По желтым половицам бежали мутные струи.

— Слон, — тихо, но отчетливо произнесла Надежда.

— Я нечаянно, — сказал Володя виновато, но с сердитой ноткой. Он здорово трахнулся о ведро ногой.

— За «нечаянно» бьют отчаянно, — заявила Надежда. Она, кажется, обрадовалась, что можно прицепиться.

А Володя почувствовал облегчение: как-никак знакомство началось. Он объяснил этой девчонке почти дружелюбно:

— Я думал, успею проскочить, пока ты ведро двигаешь.

— За «пока» бьют бока, — неумолимо ответила Надежда. Бросила на Володю сверхпрезрительный взгляд и принялась тряпкой собирать со ступеней воду.

Или у нее были неприятности, или такой дурацкий характер? Распсиховаться из-за пустяка!

Володя плюнул через перила и прислонился к косяку. И усмехнулся.

— Ты что-то все про одно и то же. Все «бьют» да «бьют». Ты, что ли, бить будешь?

— Ладно, топай отсюда, — сказала она, не разгибаясь.

— Захочу — уйду, захочу — не уйду. Не к тебе приехал.

Надежда выпрямилась и глянула на Володю с некоторым интересом. У нее были узкие светлые глаза и белое широкое лицо. Круглое, словно донышко от кастрюли. Совсем не годилось ей такое лицо, потому что сама Надежда была тонкая, вернее, худая и ростом не маленькая. Наверное, с Володю.

Смотрела она молча секунды три. Потом произнесла чуть нараспев:

— Па-адумаешь! Не ко мне он приехал...

— А вот па-адумай.

— Больно надо. Ходят тут стилиаги всякие... Полуштанник расписной.

Она, видимо, намекала на его шорты с блестящими заклепками и новую рубашку в большую черно-желтую клетку. Ну и что? Не сам же он клепки ставил и клетки малевал! Или, может, ему в лохмотьях надо было приехать? Он даже не разозлился. Растерялся как-то.

— Вот... дура ненормальная.

Она подбоченилась и ехидно спросила:

— А бывают нормальные дуры?

— Бывают, — обрадованно сказал Володя. Теперь он знал, как ответить. — Бывают. Это которые знают про себя, что они дуры, и никуда не суются. А ненормальные считают себя умными. Это вроде тебя...

Трах! Показалось Володе, что с крыши сорвался железный лист и плашмя хлестнул по щеке. Но это не лист! Это была Надеждина ладонь, мокрая и твердая! И в тот же миг Надежда кошачьим прыжком отскочила шагов на пять.

— Сlopал блин? Еще хочешь? Ы-ы-ы... — Она выставила язык, свернутый в аккуратную трубочку. Лицо у нее сделалось продолговатым, а глаза совсем спрятались в щелочках белесых коротких ресниц. Вдруг она повернулась и побежала к калитке.

Володя ощутил, как в нем наливается холодное и тяжелое словно ртуть бешенство. Он, прищурившись, смот-

рел ей вслед, а руки его действовали сами собой. Молниеносно отыскали в заднем кармане рогатку, одним рывком распутали резину. Нашупали в другом кармане глиняный шарик. Володя даже и не думал, что может промахнуться. Он точно знал, что влепит ей твердую глиняную пулю между лопаток, прямо по тому месту, где колотится растрепанный конец тощей косы. И тогда девчонка завертится, взбрыкивая худыми ногами, и завоюет на весь Белый Ключ.

И он бы попал! Но проклятая Надежда споткнулась и полетела носом в лопухи. А шарик свистнул над ней и угодил в корчагу. Эта посудина стояла на перевернутой бочке, сохла после мытья. Получив глиняный заряд, она как-то неловко крякнула. От маленькой черной дырки вверх и вниз разошлись змеистые трещины, и корчага лопнула, как громадная оранжевая почка. Одна половинка осталась на бочке, а другая плюхнулась в траву.

Надежда встала, отряхнула подол и многозначительно сказала:

— Т-так...

Володя спустился с крыльца и молча прошел в калитку. Мимо Надежды. Ни на нее, ни на разбитую посудину он даже краем глаза не взглянул, но на душе было тошно. Он подумал даже, что хорошо бы махнуть на все рукой и прямо сейчас, не заходя за вещами, укатить домой.

За станционными березами обрадованно закричал электровоз.

Володя сунул руку в карман и нашупал один пятак и шесть глиняных шариков. В другом кармане было три шарика. В третьем... В общем, карманов было много, а денег — пять копеек. Остальные лежали в чемоданчике, а он стоял в доме.

Володя почти час бродил по улицам Белого Ключа. Они заросли подорожником и одуванчиками. Даже в пыльных колеях упрямо торчали острые травинки. Было тихо и пусто. Прохожие встречались редко-редко. Только по тро-

пинкам вдоль заборов сновали деловитые коты, а по дорожке вереницами ходили белые утки.

На плетнях висели рыжие блестящие кринки и напоминали Володе о неприятности с корчагой. На одну из кринок неизвестно откуда взлетел тощий петух. Потоптался на шатком доньшке, наклонил голову и одним глазом укоризненно уставился на незнакомого городского мальчишку: «Ага! Значит, это ты бьешь посуду из рогатки! Ну-ну...»

— Пошел вон, дохлятина, — сказал ему Володя.

Петух оскорбленно заорал, захлопал крыльями и свалился в лебеду.

Улицы поселка сходились на площади. Впрочем, это место лишь называлось площадью, а на самом деле там был невысокий зеленый бугор. На нем росли редкие, наклонившиеся в разные стороны березы, а на самом верху стояла большая красная церковь без креста. Володя подошел и увидел синюю вывеску: «Клуб».

По обеим сторонам каменного крыльца стояли фанерные щиты для рекламы. На правом белела новая афиша: «Концерт артистов областной филармонии. Ю. Жаров, С. Шалимов, П. Пяткин — эстрадное трио.

Л. Чарский — оригинальный жанр. А. Якоби — песни советских и зарубежных композиторов...»

Все это было совсем неинтересно. Володя вздохнул и повернулся к левому щиту. Щит был пуст. На некрашеной фанере кто-то размашисто написал мелом: «Антипов! Когда кино привезешь?» А пониже виднелись нацарапанные кирпичом слова: «Антип — нахальный тип». Буквы были неровные. Видно, тот, кто писал, торопился ужасно.

Хорошо, когда надо торопиться. А Володе спешить было некуда. Хоть совсем не возвращайся в дом, где живет вредная лунолицая девчонка... Но он вернулся. Очень захотелось есть, да и все равно весь день бродить не будешь.

Он пришел в самый неподходящий момент! Во дворе разбирался вопрос о разбитой корчаге. Разбирала его ба-

бушка. Надежда сидела на крыльце и равнодушно смотрела поверх забора. Дядя Юра у дверей сарая насаживал топор на топорнице и внимательно слушал бабушкину речь.

— Корова бессовестная, неуклюжая! Глаза бы мои не глядели, — громким плачущим голосом говорила бабушка, но лицо ее было не жалобным, а суровым. — В чем я тесто буду ставить, а? Ну, в чем? А, молчишь? Нечего глазами по небу рыскать, отвечала бы лучше! Думала, угощу мальчонку пирогом, а тут вон чего!

«Не до пирога уж, быть бы живую», — отметил про себя Володя. Он остановился в калитке, с опасением глядя на сердитую старушку.

— Обойдется он без твоего пирога, — сказала отвратительная Надежда и зевнула.

— Обойдется! Это ты обойдешься! Где я такую посуду найду? Ее в городе теперь не сыщешь! — Бабушка горестно склонилась над черепками. — Большая да крепкая была...

— Крепкая... — с презрением бросила Надежда. — Чего ж она с одного щелчка развалилась?

— Со щелчка! — вскипела бабушка. — Голову бы свою щелкала такими щелчками. Разбила и сидит, будто и дело не ее!

— Если кто-то думает, что я буду рыдать из-за разбитого горшка, то это просто смех, — сказала Надежда.

— Горшка! — ахнула бабушка.

— Ну и фрукт же ты, Надежда, — подал голос дядя Юра. — Возьму я в одну руку твою косу, а в другую этот веник...

Надежда стрельнула глазами в его сторону и слегка напряжила ноги.

— Если кто-то думает, что меня можно догнать, так это просто смех.

— А если кто-то думает, что пойдет сегодня в клуб на концерт, так это просто хохот, — заключил дядя Юра.

— Ну и ладно, — заговорила Надежда. — Подумаешь!

Больно мне надо всяких фокусников смотреть... Будто я нарочно ее разбила! Ну и ладно, идите сами в свой клуб.

«Кислое дело, — подумал Володя. — Ждать дальше некуда».

Вздохнув про себя, он оттолкнулся плечом от калитки и заговорил:

— Врет ведь она, дядя Юра. Эту посудину я расколотил.

Дядя Юра воткнул насаженный топор в чурбак и распрямился.

— А, вернулся, — сказал он. — Ну как погулял?

— Нет, в самом деле я, — повторил Володя. — Из рогатки нечаянно. Я хотел в нее попасть. — Он мстительно кивнул в сторону Надежды. — Прицелился, а ее угораздило на ровном месте запнуться.

— Ишь ты, какое дело, — с интересом сказал дядя Юра. — А чего вы не поделили?

— Да так. Ерунда...

— Все одно, через нее это, — вмешалась бабушка. — Кто же это в хорошего человека станет из рогатки пулять?

Надежда поднялась и гордо ушла в дом.

Идти вечером в клуб она отказалась. Володя подумал и тоже не пошел. На концерт отправились дядя Юра и мать Надежды, которая вернулась с дежурства на почте.

Бабушка заняла у соседей корчагу и заводила на кухне тесто.

Володя вышел на крыльцо, не зная, куда себя девать. Надежда кормила кур. Она покосилась на Володю, хмыкнула и сказала:

— Заступник какой... Цып-цып-цып, жрите вы, прорвы... Больно мне надо, чтоб за меня заступались. Кажется, я никого не просила вмешиваться...

— Я не ради тебя вмешался, а ради собственной совести, — внушительно сказал Володя.

— Па-думаешь! Ради совести!

— Ты па-думай. Полезно, — ядовито предложил он и с беспокойством вспомнил, что разговор днем начинался

так же и кончился печально. «Фиг с тобой, — решил Володя. — Буду молчать».

Надежда вдруг разогнала кур и сказала:

— Айда на пруд. Искупаемся.

— Мне не жарко, — сухо ответил Володя.

— Простудиться боишься?

— Да где там у вас купаться? Трясина кругом!

Он думал, что Надежда опять разозлится. Но она миролюбиво объяснила:

— Ты не туда ходил. Надо к плотине. Там вода прозрачная и дно с песком. Пойдешь?

— Ну пойдём.

Они шагали молча, потом завели отрывистый, но уже не сердитый разговор: «В этом доме у нас библиотека». — «Хорошая?» — «Да так...» — «Тихо у вас». — «Здесь не город». — «Конечно». — «Сейчас к тому же все в клубе». — «Ты зря не пошла». — «А ты?» — «Не хочется». — «И мне...»

В конце пути уже позабылась ссора, и Володя подумал, что Надежда — девчонка неплохая, только характер у нее не очень.

Было около семи часов вечера. Солнце стояло еще высоко и до дна просвечивало зеленую воду. На дне тускло блестели песчинки. Вода сонно ворчала под плотиной и, пробившись через нее тонкой струйкой, прыгала в заросшее русло ручья. Пахло сырым деревом и разогретой травой. Кусты обступили пруд вплотную, и в этой зеленой тишине хотелось почему-то говорить шепотом.

— Можно с берега заходить или с плотины прыгать, — вполголоса заговорила Надежда. — Наши мальчишки прыгают с плотины. Только там опасно: колья торчат.

«Надо же! «Наши мальчишки!» — подумал Володя. Он разделся и пошел на середину плотины, цепко ошупывая босыми ступнями шершавые бревна. Надежда торопливо сказала вслед:

— Мне неохота в воду лезть. Я сегодня три раза купалась.

Володя остановился над водой. Глубина казалась порядочной. Коля, торчащие со дна, были отлично видны. Володя присел, распрямился и по дуге ушел в воду.

На глубине он открыл глаза. В мутно-зеленом сумраке колья чернели, как костяк громадной рыбы. Поверхность воды снизу казалась блестящей и непрозрачной. Володя пробил ее головой и неторопливо поплыл к берегу. Выбрался и запрыгал на крохотном песчаном пятчке, чтобы вытряхнуть из ушей воду. Ресницы были мокрые, и Надежду он видел расплывчато, будто сквозь стекло, залитое дождем.

— Хорошая вода, — сказал Володя. — Только болотом отдает немного.

— Мы привыкли... Зато здесь рыба водится. Наши мальчишки все время рыбачат... А в городе река большая?

— Конечно. У нас же судонервья громадная.

— Поглядеть бы, а? — как-то по-хорошему, доверчиво сказала Надежда.

— Разве ты никогда в городе не была?

— Была, конечно. Только все как-то мельком. Ну, в театр, в музей сходишь, и домой пора...

— Ты приезжай, — предложил Володя и сел рядом. — У нас теперь летний трамплин построили. Планетарий скоро откроют. Пристань новую строят, чтобы танкеры с нефтью принимать. Это тебе не музей.

— Я постараюсь, — пообещала она. — Только тут у нас тоже места хорошие. Вот увидишь.

— А почему такое название — Белый Ключ?

— Скала есть за поселком. Она не совсем белая, но светлая. Светло-серая. Рядом родник. Вот и название такое, старинное. Потом сходим туда, если хочешь.

— Сходим...

Жизнь как будто налаживалась. Все теперь нравилось Володе: и тишина, и пруд с россыпью солнечных бликов, с зеленой тенью у плотины, и притихшая Надежда, и даже болотный привкус теплой воды.

Затрещав слюдяными крыльями, прилетела стрекоза и села Володе на локоть. Она была блестящая, красная, с оранжевыми крапинками на крыльях.

— Смотри-ка ты! Никогда таких не видел, — удивился Володя. — Черных видел, голубых, зеленых, а таких — ни разу.

— У нас их сколько хочешь, — оживилась Надежда.

Держа локоть со стрекозой на весу, Володя разглядел эту живую модель аэроплана.

— Ну и глазищи... Смотри, в них солнце отражается.

— Ага, — отозвалась Надежда.

— Ты погляди, оно не кружками отражается, а шестиугольниками. Знаешь, почему?

— Ой, верно! Почему?

— У нее каждый глаз из мелких глазков состоит. Как будто из ячеек таких шестиугольных. Вот и отражение такое. Это мне один семиклассник рассказывал, Борька Тимофеев. Он в нашем доме живет.

Надежда молчала. Она прислушивалась. Володя снова перевел взгляд на стрекозу и тряхнул рукой.

— Старт!

Крылатая гостья с треском ринулась в полет.

— Стрекоза — шестиугольные глаза... — с усмешкой сказал ей вслед Володя.

И услышал:

— Вранье это...

Голос Надежды был злой и скучный.

Она стояла теперь и враждебно смотрела на Володю сверху вниз.

— Врет твой Борька Тимофеев! — громко повторила она. — И ты врешь! Думаешь, из города приехал и можешь про что хочешь трепаться?! Звонарь несчастный!

Она по-кошачьи отпрыгнула и скрылась в кустах, только ветки закачались. Володя ошарашенно посмотрел на эти ветки и запоздало крикнул:

— Пиявка тебя, что ли, укусила?!

Особой злости он не почувствовал. «Дикая какая-то, — решил он. — Не поймешь, с чего взорвалась. Ну ее...»

Уходить от пруда не хотелось. Он посидел еще полчаса, просто так, ни о чем особенном не думая, а потом оделся и лениво побрел к дому.

...На полпути он встретил тех, которые хотели его бить.

Они шли сомкнутой шеренгой. Володя почувствовал смутную тревогу и на всякий случай свернул к забору. Но они, тоже будто случайно, перешли с дороги к самому краю улицы. Больше влиять было нельзя: и неловко, и бесполезно. Володя вздохнул, принял беззаботный вид и неторопливо двинулся навстречу опасности.

Опасность состояла из четырех человек. В середине шагали двое мальчишек Володиного возраста или чуть постарше. Один, белобрысый и толстогубый, был в голубой майке, прожженной на животе, и в обтрепанных лыжных штанах. Он показался Володе добродушным и не очень опасным. Зато второй, высокий темноволосый мальчишка, отутюженный и стройный, как граф Монте-Кристо, не понравился Володе совершенно. Он шел, лениво покусывая какой-то трубчатый стебель, и, кажется, смотрел на Володю с холодным любопытством. Будто на бабочку для коллекции, для которой уже готова булавка.

По сторонам от этих двух шли пацаны поменьше. Оба рыжие, но не одинаковые. Один — с волосами медно-красного оттенка, толстощекий и коренастый. Второй — золотисто-рыжий, с большим, как полумесяц, ртом и длинными, тонкими, словно бамбуковые удочки, ногами.

В голове у Володи совсем некстати запрыгали строчки забытого стихотворения:

Четверка дружная ребят
Идет по мостовой...

Дружная четверка приближалась с неторопливостью уверенного в удаче хищника. Володя тоже не спешил. Но

все-таки они двигались, и наконец остался промежуток всего в пять шагов. Тогда «граф Монте-Кристо» сказал:

— Стой.

Неизвестно, кому он скомандовал: своим ребятам или Володе. Остановились все.

Белобрысый мальчишка в прожженной майке ощупал Володю светло-голубыми глазами и неторопливо спросил:

— Это ты, что ли, к Веткиным из города приехал?

Володя постарался спрятать за насмешливым тоном острую настороженность.

— Я, что ли... А что?

— Мы тебя сейчас лупить будем, — сообщил «граф». — Если у тебя оправдания какие-нибудь есть, давай говори. — Голос у него был басовитый и мрачный.

Оправданий Володя не имел. Был у него только вопрос:

— За что?

— Ты ваньку не валяй, — сказал «граф». — Смотри, Юрка, он как будто и не знает.

Голубоглазый Юрка спросил в упор:

— Ты Надьку зачем задеваешь?

«Ябеда, предательница!» — подумал Володя и ответил:

— Что-то не помню.

— Ну, сейчас припомнишь, — пообещал Юрка.

Рыжие адъютанты выжидательно глянули на своих командиров: «Уже начинать?»

«Туда же, малявки», — беззлобно подумал Володя.

Сзади была пустая дорога, и Володя знал, что никто его не задержит и никто не догонит. Но бежать по улице и думать, что, может быть, из каждого окна с насмешкой и любопытством смотрят на это незнакомые жители Белого Ключа! А не бежать — излупят.

— Когда я ее задевал? — хмуро спросил он.

— Он ее утром два раза бил и вечером один раз. И стрелял из рогатки, — доложил Юрке медноволосый. При

этом на Володю он не смотрел и жевал большое желтое яблоко. Интересно, где он достал такое яблоко в июне?

— Вранье же это, ребята! — самым искренним тоном сказал Володя. — Ну зачем я ее бить буду? Только из рогатки один раз, да и то мимо. И она же первая виновата!

— Гляди, как выкручивается! — сказал тонконогий мальчишка голосом писклявым и беспощадным.

Юрка втянул воздух и решительно поддернул штаны, давая понять, что разговор кончен.

— Четверо на одного? — спросил Володя и подбоченился. Не для фасону, а для того, чтобы легче было скользнуть правой ладонью в задний карман.

— А че? — поинтересовался «граф». — Нельзя?

— Даже семеро, — сказал Володя. — Вон еще к вам пополнение ползет.

Хитрость удалась. Они оглянулись, и Володя успел отскочить еще шагов на пять. А когда разозленные мальчишки развернулись для нападения, он уже стоял с растянутой и наведенной рогаткой. Он знал, что делает, но выхода не было.

— Ну? — сказал он, переглатывая от волнения. — Что встали? Давайте! Я успею выстрелить два или три раза. Два — это точно. Врежу между глаз без промаха. Так что двое сразу с копыт. А с остальными видно будет.

— А если смажешь? — неуверенно спросил «граф».

Остальные промолчали, беспокойно поглядывая на Володино оружие.

— Ты, рыжий, подбрось яблоко, — резко сказал Володя.

— Зачем?

— Подбрось. Успеешь еще сжевать. Выше бросай.

Хозяин яблока вопросительно глянул на Юрку, но тот не отрывал взгляда от рогатки.

— Ну, бросил... — Яблоко темным мячиком взлетело в вечернее небо.

Резина щелкнула с резкостью пастушьего кнута. «Мячик» в небе дернулся, и от него отлетел осколок. Потом

яблоко упало на дорогу, и четверо мальчишек бросились к нему.

Володя обошел их и зашагал к дому, на ходу перезаряжая рогатку. Он шел и очень боялся услышать за собой топот. Но топота не было.

Надежда оказалась дома и вела себя так, будто ничего не случилось. Расспрашивала родителей про концерт и жалела, что пришлось им смотреть такую сонную дребедень. Улыбалась Володе, когда ужинали, и подливала ему в кружку холодного молока.

— Все в порядке? Дипломатические отношения установлены? — спросил дядя Юра.

— На высшем уровне, — сказал Володя.

Надежда улыбалась.

— Слушай, Надя, — сказал Володя, — есть тут такой Юрка. Ходит в майке с дырой на пузе. Как его фамилия?

— А, это, наверно, Перевозчиков, — невинным голосом откликнулась Надежда. — А что?

— А ничего, — нежно сказал Володя. — Привет тебе от него.

Перед сном он вышел за калитку, сдернул с рогатки резину и забросил ее в крапиву. Потом зажал в кулаках гладкие деревянные рожки и рванул их в разные стороны. С громким хрустом рогатка разломилась. Это было очень грустно, однако ничего другого сделать Володя не мог. Еще в прошлом году, когда появилась опасность, что Большая Игра перерастет в Большую Войну, Володя вместе с другими мальчишками пообещал, что не поднимет рогатку ни на человека, ни на зверя, ни на птицу. Это случилось на берегу ручья, когда Сережа Вересов поднял с земли своего белого почтаря, перемазанного кровью, и, ничуть не скрывая слез, сказал:

— Сперва в голубей стреляете, потом в людей будете? Фашисты...

Вот после такого случая обе стороны и приняли «Закон об оружии».

А сегодня Володя нарушил этот закон дважды...

Утром Володя вышел на улицу.

Больше всего на свете в любых делах он не терпел неясности. Поэтому все неприятные вопросы старался решать как можно быстрее. Жить так было спокойнее и проще.

Сейчас его беспокоила мысль о здешних мальчишках. Драться с ними со всеми он не мог. А жить здесь целый месяц и прятаться все равно нельзя. Глупо это. Хуже всего именно то, что это глупо и смешно. Через несколько дней все ребята со смехом будут говорить, что в доме Веткиных живет новый мальчишка, которого надо поймать и отлупить. Многие даже не спросят, зачем это надо.

Может, и не поймают, но от насмешек все равно не скроешься, а они страшнее кулаков...

Володя шел серединой улицы, зорко поглядывая по сторонам. Он ступал неторопливо и твердо, как человек, уверенный в своей безопасности.

Но улица была пуста.

Лишь на следующем квартале он увидел первого местного жителя. Житель этот, лет пяти или шести, в длинных, разломаченных внизу штанах и голый до пояса, сидел на верхнем бревне золотистого нового сруба. Он был погружен в мысли.

— Эй! — окликнул Володя. — Ты там что делаешь?

— Сижу, — последовал ответ.

— Высоко там у тебя?

— Ага.

— А дом, где Юрка Перевозчиков живет, тебе видать оттуда?

— Его откуда хочешь видать, — сообщил местный житель. — Вон он, ихний дом, с ведром на трубе.

— Ясно. — Володя направился к дому с ведром на трубе.

— Драться будете? — оживился малыш. Видно, он был в курсе дела.

— Там посмотрим, — откликнулся Володя.

— Я отсюда буду глядеть, — сообщил мальчишка.

Володя двинулся вдоль низкого, сколоченного из березовых жердей забора и неожиданно увидел во дворе Юрку. Тот вытаскивал из сарайчика рогатые деревянные козлы, на которых пилят дрова. Юрка тянул их за «рога», и козлы упирались неструтаными ногами, как живой упрямый козел.

Володя взялся за березовую жердь и махнул через ограду. Юрка воевал со зловредным деревянным зверем и ничего не заметил.

Володя остановился у него за спиной.

— Привет, — сказал он.

Юрка обернулся, медленно разгибаясь и опуская руки. Он заулыбался растерянно и даже виновато.

— Здорово... — наконец ответил он. — Ты как это... не через калитку.

— Да так вот. Через забор, — не отвечая на улыбку, объяснил Володя. — Поговорить надо. Время есть?

— Да... есть...

— Ну вот... Тогда послушай, — начал Володя, старательно подбирая слова. — Я здесь буду жить целый месяц. Драться с вами мне неинтересно. Вас много... Я не боюсь, но получится плохо: вы меня каждый раз станете разделять так, что будь здоров. Приеду я такой разукрашенный домой... Ну что я нашим ребятам скажу? Они же не поверят, что тут все на одного нападают, потому что они до сих пор про такое свинство не слышали. В общем, если хотите, давайте один на один. По очереди.

Во время этой речи Юрка неуверенно моргал и все время хотел что-то сказать. А когда Володя кончил, он опять растянул в улыбке толстые губы и махнул рукой.

— Да брось ты это... Мы же просто так. Мы сперва не тебя, а Надьку бить хотели, а она повстречалась и разнылась. Говорит, мне от этого приезжего Володьки и так досталось, а тут еще вы. Говорит, заступились бы лучше... Мы и пошли заступаться. Ее-то мы всегда отлупить успеем.

— А за что? — с облегчением спросил Володя.

— За многое, — сказал Юрка и снова яростно вцепился в деревянного зверя.

— Подожди, — вмешался Володя. — Надо набок повернуть, а то не пролезет. Давай... А, черт, по ноге въехало. Вчера этим же местом об ведро треснулось...

Юрка, поднатужившись, притащил березовое бревнышко, принес из сарая пилу. Одну ручку пилы начал примащивать к старой диванной пружине, прибитой к стене.

— Техника, — объяснил он с неловкой усмешкой. — Может, полегче будет.

— Еще не пробовал?

— Не пробовал. Вчера только придумал.

— Ну и плюнь на эту технику. Ничего не выйдет. Я дома тоже устраивал. Все зря.

— Разве у вас дома тоже печка есть?

— Раньше была. Потом новую квартиру получили, с батареями.

— Да еще небось газ? А тут, чтоб обед сварить, и то пилишь, пилишь...

— А ну, давай, — сказал Володя.

Пилили молча. Тайком испытывали силу друг друга. Когда бревно распалось на два чурбака, Юрка заметил:

— А стреляешь ты классно.

«Отстрелялся теперь», — подумал Володя. И сказал:

— Тренировка.

— Долго тренировался?

— С прошлого года... Игра такая была. У нас в квартале три дома, и наш как раз посередине. А из тех домов ребята против нас были. Им между собой надо связь держать, а мы не даем. Тогда они придумали бутылки с записками по ручью пускать. Есть позади домов овражек с ручьем. Сначала еще почтовых голубей посылали, да не вышло, вот они и придумали эти записки. А с нашей стороны к ручью не подойти: берег высокий и скользко. Вес-

на была. Тогда и пришлось нам тренироваться: бутылки в воде расстреливать...

— Ловко, — одобрил Юрка. Покатал ногой березовый чурбак и спросил: — Ты на наших озерах не был?

— Нигде я еще не был...

— Завтра пойдем, — предложил Юрка. — У нас маленький бредешок есть. Он самодельный, из мешковины, да ничего, таскать можно. Караси с тарелку попадают...

И в эту секунду, наверно, волшебник, который командует временем, сорвал какую-то пружину. Время рванулось и понеслось, как лыжник с трамплина. И когда Володя вспоминал потом Белый Ключ, ему казалось, что все события произошли за один день, только день был долгий. И вспоминалось все не по порядку: стук дождя по перевернутой лодке; костры и маленькие золотые караси; месяц, тоже похожий на золотого карасика; вечерние улицы поселка и стремительный бег по огородам — игра в разведчиков; хохот в полутемном клубе: киномеханик Антипов пустил ленту задом наперед; звонкие удары по мячу; хрипловатый шепот Кольки Пальмина — «граф» рассказывает на сеновале страшную историю... И опять костры, отражение месяца, черные вершины леса...

И Надежда.

Была она какая-то разная. То гоняла футбол с мальчишками и ходила на рыбалку, то вдруг вскипала не из-за чего и, отругав ребят, убежала домой. То вдруг начинала жаловаться Володьке на остальных мальчишек и на свою скучную жизнь. А потом опять как ни в чем не бывало мчалась вместе со всеми в клуб, чтобы захватить в кинозале места получше. А когда помогали ремонтировать школу, взяла и вдруг мазнула Володю по щеке голубой масляной краской. А кисть была большая, шириной в ладонь...

И все-таки Володя вспоминал об этой девчонке без обиды. Попрощались они хорошо, и Надежда шепотом попросила:

— Ты еще приезжай...

А осенью он получил письмо:

«Здравствуй, Вовка!

Ты не сердись, что я все время ссорилась, ладно? Это из-за Катьки. Она такая дура. Я боялась, что она смеяться начнет, что мы все время вместе. Помнишь, когда мы на пруду сидели, когда ты только приехал, я разозлилась и убежала? Это я Катькин голос в кустах услышала и думала, что она следит за нами. Это глупо, конечно. Надо было ее отлучить, вот и все. А когда ты уехал, я шла со станции и Катьку встретила. Я думала, она смеяться будет, что я тебя провожала, а она стала вздыхать и говорит, что хорошо, что ты уехал, а то она боялась в тебя влюбиться. Вот дура! Верно? Без тебя скучно. Ты приезжай на будущий год, все ребята про тебя спрашивают, и я говорю, что приедешь...»

Это было такое письмо, будто и не девчонка писала. Без хитростей и ужимок, честное. И Володе вдруг до чертиков захотелось опять в Белый Ключ. Больше всего на свете захотелось. Если бы его тогда спросили, куда он больше хочет: в кругосветное путешествие или в Белый Ключ, он бы, наверно, махнул рукой на кругосветное путешествие.

Володя дочитал письмо и засмеялся. Он подумал, что даже не помнит, что это за Катька, о которой пишет Надежда.

А поехать на будущий год в Белый Ключ не удалось. В мае у Надежды умерла бабушка, и, конечно, Веткиным было не до гостей.

Володя уехал в лагерь «Синие Камни». Он оказался здесь впервые, и ему даже понравилось. Лагерь был небольшой. Никто не гонял ребят строем в столовую и на прогулку. Никто строго не следил, чтобы спали в тихий час. По-настоящему запрещалось только то, что действительно было опасно: купаться в одиночку и уходить далеко в лес. Река крутила воронки, а лес чем дальше, тем делался глуше и темнее.

«Воспитателей в отрядах не было, были только вожаки. Жизнь у них оказалась нелегкая, и, наверно, поэтому особых развлечений придумать они не могли. Но от скуки никто не страдал, потому что на лагерь накатывали «волны».

И последней накатила стрелковая волна.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Ночью во сне Кашка сбросил одеяло. А утром из росистой травы скользнул в палатку холод и разбудил оруженосца.

Вздрагивая, Кашка натянул одеяло до носа и стал смотреть на парусиновый потолок. Солнце светило сквозь кусты и отпечатало на палатке запутанный узор ветвей и листьев. Потом на ветке появилась озорная тень воробья. Покачалась и улетела. Это было совсем как кино.

Кашка полежал, согреваясь, откинул одеяло до плеч и повернулся к Володе.

Володя крепко спал, разбросав худые коричневые руки. Кашка подполз на коленках и наклонился над своим командиром.

Сейчас командир не казался таким взрослым и суровым. У него тихо вздрагивали ресницы, а припухшие губы чуть приоткрылись, и лицо было немножко жалобным.

«Он хороший, только он вчера рассердился», — решил Кашка. Но тут его взгляд упал на стрелы. Оперенные хвосты стрел пучком торчали из-под Володиной подушки. Повыше перьев на фиолетовых древках краска была соскоблена, и дерево желтело неровными полосками. Кашка пожегился и торопливо отполз к своей постели. Все вспомнилось...

Но ведь Володя не прогнал его все-таки. Он даже не ругался почти. И у костра остаться разрешил. У костра было так хорошо... Да, а что случилось потом? Кашка помнил только танцующий огонь и горящие искры в небе...

Он посмотрел на свою одежду, аккуратно сложенную рядом с подушкой. Никогда он так ее не складывал...

Володя зашевелился, повернулся на бок, сунув ладонь под щеку, и улыбнулся, не открывая глаз.

Кашка тоже улыбнулся и выбрался из палатки.

Роса уже высохла, но было еще прохладно. Кашка затанцевал и задергал плечами, однако за одеждой не вернулся — побоялся разбудить Володю. Рыцарский стан мирно спал под утренним солнцем. Чтобы согреться, Кашка пробежался по кругу. У входа в палаточный городок, привалившись друг к другу, бессовестно дрыхли часовые.

Из центральной палатки вылез заспанный горнист Алешка Званцев в картонной мушкетерской шляпе и красной ситцевой мантии. На изнанке мантии были заметны следы меловых букв: «ДОБ... ПОЖ...» Алешка сердито глянул на малька-оруженосца, расставил босые ноги и хрипло затрубил.

Часовые ошалело вскочили и вытянулись.

Начинался турнирный день.

Сначала слышалось повизгивание блоков, потом из-за кустов появлялся олень. Он пересекал поляну и через несколько секунд скрывался в чаще.

Красный фанерный олень... Он скользил по проволоке ровно и не так уж быстро. Попасть было нетрудно. Однако с первого выстрела Володе не повезло.

Нет, он не промахнулся. Фиолетовая стрела красиво ударила в длинную оленью шею. Она пробила фанеру насквозь и осталась торчать, покачиваясь вместе с оленем. Выглядело это великолепно, и над кустами вознесся восторженный рев болельщиков. Но Володя-то знал цену этому выстрелу!

Он целился не в шею! Глупо было бы рисковать ради красивого попадания. Володя хотел вогнать стрелу прямо в корпус, но она скользнула выше и лишь случайно воткнулась в тонкую шею оленя. Это было все равно что промах. По крайней мере для Володи. Уверенность ушла

от него, и, взяв из рук оруженосца вторую стрелу, Володя уже не знал, попадет ли она в цель.

«Обидно! Если бы это случилось раньше, когда еще стреляли по круглым мишеням, Володя бы и не переживал. Ну, проиграл и проиграл. Победа казалась тогда еще далекой и недоступной. Райка успела выпустить одиннадцать стрел и выбила восемьдесят шесть очков. А Юрка Земцов, совсем неожиданно, восемьдесят пять. Догнать их казалось невозможным. Но Володя потом догнал. За счет скорости. Он шел очко в очко с хладнокровной, не знающей промаха Райкой. И поэтому волновался. Если бы отставал — наплевать. Если бы обогнал — значит, и переживать нечего. Но сейчас все решал олень, решали последние выстрелы. И тут дрогнула рука.

Вторая стрела вообще не задела оленя. Зрители растерянно запереговаривались.

«Мазила косорукий. Мусорщик, а не стрелок», — обессиленно обругал себя Володя.

Ему не нужны были почести победителя. По крайней мере сейчас он чувствовал, что не нужны. Обидно было другое: проиграть в последний момент, проиграть из-за того, что стали противно вздрагивать локти и пропала точность, словно лук стал чужим, а расстояние до мишени неизвестным.

«Псих», — сказал он себе, но это не помогло.

Володя потянулся за третьей стрелой и увидел глаза Кашки.

Кашка нес свою службу исправно и неумоимо. Помогал менять мишени, ловко подавал на растопыренных пальцах стрелы, а когда кончалась очередная стрельба, не дрогнув, бросался собирать их в зарослях шиповника и крапивы. Он машинально расчесывал изжаленные ноги, машинально жевал принесенные из столовой бутерброды и не слышал ничего, кроме упругих щелчков спущенной тетивы, шороха стрел, ударов жестяных наконечников о

мишени да еще шелеста травы, если стрела пролетала мимо цели.

И только одного хотел Кашка в тот день: чтобы как можно меньше Володиных стрел шелестело в траве.

Когда в руках у Володи растягивался длинный тонкий лук, в Кашке тоже что-то натягивалось и дрожало. А когда шелкала тетива, Кашка вздрагивал, и сердце у него срывалось. И в тот короткий миг, пока стрела летела к цели, он много раз успевал повторить про себя: «Попади! Ну попади же! Попади обязательно!» И когда стрела вдруг не слушалась, Кашка смотрел на Володю растерянно и удивленно: «Почему она так?»

Но Володя не видел лица оруженосца. Весь день он видел только его маленькие растопыренные пальцы с фиолетовыми стрелами. Пальцы, которые в нужную секунду подносили стрелу. Ничего другого и не было нужно Володе.

А Кашке было нужно многое, только он сам не догадывался об этом. Ему нужно было, чтобы Володя хоть мельком взглянул на него и вполголоса сказал: «Молодец, Кашка». Или, может быть, взял бы его за плечо и шепотом спросил: «Не устал?» И тогда бы Кашка отчаянно замотал головой и, крикнув: «Не... Нисколечко!», еще быстрее ринулся бы в колючие джунгли за стрелой, случайно пролетевшей мимо цели.

Но Кашка не догадывался, что ему этого хочется. Это желание было где-то позади другого, самого главного, которое называлось «Володина победа». И Кашка был уверен, что, когда Володя станет чемпионом, он обязательно скажет: «Мы с тобой молодцы, верно?» Скажет негромко, чтобы слышали только они двое. Так почему-то казалось Кашке.

«Попади! Ну попади же! Попади обязательно!»

Каждую стрелу он провожал этим заклятием. И губы у него шевелились. Но вслух Кашка не сказал ни слова. Разве можно говорить под руку!

Он видел, что дела у Володи идут неплохо, и знал, что победу решит олень. Он, кажется, один из всех, кроме Володи, почувствовал неладное, когда стрела вонзилась оленю в шею.

Когда вторая стрела, не задев оленя, ушла в заросли, Кашка впервые с досадой подумал: «Не могли уж рассчитать место как следует. Царапайся опять...» Но эта посторонняя мысль скользнула, не оставив следа. И вместо нее пришла тяжелая, ноющая тревога.

«Что же ты делаешь!» — думал Кашка, с отчаянием глядя на Володю.

А Володя смотрел вслед улетевшей стреле, и руки у него были опущены. Лук, зажатый в левом кулаке, висел, как коромысло.

Завизжали блоки, и олень задом наперед проехал на старт. Володя потрянул плечами и повернулся, чтобы взять третью стрелу.

Вот тогда он и увидел глаза оруженосца.

«Володя, не надо! Не стреляй мимо! — умоляли они. — Целься как следует. Ну пожалуйста! Ты же можешь, Володя!»

«Ну, чем тебе помочь?» — спрашивали Кашкины глаза.

«Ох и умотался ты, бедняга», — неожиданно с жалостью подумал Володя. Впервые за сегодняшний день он как следует разглядел Кашку. На щеке оруженосца от уха до подбородка алела свежая царапина. Волосы растрепались, рубашка у ворота порвалась, одна лямка была оторвана и обмотана вокруг пояса, а штаны сбились на сторону, так что боковая застежка оказалась где-то на животе. И ноги в ссадинах, синяках и белых полосах расчесов.

«Досталось тебе, Кашка, верно?»

Но Кашка молча просил об одном: «Целься как следует. Попади, попади в оленя!»

«Попробую», — глазами ответил Володя.

Опять визгливо запели в кустах блоки: олень пошел пересекать лужайку.

«Не было ничего, — сказал себе Володя. — Не было тех двух стрел. Все сначала».

В самом деле, что случилось? Или лук ему дали другой, или мишень сделалась крохотной, или он вдруг сразу разучился стрелять? Ерунда какая!

Олень был уже на виду. Володя аккуратно вставил тетиву в прорезь стрелы и выстрелил навскидку. Он был уверен, что стрела воткнется точно в середину фанерного туловища, чуть пониже круглого сучка, который проглядывал сквозь краску.

Стрела ударила выше сучка, но это уже не расстроило и не обескуражило Володю.

Остальные семь стрел он выпустил спокойно, как на тренировке. И каждый раз олень уносил стрелу с собой. Только одна, последняя, улетела в кусты. Она прошла выше цели и отбила отросток оленьего рога. И хотя живому оленю такой выстрел не принес бы особого вреда, здесь, на турнире, это попадание все равно засчитывалось.

Юрка Земцов смазал по оленю четыре раза, и все теперь зависело от того, как станет стрелять Райка. Володя был уверен, что она ни одну стрелу не истратит зря. Значит, он проиграл. Мысль эта стала прочной, и Володя следил за Райкой без напрасного волнения.

Райка стреляла с красивой небрежностью. Она не растягивала лук до конца и бросала стрелы с «навесом», по дуге. Они ударяли не сильно, даже не всегда втыкались, но каждый выстрел был очень точным.

Все делалось быстро и одинаково: визг блоков, щелчок тетивы, удар наконечника о фанеру — короткий такой, негромкий стук.

И Володя вздрогнул, как бы очнулся, когда после девятого выстрела не услышал этого стука.

«Что это? Мимо?»

Да, мимо...

Кашка сидел рядом с Володей, и на лице его было страдание! Он желал Райке всяческих бед и неудач. Чтобы

допнула тетива! Чтобы поскользнулась нога! Чтобы жгущая оса села ей во время выстрела на локоть!

Он не повторял теперь никаких заклятий, только отчаянными глазами провожал каждую стрелу. словно мог взглядом отвести ее от мишени

Он еще надеялся на чудо.

И когда наконец стрела свистнула мимо оленя, он привстал с травы и с тревожной радостью подался вперед. Чудо случилось! Вернее, полчуда. Все решала теперь последняя стрела.

А Райке словно было безразлично. словно и не было промаха. Со спокойным лицом прицелилась она в последний раз...

Стало тихо.

Кашка отвернулся. Не мог он на это смотреть. Хоть бы уж скорей стреляла!

По длинной упругой травинке ползла божья коровка. Не красная, а желтая, будто капля меда с маковыми зернышками.

Кашка сложил пальцы для щелчка. «Если улетит — Райка промахнет. Если свалится — Райка попадет», — загадал он. И щелкнул по травинке. Притворившись неживой, божья коровка, словно твердое семечко, свалилась на лист подорожника.

Щелк — сорвалась тетива. И Кашка зажмурился, готовый услышать противный стук стрелы о мишень.

Не было стука...

Гвалт болельщиков оглушил Кашку.

Вскочив, Кашка ликующими глазами смотрел на Володю. Но тот продолжал сидеть. Он сидел, и, кажется, не было на его лице радости.

Медленно подошла Райка.

— Ну, поздравляю, — сказала она. — Ох, устала я, даже голова болит.

— Разве не будем перестреливать? — недоуменно спросил Володя.

— Зачем? У тебя же девять очков. А у меня восемь...

— Ах да, — сказал Володя, морща лоб. И вдруг засмеялся: — Знаешь, Райка, я забыл, что в первый раз тоже попал. Это случайно вышло, и я все время думал, что смазал...

Райка кивнула и отошла.

Подбегали ребята.

И тогда наконец Володя сделал то, что должен был сделать. Он сказал Кашке:

— А мы с тобой все-таки молодцы...

Кашка просиял.

Позже, когда уже утих шум поздравлений и все начали расходиться, Володя пошел к Райкиной палатке. Непонятное ощущение вины перед Райкой не давало покоя. Словно одно очко досталось ему обманом. Он понимал, что это ерунда, но беспокойство не проходило. И чтобы прогнать его, он должен был найти сейчас Райку, поговорить с ней просто так, о разных пустяках и увидеть, что у нее нет ни обиды, ни подозрения.

Но в палатке Райки не оказалось. Ее оруженосец — Светка — сидела с надутым лицом и взглянула на Володю косо. Ни о чем спрашивать ее он не стал.

Он увидел Райку сам, когда обогнул палатку и направился к лагерю. Райка стояла, прислонившись лбом к сосне, и плечи ее вздрагивали.

Володя подошел и неловко тронул ее за локоть. Райка обернулась, и он отступил одновременно с досадой и облегчением.

Она не плакала, а смеялась.

На лбу ее темнели пятнышки смолы...

Призовой пирог Володя и Кашка едва попробовали: желающих угоститься набралась целая толпа.

Грамота, которую вручили Кашке, была очень красивая. Он долго рассматривал ее, когда остался один. Потом свернул в трубку и перевязал ниткой, которую выдернул

из подола рубашки. Сбегал в лагерь и спрятал грамоту в тумбочке.

После этого вернулся Кашка к палаткам.

Палатки уже убрали, и Володи здесь не было.

Неужели все кончилось? Неужели праздник угас?

Нет, не все. Вечером был еще костер. И Кашка сидел совсем рядом с Володей. Сидел молча и смотрел на огонь. Лишь один раз спросил:

— Во-лодя... А еще будет турнир?

— Едва ли, — сказал Володя. — Слушай, ты не видел Юрку Земцова?

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

На лес, на лагерь наваливалась гроза. Сверху, прямо от зенита, набухшие дождями и тревогой, медленно падали тучи. Лиловые, беспросветные, в тонких и кривых проблесках молний. Их ватная масса заглушала гром, и были только молнии и тишина.

Все ждали первого грома и рассыпчатого удара тяжелых капель: одни для того, чтобы с хохотом выскочить под упругие струи, другие для того, чтобы вздохнуть с облегчением — шум ливня заглушает страх перед грозой.

Аллеи и площадки опустели, дачи притихли. В потемневших стеклах отражались молнии, а в траве змейками пробегали маленькие ветры.

Только три человека не укрылись от грозы. Вожатый Сережа был сегодня дежурным и проверял, все ли готово к удару непогоды. Володя еще не успел зайти в дом: он возвращался из леса. Третьим был Кашка: он вынырнул из боковой аллеи и зашагал следом за Володей, а потом догнал его.

— Во-лодя... А вот у индейцев тоже есть луки... Эти луки далеко стреляют?

— Что? Не знаю, — ответил Володя, не сбавляя шага. —

Далеко, наверно... Конечно, далеко. Беги под крышу, сейчас такой дождь грянет.

Кашка остался на аллее. Он поднял голову и, кажется, только сейчас увидел, что делается в небе. Но на грозное движение туч он смотрел равнодушно и не двинулся с места.

Сережа стоял на крыльце под навесом. Он видел Володю и Кашку, слышал их разговор. Но вот Володя ушел, а Кашка остался, и вокруг него уже падали в песок тяжелые, как пули, капли.

Сережа прыгнул с крыльца.

— Пойдем. Ну, что ты здесь стоишь? Это все равно зря.

Он привел Кашку под навес, и они стали смотреть, как нарастает дождь.

Грянул и радостно раскатился над лагерем гром: вздрогнули стекла и половицы. А Кашка не вздрогнул. Он спросил шепотом:

— А еще будет турнир?

— Нет, — сказал Сережа. — Неинтересно устраивать два одинаковых дела подряд... Да и при чем здесь турнир, Кашка?

Он положил руку на маленькое плечо бывшего оруженосца и хотел еще что-то сказать. Но из соседней дачи с хохотом выскочили мальчишки в трусах и начали прыгать под дождем.

— Тебе так не хочется, — полувопросительно проговорил Сергей. — Да, Кашка?

— Не...

Кашка осторожно, но решительно освободил плечо и повернулся к двери. В ту же секунду дверь открылась, и на крыльцо выскочила Серафима.

— Господи, наконец-то! Опять ты, Голубев, где-то пропадал! Мало мне еще забот...

— Мы тут с ним беседовали, — заступился Сережа.

— Ну да! Он с самого утра пропадает! Все с тобой беседует?

Кашка боком скользнул в дверь.

— Он в последние дни все время куда-то исчезает, — пожаловалась Серафима. — Просто горе одно. Такой тихий, дисциплинированный мальчишка был, а теперь... И его искать пошла, а тут гроза. Я этих гроз больше смерти боюсь.

— А вот они не боятся. — Сережа кивнул в сторону веселящихся мальчишек.

— Ну... сейчас дождь. При дожде уже не так страшно...

— Да, — сказал Сережа.

— Ты какой-то понурый, — сказала Серафима. — Надоело дежурить?

— Это само собой... Да нет, не то. Вот сейчас я смотрел... Понимаешь, есть два человека. И один ходит за другим прямо по следам. Смотрит на него преданными глазами. А тот, второй, ничего не хочет замечать. И обидно видеть, как он теряет верного друга. А сказать ничего не скажешь. Насильно дружбу не привьешь.

— Ну уж... не замечает, — выговорила Серафима и медленно покраснела. — Может быть, это просто... характер такой. Может быть, она... он... тоже...

«С ума сойти! — ахнул про себя Сергей. — О чем это она?»

«Волна» отшумела и улеглась. Турнирные заботы остались позади. Луки и стрелы были собраны в пионерскую комнату на выставку. Появлялись новые дела.

И только один человек, бывший оруженосец Кашка, грустил. Кашке нужен был Володя.

Неужели все может так быстро кончиться? Костры, палатки. Стрелы. Красный олень... «Мы с тобой все-таки молодцы...» Все было — и ничего нет...

То, что Кашка ходит за ним по пятам, Володя заметил только после разговора с Серафимой. Она спросила его:

— Слушай! Где, в конце концов, Кашка Голубев?

Серафима была всего на пять лет старше Володи, и он чувствовал себя с ней как равный.

— Опомнись, — сказал он. — Я-то при чем? Может быть, я нянька? После турнира я его и не видел.

— Не видел! — возмутилась Серафима. — Он за тобой как на буксире таскается! Что я, слепая, что ли?

— Не знаю, — вежливо сказал Володя. — И не помню, что встречал его в эти дни.

Но тут же вспомнил. Он действительно много раз встречал Кашку, и тот всегда о чем-нибудь спрашивал: «Во-лодя... А если залезть на большую сосну, то на сколько километров будет видно?», «Володя, можно я спрошу? Что быстрее летит: стрела или ласточка?».

Володе казалось, что это случайные встречи, и он сразу забывал про них. Он ушел от Серафимы, а буквально через пять минут, когда отправился на волейбольную площадку, обнаружил, что Кашка тащится сзади.

— Стой, — строго сказал Володя. — Объясни, зачем ты ходишь за мной как тень? Чего ты от меня хочешь?

Кашка заморгал и сделал вид, что шел по своим делам.

— Только не ври, — сурово предупредил Володя.

Но Кашка соврал. Он отвел глаза и пробормотал, что идет качаться на качелях, которые рядом с волейбольной площадкой.

Тогда Володя растерялся. Что он мог сделать? Не мог же он запретить Кашке ходить где вздумается. Каждый человек сам выбирает себе дороги и ходит где хочет. Да, это так. Но что будет, когда все заметят, какой у Володи появился хвост? Смех будет по всему лагерю. А это штука скверная, когда все над тобой смеются и сделать ничего нельзя. Дурацкое такое положение.

— Мало тебе других дорог? — сердито сказал Володя. Но что еще сказать, не придумал.

А Кашка, глядя ему в лицо, спросил:

— Володя. Раз турнир кончился, я уже не оруженосец?

Потом Володя будет думать, что все началось с собаки. ~~С~~того момента, когда появилась эта бурая зверюга. Ему ~~будет~~ казаться, что именно тогда он немного иначе взглянул на Кашку.

А на самом деле все началось раньше. Вот сейчас, когда, вдруг потеряв на секунду твердость, Володя не сказал Кашке «нет». Он только пробормотал:

— Иди ты на свои качели.

И Кашка пошел за ним следом.

Володя неплохо изучил окрестный лес и часто уходил в него, когда надоедала суeta в лагере. Лес был похож на тот, который окружал Белый Ключ. Те же усыпанные пятнами солнца и хвоей бугры, мшистые камни, скалы и родники. И озера с темной водой.

В лагерь Володя возвращался вовремя, и никто не замечал его дальних отлучек.

Володя привык, что никто не следит за ним. И когда он однажды услышал за собой осторожные шаги, вздрогнул от неожиданности. Но это был не шпион и не хищный зверь. Сзади шел Кашка.

Глаза их встретились. Кашка опустил на колено и стал подтягивать ремешок сандалии. Володя медленно подходил. Кашка тербил ремешок и ждал гнева на свою голову.

— Иди домой, — сдержанно сказал Володя. Ему не хотелось ничего выяснять и ругаться тоже не хотелось.

— Куда? — тихо спросил Кашка.

— В лагерь, — отчетливо сказал Володя.

— Но куда? — уже громче повторил Кашка и оглянулся. — Я же не помню.

И Володя понял, что Кашка крался по пятам и не запоминал обратную дорогу. Один он теперь очень легко может заблудиться: лагерь далеко.

— Олух ты. Ну что ты за мной как намагниченный таскаешься?

Кашка медленно встал. Он смотрел в сторону, и в уголках глаз у него росли слезинки.

— Ну и ходи теперь за мной весь день, — мрачно решил Володя. — А влетит тебе от Серафимы — сам виноват.

— Может, не влетит, — шепотом сказал Кашка и улыбнулся. — Во-лодя... А мы будем ходить весь день, да?

И тогда Володя подумал: «Пусть. Ведь не мешает».

Они пошли молча. Володя хотел срезать тросточку. Нужна была невысокая, тонкая и с прямой верхушкой сосенка. Такие растут в чаще молодняка.

— Подожди, а то исцарапаешься, — предупредил Володя и нырнул в колючие ветки. Через минуту он выбрался с метровой верхушкой маленькой сосны.

— Пойдем... Хорошая будет палочка.

— Хорошая, — согласился Кашка.

Они шли через солнечный лес, постепенно сворачивая к лагерю, и Кашка смотрел, как ловко Володя срезает на ходу ветки с будущей тросточки. Нож у Володи был маленький, перочинный, но почему-то вспомнились Кашке шумливые кусты у насыпи, пенек, под которым жил Шишан, и Костя, вырезающий Альпиниста.

И вдруг испугался Кашка: а где Альпинист? Не потерялся ли? Кашка схватился за карман. Альпинист, конечно, был там. Облегченно передохнув, Кашка вытащил его: пусть поглядит на свет.

Володя ненадолго оставил свою работу.

— Кашка, откуда этот человек? Забавный... Ты его сам вырезал?

— Не, не сам. Это Костин... — Кашка подумал и объяснил: — Костя на Памире. Он изучает ледники.

Володя осторожно спросил:

— Он твой брат?

— Он мой друг, — с неожиданной резкостью сказал Кашка. И впервые взглянул на Володю как равный. Даже с вызовом.

Так уж получилось. Вырвались эти слова, и будто сам Костя встал рядом. Да, он был друг. Никто-никто на свете не мог сказать, что Кашка соврал. И Володя, конечно, не

мог. Он только подумал, что это очень странно: откуда у Кашки такие друзья?

— Покажи.

Кашка положил Альпиниста ему в ладонь. Деревянный путешественник был легонький, как спичка. Сейчас Володя разглядел, что вырезан Альпинист очень аккуратно и точно. Были заметны даже пряжки на лямках рюкзака и рубчики на толстых подошвах ботинок. Маленький покоритель вершин улыбался весело и беззаботно. Однако, приглядевшись, Володя увидел на крошечном коричневом лбу и у рта ниточки-морщинки.

— Ты с ним играешь? — спросил Володя.

— Ага... иногда, — признался Кашка. Он опять притих и сделался прежним малышом-оруженосцем.

— Это хороший путешественник, — серьезно сказал Володя. — С ним хорошо играть. Он может плавать, ходить по лесам, по пустыням, подниматься на вершины...

— Он поднимался, — осторожно вставил Кашка, и в голосе его была боязнь: может быть, Володя смеется?

Но Володя не любил насмешек и редко насмеялся сам. Пусть Кашка видит, что он, Володя, хоть и большой, но тоже понимает игры и тайны.

— Можно еще сделать его парашютистом, — сказал он. — С воздуха можно забрасывать его в самые неведомые земли.

— Как парашютистом?

— Да очень просто. Нужен только платок и нитки для парашюта.

Кашка нерешительно вертел в пальцах Альпиниста.

— Во-лодя... А он не потеряется?

— Куда он денется? За дерево не зацепится, можно на поляне запускать.

— Платка все равно нет, — сказал Кашка и оттянул пустой кармашек. — И ниток нет.

— Платка нет, это понятно, — снисходительно согласился Володя. — Но ниток... Как же ты живешь без ниток? А если что оторвется, чем пришьешь?

— У Серафимы есть. Она пришивает.

— У Серафимы вас — целая птицеферма. Есть ей время возиться... Вон у тебя лямка сколько дней уже оторвана. Так и таскаешь. Никто пришить не может...

Они вышли на лужайку, опоясанную кольцом березовой поросли. Лужайка была ровная, с низенькой одинаковой травой, как на стадионе. Только с одного края, у самой тропинки, приподнялся из-под земли серый плоский камень.

Место для испытаний парашюта было отличное.

Володя вынул платок, до сих пор лежавший в кармане без всякого употребления. Платок был слегка помятый и запылившийся на сгибах, но для парашюта вполне годился. Потом Володя вытащил из воротника иголку с намотанной черной ниткой. Кашка следил за ним с радостным интересом.

— Сейчас попробуем, — сказал Володя. — Только сначала лямку пришью. А то ходишь обормотом.

— Лучше ее совсем оборвать, — рассудительно заметил Кашка. — Я пробовал, да она крепко держится. Давай ножиком отрежем.

— Давай отрежем обе, — сказал Володя. — И ходи вообще без штанов... Ну-ка, повернись. И не дергайся, а то иголка воткнется.

Он говорил с сердитым удовольствием и про себя удивлялся. Неужели это и вправду может быть приятно? Командовать вот таким мальком, знать, что он тебе послушен, пришивать ему лямки и делать парашюты... Ерунда какая-то... И смех... Вот бы кто-нибудь из ребят появился здесь и увидел, как победитель турнира стоит позади Кашки на коленях и чинит ему штаны!

Лагерь недалеко, и черт может занести кого-нибудь сюда.

И занес.

Крадучись выбрался на лужайку Генка Молоканов.

...Молоканов был попрошайка и жадина. Это самое главное, чем он отличался от других. Правда, жадность у

него была не на все вещи, а только на мелочи: на разные самоделки, патронные гильзы, стеклянные пузырьки, значки, поплавки и прочую дребедень. Он их выпрашивал. Даже не менялся никогда, а только выпрашивал. Если меняться, значит, надо что-то отдавать, а это было для Генки горькой мукой.

А выпрашивать он умел, наверно, лучше всех на земном шаре. В голосе у него появлялась такая жалобность и такая убедительность, что камни могли растаять, как мороженое в июльский полдень. «Ну, послушай, — негромко и проникновенно говорил Молоканов, — тебе эта штука все равно ни к чему. Ну, поиграешь и выбросишь. Или потеряешь. Или надоест она. Понимаешь, она для тебя — пустяк, а для меня очень важная... Ну дай, а? Ну, правда... Я тебе такое спасибо скажу...»

«А на фига мне твое спасибо?» — спрашивал лишенный чувствительности собеседник.

Генка широко раскрывал голубые, как незабудки, глаза и кротко отвечал: «Не знаю... Но ведь эта штука тебе тоже ни за чем. А мне для пользы».

«Для какой пользы?»

«Для коллекции».

Когда Молоканову начинали объяснять, что не бывает коллекций, где вместе собраны жестяные свистки, огрызки цветных карандашей, куклы из еловых шишек и разные пуговицы, Генка тихо говорил: «Ну и что? А у меня бывает».

И человек сдавался. «Пусть, — думал он. — Мне эта вещь и в самом деле не очень нужна, а он вон как из-за нее убивается...»

И если попадался мальчишка с сердцем тверже камня, он все равно отступал. Потому что другим путем отвязаться от Генки было нельзя. Даже колотили его, но без всякого толку.

Правда, иногда, чтобы досадить Генке, кто-нибудь говорил: «Даром не отдам. Давай меняться на компот. На

три стакана». И Молоканов погружался в тягостное раздумье. Компот он любил почти так же, как свою коллекцию, и расставался с ним крайне мучительно. Глядя на его страдания, ребята давились от смеха. Однако скоро было решено: на компот не меняться. Дело в том, что, отдав свою порцию, Генка тут же принимался выпрашивать у других и таким образом добывал два или три стакана.

...Вот такой человек и появился на лужайке, где Володя заканчивал ремонт Кашкиных штанов.

От неожиданности Володя загнал иглу в указательный палец, тихо взвыл и вскочил. Но Молоканов почти не обратил ни на него, ни на Кашку внимания. Глазами хищника он неотрывно смотрел на Альпиниста, который лежал на развернутом платке. Нежным голосом Генка сказал:

— Это чей такой, а?

— Тебе чего надо? — невежливо спросил Володя. — Мало тебе места в лесу? Зачем притащился?

— Я голоса услышал и заглянул...

— Заглянул, а теперь мотай обратно, — посоветовал Володя.

Молоканов, однако, не спешил.

— А чья это куколка?

— Не твоя. Сам ты куколка, — сказал Володя и незаметно оторвал нитку с иглой от Кашкиных штанов.

— Это мой, — почуввав свободу, заявил Кашка. Поднял Альпиниста и стал заворачивать в платок.

Генка понял, что надо спешить.

— Дай, а? — жалобно начал он.

Кашка оглянулся на Володю и бесстрашно сказал:

— Иди отсюда. Скоро лопнешь от жадности.

Надо заметить, что Молоканов был невысок и толст. Когда на это намекали, он обижался. Но сейчас он подавил обиду ради добычи.

— Дай, а? — повторил он.

— Пошел вон, — неумолимым ровным голосом произнес Володя, и Генка понял, что хорошая деревянная куколка, такая нужная для коллекции, потеряна навсегда.

Оставалось только одно — отомстить. И, отпрыгнув подальше, Молоканов противно проблеял:

— Жилы! Жадюги! Бэ-э!

А потом так же отвратительно спел:

Есть у Вовочки дружок —
От горшка один вершок!
Вова ходит с ним как нянька —
Это очень хорошо!

Несмотря на полноту, бегал Молоканов как заяц. Володя так и не настиг его, только загнал в жесткий низкорослый ельник. С полминуты он стоял и с удовольствием слушал, как жалобно кряхтит среди колючих веток несчастный попрошайка. Кряхтит, а выйти боится.

Потом Володя зашагал обратно. Он шел и со злостью думал, что глупый Молоканов не сам сочинил эту дразнилку. Значит, она известна не одному Генке. Может быть, ее уже все знают. Наслушаешься теперь!

А все из-за этого тихони-оруженосца.

Нет, пора прекращать эту волюнку. Надо подойти и сказать сразу: «Вот что, друг, игрушки кончились. Турниров больше не будет. У меня свои дела, у тебя свое безделье. Топай своей дорогой. Привет».

А то в самом деле в няньки запишут.

С этой мыслью, решительный и злой, вернулся Володя на поляну. Кашка сидел у камня и ждал. Он почувствовал неладное и обеспокоенно стал подниматься навстречу.

— Слушай, ты... — начал Володя.

И в ту же секунду увидел собаку.

Это был грязно-бурый, с черными пятнами зверь. Он с коротким рычанием прыгнул из кустов и через поляну скачками бросился к ребятам. Володя знал, что большие псы умнее и добродушнее мелких шавок. Они не нападают зря. Но в этой собаке была злость и тупость. Володя ус-

пел отметить желтые зубы под вздернутой слюнявой губой. Нет, собака не собиралась шутить. Видимо, это был сторожевой свирепый пес, ничему не обученный и одичавший на цепи. Теперь каким-то путем он обрел свободу и, наверное, решил мстить людям.

Все эти мысли промелькнули мгновенно. И последняя была об оруженосце.

— Беги, Кашка! — крикнул Володя, не отрывая глаз от скачущего пса и отводя назад руку с сосновой тросточкой, чтобы встретить зверя хлестким ударом по морде. Ударить, когда он прыгнет! Изю всех сил!

А может быть, он — волк?

Володя подумал об этом, когда пес был в пяти скачках. А когда он сделал еще скачок, на поляну вышел его хозяин. Лесник, или охотник, или просто местный житель. В форменной фуражке и кителе, похожем на железнодорожный.

— Рекс! — негромко крикнул он.

Бурый зверь с размаху остановился и присел, будто его ухватила за хвост крепкая рука.

— Назад! — сказал хозяин собаки металлическим голосом.

И громадный пес, прижав маленькие уши, побрел назад. На полпути он по-щенячьи лег на брюхо и пополз к человеку, словно просил прощения.

— Не бойтесь, — с короткой усмешкой сказал тот. Повернулся и сразу исчез в кустах. За ним скользнул в березняк понурый Рекс. А у Володи сразу ослабли руки, и сосновая тросточка показалась тяжелой, как железный лом. Пришел противный, тягучий страх.

— У, зверюга, — пробормотал Володя. Он медленно повернулся, чтобы уйти и позабыть про свой страх и слабость. Но не ушел. Он увидел Кашку.

Кашка никуда не убежал. Он стоял в двух шагах, прочно расставив ноги и держа наперевес кривую березовую палицу. Глаза у него стали совершенно круглые от отчаян-

ного ужаса или от такой же отчаянной решимости, а рот был приоткрыт, словно Кашка хотел сказать «мама» и остановился на полуслове. Видимо, он еще не понял, что опасность ушла. Несколько секунд Володя смотрел на него с изумлением. Потом сказал:

— Все. Отбой.

Кашка уронил свое оружие. Он хотел улыбнуться, но только сморщился, как котенок, собравшийся чихнуть. И вдруг заплакал. Сначала несильно, а потом безудержными крупными слезами.

— Ты что? — Володя растерялся. — Кашка, слышишь... Ну перестань.

Кашка попробовал перестать и не сумел. Володя замолчал. Что тут делать? Успокаивать плачущих — нелегкое умение.

— Ну, хватит воду лить, — наконец проговорил он. — Слышишь? Кашка... Перестань выть!

Кашка послушно кивнул и всхлипнул еще несколько раз. Потом виновато улыбнулся щербатой своей улыбкой и сказал, глядя в сторону:

— Я их, проклятых, боюсь... Я когда маленький был, меня собака укусила. Вот... — Он повернулся и показал сзади под коленкой несколько белых бугорочков — следы зубов.

— Ладно уж, — с неумелой ласковостью сказал Володя. — Все уж прошло ведь... Да, а ты почему не убежал? Я тебе крикнул: беги! Ну?

Кашка поднял еще залитые слезами глаза. И тихонько спросил:

— А ты?

— Ну, я... Что — я? От собаки нельзя бегать. Я-то знаю про это. А ты? Ты ведь мог убежать, раз я остался.

— Да, остался... — прошептал Кашка. — Она вон какая. Как волк. А ты с такой палочкой остался. С тоненькой...

Они разом взглянули на Володину тросточку и разом перевели глаза на кривую Кашкину дубинку.

И что-то словно сдвинулось в душе у Володи. Растаяла вся его твердость. Захотелось вдруг сделать совершенно непонятное: взять за узенькие плечи этого сероглазого пацаненка, притянуть поближе и сказать: «Эх ты, Кашка, Кашка. Оруженосец...»

Конечно, ничего такого Володя не сделал. Не умел он так. Девчонки это умеют, а он не может. Только взял Кашку за руку и сказал:

— Идем... А собака-то трусливая. Хозяин крикнул, а она сразу на пузо...

Кашкины глаза просыхали. Он взглянул на Володю серьезно, почти строго. И ответил:

— Он плохой человек. Хороших людей собаки не боятся. Он, наверно, ее бьет.

— Да? Да, пожалуй... — согласился Володя. — А ты... ты ничего человек, Кашка.

Это все, что он сумел сказать верному оруженосцу. Не всегда нужно много слов. Кашке хватило и этих. Радость запела в нем, как серебряная труба. Но чтобы хоть немного походить на сдержанного Володю, Кашка радость спрятав и проговорил:

— Жалко. Сейчас уж, наверно, на обед пора. Так и не доделал ты тросточку.

— Подумаешь, беда, — отмахнулся Володя. — Завтра доделаем.

— Что? — изумленно спросил Кашка.

— Завтра доделаем, — повторил Володя. — А что?

Он сказал не «доделаю», а «доделаем»!

ДО-ДЕ-ЛА-ЕМ!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кашка был счастлив полностью. До конца. Больше он ничего не хотел. Он шел с Володей. Шел на ту лужайку, где вчера повстречали страшную собаку и где камень. Там они будут разводить костер. Вдвоем. Кашка шагал не сза-

ди, а рядом. Володя сам зашел за ним и небрежно сказал Серафиме:

— Мы с Кашкой погуляем. Не бойся, он со мной будет.

И вот они идут. Володя сказал, что хочет обжечь в костре тросточку. Вчера вечером он вырезал на ее коре шахматные квадратики, полоски, треугольнички, кольца. На огне вся тросточка потемнеет, а потом Володя снимет кору, и на обуглившемся дереве останутся белые узоры...

День был прохладный. Солнце лишь изредка проглядывало в разрывы облаков. Кашка отправился в путь в одной рубашонке и поеживался. Но он был рад: когда холодно, еще приятней сидеть у костра.

В лесу ветер стал слабее, и, когда пришли к поляне, Кашка почти согрелся.

Набрали сухих веток и сложили у камня.

— Кашка, ты про костер помалкивай, а то будет нам нахлобучка, — предупредил Володя.

— Я помалк... помолк... буду помалкивать. А у тебя есть спички?

— У меня стекло есть. От бинокля. Надо только солнца дожждаться. Вот смотри...

В Кашкину ладонь круглой льдинкой скользнуло выпуклое стеклышко. Кашка бережно взял его за края и навел себе на локоть, чтобы в увеличенном виде рассмотреть одну из царапин. Солнце выпрыгнуло из-за облака и кольнуло кожу огненной точкой. Кашка ойкнул, уронил линзу и засмеялся.

— Ага! — сказал Володя. — Ты не шути. Это солнечная энергия.

— И костер загорится?

— Как миленький. Сбегай к соснам, принеси сухих иголок. Они как порох.

Кашка, подпрыгивая, бросился за растопкой. Он бежал, а в голове плясали прискакавшие откуда-то коротенькие строчки:

Я веток найду,
Я костер разведу!
Я иголок найду,
Я костер разведу!

«Костер как живой...» — вспомнил он и вдруг понял, что все эти строчки соединяются в стихи!

Кашка пошел не спеша. С самого начала повторил все, что сочинилось. Получилось здорово, только нужно было придумать немножко не так. Вот как надо:

Я веток найду, я иголок найду,
На нашей поляне костер разведу.
Костер как живой...

Нет, еще немножко не так.

«Я веток сухих и иголок найду...» Потому что для костров нужны только сухие ветки.

Но тут Кашке стало жаль стеклышка, для которого не осталось места в стихах. Он попробовал вставить его вместо поляны. Сначала слова не хотели укладываться в строчку, а потом вдруг легли, и Кашка даже подскочил от радости.

Я веток сухих и иголок найду,
Стеклом от бинокля огонь разведу.
Костер как живой

Когда Кашка с пригоршней сухой сосновой хвои примчался к Володе, рядом с ним он увидел Райку.

Райка и Володя беседовали. Кашке это не понравилось. Хотел он быть вдвоем с Володей. Только с ним, чтобы никто-никто не мешал. И зачем Райка сюда притащилась? Да и разговор был какой-то пустой.

— Такой холод сегодня, — говорила Райка. — Просто дрожь берет.

— Угу, — откликнулся Володя.

— Ты наших девчонок не видел?

— Нет, не встречал, — сказал Володя, склоняясь над сучьями для костра.

— Хотела в волейбол поразмяться, а на площадке нет никого.

— Бродят где-нибудь, — заметил Володя и переломил о колена толстую ветку. — А, Кашка! Давай сюда, сыпь. Как раз солнце.

— Здравствуй, Кашка! — почему-то обрадовалась Райка.

— Здравствуй, — сумрачно сказал он и занялся костром.

— Просто удивительно, как он вырос, твой оруженосец, — обратилась Райка к Володе. — Когда в лагерь приехали, он гораздо меньше был. А сейчас какой-то вытянутый стал. Или мне кажется.

— Кажется, — сказал Володя. — За две недели нельзя заметно вырасти.

«Правильно», — подумал Кашка.

Райка еще постояла рядом, потом нерешительно проговорила:

— Пойду поищу наших.

— Только про костер не рассказывай, — предупредил Володя.

Райка ушла.

— Она хотела, чтобы мы позвали ее с нами сидеть, — сказал Кашка и нахмурился.

— Да брось ты, — возразил Володя, — Очень ей надо с нами сидеть. Она девчонок ищет.

Он взял стекло и послал на иголки солнечный колючий лучик. От яркой точки вырос и разбежался желтый огонек. Лизнул ветки.

Через минуту, когда костер уже победно стрелял искрами и кружил пламя, Кашка спросил:

— Это ведь не в последний раз, да? Мы потом ведь еще можем разжечь?

— Хоть каждый день... Ты, Кашка, садись. Садись рядом.

И Кашка сел. Он сел так, что плечом чувствовал Володин локоть.

— Я стихи придумал, — вдруг сказал Кашка. — Про костер. — Он смотрел в неяркое дневное пламя и напря-

женно ждал, что скажет Володя. Волны теплого воздуха перекатывались через ноги, а спине было холодно. Поэтому Кашка немного вздрагивал.

— Стихи? — переспросил Володя. — Сам придумал?

— Ага...

— Надо же... Я один раз пробовал стихи сочинить... Для одной девчонки. Ну ничего не получилось. А у тебя получилось?

— Ага, — снова сказал Кашка.

— Почитай, а?

Нет, Кашка не мог так сразу. Неловко было и страшно.

— Я не умею. Я лучше напишу и отдам. Тебе... Ладно?

— Ну ладно. Только не забудь...

«...Только не забудь», — сказал Володя и вдруг понял, что ему в самом деле интересно, какие стихи получились у Кашки. И приятно, что Кашка сказал ему об этих стихах. И еще он с удивлением почувствовал, что плевать ему на любые насмешки насчет няnek и всякой ерунды. То есть не совсем плевать. Кто будет дразниться, тот получит. Но Кашку от себя Володя прогонять не станет и бегать от него не будет.

И вот еще что странно: никогда никому Володя не рассказывал, что однажды пытался сочинить стихи для Надежды, а Кашке сказал об этом сразу, спокойно и доверчиво...

— Ты не забудь написать, — повторил он. — Я твои стихи домой увезу. На память...

«Домой увезу», — сказал он, и Кашку вдруг кольнуло предчувствие близкой беды. Именно беды.

Ведь совсем скоро придет день, когда Володя уедет в город. А Кашка — в Камшал. В разные стороны.

В разные стороны...

Он до сих пор не думал об этом. Но сейчас начал думать и понял, что уже никак не прогнать это ожидание близкого печального отъезда. Никак. Потому что все равно придет этот день. Дни идут быстро.

Ну почему, почему он и Володя живут так далеко друг от друга?

— Во-лодя... — встревоженно начал Кашка. — Знаешь что, Володя? Я придумал. Поедем к нам в гости. Когда лагерь кончится.

Он только сейчас это придумал. Сию минуту. Но это был выход. Если Володя поедет, ему, может быть, понравится в Камшале. И тогда, может быть, он захочет приехать еще раз. И еще. А ему понравится! Там они каждый день будут жечь большие костры...

Володя вынул из огня обожженную тросточку. Она дымилась, и по обугленной коре бегали искры.

— Ну, Кашка... — неуверенно сказал Володя. — Ты и придумал... Тебе, наверно, дома влетит. Скажут, кого это ты притащил...

— Не! Не скажут!

— И мне влетит. Все домой приедут, а меня нет. Знаешь, какой переполох будет!

— А ты письмо напиши. Если напишешь, тоже влетит? — упавшим голосом спросил Кашка.

— Если напишу? Нет, тогда не влетит... Ну, я не знаю. Там видно будет, ладно, Кашка?

— Ладно... А что видно?

— Мало ли что. До конца смены еще вон сколько дней. Вдруг что-нибудь случится! Или ты раздумашь. Или еще что-нибудь.

— Не раздумаю, — с отчаянной твердостью сказал Кашка. — Володя! А если не случится? И если ни что-нибудь? Тогда поедешь?

— Ну, посмотрим... Камшал отсюда сколько километров? Сорок? Сорок — это недалеко, ладно... Ты садись как следует. Возьми куртку, а то у тебя зубы стучат.

— Тепло, — лениво сказал Кашка, чувствуя громадное облегчение и усталость от прошедшей тревоги.

— Ногам тепло, а спине холодно. Дай накрою...

Куртка пахла смолой и березовым дымом.

Володя ножиком снимал с палки остатки коры. Черные кубики и треугольники сыпались Кашке на колени. Свежая белизна узора ярко выделялась на дереве, потемневшем от огня.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ночью Кашка писал письмо. Попросил у Вальки — Обезьяньего Царя — фонарик, укрылся с головой и выводил в тетрадке крупные буквы:

«Здрастуй мама. Я жыву здесь хорошо. Мама у меня есть друк. Ево зовут Валодя. Мама можно Валодя приедет вгости мы будем вместе гулять и за ягодами. Мама я жыву хорошо патамушто Валодя. Я сочинил стихи...»

После стихов писать было нечего. Кашка с облегчением вздохнул и поставил такую точку, что проколол бумагу.

Но тут он вспомнил, что обещал подарить стихи Володе. Что же, писать еще раз? Столько слов! Таких длинных! Сочинить все это было, пожалуй, легче, чем написать...

Кашка подумал и аккуратно оторвал половинку письма со стихами. Маме он их и так расскажет, когда приедет. А это — Володе...

А утром, когда позавтракали, Кашка исчез.

Серафима ходила по лагерю и тихо рычала от злости. Больше всего она не любила, когда кто-нибудь из малышей пропадал из виду...

— Пусть уж лучше на головах пляшут, только чтобы у меня на глазах, — часто повторяла она.

Кашка никогда не дрался и на голове не плясал. Это было просто чудесно. Правда, в последнее время начал он где-то пропадать, но потом выяснилось, что он уходит с Володей, и Серафима успокоилась.

Однако сегодня он исчез один. Володю Серафима увидела на веранде первой дачи, а Кашки там не было.

— Слушай, где твой оруженосец? — раздраженно заговорила Серафима. — Целый час бегаю по лагерю, высунув язык. Не могу найти ни его, ни тебя. У меня по плану разучивание песни, а твой Голубев...

— Не говори так много слов, — сквозь зубы отозвался Володя. Он сидел на перилах веранды и зашивал покрышку волейбольного мяча. Иголка не хотела втыкаться в толстый панцирь и втыкалась в пальцы.

— Где Кашка? — повторила Серафима.

— Что я, на цепи его держу? У-ых... ф-ф-ф... — Он сунул в рот палец и с ненавистью уставился на иголку. Нитка выскочила из ушка.

— Дьявол тебя проглотит! — в сердцах сказал Володя.

— Меня? — возмутилась Серафима.

«Тебя — само собой», — подумал Володя, но вслух попросил:

— Вдерни мне нитку... пожалуйста.

— Ну тебя с ниткой!

Она пустилась дальше на поиски.

Конечно, Серафима не догадывалась, что и Володю встревожило исчезновение Кашки. Он проводил вожаковую глазами и прыгнул в траву, проклиная бестолкового оруженосца, Серафиму, мячи, нитки, иголки и белый свет. Исколотый палец болел зверски. Покрышку Володя забросил в угол, а иголку забыл на перилах (потом на нее сядет Генка Молоканов, но это не входит в наш рассказ).

Кашку Серафима увидела неожиданно. Его и Мишку Зыкова вела навстречу Тося Крючкова. Она двигалась с суровым видом и держала мальчишек за воротники. Кашка шел покорно, только сопел, а Зыков лягал Тосю босыми пятками, возмущенно вскрикивал и хотел вырваться. Старался он зря: Тося была самой большой девчонкой в

лагере. Посильнее многих мальчишек из первого отряда. Ростом с Серафиму.

— Получай, Сима, своих гавриков, — хриплым басом сказала Тося. — Дрались, понимаешь, в кустах, аж сучья трещали. Еле расцепила. Особенно вот этот, — она трянула Кашку. Голова у Кашки мотнулась.

— Спасибо, — вздохнула Серафима. — Ты их, Тося, пусти. Не сбегут сейчас... Ну, что скажете?

Кашка ничего говорить не собирался. Зато у Мишки слова рванулись, как барабанная дробь. Частые, горячие, убедительные:

— Серафима Павловна! Он как бешеный! Мы сидим, а он — раз! Мы сидим с Валькой, разговариваем, а он — трах! На меня! Как сумасшедший! Ни за что! Мы про него даже не говорили, сидим с Валькой на полянке у кустика, а он как выскочит! Трах по спине! Я думал, он играет, а он опять — раз! Изо всей силы, только мимо...

Столпившиеся вокруг свидетели подтвердили, что так и было. Кашка будто зверь набросился на невиноватого Зыкова.

— Я его отпихну, а он опять лезет. Я ему раз — прием! А он опять лезет! Он же драться не умеет, а сам лезет! — Честные Мишкины глаза смотрели без обиды и злости, было в них только удивление и жажда справедливости.

— Ладно, идите все, не мешайте, — решила Серафима. — Мы тут с ним разберемся. Идите, идите...

Зрители и свидетели нехотя разбрелись. Мишка отошел на три шага и нерешительно затоптался. Не знал, относятся ли слова Серафимы и к нему.

Серафима приступила к допросу:

— В чем дело, Голубев?

Кашка повертел головой так, будто легонький воротник рубашки натирал ему шею. И промолчал, конечно.

— Ну?

Кашка проглотил слюну и стал разглядывать землю.

— Будешь ты говорить в конце концов? — сдерживаясь, спросила Серафима. — Что у вас случилось? Ты первый начал драку? Сам?

— Сам, — тихонько сказал Кашка.

Ну и ну! И это тихий, послушный Кашка Голубев, с которым не было ни забот, ни беспокойства!

— В чем же дело? — почти жалобно проговорила Серафима. — Была какая-нибудь причина?

Кашка подумал и нерешительно ответил:

— Была...

— Какая?!

Кашка прочно смотрел в землю.

— Может, он заболевший? — участливо спросил Мишка. Он был вполне доволен честными Кашкиными ответами и теперь уже сочувствовал ему.

Но Кашка не оценил такого благородства. Мрачно покосился на Зыкова.

— Ты сам заболевший...

Вот так и стояли они на широкой аллее, на самом солнцепеке и вели какой-то бесполезный разговор. И это наконец совсем разозлило Серафиму. Она опять взялась за Кашку:

— Клещами я из тебя слова тянуть буду? Или говори сейчас же, или... — Что «или», она еще не придумала и сбилась. — Или... Встань, пожалуйста, как следует, когда с тобой говорят! Разболтались совсем... Что ты за живот держишься? Стукнул он тебя, что ли, по животу?

— Не стучал я! — возмущенно откликнулся Мишка.

— Не, не стукнул, — подтвердил Кашка.

Серафима редко брала своих малышей «в обработку», но сейчас решила не отступать.

— Опустит руки и подними голову, — деревянным голосом сказала она.

Кашка шевельнул руками, но совсем их не опустил и продолжал прижимать к животу локоть. Серафима сжала

губы, решительно взяла Кашку за ладони и вытянула его руки по швам.

Тогда раздался тихий шелест, и из коротеньких Кашкиных штанин посыпались мятые конверты. Кашка подпрыгнул и устался на них с таким испугом, словно это было что-то кусачее и ядовитое.

— Так... — тихо сказала Серафима. — А это что такое?

Но Кашка снова молчал, и опять вмешался его противник:

— Это письма. Он на почту, наверно, бегал. Да, Кашка?

— Да? — сурово спросила Серафима.

— Ага... — выдохнул Кашка.

— А кто тебе разрешил?

Никто ему не разрешал, зачем зря спрашивать. Просто не терпелось Кашке отправить свое письмо. Ведь до конца смены не так уж много дней осталось, а Кашке надо было дожидаться из дома ответа. Ну просто обязательно надо! А вдруг не успеет ответ? Эта мысль грызла Кашку с вечера, а утром беспокойство сделалось сильнее всяких страхов. Он скользнул из столовой и пустился в путь.

До деревни, где почта, всего-то два километра. И дорога прямая, не заблудишься. Кашка то шагом, то вприпрыжку двигался через лес. В одной руке письмо, в другой — березовая ветка и четыре копейки. И никого он не встретил на пути. Только на краю деревни хотели атаковать Кашку жирные нахальные гуси. Они выстроились поперек дороги шеренгой и выжидательно поглядывали на голые Кашкины ноги.

Гуси, они и есть гуси. Дурни... Кашка не спеша подошел поближе, рванулся вперед и на всем скаку врзался в белогусиный строй. Ветка будто сабля!

Он уже подлетал к почте, а сзади, вдалеке, все не смолкало бестолковое гусиное гоготанье.

На почте, в тесовой комнатенке, скучала за окошечком девушка, немного похожая на Серафиму. Тоже веснушчатая и светлобровая. Увидела Кашку и оживилась:

— Тебе что нужно, молодой человек?

«Молодой человек» протянул копейки.

— Конверт...

Девушка взяла деньги.

— Ага... А знаешь, ничего не выйдет. Денег-то мало.

Это одна марка четыре копейки стоит, а конверт с маркой — пять.

Вот этого Кашка никак не ждал!

И такое, наверно, несчастное сделалось у него лицо, что девушка засмеялась и сказала:

— Ладно. Хочешь заработать конверт? На, получай.

А за это отнесешь в лагерь письма. Тут восемь штук... Ты ведь из лагеря?

Кашка осторожно признался, что да, из лагеря. Он минут пять еще трудился над адресом, потом отдал девушке заклеенный конверт, получил письма и выпрыгнул на крыльцо.

— Не потеряй! — услышал он вслед.

— Не!

Он не потеряет! Все будет хорошо! Отлично все получилось! И лишь недалеко от лагеря с размаху остановила его тревожная мысль: а как же он отдаст письма? Ведь тогда узнают, что он бегал без спросу на почту.

Кашка растерянно затоптался в травянистой колее. Просто хоть обратно носи эти письма. Но ведь не понесешь же, в самом деле. И тут пришло счастливое решение: «Отдам Володе. Он что-нибудь придумает».

Кашка спрятал конверты под рубашку и двинулся к лагерной калитке.

Он был уже у отрядной дачи, и уже наперебой говорили ему, что Серафима ходит злая и разыскивает его. И он уже успел испугаться и расстроиться, потому что Серафимы боялся, а Володю не нашел. И вдруг в одну секунду позабылись испуг и тревога. Кашка услышал Мишкины слова. Мишка сидел среди кустиков и беседовал с Обезьянь-

им Царем. И они говорили такое!.. В общем, Кашка замер сперва, а потом в нем что-то сорвалось.

И он ринулся в битву так же стремительно и без оглядки, как недавно врубался в гусиные ряды...

— Кто тебе разрешил? — повторила Серафима. — Кто позволил без спроса уходить из лагеря? Знаешь, что за это бывает?

Кашка точно не знал. Наверно, что-то жуткое. Неужели исключат? А вдруг правда отправят сейчас домой? И не поедет к нему Володя...

Страшная беда, неминуемая, нависла над Кашкой. И казалось, не было спасения.

Но оно было. Оно пришло. Появился Володя.

Он тоже смотрел на Кашку не очень-то ласково. Но смотрел внимательнее и увидел то, что Серафима не заметила сгоряча.

— Подожди, — хмуро сказал он Серафиме. — Не видишь, он весь в крови?

Конечно, Кашка не весь был в крови. Просто рука у него оказалась расцарапанной выше локтя. Кровь ползла медленными струйками.

— Покажи, — велел Володя. — Дрался, что ли?

— Это он сам о ветки расцарапался, честное октябринское, — жалобно заговорил Мишка Зыков. — Я его даже не стукнул ни разу.

Серафима поморщилась:

— Еще не легче! Теперь в медпункт его тащить. Бинты, йод, писк...

— Какой там писк, — сказал Володя. — Кашка, иди к Райке. У девчонок есть бинт. Да скажи, чтоб промыли. Ну, бегом, чего стоишь?

Кашка моргнул, приоткрыл рот, словно спросить хотел что-то. И сорвался с места.

Серафима растерянно посмотрела вслед. Потом запоздало возмутилась:

— Ты, Новоселов, собственно говоря, что распоряжаешься?

— Тебя пожалел, — усмехнулся Володя. — Сама же говоришь, что боишься писка.

— Не лагерь, а орда, — печально сказала Серафима. — Ну ладно. Я с вами еще разберусь.

— Разбирайся со мной, — серьезно попросил Володя. — А с Кашкой я разберусь сам.

— Великолепно! — Серафима подбоченилась и наклонила набок голову. — Может быть, теперь ты вожатый, а не я? Может быть, ты за мой отряд отвечаешь? Или я все-таки?

— Ну, ты... — мрачно согласился Володя. — А если ты... Если ты отвечаешь, то отвечай как надо, а не хватай сразу человека за шиворот! Ты знаешь, зачем он бегал на почту? Ничего не знаешь. А сразу ругаешься! А может быть, он какое-то важное письмо ждет! — Володя почувствовал, что нашел слова, с которыми трудно спорить. И продолжал почти весело: — Может быть, у него дома что-нибудь случилось, может, он по ночам не спит... Ты его про это спросила?

— Не спит он, как же... — неуверенно проворчала Серафима. — Другой бы на его месте взял бы тогда и объяснил все. А он стоит и молчит...

— Другой на его месте, — ядовито сказал Володя, — взял бы да сунул все эти письма под пень в лесу или в яму какую-нибудь. И концы в воду. Никто бы и не узнал, что он на почту бегал. А он принес...

Может быть, Серафиме нечего было возразить. А может быть, она взглянула на рассыпанные по песку письма и увидела среди них то, которое очень ждала. В общем, она торопливо наклонилась, собрала конверты, проворчала, что все равно это дело Кашке, а заодно и Зыкову так не пройдет, и ушла.

Володя весело засвистел. Победа была за ним. Он уже

хотел покинуть «поле битвы», но заметил у края аллеи, в траве, свернутый листик бумаги. Записка, что ли, какая-то? Она шевелилась под ветром, словно хотела выбраться из путаницы стебельков и листьев.

Володя развернул бумажку и увидел:

Стихи для Володи

Я веток сухих и иголок найду
 Стиклом от бинокля огонь
 развиду кастер как живой
 он похож на жар птицу
 Она мне севодне наверно
 приснища

Володя аккуратно, уголок к уголку, свернул листик и спрятал в карман. Улыбнулся и пошел туда, где перевязывали раненого оруженосца.

Но Кашка уже сам летел навстречу. Распушенный бинт реял за ним, как вымпел.

Сзади с возмущенными криками бежала Райка, а за ней еще три девчонки.

— Во-лодя... — Кашка остановился и никак не мог отдышаться. — Тут бумажка... с письмами была... Я потерял...

Володя вынул стихи.

— Эта?

Кашка начал улыбаться. Улыбка была смущенная и вопросительная.

— Я прочитал, — негромко сказал Володя. — Хорошие стихи. Правда, Кашка, хорошие. Честное слово... Ну, давай я завяжу руку.

— Вот придумал! — вмешалась Райка. — Нужен стерильный бинт. Смотри, он этот в песке извозил. Сорвался как сумасшедший. Девочки, дайте йод.

Она развернула новый моток бинта. Кашка послушно подставил локоть. Смотрел он не на Райку, а на Володю. Равнодушный к боли и совсем счастливый.

— Кашка, а зачем тебя на почту понесло? — поинтересовался Володя.

— Чтоб скорей письмо отправить. Чтобы мама скорей ответ написала... — Кашка замялся. Неудобно было объяснить Володе, что без маминого разрешения он побаивался везти к себе гостя.

— А дрался зачем?

Кашка насупился. Покосился на Райку.

— Я потом... скажу.

Райка завязала тесемки бинта.

— Пойдемте, девочки. Пусть они секретничают.

Девчонки с независимым видом удалились. Даже их спины говорили: «Больно нужны нам ваши тайны!»

— Ну? — сказал Володя.

— Мишка Зыков говорил, будто она нарочно мимо стреляла... — Кашка сердито кивнул вслед Райке. — Нарочно, чтобы тебе первое место досталось. Потому что... Мишка — он дурак. Говорит: потому что она в тебя влюбилась.

— Тьфу ты... — Володя сказал это беззаботно, а у самого тут же заныло, заскребло на душе. Беспокойство — как злая мышь.

Он всегда не любил непонятные разговоры и загадки, полунамеки и хитрые взгляды. Это его злило. А здесь... Здесь было еще хуже. Он не понимал, что и почему хуже, только почувствовал: чтобы не стало совсем плохо, надо решить все мгновенно.

— Райка, стой!

Девчонки остановились, удивленно оглядываясь. Володя подошел почти вплотную.

— Слушай, — отчетливо сказал он. — Ребята говорят, что ты нарочно мазала по мишеням. Для меня. Да?

Девчонки приоткрыли рты. Райка сделала круглые глаза.

— Если да, скажи сразу, без дураков, — потребовал Володя.

Он смутно чувствовал, как рвутся между ними ниточки-паутинки. Ниточки, о которых он раньше не догадывался. Но рядом стоял весь натянувшийся, напряженно ждущий ответа Кашка, соучастник его победы, верный и доверчивый оруженосец. И это было главное.

— Скажи, — твердо повторил Володя.

Райка отступила к березе, запрокинула голову и принялась хохотать. Хохотала она старательно и громко.

«Аут», — мысленно произнес Володя. Он по-прежнему чувствовал досаду, но беспокойство исчезло.

— Пойдем, Кашка. Разве их поймешь, девчонок... Пошли. Ты мне сможешь просунуть нитку в иголку.

Дни убегали. Чем ближе к концу, тем скорей. А письмо для Кашки не приходило.

Дежурные отправлялись на почту после обеда, в тихий час, который тянулся не один час, а два часа. И это время было для Кашки не сон, а мучение. По нескольку раз он срывался с кровати и выскакивал из палаты, будто бы по неотложному делу. И смотрел, не возвращаются ли дежурные. Иногда Кашке удавалось встретить их, но такие встречи приносили одно расстройство: письма не было.

До прощального костра осталось четыре дня. Вернее, три с половиной.

Кашка лежал и смотрел на потолок. По деревянной балке ходила блестящая зеленая муха. Кашка загадал: если муха перейдет через длинную трещину, письмо сегодня будет обязательно. Муха через трещину не шла. Кашка то уговаривал, то ругал ее шепотом, но без всякой пользы. Муха погуляла вдоль балки и остановилась у круглого сучка. Неожиданно она стала толстеть, расти и превратилась в смешного челотяпика с усами и шпагой. Кашка не удивился такому делу, только не понял: как он там держится вниз головой. И еще оказалось, что сучок — это не сучок, а деревянная пробка. Челотяпик обхватил ее, начал раскачивать и наконец выдернул из гнезда. Пробка поле-

тела вниз и хлопнула Кашку по лбу. Он моргнул и увидел, что ни пробки, ни челотяпика нет, а есть Алеша Малиютов, который приготовился второй раз шелкнуть Кашку в лоб.

— Ждал письмо? На, — прошептал Алешка. — И вот еще, отдай своему Володьке...

Хороший человек Алешка! Просто чудо какой хороший!

Кашка перевернулся на живот, рванул конверт. Скорей! Ой, длинное какое! «Здравствуй, милый сынок...» Так, это как всегда, это хорошо. «Папа здоров...» — это замечательно. «Бабушка пишет...» Неважно, что она пишет! Где же главное? Ой, вот! «Конечно, пусть приезжает, мы будем очень...»

Ура!

Кашка тихой молнией скользнул в коридор, а оттуда в соседнюю палату.

Большие мальчишки, конечно, не спали. Двое дулись в шахматы, один жевал печенье. Юрка Земцов целился в кого-то мыльницей, еще двое накачивали велосипедным насосом заштопанный волейбольный мяч. Мяч не накачивался и шипел. Мальчишки тоже шипели и ругались. Володя лежал на животе и читал книжку.

— Володя, — ликующе зашептал Кашка, — смотри, мама пишет: «Пусть приезжает». Поедем, да?

Володя не сразу понял. Потом отбросил книгу. Ох, черт! Видно, Кашка всерьез вбил себе это в голову...

— Видишь, мама пишет: «Будем очень рады...»

Вот не было печали!

Но ведь он в самом деле тогда пообещал. Как же теперь выкрутиться?

А впрочем... Надо ли выкручиваться? Если уж обещал... Домой, конечно, уже хочется здорово. Но ведь Кашка тоже...

Володя сел в кровати. Эх ты, Кашка... Вот он стоит пе-

ред ним, тонконогий малыш-оруженосец. Смотрит радостными серыми глазами. Поверил уже.

А может, правда съездить? На пару дней. Дома, конечно, будет нахлобучка, но... наверно, не очень сильная. Райка отвезет записку. Папа поймет. Мама? Пошумит и тоже успокоится. В Белый Ключ ведь он тоже один ездил, а был на год младше.

Может, в самом деле съездить? А то разъедутся они с Кашкой в разные стороны и, кто знает, увидятся ли когда-нибудь еще?

— Ладно, Кашка. У нас ведь еще четыре дня. Договоримся.

— Три, — настороженно сказал Кашка. — А разве мы еще не договорились?

— Ну... Эх, пусть. Договорились. Если все будет в порядке, то договорились... А что это за письмо еще?

— Ой, оно тебе. Я забыл даже...

От кого бы это? Надо же, от Надежды! Интересно... Но он прочтает, когда никто не будет мешать. Так лучше.

— Ну, Кашка, иди досыпай. А то нам Серафима даст жизни.

— Даст, — радостно согласился Кашка.

Он исчез, а Володя распечатал письмо.

«Вова, здравствуй!

*У меня радость. Папка наш едет в командировку в Ленинград и меня берет с собой. А по дороге мы к вам заедем на три дня. Ты мне весь город покажешь. Помнишь, ты обещал? И театр, и скелет мамонта в музее, и пристань, и летний трамплин. Я знаю, ты 23-го из лагеря приедешь. Мы к вам тоже двадцать третьего приедем. А к нам в Ключ ты соби-
раешься? Встретимся — договоримся. Ура!*

Н.»

...Юркина мыльница свистнула над Володиной головой, ударилась о стену и развалилась на половинки. Володя не шевельнулся. Он смотрел в письмо, будто хотел

прочитать, какой же придумать выход. Но не было выхода. Тут или — или... Но никакого «или» быть не может. Потому что Надежда — это Белый Ключ, это озера с темной водой и чешуйками месяца, и звезды в разрыве листов, и солнечные заросшие улицы, и веселье, и ночные костры...

Но... «Костер как живой, он похож на жар-птицу...»

Как же теперь ему объяснить? Как рассказать, что такое эта круглолицая строптивая девчонка?

Эх, Кашка, Кашка! Не везет тебе, оруженосец...

А Кашка, измученный ожиданием и счастьем, спал, лежа ничком поверх одеяла. Ему приснился большой красный самолет в очень синем утреннем небе. Он летел так низко, что пригибались верхушки берез. Самолет весело трещал и блестел стеклами.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Это последнее утро было бессолнечным и сырым. Ночью шел дождь. Володя, просыпаясь, слышал сдержанный шепот капель и вздохи ветра. Сейчас дождя не было, но тяжелые облака так и не разошлись. Володя открыл глаза и увидел в окнах влажный пасмурный свет.

Вставать не хотелось. Володя закинул руки, вцепился в спинку кровати и потянулся. Заскрипела сетка. «Странно как-то получается, — подумал Володя. — Скоро я встану и, наверно, никогда в жизни уже не лягу на эту кровать. И в этой комнате, может быть, никогда уже не буду». Он разглядывал некрашенные доски потолка с привычным рисунком трещин и сучков. Прямо над головой были два круглых сучка, похожих на клоунские глаза, и третий, наминавший сплюснутый нос. Под «носом» шла вдоль доски короткая широкая расщелина, будто растянутый в тонкую улыбку рот. Это было знакомое лицо потолка. Оно

смотрело на Володю каждый вечер и каждое утро. Теперь уж не будет смотреть.

В приоткрытое, затянутое марлей окно сочился пахнувший дождем воздух. Володя поежился и выпустил железные прутья спинки.

Слева послышалось деловитое сопение. Володя повернул голову. Юрка Земцов сидел в кровати, держал на коленях рюкзак и укладывал в него свое имущество.

— Не терпится? — равнодушно спросил Володя.

— А зачем время терять? — Юрка повертел в руках лопнувшую по всем швам волейбольную крышку (взять или выбросить?) и утопил ее в рюкзаке. — Сразу соберешься, потом забот меньше. А ты чего кислый? Все-таки домой едем. Неохота?

В самом деле, почему ему ничуть не весело? Ведь домой! Ведь так хотелось домой! Надежда придет. Но тут же он понял почему.

Кашка...

Володя вспомнил вечерний разговор. Они встретились за оградой лагеря, среди больших сосен. Подальше от чужих глаз. Кашка сидел на пенке и смотрел на Володю, подняв маленький острый подбородок.

— Никак не можешь, да? — тихо спросил он.

Володя покачал головой. Он смотрел в сторону. По траве прошелся ветер и пригнул головки подорожника.

— Не обижайся, Кашка, — сказал Володя.

Кашкины глаза стали удивленными. Он совсем не обижался. Как он мог обижаться на Володю? Раз Володя так решил, значит, так надо. Но было очень грустно, и Кашка все еще надеялся, что найдется какой-то выход. Может быть, Володя придумает.

— А если хоть на один денек? — шепотом спросил Кашка. — Тоже нельзя, да?

— Понимаешь, Кашка, никак... — Володя старался говорить очень мягко и убедительно.

Кашка медленно вздохнул. Его остренькие ключицы приподнялись и упали.

«Надо было сказать ему сразу, — болезненно подумал Володя. — Черт меня дернул тянуть это дело».

— Если бы не это письмо, мы бы обязательно поехали, — проговорил он. — Честное слово... Но мы ведь в будущем году опять встретимся, — добавил он почти жадно.

— Ага... — откликнулся Кашка. Он сидел теперь согнувшись и расковыривал кору на пенке. На Володю не смотрел.

Прозвучал за деревьями горн.

— Ну вот, — с облегчением произнес Володя. — Это вас на ужин зовут. Что-то рано сегодня...

Кашка медленно поднялся.

— Отряхнись, — сказал Володя. — Все штаны в мусоре.

Кашка покорно дал себя отряхнуть.

— Ну, все в порядке... Слушай, Кашка, давай попрощаемся сейчас. Мы же завтра на разных машинах уезжаем. Рано утром. Наверно, и увидеться не успеем. А на костер вас, наверно, не пустят, чтобы завтра не проспали.

Кашка кивнул. Он стоял, крутил на животе пуговицу рубашки и не знал, что сказать.

Володя взял двумя руками его маленькую ладонь. Ладонка была вялая. Совсем не такая, как раньше. Вчера дежурные не пустили Кашку в столовую, придрались к пятнам смолы на пальцах, и Володя потащил его отмывать руки. Он тер их большущим куском мыла, а Кашка визжал, дурачился, и его скользкие ладони вырывались из Володиных пальцев, как живые карасята. А сейчас...

— Ну, беги, — сказал Володя. — Пора. Двигай, Кашка...

— Ага... — прошептал Кашка. — Я пошел.

И он зашагал к лагерю.

«Если бы можно было разорваться, — подумал Володя. — И домой, и к нему...»

Кашкина понурая фигурка мелькала среди потемневших сосен.

«Только бы он не заплакал», — подумал Володя.

...Но Кашка не плакал. Зачем? Так уже было. Уехал куда-то добрый мальчишка Пимыч. Ушел в далекие горы бесстрашный путешественник Костя. Все встречаются, а потом расстаются. Нечего тут плакать...

Зато Кашка скоро приедет домой, и там будут мама и папа.

Кашка вспомнил о доме, и сразу все просветлело. Слезы растаяли. Кашка пошел дальше, не опуская головы.

Но вот он вышел на лужайку, где они с Володей жгли костер. След костра был как черная заплатка на мохнатом травяном ковре. У Кашки опять заскребло в горле.

Завтрак был торопливым и коротким. Володя проглотил противный теплый компот и поскорей вернулся в свою дачу.

Юрик Земцов оказался прав: следовало собраться заранее. Почти все уже были готовы, а Володя искал под кроватями зубную щетку и фонарик...

Когда рюкзак был уложен, Володя заметил, что в комнате уже пусто.

Володя ловко бросил рюкзак за спину — обе лямки на одно плечо. Поправил ставшую непривычной кепку: он почти не носил ее в лагере. Взял в углу свою узорчатую тросточку.

Оглянулся на пороге.

Постели были убраны, на полу мусор: обрывки газет, сухие сосновые иглы и блестящая пряжка от сандалий. Плакат, на котором краснощекий горнист играл побудку, оторвался верхним углом от стены и повис, как приспущенный флаг. Видны были только ноги горниста и надпись: «Ура пионерскому лету!»

Вот и все. «Синие Камни», прощайте! Было хорошо, и поэтому сейчас грустно. Но впереди тоже много хороше-

го, и поэтому грустно не очень. Прощайте, скалы в дальнем конце просеки, алый шиповник по краям полян, желтые костры в сизых сумерках, красный олень, бегущий сквозь кусты... И маленький оруженосец Кашка...

Видно, так уж устроено в жизни. Встретятся два человека и сначала смотрят друг на друга хмуро и непонятливо, а когда эта хмурость исчезает и хочется быть вместе, вдруг наступает вот такой пасмурный день. И надо прощаться. Тут уж ничего не придумаешь, у каждого своя дорога.

«Не надо больше встречаться с Кашкой», — подумал Володя, сходя с крыльца. — Ни к чему с ним сейчас встречаться. Хорошего от этого не будет ни ему, ни мне. Он еще заплачет...»

Но Володе не повезло. Он обогнул дачу и увидел, что вдоль аллеи стоит длинная шеренга малышей. Уже одетые в дорогу, с рюкзаками и чемоданчиками, они выстроились для последней переключки. Ветер сеял водяную пыль, и малыши стояли непривычно тихие, присмиревшие. Серафима нервно размахивала листком бумаги и повторяла:

— До станции поедem в автобусе. Вместе с другими ребятами. Ведите себя как следует. На вокзале разделимся. Те, кто в город, поедут на электричке с Сергеем Петровичем. Те, кто в Новореченск и Камшал, поедут со мной. Повторяю...

«Значит, Сережи с нами не будет, — подумал Володя. — Наш грузовик поедет в город по тракту, на станцию не заедет...»

Кашка стоял почти в конце шеренги. Был он сейчас совсем маленький. В мятой вельветовой кепчонке, в серой курточке, в сморщенных на коленках чулках. С большим портфелем, перевязанным веревочкой. Левый чулок сползал, и Кашка то и дело поддергивал его. Лицо у Кашки

было совсем неулыбчивое и равнодушное: словно ему все равно, куда ехать и что делать.

Володе стало не по себе. Если бы он был девчонкой, он мог бы подумать: «У меня защемило сердце». Но он не был девчонкой и думать о таких нежностях не умел.

— Новоселов! В машину! — закричали издалека. — Воло-о-дя-а!

Кашка вздрогнул, распрямылся. И, конечно, увидел Володю.

Он глянул в упор, и в серых глазах его тут же вспыхнула крошечная надежда. И стала расти. «Ты передумал, да? Ты поедешь?»

«Уйти бы...» — тоскливо подумал Володя. И уйти было нельзя.

— Еще раз повторяю, — с надоедливой громкостью говорила Серафима. — Вести себя надо как следует, потому что... Новоселов, а тебе что надо? Не мешай ты нам...

— Ладно, потерпи, — сказал Володя. — Теперь уж недолго.

Он взял Кашку за плечи и, пятась, вывел его из строя. Так они пересекли аллею. Володя остановился, прислонившись рюкзаком к березе.

— Ну вот... — негромко сказал он. — Счастливо тебе, Кашка.

— Ага... Счастливо, — ответил Кашка шепотом и стал смотреть на свои сандалии. Сверху, с березовых листьев, падали увесистые капли.

Володе до смерти захотелось, чтобы все было как раньше. Чтобы вспыхнуло солнце, сверкающее, будто труба горниста; чтобы ветер обсушил деревья; чтобы стало тепло и ободренный Кашка улыбнулся своей чуть виноватой улыбкой. Но что же мог Володя сделать? Ведь не мог он разогнать тучи.

Кашка опустил голову так низко, что Володя не видел его лица. Видел только вельветовую кепку с кнопочкой, светлый затылок и тонкую Кашкину шею с желобком.

Большая капля упала прямо в этот желобок и покатилась по воротнику. Но Кашка только шевельнул плечами и не поднял головы.

— Ты ведь можешь написать письмо, — сказал Володя.

— Ага... — шепотом откликнулся Кашка. — А куда? — Он медленно поднял лицо.

— Я сейчас. Я адрес дам. — Володя сбросил рюкзак и торопливо зашарил по карманам. Он нашел все, что нужно: огрызок химического карандаша и какой-то бумажный клочок. Он развернул бумажку.

— Это были Кашкины стихи.

Я веток сухих и иголок найду
Стиклом от бинокля огонь
разведу кастер как живой...

«Нельзя, — подумал Володя. — На этом никак нельзя».

Но больше не было бумаги. Тогда он снял кепку, растянул ее пальцами на березовом стволе и, мусоля карандаш, начал выводить на подкладке крупные буквы. Потом яростно рванул трескучий сатин.

— Вот, Кашка, адрес. Не потеряй эту тряпку. Где у тебя карман? Ага, вот сюда. Ты смотри пиши. Я тоже напишу. Обязательно, Кашка. Ладно?

— Ладно... — Кашка снова смотрел ему прямо в лицо. — Володя... А если ты только на сегодня съездишь? Хоть дорогу узнаешь. Это тоже нельзя, да?

— Голубев, Новоселов! Вы же держите всех! — окликнула Серафима. — На автобус пора!

Володя поднял из травы свою тросточку и вложил в Кашкину ладонь. Сжал его пальцы вокруг узорчатой рукоятки.

— Бери, — твердо сказал он. — Все. Пиши.

Он вскинул рюкзак и торопливо зашагал к своей машине. Оттуда уже звали его несколько голосов.

— До свидания! — запоздало крикнул Кашка. Володя, не оглядываясь, махнул рукой.

Грузовик стоял у ворот лагеря. Все ребята уже были в кузове. С ними сидела худая очкастая Рита, вожатая третьего отряда.

Володя вскочил на колесо и перевалялся через высокий борт.

— Володька! Мы место заняли! Иди! — услышал он и увидел Юрика Земцова. Юрка поднялся с передней скамейки и махал мятым беретом, на котором только что сидел. Там же, среди тубетеек и фуражек, зеленела Райкина косынка.

— Сейчас, — сказал Володя. Встал и поднял рюкзак. Поднял повыше, чтобы не зацепить чью-нибудь голову. Рюкзак был тяжелый, вытянутая рука дрожала.

— Ну-ка, пустите, — сказал Володя.

Мальчишки заворчали и задвигались.

— Шагай скорей! — звал Юрик.

Уже работал мотор, и дно кузова мелко вздрагивало под подошвами. Рюкзак тихо качался над головами.

— Сейчас, — зачем-то снова сказал Володя.

— Да возьмите же у него мешок! — не выдержала Райка. — Олухи, честное слово!

К рюкзаку потянулись чьи-то растопыренные ладони. Володя медленно отвел руку в сторону, за борт.

И разжал пальцы.

«Костер как живой, он похож на жар-птицу...»

Рюкзак тяжело шмякнулся у колеса, и Володя пружинисто прыгнул рядом. Он услышал, как в кузове ойкнула Райка.

Володя выхватил карандаш и листок с Кашкиными стихами — теперь было все равно. Он прижал бумагу к борту грузовика. Писал, пропуская буквы и запятые, и чувствовал, как убегают секунды. Потом крикнул:

— Райка!

Среди удивленных и встревоженных лиц он увидел над собой Райкино лицо.

— Слушай! — сказал он громко и отчетливо, чтобы ни одной секунды потом не тратить на повторение. — Займи к нам, отдашь это. — Он протянул записку.

— Ой, Вовка! Ой, будет тебе дома... — быстро начала Райка, потому что поняла его сразу. — Ой, дурак...

Но он уже бежал, и наспех подхваченный рюкзак неспешно прыгал у него за плечом.

— Новоселов! Что за фокусы! — Это кричала вслед Рита, но Володя не оглянулся. Больше всего он боялся одного: не успеть. Кеды скользили по сухим сосновым иголкам. Двигатель длинного красного автобуса уже гудел напряженно и нетерпеливо. Вот-вот захлопнется с коротким змеиным шипением дверь! И казалось Володе, что он уже слышит это шипение. Но, видимо, это был встречный ветер.

Он успел.

Он влетел в дверь, и она закрылась, едва не прищемив рюкзак.

Сразу же Володя увидел Кашку. Он сидел у окна. Но смотрел он не в окно, а прямо перед собой, положив подбородок на спинку переднего сиденья. Рядом устроился Генка Молоканов. На пухлых коленях он держал Кашкину тросточку и с удовольствием ее рассматривал. «Выманил уже, скотина», — мельком подумал Володя. Он шагнул вперед и сурово сказал Молоканову:

— Геть.

Тот захлопал ресницами и безропотно сполз с сиденья. Что теперь делать с тросточкой, он не знал и нерешительно топтался рядом.

Кашка поднял голову. Выпрямился. И тоже заморгал. Автобус уже катил среди сосен, и по Кашкиному лицу пролетали быстрые тени.

Володя бросил на сиденье рюкзак, уперся в него кулаками. Так он и стоял, чуть согнувшись, и смотрел на Кашку.

Кашка начал улыбаться.

В автобусе молчали. Сережа молчал и ребята.

Кашка медленно придвинулся к рюкзаку и обнял его левой рукой. Словно это был не рюкзак, а кто-то живой и добрый. И снова взглянул на Володю. Смотрел он снизу вверх, подняв острый подбородок. Улыбка его была все еще несмелая и немного смешная, потому что не хватало переднего зуба.

А Володя вдруг заметил, что глаза у Кашки не серые. Они светло-голубые с коричневыми крапинками.

1965 г.

ТЕНЬ КАРАВЕЛЛЫ

*Моей матери — первому моему читателю,
критику и другу.*

Один раз, когда я был маленьким, мне очень повезло: у меня прохудились ботинки, и пришлось сидеть дома. Не смейтесь. Если бы не этот случай, я не построил бы корабль.

Был март. Под нашими окнами сверкала синевой и солнцем лужа. В луже, как в сказке, ходили эскадры. Только паруса у них были бумажные: в мелкую клетку и косую линейку.

А мне было грустно. И чтобы прогнать плохое настроение, я пошел в кухню, отколол от полена кусок сосновой коры и начал строить «свой» кораблик. Первый.

Потом за свою жизнь я построил целый флот. Были в нем и сосновые лодочки размером с ладонь, и модели каравелл, и настоящие яхты, которые не прочь поспорить с крепким ветром. Одной из самых больших радостей я считаю тот миг, когда парус набирает ветер, кренится мачта, натягиваются шкоты, а за рулем вырастает на воде бурлящая струя.

Это так же радостно, как найти хорошие слова для новой книжки.

И сейчас, когда я с мальчишками снаряжаю эскадру, чтобы уйти в настоящий парусный поход, кое-кто из взрослых серьезных людей с упреком говорит мне: «Ты как маленький все еще играешь в кораблики».

Ну и пусть. Эта повесть не для них. Они все равно не поверят, что, не будь у меня первого бумажного паруса размером с половину открытки, я вообще бы не написал ни одной книжки.

А эта книжка про самое начало. Потому что все начинается в детстве: первые паруса, первые стихи и первые неудачи. Первая любовь и первый смелый поступок.

Иногда меня спрашивают: «Это ты про себя написал?» И очень трудно отвечать. Кое-что про себя, кое-что про таких мальчишек, каким был сам. Про мальчишек, росших в суровые военные годы и в первые годы после войны.

Может быть, кто-то узнает себя в этой книге, а другие могут сказать, что все было не так. Но тут не стоит спорить. Детство — это как сказка, которую каждый раз можно рассказывать по-новому. Главное в нем все равно всегда остается: радость открытия мира, радость ребячьей дружбы и ощущение свежести и синевы.словно ранним утром ты вышел за калитку на улицу, на которой родился, на которой живут твои товарищи.

Я уверен, что каждому человеку хоть раз в жизни выпадало такое утро.

Часть первая

ТЕНЬ КАРАВЕЛЛЫ

СИНЕЕ И БЕЛОЕ

Мир, в котором жили мы, был устроен удобно и просто. В середине его стоял наш длинный двухквартирный дом, который назывался флигель. По сторонам, в разных концах заросшего двора, находились другие постройки: бревенчатый сарай с сеновалом, двухэтажный дом с каменным низом, скрипучая кривая голубятня и кирпичный магазинчик, окруженный забором из неструганых горбылей.

Во флигеле жили мы: я, мама и сестра Татьяна, которая училась в техникуме. Кроме того, в соседней квартире, за стенкой, жили Анна Васильевна и ее сын Павлик.

Население двухэтажного дома состояло из множества людей, которые назывались одним словом — соседи. А те, кто жил за стенкой, соседями не назывались. Они были просто тетя Аня и Павлик.

Среди соседей встречались разные люди: хорошие, так себе и вредные. Хорошей считалась тетя Ира, которая держала корову и давала нам в долг молоко. Так себе была Таисия Тимофеевна, которая тоже держала корову, но в долг молока не давала. К вредным относился прежде всего Славка Дыркнаб.

В сарае хранились дрова и жили две коровы.

В голубятне никто не жил. Давным-давно, до войны, там держал голубей старший брат Славки Дыркнаба. Но потом он ушел на фронт, а его почтари или сдохли с голода, или были съедены. Почерневшая голубятня скрипела на ветру и хлопала дверцами. Казалось, ее давно должны были растащить по досочкам на дрова. Но не растащили.

И она стояла у забора над лопухами и репейниками, словно памятник веселому Славкиному брату, который когда-то жил в этом дворе...

Осталось сказать о магазинчике. В нем, конечно, жильцов не было, разве только крысы. Зато по утрам вдоль забора выстраивалась очередь. Стояли там главным образом старухи, инвалиды и мальчишки. Инвалиды в зеленых солдатских штанах и стоптанных чувяках мусолили самокрутки и все время спорили; старухи хмуро и осуждающе молчали — они здесь были главные. Мальчишки, заняв очередь, собирались в своем углу. Играли на щелчки в «номера» — у кого больше номер на деньгах, или усердно толкались — «давили сало», не забывая прижимать локти к нагрудным карманам, где лежали хлебные карточки. Они первые замечали пожилую сонную кобылу, которая тащила фанерную повозку с белой надписью: «Хлеб». Тогда раздавался тревожный крик: «Везут!» Очередь начинала беспокойно колыхаться.

Но мы тем летом редко стояли в очереди. Продавщица Катя, которая жила на квартире у Таисии Тимофеевны, постоянно говорила: «Не мучайтесь вы, ради бога, зря. Я своим знакомым всегда оставлю».

Видите, как все здорово было устроено.

Кроме того, у нашего крыльца рос громадный тополь. Самый высокий в нашем городе. Не думайте, что я прихвастнул. Все взрослые говорили, что такого большого дерева нет ни на одной улице.

Без этого тополя жизнь была бы гораздо хуже.

В июне тополь зацветал. Стояли дни, полные ласкового солнца. Небо, свободное от облаков, по утрам опрокидывало на землю такую синеву, что городок наш, казалось, притихал от изумления.

Осторожный ветер снимал с веток миллионы пушинок, и по всем окрестным дворам и улицам начинала кружить медленная тополиная метель. Теплая бесшумная метель под чистым небом. Дома, заборы, деревья станови-

лись зыбкими, словно нарисованными на синей марле. Казалось, что небо спустилось к самой траве и можно полететь, как ласточка, если оттолкнуться сандалиями от упругих стеблей пастушьей сумки, от плоских листьев подорожника.

И я летал.

Встречный воздух парусом надувал рубашку. Мягкий, щекочущий пух забирался в рукава и под воротник, ласково и стремительно касался щек, губ, шеи. И радость жизни была легкая, как этот пух, чистая, как утреннее небо.

Правда, иногда эта радость стремительно уходила, уступая место режущей тревоге: на улице раздавался знакомый стук босоножек. Шла почтальонка Люба.

Все ее знали, маленькую, словно девочка, в синем беретике, в желтой гимнастерке, с сумкой, черной и громадной, как пианино.

Над улицей повисало молчание. Казалось, даже пух замирал в синем воздухе. Только Любины каблучки стучали по доскам тротуара. Стучали негромко и как-то виновато. Тишина становилась свинцовой. Иногда она взрывалась где-нибудь громким женским плачем, и тогда слово «похоронная» как бы нависало над улицей. Словно кто-то написал его в воздухе черными буквами...

И все-таки когда я думаю о том времени, то вспоминаю чистое небо июня и радостный полет среди тополиной пурги. Это не потому, что память отбрасывает все плохое. Неправда. Все помнится: и беспощадность военных зим, когда распухали от холода пальцы, и лепешки из картофельных очисток, и короткий лязг ножниц, вырезающих из хлебных карточек мелкие квадратики талонов. Но у детства смелый характер. Оно борется за радость. Оно эту радость находит, несмотря на голод и невзгоды.

Что ж, в конце концов все шло не так уж плохо. Война была далеко, наши били немцев так, что от тех только шепочки летели. Начиналось лето сорок четвертого года. Почтальонка Люба иногда оставляла в фанерном ящике у

калитки бумажные треугольнички с почерком отца, а беду обносила стороной. А тополь цвел.

И, видимо, в этом белом кружении под безоблачным небом лета прозвучал для меня впервые голос синих пространств. Голос, который делает из мальчишек моряков, поэтов и путешественников.

Не знаю, как это случилось. Я не думал тогда ни о парусах, ни о море. Но в один из таких дней захотелось мне сделать крылатый кораблик, чтобы летать в тополиной метели, держа его на ладони. Не самолет, а именно кораблик с крыльями. Вроде того корабля, который я видел в фильме «Золотой ключик». Этот фильм я смотрел два раза в кинотеатре «Сокол», где работала контролером Анна Васильевна, которая жила за стенкой.

Кораблик я решил сделать из глины, а по бокам хотел укрепить сухие стрекозиные крылья. Их я надеялся отыскать в траве. Мне тогда и в голову не пришло, что крылья эти, похожие на лепестки стеклянных ромашек, можно найти лишь в конце лета, когда стрекозы уже гибнут.

Зато, где взять глину, я знал точно. Было такое местечко позади дома, в сыром углу у забора.

Я вооружился щепкой, похожей на плоский штык, и через минуту докопался до влажного слоя. И тут меня отыскал Славка Дыркаб.

Фамилия у Славки была самая простая — Иванов, а Дыркабом его звали ребята. Прозвище это казалось непонятным, но подходящим.

Пятиклассник Славка был большой, круглоголовый и безнадежно рыжий. Если он в солнечный день сидел у окна, от стриженной под машинку головы, как от начищенного самовара, по углам разлетались желтые отблески. Круглые веснушки на Славкином лице сияли, будто новые копейки. И глаза у него были рыжие, кошачьи. Хитрые и непонятные глаза.

Я знал, что от Славки бывают неприятности, а хоро-

ших вещей не бывает. Поэтому смотрел на него с опаской, и голова моя сама собой втягивалась в плечи.

Однако Дыркаб не торопился устраивать неприятность. Улыбнулся, лениво сощурился и сказал:

— Значит, лепить собираешься...

Улизнуть было нельзя. Пришлось ответить:

— Ага... Лепить.

— А чего?

— Не знаю еще, — осторожно сказал я. Раскрывать свои планы рыжему злодею я не собирался...

Дыркаб вздохнул и печально заморгал. Я насторожился еще больше.

— Я, когда маленький был, тоже любил из глины лепить, — неожиданно признался Славка. В желтых глазах его появилась задумчивость.

Он присел рядом. Это было кстати, а то у меня уже шея одеревенела: попробуй-ка, сидя на корточках, смотреть на человека, если он стоит за спиной.

Славка потыкал пальцем глиняный ком и сказал все так же печально и доверительно:

— Я и сейчас лепить люблю. Времени только нет. Мать как увидит меня — сразу: «А ну, марш в очередь за хлебом!» Или: «Марш за керосином!» Или еще чего-нибудь. Покамест в очереди торчишь, вечер подходит, надо за Манькой в садик ковылять. Потом мамка на ночную смену уходит, а я опять же с Манькой... У тебя-то житуха спокойнее, ты у матери младший.

Этим неожиданно серьезным разговором Дыркаб рассеял мою недоверчивость. Подумать только: он искал у меня сочувствия!

Я старательно вздохнул:

— Трудно тебе...

— Да... А лепить я больше всего корабли люблю. Когда-то хорошо умел. Хочешь, сделаю кораблик?

Разве можно было отказаться?!

— Только здесь неинтересно, — подумав, решил Слав-

ка. — Испытывать негде. Давай у вас на кухне. Сразу слепим и сразу в бочке испробуем.

— Знаешь что, Славка, — сказал я, — лучше не надо. Глина же не деревянная. Она бульк — и на дно.

Славка оскорбленно выпрямился:

— Я дурак, да?

— Не... — сказал я опасливо.

— Нет, ты скажи. Дурак?

Я растерянно моргал. Признать Славку дураком было невозможно. Однако, что глина тонет, я знал точно.

— Глина тяжелая, — пробормотал я, не глядя на Дыркаба.

— А железо? — спросил он. — Железо еще тяжелей. А из чего делают пароходы? Из железа. А пароходы тонут?

Пароходы не тонут. Их для того и делают, чтобы они не тонули, а плавали. И возражать тут было смешно.

— Ну вот видишь, — снисходительно заметил Дыркаба. — Главное, знать способ. Как сделать.

Мы пришли на кухню. Славка раскатал на столе глиняную колбасу с заостренными концами, приплюснул ее и налепил сверху плямбу.

— Подводная лодка, — объяснил он. — Похожа?

Я сказал, что похожа, но про себя подумал, что Дыркаба врет, не лепил он корабли.

— Бери теперь и пускай ее в воду, — предложил Славка. — Не бойся.

Но я боязливо заспорил:

— Да... а вода чистая. А глина грязная...

— Глина? — изумился Славка. — Грязная? Из нее посуду делают. Кринки разные да чашки. В ней ни одного микроба нет. Да не бойся ты.

Я нехотя снял с бочки дощатую крышку, тяжелую, как щит Ильи Муромца. Бочка словно вздохнула. Запахло сырým деревом и дождем.

— Ну, давай, давай, — торопил Славка.

Я осторожно опустил «подводку» к воде, жалобно глянул на Славку... и разжал пальцы.

Лодка булькнула и ушла на глубину. Разошлись круги. Я увидел в черном зеркале воды свое растерянное лицо. И сказал шепотом:

— Славка, не плавает.

— Ты что? Как — не плавает? — торопливо заговорил Славка. — Она же подводная, под водой и плавает. Поплаывает и поднимется. Ты подожди. Ну, я пойду, а то мать ругаться будет.

Хлопнула дверь. Я остался у бочки, проклиная Дыркаба. Слезы падали в воду, и наполовину пустая бочка тихонько звенела.

Слезы беде не подмога. А беда была не маленькая. Воду носили от водокачки за четыре квартала. Дело это было хлопотное и долгое: у водокачки всегда стояла очередь. Я испортил двухдневный запас воды и ничего хорошего не ждал от жизни.

Я засучил до плеча рукав, лег животом на край бочки и попытался выловить подводную лодку. Где там! Разве дотянешься до дна... Тогда я принес кочергу и долго бултыхал в бочке, стараясь зацепить потонувшее глиняное судно. За этим печальным занятием застал меня Павлик.

Он незаметно возник на пороге, и я вздрогнул, когда услышал вопрос:

— Ты что? Клад ищешь на дне морском? Или похлебку варишь?

Вопрос был задан с легким удивлением, но и с ехидством тоже. Павлик вообще никогда не разговаривал со мной по-обыкновенному. Если сердитый был, ворчал и советовал «убираться с горизонта». Если находился в хорошем настроении, все время насмешничал. Я привык. Другого я и не ждал. Ему уже стукнуло одиннадцать, а мне и семи не было.

— С чем похлебочка? — продолжал он ядовитый вопрос. — Попробовать дашь?

— Лодка утонула, — сказал я отрывисто, чтобы не разреветься.

Тогда он удивился по-настоящему:

— Что за лодка такая?

— Дыркаб подводную лодку сделал. А она...

Павлик хмыкнул. Не было в нем сочувствия.

— Балда, — сказал он. Было совершенно ясно, что он имеет в виду меня, а не Дыркаба.

Худой, уже загоревший, с отросшей до бровей челкой, он стоял передо мной, пружинисто покачиваясь, и, наверно, размышлял: спасти меня или оставить на съедение злой судьбе? В светло-коричневых Пашкиных глазах блески хитрые, острые, как иголки, точки.

— Эх ты, капитан Немо, — вздохнул он наконец (так я впервые услышал это имя).

Не снимая выцветшей испанки, он бесстрашно ухнул в гудящую пасть бочки и через несколько секунд выбрался на свет, держа на ладони раскисшее чудо подводного флота. Со слипшейся кисточки испанки часто падали капли, чиркали по голубой майке, оставляя на ней темные полосы.

— Забирай, — насмешливо сказал Павлик.

Я послушно подставил ладони под глиняное тесто.

Павлик поднатужился и водрузил на место крышку:

— Все.

— А как сейчас... — начал я, с опаской глядя на бочку. — Вода ведь грязная теперь...

— Пф! — Он презрительно оттопырил губы. — Помереть боишься? От гнилой картошки не померли, а от глины и совсем не померем! Если хочешь знать, в Африке есть такой народ, который специально глину ест, когда больше нечего.

— Правда? — живо откликнулся я, потому что это имело практический интерес.

— Говорят... Да ну ее, глину. Картошка лучше, даже гнилая.

— А если узнают про лодку? — опять забеспокоился я.

— Ха! Как узнают? Может, ты болтать будешь? Может, я буду?

Так связала нас маленькая тайна.

Увы, ниточка эта оказалась совсем непрочной. Через пять минут я услышал, как Павлик вместе с Дыркабом хохочет над моей глупостью.

Грустно мне стало, но я не обиделся. Как я мог обижаться на Павлика? Павлик имел право смеяться. Он был не просто сильнее и старше. Он был человек из другого мира. Мир этот, большой и шумный, включал в себя многие улицы, стадион, реку, где можно было купаться и сколько хочешь смотреть на пароходы. Были в этом мире и школа, и целая толпа друзей, у одного из которых даже имелся велосипед. Было и учебное стрельбище, где смелые люди могли найти пустые гильзы, а иногда и целые патроны. Были крыши, с которых запускали трескучих змеев с мочальными хвостами.

А я? Кто был я? Семилетний заморыш, не нюхавший школы, не ходивший в одиночку даже по ближним улицам. Я рос, окруженный дощатым забором нашего двора. И приятелей у меня не было, если не считать драчливой Томки из большого дома и ее пятилетнего брата Тольки — нытика и попрошайки.

Конечно, двор был большущий, а играть я умел и один, поэтому до поры до времени не чувствовал тесноты и грусти. Но вот, забыв про меня, умчался по своим делам Павлик, и я понял, что мир мой мал, а я одинок. От тоски я отлупил Томку, издалека запустил камнем в предателя Славку и вдобавок нарисовал на заборе его портрет и подписал:

ДЫРКНАБ — ДРАК

Букву «у» я пропустил только из-за торопливости, потому что вообще-то писал и читал тогда уже прилично. Научился, когда было пять лет.

Дыркаб целый час ходил у меня под окнами, громко рассказывая, что он сделает со мной, когда поймает...

А Павлик, хотя и смеялся надо мной, про подводную лодку никому не сказал. И тонкая ниточка, видимо, не совсем порвалась. В конце концов, он именно мне, а не кому-то из друзей оставил на хранение учебную гранату, когда на месяц уехал в лагерь.

А потом был август и тот вечер, когда мы почувствовали, что нас тревожит одно и то же ожидание. Чувство, похожее на близость приключения.

Это было как первая капля нашей дружбы. Вернее, сначала и не дружбы, а просто симпатии, которая появляется, когда два человека хорошо понимают друг друга. После этой капли был еще долгий перерыв. Как в том дожде, о котором я сейчас вспомнил.

Капля упала с потемневшего неба на крыльцо, разлетелась на пылевые брызги и оставила на серой доске темный след. Он был похож на разбившуюся звезду. Пока я разглядывал этот лучистый след, вторая капля шелкнула по моей сандалие, нырнула в одну из дырочек, пробитых в коричневой коже, и холодной ящеркой скользнула между пальцами.

— Владик, иди домой, гроза начинается! — крикнула мама из кухни.

Я не пошел. Мне хотелось увидеть падение новых капель. Я любил это волшебное зрелище — стремительное снижение маленьких стеклянных шариков. Но капель больше не было. Туча молчала. Она уже перевалила середину неба и развернула над всей землей темно-синий грозовой занавес.

Было очень тихо. Иногда вздрагивали и начинали хлопать друг о друга листья тополя, но тут же испуганно замирали.

Над заборами, над низкими крышами я видел высокую башню со шпилем. Я знал, что это колокольня старой церкви, в которой помещалась тогда городская библиотека.

Знать-то знал, но что с того? Я даже близко от этой библиотеки не был — не приходилось. Она всегда была для меня просто башней, видимой издалека. А то, что видишь только издали, всегда кажется немножко таинственным.

Мне нравилась эта башня. А в тот грозовой вечер нравилась особенно. Она была очень белая. Такая плотная и свежая белизна бывает у кусков мела, еще ни разу не взятых в руки. Этот белый цвет на грозовой синеве почему-то радовал и успокаивал меня.

Вокруг башни, словно рой бабочек вокруг абажура, носилась птичья стая. Птицы тоже были белые. И, видимо, они не боялись грозы, хотя были от нее очень близко.

Коротко рванул ветер. Тополь, уже не стесняясь, захлопал зелеными ладонями. Сразу запахло теплой пылью, травой и сухой ржавчиной железных крыш.

Взвизгнула калитка, и во двор влетел Павлик. Он лихо затормозил перед крыльцом и выпалил:

— Ух и отоварит сейчас дождичком! Мы с Вовкой самолет по нитке пускали и вдруг как поглядим, как увидим! Какая туча! Ага? — Но вдруг мысли его скакнули в другую сторону: — Эй, Владька! А где моя учебная граната, которую я тебе оставил, когда в лагерь поехал? Я с Вовкой на самолет поменяюсь. Где? — Он наклонил набок голову и подозрительно смотрел на меня из-под выгоревшей челки. Жидкая кисточка испанки качалась над левой бровью.

Мне по многим причинам не хотелось касаться скользкого вопроса о гранате. Я отвел глаза и снова стал смотреть, как кружится у башни голубиная стая.

— Замылить хочешь? — в упор спросил Павлик. — Чего молчишь?

— Я на башню смотрю. И на птиц.

Павлик удивился и притих. Тоже стал смотреть, как кружат белые птицы. Не знаю, что он почувствовал. Но стоял и смотрел он долго. Тускло-розовая горбатая молния бесшумно сгорела выше башни и птиц. Это было увлекательно и страшновато.

Павлик громким шепотом сказал:

— Как на море. Будто там маяк и чайки... — Шепот его звучал тревожно. — Будто скоро шторм.

Плотная синева громадных грозовых пространств со всех сторон окружила притихшую землю. Дома, казалось, хотят спрятаться под крыши, как черепахи под панцирь. Только башня, высокая и светлая, бесстрашно пронзала тревожную синеву. Она была как парус, как лебедь. Как белый маяк на краю беспокойного океана.

— Как на море, — отчетливо повторил Павлик.

Я знал, что он родился и вырос здесь, в этом доме, и никогда не был у моря. Но поверил ему сразу и накрепко.

С той поры эти два цвета — синий и белый — связаны у меня с мыслями о море. Белое и синее — значит чайки и паруса в морской дали, волны прибоя, тельняшки и матросские воротники, незнакомые города над заливами, флаги отхода на мачтах многоэтажных кораблей. Бело-синими были обложки журналов «Вокруг света» и контурные школьные карты, так похожие на морские...

Конечно, это пришло постепенно. А в тот вечер, когда туча стала уползать и приоткрыла яркую щель заката, я забыл о синем шторме и белых птицах. На время.

Потом наступил сентябрь, и я пошел в первый класс, а Павлик в четвертый. Ближние улицы перестали казаться мне таинственной страной. Большой овраг, который раньше был страшным и запретным, стал местом веселых игр. Когда выпал снег, я одним из первых пробороздил там санками крутой склон.

Жить стало интереснее, но гораздо труднее. Школа оказалась совсем не праздником. Читал-то я хорошо, но с первых дней не ладилось у меня с почерком. Буквы меня не слушались. Они разбредались с линеек кто куда, валились набок, принимали самые уродливые формы. Крупнокалиберные кляксы сыпались на тетрадные страницы

автоматными очередями. А кроме того, вставать в семь утра и по морозу топтать пять кварталов до школы — какая же это радость! Да еще домашние задания! Конечно, снежный овраг, где шумно и весело, — это хорошо, но все-таки я жалел о прошлых временах. Наступившая зима казалась мне безрадостной и жестокой. Зимние каникулы с крошечной елочкой в углу на сундуке промелькнули, как случайный солнечный зайчик.

С ребятами в классе я сходилась очень трудно. Ленинградец Юрик Давыдов, с которым я подружился, неожиданно уехал. До весенних каникул было далеко-далеко, а других радостей я не ждал.

Так было до того январского вечера, с которого я хотел сперва начать эту повесть. Но, вспоминая все по порядку, я понял, что началась она раньше. Не этим зимним вечером, а в синие летние дни впервые задела крылом Павлика и меня Тень Каравеллы.

ВИЗИТ ВИЛЛИ ВОНСА

Ветер за окнами был пронзительный и лютый. Он бабовито выл в проводах и тополиных ветках, но иногда срывался и начинал верещать, как прижатая в ловушке крыса. Я знал, что он лижет сугробы и взметает над ними языки летучего снега. При ледяном свете луны эти языки похожи на бледное прозрачное пламя.

Я любил смотреть на эти прозрачные факелы. Окна закрывались ставнями, но у одного ставня отвалилась нижняя половинка и оставила свободным оконце размером с тетрадку. По углам оно было затянуто узорчатым льдом. Я прижимался носом к стеклу и смотрел, как полыхают и дымятся холодом сугробы, как летят по снегу тени. Луны видно не было, но я знал, что она, не уставая, катится навстречу стремительным облакам.

Однако мама и Татьяна быстро прогоняли меня: от окна дуло. А если я был один, то и сам не решался подхо-

дить к окошку. Неизвестно откуда появлялся дурацкий страх: вдруг с улицы навстречу мне поднимется и прилипнет к окну плоская белая рожа со страшными глазами. От одной этой мысли делалось холодно в животе и хотелось, чтобы окон вообще не было.

Конечно, когда приходили взрослые, мысль о белой роже начинала казаться невероятной чушью.

Но в этот вечер взрослых дома не было. Вообще никого не было, кроме меня.

Натянув пальтишко, нахлобучив шапку, я сидел у стола и рисовал. Вернее, не сидел, а стоял коленками на стуле, навалившись грудью на край стола. Острая кромка сиденья резала колени, стол больно давил на ребра, но я не старался устроиться удобнее. Зачем? Все равно все было плохо.

Такие скверные вечера я называл унылым словом «утык».

Утык — это если все несчастья утыкаются в одного человека, в меня.

Нынешний утык начался еще днем: я получил очередную двойку по письму. Чтобы отомстить Антонине Петровне, я дома не стал делать задание по арифметике. Однако сейчас меня грызла мысль, что от такой мести Антонина Петровна пострадает меньше, чем я сам. Впрочем, не очень сильно грызла. Гораздо хуже было то, что я остался один. У мамы или собрание, или внеочередное дежурство в редакции. У Татьяны тоже какое-то дело в техникуме, она вообще часто задерживается.

Мама, наверно, думает, что Татьяна дома, истопила печку, сварила на ужин овсяный кисель (я глотнул слюну). А Татьяна думает, видимо, что все это сделала мама. «А в крайнем случае, — думают обе про меня, — посидит у Павлика, пока мы не придем».

Но беда в том, что и Павлика нет. Из школы он пошел, наверно, на работу к матери, сделал там уроки и теперь в

уютной кинобудке четвертый раз смотрит фильм «Два бойца».

Я с горькой завистью подумал, как тепло и интересно там, у больших трескучих аппаратов.

В доме было до чертиков холодно. Видимо, Татьяна днем не успела истопить печку. Холодными были стены, печная плита, стол, покрытый голубой клеенкой. Даже карандаш, когда я зажал его в пальцах, показался ледяным, как сосулька.

Это был мой любимый заслуженный карандаш. Военный. С одного конца черный, с другого — оранжевый. Весной мне подарил его знакомый офицер, который жил тогда у нас на квартире. Этим карандашом очень удобно было рисовать на полях газет горящие самолеты и танки фашистов: черное железо с крестами и оранжевое пламя. Но сейчас я рисовал без всякой радости. Просто так. В озябших пальцах толкалась привычная тупая боль. Она называлась «ревматизм».

Взгромоздившись валенками на стол, я распутал на электрическом шнуре узел и опустил к самой клеенке лампочку. Где-то мотался на ветру провисший провод, и лампочка тревожно мигала. Она была желтая, неяркая. Пар от моего дыхания обволакивал ее быстро исчезающими облачками.

Чтобы согреть пальцы, я обнял лампочку ладонями, но тут же по стенам взлетели громадные тени, а в заиндевелем углу у окошка начала шевелиться мохнатая темнота. Ходики на стене застучали отчетливо и часто, словно предупреждая об опасности.

Я убрал руки и сердито всхлипнул. Утык был полный и глубокий. Еще и есть хотелось сильней обычного. Конечно, я не помышлял о макаронах, оставленных маме и Татьяне, но если бы топилась печка, я нарезал бы тонких картофельных ломтиков и поджарил бы их на плите. С солью.

Я опять проглотил слюну и с ненавистью взглянул на плиту. Она была холодная, как Северный полюс.

У печной дверцы лежало несколько сосновых поленьев. Вверху, на кирпичном уступе дымохода, хранились спички-гребешки в синей бумажной обертке и коричневая дощечка-чиркалка. Но что с того? Разжигать печку сам я не мог. Это было запрещено раз и навсегда. Нарушить этот железный запрет было страшнее, чем получить сразу пятьдесят двоек или съесть одному хлебный паек всей семьи.

Считалось, что если я возьмусь за растопку, то обязательно сожгу дом, себя и полгорода. Кроме того, в печке могло что-нибудь взорваться. Ведь взорвались же у Павлика учебные патроны (ох и звону было!).

«Однако, — подумал я, — взорвались у Пашки, а не у меня. А к печке не пускают меня, а не Пашку. Его-то пускают: пожалуйста, топи сколько хочешь...» Эта мысль была первой искрой бунта.

Бунт был молчаливый и стремительный. «Все равно!» — отчаянно подумал я, прыгая со стула.

В самом деле, все равно когда-то должно это было кончиться! Не мог же я без конца терпеть мучения оттого, что взрослых терзают глупые страхи! Так и скажу им! А сейчас возьму спички и...

Дров было мало. Но тащиться за ними в темный сарай через двор я, конечно, не собирался. Семь бед — один ответ! Я решил сжечь запасы бумаги, которые шли на растопку.

Тумбочка письменного стола была заполнена бумажным хламом: старыми учебниками и тетрадями сестры, довоенными журналами отца, пачками газетных вырезок, какими-то неинтересными книгами. Мама с Таней иногда жгли это добро, но очень осторожно. Они все боялись, что там может оказаться что-то нужное. А я не боялся.

Я ударил валенком по тумбочке, чтобы заставить попрятаться живших там мышей, и дернул дверцу. С шеле-

стом выползли к моим ногам несколько скучных журналов, связка газет и учебник зоологии с зубастым ящером на обложке. Я нагнулся, чтобы подобрать их.

И тогда, словно дождавшись нужного момента, прямо в ладони мне скользнула еще одна книжка.

Она была разлохмаченная, без переплета. На первом листе я увидел два крупных слова: «Старый пират». А ниже, с середины страницы, шли слова, рассказывающие о старом морском волке, появившемся неизвестно откуда в приморской таверне.

Это было необычно, не встречалось раньше. Короткое воспоминание о белом маяке среди синей грозы толкнуло меня, как легкая тревога. С книжкой в руке я шагнул ближе к лампочке...

Безотрадный вечер, называемый словом «утык», растаял, провалился, исчез. Обладатели белых рож могли открыть все ставни, слоняться под окнами целыми взводами и заклеивать жуткими лицами все стекла — я бы их не заметил. Темные чудовища в углах могли играть в чехарду и размахивать мохнатыми щупальцами — плевал я на них. Холод мог украсить потолочные балки гребнями сосулек — меня это не касалось.

Неловко навалившись боком на стол, касаясь щекою теплой лампочки, я глотал страницу за страницей, и море гремело у серых гранитных уступов, и ветер яростно хлопал ставнями на окнах одинокой таверны, и старые часы скрипуче били полночь...

Наверно, так бывает только в детстве: читаешь книгу, но не замечаешь слов, а как бы видишь кино. Я видел совершенно отчетливо стертые ступени гостиничной лестницы, частые переплеты окон, за которыми ночь и опасность, дрожащие свечи в руках испуганной хозяйки и ее сына Джима. Огоньки этих свечей желтыми точками отражались в железных полосках, которыми был окован желе-

ный дубовый сундук. И наконец, видел я хозяина этого сундука. Старый Билли Бонс будто сел рядом со мной, скрипя кожей ремней и башмаков, хрипло ворча и откашливаясь. На его полосатой вязаной фуфайке блестели капельки дождя (так же, как блестят на мамином платке капельки растаявшего снега, когда она приходит с работы). От него пахло табаком и промокшим сукном.

Билли Бонс неторопливо сложил и затолкал во внутренний карман медную подзорную трубу, отхлебнул из мятой железной фляжки, сморщил красное обветренное лицо и глянул на меня стариковскими слезящимися глазами.

«Что, парень? Тебе тоже не сладко?»

— Да нет, ничего, — шепотом сказал я.

Он мне понравился, этот старый таинственный капитан. Конечно, он бывал иногда грубоват и вспыльчив, но ведь и жизнь у него была несладкая. По крайней мере, я полюбил его гораздо больше, чем хозяйкиного сына Джима, который сначала был настоящим размазней и трусом. Когда Билли Бонс умер, я чуть не заплакал.

Зато я с большой радостью узнал, что один из его врагов попал под копыта лошадей. Так ему и надо! Ух как гремели подковы по мерзлой дороге! Я не сразу понял, что гремят не подковы, а грохочет дверь под ударами кулаков.

— Кто? — крикнул я, вылетая в сени.

— Дрыхнешь, что ли?! — яростно завопил за дверью Павлик. — Сам бы поторчал здесь на холоде! Я все кулаки расплющил! Открывай, верблюдов несчастный!

Я откинул крючок. На обидные выкрики я не обратил внимания. Во мне еще гремели отголоски удивительного мира опасностей и тайн. Скорее, скорее туда, назад, чтобы узнать тайну пиратского сундука!

— Засоня, — презрительно сказал вслед Павлик.

— Балда, — откликнулся я на ходу. — Я не спал. Я зачитался.

— Зачитался! «Ма-ма мы-ла ра-му. Лара мыла Лушу».

Я остановился. Мы стояли в общей кухне, каждый у своей двери.

— Сам ты Луша. У меня такая книжечка. Треснешь, как пузырь, от зависти. Пальчики обсосешь.

— Пф! Про Курочку Рябу.

— Сам ты Ряба! Про старого пирата.

— Ты? Про пирата? Ой, умру!

— Начинай, — холодно сказал я. — Когда умрешь, крикнешь. — И взялся за ручку двери. Истина была на моей стороне.

Павлик бросил портфель и шагнул ко мне:

— Ну ладно. Ну, покажи.

С тайным торжеством я протянул книжку.

— Ух ты... — быстро сказал Павлик, и глаза у него стали ласковыми, словно он взял в руки любимого щенка. Он узнал книгу сразу же. Конечно, он видел такую раньше. — «Остров сокровищ», — сказал он почти торжественно. — Роберт Льюис Стивенсон.

Он произнес это имя протяжно и немножко странно: «Робэрт Ль-уис Стывенсо-он». Было ясно, что в книгах таких и в именах он знает толк.

— Я ее давным-давно прочитать хотел, — заговорил Павлик, жалобно поглядывая на меня. — У Сережки Сазонова просил, а он фигу показал. Я ему автомат с железной трещоткой обещал, а он все равно не дал. Свиныя, верно?

Я кивнул, но, чуя опасность, не сводил глаз с книжки.

— Этот автомат я могу хоть сейчас тебе отдать, — бодро пообещал Павлик. — А ты мне книжечку всего на один вечерок. Идет?

Действовать надо было мгновенно. К счастью, книжку держал он не очень крепко. Я кошачьим движением выхватил ее и скользнул за дверь. Звякнул задвижкой.

— Владька! — тоскливо взвыл Павлик.

— Прочитаю, тогда дам, — непреклонно сказал я.

Павлик потрогал дверь, но задвижка была прочная.

— Жила, — безнадежно сказал он. — Буржуй. Купец, помещик, капиталист. И этому типу я отдал свою гранату!

— Возьми ее обратно.

— Ну, Вла-адик. Ну, на вечерок... А?

— Бэ, — сказал я.

— Жадюга. Вот скажу в школе, все ребята тебя лупить будут.

— Тогда и через год книжечку не увидишь!

Он шумно вздохнул за дверью и замолчал. Я понял, что он придумывает самые убедительные, самые-самые действующие слова. Ох как хотелось ему почитать «Остров сокровищ»!

— Много ты прочитал? — вдруг спросил Павлик.

— Тридцать пять страниц.

— Как ты быстро читаешь, — сказал он вкрадчиво. Это была грубая лесть. Ведь он не знал, сколько времени я читал.

Мне стало жаль Павлика.

Даже не то чтобы жаль, а просто я представил, как он безнадежно топчется у двери и чуть не плачет от огорчения. Счастье сверкнуло перед ним ослепительной искрой, поманило и погасло.

Я бы, наверно, на месте Павлика заревел от тоски.

— А ты совсем ее не читал? — спросил я.

— Пятнадцать страничек. Да еще в середине немножко. Сазонов давал почитать на переменах.

— Давай так, — начал я, осторожно взвешивая слова. — Ты сейчас затопишь у себя печку...

— Ага... — откликнулся он с проснувшейся надеждой.

— Потом решишь мне задачку...

— Хоть десять!

— И примеры.

— Хоть тыщу!

— Потом я дам тебе почитать до тридцать пятой...

— У-у...

— А потом вместе будем, вслух! А ты один хотел? Хитрый...

— Ура!

На радостях он грянулся грудью о дверь и сорвал задвижку с винтов.

ОТВЛЕСКИ НА ПАРУСАХ

Эту книжку мы читали пять вечеров подряд.

Мы не торопились. Ждали, когда загустеют в окнах фиолетовые сумерки, и потом отправлялись в комнату к Павлику. Там, у печки, был просторный уютный угол. Наш угол. От комнаты его отгораживали спинка кровати и тумбочка с треснувшим фарфоровым шариком вместо ручки на дверце.

Печка была круглая, покрытая черным блестящим железом, — голландка. Казалось иногда, что это и не печка совсем, а основание корабельной мачты, которая уходит вверх сквозь палубу. Где-то высоко над крышей шумят ее паруса. Шум был на самом деле: это хозяйничал в тополе ветер. Когда открывали трубу, он начинал обрадованно голосить в ней.

Павлик отводил в сторону тяжелую двойную дверцу, поджигал газетный фитиль и толкал его под сосновые поленья, в лучину. Тяга была могучая! Сухие дрова словно взрывались — пламя охватывало их разом и начинало торжественно реветь в печной утробе.

На окнах в комнате Павлика никогда не закрывались ставни. За стеклами дрожали яркие голубые звезды. Казалось, что дрожат они от гудения огня.

Мы садились на поленья у приоткрытой дверцы. Павлик брал книгу. Он становился спокойным и строгим. Он мне очень нравился в такие минуты — не насмешливый, добрый, настоящий. Глаза Павлика делались темными, и пламя билось в них беспокойными звездочками. И на лбу, на волосах его дрожали медные отблески.

Не помню, как читал он: тихо или громко, с выражением или без. Среди пляшущего огня я видел как на экра-

не одноногого Сильвера с крикливым попугаем, двухмачтовую «Испаньолу», опоясанный ружейными дымками форт. Головешки, рассыпаясь, стреляли, как мушкеты. Угли были как освещенные закатом скалы острова. Юнга Джим шел по следам сокровищ и воевал с пиратами. Он оказался не таким уж размазней, каким выглядел вначале.

Но вот вместе с пятым вечером кончилась книжка.

Честное слово, я растерялся. Я знал, что она должна кончиться, но нельзя же так сразу. Что же дальше? Не будет больше парусов, прибоа, дальних берегов?

— Хорошая книжка, — потягиваясь, сказал Павлик. — Побольше бы таких.

— Разве есть еще такие? — очень удивился я.

— Завтра принесу одну. Выпросил кое-как у Сереги. Называется «Морская тайна».

«Морская тайна» тоже была замечательной книжкой, только тонкой. Два вечера мы читали про наших моряков, которые оказались в плену на подводном японском крейсере.

А потом Павлик принес «Приключения Гулливера».

Книжка начиналась словами, похожими на строчку из песни: «Трехмачтовый бриг «Антилопа» уходил в Южный океан...»

Мне показалось, что ласковый ветер пошевелил волосы и приподнял листы книги — вот какие это были слова.

Но Павлик оборвал чтение.

— Что за чушь? — сказал он серьезно, даже встревоженно.

— Что? — не понял я.

— Не бывает же трехмачтовых бригов...

Для меня эта наука была как темная ночь.

— Почему?

Несколько секунд он смотрел на меня молча, потом, видно, понял, что разговаривать со мной об этом бесполезно. Сердито и негромко сказал:

— Вот потому... Кончается на «у».

— Раз написано, значит, бывают, — заметил я.

Тогда он взорвался:

— «Написано»! Если он трехмачтовый с прямыми парусами, значит, он фрегат, а не бриг!

— А если не с прямыми?

— Не с прямыми бриги не бывают, ясно? Они всегда с прямыми, всегда двухмачтовые! Вот!

— Откуда ты знаешь?

Он уже успокоился и не хотел спорить.

— Мало ли... — сказал он рассеянно. — Откуда хочешь... Словари-то почти в каждой книжке есть...

— Ну ладно. Давай читать, — нетерпеливо потребовал я.

Павлик помолчал немного и вдруг сказал:

— Не буду.

— Ну, Павлик! — взмолился я.

— Не буду, — спокойно и твердо повторил он. — Если с первого слова вранье начинается, дальше, значит, совсем...

Я понял, что он в самом деле читать не станет. Все рушилось. Погибал хороший вечер с горячей печкой и заманчивой книжкой, где на картинках были якоря, корабли и маленькие воинственные человечки из неизвестной страны.

— Все ты знаешь! — бросил я с отчаянной обидой. — Морской профессор! Может, раньше были трехмачтовые бриги! Сейчас нет, а раньше были! Совсем давно! Откуда ты знаешь?

— Раньше? — повторил он.

— Ну да! — уцепился я за спасительную мысль. — Ты все на свете знаешь, что ли?

Нет, все на свете он не знал. Подумал и согласился:

— Может, правда. Раньше. Насчет раньше я только немножко знаю. Про каравеллы.

«Гулливер» был спасен. А когда и этой книжке пришел конец, Павлик раздобыл где-то «Пятнадцатилетнего капитана».

Первая глава называлась «Шхуна-бриг «Пилигрим».

Я не забыл недавнего разговора и потребовал у Павлика объяснения: что это за штука — шхуна-бриг? И это было лишь начало. Я уже не хотел только приключений. Мне нужно было «знание». То знание, которое отличает капитана от пассажира.

Я стал придирчив. Что такое «спардек»? Что такое «ванты»? Что такое «фор-стенъ-стаксель»? Павлик ругался, но объяснял что мог. Потом я, как и он, привык копаться в словарях и примечаниях.

Впрочем, это не портило наши вечера. Это было похоже на игру. Да и в самих словах «норд-вест», «бейдевинд», «фор-марсель» звучали отголоски удивительных морских историй. Это были слова из синей и белой песни моря.

Мы поняли тогда: нам нужны не просто книжки про острова и тайны. Нужны такие вечера. Вечера с гудящим огнем и разговорами о маяках и коралловых рифах. И с ломтиками картошки, которые мы жарили на железной полоске у печной дверцы. Звонко стреляли крупички соли, на ломтиках появлялись коричневые пузырьки. Потом эти ломтики похрустывали во рту, как печенье, и были вкуснее всего на свете.

В те дни все складывалось как-то удачно. Ушла тревога за отца: его часть вывели из боев, и она стояла в тихом городке с длинным нерусским названием. Отступил голод — мама получила какие-то дополнительные талоны на муку. Не за горами была и весна, а все знали, что весна принесет победу. Даже в школе мне везло: я получил две четверки по письму. Но запомнились прежде всего не дни, а счастливые вечера, согретые огоньком начинавшейся дружбы.

Правда, вначале их портила Татьяна. Взяла такую моду: придет из техникума, просунет в дверь голову и медовым голосом начинает допрос:

— Владик, а уроки ты сделал? Все? И по письму? А что было задано? А какие отметки в школе? А что сказала Антонина Петровна?

Эти разговоры надоели мне, как похлебка из мороже-

ной капусты. Меня от них тошнило. Я даже пробовал скрипеть зубами, но скрип не получился, только зубам было больно. И однажды лопнуло терпение.

Я сказал, что это свинство. «Да-да! И не простое, а громадное свинство. Нет, я правильно выбираю выражения! Как еще можно выразиться, если тебе каждый вечер портят настроение?.. Ну и жалуйся! Хоть директору школы! Каждый вечер одно и то же!.. Кашалоту в глотку такую заботу!.. Только попробуй! Думаешь, ты одна умеешь ремнем махать?.. Тысяча чертей и один грот-марсель с двумя рифами!.. Кто бы другой говорил об уроках! Не тот, у кого «хвосты» по черчению!.. Да, знаю, что такое «хвосты», еще хуже двоек! Об этих «хвостах» и говорю, да! А ты думала, о других? Можно и о других: еще хвостами называются те, кто за кем-нибудь таскается по пятам! Например, тот курсант из пехотного училища, или Лешка Солодовников, или... Ах, не мое дело? А тебе в мои можно соваться?.. Подумаешь, старше! Зато глупее!.. И не приду, буду ночевать у Павлика. Тебе же от мамы попадет!.. Что-о? Силенки не хватит!.. А вот так и смею! Подумаешь! Большая, а ревет...»

Что и говорить, скандал был не меньше восьми баллов, но я выстоял в этой буре. Я победил.

С тех пор никто не мешал нам. Вечер бежал за вечером. Они пролетали словно в тени больших парусов, на которых танцевали отблески огня. Что это было? Вспышки пушечных залпов? Отсветы пламени вулканов? Блики таинственных береговых костров? Едва стужались сумерки, как белые паруса уносили нас в синюю страну бурь и открытий. И мы жили в этой стране, пока с улицы не доносился стук в дверь. Долгожданный стук.

Да, несмотря на радости хорошего вечера, ожидание этого стука все время жило во мне. Оно пробивалось сквозь книжные тревоги, опасности и тайны.

Отпирал дверь обычно Павлик. Он возвращался, и я спрашивал с замиранием:

— Чья мама пришла?

— Твоя, — говорил он со вздохом.

Я срывался и вылетал в кухню.

Не судите строго. Даже настоящие суровые капитаны становились маленькими в те минуты, когда им случалось встречать маму. Можно понять нас, мальчишек, росших без отцов. Мама — это было все. Мамино возвращение с работы — это была радость, о которой думали с утра. Пусть простят меня паруса и пассаты, что в этот счастливый миг я забывал о них. Я прижимался к маминому пальто, усыпанному бисером растаявшего снега, и мама говорила всегда одно и то же:

— Ой, Владька! Ой, ну сумасшедший ты человек! Я же вся ледяная, ты простудишься насмерть.

И я, худой семилетний малек с ноющими от ревматизма суставами, всегда отвечал:

— Я? Простужусь? Я закаленный, как тысяча айсбергов!

Потом мы шли из кухни в нашу крошечную прихожую, и я помогал маме раздеваться, пока Татьяна однообразно ябедничала на меня.

Потом мы садились пить чай с сахарином и звали Павлика, потому что его мама приходила еще позже.

После чая у меня начинали слипаться глаза. Неизвестно, как я оказывался в кровати. Мне снились корабли и скалы, о которые с равномерным грохотом разбивались бело-синие волны.

Я просыпался от этого грохота.

— Мама, что это?

— Спи, маленький, — говорила она. — Это радио. Салют в Москве. Наши взяли еще один немецкий город...

КАРАВЕЛЛА

Карта и каравелла появились у нас почти в одно время. Карта — на сутки раньше.

В тот день я сидел дома, потому что утром старательно изобразил ужасный кашель. Татьяна разразилась длинной

речью, обвиняя меня в лени и обмане, но мама вздохнула и разрешила в школу не ходить.

Итак, я лодырничал и пропустил важное событие, которое произошло в школе.

В положенное время вернулся с уроков Павлик. Окруженный морозным облаком, он ввалился в кухню и втащил за собой тонкие жерди, обмотанные грязной бумагой и марлей. Валенки его гремели, как ведра. С них сыпалась ледяная корка. Павлик поочередно дрыгнул ногами, и валенки, стуча, разлетелись по углам.

Я молча хлопал глазами.

Павлик тем временем гордо поднял жерди, потрянул их, и предо мной с треском развернулась карта полушарий.

Со сдержанным торжеством Павлик сказал:

— Во! Видал?

Я оглушенно молчал. Первое впечатление было такое, словно непонятный великанище глянул на меня в синий бинокль.

Потом почудилось мне в карте что-то знакомое. Конечно, таких больших карт я раньше не видел, но все равно знакомое в ней было. Она была синяя и белая.

Два синих круга на белом поле. Желто-зеленые материи с темными жилками рек лишь чуть-чуть вносили пестроту.

Синий и белый цвета были главными.

Уже потом я заметил, что карта местами протерта насквозь, что белые края украшены желтыми потеками, что один бок отсырел и бумага отклеилась от марли, а марля оторвалась от реек. Но в ту минуту я стоял перед ней, как перед заморской диковинкой, и ждал чего-то необычного.

История карты была связана у Павлика с первым плаванием и опасностями...

Наша маленькая школа занимала старинный дом, в котором до революции жил какой-то купец. Мы учились

на верхнем этаже, а нижний, полуподвальный, всегда пустовал. Осенью и весной его заливало, а зимой там было холодней, чем на улице. Всем был известен давний порядок: весной и осенью — вода, зимой — холод. Но в тот день, когда я «болел», порядок был нарушен: случилось зимнее наводнение. Говорят, лопнула какая-то труба.

Первые два урока школа жила радостным ожиданием: все были уверены, что вода вот-вот замерзнет. Тогда нижние комнаты превратятся в чудесные катки. Можно будет со свистом носиться на скользящих валенках по гулким залам, можно будет играть в «буру», гоня по льду пустые пузырьки из-под чернил.

Однако вода упрямо не застывала. Видимо, назло. Разведгруппы тайными путями проникали в подвал и возвращались с кислыми лицами. К третьему уроку в школе царило уныние. Только самые упорные не поддались печали. И Павлик не поддался.

После третьего урока он двинулся на разведку снова. Дверь в подвал была, конечно, закрыта. К тому же перед ней разгуливали две дежурные девчонки с карандашами, чтобы записывать нарушителей, и уборщица тетя Феня с метлой. Но у разбитого оконца, которое выходило во двор, никто не дежурил. Павлик пробрался к нему по сугробам. Он просунул голову и плечи в гулкий сырой полумрак. Конечно, сначала он ничего не увидел. Помещение было без окон — что-то вроде широкого коридора, куда выходили двери всех комнат. Павлик сжал в ладони и бросил вниз снежный комок. Он думал, что услышит всплеск незастывшей воды, но комок ударился обо что-то твердое. Лед?

Павлик перевесился через подоконник. Нет, черная вода поблескивала по-прежнему. А под окном приткнулись к стене три доски, сколоченные вместе. Это были остатки мостиков, по которым здесь ходили во время осеннего потопа.

Три сколоченных доски — это плот. Какой нормаль-

ный человек откажется от плавания по пустому подвалу, таинственному, как пещера капитана Немо! Павлик был нормальный человек. Он втиснулся в окошко вперед ногами, повис, держась за подоконник, и прыгнул на доски.

От удара и от тяжести край плота ушел на глубину. Вода залила валенки. Авария! Чтобы не было полной катастрофы, Павлик бросился с края на середину. Плот выпрямился и незаметно отошел от стены.

Только тут отважный капитан сообразил, что никакое судно не может плыть само собой, по щучьему велению. Нужен мотор, или парус, или в крайнем случае весло. Если нет весла, можно грести и ладонями, но для этого надо наклоняться, тянуться руками до воды. А как дотянешься, если плот качается? Вот-вот угодишь за борт. Ни присесть, ни наклониться.

Оставалось громко зареветь и сдать тете Фене и дежурным.

Павлик не заревел и не сдался. Он представил, как поведут его на глазах у всей школы к директору Марии Павловне. Ужас! Под конвоем, в мокрых валенках. Под злорадное хихиканье девчонок! Не директора он боялся, а унижения.

Павлик на пиратский манер заскрипел зубами и прищуренно оглянулся, ища выхода. И нашел. В трех метрах от него поднимался над водой большой полуразвалившийся шкаф. Дверца его была украшена медной ручкой, похожей на узорный крюк. Павлик, вздрагивая от холода и злости, стянул с себя свитер и рубашку, снял ремень. Ремень он привязал к рукаву рубашки, а другой рукав узлом притянул к обшлагу свитера. Потом сделал на ремне петлю.

Он говорил, что накинул этот аркан на ручку шкафа со второго раза. Наверно, хвастался. Но так или иначе накинул. И подтянул бортом к шкафу свое судно. Край плота прижался к этому «причалу», и плот стал устойчивей. Павлик осторожно дотянулся до дверцы, чтобы оторвать рейку. Рейкой можно было грести и отталкиваться. Он рва-

нул. Дверь сорвалась и грохнула поперек плота. По подвалу грянуло барабанное эхо. Павлик присел, ожидая вторжения тети Фени. Но было тихо.

Стуча зубами, он оделся. Потом заглянул в шкаф. Там плавал большой глобус с пробоиной в районе северной Атлантики, а в углу стояли две большие палки, обмотанные грязной марлей. Сначала Павлик не подумал, что это за палки. Просто решил, что они длиннее и удобнее, чем рейка. И взял их.

— За них меня и вытащили, — сказал он. — А то как бы я выбрался? Окошко-то высоко, не уцепишься.

— Кто вытащил?

— Да так... Девчонка одна. Милка Журавлева. Она сзала меня на парте сидит. Я у нее чернила мажаю, когда у меня нет.

Я хихикнул. Имя было коровье: так звали корову Таисии Тимофеевны. А Павлик неожиданно рассердился:

— А чего гогочешь? Кроме нее, никто не знал, что я туда полез! А она знала и прибежала посмотреть, где я. И вытащила. А кто бы еще вытащил? Ты, что ли?

Я гордо и обиженно ответил, что, конечно, вытащил бы, если бы был в школе. А Павлик сказал, что раз меня не было, то и хихикать нечего.

— Слушай лучше...

Только во дворе Павлик понял, какая у него ценная находка. Карта всего мира! Он решил, что школе она не нужна, а нам нужна очень. И сунул ее в снег.

Весь четвертый урок Павлик провел в беспокойстве: не украли ли кто-нибудь карту? Но она оказалась на месте...

Мы прогладили карту горячим утюгом, заклеили дыры, подровняли разлохмаченные края. Потом один конец верхней рейки положили на спинку кровати, а другой — на гвоздь, который Павлик нарочно вколотил в стену. Угол наш у печки оказался совсем отгороженным. Мы захвати-

ли в свои владения тумбочку, выкинули из нее всякий хлам и решили хранить в ней книжки.

Карта сделала уголок похожим на каюту. И все океаны, все земли были перед нами.

На следующее утро Павлик не пошел в школу. Не потому, что простудился. С ним-то ничего не случилось. Но чтобы просушить как следует валенки, Павлик затолкал их за печку, а она оказалась слишком горячей, и один валенок обгорел. У него обуглился бок и вывалилась пятка.

Открылась эта беда утром. Я услышал, как тетя Аня за стенкой кричит плачущим голосом:

— Паразит ты безмозглый, нет на тебя никакой погребели! Не мог ты сам сгореть у этой печки! Это что же такое делается на свете!

Затем донеслись удары, похожие на отдаленное уханье барабана. Я узнал после, что тетя Аня в великой досаде лупила дорогого сына обгоревшим валенком между лопаток. И в самом деле, как тут было не расстроиться? Других валенок у Павлика, разумеется, не было. Их надо было покупать или выменивать на толкучке. Чтобы купить — лишние деньги нужны. А чтобы выменять... Ну, на что обменяешь? Чаще всего меняли на хлебные карточки. Но ведь тогда с голоду совсем завоюешь.

Однако лупи не лупи, горю не поможешь. К тому же после каждого удара валенок выбрасывал клубы едкой коричневой пыли. Тетя Аня закашлялась, швырнула остатки валенка под кровать и ушла на работу. Дверью грохнула так, что дом заколыхался и долго дзенькал стеклами, а наш старый самовар крякнул и осел на один бок.

Павлик остался дома. Я позавидовал такой его удаче и поплелся один в школу, потому что повторить свой трюк с кашлем не решился. Когда я вернулся, Павлик встретил меня на пороге. Сказал нетерпеливо:

— Пойдем, покажу что-то...

В комнате на черной клеенке стола лежала знакомая

мне летняя испанка с кисточкой. Вернее, не лежала, а стояла торчком, пряча под собой что-то загадочное.

Павлик оглянулся на меня и поднял испанку за уголок. Поднял осторожно, словно там сидела удивительная бабочка и он не хотел, чтобы эта бабочка сразу улетела.

Она не улетела. Она оказалась белым корабликом.

Кораблик был нарисован на бумаге, вырезан и держался на маленькой подставке. То есть мне сначала показалось, что он нарисован, а потом я разглядел, что это печатная картинка.

Были у кораблика круглые борта, высокая узорчатая корма, туго надутые паруса разных размеров и форм. Самый маленький парус пристроился под задорно вздернутым бушпритом.

Удивительный был кораблик — весь наполненный ветром.

Павлик ласково сказал:

— Каравелла... Вот она какая.

Так появилась у нас каравелла.

В общем-то не случилось ничего необычного. Просто Павлик начал от скуки рыться в старых журналах и нашел в одном картинку с корабликом. Он безжалостно вырвал лист, наклеил вареной картошкой на кусок картона и очень аккуратно маленькими ножницами вырезал каравеллу. Потом он укрепил ее на подставке из разрезанной пополам картофелины.

А днем он показал каравеллу мне. Вот и все.

Но мы оба понимали, что это не все. Потому что очень хотелось необычного.

— Пойдем, — сказал Павлик.

Мы пролезли за карту, в нашу «каюту». На тумбочке вместо развалившейся электроплитки с чайником стояла старая лампа без абажура. Она ровно и неярко освещала пестрые земли и синие океаны. Без лампы здесь было бы темно: ведь печка не топилась.

Павлик посмотрел на меня с незнакомой какой-то улыбкой — немного смущенной и мягкой.

— Океаны есть, — сказал он. — Моря есть... Да, Владик? Можно плавать где хочешь...

Было тихо. За окнами далеко прогудел паровоз. Скреблась за шкафом старая, всем знакомая мышь. Еле слышно звенел в горящей лампочке волосок. Я молча поставил на ладонь каравеллу и поднес ее к карте. Она оказалась в Охотском море.

— Нехорошее место, — вполголоса сказал Павлик. — Японцы, подводные лодки.

Я кивнул и, качнув ладонью, повел каравеллу к выходу в океан, держась у берегов Камчатки.

Так началось Плавание.

Уставала рука. Ныло плечо, затекала кисть. Ведь плавание продолжались подолгу, и все это время приходилось держать кораблик у карты. В поднятой ладони.

Конечно, можно было сделать иначе. Можно было карту развернуть на полу, а каравеллу двигать по морям, как пешку по доске. Но мы так никогда не поступали. Почему? Трудно объяснить. Нет, мы не боялись открыть нашу «каюту»: все равно все вечера мы были одни. Боялись другого: если сделаем что-нибудь не так, как вначале, исчезнет радость игры. Эта радость, окрашенная легким отблеском тайны и приключений, требовала многого. Ей нужен был тихий шелест висящей карты, потрескивание огня, покачивание ладони, на которой стоит каравелла. И даже ноющая усталость в руке была нужна. Так уставали руки рулевых после долгих штормовых вахт. Мы боялись что-то изменить. Так бояться легким шумом спугнуть лесную тишину или неточной линией испортить хороший рисунок.

Мы полюбили каравеллу радостно и крепко. Порой я забывал, что она просто плоский бумажный кораблик. Ка-

равелла снилась по ночам — большая и настоящая. Подробно и ярко я видел, как подходит она к скрипучему деревянному пирсу и выпуклый борт ее нависает над грудями пузатых бочек, свернутыми в кольца канатами и причальными тумбами. Высоко поднимается корма, похожая на узорчатый дом с узкими окнами и балкончиками. Пахнут дегтем коричневые доски обшивки. Почему-то пахнут огуречным рассолом желтоватые свернутые паруса. На тугих, как струны, вантах сидят и весело скалят зубы парни в пестрых косынках. И вся каравелла, еще не остывшая от солнечного жара южных морей, дышит теплом, как подошедший вплотную паровоз...

Слова «мыс Горн», «Кейптаун», «Каттегат», «Тасмания» уже не звучали как непонятная музыка. Мы знали, где эти места, чем хороши и чем опасны. Мы прошли на своем судне через два океана вслед за Диком Сэндом, а потом повторили тяжелый путь Лаперуза. О Лаперузе прочитали мы в суровой и печальной книге «Навстречу гибели».

Тень нашей каравеллы скользила по океанам.

Еще в тот вечер, когда я впервые поставил каравеллу на ладонь, Павлик сказал:

— Ты не шуриши ею по карте, держи ближе к свету. Пусть на карту падает тень. Там, где ляжет тень от бушприта, — там мы, значит, и плывем.

Я придвинул каравеллу к лампе, нацелив бушприт на мыс Доброй Надежды. Тень нашей каравеллы темной бабочкой легла на Индийский океан...

Там, где ляжет Тень Каравеллы, зашумят над волнами наши паруса и зашелкают флаги. Там, где ляжет Тень Каравеллы, мы пройдем сквозь тяжелые удары выстрелов и штормовое завывание ветров.

Там, где ляжет Тень Каравеллы, будут трудные дороги, соль разест на ладонях кожу, морозы сожгут лицо, солнце обуглит плечи. Тысячи загадок лишат человека покоя и сна. Но не будет там в жизни уныния и ленивой скуки.

ДВА КАПИТАНА И ВОВВИН ГАШ

Павлик, брат мой и товарищ... Вот ведь как получилось! Семь лет жили рядом, перекликались по вечерам через тонкую стенку, спорили временами, вместе иногда в кино бегали, случалось потом — вместе шагали в школу. Заглядывали в гости, чтобы поболтать — просто так. И не знали до той зимы, как мы нужны друг другу.

А ведь были нужны, черт возьми! И не только в те вечера. Ведь недаром так отчаянно искали друг друга потом, хотя в жизни хватало иных забот.

Я помню, как встретились мы через... даже боюсь сказать, сколько лет. Я приехал к нему в окруженный соснами городок, взлетел по лестнице на третий этаж, отбиваясь чемоданом от возмущенного вахтера, толкнул дверь со знакомой фамилией на табличке...

Конечно, я знал, что не увижу там худого мальчишку с отросшей челкой над озорными глазами, в больших валенках и голубом бумажном свитере с широкой шелью застежки на левом плече. Но все же растерялся на секунду. Я увидел коренастого дядьку с залысынами, с рубцом на щеке. Дядька энергично орал в телефон. Я с удовольствием выслушал конец разговора:

— ...посылал и буду посылать! И не одну, а четыре экспедиции. Нет, четыре! Что?! Пусть катится со своей комиссией ко всем морским ведьмам! Вот так! — Он швырнул трубку на рычаг и поднял на меня глаза. Дядька был незнакомый, а глаза — Пашкины. — Значит, это ты и есть? — спросил он, остывая и делаясь насмешливым (вот язва, все такой же!).

— Свинство не писать столько времени, — сказал я, швыряя в кресло чемодан (кресло охнуло). — Бюрократ. Телефончики тут у него, понимаете ли... И скажи вашему вахтеру там, внизу, чтобы не кидался на меня, как на шпиона...

— Смотри-ка ты, — заметил он, прищурившись, —

еще и ругается. Ну-ну... А в общем-то ничего, хорош. Длинные брюки тебе идут. И значок университетский...

— Лысая образина, — сказал я. — А ведь был когда-то похож на человека.

— Книжечки все пишешь? — спросил он. — Знаю, читал как-то. Одну. Ничего. Не Чехов, конечно...

— Он читал! — хмыкнул я. — Можно подумать, что он что-то читает, кроме своих графиков и отчетов. Растерял всю шевелюру над своими синхрофазомолотилками. Кабинетная крыса.

Мы медленно сошлись, меряя друг друга насмешливыми взглядами. Он вдруг облапил меня и тихо сказал:

— Владька... Владька...

— Павлик...

Но это было потом, долгое время спустя. А в ту зиму мы не думали ни о будущих встречах, ни о расставаниях. Мы были счастливы.

Среди огорчений и редких радостей школьной жизни, среди снежных игр и дневных забот Павлик оставался прежним. Как и раньше, убегал куда-то с незнакомыми мне Серегой Сазоновым и Вовкой Брыком. На переменах со своими приятелями гонял во дворе обледенелый дырявый глобус, который у них назывался «мяпа». Строил с Дыркабом какие-то сани с рулем. Правда, он не насмешничал, как раньше, но почти забывал про меня.

Но я пишу про Каравеллу. И та зима вспоминается сейчас не застывшими чернилами, не тетрадками, сшитыми из газет, не очередями у магазина. Она вспоминается как непрерывная цепь «корабельных» вечеров.

В ожидании такого вечера Павлик становился спокойным и ласковым. Он даже называл меня Владик, а не Владька, хотя Владькой меня звали все, в том числе и мама.

Я приходил к Павлику, когда за окнами плотно синели сумерки. Он меня ждал, не зажигая света. Бесшумно выходил из комнатного сумрака и вполголоса говорил:

— Пришел... Хочешь хлебушка?

Он вынимал из кармана плоский кусочек и ломал пополам...

Несколько лет спустя я услышал или прочитал где-то слова: «... И у огня он разломил с ним свой хлеб». Это были слова о братстве. Я вспомнил тот ломтик хлеба, частичку четырехсотграммового пайка.

Но это случилось потом. А тогда мы жевали кисловатый мякиш, разжигали печку и включали лампу. И доставали из тумбочки Каравеллу.

Мы не спорили об имени корабля. Он был просто Каравеллой. Мы не делили должностей и званий: оба были капитанами. Зато делили пополам не только хлеб, но и подвиги, и славу.

А подвигов было много. Вот их история, история Каравеллы, сложившаяся у огня и карты.

Однажды весной два моряка с миноносца «Летучий» попали в плен к фашистам. Эсэсовцы заковали их в цепи и отправили на гранитный остров у западных берегов Балтики. Ночью пленников держали в холодных фанерных бараках, а на рассвете угоняли на другой конец острова, где был тайный подземный завод. На заводе выпускались торпеды.

Конечно, два храбрых моряка не собирались работать на фашистов. Темной ночью они распилили цепи, стукнули часовых тяжелыми табуретками и отобрали у них автоматы. Потом беглецы бросились на аэродром, где стоял двухместный самолет начальника лагеря. Перестреляв охрану, они запустили моторы и взмыли над гранитными зубцами острова.

Моряками были, разумеется, Павлик и я.

Мы вырвались на волю! Сначала сбросили на завод бомбы, которые нашлись в самолете, а потом взяли курс на восток. Завод рвануло так, что самолет отбросило километров на сто! От удара мы потеряли сознание.

И я, и Павлик были, конечно, хорошими моряками, но хорошими летчиками мы не были. Да и самолет был дурацкий — не наш, а немецкий. Мы заблудились среди туманов и туч. А потом ударил штормовой ветер, и нас понесло неизвестно куда. Горючее давно кончилось, но ветер был такой, что носил самолет, как бумажную голубку. А когда шторм кончился, мы увидели под крыльями волны океана.

Павлик посадил самолет. Машина была легкая и качалась на волнах словно лодка. Из парашюта мы соорудили отличный парус, и пассаты несли нас по океану, пока не встал из воды заросший пальмами остров.

Там нас захватили в плен туземцы. Привязанные к пальмам, целый день мы жарились на солнце, а племя рещало нашу судьбу. Наконец судьба была решена, и коричневые воины деловито зачиркали брусками по наконечникам стрел и копий.

— Скверное дело, — заметил Павлик. — Надо как-то сматывать удочки, а то продырявят в десяти местах.

Старый лохматый вождь Табу-Ретус, закутанный в плащ из нашего парашютного шелка, настороженно прислушивался к Пашкиным словам. Потом озабоченно заговорил по-английски (мы его, конечно, поняли):

— О чужеземцы! Речь ваша мелодична и совсем не похожа на карканье тех, кто прилетал сюда раньше на железных птицах с черными крестами. Кто же вы?

Мы горячо заверили почтенного вождя, что не имеем ничего общего с теми, кто прилетал сюда раньше, а «железную птицу» похитили у своих врагов.

В тот же вечер был большой праздник, и под бой барабанов племя смелых охотников за акулами приняло нас в почетные вожди. А старый Табу-Ретус, прослезившись от волнения, сказал:

— Мы были бы счастливы, если бы вы навсегда остались с нами. Но вы — отважные воины. Вас зовет дорога битв и подвигов. Мы не задерживаем вас. Много тысяч

дун назад здесь впервые появились белые люди. Они приплыли и погибли, потому что пришли как враги. Остался их корабль. Он стоит в тихой лагуне. Он стар, но крепок. Вы пришли как друзья, и этот корабль — ваш. Да хранят вас демоны моря...

И мы увидели Каравеллу.

Удивительно, как она сохранилась. Даже краска на деревянных узорах кормы облезла лишь местами. На гладком полу кают лежали солнечные рисунки узких решетчатых окон. Под бушпритом, на блинда-рее, зеленой бахромой повисли пышные лианы. Казалось, что у Каравеллы выросли усы. Мы взяли за ручки штурвального колеса. Оно со скрежетом повернулось, шевеля заснувший руль: в порядке. Паруса истлели, но у нас хватало материи от парашютов. Днище было обито медью, и морские черви его не тронули.

На палубе мы увидели восемь позеленевших пушчонок и подарили их Табу-Ретусу. Нам требовалось иное оружие.

Мы вооружили Каравеллу малокалиберной пушкой с самолета, а потом, когда потопили пару немецких торпедных катеров, поставили еще несколько пушек и пулеметов.

И началась такая жизнь, что захватывало дух.

Мы жили в морях удивительных, как сон. В них бродили пиратские бриги, всплывали под звездное небо невиданные чудовища, у островов сквозь солнечную воду видны были затонувшие корабли. На них скрывались тайны и клады. А по горизонту, зловеще дымя, тянулись немецкие эскадры, еще не зная, какие беды им несет старинный корабль с блестящими парусами.

Для начала мы разгромили у берегов Тасмании парусную флотилию кровожадного Джимми Косопуза, а потом в северных фиордах утопили один за другим двенадцать фашистских катеров-торпедоносцев и сожгли их базу. После этого ушли в реку Амазонку, чтобы поохотиться на крокодилов. Это была не просто забава. Из крокодильих

шкур мы хотели сшить водолазные костюмы, чтобы в них пробираться на вражеские корабли.

В устье Амазонки нас заперла немецкая подводная лодка «Летучая пиявка».

Командир «Пиявки» фюрер-капитан Боббин Гапп, размахивая белым флагом, явился на борт Каравеллы. Он был худой и длинный, как грот-мачта, с лошадиной головой и блестящими стальными зубами. На его высокой фуражке сверкал череп со скрещенными якорями. Приятно улыбаясь, Боббин Гапп заявил:

— Я буду иметь предложить вам сдаваться. Ваша борьба есть без пользы. Если вы сдасться, мы вас отпустить домой. Если нет, мы вас бросим к акула.

— Мы будем иметь дать вам по шее, — учтиво ответил Павлик, — если вы сейчас же не уберетесь на ваш ржавый бочонок. А потом мы будем иметь пустить вас на дно. Только жаль акул, которые отравятся вашим протухшим мясом.

Боббин Гапп отправился восвояси и вызвал по радио на помощь два миноносца и пиратский клипер «Три кашалота».

Конечно, мы обманули врага и ночью ускользнули в океан. Однако на следующий день «Пиявка» и ее друзья стали догонять нас. Отстреливаясь, мы растянули на реях и штагах всю материю, до последней салфетки.

К счастью, дул хороший ветер с веста. Клипер мы доджгли, а миноносцы и субмарина отстали.

Это был горячий денек и счастливый вечер. Ох, какая это радость, когда выигран бой, остывают стволы, ветер поет в такелаже, а впереди свободное море!

...В пятнадцать лет, когда, как и всем, пришла мне пора писать стихи, я вспомнил подвиги Каравеллы и об этом вечере оставил такие строчки:

В ушах утихнул звон,
И сумерки легли.
Ушли за темный горизонт
Чужие корабли.

Мы без огней плывем во тьме,
Уйди от всех погонь,
И лишь украдкой на корме
Горит, как свечка на окне,
Нактоузный¹ огонь.

В тот раз мы ушли от «Летучей пиявки», но скоро она догнала нас и опять несколько раз посылала в нас торпеды. К счастью, мимо. Ночью мы подкараулили, когда «Пиявка» всплыла, чтобы набрать воздуха, и вклепили ей в рубку два снаряда. От такого «гостинца» Боббин Гапп сразу потерял смелость и повел свою посудину на базу ремонтироваться.

Пока он ремонтировался, мы освободили узников в том самом лагере, из которого бежали, побывали в Севастополе, где получили награды от командующего флотом, потом боролись с ураганом в гремящих сороковых широтах, охотились за работорговцами на южном побережье Африки. И наконец решили навестить старого друга Табу-Ретуса.

У самого острова нас опять настигла проклятая «Пиявка». Мы едва успели проскочить в лагуну.

Мы сидели в гостях у охотников за акулами, а гнусный Боббин Гапп на своей посудине болтался у входа в лагуну и каждый день присылал с парламентарями ехидные письма.

Мы жаловались Табу-Ретусу:

— Чертово подводное корыто! Если бы вытянуть его на поверхность, мы бы дали ему прикурить! А под водой как его достанешь?

Мудрый Табу-Ретус думал.

— О мои братья, — изрек он наконец, — я думаю так: эта злая «Пи-явка» все равно что большая морская черепаха из железа. А ловить больших черепах наши охотники умеют с давних пор. Нужны рыбы-прилипалы.

¹Нактоузный огонь — лампочка на нактоузе (стойке, на которой укреплен корабельный компас).

Про таких рыб мы слышали. Это очень ленивые морские твари. Чтобы не плавать самим, они присасываются к кораблям, к китам и даже к акулам и путешествуют вместе с ними...

Итак, Боббин Гапп радостно потирал руки, а мы ловили тем временем рыб-прилипал целыми сотнями и дрессировали их в лагуне. Потом мы привязали к хвосту каждой рыбы длинный линь из кокосового волокна и смело вышли в море.

Конечно, «Пиявка» бросилась на нас, но, прежде чем она успела выпустить торпеды, к ней устремились две тысячи дрессированных прилипал. Они облепили лодку со всех сторон. Мы запустили лебедку и подтянули Каравеллу вплотную к «Пиявке». Она болталась под нами на глубине пяти метров! Теперь Боббин Гапп не мог ударить нас торпедами. От взрыва развалилось бы его собственное корыто. «Пиявка» включила двигатели и долго таскала нас по морю. Потом у нее кончился воздух, и она всплыла.

Это было последнее всплытие «Летучей пиявки». От залпа наших пушек она развалилась на две части и пошла на дно.

Боббин Гапп выбросился через торпедный аппарат. Он долго плыл за Каравеллой, просил прощения, кричал и плакал. Потом его съел кашалот.

ДЮИМОВОЧКА

По вечерам на морях и океанах мы совершали удивительные подвиги, но днем нас одолевали невзгоды. Особенно Павлика. Главной невзгодой была арифметика. Большие красные двойки с маленькими злыми головками все чаще проникали в Пашкины тетради. Это были отвратительные двойки, похожие на извилистых дождевых червей.

— У, глисты подлые! — брезгливо говорил про них Павлик.

Тетя Аня подолгу разглядывала тетради, а потом начала кричать, что выдерет оболтуса и мучителя, как сидорову козу. Чтобы она не перешла от слов к делу, Павлик ускользал ко мне. И говорил шепотом:

— Шторм одиннадцать баллов. Отсижусь, пока не утихнет.

Утихала тетя Аня быстро, и Павлик начинал жить по-старому.

Но однажды, в конце февраля, он вернулся из школы притихший и растерянный.

— Скверное дело, — мрачно сказал он. — Милку ко мне прикрепили. Совсем поганое дело.

Я молчал, ожидая подробностей.

— По арифметике меня вытягивать будет, — сообщил Павлик. — Такое у нее пионерское поручение. Она у нас звеньевая. Понятно?

— Понятно, — сказал я. — Это она тебя из подвала вытянула?

— Лучше бы не вытягивала, — сказал Павлик.

И вот она появилась. Высокая девчонка, выше Павлика. В перекошенном капоре, в маленьком полушубке, подпоясанном шарфиком, в лыжных штанах и подшитых валенках. Мы с Павликом вместе открыли ей дверь.

Милка взглянула на нас и почему-то удивилась:

— Ой, Пашка! А я тебя знаешь как искала! Я думала, ты в том доме живешь, на втором этаже...

Павлик пожал плечами и пробормотал что-то насчет думающего индюка. Потом неласково заметил:

— Дверь захлопни, а то холоду напустишь.

Милка не обиделась.

Мне она, конечно, не понравилась. Во-первых, некрасивая: долговязая, волосы короткие, будто у мальчишки, не то рыжие, не то коричневые какие-то. И рот большущий, как у акулы. Во-вторых, при таком росте надо быть поумней.

А она болтала, хихикала и удивлялась самым простым вещам.

Про старые стулья она со смехом сказала:

— Ой, какие забавные!

А что забавного? Скрипучие, облезлые, надоевшие. Только на спинках вырезаны по два дерущихся петуха. Может, и правда интересно с непривычки, но чего уж так веселиться!

Потом она удивилась медведю. Это был коричневый фаянсовый медведь с отбитым ухом. Он сидел на зеленой кочке и тянул мед из запрокинутого бочонка.

— Ой, какой смешной!

После медведя Милка обратила внимание на меня. Тихонько спросила:

— Пашка, а это кто?

— Это Владик, — ответил Павлик. — Я же тебе говорил.

— А-а, — сказала Милка и почему-то сделалась серьезной.

Павлик виновато глянул на меня и сурово сказал Милке.

— Давай решать задачки... раз уж пришла. А то провозимся до вечера.

Я усмехнулся про себя: влип бедняга Павлик. И отправился к себе...

В тот день рано пришла из техникума Татьяна. Она решила помогать мне готовить уроки и довела до слез. Потом я взбунтовался и довел до слез ее. В этот момент постучал Павлик и вызвал меня на кухню.

— Нарешались? — сказал я. — Ушла?

— Не... — Павлик вздохнул. — Понимаешь, Владька, ей нельзя... У нее отец неродной. Он над ней всегда издевается, когда матери нет. А мать поздно приходит...

Я почувствовал сразу, как неловко ему, как трудно говорить.

Он, наверно, в кухню вытащил меня нарочно: здесь, в полутьме, почти не видно было лиц. Незаметно, если покраснеешь. И я уже знал, что он скажет дальше.

Павлик сказал:

— Знаешь, пускай она... посидит сегодня. У нас. А?

— Ну что я мог возразить? В конце концов, ведь это она вытащила Павлика из затопленного подвала.

Я только спросил:

— А как... А Каравелла?

— Ну и что? — быстро сказал Павлик. — Думаешь, она не сможет играть? Думаешь, она глупая? Она только кажется сперва, что глупая, а на самом деле умная. Она...

Вот уж этого я не ждал! Нашу Каравеллу, нашу тайну — какой-то девчонке? Павлик спятил! Нет, в самом деле, что за чушь!

Но пока я искал слова, чтобы выразить все возмущение и обиду, Павлик опять торопливо заговорил:

— Ты знаешь, какие она книжечки принести может? У нее дома целая куча, вот честное слово, хоть сам спроси, она сама скажет. Вот увидишь, еще лучше будет. Ты, Владька, только на нее не дуйся, а то она тебя боится.

— Меня?

Честно говоря, я клюнул именно на эту удочку. Все-таки здорово, если тебя, первоклассника, боится такая дылда.

В тот вечер игра не клеилась. У меня слова просто застредали. Стеснялся я при Милке открывать наши секреты и придумывать новые. И злился на нее. Да и Павлику было неловко; он только старался делать вид, что все в порядке.

Наша Каравелла увязла на одном месте, словно в мучном киселе. Мы не могли придумать ничего интересного.

Милка, наверно, все понимала. Но не уходила, сидела. Серьезная и внимательная. И вдруг сказала, не глядя на нас:

— Я одну книжку читала про саблезубых тигров. Они на острове жили. Давайте откроем такой остров. И устроим охоту...

Ветер слабо шевельнул наши паруса.

— Этот остров какой? — с надеждой спросил Павлик.

— Как «какой»?

— Ну, какие берега, скалы, деревья? — мрачно пояснил я. — Надо же знать. Думаешь, так просто? Открыли — и все? А вдруг перед ним подводные рифы? Как напоремся...

— Какой ты скорый! — запальчиво сказала Милка. — Открой, тогда и узнаешь! Конечно, рифы... Надо на шлюпке разведать, а не лезть наобум.

— Вот и отправляйся, — предложил я. — На шлюпке... А нам нельзя. Мы руль должны держать и паруса.

— Хорошо, — негромко сказала Милка. Помолчала и заговорила, глядя в огонь: — Ну вот... Это большой остров... Не очень большой, средний. У него берега высокие. Желтые от глины. И скалы высокие. А наверху сплошные джунгли. С одной скалы бежит в море ручей. А на обрыве стоит каменный идол, большой такой и зубастый. Его дикое племя сделало. Только сейчас племени нет, его все сожрали саблезубые тигры.

— Вот скоты! — обрадованно сказал Павлик и дернул затвор воображаемого карабина. — Ну, мы им дадим!

Вечер окончился полным истреблением свирепых зверей. Только двух мы взяли живьем, чтобы приручить.

И все-таки вечер был не таким, как раньше. Вдвоем было лучше. Я утешил себя тем, что Милка больше, наверное, не появится.

Но она появилась. На следующий день.

— Смотри, что она придумала! — бодро сказал Павлик, а глаза у него были виноватые.

Милка догадалась, как делать над морями день и ночь. Она принесла два лоскутка: белый, с вышитым желтым солнцем, и черный, шелковистый, с белыми бумажными звездочками. Эти лоскутки можно было по очереди расстилать на тумбочке.

Если бы такое дело выдумал Павлик, я бы сразу сказал, что это здорово. Но сейчас мне стало обидно.

Я придрался:

— А если вечер? Или утро? Тогда как, а?

— Что-нибудь тоже можно придумать, — тихо сказала Милка. — Я сегодня дома подумаю.

Она это мне говорила, а не Павлику. Словно спрашивала у меня разрешения. Была она сейчас какая-то нерешительная, сидела на краешке стула и разглядывала свои валенки. В эту минуту я понял: плевать ей на Пашкину арифметику.

— Ну... давайте, что ли, — хмуро сказал я и первым полез под карту, в нашу «каюту».

В тот вечер дела шли лучше. Милка почти не робела, я уже не стеснялся, Павлик был рад, что мы не дуемся друг на друга.

Когда Милка ушла, Павлик потоптался со мной и неловко сказал:

— Послушай... Пускай уж она приходит... если ей так охота.

Что было делать? Я согласился, хотя и без восторга:

— Пускай...

Прошла неделя, и к Милке я почти привык.

Я привык, но все еще смотрел на Милку косо. Это была тоже привычка.

Как-то после уроков Милка догнала меня у дверей школы. Она шла чуть позади, возвышаясь надо мной, как Гулливер над лилипутом. Гулливер в кривом оранжевом капоре. Павлика с нами не было: его оставили учить стихотворение, которое он не выучил дома.

Мы шагали молча, и Милка временами шумно вздыхала у меня за плечом. Это меня злило. А день был синий от неба и ярко-желтый от солнца. Звенела каплями оттепель, и радостно галдели воробьи на потемневшей дороге. Не хотелось ссориться в такой день. Я решил очень просто отвязаться от Милки: постою с минуту, будто люблюсь каплями, а она пускай двигает дальше.

Я остановился у ржавой водосточной трубы. В полметре от земли она круто изгибалась, а ее срез был украшен сосульчатой бородой. С бороды стеклянным горохом сыпались капли. Иногда они сливались в искристую струйку, но тут же опять разбивались на шарики.

Под трубой была бугристая наледь. Капли выбили в ней ямку с чайное блюдце. Вода в этом круглом озерке брызгала и пузырилась. Ей не хватало места, и она проточила в наледи канавку. Хрустальный ручеек сбегал с ледяной горки и нырял под снежный пласт у тротуара.

Я стоял и смотрел. Эта прилипла Милка тоже остановилась.

И вдобавок сказала:

— Как красиво...

Я бросил портфель и сел на корточки. Брызги ледяными иголочками начали колоть лицо. Я подобрал раскисший спичечный коробок и пустил его в пляшущую лужицу. Он запрыгал под ударами капель, а потом боком-боком подвинулся к истоку ручейка, протиснулся в ледяной желобок и заскользил вниз, царапая донышко.

— Как кораблик! — обрадованно сказала Милка. — В него бы Дюймовочку сейчас посадить. Да?

Я хмуро глянул через плечо:

— Чего?

— Дюймовочку... Ты что, не слыхал про Дюймовочку?

Я пожал плечами.

— Ну и что? Наверно, зенитка какая-нибудь. Трехдюймовка — полевая, а дюймовочка — мелочь какая-то. Зачем ее на корабль ставить?

Тут я впервые увидел, как Милка хохочет. Она запрокинула голову, зажмурилась и переступала с ноги на ногу, будто стояла босиком на горячем тротуаре. И заливалась: ха-ха-ха-ха-ха... Без перерыва, без роздыха. Капор съехал совсем на затылок и пламенел под солнцем, как петушинный гребень. Волосы сияли медным блеском.

— Дура, — сказал я коротко и сурово. Поднялся и взял портфель.

Смех ее обрезало будто ножницами. Милка заморгала и жалобно спросила:

— Ну зачем ты сердишься?

Я не ответил и пошел прочь, гордо помахивая портфелем. Ей, длинноногой, ничего не стоило догнать меня. Она вышагивала сзади и оправдывалась:

— Я же не знала, что ты не знаешь. Дюймовочка — это не зенитка совсем, а девочка, такая маленькая, меньше спички. Такая сказка есть в книжке.

Подумаешь, девчонка меньше спички! Я про Гулливера читал, там этими лилипутиками кишмя кишит! Чтобы посильнее досадить Милке, я сказал:

— Если читала, значит, хвастаться надо, да? Ну, давай, давай, хвастайся! Гогочи, как гусыня! Сама тогда наобещала: «Книжеч интересных принесу», а вместо книжеч — фи́га. Ни одной еще не дала. Где они, твои книжечки, а?

— Ой, ну пожалуйста! — обрадованно заспешила Милка. — Ну хоть сейчас! Давай зайдем! Зайдем, а? Ну, Владик...

Она здорово меня упрашивала. Я поупрямился с полминуты и пошел с ней.

Милка жила в одноэтажном бревенчатом доме. Один угол у дома круто осел, и окна перекошились, как у выброшенного на отмель корабля. Я не стал заходить, потому что помнил про Милкиного неродного отца. Милка вынесла мне пухлого «Следопыта» и плоскую серую книгу с тремя сказками: «Дюймовочка», «Стойкий оловянный солдатик» и «Бременские музыканты». До сих пор не понимаю, почему две сказки Андерсена были напечатаны вместе со сказкой братьев Grimm. Потом я долго путал этих писателей.

Сказки я прочитал не сразу, потому что сначала налег на «Следопыта». Читать его было трудно, а оторваться еще труднее.

Так или иначе, с Милкой мы помирились. Правда, через несколько дней снова чуть не получилась ссора. Я пришел к Павлику, когда они с Милкой дружно хохотали, повторяя сквозь смех слово «Дюймовочка». Увидели меня и смеяться перестали. Горькое подозрение зашевелилось во мне.

Павлик сказал:

— Милка рассказывала про Дюймовочку. Как ты подумал, что это пушка.

Я онемел от возмущения. Такое предательство!

Но Павлик продолжал как о пустяке:

— Только это еще не так смешно. Вот я, когда в первый раз слово «каравелла» услышал, думал, что это верблюдца, которая в караване ходит...

Милка снова захохотала. Это было и вправду смешно, и я подавил обиду.

В тот день сырой тяжелый ветер начинал весну. Натужно скрипели заборы. На крышах приподнимались и грохали железные листы. Снег темнел и оседал, как промокший сахар. Из него хорошо было скатывать тугие снежки, но никто не скатывал — такой ветер! Это был зюйд-вест, теплый циклон с южных морей.

Возвращаясь из школы, я встретил двух моряков. Сначала я не удивился. Много моряков лежало в городском госпитале, и перед выпиской они часто гуляли по улицам. Но эти были не из госпиталя. Они шли с автоматами. Странно...

Один был в черной ушанке, второй — в бескозырке. Он шагал, наклонившись навстречу ветру, смеялся и держал в зубах ленточки, чтобы бескозырку не унесло. Со всем как в штормовых книжках о море.

Мне показалось почему-то, что эти моряки и тяжелый сырой ветер связаны друг с другом. Даже представилось на миг, что на реке, под желтыми обрывами, толпятся

вперемешку башенные крейсера и высокие бриги с отсыревшими парусами. Но я знал, что река еще подо льдом...

Небо навалилось на крыши громадой темно-синих туч. Эта плотная синева рождала глухое беспокойство. Ветер нес ожидание каких-то непонятных и тревожных событий. И я не удивился, когда такое событие в самом деле произошло.

Исчез Павлик.

Он не пришел из школы.

До вечера никто не беспокоился. Просто некому было беспокоиться до вечера. Только меня грызла досада: носится где-то со своими друзьями, в снежки играет. А может, с Милкой. Читают там свою «Дюймовочку». Хотя нет, книжка-то у меня.

Стемнело, а он не пришел. Может быть, у матери в кино сидит?

Ветер старательно расшатывал дом. Я не стал готовить уроки. Не дождавшись Павлика, я уснул одетым и увидел во сне, что синие тучи — живые. Они тяжело и дружно взмахивали сырыми крыльями. Павлик держал в стиснутых зубах ленточки бескозырки и прижимался спиной к мокрому забору. Над забором, среди брызг и рева ветра, медленно поворачивались башни крейсера.

Меня растолкала мама:

— Владька, где Павлик?

Я будто и не спал. Отчетливо понимая, что случилась беда, я тихо сказал:

— Не знаю. Я сам ждал...

За стенкой громко плакала тетя Аня.

— Ты его видел сегодня?

— В школе.

— А потом?

— У них пять уроков было. У нас четыре. Я домой ушел. А он не пришел... Его нет?

— Его нигде нет, — вполголоса сказала мама. — Анна Васильевна всех мальчишек обегала, тех, кто знает. Где он еще может быть? Не знаешь?

— Не знаю.

Ходики показывали двенадцатый час. По-прежнему ровно и могуче гудел зюйд-вест. Я украдкой натянул пальто и шапку.

На крыльце ветер ударил меня тяжело и упруго. Я грудью почти лег на тугие потоки воздуха и пошел темными переулками к Милкиному дому. Я не боялся ни темноты, ни жуликов. Не боялся даже того, что придется среди ночи колотить в дверь чужого дома и будить незнакомых людей. Ветер был такой, что уносил все страхи.

Ночь свистела в тополях. Она казалась такой же, как та, во время которой погиб старый Билли Бонс. Но сейчас опасность грозила не книжному Билли...

По-моему, я очень быстро добрался до Милкиного дома. А может быть, так показалось: минуты летели стремительно, со скоростью ветра. В окнах была темнота. Я некоторое время спорил с ветром, который навалился на калитку со стороны двора и не давал открыть ее. Потом поймал секундное затишье и проскочил во двор.

На крыльце я впервые почувствовал опасение. И тогда, чтобы оно не успело вырасти, я несколько раз ударил валенком в дверь. Бухающие удары мягко отдались в доме. Мне вдруг очень захотелось, чтобы никто не ответил, не вышел. Но пока я так думал, в окошке рядом с крыльцом засветилась желтая щель. Потом взвизгнула дверь в коридоре и заспанный, хриплый голос мужчины сказал:

— Ну вот... Кого там еще?

— Милку надо! — с отчаянной решимостью потребовал я. Кажется, и мой голос тоже прозвучал сердито и хрипло.

Я ждал ругательств и расспросов, но услышал, что дверь захлопнулась. Вот и все. Никто, конечно, Милку не позовет.

Но щель в окошке не гасла. Потом опять завизжала дверь и зажегся свет в коридоре.

— Кто? — негромко спросила Милка.

— Открой.

Она открыла, больше не спрашивая. И сказала без удивления:

— А, Владька...

— Где Павлик? Знаешь?

— Нет, — поспешно сказала она. — Вот чудной! Ну откуда же я знаю? Ничего я не знаю.

— Он тебе ничего не говорил?

— Ничего.

Вот и все. Спрашивать больше было нечего. Милка стояла на пороге, переступая большими мужскими валенками и придерживая на груди запахнутое пальтишко.

— Ладно, я пошел.

— Подожди... А его дома нет, да?

«Вот дура», — подумал я.

Она окликнула снова:

— Владька! Ты не бойся... С ним ничего не будет.

— Иди домой, — сказал я от калитки.

Теперь ветер бил в спину. Он донес меня до дома как перышко. А на пороге, тоже как перышко, меня подхватила мама и наградила довольно весомым подзатыльником.

— Негодный мальчишка!.. Прикажешь еще из-за тебя нервы трепать?! Мало нам одного. Где ты был?

— У девочки одной... Про Павлика узнать.

— У девочки... — сказала мама, остывая. — Ну... узнал?

— Ничего она не знает.

— Тоже додумался! Один ночью! Мог бы ведь меня позвать!

Я молча разделся и залез под одеяло. «Меня позвать!»! Кто слышал, чтобы капитаны, отправляясь на поиски, в брали с собой мам?

Я лег, и тут пришла запоздалая обида.

— На улице такой ветрище, — громко сказал я, — такой холод, а она дерется! Дратся-то легко...

— Мало тебе еще, — заявила со своей кровати Татьяна. Я свернул в тугую муфту подушку, чтобы запустить ею

в любимую сестрицу. Но тут навалилась усталость, которая не оставила места ни для обид, ни для тревог. Я уснул, как провалился.

...Наутро я узнал, что Павлика по-прежнему нет.

— Поторапливайся, — сказала мама.

Мысль об уроках мне казалась дикой. Но маме она дикой не казалась, и меня прогнали в школу.

В школе никто не знал, что Павлик потерялся. То есть учителя, наверно, знали, но ребятам не говорили. Милку я не нашел: видимо, не пришла.

Уроки тянулись бесконечно. Я списывал с доски примеры, писал в тетрадке какие-то слова, смотрел в «Книгу для чтения», а мысль была одна: «Павлик... Павлик... Павлик... Павлик... Павлик... Павлик...»

Может быть, он попал под грузовик? Но тогда мы это уже знали бы. Может быть, его убили грабители? Но зачем его грабить? Пальто все в заплатках, валенки дырявые. Может быть, его похитили шпионы? Но для чего? Если бы у него отец был какой-нибудь важный командир... Но у него еще до войны отца не было никакого.

Уроки все-таки кончились. Нельзя сказать, что я мчался к дому стрелой. Я боялся узнать, что еще ничего не известно.

Павлик был дома.

Мама тоже была дома, собиралась в редакцию на ночное дежурство. Она рассказала, что Павлика принес на руках пожилой хмурый железнодорожник. Он посоветовал тете Ане выдрать своего беспутного сына. Тетя Аня драть Павлика пока не стала, потому что у него болело разбитое колено. Она только заплакала, велела Пашке лежать и ушла на работу.

С Павликом случилось вот что. Вчера на улице он, как и я, увидел моряков. И пошел за ними. Моряки шли на станцию. Там на дальних путях стоял эшелон. Морской эшелон. На площадках товарных вагонов сидели матросы с черными автоматами. Пересекая стрелки, выскакивая

из-под вагонов, огибая шипящие паровозы, к теплушкам бежали моряки. Вдоль состава пролетел лязгающий грохот. Вагоны тронулись. Видимо, Павлик решил, что сейчас или никогда. Судьба посылала ему удивительный случай. В одну секунду он мог оказаться в мире замечательных людей, черных бушлатов, боевых автоматов. А дальше — стальные настоящие корабли, настоящее море, матросский воротник и звание юнги... Он сжал зубами ручку портфеля и прыгнул на подножку...

Наверно, это было так. Точно я не знаю. Говорить об этом с Павликом не пришлось.

Эшелон шел без остановок до ночи. Он спешил на восток. На Дальний Восток.

Ночью на маленькой станции, когда за Павликом пришли два милиционера, он прыгнул из вагона, не устоял и, упав, ударился коленом о рельс...

Едва дослушав маму, я бросился к двери.

— Не ходи, — строго сказала мама. — Он сейчас спит. — И добавила вполголоса: — Фокусники...

Через полчаса громко ухнула перегородка. Это Павлик, вызывая меня, бросил валенком в стенку...

Он сидел в кровати, укрывшись до пояса одеялом. Там, где у Павлика было колено, рыжее одеяло вздулось, будто под ним лежал футбольный мяч. Столько бинтов намотали.

Я стоял и смотрел на эту одеяльную опухоль. Павлик тоже стал смотреть на нее: обоим было неловко.

— Болит? — спросил я.

— Сейчас не болит. Вчера здорово болело.

— Как это ты стукнулся?

— Об рельсу...

Мы замолчали. Нам впервые трудно было разговаривать. Павлик нехотя спросил:

— Тебе, наверно, все рассказали?

— Ага.

Я видел: ему не хочется рассказывать. Кому приятно говорить о своем поражении?

— Тетя Аня сильно плакала, — хмуро сказал я.
 — Знаю... Беспокоилась.
 — Думаешь, я не беспокоился? — сердито спросил я.
 Павлик спокойно повторил:
 — Я знаю. Но это же недолго. Завтра бы Милка все рассказала.
 — Милка?!
 Он даже вздрогнул.
 — Милка? — сказал я. — Она знала?
 — Ну... да, — кивнул Павлик. — Она же со мной была. До самой станции, до вагона. А ты думал, я никому, что ли, не сказал?
 Такой был ветер в ту ночь... Наверно, раз в сто лет бывает такой ветер. С ног сбивал. А я шел. Я шел, чтобы правду узнать, а она...
 — Что же она мне наврала? Я же ночью нарочно ходил...
 — Она не виновата. Я ей велел два дня никому не говорить.
 — И мне?
 — Я ей просто сказал: «Никому». Ну, Владька, некогда же было!
 — «Некогда»... — сказал я. — Ей, значит, можно было знать, а мне нельзя, да?
 — Тебе же лучше. Тут бы из тебя все жилы вымотали: как, да что, да не знаешь ли... А так ты и по правде ничего не знал.
 — Думаешь, проболтался бы, да?
 (Конечно, молчать было бы трудно, когда видишь, как убивается Пашкина мать. Но он-то этого не знал. Как он смел во мне сомневаться?)
 — Врешь ты, — сказал я. — Ты нарочно велел не говорить мне. Скажешь, не нарочно? Ну, скажи «честное морское».
 Он молчал.
 — Я тебе всегда все говорил, — с горечью сказал я. — А ты...

— «Всегда»... Что ты мне говорил?
 — Все говорил! Как в ручей в овраге провалился, говорил! И как два патрона нашел! И как в тетрадке «кол» скоблил, и как...
 Я вдруг замолчал. Да, я открывал ему все свои тайны, но что это были за тайны! Подумаешь, «кол» в тетрадке...
 Ну, а разве я виноват, что большой тайны у меня никогда не было? Разве бы я скрыл?
 Мы оба читали одни и те же книжки — про людей, откровенных и надежных, как сталь. Мы оба знали одни и те же законы верности и чести. Оба знали, что в друзьях не сомневаются, не лгут, не предают их. Он нарушил закон.
 — Предатель, — сказал я. И это был конец.
 — Кого я предал? — спросил Пашка и, шевельнув ногой, сжал зубы. Наверно, от боли.
 — Сам знаешь кого. Конечно, не ее, Милочку свою. Целуйся теперь с ней, с невестой...
 — Заткнись, — внушительно посоветовал Павлик. — Думаешь, если нога болит, так я не встану?
 — Встань, — сказал я и ощутил прилив ясного бесстрашия. Обида заливала меня. — Ну, встань, я не убегу. Не бойся, я маленький. Стукнуть можно, сколько хочешь. Думаешь, я тогда не скажу, что ты предатель?
 — Слезки уже капаят, — мрачно заметил Павлик. — Нюня. Правильно, что она не сказала тебе.
 Слезы еще не капали, но были уже близко. Чтобы он не видел их, я ушел, захлопнув дверь, которую потом не открывал ни разу.

ОДИН

С этого дня мы стали жить порознь.
 Каравелла больше не уходила в опасные плавания. Видимо, навсегда она осталась в скучной болотистой лагуне. Обрастали тягучими лианами мачты, ветшали паруса.

Киль покрывался наростами из ракушек. Днище точили морские черви торадо.

Милка больше не приходила к Павлику. Может быть, он и с ней поссорился?

От скуки я взялся за Милкину книжку и прочитал всю. «Дюймовочка» мне не понравилась. А «Оловянный солдатик» понравился. Это была смелая сказка, хотя и с печальным концом. Я ее читал три раза. А «Дюймовочку» больше не читал — было почему-то грустно.

Иногда я думал о том, как все глупо получилось. Столько было хорошего, а потом один короткий разговор — и все. Разве так бывает, если настоящая дружба?

Но разве была не настоящая?

Временами казалось мне, что ничего не случилось. Особенно по вечерам. Я слышал сквозь тонкую стенку, как Павлик ходит по комнате, двигает поленья у печки, шелестит листами книги. В такие минуты я был почти уверен, что все можно поправить. Надо пройти через кухню, тихо потянуть на себя дверь. Она отойдет с жалобным скрипом. Павлик шагнет из полумрака и тихо скажет: «Пришел... Хочешь хлебушка?»

Наверно, так и надо было сделать. Надо было... А я сидел один в своей комнате и листал давно прочитанные книжки.

Однажды Павлик подошел к моей двери:

— Владька...

— Что? — откликнулся я, и сердце у меня подпрыгнуло.

— Ну, открой.

— Зачем? — капризно сказал я. Дурацкое упрямство подавило секундную радость.

— Просто так, — тихо сказал Павлик.

— «Просто так» делает дурак, — холодно сообщил я.

Павлик помолчал. Потом медленно спросил:

— Трудно, что ли, открыть?

— Мне мама не разрешает никому открывать.

Павлик постоял еще и зашагал к себе, шлепая по полу

оторванной подошвой подшитого валенка. Потом я услышал, как он оделся и ушел из дома.

Я все еще стоял и смотрел на дверь, которую не открыл. Она была в желтых чешуйках облупившейся краски. Но чешуйкам, неловко семеня, спешил вверх маленький серый паук.

Я вернулся в комнату, лег на кровать и отвернулся к стене. В доме было тихо и пусто.

...Через неделю Павлик с матерью уезжали. Не знаю точно, что случилось. Подруга тети Ани уступила им не то навсегда, не то на время маленький свой дом на соседней улице, а сама куда-то укатила.

Я стоял, прижавшись щекой к стеклу, и смотрел, как Павлик уезжает.

День был теплый, но серый и скучный. Низкорослая печальная лошадь подтянула к крыльцу широкие сани. Круглые бока лошади были сырыми. Волос на них слипся в кривые короткие сосульки.

Где-то среди веток отчетливо и громко кричал воробей: «Чиф!.. Чиф!.. Чиф!..» Лошадь дергала ушами. Ей, наверно, не нравился этот надоедливый крик. Мне он тоже не нравился.

Анна Васильевна и Павлик выносили вещи. Знакомые стулья с «петушиными» спинками, тумбочку с фарфоровым шариком вместо ручки, желтую этажерку. Под открытым небом эти вещи казались маленькими и какими-то беззащитными. Стали хорошо видны их царапины и заплаты.

Павлик вынес одноухого медведя. Он поставил его на облезлый чемодан. Однако чемодан лежал криво, и медведь медленно поехал с желтой клеенчатой спинки. Павлик снова взял его на руки и сам устроился на чемодане, уцепившись локтем за ножку перевернутого стола.

Я торопливо отошел в глубь комнаты: показалось, что Павлик сейчас обязательно взглянет на мое окно. Он не

взглянул. Сидел и смотрел на своего медведя, будто в первый раз увидел. Наверно, нарочно. Ну и пусть!

Анна Васильевна тоже села в сани. Вещей набралось немного, ей хватило места. А возчик не сел. Он дернул лошадей за повод и повел со двора. Сани описали на сыром снегу широкий полукруг и поползли в открытые ворота. Павлик зажал медведя между колен и теперь держался за ножку стола двумя руками. Он сидел съжившись, и я не видел его лица. Видел только серую ушанку с распущенными завязками. Потом сани скрылись за распахнутой половинкой ворот.

«Чиф!.. — орал бестолковый воробей. — Чиф!..»

— Дурак, — сказал я ему. Чтобы не зареветь.

Пошли одинаковые, серые дни.

Нельзя сказать, чтобы грызла меня все время тоска. Нет. Ведь надо было и в школу ходить, и домашние задания готовить. Надо было и в овраг сбегать, где по-прежнему катались с крутых склонов мальчишки. Погода стояла непонятная: не весна и не зима. Но снег еще держался. Я приходил домой в сумерки, промокший, со снежными крошками в валенках. Уставший и потому сердитый. Раздевался, не отвечая на Танькины упреки. Потом садился на кровать лицом к стене и устраивал для себя «кино»: старался так сложить пальцы, чтобы тень от них стала похожа на какого-нибудь зверя. Я хорошо умел показывать «орла», «зайца», «собаку», «слона», но одни и те же фигуры надоедали быстро. Я начинал придумывать новые. Не очень веселая была эта игра, но все-таки...

Татьяну раздражало мое молчание. Она не выдерживала:

— Ну что за человек! Сопит, молчит весь вечер! Какие-то кукиши показывает! Смотреть тошно...

Если мы были одни, я отвечал, не оборачиваясь:

— Не смотри.

Если дома была мама, я со слезами в голосе требовал справедливости:

— Мама, ну что она привязывается!

Мама заступалась:

— Не трогай ты его...

— Смотреть тошно, — повторяла Татьяна.

Разозлившись, я показывал ей настоящий кукиш.

Однажды я слышал, как мама Татьяне сказала:

— Неужели не понимаешь? Скучает он один. Раньше-то как хорошо было...

Потом она спросила меня:

— А почему Павлик ни разу не пришел? Он ведь недалеко живет.

Если бы она знала! Но она не знала ничего. Не потому, что я привык скрывать. Просто я чувствовал, что мама здесь не поможет.

Павлика я видел в школе каждый день. Издалека видел. И он меня замечал, конечно, только не подошел ни разу. Ну, и я не подходил. Просто я был уверен, что старого не вернуть, раз затрещала и пошла ко дну наша Каравелла. Раскололась дружба. И Павлик, видимо, решил так же.

«Кино» на стене мне скоро надоело, и я придумал другую игру.

Иногда мама приносила с базара кульки с кедровыми орехами. Ух, как я их любил! Щелкал я их лучше всех, как белка. Я не жевал по одному ядрышку, а собирал целую горсть и потом уже отправлял в рот. И все же я понял наконец, что самое ценное в орехах не ядра, а скорлупа. Потому что каждая скорлупка — кораблик.

Я наливал воду в синюю пластмассовую тарелку, устраивал вдоль полукруглых берегов ореховые эскадры. Они готовились к схватке, потом сходились в бою. Шли на таран, на abordаж... Наполнившись водой, скорлупки шли на дно, как настоящие корабли.

Тихая была эта игра. Если со стороны смотреть, то, наверно, скучная. Но я не скучал. Здесь требовалось искусство, почти как в шахматах. Надо было знать, когда идти в обход, когда бросаться в атаку, когда открывать огонь или уходить под прикрытия мыса Чайная Ложка.

Был в этой игре отголосок наших с Павликом корабельных вечеров. Слабый отголосок...

Особенно мне нравились скорлупки от высохших орехов. Тонкая кожица пустых ядрышек ссыхалась и торчала из скорлупы длинными стерженьками. Как мачты. Такие кораблики с мачтами я ставил во главе эскадр и соединений.

Мама иногда молча смотрела, как я спичкой передвигаю в синей тарелке боевые корабли. Я чувствовал, что она смотрит, но не оглядывался. Мне казалось, что маме почему-то грустно.

Только один раз мама сказала:

— Капитан ты мой... Вот найти бы тебе грецкий орех. Из него бы получился корабль...

— Какой это грецкий? Греческий?

— Да нет. Просто такое название. Это большие орехи, вот такие. — Мама сложила в кружок пальцы.

Я не поверил. Не бывает таких орехов.

Мама улыбнулась:

— Ты забыл. Когда ты был маленький, у нас такие орехи висели на елке.

Ну, если когда маленький, тогда другое дело. Маленьким я был до войны.

Тогда, говорят, не было хлебных карточек, был дома папа, а в магазинах продавались настоящие альбомы для рисования.

Мне расхотелось играть. Я сел к окну. В этот вечер не были почему-то закрыты ставни. Я увидел темно-зеленое небо, снежные ветки и маленький желтый месяц. Он сидел на скворечнике, как забравшийся на крышу мальчишка. Я отодвинулся. Месяц прыгнул со скворечника и по-

вис среди мелких звезд, слегка опрокинувшись на спину. Он был похож на половинку золоченого грецкого ореха. Я вспомнил такие орехи, покрытые золотистой пылью. Среди густой темной хвои они поворачивались на длинных нитках. По ним прыгали крошечные зайчики от желтых свечек.

Свечки тихо шептались. Блестели шары. Пахло праздником и сказкой.

Мне бы один такой орех из той сказочной жизни, когда я был маленький. Даже не орех, а скорлупу. Я смастерил бы из нее флагман для своей эскадры, крутобокую бесстрашную каравеллу...

ЦУНАМИ

Через неделю в комнате Павлика поселилась другая семья: сутулый, вечно кашляющий токарь с номерного завода дядя Глеб, его жена тетя Ага, толстая продавщица из какого-то магазина, и сын Борька, по прозвищу Ноздря.

Ноздря был гад. В школе он отбирал у малышек тощие завтраки, продавал поштучно старшеклассникам самокрутки, хвастался новыми хромовыми сапогами и противно ревел, когда его запирали после уроков в пустом спортзале.

Тетя Ага была ему мачеха, но никогда не обижала, заступалась перед отцом. Она таскала Борьке шоколад и махорку, а он спекулировал этим товаром в школе.

Меня Ноздря невзлюбил с первого дня.

Мы «познакомились», когда он, только что приехав, сидел на лавочке у крыльца, а я возвращался из школы.

— Эй ты, фраер, — лениво окликнул он. — Куда прешь?

Я с любопытством, но без боязни поглядел на белобрысого мальчишку с ленивым лицом и бесцветными ресницами. Потом уверенным голосом поставил его в известность, что здесь живу.

— Живешь? — холодно удивился он. — Жил ты здесь, это точно. А сейчас твоя жисть кончилась. Капут.

Спокойной жизни действительно пришел «капут». Подзатыльники, шалабаны, комки снега за воротом «украшали» мои дни так сильно, что я не видел света. Не было покоя даже дома. Ноздря проковырял в тонкой перегородке дырку и обстреливал меня из резинки проволочными скобками. Он ухитрялся попадать по ушам, и боль была ужасная.

Учился теперь Ноздря в нашей школе, в пятом классе. На переменах он меня не трогал, но дорога в школу и обратно казалась мне пыткой. Она была полна страха перед новыми Борькиными издевательствами.

Однако бывали и у Ноздри черные времена. Иногда по вечерам дядя Глеб лупил его ремнем за двойки, курение и прочие грехи. Я утыкался лицом в подушку и зажимал уши, чтобы не слышать звуков расправы, но это не помогало. Ноздря пронзительно верещал.

На следующий день Ноздря бывал злым, как сто голых дьяволов. Он ненавидел меня за то, что я знал о его унижении. Он думал, что я радуюсь его беде.

Особенно возненавидел он меня с тех пор, как я забрал карту. Нашу с Павликом карту. Павлик не увез ее, оставил в пустой комнате. Однажды в коридоре я увидел, как тетя Ага таскает в кладовку чемоданы и корзины. Дядя Глеб и Ноздря помогали ей: тоже носили какое-то барахло. Тут-то я и увидел карту. Ноздря волочил ее, свернутую, по полу.

— Это наша! — крикнул я с внезапной яростью. — Куда тащишь, ворюга?!

Ноздря медленно повернул ко мне рыбье лицо. Сказал шепотом:

— Иди отсюда... знаешь куда?

Никуда я не пошел. Намертво вцепился в карту и рванул к себе.

— Что за шум? — спросил дядя Глеб.

Чувствуя, что разревусь, я заговорил торопливо и зло:

— Это наша! Мы с Павликом играли! Он мне оставил, а не вам! Не имеете права! Все равно моя...

— Отдай, — сказал Борьке дядя Глеб.

Ноздря выпустил карту, и я полетел с ней спиной вперед к дверям. Тетя Ага вопила вслед:

— А ворюгой нечего лаяться! Ты видел, как он ворует? Видел, а? Интеллигенция вшивая!

Карту я повесил на стенку, которая отделяла нашу комнату от Борькиной. Я вбивал гвозди, мстительно грохоча молотком по шатким доскам. Карта закрыла дырки, которые Ноздря проковырял для обстрела. Но он потом все равно провертел одну в карте — в западном побережье Австралии.

Борька спекулировал не только в школе. Видели его не раз и на барахольном рынке — толкучке. А однажды я встретил его рядом с кассами кинотеатра.

Мы оба пришли туда после уроков. Я — чтобы взять билет на картину «Волшебное зерно», Ноздря — по своим делам.

Окошечки касс были на улице. Билетов не оказалось, но неподалеку толкались и шумели ребята. Знакомые, из нашей школы, и чужие.

— Греческие орехи дают! — возбужденно сообщил мне второклассник Володька Одинцов.

«Греческие» орехи «давал» Ноздря. По три рубля за штуку. Покупателей хватало. Все равно билетов не было, и ребята без раздумий отдавали скомканные трешки за невиданное чудо. А разве не чудо? Многие про такие орехи и не слышали. Большущие, желтые, они деревянно постукивали в Борькиных ладонях.

— А ну налетай! Потом пожалеете! У мамки таких не допроситесь!

Я протолкался к Ноздре. Я боялся, что он и здесь не забудет о своей вражде, но не вытерпел. Помнил об «ореховом флагмане».

Ноздря не подал виду, что знает меня. Сунул за пазуху деньги, протянул орех и снова призывно заголосил.

Орех был бугристый, скользкий и холодный. Я расколотил его обломком кирпича на тротуаре. Не очень удачно расколотил: одна половинка скорлупы треснула. Но вторая была совсем хорошей. Я вынул из нее ядро. Вернее, это было не ядро, а темные пыльные крошки. Горькие.

Я снова протолкался к Ноздре:

— Борька! Он же гнилой!

Ноздря бросил на меня стремительный ненавидящий взгляд.

Сказал одними губами:

— Пошел.

Я ушел. Что я мог сделать? Ладно. В конце концов, главное то, что скорлупа была подходящая.

Домой я решил не ходить: боялся, что Татьяна уже вернулась из техникума и будет засаживать меня за уроки. Я отправился на школьный двор. Там, за поленницей, был мне известен незаметный уголок.

В карманах и портфеле нашлось все, что было нужно для постройки: свечной огарок, нитки, спички.

Я разжевал парафин и белой мякотью заполнил трюм будущей каравеллы. Потом воткнул в парафин две спички-мачты, укрепил на носу спичечный бушприт. Поставил клетчатые бумажные паруса и долго возился, натягивая нитяные штаги и ванты.

А потом вышел на улицу и пустил легонькую крутобоку каравеллу в синий разлив уличной весенней воды.

Каравелла не успела уйти от берега: я заметил Ноздю. Он шагал в мою сторону. Я торопливо спрятал кораблик в портфель, но сам исчезнуть уже не смог.

Ноздря прижал меня к шаткому заборчику и лениво проговорил:

— К мамочке домой хотел смыться? Фиг тебе. От меня не сбежишь.

Для начала он дернул меня к себе, дал ладонью по

шапке и снова прислонил к скрипучим доскам. Медленным шепотом сказал:

— Стой. А то хуже будет...

Этот страшный шепот меня всегда словно заколдовал. Я стоял, придавленный тоскливым страхом и беспомощностью. Ноздря аккуратно поставил свой разбухший портфель на просохший пяточок у телеграфного столба. Потом из грязных снежных крошек начал скатывать плотный шарик. Я подавленно следил за его работой. Руки у Ноздри были худые, покрытые какой-то серой, несмываемой корочкой, с черными полосками ногтей. На костяшках пальцев сидели чернильные капли. На тыльной стороне левой кисти, у большого пальца, был нарисован чернилами кривой якорь. Пока Ноздря мял снег, якорь то сжимался, то растягивался.

Скоро шарик был готов. Скрюченным указательным пальцем Ноздря попытался оттянуть ворот моего пальтишка, но там была крепкая застежка с крючком.

— Ну-ка, ты, мамина радость... давай расстегивай, — сказал он с холодной деловитостью палача. — Видишь, у меня руки заняты.

Он придвинулся вплотную. Я близко увидел его лицо с удивительно чистой, какой-то неживой кожей, бесцветные глаза с покрасневшими веками и гнилые зубы. Мгновенная ненависть перехлестнула страх, и я вlepил мокрой варежкой по отвратительной роже.

Наверно, удар был очень слабый. Ноздря даже не качнулся. Секунды две он удивленно моргал, а потом по его лицу расплзлась улыбка. Довольная улыбка человека, который добился, чего хотел. Еще бы! Теперь он мог сделать со мной все, что угодно! Была причина.

— Птенчик ты мой, — заговорил Ноздря с ласковой укоризной. — Знаешь, что я сейчас с тобой сотворю?

Я не знал, но догадывался: сотворит что-то ужасное. Помню, что стало больно позвоночнику, — так я прижался к забору. Ноздря стал протягивать к моему лицу расто-

пыренную ладонь. Потом рот его округлился, рука оставилась, и он осел к моим ногам.

Тогда я увидел Павлика.

Видимо, он незаметно подошел сбоку и резким ударом под дых посадил моего врага на тротуар.

Ноздря пытался вздохнуть и хлопал губами. Павлик, не глядя на меня, поднял его за воротник и за штаны и крепким вратарским ударом отбросил в серое месиво тающего снега. Именно так он выбивал из ворот на школьном дворе круглую обледенелую «мяпу». Наверно, мне показалось, но тогда я был уверен, что Ноздря несколько метров летел по воздуху.

С изумлением, еще не успев обрадоваться, я смотрел, как рассыпается в пыль могущество моего мучителя. Павлик, проваливаясь в снег ботинками, подошел к Ноздре и нанес по-настоящему сокрушительный удар. Ноздря, здоров подбородок, воткнулся затылком в снежную кашу. Павлик снова рванул его и выволок на тротуар. Там он сказал Ноздре несколько слов, из которых «фашист» и «шакал» были самыми мягкими. Ноздря сидел, упираясь грязными ладонями в доски, и скулил.

— Исчезни, — велел Павлик.

Ноздря поднялся и заковылял назад, к школе, грозя привести друзей и учинить ужасную расправу. Портфель остался у столба. Ударом ноги Павлик отправил его вслед хозяину. Портфель шлепнулся на тротуар, как громадная жаба. Крышка отскочила. Выкатились на свет две черные печеные картофелины и пачка махорки. Махорка упала в лужу и поплыла размокать...

Что я чувствовал? Шевельнулась вдруг непонятная жалость к побитому врагу, особенно когда увидел две его картофелины. Но радость была сильнее. Я вдруг сразу заметил, какой разноцветный вокруг день. Солнце блестело на светло-зеленой коре тополиных веток. Тротуары были желтыми от яркого света, а тени на них — фиолетовыми.

А лужи были такими синими, что даже не знаю, с чем их сравнить.

А Павлик? Он отряхивал с колен снежные крошки и на меня не смотрел. Мне тоже было неловко. Что теперь делать? Мириться? А как?

А может быть, Павлик затеял драку не из-за меня? Может быть, у него с Ноздрей были свои счеты?

Больше всего я боялся, что Павлик уйдет. Повернется сейчас и зашагает прочь, будто меня и нет. Он умел так уходить — независимый, прямой, спокойный... Подойти к нему сам я тоже не решался. Подойдешь, а он и не взглянет.

Я отошел на несколько шагов, сел на корточки у края лужи и достал из портфеля кораблик. Он запрыгал по маленьким волнам на краю синей воды, сделал небольшой полукруг и резво побежал на середину лужи, которая разлилась от тротуара до тротуара.

Рядом со мной легла на воду тень, и я услышал голос Павлика:

— Мачты маленько неправильные. Надо повыше.

— Торопился, — хрипловато сказал я, не отрывая глаз от каравеллы. Я готов был согласиться с чем угодно, лишь бы Павлик не уходил.

— Ты переделай, — посоветовал Павлик. — Она быстрее будет бегать.

Я кивнул.

Кораблик метрах в трех от берега уткнулся бушпритом в мятую жестяную банку из-под американской тушенки. Желтый бок ее отсвечивал ярким золотом, а на нем, как зловещий знак опасности, чернела буква «U».

— Вот... — сказал я. — Как теперь переделать? Его не достанешь... — А сам подумал: «Ну, пожалуйста, не уходи!»

— Достанем, — отозвался Павлик. — Сейчас палку добудем какую-нибудь...

Но добывать палку не пришлось. За поворотом визгли-

во завыл мотор, и выскочила из-за угла полуторка. Это был лихой грузовичок, заляпанный грязью по самые стекла. Водитель решил с разгона проскочить громадную, на полквартила, лужу. На всем ходу взрезал колесами воду.

— Цунами! — крикнул Павлик непонятное слово.

По тротуару застучали вокруг нас грязные капли. Гребень взбаламученной воды оторвал ореховую каравеллу от банки и вынес к нашим ногам. Положил на борт. Но она, круглая, маленькая, упрямо, как ванька-встанька, поднялась, покачалась и встала прямо.

Павлик засмеялся, повернув ко мне забрызганное лицо:

— Ух какой ты разукрашенный!

— А сам-то!

Он поднял кораблик и протянул мне:

— Пойдем к нам, умоешься. А то Татьяна тебя пилить будет.

— Пойдем, — торопливо сказал я. — А что такое цунами?

— Большая волна. Когда на дне моря землетрясение или вулкан, она катит на берег и все разрушает. Корабли выбрасывает, города смывает.

— А-а... — сказал я.

Павлик был рядом. Никакие цунами были не страшны. Он сам сегодня обрушился на Ноздю, как цунами.

Павлик жил теперь в пяти кварталах от нас, в крошечном домике, который стоял в глубине двора. Внутри все было как раньше: те же стулья с петухами, наша тумбочка, мишка на комод. Только вместо круглой печки в углу белела плита с узкой дверцей.

На эту плиту, еще не остывшую с утра, Павлик поставил мои размокшие ботинки. Я следил с некоторой тревогой: помнил, как он спалил свои валенки. Ботинки у меня были новые: мама накануне получила их по ордеру.

Павлик притащил сковородку с макаронами. Чиркнул по слипшимся макаронам ножом — пополам. Потом, деловито работая вилкой, спросил:

— А чего этот гад к тебе пристает?

— Ноздря? А я не знаю. Он давно... Он, наверно, из-за карты...

И я рассказал, как отстаивал нашу карту.

— Ты ее принеси завтра. Ладно? — вдруг тихо попросил Павлик.

— Завтра?

— Ну да... Разве ты вечером не придешь? Завтра воскресенье как раз...

Я? Я, конечно, приду! Я прилечу! С картой? Значит, Павлик хочет, чтобы все было как раньше?

Неужели можно сделать все как раньше?

Наверно, можно... Конечно, можно, раз Павлик сказал.

— А сегодня нельзя?

Павлик вздохнул:

— Сегодня у мамы на работе буду весь вечер. Заставляет при ней уроки делать. Ругается...

Я начал натягивать еще сырые, но теплые ботинки. Потом я полувопросительно сказал:

— До завтра?

Не раздумал ли Павлик?

— Ты смотри обязательно приходи, — неловко попросил он. — А если завтра Ноздря полезет... А почему ты Дыркабу не сказал, что он к тебе пристает?

— Дыркабу?

— Ну да! Он же эту Ноздю видеть не может. Он за тебя ему бы башку оторвал.

— Я... не знал... Павлик, а почему его так зовут — Дыркаб?

— Не знаю. Знал, да забыл.

Я ушел. Я был уже за калиткой, когда Павлик окликнул меня:

— Владька! Постой!

— Что?

— Я знаю. Вспомнил. Его так еще давно прозвали. Он тогда хвастался, что знает, как по-немецки «мальчик». Ну, услышал где-то. А мальчик по-немецки — «дэр кнабэ». Ну, вот его так и стали дразнить. А потом это переделалось в Дыркаба... Ну, ты смотри приходи.

Я кивнул. Я знал, зачем он догнал меня. Плевать ему было на Дыркаба. Он хотел убедиться, что я обязательно приду.

ВЕЧЕР

Я вернулся домой. Крепкая, сдержанная радость двигала мной, как тугая пружина. Солнце сделалось ярким, будто ему в два раза увеличили напряжение. Оно дробило в стаканах ослепительные искры и торжественно горело на медном животе нашего самовара. Самовар, казалось, даже помолодел от этого блеска. Часы стучали весело и часто. Видимо, торопились подогнать время к завтрашнему дню.

Я распаковал кастрюлю с вареной картошкой, закутанную в старый ватник, потом в сенах отыскал банку со своей порцией молока. Молоко было ледяным, картошка вздымала клубы горячего пара. Обед получился царским.

Затем я добросовестно протер клеенку и разложил тетради. Упражнение по письму было громадным: восемь строчек. Вчера я впал бы в глубочайшую тоску от такого задания. Но сейчас я написал упражнение, посмеиваясь и даже слегка издеваясь над учебником: «Подумаешь, испугал!» Задача и четыре столбика примеров решились словно сами собой. Стихотворение про весну не пришлось даже учить: оно запомнилось с первого раза.

Я кончил готовить уроки и слегка испугался. Куда девать время? День был еще в разгаре. Идти на улицу не хотел. Не потому, что боялся встретить Ноздю. Теперь-то я

его ни капельки не боялся. Но мне казалось, что на улице, среди солнца, среди веселого гвалта воробьев и синего блеска луж, моя радость от встречи с Павликом может потускнеть и рассеяться. Счастливого ожидания завтрашнего вечера я боялся растерять среди уличных игр и забот.

К счастью, вспомнил я, как Антонина Петровна говорила, что на первомайском утреннике мальчишки из нашего класса будут изображать красных конников. До Первого мая было еще ужас как далеко, но я отыскал несколько старых газет и начал клеить красноармейский шлем. Клеил я неторопливо, накрепко, в несколько слоев, смазывая листы вареной картошкой. Когда дело было закончено, я вытащил коробочку с протертыми насквозь кирпичиками красок. Надо было выкрасить шлем в зеленый цвет.

И тут я заметил, что уже не различаю красок. День угасал, и в комнату ползли серые сумерки. Кирпичики в коробочке казались одинаково темными и бесцветными.

Я зажег лампочку и при желтом ее свете развел в блюде зеленую акварель. Выкрашенный шлем мне очень понравился. Правда, газетные буквы проступали сквозь краску, но зато я пришел над козырьком голубую клеенчатую звезду (пришлось отрезать полуоторванный угол столовой клеенки). Я знал, что звезды на шлемах наших кавалеристов были голубыми.

Работа была окончена. Я устало потянулся и с некоторым беспокойством оглядел комнату: всюду обрезки газеты, на полу раздавленная картошка, на столе зеленые лужицы. Пока никто не пришел, надо было браться за уборку. И только тут я сообразил, что прийти-то давно пора. И маме, и Тане. За окнами стояла почти полная темнота, стрелки ходиков подползали к восьми. Дом наполняла тишина, состоявшая из тиканья часов и мышинной возни.

Кажется, я снова попал в «утык».

И представьте себе, впервые в жизни я не испугался. Подумаешь, беда! Заберусь на кровать и буду снова читать

сказку про стойкого оловянного солдатика. Или лучше про Дюймовочку. Уж теперь-то ее можно читать без грусти. Так я и сделал: убрал мусор, запер дверь, взял книжку и с ногами залез под одеяло.

Я успел только прочитать, как скользкая жаба утащила Дюймовочку в свое болотное гнездо. В дверь постучали. Забарабанили. Я обрадованно вскочил. Конечно, хорошо читать в тишине сказки, но лучше, когда ты в доме не один. Пусть будет даже Ноздря. Он, разумеется, гад, но все-таки не так уныло себя чувствуешь, если за стенкой есть кто-то живой. А если будет еще привязываться... Ну, пусть попробует!

Я нахлобучил непросохший шлем, сунул ноги в ботинки и, не одевшись, выскочил в сени.

— Кто?

— Ой, Владька, открывай скорее!

Милка? Ей-то что здесь надо? Я сбросил крюк.

При свете коридорной лампочки Милка в сбившемся капоре казалась бледной и перепуганной.

— Беги к Павлику! Он зовет. Да скорее, а то уедет! Да оденься ты, дурак! Скорей, тебе говорят!

Конечно, ничего-ничего я не понял. Одно только понял: бежать надо изо всех сил. Иначе Павлика не увижу совсем. Никогда.

«Куда, зачем он хочет уехать? Почему он днем ничего не сказал? Может быть, Милка врет?»

— Может, ты все перепутала, Милка?

— Да скорей ты, тюлень!

Ничего она не врет. Она пришла, а он сидит на чемодане и не хочет на вокзал ехать, пока на старую квартиру не сбегает с Владькой попрощаться! А их уже грузовик ждет. Сплошной крик и слезы.

Что? Почему так сразу? Ну откуда она знает? И ничего не сразу. Просто Анна Васильевна Пашке не говорила, потому что злая на него была. Он все время с ней ругался в последние дни.

Куда едут? Кажется, в Новосибирск. Там брат Пашкиного отца живет, раненый, после фронта. Вещи? Какие у них вещи? Подумаешь, мебель! Оставили. Может, потом заберут...

— Воротник застегни! А шапка?

— Наплевать!

Шапка! Не все ли равно...

Я мчался по синим сумеречным улицам и видел, как туманный месяц, похожий на горстку серебряной пыли, летит впереди меня среди голых черных веток. И слышал, как стучат по доскам подошвы. Слышал как бы со стороны: словно кто-то другой в новых, негнущихся ботинках бежит по пустым тротуарам. Что-то шумно трепетало и хлопало рядом с головой. Я не сразу понял, что это рвутся от встречного ветра крылья бумажной буденновки. Потом я ударил плечом отсыревшую калитку, и она тяжело отошла.

Над крыльцом горела очень яркая лампочка, но дом был темным и глухим. В запертых ставнях не светилась ни единая щель.

Ни на что не надеясь, я поднялся на крыльцо (тэк-тэк — ударили по ступенькам подошвы). Постучал. Стук угас в пустоте покинутого дома. Я вскрикнул, повернулся спиной и ударил в дверь каблуком. От сотрясения замигала надо мной лампочка. Она мигала долго и неуверенно, словно раздумывая: гореть или погаснуть? Потом решила все-таки нести службу до конца.

К нижней ступеньке крыльца подступала широкая лужа. Вода казалась черной и маслянистой. Через лужу была перекинута доска. А я и не заметил, как проскочил по ней сюда. Недалеко от доски застыл на гладкой воде крошечный двухмачтовый кораблик с размокшими парусами. Я узнал свою каравеллу, хотя мачты были другие — выше и аккуратнее.

Больше я не стучал. Спустился с крыльца и пошел по доске через лужу. Доска прогнулась, шлепнула по воде, и

кораблик обрадованно подпрыгнул на коротеньких волнах. Он торопливо закивал мне мачтами. А я прошел мимо со своим горем и обидой.

Я дошел почти до калитки, не думая о кораблике, но зрительная память цепко держала его: как он, бедняга, прыгает на гребешках и машет мачтами-лучинками... Пронзительная жалость к малютке-каравелле, брошенной капитанами, толчком остановила меня в полушаге от калитки. Я коротко вздохнул и бросился назад. Снова доска шлепнула по луже, и отражение лампочки разбросало по черной воде золотые зигзаги. Осторожно, чтобы не смять намокший фор-марсель, я притянул к себе кораблик за верхушку мачты...

Потом я нес его в ладонях, как озябшего котенка, и говорил смешные ласковые слова.

Хотелось плакать, но плакать было бесполезно. Поезд с Павликом не даст задний ход и не вернется на нашу станцию.

При этой мысли я вдруг понял одну простую вещь: любая сказка, любая игра, любые хорошие вечера обязательно кончаются. Помните, летним вечером зовут вас с крыльца, а вы просите: «Ну, еще пять минуток!» Но пять минуток проходят, как одна, и все равно пора домой, из-под звезд, из веселой страны игр — в скучные комнаты. И, засыпая, вы знаете, что такого вечера больше не будет никогда.

И вечера с Каравеллой тоже кончились. Хорошо, что хоть вспомнить о них можно без горечи. А если бы мы не успели? Если бы сегодня днем не встретились? Я даже остановился на секунду от запоздалого страха...

Дома я опустил к столу лампочку. Потом на стопке книг пристроил рядом с ней каравеллу — сушиться. Тень ее выросла и легла на белую оконную занавеску.

Это была стремительная тень корабля, который не собирался отдавать якорь. Он не убрал ни одного паруса, он был в пути.

И тут я подумал, что неправда, ничего не кончилось. Ни паруса, ни тайны, ни синие ветры. Все еще будет не раз. По-настоящему. А было только начало.

Тень каравеллы ожила и тихо качнулась. Это качнулась занавеска. За окном начинал вздыхать и тяжело раскачиваться влажный ветер. Приподнялся и грохнул на крыше оторванный железный лист. С шумом покатился с поленицы пустой фанерный ящик... Ветер обещал теплые, но бессолнечные дни, когда воздух становится плотным, как сырая вата. Но я вспомнил, что называется этот ветер юго-западным циклоном и приходит он с южных побережий, где таинственно мигают маяки и обросшие ракушками корабли ласково трутся бортами о скрипучее дерево причалов.

Мир опять стал синим и белым, зовущим...

Часть вторая**ПО КОЛЕНУ В ТРАВЕ****ЧЕРНЫЕ ЛОШАДИ**

Крепче всех сказок я любил «Сивку-Бурку». А в ней особенно мне нравились главные слова: «Сивка-Бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой!»

Когда несчастному Ивану грозили всякие беды, я заранее с тайной радостью шептал его врагам: «Ну, погодите, голубчики...» Знал я, что сейчас выйдет Иван в чистое поле, на высокий травянистый бугор, свистнет в четыре пальца, позовет верного коня:

Встань передо мной!..

Эти слова были как пароль. Как начало песни, как сигнал тревоги, который поднимает друзей.

Встань передо мной,
Как лист перед травой!

Потом я часто слышал от разных людей, будто им непонятно: почему «как лист перед травой»? Что это значит? Я удивлялся. Никогда мне это не казалось непонятным. Совершенно ясно представлял я ночное поле под черным небом с большими белыми звездами, яркую траву, словно подсвеченную изнутри. Она кончалась у выбитой копытами глинистой площадки. И там, у края, вдруг, как по тайному сигналу, пробивал глиняную корку и стремительно разворачивался из спирали высокий упругий лист. Тонкий и длинный, словно лезвие меча. Травы колыхались и шелковисто стелились под ночным ветром, а лист стоял строго и прямо (а из темноты, от горизонта, с нарастающим топотом летела еще невидимая лошадь).

Что тут было непонятного?

Нет, я все понимал. Наверно, потому, что очень любил траву. В середине зимы, когда стропила нашего флигеля потрескивали от снежного груза, мне снились речной обрыв, заросший коноплей и полынью, сиреневое небо и осколок месяца над крышами Заречной слободы. По крутой тропинке среди шекочущих стеблей и листьев я бежал к воде, прыгал с уступа на уступ. Темные метелки высоких растений пролетали у щек. В воздухе стоял запах мокрого речного песка и трав.

Посреди ночи я просыпался от жгучей тоски по лету, по шороху травы и теплому ветру, который пахнет влажными листьями тополей. За окнами, как озябшая кошка, скреблась поземка. Мне хотелось плакать, но это было бесполезно: зимние месяцы впереди казались бесконечными, как те десять лет, которые я прожил на свете.

Но однажды среди зимы я увидел свежую зелень.

В палисаднике рядом с нашим флигелем я устраивал себе снежный блиндаж. Деревянная лопата была в два раза выше меня. Черенок цеплялся за кусты, и сухой, сыпучий снег падал мне за воротник. За воротником он противно таял, и колючий шарф натирал шею.

Возиться с блиндажом не очень хотелось. Но еще меньше хотелось идти домой, потому что сразу засадят за уроки. Правда, сестра Татьяна сейчас жила не с нами: она вышла замуж за летчика и уехала в Ростов. Но мама следила за моей учебой так же придирчиво, как Танька...

Я вырезал в снежной толще квадратную яму, окружил ее бруствером и начал расчищать дно. И вот вместе со снеговыми крошками лопата вынесла к свету черные комочки смерзшейся земли.

Я так давно не видел обыкновенной черной земли! Опустился на колени и vareжками размел на дне кружок величиной с блюдце. Открылся пятачок чернозема с мертвыми бурыми стебельками и бутылочным осколком. Рядом с осколком лежал земляной комок. Я щелкнул по

нему. Комок отскочил. И на его месте, упруго разгибаясь, поднялся мне навстречу ярко-зеленый листик.

Крошечная зеленая стрелка!

Я ошеломленно смотрел на это чудо.

Открытие обрадовало меня и в то же время как-то придавило своей необычностью. Тоненький листик был таким беззащитным среди снежных нагромождений... Почти не думая, подышал я в варежку и накрыл ею листик. Потом, пятясь, выбрался из палисадника и побежал к маме.

Мама была не в духе. Она пыталась затолкать на место выпавший из нашей старой печки кирпич. Зловредный кирпич отчаянно сопротивлялся. Он ловко извернулся, упал на железный приступок и, назло маме, раскололся. Мама плюнула...

— Там, в палисаднике, травинка... — виновато сказал я, глядя на кирпичные половинки.

— Что? — откликнулась мама. — О чем ты?

Она старалась не перенести досаду с кирпича на меня, но это было трудно.

— Ты бы лучше об уроках вспомнил, — сказала мама. — Доучился до третьего класса, а таблицу умножения до сих пор не знаешь.

— Там совсем зеленая травинка, — подавленно повторил я. Было ясно, что мое открытие не имеет для мамы никакого значения.

Но она все-таки поняла. Спросила:

— Совсем зеленая?

— Да, — откликнулся я. — Как летом.

— Ну что ж... — вздохнула мама (и это был, видимо, вздох о лете). — Так бывает... Разве ты никогда не слышал, что зеленая травка зимует под снегом? Дождется тепла.

Да, я вспомнил. Я слышал, конечно. Только верилось в это не очень.

Но ведь теперь-то я видел сам!

— Напрасно ты разрыл травинку, — сказала мама. — Она застынет на воздухе.

— А под снегом не застынет? Он же ледяной!

— Не такой уж он холодный. Он пушистый и мягкий.

Я побежал в палисадник.

Снегу я не очень доверял. Теплая варежка казалась более надежной, но за нее могло влететь.

Я убрал варежку. Узкий листик стоял смело и упруго. Я набрал с веток самого легкого и пушистого снега и белым курганчиком засыпал травинку. Потом уложил слой снега потяжелее. Потом заровнял яму...

Воспоминание о смелом листике наполняло меня радостным возбуждением. Я схватил санки и сбежал в овраг. Там летал с кручи на кручу, пока не пришли плотные темно-синие сумерки.

Вечером мне попало. Слипались глаза, и я никак не мог решить задачу про ящики с фруктами. Мама назвала меня бестолковым лодырем, растяпой и мучителем. Она решила задачу сама, велела убираться спать и пообещала выдрать, хотя никогда этого не делала.

Я забрался в постель и стал реветь от обиды. Виноватым себя я не чувствовал. Трудно было понять, почему какая-то задачка важнее радости, важнее чудесной находки. Ведь травинка была крошечным осколком настоящего лета.

А задачка была про груши и абрикосы, которых я никогда не пробовал и видел только на картинках...

Поревев, я устроился поудобнее, улыбнулся укрытому снегом листику и шепотом спросил:

«Не холодно тебе?»

«Что ты!» — откликнулся он. Вытянулся в стрелку, разгорелся зеленым светом, и снег начал оседать и таять вокруг, а жухлые стебли на земле наполнились живым соком и заколыхались.

«Значит, это ты? — спросил я, радостно дыша. — Ты — «лист перед травой»?»

Он не ответил, только снег от него разбежался все дальше, а в ночи нарастал легкий стремительный топот.

И вот в темноте я не увидел, а скорее угадал большую черную лошадь. Она ласково дышала мне в лицо. Чуть в стороне осторожно переступали еще два черных коня.

Это был не сон. Я отлично понимал, что лежу в кровати под вытертым одеялом (а сверху еще мамина телогрейка), и кругом наша комната, и наши ходики стучат в темноте. Но в то же время я взбирался на оттаявшие перила крыльца, а с них на спину лошади. Я чувствовал ногами влажную короткую шерсть на лошадиных боках, а пальцы тонули и путались в тугих прядях шелковистой гривы.

Я тронул щекой теплую шею коня и шепотом попросил:

«Ну, пошли...»

Лошадь взяла с места плавно, почти не коснувшись земли. И быстро. По бокам, не отставая, шли еще две черные лошади. Заструился навстречу ночной летний ветер. Побежали светящиеся точки — то ли звезды, то ли огоньки, то ли отблески костров на копьях далекой конницы...

Лошади стали приходить каждую ночь. Их было три. Две всегда держались в стороне, а самая главная подходила вплотную, и я обнимал ее большую добрую голову. Потом прыгал с перил на спину.

Лошади уносили меня то в синий лес, полный шорохов, огоньков и полужнакомых сказок, то к самому краю неба, где громадный месяц задевал нижним рогом большие ромашки. Иногда мы влетали в самую гущу битвы, где бесшумно и яростно рубились наши и вражеские всадники. Среди мелькания копий, мечей и щитов я самозабвенно размахивал подхваченной на лету саблей и, сразив вражеского атамана, невредимым уносился из схватки.

Но это было не главное. Вот что было главным: темное поле, высокие звезды и теплый воздух, который легко струился по траве; беспокойные горизонты, где прокатывались не то бои, не то грозы; певучий и немного тревожный голос трубы вдаль. И надо скакать кому-то на вырчку. Ничуть не страшно, только надо торопиться. И мы

летели сквозь ночь, а она охватывала со всех сторон и мчалась впереди. Звезды исчезали. Казалось, мы несемся внутри громадного черного конуса, а этот конус, будто великанское копьё, нацелен на одинокий огонек впереди. Под копытами дробно гремела мощеная дорога, и от булыжников сыпались искры...

Это ощущение тревожного полета я помню удивительно прочно. И так же помню нарастающую радость, когда от гремящего топота разлетались все опасности и тревоги, а огонек впереди превращался в яркую рассветную щель.

Я не знаю, тогда или после сложились такие строчки:

В край, где солнечные ветры разгоняют зимы,
Уноси меня, мой верный, уноси, родимый...

Через полтора десятка лет в целинной палатке под осенним звездным небом Хакасии я рассказал о Черных Лошадях одному человеку. Я считал его товарищем. Он любил быть откровенным. Он сказал:

— Знаешь... Я понимаю. Ты, конечно, был маленьким. Но вообще-то это все равно бегство от действительности. Я назвал его чурбаном и замолчал.

Детство не делит действительность на жизнь и сказки. В детстве все — настоящее. И сказки — тоже настоящее, если они помогают жить. Если в них веришь.

Я крепко поверил в Черных Лошадей.

Лет пятнадцати в первой тетрадке с неумелыми стихами я писал, прощаясь с детством:

...А по ночам у косога плетня
Черные Лошади ждали меня.
Добрые,
Смелые,
Быстрые,
Рослые,
Черные — чтоб не увидели взрослые.

Косога плетня на самом деле не было. Я про него сочинил для пушей поэтической красоты и рифмы. А был шаткий палисадник, примыкающий к забору из досок от

товарного вагона. Одну доску я оторвал и таким образом познакомился с Майкой, которая жила в соседнем дворе. Но это было потом. А пока я ждал по вечерам лошадей.

Я так поверил в них, что и вправду стал думать, что, может быть, они приходят по ночам. Стоят у заледенелого крыльца и терпеливо ждут, медленно переступая копытами.

Когда наступала тишина и мама, укладываясь спать, выключала свет, я сползал с кровати. Совал ноги в теплые мамины валенки, натягивал ее телогрейку и пробирался к выходу.

— Ну, что тебя на холод толкает? — сердито удивлялась вслед мама. — На кухне ведро есть...

Я отвечал торопливо и неразборчиво. Выскакивал в сени, откидывал обжигающий пальцы крючок и шагал на крыльцо. Холод режущим ударом бил по коленкам — между телогрейкой и валенками. Обдувал голову. Но это лишь на миг. А потом становилось теплее.

Над крышами висела озябшая ночь. Звезды блестящими гвоздиками торчали в стилом небе. И была особая тишина: каждый звук отпечатывался на ней четко, будто новая калоша на свежем снегу. Далеко, за несколько кварталов, тявкали псы. Временами паровоз вздыхал на станции. Потом издали выплывали и нарастали, поскрипывая, неторопливые мягкие шаги. Кто там? Наверно, сосед Виталий Павлович возвращается из депо, отработал смену... А может быть, это лошади?

Я разжимал кулак и оставлял на перилах хлебную корочку. Маленькую, с мизинец. Я берег ее с ужина, с той минуты, когда доедал последний ломтик из нашего довольно скудного дневного рациона. Оставить гостинец побольше я не мог. Хотя уже и не было войны, а жилось еще трудно и до отмены хлебных карточек оставался почти год.

Теплая корочка лежала на перилах, а я шел в комнату и забирался под одеяло. За окнами опять звучали мягкие шаги...

Утром, уходя в школу, я старательно осматривал перила и снег у крыльца. На обледенелом затоптанном снегу трудно было разобрать следы. Но хлеба не было. Значит, они приходили!

До школы меня провожал полубеспорядочный пес по имени Моряк. Он умильно махал хвостом. С некоторых пор Моряк стал проявлять ко мне особо дружеские чувства. Иногда я подозрительно измерял его взглядом. Но Моряк был низкорослый и коротколапый, а перила такие высокие...

Потом лошади стали приходиться реже. С зюйд-веста по ночам накатывали сырые ветры. Они сбрасывали с тополиных веток снежные пласты и торжественно гудели в проводах. Это были первые налеты весны. А затем наступили синие от безоблачности дни, просохли тротуары, и на рыжей проталине у забора я нашел не одну, а несколько свежих травинков.

Про лошадей я почти забыл: радостное ожидание лета целиком заполняло меня. Но лошади напомнили о себе. Еще раз я увидел их — не ночью, а днем.

Был вечер в конце марта, и солнце висело над крышами в тонком облаке, похожем на золотистую пыль. Девчонки расчертили на упругих досках тротуара «классы» и прыгали, шлепая калошами. Чуть в стороне звякали пятками о кирпичную стенку мой одноклассник Левка Аронов и второгодник по прозвищу Быпа. Они играли в обстенок. На втором этаже из форточки временами появлялась завитая голова соседки Таисии Тимофеевны. Таисия Тимофеевна огорчалась испорченностью нынешних детей и пыталась перевоспитать Левку и Быпу. Они, однако, не перевоспитывались и звякали.

Я стоял у калитки и размышлял, к кому присоединиться. Прыгать с девчонками было веселее, но я опасался, что Левка станет меня презирать. Он и так уже отзывался обо мне насмешливо, узнав, что я боюсь Тольку Засыпина. А играть в обстенок не было особого смысла: в кармане ле-

жал всего один пятак, и я знал, что Быпа со своей широкой пятерней в момент меня обставит. К тому же Таисия Тимофеевна могла донести маме, что я играю на деньги.

Вдруг сквозь шлепанье девчоночьих калош я услышал медленный и неровный топот многих шагов.

Из-за поворота, с Первомайской улицы, выходили лошади.

Девчонки перестали прыгать. Левка и Быпа сунули в карманы пятаки. Я оттолкнулся плечом от калитки и вышел на край тротуара.

Конечно, лошадей в нашем городе хватало. Они возили сани с дровами, хлебные повозки, телеги со щебнем для ремонта дорог. За отцом Вовчика Сазанова, известным хирургом, который жил в нашем квартале, часто приезжала пролетка, запряженная гнедым жеребцом. В общем, лошади были не в диковинку.

Но так много сразу (и без упряжи!) мы не видели никогда.

Их было больше десятка. Разные они были. Понуро шагали брюхастые савраски, лениво давил копытами грязь мохнатый битюг, неторопливо ступали изящные кавалерийские кони. Впереди табуна ехал на гнедой лошадке мальчишка. Ну, большой, конечно, старше нас. Но все равно мальчишка. В кепке козырьком назад и драной телогрейке. Он смотрел перед собой гордо, как маршал.

Чавкая копытами, лошади проходили мимо нас. И незаметно для себя мы пошли рядом с ними по краешку тротуара. Не знаю, что думали другие, а меня беспокоила смутная тревога и непонятная жалость к лошадям.

— Куда их? — спросил я у ребят.

— На колбасу, — ответил деловито Левка. — Колбаса из них ничего, только зазря такую соленую делают.

Левкина мать работала на мясокомбинате, в цехе ливерных пирожков, и Левка разбирался в колбасных вопросах.

Я подавленно молчал. Машинально двигался за ло-

шадьми, которые шли на казнь. И не знаю, сколько прошло времени. Видимо, всего несколько секунд, потому что вдруг сзади, с высоты, я услышал ясный и крепкий голос:

— У тебя, мальчик, наверно, в голове колбаса.

Замыкая табун, ехал у обочины всадник на высоком вороном жеребце. В брезентовой куртке и кожаной фуражке. Он показался мне похожим на Багратиона, которого я видел на картинке в журнале «Огонек». Всадник со спокойным сожалением смотрел на Левку.

— Это колхозные лошади, — отчетливо сказал всадник. — Колхозу не колбаса нужна, а лошадиные силы. Они работать будут.

— Ну и силы! — нахально вмешался Быпа. — Одни шкелетины.

— Ничего, поправим, — откликнулся всадник. Негромко так, будто себе говорил, а не Быпе и Левке. Потом опять глянул на Левку. — Вам бы в таких передрыгах побывать, как они... Тоже не потолстели бы. А среди этих коней половина на фронте была. Да и потом они не сладко пили-ели.

Упитанный Левка понял намек и обиженно отстал. И Быпа с ним. А я шел.

Черный конь легко ступал у тротуара и косил на меня темным глазом. Это был большой добрый глаз. В нем словно плавала золотая искорка. И еще в нем отражалась улица и я сам — крошечный, еле заметный. Мне казалось, что конь чуть улыбается.

— Ну, что домой не бежишь? — вдруг услышал я голос всадника.

— Не хочу, — сказал я и посмотрел вверх.

Мне понравилось лицо этого человека: твердое, серьезное, но не сердитое. И очень неожиданной была его улыбка — быстрая и ласковая.

— Не хочешь... — сказал он. — А прокатиться хочешь?

Прокатиться? Я обалдело выдохнул «ага» и даже не успел испугаться. Он легко прыгнул из седла и крепкими руками взметнул меня на спину лошади.

Я оказался на какой-то твердой штуке впереди седла. Сидеть было совсем не так удобно, как я думал. Жестко и страшновато. Но большие ладони прочно держали меня за бока.

— Не боишься?

— Не боюсь, — неуверенно сказал я.

Конь тронул с места, и улица качнулась навстречу. Я смотрел на знакомые дома и заборы с непривычной высоты, и все казалось немножко странным. Да еще закат окрашивал все вокруг в непривычный золотистый свет. Будто во сне. Черный конь (настоящий черный конь!) шел неторопливым шагом, временами дружелюбно косился на меня и покачивал головой.

— Как его зовут? — спросил я.

— Олень.

Это было чудесное имя. Такое стремительное и красивое. И я несколько раз повторил: «Олень... Олень... Олень...» И конь слышал меня.

Не знаю, долго ли мы ехали. Не помню. Я уже совсем не боялся, и сидеть мне стало хорошо. Я поверил в надежность державших меня ладоней. В доброту и верность Оленя.

— А ты не заблудишься? — услышал я. И очнулся.

— Не заблужусь.

Но мы были уже далеко от дома. У реки, перед мостом.

— Беги домой, — сказал всадник. — А то еще потеряешься.

Он ссадил меня на дорогу, и пришлось примириться с этим. Ведь чудо не может продолжаться вечно! Я посмотрел, как человек в кожаной фуражке садится в седло, провёл рукой по гладкому боку Оленя и повернулся, чтобы идти домой. Хуже бывает, если долго прощаешься.

И тут услышал:

— Подожди, сынок.

Эти два слова толчком остановили меня. Он сказал не «мальчик», не «пацан», а «сынок». С давних пор никто из мужчин не называл меня так. И я не думал, что назовут когда-нибудь, потому что отец в апреле сорок пятого погиб от случайной пули в немецком городке.

Я медленно обернулся.

— Подожди, — сказал всадник.

Из кармана брезентовой тужурки он достал непонятную вещицу и протянул мне:

— Возьми. На счастье.

Я подошел. В руке у всадника была крошечная подковка. Ну совсем маленькая, даже для жеребенка не подошла бы. Я принял ее в ладонь. Она оказалась тяжелой и теплой.

Надо было бы хоть спасибо сказать. А я молча смотрел то на подковку, то на Оленя, то на всадника. Но, наверно, я все же по-хорошему как-то смотрел. Потому что всадник улыбнулся хорошей своей улыбкой. Потом тронул каблуками вороного Оленя и рысью стал догонять уходивший табун.

Во мне стремительно выросло воспоминание о зеленом узком листике, пробивающем снег, и о лошадях, мчащихся сквозь ночь.

Я опять возвращаюсь к тетрадке своих полудетских стихов. Просто мне кажется, что в те дни я говорил о детстве лучше, чем сейчас:

Это память о зимнем садике,
О травинке среди зимы...

Жили-были на свете всадники —
Жили-были на свете мы!
Вся земля гудела под нами,
Были ночи, как копыта, отточены.
Били кони копытом в камень —
Искры сыпались по обочинам.

Это был не сон, не бессонница.
Трубы звали за горизонт.
Мы не просто играли в конницу —
Мы, как конница,
Брали разгон...

Итак, табун ушел. Я помахал всаднику и Оленю рукой, в которой держал подковку.

И мне кажется теперь, что очень скоро, чуть ли не на следующий день, пришел теплый зеленый май и вымахали вдоль заборов густые высокие травы.

АМЕРИКАНСКИЙ ТОВАР

В одно из солнечных майских воскресений сорок седьмого года я совершил базарную кражу. Сейчас решаю признаться в этом. Надеюсь, что читатели и закон простят меня. Во-первых, прошло уже много лет. Во-вторых, на этот ужасный шаг меня толкнула любовь.

Вот что случилось.

...В давние годы покоритель Сибири Ермак Тимофеевич поставил деревянную крепость. Чтобы она была неприступной, казаки окружили бревенчатые стены глубоким рвом. Ров заполнили водой. В воде отражались островерхие башни, сигнальные огни и копыта казачьей стражи.

Но на крепость никто не напал, и она постепенно развалилась. Вода ушла в реку. Только ров остался. Он был соединен с большим оврагом, по которому журчала речушка. Речушка эта пробилась в ров и проточила новое русло. Потом уже никто не мог сказать точно, где настоящий овраг, а где крепостные углубления, выкопанные казаками. Все вместе это называлось «лог».

А еще была река. Над ней хмурились обрывы.

Над обрывами, над заросшими полынью и коноплей откосами, склонами и косогорами раскинулся наш городок. С колокольнями, деревянными тротуарами, гранит-

ными мостовыми на центральных улицах и афишными тумбами, стоявшими чуть ли не по пояс в траве. На тумбах пестрели объявления о продаже мебели, о пропаже козы, рекламы фильмов, афиши о концертах в городском саду и открытии цирка, в которое уже никто не верил.

Мы, мальчишки, любили наш город. Даже те, кто родился не здесь, а приехал во время войны, эвакуировался из прифронтовой зоны. Он был удобным для ребячьей жизни. В запущенных скверах и старых переулках отлично игралось в разведчики. Невысокие крыши верно служили площадками для запуска змеев. Деревянные тротуары помогали бегать: гибкие доски пружинисто подталкивали нас. А лог с заросшими тропинками и закоулками был полон разных тайн и запахов трав. Особенно сильно пахло полынью. Я растирал ее семена в ладонях и прижимал руки к лицу. Губы становились горькими, и запах сухой земли и солнца долго не исчезал. Мне казалось, что так пахнут саванны неведомой Африки. Я не знал тогда еще, что это запах детства и родины...

Но иногда нам хотелось, чтобы город был большим. Чтобы блестили рядами окон многоэтажные домищи, звенели трамваи, сияли по вечерам разноцветные огни. Чтобы в цирке каждый день шли представления, а по улицам проносились тысячи легковых машин.

И поэтому все заволновались, когда прошел слух, что главную улицу собираются покрывать асфальтом. Асфальт казался признаком настоящей городской культуры.

Во дворах торопливо застучали молотки: мальчишки сколачивали самокаты. Вы представляете, какие возможности открывали перед самокатчиками асфальтовые тротуары!

Я тоже взялся за дело. У меня был один кольцевой шарикоподшипник — он годился для переднего колеса. А для заднего я надеялся раздобыть позднее. Еще нужен был строительный материал.

Ранним утром, вздрагивая от прикосновения росистой

травы, я босиком, в трусиках и безрукавке, пробрался к забору и стал расшатывать доску. Нижний край оторвался быстро, но верхний держался на крепчайшем гвозде. Я разозлился. К тому же во дворе могла появиться Таисия Тимофеевна — тогда не миновать скандала. Я вцепился в доску и начал раскачиваться, как на громадном маятнике, обдирая о забор пальцы и засаживая в колени занозу за занозой.

Доска не отрывалась, и я усилил злость и размах. И тут мелькнуло в широкой щели сердитое девчоночье лицо. Девчонка что-то крикнула.

Я прервал полет. Встал перед щелью, придерживая плечом отодвинутую доску. Девчонка смотрела очень недружелюбно, и я на всякий случай сообщил ей, что она дура. Тут же я был поставлен в известность, что сам дурак, хулиган и жулик. На «жулика» я обиделся.

— Я у тебя что украл?

— А доску зачем отрываешь?

— А она твоя?

— Это наш забор.

— А фигу не хочешь? Ваш! Он наш двор отгораживает!

— А наш, что ли, не отгораживает?

— А доски с нашей стороны прибиты! Значит, наш!

— Я дедушке скажу, — пообещала она.

— Хоть начальнику милиции.

— Вот он тебя поймает, тогда запляшешь.

— Я твоего дедушку одним мизинцем на трубу закину!

Мы оба посмотрели на верхушку высоченной трубы, которая дымила над пекарней.

— Хулиган! — снова сказала девчонка.

Я, не нагибаясь, нащупал стебель прошлогоднего бурьяна, вырвал его с корнем и, как снаряд, пустил в противника. Девчонка присела и подняла с земли ржавую консервную банку. Я отодвинул плечо. Доска опустилась и закрыла щель, разделив мир на две враждующие половины.

Я ушел на крыльцо, сел, зубами вытащил из колена самую крупную занозу и задумался.

Ее звали Майка — это я знал. Она приехала недавно, и раньше я видел ее только издали. А сейчас разглядел как следует.

Эх, ну зачем я поругался!

Оттого что она сердилась, волосы у нее слетали на лицо и глаза блестели, словно за живой золотистой сеткой. И вся она, Майка, была легкая, тонкая, как та маленькая балерина, про которую я читал в сказке «Стойкий оловянный солдатик».

Странная грусть и нежность овладели мною. И было ясно, что это — любовь.

Ну что ж! Любовь так любовь. Я знал, что за нее надо воевать. Надо быть стойким, как солдатик. Я сдвинул брови, встал и даже поджал одну ногу, чтобы больше походить на оловянного героя. Чипа — драный петух Таисии Тимофеевны — подошел и с интересом уставился на меня одним глазом. Я метко плюнул ему в спину. И начал действовать.

Во-первых, я все-таки оторвал доску. Во-вторых, тут же распидил ее за сараем тупой ножовкой. Из коротких досок я сколочу вполне приличный самокат. Может быть, не очень красивый, но прочный. Я даже придумал ему имя — «Олень». Как у того черного коня.

На нем, на «Олене», я буду как смерч пронеситься мимо Майкиных ворот. По единственной доске развалившегося тротуара — длинной и гибкой. Под железный рев подшипников и крики изумленных пешеходов. А Майка, упрямая и капризная, с тайным восхищением станет следить за мной сквозь дырку в заборе, которая осталась от выпавшего сучка.

А потом... Потом переднее колесо «Оленя» сорвется с дороги, и я грохнусь с размаху на твердую землю и, наверно, потеряю сознание. И Майка, позабыв про свою вредность, выскочит на улицу, начнет трясти меня за плечи,

вытирать кровь с моего лба, и ее волосы будут щекотать мне лицо. Я медленно открою глаза...

— Ты несносный человек, — услышал я мамин голос. — Ну-ка, марш домой! Вместо того чтобы умыться, одеться, сразу хватаешься за какие-то доски. Пошевеливайся. Пойдем сейчас покупать тебе штаны.

Вот вам мечты и действительность!

Впрочем, штаны были необходимы.

Надо сказать, что мой гардероб не блистал богатством. Был у меня один костюм: байковая лыжная курточка и такие же шаровары. Когда-то костюм был коричневым, но потом облинял и приобрел жидко-табачный цвет. Курточка была еще так себе, а штаны совсем обветшали. На заду и коленях они вытерлись до такой степени, что материя стала похожа на редкую мешковину. Резинки у щиколоток давно лопнули, и получилась какая-то бахрама. Зимой с валенками или весной с мамиными сапогами эти штаны еще можно было кое-как носить. Но когда я надевал их с сандалиями или ботинками, мама вздыхала и говорила:

— Жуткое зрелище.

И вот мы пошли покупать новые штаны. На толкучку.

Я и раньше бывал с мамой на толкучке. Но тогда мы ничего не покупали, а старались продать мамино шерстяное платье или старые папины ботинки.

А сейчас мы были покупателями!

Мы вошли в ворота и сразу окунулись в суету и шум. Толпа оттеснила нас к забору, где приткнулась фотография под открытым небом. Она мне очень нравилась. Здесь можно было сняться в настоящей морской форме, или верхом на деревянной лошади, или у тумбочки с надписью «Привет от друга». Но лучше всего был всадник, нарисованный на громадном полотне. Он скакал по степи, над которой вспыхивали белые мячики взрывов, и размахивал саблей. Вместо головы у всадника было круглое отверстие. Каждый, кто хотел, мог просунуть в отверстие го-

лову и потом получить фотокарточку, будто он лихой кавалерист.

Я давно уже намекал маме, что не прочь иметь такой снимок. Раньше мама терпеливо объясняла, что кавалерист большой, а я маленький и получится смешно. А сейчас с досадой сказала:

— И так денег нет, а ты с глупостями пристаешь...

Она взяла меня за руку и увлекла в круговорот.

Люди толкались, кричали, спорили. Толстая женщина с обиженным лицом продавала фотопластинки в довоенной упаковке и сиреневую стеклянную вазу. Вертлявый дядька голосил: «Кому будильник?» — и шепотом предлагал кремни для зажигалок.

Слепой парень держал на вытянутых руках полосатую шелковую тенниску с обвисшим подолом и с безнадежной бодростью кричал:

— Эй! Здесь рубаху дешево продают! Налетайте!

Никто не «налетал», и парень, повернувшись в другую сторону, кричал те же слова.

Мне стало жаль его. Если бы у меня было много денег, я купил бы эту рубашку, хотя она мне совсем не нравилась. Но денег было мало. К тому же они лежали в сумочке у мамы. И прежде всего надо было думать о штанах.

Но оказалось, что найти их непросто. Продавали полосатые костюмные брюки, зеленые и синие галифе и даже настоящие матросские брюки клеш. Но для меня ничего не было. Лыжные штаны с объемистыми задними карманами мама забраковала, а парусиновые штанишки с лялочками крест-накрест я сам с презрением отверг. Мама сказала, что я чудовище, и пошла покупать ножи для мясорубки.

Небритые торговцы железной мелочью располагались у самого забора. Они сидели на рогожах, на старых одеялах и ковриках и почти не смотрели на покупателей. Или делали вид, что не смотрят. А покупатели вертели в руках, щупали и громко обсуждали их товар. Здесь продавались

очень нужные и очень интересные вещи: радиолампы, паяльники, плоскогубцы, разные замки, дверные ручки, мышеловки и рыболовные крючки.

И ножи для мясорубок, наверно, тоже продавались. Мама пошла их искать, а я поплелся следом. Именно поплелся. Но не потому, что устал, а потому, что нравилось разглядывать разложенную для продажи мелочь. Я замедлял шаги. Потом остановился совсем. Замер!

Потому что на серой кошме среди мотков проволоки, электропробок и непонятных железяк лежал подшипник.

Два блестящих кольца с шариками между ними. Подшипник для заднего колеса «Оленя»!

Горбоносый продавец в войлочном колпаке немислимой формы отрешенно смотрел сквозь толпу. Мой первый робкий вопрос он, видимо, не слышал. Я поднял с кошмы подшипник, проглотил слюну и опять, погромче, спросил:

— Вот это... сколько он стоит?

Не двинувшись, торговец сказал:

— Двадцать пять рублей.

Я обомлел.

Конечно, двадцать пять рублей в те годы были не те, что сейчас. Большая порция мороженого стоила, например, десятку. Но все равно. Таких оглушительных сумм у меня сроду не бывало.

Среди мальчишек подшипники имели другую цену: от рубля до трех. Но беда в том, что никто сейчас не продавал. Все строили самокаты.

Я уныло переступал с ноги на ногу. Может, этот дядька в колпаке просто так сказал, чтобы я отвязался? Или мы, ребята, ничего не понимаем в таких вещах?

От растерянности я забыл положить подшипник, и он все еще оттягивал мне ладонь. Его хозяин по-прежнему равнодушно смотрел перед собой и про меня, видимо, уже не помнил.

Суетливый парень отодвинул меня локтем и стал ко-

паться в электропробках. Потом чьи-то широченные галифе совсем заслонили меня от торговца.

И отчаянная мысль толкнулась во мне.

Я еще внутренне вздрагивал и колебался, а ноги сделали шаг назад. Потом второй. И не было слышно криков и шума погони. Я сделал еще два шага.

Сердце не колотилось, не бухало, а стреляло очередями, как крупнокалиберный зенитный пулемет. Спина стала мокрой. Я боком пробирался в толпе, ускользя от места преступления.

Должен признаться, что совесть лишь мельком кольнула меня. Я загнал ее в угол мыслью, что дядька в драном колпаке все равно спекулянт и жулик. Зато страх никуда загнать не удавалось. Я был готов к тому, что вот сейчас крепкая милицейская рука ухватит меня за воротник и прямо по воздуху перенесет в заплесневелую тюремную камеру. Мне даже казалось, что я ощущаю ржавый запах оконной решетки.

Несколько раз я уже совсем хотел незаметно выбросить опасную добычу. Но, кроме видения тюремной камеры, передо мной стояло еще одно: сердитая девчонка с золотистой сеткой волос перед глазами. Смутное сознание, что поступок мой не столько кража, сколько подвиг во имя любви, поддержало меня. И я опустил подшипник в карман. Штаны начали сползать, и пришлось их придерживать.

Я догнал маму. Она не купила ножей для мясорубки и была окончательно раздосадована.

— Где тебя носит? Всегда фокусничаешь! Что это у тебя карман отвис?

Она извлекла подшипник, и я почувствовал, что становлюсь пунцовым.

— Нашел, — хрипло сказал я.

— Обязательно надо всякий хлам подбирать! Убери с глаз.

Я в душе порадовался маминому невежеству в технике и медленно отдышался.

— Ума не приложу, во что тебя одевать, — сказала мама. — Пошли поищем снова.

Я был готов на все, даже на те парусиновые штанишки, лишь бы покинуть опасный участок.

И наконец нам повезло!

Худая решительная женщина предложила нам брюки изумительной красоты.

Это был полукомбинезон из вельвета (его тогда почему-то называли «бархат»). Черные штанины, малиновая грудь, такие же отвороты внизу и широкие ляжки со сверкающими пряжками. Я от восхищения даже забыл про подшипник. Представил, как появлюсь перед Майкой в столь мужественном виде, и горячая волна восторга накрыла меня с головой.

Но тетка назвала такую цену, что маму пошатнуло.

Она даже сказала:

— Совесть-то у вас есть?

Женщина ответила, что совесть есть, но денег за нее не дают, а жить надо. К тому же товар заграничный, американский.

Наверно, эти брюки попали к нам в одной из посылок — тех самых, которые вместе с яичным порошком и тушенкой Америка посылала нам во время войны.

Мне очень хотелось получить заграничные штаны. Я готов был обещать маме полное послушание на вечные времена и сплошные пятерки в табеле. Но мама и женщина торговались, и нельзя было вмешиваться, чтобы не сорвать дело.

Наконец чудо свершилось. Сверток с брюками перешел ко мне, и солнце засияло в два раза ярче.

Жизнь состоит из постоянной смены радостей и огорчений.

Дома, когда я надел обновку, мама ахнула, опустилась на стул и вдруг начала смеяться. Все громче и веселее.

— Санкюлот, — говорила она. — Гаврош! Кошмар, честное слово!

Что такое «санкюлот», я не знал, а в слове «Гаврош» не видел ничего смешного. И при чем здесь кошмар?

Я обиженно повернулся к зеркалу. Ну и что? Надо сказать, что брюки пришлись впору, сидели как влитые. Правда, были они длинноваты, на ногах собирались в гармошку, да и ширина внизу была, пожалуй, чрезмерная. Малиновые манжеты подметали пол. Но это даже придавало особый шик!

Мама, однако, думала не так. Она уже перестала смеяться.

— Да, без переделки здесь не обойтись...

(Этого еще не хватало! Какая переделка?)

Мама смотрела прицеливающимся взглядом.

— И вообще... Зачем тебе к лету длинные штаны? Я тебе две пары сделаю.

Я взвыл.

Но мама уже приняла решение. Она заявила, что плату за брюки отдала двойную и, значит, иметь двое штанов за эти деньги правильно и справедливо.

В комнате лязгали ножницы и стучала машинка. Она мне казалась пулеметом, открывшим огонь из предательской засады.

Через час мама позвала меня на примерку. Я сердито подчинился и не стал смотреть на себя в зеркало. Но потом украдкой посмотрел.

Ну, если говорить честно, то вид был не хуже, чем раньше. Даже аккуратнее как-то. Однако я не признался в этом даже себе.

— Все прекрасно. Нечего дуться, — сказала мама.

Но я продолжал дуться до вечера.

А вечером перестал.

Во-первых, потерянного не вернешь. Во-вторых, пора было приниматься за самокат, а в плохом настроении братья за работу нельзя. В-третьих, если разобраться, то длин-

ные штаны летом и вправду были ни к чему. Кроме так называемой «солидности», в них не было ничего хорошего. Жарко в них и неловко. По лужам не поскачешь, футбольный мяч гонять неудобно. Через забор полезешь — зацепятся. К тому же я очень любил бродить по густой прохладной траве, когда высокие листья и стебли мягко щекочут колени и кажется, будто идешь в струящейся ласковой воде.

ВРАГ

Ночью мне приснилось, будто я в длинных, еще не обрзанных штанах еду на самокате мимо Майкиной калитки. Майка выходит на тротуар, удивленно смотрит на меня и начинает хохотать. Она так обидно хохочет, показывая на меня пальцем и встряхивая волосами!

«Отойди, сшибу!» — ору я.

Майка отскакивает и ехидно кричит вслед:

«Жулик! На краденом подшиппнике едет!»

Ой, мама! Я от внезапного страха чуть не лечу кубарем. Оглядываюсь. Горбоносый дядька в колпаке большими шагами настигает меня. Он дует в милицейский свисток и лязгает громадными ножницами. Я понимаю, что он хочет отстричь мне голову. Пытаюсь набрать скорость, а ноги путаются в штанах и примагничиваются к тротуару. А ножницы: ж-жик, ж-жик!..

И так несколько раз в эту ночь. Правда, голову он мне не отстриг: я успевал проснуться.

Поднялся я рано. Лучше уж совсем не спать, чем видеть во сне такие страхи. А мама решила, что мне просто не терпится отправиться в обновке в школу.

Напрасно она так думала. Наоборот, я опасался, что американские штаны, да еще в урезанном виде, вызовут в классе обидное веселье. Но главная забота у меня была другая: надежнее спрятать проклятый подшиппник. Пусть лежит подальше от всех глаз, пока не поставлю на

самокат. Мне казалось, что, как только я его приделаю к «Оленю», он перестанет считаться краденым. Ведь он будет частью самоката, а самокат-то мой...

В школу я пошел дальней дорогой — через сквер у цирка. Утро было теплое и ясное-ясное. Такая синева стояла над городом, что даже оконные стекла сделались голубыми, как осколки моря.

Листки на тополях были пока маленькими и блестящими, а трава в сквере стояла уже высокая. На солнце она обсохла от росы, а в тени еще сверкали капельки. Я сперва прошелся по теневой траве, и холодные мурашки разбежались по всему телу. А ботинки стали блестящими, будто новыми. А потом я шагнул в солнце.

Оно сразу обняло меня за плечи, а мягкая трава шелестящим ветром смахнула с ног росу. От изгороди я повернул к середине сквера, пересек поляну, усыпанную золотыми веснушками одуванчиков, и нырнул в полосу кустарника. Это была желтая акация.

Зеленые стволы кустов разрастались по сторонам от корня, а в середине получался будто шалаш. Тенистый, прохладный, кружевной. Крошечные кусочки неба голубели в разрывах листьев, похожих на перья. Здесь пахло травяными соками и влажной землей. И можно было найти много местечек для тайника.

Я забрался в такой «шалаш» и на земле, среди корней, расчистил ямку. Потом из противогазной сумки (она была у меня вместо портфеля) вытащил подшиппник. А во что завернуть? Содрал с задачника газетную обертку.

Ямка была подходящая. Аккуратно засыпал я краденое сокровище землей, забросал тайник прошлогодними листьями. Прислушался. В сквере была шелестящая тишина, только чвиркала какая-то птица. Да сердце тукало...

Я выбрался из укрытия и поскакал в школу, поддавая коленками сумку.

В общем-то я зря опасался. Никто не обратил особого внимания на мои штаны. Только Вика Малеева засмея-

лась совсем необидно и сказала, что я как снегирь — вся грудь красная. Да Вовка Вершинин, воображала и хвастун, заметил на моем кармане иностранное клеймо и продекламировал:

Один американец
В ноздрю засунул палец
И думает, что он
Заводит патефон.

Подумаешь! Я знал про этого американца строчки похлеще. Мог бы ответить этому типу, если бы захотел. А тут еще за меня заступился Быпа.

— Чурбан, — сказал он Вершинину. — Чего пристал к человеку? Он ведь не сам себе шьет. Что мать достала, то и носит.

От такой неожиданной и серьезной поддержки у меня даже в носу зашипало. Но, конечно, я виду не подал. Назвал Вовку обезьяной и пошел на место, потому что уже тренькал звонок.

Сидел я рядом с Викой Малеевой. Мы никогда не мешали друг другу. Она хотя и девчонка, но не придиралась и не ябедничала, если я рисовал в учебниках или читал на арифметике книжку.

И в этот день она не мешала мне. А я мечтал. О самокате мечтал, о Майке. О том, как прокачу ее, может быть, на своем «Олене» по асфальту, когда его сделаю. Майка будет стоять впереди меня, и мы помчимся по длинному спуску на Пристанской улице, и ветер полетит навстречу, и Майкины волосы будут щекотать мне щеки...

Но мечты мечтами, а суровая действительность в лице Антонины Петровны угрожающе надвинулась на меня. Антонина Петровна пожелала узнать, почему я блаженно улыбаюсь, хлопаю глазами и не решаю заданные примеры. Уж не хочу ли я получить двойку и остаться на второй год? Или я забыл, что с арифметикой у меня дела не блестящи?

Я вздохнул, возвращаясь в унылый мир чернильных

клякс и примеров со скобками. До каникул оставалось меньше недели, и ни о каком втором годе теперь не могло быть речи, хоть завались двойками. Все это понимали. Но что поделаешь? Я полез в сумку за ненавистным задачником.

— Ух какой чистый! — шепотом удивилась Малеева. — Новый купили? Зачем сейчас новый?

— Обертку содрал, — объяснил я. И тут же с полной четкостью вспомнил подшипник, завернутый в газетную обложку от задачника. Старая газетная бумага с кляксами, нарисованным чернилами рыцарем и моей фамилией.

С фамилией... Ой-ей-ей! Какой же я дурак! Ведь там даже школа и класс написаны, а не только имя! И если кто-нибудь найдет подшипник и узнает, что он краденый, сразу мне конец.

Напрасно я успокаивал себя здравыми мыслями, что хозяин подшипника, скорее всего, и не заметил пропажи, а если и заметил, то, конечно, плюнул и забыл. Не пойдет же он в милицию заявлять о такой мелочи! И не будет же милиция обшаривать все кусты в городе. А если кто-то наткнется на тайник, ну и что? Откуда он узнает, что подшипник этот я не нашел, не выменял, а стащил?

Но, несмотря на такие разумные доводы, тревога грызла меня безжалостно. Я машинально списывал у Вики примеры и хотел только одного: чтобы скорее задребезжал звонок.

И вот он задребезжал.

Я первым выскочил из класса. Потом из школы. И, как выстреленный из рогатки, полетел к цирку.

Ну, стоило ли так психовать? Все оказалось в порядке. Вот он, круглый газетный сверточек с подшипником. Куда он денется? Я взял сверток в руки.

Странно... Почему он такой легкий?

Я сорвал газету. Вместо подшипника в ней была баночка из-под сапожного крема. Ничего не соображая, ногтями отколуннул я тугую крышку. Там лежал сверну-

тый вчетверо листок из блокнота. Я развернул. На листке была старательно нарисована фи́га.

...Я опоздал на урок чтения. За это Антонина Петровна поставила меня в угол у доски. Я стоял, украдкой разглядывая рисунок, и мне хотелось зареветь от злости, досады и ненависти. Но реветь было нельзя: все решат, что я ударился в слезы потому, что в угол поставили. Я скомкал бумажку, запихал ее в баночку из-под крема, а баночку в карман. Вернее, мимо кармана.

Жестянка со звоном покати́лась к учительскому столу. Крышка отскочила, и бумажный комок услужливо запрыгал к ногам Антонины Петровны.

— Очень интересно, — провозгласила Антонина Петровна, развернув рисунок. — Маме будет приятно узнать, какие ты рисуешь картинки.

Не хватало мне еще дополнительных несчастий!

— Это не я рисовал!

— А кто?

— Ну откуда я знаю! — сказал я с отчаянием.

Но я знал.

Блокнот с такими блестящими листиками, расчерченными в узкую линейку, был у Тольки Засыпина из четвертого «Б». Он его выменял у одного первоклассника за старинный пятак и увеличительное стекло, а потом всем хвастался, как облапошил малыша.

Значит, утром, пока я, хлопая глазами, любовался небом и травой, Толька выследил меня и узнал про тайник. Наверно, сперва он хотел просто догнать меня и сделать какую-нибудь пакость, а потом удивился: почему я иду не в школу, а к цирку, и стал наблюдать. И вот пожалуйста: ему — подшипник, а мне — сами знаете что.

На перемене я увидел Тольку. Он стоял, привалившись к стенке, и нахально крутил на пальце мой подшипник. Потом заметил меня, и на лице его появилась отвратительная ухмылка (ух как я его ненавидел!).

— Ворюга, — сказал я, отходя к дверям своего класса. — Все равно тебя когда-нибудь поймают, спекулянт!

Он опустил подшипник в карман, перестал ухмыляться и пошел ко мне. Я укрылся в классе. Сделал вид, будто ищу что-то в парте, чтобы не выгнали дежурные. И с досадой думал, что прибавилась еще одна забота: идти домой из школы так, чтобы не попасться Тольке на глаза.

Что я мог сделать? Я его боялся.

Он отравлял мне жизнь постоянным страхом и унижениями. Придумал дурацкую кличку Клямпа. Она не прилипла ко мне, потому что была непонятна для других ребят, но он все равно звал меня только так.

Сколько раз бывало, что из-за него я не мог играть со всеми мальчишками. Выйдешь на улицу, где собирается футбольная команда или компания для игры в войну, а Толька цедит сквозь зубы:

— Чего притащился, Клямпа? Мотай отсюда.

Я уходил небрежной походкой, будто мне и самому играть не хочется. Но никто этому не верил.

— Ну чего ты боишься? — удивлялся Славка Дыркаб. — Дай ему два раза, чтоб мозги из ушей полезли!

Я бормотал, что неохота связываться, но все знали, что это вранье.

— Дрожь в коленных чашечках, — пренебрежительно замечал высокий, изящный Марик Городецкий.

Хорошо ему было смеяться! Он-то, хоть и похож был на девчонку, никогда не страдал такой дрожью в коленях и мог отлупить сразу двух таких, как Толька. А уж одного — тем более. Но за меня не заступался: так не полагалось. По мальчишеским законам каждый должен был сам отстаивать свое право на уважение.

Иногда кто-нибудь из ребят говорил Тольке:

— Да ладно, пусть играет. Жалко тебе?

И если у Тольки было подходящее настроение, он с издевательской добротой соглашался:

— Ладно уж, Клямпочка. Я сегодня тебя пожалею.

Я делал вид, что не замечаю таких речей или принимаю их за шутку. Но даже когда Толька объявлял перемирие, покоя не было. Он мог придрататься к любому слову, к улыбке. И сразу грозил дракой.

Не знаю, почему он меня невзлюбил. Наверно, просто чувствовал, что может безнаказанно помыкать мной. Раньше этого не было. Когда он приехал в наш двор, мы вместе играли в войну, катались с ледяной горы, гоняли в сквере у цирка тряпичный мяч. Мы не дружили, но делить нам тоже было нечего. Но однажды мы поссорились, столкнувшись на самодельном трамплине, и я не стал ввязываться в драку, хотя он рвался. С того дня это и началось.

По вечерам, в постели, я мечтал о мести. Я представлял, как закалкой и упражнениями добьюсь удивительной силы. Мускулы у меня сделаются как у борца. Я каждый день буду лупить Тольку (нет, даже два раза в день!), и он на коленях станет просить прощения. Будет ползать и умолять, чтобы я не лупил его так часто.

Но дело было не в мускулах. Толька был, пожалуй, не сильнее меня. Он подавлял меня безудержным своим напором, полной уверенностью в победе. Несколько раз он все же навязывал мне открытую драку, и я ничего не мог сделать. Раза два успевал ткнуть перед собой кулаками, а потом, прижавшись к забору, закрывал лицо, а он молотил меня, пока его не оттаскивали.

— Не могу я человека по лицу бить, — объяснял я ребятам. — Ну, не могу, и все! А он этим пользуется!

И ребята, кажется, верили. Но я врал. С величайшим удовольствием я врезал бы кулаком по Толькиной физиономии, но меня удерживал страх. Я боялся, что, получив крепкий удар, Толька совсем осатанеет и превратит меня в котлету.

Два года назад меня так же изводил Ноздря. Но он был старше на пять лет, и я не стыдился, что боюсь его. А сейчас... Лучше и не говорить.

Смешно было думать, что Засыпин отдаст подшипник. Я и не собирался просить. Наоборот, старался не встречаться с Толькой. К самокату я охладел. Искать новое колесо было слишком хлопотно. В общем, я остался с той самой фигой, которую нарисовал Толька. Недаром говорят, что краденое добро не приносит удачи.

Я вспомнил эти слова, вычитанные в какой-то книжке, и вздохнул даже с облегчением. Потом закинул за сарай приготовленные для самоката доски.

Дыра в заборе была забита новой желтой доской. С той стороны. И Майку я больше не видел.

Новая встреча случилась только через неделю, когда были уже каникулы.

Я гонял по тротуару колесо.

Сейчас уже не встретишь такую игру. Велосипеды-подростки и фабричные самокаты на пузатых колесах вытеснили ее из ребячьей жизни. Иногда только можно увидеть малыша-дошколенка, бегающего за пестрым обручем по садовым дорожкам. Но это совсем не то.

А в те годы у каждого из нас, мальчишек, был верный железный спутник: колесо-гонялка. И каталка была. Это длинная толстая проволока с особым крючком на конце. Каталкой подталкивали колесо и управляли им. Кое-кто не расставался с колесом целыми днями. Идет мальчишка в очередь за хлебом или на базар: в одной руке сумка, в другой — каталка, и бежит впереди колесо, жужжит, касаясь крючка. Прохожие спокойно уступают дорогу: дело обычное.

Колеса были разные: обручи от маленьких бочек, кольца от каких-то механизмов и даже чугунные конфорочные круги от печных плит. Я владел плоским и широким кольцом от неизвестной машины. Внутренний край его был в мелких зубчиках. Очень удобно было тормозить: подцепишь каталкой — и намертво. Такие тонкие колеса любил не каждый: они легко проваливались в самые узкие

щели тротуара. Но я мог прогнать кольцо по любой досочке и шелей не боялся.

Сейчас колесо заменяло мне самокат. Я присвоил ему имя «Олень», и мы носились от угла до угла. Ветер легко шуршал у щек, тротуар пружинил, колесо звенело, и жить было весело. Несмотря даже на Тольку.

Пробегая мимо Майкиных ворот, я украдкой поглядывал на них. Калитка была заперта, но я думал, что, может быть, Майка смотрит на меня в дырочку. А вдруг в самом деле смотрит?!

И наконец я добегался!

Получилось почти так, как я недавно мечтал. Ведь вперед-то я не смотрел, и колесо все-таки угодило в щель. Каталка зацепилась за кольцо, нога — за каталку, и я на полной скорости «сбрыкал» на тротуар.

Ох и крепко же я стукнулся! Несколько секунд я лежал. Голова гудела. Потом, кряхтя, поднялся, сел и (представьте себе!) увидел Майку. Она шла ко мне по тротуару, и рядом с ней шел высокий старик с подстриженными усами.

Подняться на ноги я еще не мог и сделал вид, что полностью занят своими ссадинами.

Они подошли.

— Однако целый, — с некоторым удивлением заметил старик. — Руки и ноги на месте. И слезы не каплют. Если не каплют, значит, все в порядке. Так? — спросил он у Майки, а не у меня.

Майка хмыкнула и промолчала. Я из-под опущенных ресниц следил за ними. Старик это заметил.

— Интересно, — сказал он опять Майке. — Видать, это наш сосед. А не он это доску-то отломал?

Майка жалостливо посмотрела на меня и улыбнулась.

— Ну что ты, бабушка! У него и силенок-то не хватит. Другой оторвал, большой и белобрысый.

Дед усмехнулся:

— Тогда я пошел. А ты?

— Иди, — сказала Майка. — Я скоро приду.

И чего ей надо? Шла бы вместе с дедом...

— Ну? — с интересом спросила Майка. — Что же ты не закинул его на трубу?

Она смотрела на меня даже без ехидства, а так, как смотрят взрослые на маленьких болтунов. И чуть улыбалась.

— Еще издевается! — мрачно сказал я. — Тут у человека рана такая...

Вывернув локоть, я показал «рану».

— Ой, беда... — насмешливо откликнулась она. — Плюнул бы на подорожник да прилепил бы. Вот и все.

Нет, она не собиралась отрывать подол и торопливо перевязывать мои царапины. Не думала ронять прохладные слезинки и шептать ласковые слова.

Я сердито встал и с лязгом подцепил на крючок «Оленя».

— Обойдусь без твоих подорожников.

После этого надо было уходить. Гордо и независимо. Так, чтобы у нее от позднего раскаяния защемило сердце. Но у меня так не получилось. Боком и медленно я сделал первый шаг.

— Думаешь, мне жалко, что ли, было ту доску? — вдруг спросила она. — Просто не люблю, когда нахальничают.

— А я нахальничал?

Майка прищурилась:

— А зачем без спросу начал отрывать?

Любовь любовью, но кто же стерпит такие возмутительные слова?

— Без спросу! У тебя спрашивать, да?!

— А у кого? Раз это наш забор...

— Ваш?!

— А чей?

Ну что я в ней нашел, чтоб влюбляться? Треснуть бы каталкой по лбу, тогда узнала бы. Но нельзя трескать девчонок железными каталками. И я решил убить ее презрением.

— Ты, наверно, по правде дура, — сказал я. — Ну, пускай это был бы ваш забор. Мне, значит, надо было прийти и спрашивать: «Можно, я досочку оторву?» Что я, поленом стукнутый?

Майка была теперь не насмешливая, а даже немножко грустная.

— А ты бы все равно не пришел, — негромко сказала она. — Ты не знаешь, как у нас калитка открывается. Там надо за шнурок дернуть.

— Ну и дергай свой шнурок, — пробормотал я.

Она еще помолчала, отвернувшись, посмотрела зачем-то на свою калитку и тихо спросила:

— А хочешь, покажу, как открывается?

— Больно надо... Я к вам не собираюсь.

— Ну, а если.. А вдруг пойдешь?

— Доски просить, да? Мне они больше ни капельки не нужны.

— Ну... а если просто так? — сказала она, глядя в тротуар.

— Зачем? — охрипнув от неловкости, спросил я.

— Ну, так... Поиграть...

Я подавил смущение и хмыкнул:

— «Поиграть». Как играть-то?

— Ты разве никак не умеешь? — спросила она и глянула опять слегка насмешливо.

Я сказал обидчиво:

— Я-то по-всякому умею.

— А в «чапаевцев»? — И она пощелкала пальцами, будто гоняла по шахматной доске круглые деревянные шашки, которые изображали в игре всадников.

— Ха! — сказал я. Она, девчонка, еще спрашивает меня об этой игре!

— Давай? — сказала она.

— Ну, давай, — небрежно согласился я. — Только гонялку домой отнесу.

Мы подошли к ее калитке. Майка показала, как дергать шнурок, и ушла. А я должен был отнести колесо.

Но сразу домой я не пошел. Я прижался носом к забору и смотрел в дырку от сучка вслед Майке. Как она идет к своему крыльцу. Вот она поднялась по ступенькам. Вот остановилась. Стоит и водит пальцами по перилам, будто что-то рисует...

Я оторвался от забора, потому что почувствовал спиной неприятный взгляд.

На тротуаре стоял Толька. Он молча рассматривал меня и лениво шевелил за щекой языком. Щека от этого вздулась и неприятно двигалась.

Я растерялся и, кажется, покраснел.

— Ну, че, Клямпик, — сказал Толька ехидно и без улыбки, — за невестой подглядываешь? Смотри-ка, весь нос в занозах. И пузо.

Ух, как я его ненавидел в этот миг! Его косую белобрысую челку, беспощадные табачные глаза, его большие прозрачные уши и тонкий безжалостный голос!

И он знал, что я его ненавижу. И знал, что моя ненависть беспомощна, потому что я боюсь.

— Гнида! — сказал я со слезами. Плюнул в него и побежал. И побежал сейчас, пожалуй, не из-за страха, а из-за отчаянной и жалкой обиды, из-за злости на себя.

Он не гнался.

Дома я успокоился. Ну и пусть, решил я. Пусть насмехается. Пусть всем говорит, что мы — жених и невеста. А мы все равно будем играть с Майкой. Всегда! Назло!

Я отдышался, кинул в угол колесо и каталку, потом высунулся в окно: ушел ли Толька?

А он не ушел. И не собирался. Он сидел на тротуаре и крошечным ножиком остругивал здоровенную палку.

Вот паразит! Ну что ему там надо? Ведь Майка меня ждет.

Я повременил и выглянул снова. Сидит! Мало того: он заметил меня. Ухмыльнулся, засвистел и уселся поудобнее.

Все было ясно. Он знал, куда я собираюсь. Он решил караулить.

Сначала он лишил меня моего самоката, моего «Оленя». Сейчас он разрушает начало моей и Майкиной дружбы.

А я? В отчаянии я так трахнул по стенке локтем, что посыпалась известка.

Я трус, трус! Трус!! Так мне и надо!

ГДЕ СИНИЙ ВЕТЕР ВСТАЕТ...

Я просидел дома до прихода мамы.

— Странно, — заметила она. — Что это ты не гуляешь? И кислый. Натворил что-нибудь?

— Ничего.

— Ну и прекрасно.

Мы поужинали. Потом мама переделалась. Она надела синее шелковое платье. Это платье мне нравилось. Мама в нем делалась очень молодой и красивой. И веселой. Но я не любил все-таки, когда это платье появлялось на свет. Значит, мама куда-то собралась, и ее весь вечер не будет дома.

— Мам, ты куда?

— Батюшки! Ты что, маленький? Будешь плакать: «Мама, не уходи»?

— Не буду я плакать, — сказал я, надувшись. — Просто сидеть одному неохота.

— Не сиди. Погуляй. Все равно ведь каждый вечер бегаешь.

Ага, «погуляй»! Если бы она знала!

— Надоело мне гулять.

— Владик, ну что за капризы! Сегодня симфонический концерт в городском саду. Это бывает раз в несколько лет. Неужели я не могу послушать?

— А я?

— Что «а я»?

— Тоже хочу на концерт, — уцепился я. Это было все-таки лучше, чем сидеть дома.

— Ты серьезно? Это ведь не кино.

— Ну и что! Кино я видел, а концерты ни разу.

— Ладно... — сказала мама. — Куда тебя девать.

Она дала мне белую рубашку, новые штаны (те, которые сшила из обрезков американских брюк), расчесала на косой пробор мои космы (я терпел) и сказала:

— Оказывается, иногда ты можешь выглядеть вполне прилично... А хочешь, я сделаю тебе черный бантик на шею? С белой рубашкой будет очень красиво.

Я со сдержанным негодованием выразил свое отношение к бантикам. Мама заметила, что я все-таки чудовище, и мы пошли в сад.

У ворот сада нам повстречался высокий мужчина в глухом кителе, с флажком на фуражке. Флажок был белый с зеленой каймой. Мужчина вежливо поздоровался с мамой.

— Добрый вечер, Сергей Эдуардович, — сказала мама, и мы пошли рядом.

Сначала — молча. Мама шла, опустив голову. Сергей Эдуардович поглядывал на меня. А я — на него. Меня интересовала фуражка.

— В отделе прочитали ваш очерк, — сказала мама. — Всем нравится. Только... понимаете, газетный объем... Как-то надо сократить материал. Хотя и жаль.

— Сокращу, — поспешно согласился Сергей Эдуардович. — Чего там жалеть? Не в этом дело... — Он помолчал и неожиданно признался: — С тридцать шестого года не слышал симфонического оркестра...

И опять они с мамой замолчали.

— А почему у вас фуражка морская, а на флажке самолет? — спросил я.

Он, по-моему, обрадовался вопросу. Быстро снял и протянул фуражку:

— Это не самолет, а перекрещенные рыбы. Я — рыбак. Промысловик. Понимаешь?

Я кивнул. Голова у него была с длинными залысынами, а лицо сухое, морщинистое и все-таки доброе. А на руке не хватало двух пальцев.

Сергей Эдуардович взял фуражку и пошел покупать билеты.

— Ему пальцы снарядом оторвало? — спросил я.

— Нет, — сказала мама. — Он не был на войне. Пальцы он отморозил.

— А-а... — протянул я с разочарованием.

— Дурачок, — сказала мама. — Этот человек перенес столько... Он много лет работал на Севере. В самых тяжелых местах. Один раз в тундре он спасал пострадавшего летчика. Летчик разбился при аварии. Сергей Эдуардович тоже был в этом самолете, но уцелел. Он тащил летчика трое суток на самодельных санях, обморозил ноги и руки... А когда добрался до стойбища, оказалось, что летчик умер. Это было самое страшное...

Я опустил голову. Сергей Эдуардович подошел, мельком взглянул на меня и спросил:

— Кажется, была проработка?

— Нет, — сказала мама. — Просто разговор. Не хочу, чтобы он вырос легкомысленным болтуном.

— Ничего, — заступился Сергей Эдуардович. — Легкомыслие проходит. Лишь бы не вырос чиновником и трусом.

Ну вот, надо ж было ему это сказать! Снова стало скверно на душе.

Площадка с эстрадой построена была среди старых берез. Ее окружала деревянная высокая решетка. Мы прошли туда почти последними и с трудом отыскивали свободные места. У самого прохода. Мама села рядом с веснушчатой девушкой, а я примостился на краешке скамейки. Веснушчатая девушка с удивлением посмотрела на меня и

отвернулась. Наверно, подумала: «А этот пацаненок зачем сюда притащился?»

Тоже мне принцесса! Рыжая...

Сергей Эдуардович сел в стороне от нас. Посмотрел на маму и чуть кивнул. Даже не кивнул, а просто опустил глаза. Мол, все в порядке. Подумаешь, герой... Еще и переглядывается!

Было сумрачно и неуютно. Дуло по ногам. Ветер не ветер, а такой низовой сквознячок шелестел под скамейками, крутил бумажки в проходе. Я поехал, покачал ногами, чтобы прогнать озноб.

— Не егози, — сказала мама. — Лучше посмотри на музыкантов.

А чего там смотреть? Все одинаковые, в черных костюмах. Одни с обыкновенными скрипками, другие тоже со скрипками, только громадными — такими, что не поднимешь, приходится на пол ставить. А еще барабан. Да несколько трубачей сзади. Ну и что? Я эти инструменты уж сколько раз видел! В кино. Ими в картине «Веселые ребята» музыканты друг друга лупили. Под руководством Леонида Утесова. Но здесь, конечно, не дождешься такого веселья.

Меня только деревянные трубы немного заинтересовали. Длинные такие, коричневые. Похожие на минометы.

— Это что?

— Это фаготы, — сказала мама. — Смотри.

Вышел худой высокий дядька. Чуть поклонился и встал к нам спиной. На нем был длиннополый фрак с разрезом.

Я знал, что дирижеры бывают с палочками. А этот вышел без палочки. Подумаешь, дирижер...

Он медленно поднял руки. Правую — повыше. Чуть шевельнул пальцами.

Откуда-то издалека пришла сумрачная медленная музыка, похожая на движение тяжелых туч. Будто они целым фронтом растут на краю вечернего неба, и еще не слышно

грома, а только прожилки молний мерцают в лиловом сумраке. Гроза еще не здесь, не близко, но уже меркнет свет.

Эта музыка была под стать моему настроению. Прямо то, что я чувствовал и думал.

И все-таки не то. Я был боязлив, а в музыке не было страха. Она была суровая, печальная была, но мужественная. Она мне напоминала о том, что я трус. Боюсь Тольки, боюсь грозы, боюсь еще много чего на свете. И ей было плевать на меня, этой музыке. Я перед ней был как прижатый к земле кустик перед нарастанием грозового фронта. Что им, высоким тяжелым тучам, какой-то кустик!

Та-а, та-та-та, та-та-та... — с нарастающей громкостью повторяли трубы.

Та сторона,
где тучи...
Та сторона,
где ветер...

Оркестр оборвал музыку. А через секунду скрипки повели другую мелодию. Я ее тогда не запомнил. Отголоски грозы все еще звучали во мне.

Ну почему я все-таки трус?

Занятый грустными мыслями, я как-то не обращал внимания на музыку, а просто следил за движениями музыкантов. Дирижер так ловко ими командовал. Шевельнет ладонью — и взлетают смычки над скрипками. Поведет рукой вниз — и гаснет мелодия. Мне нравилось, когда вступали фаготы, эти трубы-минометы. Я сразу тогда начинал слушать. У них был глуховатый, но красивый такой голос.

Стоп! Будь внимателен! Что-то сейчас будет...

Что?

Оркестр уже не гремел, и не было вихря мелодий. Скрипки негромко и спокойно заговорили о чем-то знакомом. Нет, не музыка была знакомая, а просто казалось: вот-вот вспомнится что-то хорошее.

Но что же?

«По-стой... по-стой...» — прямо человеческим языком сказали скрипки.

Стой,
По-до-жди...
По-до-жди...

Опять прозвучала та же мелодия, все приближая и приближая разгадку.

И вдруг в наступившей тишине одиноко, чисто и негромко прозвучал угасающий сигнал трубы.

Такой знакомый!

И я не мог вспомнить...

Ну что же, что же это было?

А скрипки, будто испугавшись, рванулись, закрутили музыку метелью, сметая все воспоминания! Я чуть уши не зажал.

Что же это было? Неужели не вспомню?

Неужели не повторится этот сигнал?

Ну чего они бесятся, эти скрипки? Спокойнее, вы! Вот так. Не мешайте думать и ждать. Все равно эта труба еще заиграет. Хоть один раз, но заиграет...

И все остальное время я ждал. Пока снова не прозвучали вдалеке настороженные фаготы.

И вот опять знакомая мелодия. Снова:

По-стой,
Подожди...

Ну?

И ясно-ясно труба сказала слова:

Ветер
с утра —
Значит,
пора.
В путь...
В путь...
В путь...
В путь..

Каравелла! Моя Каравелла! Как я мог забыть...

Павлик.

Вот как это было.

Мы, первоклассники, учились в те дни во вторую смену, и я прибежал домой, когда было уже темно. По дороге мы дурачились, катались в снегу. Я ворвался в дом, как снежный заряд. Мамы и Татьяны не было, я это знал и тут же заскочил к Павлику.

— Тише, — сказал он.

Горела настольная лампа, и потрескивала печка.

— А что случилось? — шепотом спросил я.

— Я вспоминаю песню.

Он смотрел на меня спокойно и строго, и я понял, что это важная песня.

— Не могу, — вдруг сказал он и отвернулся. — Вот только эти слова помню:

Ветер
с утра —
Значит,
пора.
В путь...
В путь...
В путь...
В путь...

Он сказал это, а потом вдруг тоненько засвистел.

— Сначала это была не песня, а просто сигнал, — сказал он. — Его играли трубачи на палубах, когда команда ставила паруса. Перед очень дальним плаванием.

Наверно, он все это выдумал. Слова сам сочинил, а мелодию где-то слышал. Но я поверил ему, потому что он сам верил в свою выдумку.

И с тех пор, отправляя в путь нашу Каравеллу, мы тихонько напевали сигнал «Ветер с утра». Тот самый, который сейчас проиграла труба.

А музыка летела дальше. Праздничная, как хлопанье пестрых флагов и разноцветных парусов. Тревожная, как

ожидание приключений. И она была — моя. Это была песня о Каравелле, разбуженной утренним сигналом отхода.

Потом она кончилась.

Но в наступившем молчании все сидели неподвижно. И я понял, что еще не все.

Мельком я взглянул на веснушчатую девушку. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Она была красивая, хотя и с веснушками. Думаете, не бывает красивых с веснушками?

Глухо и сдержанно оркестр начал вторую часть. И сразу стало ясно, что это — про ночь. В зимнюю темноту, где среди сказочных лесных великанов перепутались мелкая чашоба и бурелом, неслышно пришло дыхание южного ветра. И все окуталось мягким теплом. С шуршанием заскользил с еловых веток снежный пласт. Это незаметно принялась за дело весна. А потом просветлело небо и начался восход. Без блеска и ярких красок, но такой ясный... И, как тонкий луч, как серебряный ручей, прорезалась чистая, звонкая песня. Она была без слов, но такая, что слова пришли сами собой:

Ранней весной,
Когда открываются реки,
Когда просыпаются травы...

Это была музыка про то, как ребята делают из сосновой коры и бумаги кораблики, как просыхают деревянные тротуары, а на лугах и лесных проталинах пробиваются к солнцу разведчики-травинки.

Потом вырастают травы.

Вот они встали и качаются под синим-синим небом, и я иду среди них, касаясь коленями больших, как блюдца, ромашек. И думаю, что, наверно, повстречаю Майку...

Стремительно накатывает гроза. С «той стороны, где тучи». Старается оглушить суровой, знакомой уже мелодией. Но не так уж это страшно. Вот опять распрямляются травы, стряхивая капли. А ромашки удивленно качают головами: «Чего налетела, зачем расшумелась?»

И опять я шагаю, выкручивая на ходу мокрую рубашку, а трава блестит от дождя. Я иду, и мне хорошо. Ведь я помню про главное: про Каравеллу.

Трах!

Я подскочил от этого взрыва. Как он грянул, этот оркестр! Будто сразу оборвалось передо мной солнечное поле и навалился сумрак. Отвесные скалы, а под ними ревущее море. Гремучее море. Оно далеко внизу, но удары волн такие, что холодные брызги хлещут по ногам, по лицу, и рубашка опять промокла.

А белая башня маяка до половины в облаке водяной пыли.

Белая башня и белые чайки в косом стремительном полете. И синий штормовой сумрак. И опять это грозное начало:

Та сторона, где тучи...
Та сторона, где бури...

Но это же совсем не страшно! Мне смеяться хочется от растущего торжества. Как я не понимал? Это же гремящая песня синих циклонов и белых парусов. Синих скал, белого маяка и чаек. Грозная и сильная. Ну и что? Я сам частица этой грозы и силы. Я — капитан! В узкой бухте меня ждет, качаясь, Каравелла.

А за спиной у меня на солнечных берегах качаются травы. И мчатся по ним лошади...

Теперь я боялся одного: лишь бы музыка не обманула меня. Лишь бы не сделалась другой!

Мама шепнула, когда смолк на минуту оркестр:

— Слушай, сейчас будет вальс. Очень красивый.

Этого мне еще не хватало! Зачем он мне, красивый вальс?

Может быть, он и был хорош. Не знаю. Я ждал другого. Неужели так все кончится? Но среди беспечного кружения мелодии опять прозвучали знакомые ноты, и я успокоился: что-то хорошее будет еще.

И торжественное пение труб вернуло «мою» музыку.

Смычки взлетали и опускались разом. Все вместе. Словно копыта летящей конницы. Быстрее, быстрее! Черные Лошади, верные и неумолимые, несли меня в гущу кавалерийской лавы. Мы сметали врага, мы рвались к морю. И взлетали, взлетали копыта в стремительном ритме скачки!

И вот пришло мое торжество.

Четыре раза прозвучало короткое вступление, и медные голоса труб запели приподнято и чисто. Та музыка, которая в самом начале принесла угрозу и печаль, сейчас звучала с такой радостной силой, с таким сверкающим мужеством, что мне захотелось запеть самому.

Это была песня о том, что есть на свете край, где рождаются смелые ветры, зовущие в дальние плавания. Не знаю, тогда или потом сложились слова, но теперь я их не могу отделить от этой музыки:

Та сторона, где ветер
Встает стеной громадной, словно море...
Та сторона, где ветер
Встает, как синяя стена!
Растет, как синяя волна!..

А дальше — уже никаких слов, только нарастающая радость и бесстрашие.

Боже мой, ну почему я думал, что я трус? Разве можно быть трусом, когда на свете есть «такая» музыка?

Неужели это именно я сегодня боязливо прятался на подоконнике?

Люди расходились. Подошел и попрощался Сергей Эдуардович. Кажется, это было уже за воротами сада, на улице. Я не обращал внимания. Музыка еще гремела во мне.

— Как она называется? — спросил я у мамы.

— Что?

— То, что играли.

— Пятая симфония Чайковского.

— Ага... — сдержанно сказал я и подумал, что запомню навеки.

И еще кое-кто запомнит!

Мама взглянула на меня с сожалением.

— Кажется, ты едва досидел до конца. Как-то странно ты себя вел. Подпрыгивал, дергался... Неужели тебе ничуть не понравилось?

Я промолчал. Что тут скажешь? Понравилось? Это про порцию мороженого так можно сказать. Ну, или про кино какое-нибудь. А про такую музыку словами не скажешь.

Мы шли домой, и я никак не мог приноровиться к маминым неторопливым шагам. Я рвался вперед: трубы гневно и весело пели в моей душе.

— Что ты скачешь? — сказала мама. — Иди спокойно.

— Мам, я погуляю, ладно? Не хочется домой...

— Так поздно?!

— Ну, чуть-чуть. Пять минуточек!

— Иди... Не оказала на тебя классическая музыка никакого влияния.

Оказала! Ох как оказала! Я рванул за угол и помчался по пустой улице.

Я спешил найти Тольку.

Как я хотел его встретить!

Надо было поскорей попасть в цирковой сквер, где каждый вечер почти до полуночи ребята гоняли футбольный мяч. Лишь бы успеть! Лишь бы враг был еще там!

Маленькие пасмурные облака, недавно висевшие в зените, незаметно растаяли. Был светлый, как день, вечер. Солнце ушло с неба, но чувствовалось, что оно совсем недалеко. И при этом свете необычной была пустота улиц.

Я бежал в этой пустоте, и казалось, что вместе со мной мчится конница с копьями, взлетающими, как смычки оркестра. Куда торопились всадники? Может быть, боялись, что угаснет музыка и вернется мой прежний страх?

Мне повезло больше, чем я надеялся: Толька шел навстречу.

Мы издали узнали друг друга. Он ускорил шаги, а я... остановился, перевел дух и медленно пошел навстречу.

Наверно, Толька решил, что я бежал по своим делам, увидел его, испугался и не знаю, что делать: бежать назад или обойти сторонкой. Он еще не заметил, что шаги мои спокойны и тверды и подошвы стучат с решительностью молотка, забивающего гвозди одним ударом. Он, кажется, улыбался. Так мне, по крайней мере, казалось издали. Он предвкушал еще одну легкую победу и мое новое унижение.

Потом Толька удивился: ведь я не сворачивал с пути. Но, удивившись, он, конечно, ничуть не испугался. Он не мог тогда понимать, что обречен.

А он был обречен. Потому что не было у него «такой» музыки. Не было стремительных скрипок и торжественных труб, поющих песню о могучем синем ветре, не было Черных Лошадей, белых маяков, не было Каравеллы.

Ну, по правде говоря, маленький страх один раз кольнул меня, но могучая музыка тут же развеяла его в пыль. И когда мы с Толькой сошлись, я, не сбавляя шага — трах! — с размаху треснул врага кулаком по носу.

Наверно, таким отчаянным ударом вышибают окно в горящем доме.

Нос мягко сплющился. Толька мотнул головой и ошеломленно открыл рот. Потом зашмыгал, чтобы удержать кровь. И стоял, опустив руки, смотрел ошеломленно.

Я тоже растерялся в первый миг. Но тут же словно кто-то шепнул: не жди! И левой рукой я закатил Тольке звонкую затрещину. Он открыл рот еще шире. Я, повинувшись стремительному вдохновению, обошел противника с тыла, ухватил одной рукой за шиворот, а другой за штаны и дал ему пинок. Мне хотелось, чтобы Толька полетел по воздуху, как мяч.

Ну конечно, он не полетел. Он пробежал, согнувшись, несколько шагов, постоял две секунды не оборачиваясь, а

потом взревел яростными слезами и бросился в бой. Мы самозабвенно сцепились посреди тротуара.

И оказалось, что это совсем не страшно!

Даже в тот момент, когда он сидел на мне верхом и лупил между лопаток, я не терял уверенности в победе. Потом я извернулся, и мы поменялись местами.

Как хорошо, что не было прохожих! Любой взрослый увидел бы здесь простую вещь: сцепились на тротуаре двое мальчишек — обычная история. Обозвали бы нас хулиганами, растащили бы, вот и все. Разве бы они догадались, что здесь человек борется за первую в жизни победу? За то, чтобы жить спокойно, ходить смело, смеяться открыто!

Ну, я дал этому Тольке, пока сидел на нем! Он вырвался наконец, мы вскочили, и я ринулся снова. Пусть болела распухающая губа, саднило плечо! Разве в этом дело?

И он побежал.

Сначала он пытался, нелепо отмахиваясь кулаками и всхлипывая, затем повернулся и бросился от меня, сердито подвывая.

Гнал я его полквартала. Потом отстал.

Рубашка на плече была порвана и прилипла к ссадине. Губа, кажется, стала величиной с котлету. Правый глаз понемногу заплывал.

Я медленно зашагал домой. Ожидалась взбучка, но это меня не трогало. Разве могла она уменьшить радость моей победы? Радость ясную и торжественную, как финал Пятой симфонии!

Нет, я ничуть не боялся, хотя знал заранее, что скажет мама.

— Силы небесные! — сказала она. — Иди сюда! Так... Ну, кажется, мое терпение лопнуло.

Я молчал, стараясь придержать отвисающую губу.

— Что с тобой делать? — печально спросила мама. — Ну что? Отлупить? Но, по-моему, тебе и так досталось.

— Да? — язвительно сказал я. — «Досталось»... Ты бы посмотрела, как досталось «ему»!

Это почему-то маму не обрадовало.

— Во что превратил одежду... Убирайся в угол! Вон туда, за шкаф. Видеть тебя не желаю.

Но даже это унижение не сломило меня. Оттуда, из темного угла, я известил маму, что «завтра этот гад получит еще больше».

— Да что вы не поделили? Можешь ты объяснить, в конце концов?

— А чего он... Я его, что ли, трогал когда-нибудь? Он сам все лез... Дурак. Думал, что я все еще его боюсь... — Я потихоньку вышел из угла. — Mam... Ты помнишь, как играл оркестр, да? Когда трубы в самом конце играют... Помнишь?

Мама с полминуты молча смотрела на меня.

— Это называется «аллегро виваче»... Иди сюда, покажи плечо. И перед следующим поединком, прошу тебя, надевай старые штаны и рубашку.

Ночью в реку вошла эскадра.

Берега были совсем черными, и редко-редко мерцали на них огоньки. Небо и вода были светлее, в них еще не погас отблеск заката. В синеве висел месяц. Он отражался в реке золотыми чешуйками. Закрывая эти чешуйки и береговые огни, проходили темные корабли.

Был торжественным и бесшумным их медленный ход. Чуть заметный ветер не трогал складки на парусах и длинные повисшие флаги. Желтым светом горели над ахтерштевнями старинные фонари. И лежала ясная тишина, только ветки прибрежных кустов заскребли однажды о борт подошедшего вплотную высокого брига.

Я стоял высоко на обрыве. Очень широкая лестница убегала к воде — целый каскад беспорядочных ступеней. Прохладный воздух поднимался от реки и вместе с привычными запахами сырого песка и трав доносил запах влажных парусов и смоленых канатов.

Прозвучала чистая струна. И тут же из темной толпы кораблей вышел и двинулся к берегу парусник с крутыми бортами и высокой кормой.

Я долго-долго бежал ему навстречу. Мимо громадных ржавых якорей, мимо старых пушек, тут и там разбросанных на ступенях. Звонко, как выстрелы, шелкали на камнях мои подошвы. Но сквозь это шелканье и шелест ветра в ушах я услышал, как заскрипел о каменный причал борт Каравеллы.

Тогда я замедлил бег. Остановился. Непокойно стучало сердце.

Кто-то шел навстречу. Я еще не видел лица. Но я уже знал, что это Павлик.

«А, ты здесь, — сказал он из сумерек. — Хорошо, что пришел».

«Да, — сказал я. — Павлик! А это наша Каравелла?»

«Ты все еще боишься Тольку?» — спросил он.

«Нет, — сказал я. — Ну, ты же знаешь, что нет».

«И ничего не боишься?»

Я молчал. Я много боялся. Трескучих молний, кусачих пчел, насмешек, торговца, у которого украл подшипник. Боялся, что заболит мама...

Правда, я не боялся уже ночной темноты, самых злых собак и высоких откосов, с которых не каждый решится съехать на лыжах...

«Павлик, — сказал я, — помнишь, я был еще маленький, и мне было страшно одному по вечерам, и я ревел, когда на меня кидался Марсик Вовки Сазанова, но мы все равно плавали вместе. И ты не говорил, что я трус».

«Разве я говорю, что ты трус?» — ласково сказал он.

«Значит, ты возьмешь меня на Каравеллу?»

Я увидел сквозь сумрак, что он опустил глаза.

«Пока еще нельзя...»

Нельзя. Я так и знал, что он это скажет! Сразу же знал. До чего же мне стало грустно!

И вдруг просветлел и разгорелся месяц! И фонари эс-

кадры засияли ярко, будто начинался праздник. Приподнялся и хлопнул обвисший фор-марсель Каравеллы! А трубач на высокой корме ясно и негромко проиграл знакомый сигнал «Ветер с утра...».

И тут я увидел, что не месяц светит и не фонари, а рассвет на востоке рассветная полоса. И паруса и флаги из черных делаются цветными.

А Павлик смеялся. Я увидел его лицо. Пашкино лицо с золотыми точками в глазах и черной родинкой над верхней губой.

«Я пошутил, — сказал он. — Пойдем. Это ведь не аша Каравелла».

Он взял меня за руку. И мы пошли вниз, к знакомому до последней царапинки трапу. Мимо пушек и якорей...

Я просыпался, смеясь от радости. И, уже очнувшись совсем, лежа в тишине, я все еще ясно ощущал в ладони тепло и твердость Пашкиной руки.

ЛЕТНИЕ ДНИ

Одной драки оказалось мало для полной победы над Толькой, и я отлупил его еще два раза. Сначала — за сараем, где он караулил меня, чтобы взять реванш. Потом — на глазах у всех ребят. В битве у сарая мне досталось крепко, но ему еще больше. И главное, я не боялся. А на следующую ночь я полез в драку сам, нахально. Чтобы закрепить успех. После первой же стычки Толька отказался от боя и зажал руками лицо.

— Аут, — сказал Славка Дыркаб и осторожно взял меня за плечо. Я все еще яростно дышал. — Хватит.

— Дрогнул Толик, — без усмешки отметил Марик.

— Ты, Засыпа, больше к Владьке не лезь, — посоветовал Петька Лапин.

Толька открыл лицо. Оно было красное и мокрое.

— А я лез? — со слезами спросил он. — Я лез? Он сам первый наскакивает!

Тогда все засмеялись. Над ним. Все же знали, сколько он меня мучил.

— Как ты ему дал по носу, — уважительно сказал маленький чернявый Южка.

— Айда, ребята, купаться, — не отпуская моего плеча, предложил Дыркаб.

И я стал равным среди равных.

Наступило чудесное время, полное радости и солнца. Я исчезал из дома ранним утром и приходил в сумерках. Едва хватало сил, чтобы раздеться и бухнуться в кровать. Ноги гудели, плечи горели от обжигающих лучей, а перед глазами, как стремительная кинолента, пролетал весь день, состоящий из солнечных бликов, шума травы и смега товарищей...

Конечно, не все время я бездельничал. Надо было сбегать за хлебом, посуду помыть. Иногда притащить воды. Но за хлебом — это пустяк, если нет очереди. Посуда? Две тарелки да два стакана — мои и мамины. Хуже всего было с водой. Правда, обычно воду носила тетя Клава, которая жила за стенкой: мама с ней договорилась. Но часто тетя Клава уезжала в деревню, и тогда на водокачку отправлялся я. За четыре квартала.

Ну, это была работка! Таскать ведра на коромысле у меня силенок не хватало. Дотащить одно полное ведро я тоже не мог. А носить по полведерка не хотелось. Сколько раз придется ходить, пока нальешь бочку хотя бы до половины!

Я наливал большое ведро на две трети. И волок его, вцепившись в дужку обеими руками, брякая коленками по острому краю. Дужка резала мне ладони, колени украшались синяками, вода плескала в сандалии, и они становились скользкими внутри: того и гляди, подвернешь ногу.

Но мне повезло. В конце июня в нашем квартале поставили колонку. Это был железный столбик с длинным рычагом. Рычаг оказался тугой, приходилось ложиться животом, чтобы нажать. Ляжешь, и колонка начинает

грозно гудеть. А потом из трубы ударяет сверкающая толстая струя, такая упругая, что кажется, дно у ведра сейчас вылетит!

Когда у колонки не было взрослых, там собирались все ребята нашего квартала. Вот это была жизнь! Пробьешься к трубе, зажмешь ее рукой, и брызги громадным веером летят из-под ладони. Так летят, что оконные стекла на другой стороне улицы покрываются каплями. Визжат девочки, хохочут мальчишки, и Таисия Тимофеевна, которая высунулась в окно, чтобы заклеить нашу невоспитанность, с возмущением захлопывает створки.

Мы не успокаивались, пока не промокали до нитки. В такую жару это было одно удовольствие. Но еще лучше было, когда наша компания отправлялась на реку.

Мама не запрещала купаться с ребятами. Она только взяла с меня самое честное-пречестное слово, что я не буду заходить в воду глубже чем по грудь, а Дыркабу сказала:

— Славик, я тебя очень прошу... — и выразительно посмотрела на меня.

Дыркаб стал серьезным и совершенно по-взрослому ответил:

— Все будет в порядке.

А мне он показал крупный, усыпанный веснушками кулак. И я отчетливо понял, что действительно не следует соваться на глубину. По крайней мере, пока не научусь плавать.

Впрочем, научился я быстро.

А мамино мужество я оценил уже потом, когда стал взрослым. Сколько беспокойных часов провела она, думая обо мне, пока я с приятелями беззаботно бултыхался в реке и загорал на прибрежном песке. Сколько раз представляла самое ужасное, когда я опаздывал к обещанному сроку! Я не хотел опаздывать, но ведь часов-то у нас не было. Время мы узнавали так: зажмем торчащую соломинку (длиной в мизинец) между пальцами, сдвинем раскры-

тые ладони и смотрим, через сколько пальцев проскочила тень от соломинки. Сколько пальцев — столько и часов от полудня. Не очень точный хронометр.

Увидев, что я жив и невредим, мама успокаивалась и не сильно ругала за опоздание. Она все понимала. Понимала, что нельзя мальчишку все время держать рядом с собой, делать его маменькиным сыночком. А отцов, которые учили бы нас мужским наукам, не было.

Из всех знакомых мальчишек лишь у Вовчика Сазанова был отец. Да еще у Тольки — неродной. У остальных не вернулись с фронта. И первыми нашими наставниками и командирами были старшие ребята вроде Дыркаба.

Славка Дыркаба перешел уже в восьмой класс и был главным в нашей компании. Нам повезло: он был хороший командир. Не то что, например, Петька Брындин по прозвищу Зер-Гут, который командовал ватагой на Возкальной улице. Славка был справедливый. Он всегда поровну делил хлеб, который мы брали с собой, когда уходили купаться. Он даже следил за нашим воспитанием и однажды крепко надавал по шее Левке Аронову за то, что он подбирал окурки и дымил ими.

Левка заревел, обозвал Дыркаба, а заодно и нас разными словами и пообещал:

— Дырку с маком вы еще получите, а не пирожки...

Это была серьезная угроза.

На реке нас терзал голод. Принесенный хлеб мы съедали быстро, и скоро мне начинало казаться, что желудок совершенно пуст и стенки его со скрипом трутся друг о друга, как мокрая резина. Остальные тоже мечтали хотя бы о сухой корочке. Тогда Левка с хитрым видом исчезал. Недалеко от речного обрыва стоял приземистый кирпичный дом, окруженный клубами удивительно вкусного запаха. Это был пирожковый цех, где работала Левкина мать. Левка скоро возвращался. Общими руками он нес драную свою пилотку, и она была доверху нагружена золотистыми пирожками с ливером.

Пирожки были бракованные: когда их жарили, они лопнули по шву и не годились для продажи. Да нам-то что! Мы плясали от нетерпения, пока Дыркаба считал и делил их. Обычно доставалось по пирожку на брата, а каждый мог слопать, наверно, по два десятка. Но все-таки это было подкреплением для желудков.

И вот Левка пригрозил прекратить снабжение пирожками!

Но Дыркаба не дрогнул перед такой угрозой.

— Ну и подавись ими! — презрительно сказал он. — А еще закуришь — напинаю...

И он точно назвал место, по которому «напинает» злочастливого Левку.

— Нахал ты, Славка, — сказала Майка. — Хоть бы девочек постеснялся.

— Ладно, не помрете, — проворчал Дыркаба.

Впрочем, сам он покуривал. Тайком от всех. Это нам под секретом поведала Славкина сестра Манька.

Мы ее звали Маняркой. Была она маленькая, костлявая, большепотая. Смешная такая. Очень похожая на Славку, только не рыжая, а темная и курчавая. Бегала она всегда в одном и том же синем платице, похожем на мальчишечью рубашку. Иногда, чтобы ловчее было прыгать и носиться, она заправляла платице в трусики, тоже мальчишечьи — с красными генеральскими лампасами, и делалась совсем как чумазый, давно не стриженный пацаненок. Дыркаба часто брал ее с нами на реку. Говорил сердито:

— Оставь ее одну дома, так она там наделает делов. Спокойнее, когда на глазах.

Мы не спорили. Манярка не мешала. Она караулила одежду, пока мы купались или играли в зарослях на обрыве. Потом Дыркаба разрешал ей поплескаться у берега.

Часто Манярка из щепок и прошлогоднего бурьяна разводила в сторонке костер и пекла картошку. Одну-две картофелины, которые приносила с собой. Когда картош-

ка была готова, Манярка торопливо съедала ее, даже не очистив. Рот у нее всегда был перемазан сажей. Мы не просили Манярку поделиться — знали, что она голоднее всех.

— Всегда жрать хочет, — жаловался Дыркаб. — Они, малявки, все такие. Потому что им расти надо больше других. — И он, ворча, отламывал для нее половину своего пирожка.

Манярка любила слушать наши серьезные разговоры. Сама она не говорила, только иногда, если было что-то непонятно, быстро спрашивала:

— Чиво говоришь?

— Не суйся, когда старшие разговаривают, — отвечал Славка.

— Не рычи на нее, — заступалась Майка. Девчонки всегда заступаются друг за друга, особенно если их всего две в мальчишечьей компании.

Майка всегда была с нами. Как-то незаметно она со всеми подружилась. И со мной. Можно было теперь приходиться к ней когда хочешь, качаться вдвоем на качелях, которые смастерил дед, до обалдения играть в «чапаевцев» или обливать друг друга из садового шланга. Правда, времени для этого почти не оставалось в нашей бурной жизни. Мы всегда были среди друзей.

Вот из кого состояла наша компания: Дыркаб, Майка с Маняркой, Толька (куда его денешь!), Левка Аронов. Я про них уже рассказывал. Был еще Петька Лапин — белобрысый обидчивый пятиклассник. Он часто спорил и ссорился, но долго никогда не злился. Играл с нами сын известного хирурга Вовчик Сазанов, но дома его слишком воспитывали, заставляли заниматься музыкой и в девять часов вечера загоняли спать.

Самым образованным среди нас был Марик Городецкий. Но он никогда не хвастался. Только если мы начинали рассуждать про подводные плавания, полеты на Марс или радиоприемники с экранами, на которых видно арти-

ста, когда он выступает (ходил слух, что уже изобрели такие), Марик смешно морщился и весело говорил:

— Да не так! — и пытался объяснить по-научному.

Если с ним спорили, он так же весело говорил:

— Ну и пусть! Врите дальше!

Меня он стал по-настоящему уважать не после драки с Толькой, а когда узнал, что я разбираюсь в парусной оснастке.

Младшим среди мальчишек был Южка. В начале войны Южкины мать и бабушка приехали с ним в наш город откуда-то с Украины. Южка был тогда совсем маленьким и ничего не помнил. Внешне Южка был аккуратный и воспитанный ребенок, но ни в чем не отставал от других.

Южкина мать работала медсестрой, а бабушка Ванда Казимировна хозяйничала дома. Она была похожа на Таисию Тимофеевну, только добрая. По вечерам она выходила на крыльцо и начинала звать:

— Ю-у-у-зек!

Голос у нее был чистый, громкий, и этот звук «ю-у-у» словно ввинчивался в воздух. Его слышали за несколько кварталов. Первый сигнал раздавался ровно в девять, а потом повторялся через каждые десять минут. Но Южка не спешил. Он никогда не уходил, пока не кончалась игра.

Южка любил делать бумажных змеев. Иногда мы их клеили вдвоем. Не очень-то они у нас тогда получались, но мы не унывали. Нам нравилось возиться с бумагой, дранками и мучным клеем. Располагались мы на плоской крыше сарайчика, который чуть не доверху был закрыт высоченным репейником.

Ветерок шелестел бумагой. На реке басовито вскрикивали буксиры. В репейнике шумно возились воробьи. Солнце почти насквозь прошивало нас прямыми горячими лучами. Пахло разогретыми лопухами и лебедой. На Южино коричневое плечо села блестящая стрекоза-богатырь, но он не заметил, потому что рассказывал, как Ванда Казимировна пожалела бродячего кота и взяла в дом, а

он сожрал селедку и удрал. Южке было не жаль селедки. Жаль кота. Славный такой кот, приручить бы его.

Потом мы просто лежали на сухих прогретых досках и смотрели в очень голубое небо. Теплыми волнами захлестывало меня одиннадцатое лето моей жизни.

Это было в те времена, когда в небе светила удивительная синева, мама была молодой, река наша казалась широкой, как морской пролив, а трава, которую сейчас мы топчем, не замечая, была нам по колено.

ВАС КОРОЛЬ ПРИГЛАШАЕТ НА ВАЛ

В начале недели разлетелась по нашим улицам волнующая новость: в воскресенье будет необычный праздник — День физкультурника!

Мы знали разные праздники: Октябрьская революция, Первомай, День Победы. А про физкультурный никто из мальчишек не слышал. Взрослые говорили, что до войны этот праздник бывал каждый год. Ходили слухи, что в городах побольше нашего День физкультурника отмечали и сразу же после войны. Да нам-то что! Для нас это было впервые.

Новость обрастала подробностями. Левка Аронов общал, что на дальнем поле, за кладбищем, подальше от любопытных, были две репетиции спортивного парада. Он бессовестно врал, что видел сам громадную колонну футболистов в динамовской форме и каждый из них (вот враль!) нес настоящий футбольный мяч. Рассказывали также, что сосед Петьки Лапина — Костя Корнеев, который учился в машиностроительном техникуме, принес домой белые трусы и голубую майку с чайкой на груди и в этой форме пойдет на парад.

Но до конца мы поверили в праздник тогда, когда к стадиону пришли плотники и стали забивать досками многочисленные щели расшатанного забора. Новые доски светились на сером заборе солнечными полосками...

С самого утра в воскресенье на стадионе начал волнующе ухать оркестровый барабан. И сердце у меня тоже стало ухать от радости и беспокойства. Причины для беспокойства были: билет на стадион стоил три рубля. Не великие деньги — всего самая маленькая порция мороженого. Но не было у меня этой несчастной трешки. Да если бы и была! Мальчишки всех окрестных улиц потешались бы до самой осени, узнав, что я купил билет.

Конечно, я не хуже других лазил через заборы, но ведь это как повезет. Взрослые тоже не дураки.

И действительно, не повезло. Когда мы с Левкой оказались у забора, мальчишки поведали нам, что с той стороны чуть не на каждом метре милиционеры. Они аккуратно вылавливают безбилетников, строят их в небольшие колонны и выпроваживают через служебную калитку. Кое-кто из приятелей сделал уже два-три круга...

А со стадиона летел упругий медный марш, и большие разноцветные флаги полоскали и громко хлопали над забором (и утро было такое безоблачное и яркое!).словно сказочная эскадра собралась в полное приключений плавание. Без нас!

— Пошли, — решительным шепотом сказал я Левке. И осторожно, чтобы не увязались другие, повел его к дальнему концу забора, где приткнулись старые, забитые досками ларьки. Я знал одно местечко. Там едва ли дежурила милиция.

Здесь забор был выше, чем в других местах, и наверху ржавели остатки колючей проволоки. Но мы не отступили. Упираясь ногами то в фанерные стенки ларьков, то в шершавые доски, мы добрались до кромки забора. За ним высоко поднималась задняя глухая стена трибуны. Между трибуной и забором была щель, всего в полметра шириной. Удобная, скрытая от глаз. Мне говорили знающие люди: чуть правее этого места — дыра, ведущая под трибуну.

А оттуда — куда хочешь.

Но темная щель заросла дремучей крапивой.

Я посмотрел вниз и тихо проклял день, когда ножницы безжалостно обкорнали мои американские брюки.

Левка тоже смотрел на крапиву со злой досадой. Он был в длинных штанах, но босиком. Его мясистые розовые ступни опасно шевелились.

Оркестр заиграл «Вечер на рейде».

— Может, прыгнем? — уныло спросил я. Вообще-то я не очень боялся крапивы. За свою жизнь я столько раз знакомился с ней, что кожа притерпелась к ожогам. Но сейчас темные заросли казались такими зловещими, что заранее по ногам пробегали укусы, похожие на горячих муравьев.

— За каким чертом ты меня сюда притащил? — произнес Левка. В голосе его была угроза.

Я хотел огрызнуться, но тут вспыхнула идея:

— Давай твои штаны! Я их надену и прыгну! А потом отдам тебе вместе с ботинками. Вон оттуда брошу, с чистого места. И ты тоже прыгнешь!

Левка горячо одобрил идею, но внес поправку. Он сначала наденет мои ботинки и прыгнет, а потом бросит их мне вместе со штанами. Я отверг поправку. Во-первых, я опасался, что мои ботинки не налезут на Левкины лапы. Тогда он разозлится и штанов, конечно, не даст. Во-вторых, если налезут, Левка, чего доброго, отправится в них на стадион, а меня оставит на заборе. Да потом еще будет хихикать и рассказывать приятелям, как надул меня. Знаем мы этого типа!

Мы сидели верхом на заборе и препирались. Потом Левка не выдержал и перешел к оскорблениям. Он заявил, что у меня не хватит силенок добросить сверток вон с той полянки до забора. А если и доброшу, то наверняка промажу.

Я заметил, что сила не в жире, а в мускулах. Кроме того, я вспомнил, как он позавчера позорно промазал из рогатки по литровой банке. С пяти шагов!

Левка подумал и обозвал меня трусливой пивкой.

— Колбасник, — сказал я. — Чемодан с ливером.

Забор под Левкой закрихтел. Сам Левка тоже закрихтел и стал подбираться ближе. Но он был неуклюж, а позиция на заборе оказалась неудобной. К тому же между нами качалась колючая проволока.

Левка плюнул в меня и промахнулся. Я тоже плюнул и попал ему на штаны. Левкины глаза стали круглыми от бессильного бешенства.

Оркестр заиграл «Наверх вы, товарищи...».

Эта песня всегда поднимала во мне геройский дух. Я еще раз глянул вниз и решительно встал на кромке забора. Потом сказал Левке несколько слов, которые здесь не привожу, потому что они не характерны для интеллигентного ребенка. И ухнул в щель.

Ой-ей-ей! Ну ничего. Главное — не чесаться, а то потом хуже будет.

Левка, отвесив губу, смотрел на меня с забора. Я показал ему фигу и рванул к заветной полянке.

И там меня ждала награда за «подвиг»!

В траве, среди седых одуванчиков, блестела тусклая медь. Я брякнулся на колени и раздвинул стебли. Там лежала пряжка от широкого ремня.

Она лежала вниз лицевой стороной, и я видел только скобки для пояса и крючок. Неужели это та самая пряжка, о которой я мечтал с давних пор?

Страшно было перевернуть: вдруг не та!

Я сорвал одуванчик и загадал: если сдую за один раз все «парашютики», значит, сбудется. Дунул так, что зашипало в глазах. Крылатые семена прозрачным облачком рванулись в воздух. Но один цепкий «парашютик» застрял у самого стебля. Я смотрел на него с упреком.

Меня выручил ветерок, случайно залетевший сюда. Он качнул траву, приподнял у меня волосы на затылке и осторожно снял с голого одуванчика последнее семя.

— Спасибо... — шепотом сказал я, вздохнул от волнения и перевернул пряжку.

На ней был тяжелый выпуклый якорь со звездой.

Сжимая в ладони сокровище, я отыскал в стене трибуны дыру и нырнул в сумрак. Его протыкали тонкие, как рапиры, лучи. Они казались такими твердыми, что я обходил их, когда искал выход на стадион. Я нашел оторванную доску и вылез на первый ряд трибуны, прямо у ног пожилого гражданина, который очень удивился.

На поле разворачивались яркие колонны. Среди них метался на зеленом «газике» какой-то дядька в белом костюме и кричал в жестяной рупор команды. По-моему, он только мешал. Но потом он укатил, колонны замерли, лишь громадные знамена хлопали по ветру. Взвод старшеклассников, одетых в гимнастерки, трахнул в воздух из винтовок, взлетело несколько ракет, оркестр заиграл первомайскую песню «Москва моя», и физкультурники опять перестроились. Те, кто был в красных майках, образовали большую звезду. На трибунах закричали «ура».

Все было так здорово! Когда кончился парад, начались разные выступления. Мне больше всего понравились ребята с настоящими шпагами и в глухих шлемах. Они устроили целый бой. А еще маленькие девчонки с большими разноцветными мячами (вот бы мне такой!).

Я забыл про горячих муравьев, кусающих меня за икры, и только машинально почесывал ногу об ногу. Кажется, это раздражало пожилого гражданина, но мне было все равно. Радостный праздник окружал меня, сверкал и гремел.

И еще одна большая радость была тут, со мной. Настоящая большая морская пряжка. Я не переставая начинал ее о мягкий вельвет штанов и сам не заметил, как темная медь превратилась в осколок солнца. Она сверкала так же ярко, как трубы оркестра.

Оркестр был недалеко: справа от меня, на этой же трибуне. Когда кончились выступления и объявили перерыв

перед футбольным матчем, я решил пройти рядом с музыкантами: все как следует рассмотреть.

Не очень-то легко было пробраться в людском потоке, но я сумел. И оказался перед барабаном.

Ух какой это был великан! С меня ростом! С медной тарелкой на макушке, с тугими винтами на голубых боках и гладкой серовато-белой кожей. Важный, как генерал. Я, конечно, не удержался. Взял да и стукнул кулаком по его упругому пузу. Барабан добродушно загудел. А его хозяин — прыщеватый дядька в мятой кепке, — не теряя ленивой скуки на лице, поднял колотушку и двинул меня по шее.

Было не больно. Колотушка оказалась мягкой и ворсистой. В первую минуту я принял все спокойно. Крутнул головой и пошел дальше. И лишь у фанерного киоска, в очереди за стаканом ягодного морса, я почувствовал, как вырастает стремительная и тяжелая обида. За что он меня так? Разве я что-то плохое сделал? Ведь я задел не стеклянную вазу, не хрупкий прибор! Стукнул по барабану, который для этого и сделан. По нему тыщу раз подряд лупят тяжелой колотушкой, и ничего не случается. А тут за один разик — по шее!

Мне даже плакать захотелось, честное слово. Я ушел из очереди и сел на траву.

Ну что ему, этому типу, жалко, что ли? Вот если бы я был барабанщиком, я бы всем давал стучать. Пускай хоть со всего стадиона собираются ребята. Только пусть не лезут кучей, а встают в очередь. Стукнул разик — и отходи. Я знаю, что никто бы даже не сжульничал и не стал бы бить два раза подряд.

Я ушел со стадиона. Зачем мне этот праздник, если на нем самым главным музыкальным инструментом командует прыщеватый жадюга.

Подумаешь, музыкант! Пьяница, наверно. И глупее своей колотушки. Такого и на километр не подпустили бы к оркестру, который играл Пятую симфонию!

Эта мысль меня утешила так, будто я отомстил злому барабанщику. Кроме того, у меня была пряжка. Одной этой радости хватило бы на целый день. Я перестал грустить и зашагал домой.

Дома я показал свое сокровище маме. И стал вздыхать, что пряжка есть, а ремня нет. Как носить пряжку? Не пришивать же к малиновому пузу моего полукомбинезона.

— Ладно уж, — сказала мама. Она понимала. Знала, как для меня важно все, что связано с морем.

Мы пошли в кладовку, и мама вытащила из-под всякой рухляди старый кожаный чемодан. Он был весь изрезан: кусками этой кожи в недавние военные годы подшивали валенки. Но мама была просто волшебница. Взяла большие ножницы и каким-то способом ухитрилась выкроить из чемоданной крышки широкую прямую полосу.

Крючок для пряжки я сделал сам из алюминиевой проволоки.

Через полчаса я красовался во дворе, подпоясанный флотским ремнем. Ребята вздыхали и со сдержанной завистью щупали выпуклый якорь.

— Дай примерить, — попросил Толька. Впрочем, без всякой надежды. И не потому, что мы были врагами. Просто смешно было думать, что человек, только что получивший такое сокровище, может дать его в чужие руки.

...С Толькой, кстати говоря, я помирился. И знаете как? Благодаря Таисии Тимофеевне.

У Тольки из-за нее была куча неприятностей. Он жил с Таисией Тимофеевной на одном этаже, и она постоянно ябедничала на него матери — крикливой неласковой тете Даше. Тетя Даша работала вахтером в депо, возвращалась с дежурства усталая и злая и колотила сына, не разобравшись, виноват он или нет. А Толькин отчим не вмешивался: он побаивался своей жены.

Последний раз Тольке влетело за охотничий капсюль, который взорвался у двери Таисии Тимофеевны. Толька

был ни при чем: капсюль подложил Дыркнаб. Но не мог же Толька выдать Дыркнаба!

Он решил отомстить. Нарисовал на тетрадном листе отвратительное пугало, написал: «Таися — кикимора» — и припилил картинку к соседней двери. Таисия Тимофеевна не стала поднимать крик. Она аккуратно сложила листок, а вечером показала его Толькиной матери. Напрасно Толька требовал: «Докажите, что это я нарисовал, а потом уж лупите!» Ему досталось так, что даже во дворе было слышно, как он вопит.

И тогда Толька придумал хитрую и жестокую месть.

У окна Таисии Тимофеевны висел большой фарфоровый градусник. Она им очень дорожила. Градусник был немецкий, его привез из Германии муж Таисии Тимофеевны. Соседи завидовали: встанешь утром, глянешь в окно и сразу видишь, тепло или холодно. Очень удобно. Фарфоровую шкалу градусника украшали голубые цветочки и завитушки. Считалось, что он старинный и очень ценный.

— Расшибу я эту фрицевскую клизму, — сказал Толька на следующий день после расправы.

— Опять попадет, — резонно заметил Дыркнаб.

— Нет, — сказал Толька.

— Промажешь, — заявил Левка.

— Нет, — сказал Толька.

Он поклялся, что не промажет, если у него будет дальнобойная рогатка из красной резины.

Дыркнаб вздохнул. Он чувствовал себя виноватым перед Толькой — из-за капсюля. Он рад был бы помочь, да где взять красную резину? Она была редкостью. Все, кто стоял рядом, задумались и замолчали.

И тогда я небрежно сказал:

— Надо посмотреть. Может, достану...

И Дыркнаб, и Марик, и Петька Лапин, и даже Майка взглянули на меня с пониманием: оценили благородство. Лишь Толька угрюмо смотрел в сторону.

Но я не ради Тольки старался, а ради общего дела. Ведь Таисия Тимофеевна была недругом всех здешних мальчишек.

С тех пор как Толька потерпел от меня поражение, стал я равноправным человеком в мальчишечьей компании. И эта радость равноправия была такая, что я готов был даже на жертву.

А жертва требовалась.

Дома у нас была большая красная грелка. Я ее любил. В давние времена, когда я еще не ходил в школу и целыми днями сидел один дома, она была любимой игрушкой. Я туго надувал ее, завинчивал пробку, и грелка превращалась в веселое прыгучее существо. Она скакала от меня по углам, как заяц от охотника, или послушно становилась коньком-горбунком, а порой заменяла футбольный мяч. Иногда, после шумной игры, я засыпал, привалившись к ней щекой, словно к подушке.

Сейчас я играл с ней редко, но все равно было жаль.

Дома я последний раз надул грелку и погладил тугие бока. Грелка отозвалась упругим звоном. Я взял ножницы, зажмурился и занес руку. Наверно, с таким же чувством древние воины приносили в жертву любимых коней...

Грелка испустила дух.

Я расширил пробоину и, когда мама пришла на обед, сокрушенно признался:

— Грелка проткнулась...

— Как это тебя угораздило?

— Я нечаянно, — бессовестно соврал я и ненатуральным голосом сказал: — Может быть, еще заклеим?

— Как же! Заклеишь тут! Вон какая дыра. Придется выбросить.

— Жалко, — искренне сказал я и унес грелку в кладовку. И там вырезал из нее две узких полосы...

Операцию разработали тонко. Долго Толька выпрашивал у матери деньги на кино. Она наконец дала. Толька тут же сбегал в кассу кинотеатра и будто случайно показал ма-

тери билет. Потом спохватился, что опаздывает, и умчался.

Билет он сразу перепродал Левке, а сам ушел в лог пристреливать рогатку.

Через полчаса Толька чужими дворами пробрался к нашему забору, а оттуда — на пустой сеновал. Дыркнаб, я и Майка ждали его. Позиция была что надо: мы видели весь двор, а нас никто не видел.

Градусник сверкал белым фарфором на фоне темного косяка.

— Ну? — нервно сказал Дыркнаб.

Толька деловито зарядил рогатку железной гайкой. Он встал у крошечного оконца, а мы смотрели сквозь щели.

Рогатка щелкнула.

Конечно, Толька был вредный тип, но стрелял он здорово. Градусник словно взорвался. Мало того! Гайка рикошетом ударила в оконное стекло, и оно украсилось большой дырой.

Мы покинули место засады бесшумно и стремительно. Уже в переулке Дыркнаб выхватил на бегу у Тольки рогатку и сунул мне в карман. И правильно! Если бы у Тольки кто-нибудь ее увидел, не помогли бы никакие оправдания. А меня взрослые считали воспитанным ребенком. Кто бы поверил, что я участвовал в таком ужасном деле?..

Вечером Толька встретил меня на улице и хмуро сказал:

— Рогатульку отдай...

Он просил не рогатку, а лишь рогатульку — ручку с развилкой. Она была его собственная, он смастерил ее из толстой сиреновой ветки.

Я бросил рогатку на тротуар. Не глядя на меня, Толька поднял ее и стал снимать резину. А зачем она мне? Я мог нарезать из грелки еще хоть для десятка рогаток.

— Ты лучше подшипник отдай, — сказал я.

Толька перестал возиться с резиной. Глянул исподлобья. Сказал сумрачно:

— Потерял.

Видимо, он не врал. Я засунул кулаки в карманы, обошел Тольку, слегка зацепив плечом, и не спеша зашагал домой.

— Да отдам я! — досадливо крикнул он вслед. — Найду и отдам!

Я не обернулся. Но с тех пор мы не ссорились.

...Мы не ссорились больше, но ремень я Тольке не дал. Я снимал его лишь перед сном да еще на реке, когда купались. И пряжку чистил прямо на животе, не расстегивая. Драил суконкой и зубным порошком. Я извел за неделю столько порошка, сколько не истратил за всю жизнь для чистки зубов.

Штаны и колени у меня были постоянно в белой пыли. Зато пряжка сияла. И не только на солнце. Даже при луне она светила, как фонарик.

Луна в те вечера была удивительная. Когда уходило солнце и на востоке начинали густеть дымчатые сумерки, она выползала над заборами — красная и такая громадная, что смотреть было страшновато. Потом она поднималась выше, делалась меньше, а яркость ее нарастала. Заря не гасла всю ночь. Золотистый свет ее смешивался с лунным серебряным светом, и в воздухе появлялся легкий, какой-то сказочный блеск.

Наверно, только в детстве бывают такие вечера, похожие на волшебный праздник. И я до сих пор благодарен маме, что она не запрещала мне этих поздних игр, хотя бывало, что я приходил домой лишь к полуночи.

Едва появлялась луна, как в тишине раздавались гулкие барабанные удары. Это Славка Дыркаб колотил бамбуковой палкой по ржавой железной бочке (она с незапамятных времен валялась на улице рядом с нашим домом). И мы вылетали из калиток.

Раньше всех успевал Марик Городецкий. Он вскакивал на бочку и, размахивая тросточкой, похожей на шпагу, весело кричал:

— Торопитесь, храбрые сеньоры! Вас король приглашает на бал!

В те дни в кино «Север» шел фильм «Золушка», и мы понимали, что Марик не кривляется, а изображает придворного.

За плечами у Марика тихо позванивал и струился плащ из легких металлических лент. Они назывались у нас «золотинками». Мы с большим трудом выковыривали их из негодных конденсаторов, которые добывали на свалке.

Конечно, такие плащи были у каждого. Они требовались для игры.

Игра была простая и древняя, как мир. Названий у нее множество. Мы называли ее «колечко».

Мы делились на две группы. Одни ждали, считая до ста, а другие разлетались во все стороны, серебристо звеня лентами. Потом начинались поиски и погони. Поймать всех, кто прятался, было нелегко. А когда наконец пленников приводили к бочке, надо было еще отгадать, у кого из них кольцо. Обыкновенное железное колечко от всякого замка. Если с трех раз удавалось отгадать, пленники превращались в «сыщиков». Если нет — все сначала.

Конечно, убежать и прятаться было интереснее, чем искать и догонять. Мне трудно рассказать, как это здорово! Сначала — разлетающийся стук подошв, и ты мчишься, оставляя для «сыщиков» насмешливые знаки: на перекрестке, на тротуаре — стрелы в четыре стороны. Ищи ветра в поле!

А потом приткнешься у незнакомого палисадника или в заросшей лопухами канаве и с тревожным замиранием ждешь. Стараешься не шелохнуть звонким плащом. Ленты отзываются на каждое движение, могут выдать. А без них играть не разрешается. Как заметишь в сумерках притаившегося беглеца, если он без плаща?

И вот сидишь. Иногда рядом, у самой щеки, тихо дышит товарищ. Но даже шепотом нельзя вымолвить словечко. Всюду тишина...

И вдруг снова смех, крики, стремительный бег, а позади затихающий топот обманутой погони...

Один раз, когда у меня было колечко; мы с Майкой, спасаясь от «сыщиков», с разгона выскочили к логу.

В логу, в глубине, лежали белесые пласты тумана. Склоны были в сумерках. Пахло болотом, и тянула снизу влажная прохлада. А на том берегу врезались в розовато-желтый закат высокие и острые, как пики, ели. Они поднимались над низкими крышами кварталов, которые назывались Большое Городище. Это было как рисунок для сказки.

Мы притихли. Спускаться в лог сейчас было страшно-вато, да и ни к чему: погоня заглохла.

— Давай постоим, — шепотом сказала Майка.

— Давай, — согласился я. — На всякий случай. А то еще попадемся...

Над Городищем дрожала, как ртутная капля, одинокая звезда. Где-то далеко патефон играл песню «Вечер на рейде».

— Слушай, — сказала Майка.

— Я слушаю. Я эту песню знаю.

— Ты меня слушай, — серьезно сказала она. — У тебя когда день рождения?

— А зачем?

— Ну так. Надо. Когда?

Я сказал.

Майка вздохнула и призналась:

— Я хочу поздравить тебя.

— Но ведь он не сегодня. Он же давно был.

— Ну, все равно, — с легким нажимом сказала Майка. — Ведь тогда я тебя не знала. А сейчас знаю. Пусть это будет за тогда.

— Хорошо... Спасибо, Майка, — сказал я.

— Подожди, — строго остановила она. — Я ведь еще не поздравила. — Она встала передо мной и в сухие горячие ладошки взяла мою руку. — Владик, я тебя поздравляю с днем рождения. И желаю тебе хорошего счастья.

Я подумал, что счастье всегда хорошее, плохого счастья не бывает, и стало немножко смешно. Но я ничего не сказал, потому что сделалось не только смешно, а еще и чуть-чуть грустно. И хорошо.

Надо было сказать Майке, что я тоже поздравляю ее с днем рождения. Но я почему-то постеснялся. И Майка молчала.

Так мы еще постояли друг перед другом, и я наконец сказал:

— Побежали.

Она кивнула. И мы побежали в глубь наших переулков, где светились теплые окна и нагретый за день воздух мягкими пластами лежал над пыльными дорогами и тротуарами.

ВЕРИ МОИХ ЛОШАДЕЙ...

В этих стремительных солнечных днях, в этих вечерах с большой луной и приключениями все было хорошо. Все, кроме одного: я разлюбил Майку.

Я и сам не заметил, как это случилось. А когда понял, начал мучиться. Но что я мог сделать? Майка стала совсем не такая. Она всегда и везде была с нами и сделалась как мальчишка. Даже научилась плавать вразмашку и свистеть. Волосы, чтобы не мешали, она заплетала в две тонких косы. Бегала в старых мальчишечьих ботинках, чтобы удобнее было гонять футбольный мяч: она любила играть в полузащите.

И вообще была она теперь длинная, худая, исцарапанная.

И я наконец спохватился. Что же это в самом деле? Не могу же я быть влюбленным в левого полузащитника!

Я стал грустить. О той Майке, которую увидел впервые сквозь дыру в заборе. О прекрасной незнакомке с золотой паутиной волос. О Майке, которая мне сказала, смущаясь: «А хочешь, покажу, как открывается калитка?» Теперь-то

для меня секрета не было: я знал, как дергать за шнурок, мог прибегать к Майке хоть сто раз в день. А еще проще было влезть на забор и три раза свистнуть — Майка выбегала сама.

Все было хорошо. А любовь кончилась.

Чтобы погрузить без помех, я убежал от ребят и бродил в одиночестве по логу. Там неподвижно стоял пропитанный солнцем и полынью воздух. Звенели кузнечики. А может быть, звенела тишина. По сухим тропинкам ходили жуки-пожарники. Красные с черными узорами на спине. Тропинки вились по дну лога у самых откосов. На откосах среди зарослей желтели проплешины. Оттуда временами скользили на тропинки ручейки пересохших глиняных крошек. Крошки попадали в ботинки и мешали спокойному грустному настроению. А босиком ходить было нельзя: из домишек, прилепившихся к обрывам, сбрасывали вниз битую посуду и стекла.

Да и не только стекла были опасны. Однажды я чуть не распорол ногу о полоску оцинкованной жести. Но я не огорчился — полоска мне понравилась. Красивая, блестящая, как серебро. Пригодится! Потом я нашел еще несколько. И наконец наткнулся на целую россыпь замечательных обрезков.

Видно, артель жестянщиков устроила здесь свалку.

Для кого свалка, а для кого клад!

Я набрал этого добра, сколько мог унести. А дома взялся за работу. Скобками из алюминиевой проволоки начал склепывать рыцарские доспехи. Из тонких полос я сделал набедренники и широкий пояс, из треугольных обрезков — налокотники, наколенники и наплечники. Из бракованного ведерного доньшка получился сверкающий нагрудник. И еще я смастерил много всяких деталей, про которые не знал, как они называются, а только видел на картинках в книге «Дон Кихот».

Больше всего я провозился со шлемом. Получилось что-то среднее между королевской короной и волчьим

капканом. Но забрало опускалось и поднималось, как настоящее.

Я облачился в железный костюм и, погромыхая, подошел к зеркалу. Здорово! Жаль, что мама на работе. Она часто говорила, что я не довожу до конца ни одно дело. А вот, пожалуйста, начал — и довел. Хоть сейчас в бой!

Но выйти во двор, покрасоваться перед ребятами я не решился. Знаем мы такое дело! У меня есть доспехи, а у них нет. Сразу начнут зубоскалить от зависти. А может быть, начнут испытывать на прочность. Если человек идет просто так, никто не будет стучать его палкой по голове, а если он в железном шлеме, разве удержишься... А шлем все-таки не такой уж крепкий.

Я сложил рыцарские латы в большой ободраный портфель (мы в нем зимой носили картошку с базара), сунул за ремень деревянный свой меч и опять отправился в лог. Там было одно местечко — заросшая коноплей и бурьяном выемка в отлогом берегу. В этих зарослях я и облачился в доспехи.

Я думал все время про Майку.

Наверно, ее заколдовал злой волшебник. И мне придется вступить с ним в бой, как Дон Кихоту. Только Дон Кихот дрался с ненастоящими волшебниками, а у меня будет такой, что страшнее не придумаешь.

Я уже знал, как он выглядит. У него похожее на толстое бревно туловище, все в чешуйках и грязной шерсти, косматая лопухая голова, желтые глаза и клыки длиной в мизинец. У него шесть обезьяньих лап; он, как великанский паук, шевелится в глубине пещеры, поджидая добычу.

Где эта пещера, я тоже знал. Неподалеку, на крутом откосе, чернела в зарослях глубокая дыра. Жители окрестных кварталов раньше добывали там песок, а потом весенние ручьи подмыли громадный пласт глины, и он съехал, разрушив тропинку.

В неприступном черном логове жил теперь колдун по имени Черибузо.

Стараясь не звякнуть, я стал подбираться к вражьей берлоге. Было солнечно и пусто в огромном логоу, звенел знойный воздух. Мне стало жутковато. Вдруг придуманный Черибузо и в самом деле сейчас выползет на свет...

Но он, конечно, не выползал. Он выслал вперед злых солдат. Шеренги чертополоха, бурьяна и репейника крепко защищали своего хозяина-колдуна.

Ах, так? Я плавно вытянул из-за пояса меч. Ш-шэх! — свистнуло лезвие, и куст бурьяна, постояв секунду, мягко лег мне под ноги.

Р-раз, р-раз! Я старался рубить отточенным кончиком клинка. Срезанные под корень враги валились без шума и треска.

Но вдруг — трах! — меч упруго подскочил и чуть не вырвался из ладони. Это жилистый и твердый стебель репейника оказался клинку не по зубам.

Ну, держись! Я серединой меча несколько раз ударил вражеского генерала. Он стоял. Я разозлился. Тут уж не до страхов, не до колдуна. Я обрушил на противника такие удары, что он рухнул наконец с шумом, похожим на вздох.

Я откинул забрало и вытер мокрое лицо. Было жарко, солнце успело нагреть мои доспехи. Черибузо не подавал признаков жизни. И по-прежнему тонко пела в ушах тишина. Но вот в это пение проник другой звук. Он был негромкий и басовитый. Он был грозный. У меня в один миг натянулись все жилки.

Я научился уже многого не бояться. Мог ночью забраться на чердак, прыгнуть в крапиву, отлупить Тольку, читать повесть Гоголя «Вий» при копилке и сказать здоровенному Петьке Брындину по прозвищу Зер-Гут, что он драная сколопендра. Но мохнатых шмелей и злых кусачих ос я боялся пуше огня.

Гуденье нарастало. Я завертел головой. Громадный, чуть ли не с грецкий орех, шмель совершал вокруг меня неторопливый облет. Тут же я представил, как он заберется мне под латы и будет жужжать и биться там...

Черибузо, наверно, с ехидной улыбкой наблюдал из пещеры, как рыцарь в сверкающих доспехах, звеня и погромыхивая, летит вниз, не разбирая дороги.

Я отдышался у ручья на лужайке, окруженной мелким ольховником.

— У, ж-животное... — сказал я в адрес шмеля, чтобы не было так стыдно за свое отступление.

— Чиво говоришь?

Я даже подскочил.

За кустом, у самого ручья, пятками в воде сидела Манярка.

— Чиво говоришь? — повторила она, и на лице у нее проступило сильнейшее любопытство. Узнала.

— Ничего, — буркнул я. — Ты что здесь делаешь? Вот Славка узнает, где ты болтаешься, он тебе задаст.

— Не, — рассеянно откликнулась она. — Не задаст. Он меня не лупит.

— Зря, — сурово сказал я. Больше всего я боялся, что Манярка догадается о моем позорном бегстве. Но как она могла догадаться?

Я с ожесточением начал дергать тесемки и срывать крючки доспехов. Если человек струсил, он всегда потом злится. Манярка следила за мной, не двигаясь.

Было в ней что-то птичье. Глаза — как черные пуговицы, шея тонкая, будто у птенца. И даже острые лопатки под платьем были похожи на неотросшие крылышки.

Не нравилось мне, как она сидит и смотрит: разболтает теперь всем про мое снаряжение. А тут еще крючок наплечника намертво вцепился в рубашку. Я дергал, дергал...

— Давай отцеплю, — сказала Манярка.

Но не двинулась, пока я не ответил:

— Ну отцепи... Чего сидишь?

Она встала, подошла сзади и деловито задышала мне в шею. Отцепила. Потом села на корточки над моим снаряжением.

— Это раньше солдаты носили такие железины... Ты сам делал?

— А кто? Пушкин, что ли?

— Я знаю, — сказала она. — Пушкин — это писатель. Он кино про царя Салтана сочинил.

Был такой фильм. Не цветной, не широкоэкранный, но все равно хороший.

— Ну-ка, помоги, — велел я.

Она послушно уложила мне в портфель доспехи.

— Пойдем, — сказал я. — Нечего тебе здесь одной делать. Славка, наверно, по всем улицам ищет.

Я знал, как Дыркаб нервничал, если Манярка исчезала.

— Не пойду, — нахмурилась она. — Я с ним поругалась.

— Ну подумаешь — поругалась. А сейчас помирись.

— Пускай он первый мирится.

— А как же он будет мириться, если тебя нет?! Пошли!

— Не пойду.

— Ну, что ты будешь здесь делать, а?

— Я рыбу ловлю.

И тут я увидел на берегу здоровенную палку с привязанной ниткой. На конце нитки была расстегнутая безопасная булавка, а на острие булавки сидела дохлая зеленая муха.

Вот потеха!

— Этой удочкой ловишь?

— Ага.

— Ничего ты ею не поймает. Да тут и рыбы нет.

— Южка говорил, что есть маленькая.

— Ничего здесь нет. Айда!

Она повернулась спиной. Вот вредная! Пришлось пойти на хитрость:

— Если пойдешь, я тебе настоящую удочку сделаю.

Она обернулась.

— А ты не врешь?

— Маняра! — сурово сказал я.

Она подумала. Потом глаза ее остановились на моей пряжке.

— А дашь ремень поносить?

— Ты же не мальчик!

— А девочки тоже бывают моряки.

Что с ней делать?

— Только не зажиль, отдай потом.

Она быстро затолкала платье в трусики и подпоясалась. Но ремень сваливался. Пришлось мне передвигать пряжку.

Нацепив ремень, Манярка полюбовалась пряжкой, закинула на плечо свою удочку (не снимая мухи с булавки) и зашагала впереди меня.

Во дворе я сдал ее Дыркабу, который и вправду уже беспокоился.

— Выдеру, — жалобно сказал он. — А ну, дай сюда ремень!

Но Манярка ускакала как коза.

Под вечер Дыркаб вызвал меня на крыльцо. Манярка была с ним рядом.

— Ты ей обещал удочку сделать?

— Ну и что? — сказал я. — Она никак домой не шла.

— Вот, видали! — в сердцах сказал Дыркаб. — А теперь она от меня не отлипает: почему ты удочку не делаешь?

— Она чья сестра? — взъелся я. — Моя? Она твоя сестра! Ты и делай!

Дыркаб тоже разозлился:

— А она не хочет! Понятно? Хочет, чтобы ты!

Видали фокусы?

— Ты ее спроси, не хочет ли она по шее.

Манярка молча смотрела на меня и слушала. Серьезная такая. Когда я сказал про шею, она повернулась и зашагала прочь. Потом остановилась. Вернулась, не глядя на меня. Сняла мой ремень, положила на крыльцо и снова пошла от нас.

Что тут будешь делать? Нельзя же, чтобы человек вот так уходил.

— Постой, ты, — сказал я.

Пришлось искать подходящий прут для удилица. Нашел. Но нужную нитку отыскать не смог и сделал леску из шпагата.

— Зачем такая толстая? — недовольно спросила Манярка.

— А если большая шука попадетса?

— Тогда крючок тоже большой надо.

— Крючок — завтра. Проволоку найду и сделаю.

— Ладно, — снисходительно сказала она и убежала, оглядываясь.

Поздно вечером, когда я, набегавшись, уже собирался спать, мама сообщила:

— Там тебя барышня спрашивает.

— Кто? Майка, что ли?

— Не Майка. Маня.

— Маня?.. Ах, Манярка! Ну что ей опять надо?

Она стояла у крыльца с моей «удочкой».

— Маняра! Ты чего не спишь? Ну, Славка намылит тебе шею!

— Не намылит, — отмахнулась она. И, встав на цыпочки, зашептала мне в ухо: — Владька, а можно, чтобы это была не удочка, а кнут? Все равно ведь крючка нету, а только палка с веревкой. Можно?

Ну смех, да и только! Шелчет, будто какая-то тайна у нее.

— Зачем тебе кнут? — спросил я громко.

Она смутилась.

— Играть... Как будто в цирке. С лошадьми. Учить их прыгать.

Понятно. Она видела цирковую афишу. В открытие цирка уже никто не верил, но афиши время от времени появлялись, и на одной из них был нарисован худой дрессировщик во фраке, цилиндре и с длинным кнутом. У это-

го кнута было какое-то трудное название. Мама говорила, да я забыл. По сторонам от дрессировщика стояли, вздыбившись, красивые лошади с перьями на головах.

Мне эта афиша не нравилась. Я не любил, когда мучили животных, а этот дядька в цилиндре был определенно мучителем: вон какой хлыст!

— Во-первых, — строго сказал я, — надо говорить не «лошадьми», а «лошадьми». А во-вторых, бить лошадей кнутом — это свинство. Дай-ка я тебе врежу! Понравится тебе?

Манярка насупилась:

— А чего... А как их тогда учить?

— По-хорошему, вот как.

Ей, наверно, стало неловко, и она сказала обидчиво:

— Будто ты лучше всех знаешь... У тебя, что ли, есть лошадь?

И я неожиданно ответил:

— Три.

Это получилось так просто и уверенно, что Манярка приоткрыла рот и лишь через минуту сказала:

— Врешь...

— Три, — спокойно повторил я. — Только они не здесь. — И почувствовал, как холодок прошел по спине.

Над заборами, над старинной башней библиотеки, задернувшись наполовину дымчатым облаком, висела большая луна. Непонятно лопотал листьями тополь, хотя воздух казался неподвижным. Было самое время для сказок и тайн.

— Ты не веришь, — сказал я. — Ну и не надо. А у меня есть три лошади. Они живут в дальнем лунном поле. Там серебряные облака. А когда все спят, они приходят ко мне...

Манярка вцепилась в мой локоть, и я почувствовал, как в ее ладошке бьется маленькая жилка. Я думал, что она испугалась. Но нет.

— Пойдем, — прошептала она.

— Куда?

— Ну, туда, на корягу. Здесь не надо рассказывать. Там лучше.

Она повела меня в дальний угол двора, где лежал обрубок толстеного бревна. Он был такой необъятный и такой сучковато-жилистый, что даже в самые жестокие военные зимы его не смогли ни украсть, ни разрубить на месте. Кроме того, все забыли, кто его хозяин. Этот обрубок лежал здесь с незапамятных времен. Он давно лишился коры и был отполирован штанами еще довоенных мальчишек, друзей старшего Славкиного брата.

Мы звали это удивительное бревно корягой и собирались иногда здесь поболтать.

Это было подходящее место для вечерней сказки. Кругом стояли высокие темные травы, нависала над забором густая рябина, а прямо над головой было ясное небо с растворенным лунным светом и редкими большими звездами.

Мы сели.

— Рассказывай, — шепотом попросила Манярка.

И я стал рассказывать. О том, как приходили ко мне Черные Лошади, о наших дальних дорогах и приключениях, о сказках, в которые они заносили меня...

Манярка тепло дышала мне в плечо и молчала. И немножко вздрагивала иногда.

— Холодно? — спросил я.

— Не... А они еще придут?

— Может быть...

— А сейчас? Придут?

— Сейчас?... Нет, Манярка. Они чаще всего приходят зимой.

— А если мы позовем?

— А их не зовут. Их просто надо ждать. Они сами знают, когда их ждут.

— А сейчас?

— Что «сейчас»?

— Знают?

— А кто их сейчас ждет?

— Я жду, — твердо сказала Манярка и подтянула колени к подбородку. Всем своим видом она показывала, что будет ждать хоть до утра.

Я забормотал, что в общем-то сейчас не время, что лошади могут оказаться на каникулах, что вообще-то они приходят не так уж часто. Вовсе они не обязаны приходить каждый вечер...

— Ну давай подождем немножко...

Пришлось согласиться. Мы подождали немножко. Потом еще. Затем еще чуть-чуть.

Потом на крыльце появилась мама и стала звать меня.

— Не пришли, — сказал я. И, чтобы успокоить Манярку, добавил: — Может быть, завтра...

На следующий вечер, в это же время, пришел сердитый Дыркнаб:

— Иди разбирайся там с ней.

— С кем?

— С кем, с кем! С Маняркой! Сидит на коряге и уходит не хочет. Спать пора, а она не идет. Я говорю: «Чего сидишь?», а она говорит: «Уходи, не скажу тебе, а Владьке скажу».

— А тебе жалко? Посидит и придет.

— А если куда-нибудь опять сбежит? Ищи потом...

— Не сбежит. Ты иди. Я с ней поговорю.

Манярка сидела так же, как вчера. Молчаливая, маленькая.

— Слушай, — нерешительно сказал я, — понимаешь... Ну, я вчера маленько прихвстал. Они редко приходят.

— Ну и что? Все равно интересно. А вдруг сегодня...

Я ее понимал. Ведь ожидание сказки — это почти как сама сказка.

— Манярка... Ну, ведь их можно ждать дома, когда уже спать ляжешь.

— Не... Там Славка услышает и отберет.

— Не «услышает», а «услышит». Не услышит ничего

твой Славка... И они его не послушаются. Они слушаются только того, кто... Ну ладно. Вот! — Я решился. Вынул из кармана крошечную подкову, которую весной подарил мне всадник. — Вот, Манярка. Это такая тайная вещь. У кого она есть, того они и слушаются. И к тому придут... Бери.

— Насовсем? — прошептала она.

— Насовсем.

Даже в сумерках было видно, какая она стала счастливая. Ни одного кармашка у нее не было, и подкову она надела на руку, повыше локтя. Как браслет.

Пошевелила рукой, посмотрела на меня и снова спросила:

— Насовсем?

— Насовсем, — сказал я. — Бери моих лошадей.

Я не жалел. Ничего, что лошади ушли. Пусть Манярка радуется. А у меня есть Каравелла. И будет всегда.

ГЛАДИАТОРЫ

Когда-то в нашем дворе был хлебный магазинчик, и знакомая продавщица Катя всем соседям оставляла их пайки, чтобы зря не стояли в очереди. Но такая хорошая жизнь давно кончилась. Теперь за хлебом приходилось бегать в большой магазин № 7 на Первомайской улице.

Иногда придешь — и ни одного человека, а хлебом все полки загружены, а иногда — страшно вспомнить: очередь на улице до самого угла.

Особенно длинные очереди были в начале августа. Приходилось вставать пораньше, бежать на Первомайскую и ждать: когда откроют магазин, когда придет повозка с хлебом, когда начнут продавать (или, как говорили, «отпускать»).

«Отпускали» медленно. Сначала очередь шла вдоль магазина по тротуару, потом втягивалась внутрь. На улице было еще не так скучно: можно пробежаться, поиграть с

ребятами. А в магазине начиналось мучение. Ровно гудела очередь. Надоедливо звякали ножницы, вырезая хлебные талоны. Сонно жужжали мухи. От хлебного запаха прорезывался едкий, как боль, голод и начинала кружиться голова.

От дверей до прилавка очередь двигалась около часа. Скамеек в магазине не было. Те, кто успевал, устраивались на широких подоконниках и ждали, когда подойдет очередь.

Однажды я увидел на подоконнике Быпу. На коленях Быпа держал растрепанную книжку, но не читал, а лениво смотрел вверх голов.

— Быпа, здорово!

Он обрадовался. Я даже не думал, что он так обрадуется.

— Айда ко мне!

Локтями Быпа пораздвинул соседей и сказал тетке, которая рядом с собой на подоконник поставила корзину:

— Убери-ка багаж, тетенька. Тут не камера хранения, людям сидеть негде.

Тетка завела скучный разговор о хулиганах, которые не уважают старших, но корзину поставила на пол.

Я сел рядом с Быпой.

— Давно я тебя не видал, — сказал Быпа.

Вот чудной! А где ему меня увидеть? Бывал он в нашем дворе совсем редко, купаться с нами не ходил. У них там, на Вокзальной, была своя компания. Но я из вежливости ответил:

— Я тебя тоже.

Мы поговорили о том, что через три недели в школу, а еще совсем неохота, и что скоро, говорят, отменят хлебные карточки, и тогда уж не будет очередей, а хлеба сколько хочешь...

Потом я спросил:

— Что за книжка?

— «Спартак». Здорово интересная, да я уже всю прочитал.

— Про футболистов?

Быпа вытарашил глаза.

Надо сказать, что во многих вопросах я был страшный невежда, хотя разбирался в парусах, в географии, в устройстве Вселенной. Насчет «Спартака» я был уверен, что это всего-навсего футбольная команда. Мало того! Я считал, что название происходит от слова «спорт» и пишется «Спортак».

Оправившись от изумления, Быпа тут же на подоконнике коротко поведал мне о восстании гладиаторов. И когда он кончил, я, конечно, сказал:

— Дай почитать!

«Не даст», — подумал я. И в самом деле, зачем он будет давать? Может, что-нибудь в обмен попросит? Но у меня ничего же нет.

Быпа подумал, вздохнул. И разрешил:

— Ну, бери... Только смотри: она вон какая растрепанная.

Я кивал, ошалев от радости. Такая толстая, такая интересная!

А Быпа так раздобрился, что поставил меня в свою очередь, которая была гораздо ближе моей. Женщины зашумели, но он решительно и деловито доказал, что мы занимали вместе.

Потом мы шагали по звенящей от зноя улице и грызли хлебные маленькие кусочки — привески.

— Слушай... — нерешительно сказал Быпа. — Ты вот что... Знаешь, дай мне твой ремень поносить, а?

Я даже шаги замедлил. Мой морской ремень? А если Быпа зажилит? Это ведь не Манярка.

— Да не бойся, я не насовсем прошу, — объяснил Быпа. — Маленько поношу и отдам. Ну, пока ты книжку читаешь? Ладно?

Может, он нарочно книжку подсунил и в очередь меня поставил, чтобы ремень выманить? Но ведь он мог бы его

просто отобрать. Вон какой он здоровый! Я бы и не пикнул.

— Ты не думай, что я за книжку прошу, — сказал Быпа. — Мне надо Хрыщу одно дело доказать. Знаешь Хрыща? Он в нашем доме живет.

— Что доказать-то? — спросил я, чтобы оттянуть время.

— А он не верит, что у меня отец был моряк. Я ему ремень покажу и скажу, что отец оставил, когда в сорок третьем году в отпуск приезжал.

— А на самом деле он ничего не оставил?

Быпа помотал головой.

— Он был подводник... Их не нашли. А в отпуск он и не приезжал, только собирался.

— Бери, — сказал я. — Только не потеряй.

...Два дня без передыха я читал «Спартака». Даже купаться не бегал. Вечером второго дня ко мне постучался Южка и вызвал во двор.

— Почему не выходишь? Не отпускают?

— Читаю, — вздохнул я.

— Целый день читать заставляють? — изумился он.

— Никто не заставляет! Сам! Знаешь какая книжка!

И тут же на крыльце я начал рассказывать Южке о суровых бойцах-гладиаторах, которых в Древнем Риме богачи заставляли драться друг с другом, а сами смотрели как цирк или кино.

Подошли и другие ребята. Никто, кроме Марика и Дыркаба, раньше не слыхал про Спартака — вождя гладиаторов.

— Брехня это все, — обидчиво сказал Петька Лапин. — Писатели насочиняют, а вы верите.

— Ничего подобного, — вступился Марик. — Это исторический факт.

— Про Спартака и в учебнике написано, — поддержал Дыркаб. — Ты, Лапа, зря не ругайся на писателей.

— А чего они такие балбесы, ваши гладиаторы?! — возмущенно заявил Петька. — Друг друга убивали! Лучше бы

революцию устроили! Они же все с мечами! Как бы начали рубить этих самых... как их...

— А они и так начали! Не дослушал, а кричишь!

Книжку у меня растащили по частям. Читали, обмениваясь тонкими пачками листов. Собрал я всего «Спартака» лишь через неделю.

Во дворе начались гладиаторские бои. Стучали деревянные мечи, гремели крышки от больших кастрюль, ставшие щитами. Мощные наступательные крики потрясали квартал. Таисия Тимофеевна получила новый повод, чтобы обвинить нас в невоспитанности.

Мы рубились и спорили. Сколько раз надо задеть противника мечом, чтобы он считался убитым? Чья очередь быть легионерами?

Никто, конечно, не хотел идти в легионеры. Ведь это были все равно что фашисты, только старинные. Приходилось по десять раз делиться, считаться, тянуть жребий. Но, несмотря на это, в самый решительный момент римские легионеры нарушали все правила и бессовестно орали:

— Ура! За свободу! Бей фрицев!

Мы все переругались и устали от таких споров. И собрали наконец военный совет. На совете решили: во время игр не орать и не бросаться друг на друга как сумасшедшие, а все делать по плану.

Игра должна состоять из двух частей. Сначала гладиаторское представление: бой между двумя группами. Чья группа победит, та и будет спартаковцами. А во второй части — восстание и битвы с легионерами. И чтобы все по правилам!

Такая игра требовала подготовки, и мы объявили двухдневный перерыв.

На следующий день, в субботу, все клепали себе доспехи, вырезали новые мечи, рисовали мелом на щитах львов и носорогов.

А я бездельничал. Боевые латы у меня были еще раньше. Щит и меч не требовали ремонта.

От нечего делать я решил пробежаться с гонялкой. Вышел на улицу и увидел Быпу.

Он брел навстречу, и на животе у него сияла пряжка моего ремня.

— Эй, Быпа!

— А, Владик!

Он сразу оживился, как увидел меня. И даже не по фамилии назвал, а по имени. У нас в классе все друг друга по фамилиям называли. Или по прозвищам. А он сказал «Владик».

— Ты куда? — спросил я.

— В кинушку ходил. Билетов нету.

— Жарища, — сказал я. — Делать ничего не хочется.

— Ага, — охотно сказал он.

Я снова поглядел на пряжку.

— Слушай, Быпа, я «Спартака» уже прочитал. Все ребята прочитали. Пойдем ко мне, заберешь.

— Айда.

Мы пошли, и он все поглядывал на меня весело и смущенно. Такой большой, лохматый, толстогубый.

— Ты что, Быпа, все меня разглядываешь?

— Так просто... Все ребята куда-то подевались, скучно одному. А тут ты встретился.

— А Валерка Хрыщиков? Он же рядом с тобой живет.

— Да что он, этот Хрыщ...

Дома я отдал Быпе книжку. Он ее подержал перед собой, шмыгнув носом и хрипловато сказал:

— Да ладно... Ты ее бери, если тебе ее надо. Если нравится.

Я озадаченно поморгал.

— Как «бери»?

— Ну, так... На память.

— Разве уезжаешь куда-нибудь?

— Да нет. Просто так. Раз тебе ее надо...

Мне ее не так уж было надо сейчас. Я ее запомнил от корки до корки. Но я это не стал говорить.

Быпа... Как он сказал: «На память»... А тогда вот взял и поставил в магазине в свою очередь. А еще раньше ни с того ни с сего заступился за меня перед Вовкой Вершининым...

Я взял книжку:

— Спасибо, Быпа. Я ей новые корочки сделаю.

— Если хочешь, я тебе еще толстую книгу притащу. Под названием «Собор Парижской Богоматери». Только я еще ее не читал. Прочитаю и принесу.

И почему я раньше думал, что Быпа некрасивый? У него были такие хорошие коричневые глаза. Как у доброй лошади. Вы не смейтесь! У лошадей очень ласковые и красивые глаза.

И вообще лицо у Быпы было доброе. Почему кто-то придумал, что он хулиган?

Он снял ремень, обмотал вокруг пряжки.

— На. Поносил я... Хороший ремешочек. Хрыщ все подговаривал поменяться на ножик. Ну, я говорю: «Катись ты, чего пристал...» Что я, стукнутый, что ли, меняться, если не мой ремень...

Не умели мы говорить друг другу хорошие слова. А так захотелось мне сказать Быпе что-то хорошее. И я сказал:

— Ну, ты тогда... носи уж его еще. Насовсем. У меня и так штаны не свалятся. Да ты не думай, что это я из-за книжки. Это я просто так...

И такую свою драгоценность я отдал сейчас легко и радостно, потому что Быпа мне нравился. Я только сказал еще:

— Ты смотри не меняйся с Хрыщом на ножик.

И Быпа опять сказал:

— Что я, стукнутый?

И мы вышли из дома и зашагали по горячей от солнца улице.

— Ты приходи завтра, — сказал я. — Знаешь какой бой будет! Как в книжке. Будто все по правде. Придешь?

— Ага, — сказал он.

Он пришел, когда мы готовили к бою арену: обкладывали кирпичными обломками круг на земле и посыпали землю опилками. Опилки Манярка украдкой выгребала из шаткой завалинки нашего флигеля и приносила в подоле.

Петька Лапин выравнивал кирпичный круг. Он кончил работу, распрямился и головой зацепил Манярку: она проходила мимо. Опилки взметнулись желтым облаком и с ног до головы обсыпали Петьку.

Петька яростно взвыл, затряс головой и хотел треснуть Манярку.

— Ты! — сказал я. — Не трогай.

— Чего «ты»? Чего «не трогай»? — закричал Петька. — А чего она опилками обсыпает! Обсыпать можно, а трогать нельзя, да? Заступаешься за невесту!

— Ты дурак, — сказал я. — Как разозлишься, так сразу всякую чепуху орешь. В тот раз мы с Майкой, когда играли, тебя на лестнице в плен взяли, и ты сразу закричал, что Майка — моя невеста. А сейчас — Манярка. Я же не турецкий султан, чтобы столько невест было.

— Не султан ты, а девичий пастух, — заявил Петька.

Я сказал, что он клизма и голова у него редькой вверх.

Петька перестал вытряхивать из-за ворота опилки и сообщил, что сейчас покажет мне «редьку».

— Покажи лучше мне, — вмешался Быпа и неторопливо расправил плечи. — А то Владька маленький, а ты вон какая оглобля.

— Ничего, Быпа. Я с ним сам, — сказал я.

Дыркаб велел нам кончать перепалку и спросил, будем мы, в конце концов, играть или нет. Мы сказали, что будем.

Только Быпа отказался:

— У меня меча нет и щита. Я пока зрителем буду.

Майка и Манярка тоже были зрителями. Манярка — по молодости лет, а Майка сама так захотела. Последние дни она опять стала появляться в пестром нарядном пла-

тье, похожем на парашют, аккуратно причесанная и даже иногда с бантом. Я уже подумывал, не влюбиться ли снова.

— Я буду Валерия Мессала, — сказала Майка. — Буду сидеть и болеть за Спартака.

— Ух и достанется тебе, когда будет восстание! — злобно сказал Петька.

— За что? — возмутился Марик. — Она же возлюбленная Спартака!

— Ну и что? Будем мы, что ли, разбираться? Как бросимся! Она ведь все равно рабовладелиха!

— Не рабовладелиха, а рабовладыня, — сказал Дыркаб. — Я вот тебе брошусь.

Он отказался быть Спартаком, хотя мы его заранее выбрали.

— Кто смелее всех будет драться, тот и Спартак. Ясно? И началась битва!

Мы сошлись шеренга на шеренгу, подняв подошвами тучу опилок. Я увидел перед собой щит Дыркаба с нарисованным драконом, ударил по нему своим щитом, отбил чей-то меч...

Небо стало темно-красным, в голове взорвалась горячая бомба, и я оказался на земле.

Когда небо снова стало синим, я почувствовал, что меня поднимают за плечи, и сел. В голове гудело, как в нашей железной бочке, когда Дыркаб бьет по ней колотушкой. Из носа густыми струями лилась на жестяной нагрудник темная кровь.

Меня снова положили. Манярка притащила воды. Намочили чью-то рубашку, положили на лицо. Помню, что я подчинялся, даже не стараясь ничего понять и без всякого страха.

Кровь постепенно унялась. С нагрудника стерли красные пятна. Я снова сел и лишь тогда узнал, что случилось.

Толька, дравшийся рядом со мной, замахнулся на Вовчика Сазанова. Широко замахнулся. И в этом замахе, отбросив руку назад, рубанул мне мечом по переносице.

Сейчас он стоял такой виноватый, каким я его никогда не видел.

— Это он нарочно, — заявил Петька Лапин. — Он с Владькой драться боится, а отомстить охота.

— Что вы, ребята... — сказал Толька и тихо заплакал.

— По-моему, это исключается, — сказал Марик. — Не мог он нарочно.

— Не мог, — сказал я. — Не реви, Толька.

— Если бы нарочно, я бы ему... — сурово заметил Быпа.

— Не надо, — сказал я.

— Здорово болит? — спросила Майка.

Я покачал головой. Болело не сильно, только я чувствовал, что переносица стремительно распухает.

Стали обсуждать, что делать. Одни говорили, что надо пойти домой и полежать. Другие утверждали, что домой идти не надо: мама перепугается, а может быть, всем еще и попадет за такую игру.

Гул в голове прошел, и я почувствовал себя героем. Я был ранен в гладиаторской битве! И мне хотелось быть героем до конца. Я заявил, что лежать не собираюсь, а лучше всем нам пойти искупаться, раз уж сражение пока не получилось. От купания все раны заживают.

Предложение моментально приняли.

— Только домой сбегая, скажу, что на реку иду.

— Ты что? — изумился Дыркаб. — Все еще не очухался? Тебя же из дома не выпустят больше!

— Выпустят. Меня мама никогда не держит.

— Ты на свой нос посмотри, — сказала Майка.

Я не мог посмотреть на свой нос. Кроме того, у нас с мамой была железная договоренность: если иду купаться, должен предупредить. Впрочем, я надеялся, что мама ушла к знакомым и я просто оставляю ей записку.

— Вы идите, — твердо сказал я. — Подождите меня у кино, где часы. До шести. Я приду, вот увидите.

Недавно гудок в депо просигналил половину шестого, и у меня было минут двадцать.

— Не придешь ведь, — грустно сказал Быпа.

Во мне все еще играл геройский дух. Я взял за концы свой меч и с размаху перешиб о колено (меч был с трещиной от удара о Дыркабов щит, и я его не жалел).

Ногу я отбил здорово, но гордо выпрямился и поднял в руках обломки:

— Вот! Честное спартаковское, что приду!

Мне казалось, что так давали клятву гладиаторы.

СМОТРИТЕ, Я ПРИШЕЛ!

Мама была дома. Она с кем-то разговаривала, это я услышал еще за дверью.

Сначала я решил, что у нас Сергей Эдуардович: он иногда заходил. Но нет, голос у собеседника был незнакомый.

До меня донесся конец фразы:

— ...наверно, стал еще больше похож. Почти взрослый, как Виктор.

Что еще за Виктор? Кто на кого похож?

— Конечно, — сказала мама. — Хотя, по правде говоря, Виктора я не очень помню. То есть помню, как он голубей гонял, как играл с моей дочерью, а вот представить лицо, голос уже трудно...

— Да... — со вздохом сказал собеседник. — А я вот уже не забуду...

— Еще бы... — откликнулась мама.

Подслушивать нехорошо. Но ведь я и не подслушивал нарочно. Я просто стоял перед дверью и боялся ошеломить маму видом своего носа.

Мама продолжала разговор:

— А Славика я хорошо знаю. Он у здешних мальчиков вроде командира. Я даже рада, что мой сын все время с ним играет. Как-то спокойнее на душе.

— Хорошие товарищи — великое дело, — сказал мужчина.

— Разумеется. И хорошо, что именно Славик — заводела в нашем дворе. Он рассудительный и не хулиган. А ведь бывают среди больших ребят такие, что подойти страшно.

— Бывают... — согласился незнакомец.

— Впрочем, за своего Владика я спокойна, — сказала мама, и в голосе проскользнула горделивая нотка. — На него хулиганы не повлияют. Есть в нем, знаете ли, такая врожденная интеллигентность.

В этот момент с меня соскользнул наплечник и загремел на полу. Скрываться стало невозможно. Я толкнул дверь, сказал «здрасте» и постарался отвернуть нос от света, чтобы мама не заметила.

Но разве от нее скроешь!

— О-о-о! — с глубоким стоном сказала мама. — О-о-о! Что это такое?

Мой растерзанный вид, жестяные латы, кудлатая голова и, главное, разбухшая, с кровоподтеками переносица никак не вязались со словами о врожденной интеллигентности.

— Что с твоим носом? — трагическим голосом спросила мама, и глаза ее стали круглыми.

— Стукнулся...

— Ты с ума сошел! Тебе наверняка перебили переносицу!

— Не волнуйтесь, — добродушно сказал мужчина. — Когда перебивают переносицу, человек валится без сознания. Это штука серьезная. Я в таких вещах немного понимаю.

Он сидел у окна, и я не сразу разглядел его. Потом он подошел, осторожно потрогал большим жестким пальцем несчастный мой нос и сообщил:

— Через два дня все пройдет.

Я смотрел на него снизу вверх. Это был крупный, пол-

ный человек, почти лысый, с круглым лицом и хорошими светлыми глазами. На отвороте пиджака был у него привинчен орден Отечественной войны. Пиджак был новый, а орден потертый, с отбитым уголком эмали. (Я вспомнил, что на папином таком же ордене, который нам прислали, тоже был отбит эмалевый уголок. Он откололся, когда папа упал на мостовую. В том городке.)

— Но смотрите, какая опухоль! Это ужасно, — сказала мама, слегка успокоившись.

Я решил обидеться:

— Что ужасно? Разве я виноват?

— Все ужасно! — отрезала мама. — То, что ты каждый день являешься в ссадинах и царапинах. То, что я постоянно боюсь, как бы ты не сломал шею. То, что у тебя такой дикий вид. Что о тебе подумает незнакомый человек?

Ну, что подумает? Кажется, он не думал ничего плохого.

С интересом поглядывал на мое вооружение.

— Снимай все железо и ложись, — велела мама. — Я сделаю компресс. Живо.

Я знал, что нельзя спорить, если мама берется за лечение. Хуже будет.

Пришлось лечь на кровать вверх носом, и мама принялась обмывать его кипяченой водой, а потом обкладывать смоченными ватками. Жидкость на ватках была холодной и отвратительно пахла больницей.

Ходики на стене между тем стукали да стукали. И до шести часов осталось наконец только пять минут. Как раз чтобы добежать до кино.

— Мам, все, — бодро сказал я и вскочил.

— Что значит «все»? Кто тебе разрешил встать?

— Уже совсем не болит!

— Это ничего не значит. Может быть внутреннее кровоизлияние.

— Мама, — сказал я как можно убедительнее, — ничего не может быть. Меня ребята ждут. Я же обещал.

Мама очень удивилась:

— Что? Ждут? Ребята? И ты думаешь, я тебя куда-нибудь отпущу, пока нос не придет в порядок?

— Ма-ма!

— Немедленно ложись.

Пришлось пойти на отчаянный шаг. Не очень это хорошо, но ничего не поделаешь. Я постарался зареветь.

— Зря, — сказала мама. — Не трать силы. Я прекрасно знаю, когда ты реवेशь по-настоящему.

Я заревел по-настоящему.

— И не стыдно? — спросила мама. — Как девчонка! При постороннем человеке. Знаешь, кто это? Фронтовой друг Виктора. Славиного брата. А ты распустил нюни.

От удивления я перестал плакать и сквозь мокрые ресницы взглянул на гостя. Оказывается, это не мамин знакомый, не работник редакции, а фронтовой друг Дыркнабова брата!

Я смутно помнил Виктора, он приходил иногда к Таньке. Это был худенький невысокий парнишка, чуть постарше нынешнего Славки. А друг его вон какой большой. Лысый. Совсем взрослый.

Но все же это правда был настоящий фронтовой друг. Он посмотрел на меня выручающим взглядом и неторопливо заговорил:

— Мы были с Виктором в одном взводе... А потом я искал, кто у него остался. Мать, братишка, сестренка... Вот, приехал нарочно, а их нет дома. Зашел к вам. Думаю, соседи знают... Где же Славка-то?

Вот оно, спасение!

Я, укоряюще поглядывая на маму, сообщил, что Славкина мать на дежурстве в депо, а Славка и Манярка ждут меня под часами. Очень ждут. Я дал честное слово. А если я не успею, они уйдут на реку без меня, и никто их не найдет до самого вечера, потому что берег большой и укромных мест на нем целая тыща.

И никто не скажет им, что приехал фронтовой друг их старшего брата!

Мама смутилась.

— Действительно... — сказала она. — Извините меня. Я так перепугалась, что совсем не подумала. Конечно, надо их позвать. Только не было бы кровоизлияния...

О том, что кровоизлияния не будет, я крикнул уже из-за двери.

Ух как я мчался! Прохожие прыгали с тротуаров, чтобы я не врезался в них. И смотрели вслед. Но зря я так бежал. Ребят под часами уже не было.

И на берегу их не было.

Я прошел от пристанского спуска до водной станции и обратно. Другие, незнакомые мальчишки бултыхались в желтоватой от глины воде, другие загорали на песчаных пятках и лужайках, прыгали и веселились на откосах среди полынных зарослей.

Мне стало так грустно, будто я в незнакомой стране оказался. Будто никогда уже не встречу с друзьями.

Я, конечно, встречу. Этим же вечером. Но что я им скажу? Как я оправдаюсь?

«Клямпик, — презрительно скажет Толька. — Не пустили детку из дома». И я не смогу ответить ему как надо, и он не испугается меня, потому что у других ребят не будет ко мне сочувствия.

«А еще клизмой обзывался, — обрадованно заметит Лапин. — Сам ты...»

«Зря только ждали, — хмуро скажет Дыркаб. — Лучше бы не трепался».

Если бы я просто пообещал... Но я же честное спартаковское дал! Они же все будут презирать меня как дезертира! Только Майка, наверно, жалостливо смотреть будет. Да еще, может быть, Южка. Нет, Южка не будет. Как он восхищенно смотрел, когда я перешиб о колено меч! А теперь я перед ним просто хвостун. И чего мне вздумалось

меч ломать? Воображала несчастный! Даже вспоминать стыдно. Зря только ногу рассадил...

Я брел вдоль воды, все еще поглядывая по сторонам и надеясь на чудо. Но чудес не бывает. Я уже понял, куда они отправились. На другой берег, на Желтый мыс. Вон на тот бугор, в километре отсюда. Там у берега мелкий, самый чистый песок, а один из склонов зарос черемухой. Ягоды у нее крупные, чуть не с вишню, а из сучьев полуются отличные луки. Была про это недавно говорил.

При мысли о Быпе мне стало совсем грустно. Что он обо мне подумает? Наверно, отдаст обратно ремень, вот и все. Зачем ему мои подарки? Зачем ему я? Там, на мысу, ему хорошо с ребятами. Без меня...

Я догадывался, что они переправились на ту сторону в большой перевозочной лодке. А сейчас лодку разве дождешься? Она в это время уходит вниз: перевозить рабочих кожевенной фабрики. Да и за билет надо пятьдесят копеек платить, а у меня — ни гроша.

Я лениво побрел к перевозу. Причальный плот был пуст. Я грудью лег на перила с облупленным спасательным кругом и стал смотреть в воду. В желтой воде стаями ходили мальки.

Даже этим безмозглым малькам было куда лучше, чем мне: они были все вместе.

Я отвернулся.

Что это?

С другой стороны плота к перилам был прибит железный лист с правилами для пассажиров. Никто уже не мог прочитать эти правила, потому что от постоянных брызг железо стало грязно-бурым и строчки слились с ржавчиной. И вот на этом листе я увидел яркие, косо нацарапанные мелом буквы.

Я хоть где, хоть когда сразу смог бы узнать эти буквы! Это «е» наоборот и «т» крестиком! Так писала Манярка.

Не успела дописать — затащили в лодку.

«Мы тебя жда...»

Я чуть снова не пустил слезу, второй раз за этот час. От обиды и злой беспомощности. Но не пустил, потому что увидел небольшую лодку. Мальчишка в милицейской фуражке лениво греб недалеко от берега.

— Эй, перевези! — заорал я как сумасшедший. — Ну, перевези! Эй!

Он приподнял козырек, глянул на меня, отвернулся и опять замахал веслами.

Помню, что я кричал ему самые обидные слова и грозил кулаком.

Ну что ему стоило перевезти меня? Долго, что ли? Река обмелела к августу и стала совсем неширокой. Тот берег — вот он. Метров сто каких-то. А до плотов, которые вплотную у берега, — еще ближе.

Сто метров — это разве много?

Когда мы ходили на водную станцию завода «Механик», я проплывал там пятьдесят. Правда, рядом была кромка бассейна и ребята. Но ведь я за кромку не хватался и на помощь не звал. И даже не очень устал. Если бы захотел, мог бы еще проплыть...

«Не сходи с ума», — сказал во мне взрослый испуганный голос.

«Не буду», — торопливо согласился я. Потому что и сам испугался своей отчаянной мысли.

Но все-таки... Как бы это было здорово!

Я подошел бы к ним небрежной, чуть усталой походкой и сказал бы:

«Не могли уж чуть-чуть подождать...»

Они вытаращили бы глаза:

«Ты откуда? Через мост бежал?»

«Через мост? Ну конечно! Целых семь километров! И все бегом! Видите, даже вспотел, весь мокрый...» И стал бы деловито отжимать на себе труссы.

И тогда Майка сказала бы: «Плыл? Ненормальный!» — и все посмотрели бы так же, как во дворе, когда я переломил меч. А Дыркаб для порядка проворчал бы: «Еще раз

поплывешь один — будешь иметь по шее... Сперва опаздывает, а потом в чемпионы лезет».

«Я же из-за дела опоздал. Там один человек приехал, друг вашего Виктора. Все про вас с Маняркой расспрашивал. Вот я и задержался».

И опять стало бы все хорошо!

Я понимал, что желтая речная вода словно смыла бы с меня всю горечь неудачи, все презрение друзей.

Но какой из меня пловец! Ведь месяц назад я едва держался на воде.

Я ушел с плота. Разделся. Спрятал одежду в сухой глинистой расщелине среди бурьяна. Я еще ни капельки не верил, что всерьез поплыву через реку. Но что-то меня толкало к воде.

Я вошел по колено. И вода впервые за все лето показалась холодной.

«Стой, что ты делаешь! Не надо».

«Я только попробую».

«Не валяй дурака! Сто метров — не пятьдесят! И здесь же бассейн. Здесь течение».

«Ну и что? Я же не против течения. Пусть несет. Мне бы только на тот берег...»

«Не смей! Ведь рядом нет никого. Никто не поможет».

«Ну, не буду, не буду... Я только попробую. Немножко проплыву — и обратно...»

Я зашел по горло. Ну вот: еще и не плыл, а метров семь уже позади. Я оттолкнулся и сделал несколько гребков.

«Ты куда? Ты же хотел только немножко!»

«Заткнись!»

Я ни разу не оглянулся. Боялся, что увижу свой берег слишком близко и узнаю, как мало проплыл. И боялся, что увижу его слишком далеко и тогда совсем испугаюсь. Помню, что поверхность воды казалась мне серебристой и выпуклой и я не видел плотов, до которых мечтал добраться.

Течение мягко несло меня. И это хорошо — ближе к мысу.

Плохо было другое: с самого начала я стал слишком рваться вперед, и скоро устали руки. А еще плохо работал распухший нос. Дышать пришлось ртом. И где-то на середине реки я хлебнул воды.

Хлебнул, закашлялся, забултыхал руками, окунулся с головой, хлебнул снова.

«Вот и все. Этого ты хотел?»

Кашель душил меня. Рывком я выскочил из воды почти по грудь, глотнул воздуха. Несколько секунд барахтался по-собачьи, стараясь держать голову повыше. И все это время отчетливо представлял, как мое тело будет колыхаться в желтой глубине. А потом его вытащат баграми, и я не буду это чувствовать...

Затем показалось, что подходит лодка. Значит, меня сейчас втащат через борт, отвезут на берег, а потом, дрожащего, мокрого, станут расспрашивать и поведут к маме. Этого еще не хватало...

И тут я понял простую вещь: раз боюсь лодки, значит, еще не тону.

Ну, глотнул воды! Ну, устали руки! Что из этого? Ведь плыву.

И вообще не может человек утонуть, пока не выпустит воздух из легких. Только не надо барахтаться от страха.

Я отдышался, набрал побольше воздуха, окунул голову и опустил одеревеневшие руки. Не тону. Река свободно несет меня.

Вперед!

Никакой лодки нет. И не надо. Вот если бы рядом была Каравелла...

Я представил, как у плеча движется обросший зеленью и ракушками борт, а сверху насмешливо смотрит Павлик.

«Ты что там плюхаешься? Устал?»

«Кто тебе сказал?»

«Сам вижу. Может, бросить кончик?»

«Привяжи этим кончиком свой язык! Ты вообще что-то стал зазнаваться. Думаешь, ты один — капитан?»

«Ладно, ладно. Ты лучше дыши как следует, а то опять хлебнешь...»

«Не хлебну... Ты думаешь, будто я все еще такой же хлюпик? Ты в каком классе был, когда уехал? Ведь в четвертом. Ну и я сейчас в четвертый перешел. И в футбол я умею играть не хуже тебя. Да! А на мечях дерусь, наверно, даже лучше. А «Спартака» ты читал?»

«Ну, расхвастался!»

«Да я не расхвастался. Я просто...»

И тут я увидел край плота! Метрах в десяти.

Ну, еще немного. Чуть-чуть. Раз... Два...

Я вцепился в проволочный трос и целую минуту висел в воде, отдыхая. Потом выволок себя на плот, полежал на шершавых бревнах. Встал. В голове гудело, а в ушах плотными пробками сидела вода.

По бревнам я добрался до берега. Попрыгал на дрожащих ногах. Вода вышла, в ушах стало тепло, и словно включился радиоприемник: я услышал голоса, гудки на пристани, смех на том берегу.

Вечернее теплое солнце мягко светило мне в лицо и рассыпалось искрами на мокрых ресницах. Я пошел туда, где поднимался плоский бугор Желтого мыса. Солнце висело прямо над ним.

Я жмурился и поэтому не сразу увидел ребят.

Они стояли на вершине холма. Шеренгой. С длинными тонкими палками. То ли для удилиц вырезали, то ли для луков — я не разобрал. Издалека палки были похожи на копыя.

Ребята махали мне руками и кричали что-то. Или радовались, что я отыскал их, или ругали за отчаянный поступок.

А может быть, и то, и другое.

«Смотрите, я пришел!» — хотел крикнуть я, но побоялся, что сорвется голос. Я просто помахал им в ответ и стал подниматься по отлогому склону. По сухой глинистой тропинке, теплой от солнца. Влажный запах реки смени-

вался с горьким и сухим запахом полыни. Ее пыльные листья ласково щекотали мои коленки.

Ребята ждали на гребне. Они уже не кричали и не махали копьями. Только Манярка все еще не опускала вскинутую руку. Короткий рукавчик сполз к плечу, и я видел на Маняркиной руке подковку...

Такими я и запомнил их, товарищей детства. Легкая шеренга на фоне светлого неба, волосы горят и золотятся от вечерних лучей. Манярка ждет с поднятой, как для салюта, рукой. А над ними — большой туманный шар солнца.

1970 г.

ВОЛТИК

ВИШНЕВАЯ ПИЛОТКА

— Чудовищный кошмар, а не ребенок, — безнадежно сказала мама. — Ты доведешь меня до сердечного приступа, а сам простудишься насмерть.

«Чудовищный кошмар», третьеклассник Максим Рыбкин, пытался рядом с дверью, у полки с обувью. Он застегивал новые сандалии.

Старший брат, девятиклассник Андрей, крутился у большого зеркала: расчесывал маминым гребнем отросшую гриву. Он успокоил:

— Если простудится, то, может, не насмерть. Может, похлюпает носом, почихает и выживет.

— Сумасшедший дом, а не семья, — сказала мама. — Одного не загонишь в парикмахерскую, другой делает все, чтобы схватить воспаление легких... Игорь! Скажи хоть что-нибудь!

Папа высунулся из комнаты. В одной руке он держал отвертку, в другой электробритву. От бритвы едко пахло горелой изоляцией. Половина папиного лица была блестящая и гладкая. На другой половине искрилась от коридорной лампочки светлая щетина. Папа захотел узнать, что случилось.

Что случилось? Их ненаглядный сын хочет уйти из дома раздетым. А на улице всего семь градусов!

Максим наконец справился с застежками и распрягнулся.

— Семь было в шесть часов. А сейчас уже согрелось.

— Ты хочешь моей гибели, — грустно сказала мама.

— Максим, — внушительно произнес папа, — ты — будущий мужчина и должен уступать женщинам в споре.

— Но если я уступлю, на кого я стану похож?! Вся форма изомнется, и я буду как из пасти бегемота вынутый!

— Ах, как изящно! Сын интеллигентных родителей!.. Игорь, почему ты улыбаешься? Между прочим, когда среди родителей нет согласия, из детей вырастают правонарушители.

— Выходит, я почти готовый правонарушитель, — жизнерадостно заметил старший брат Андрей.

— По крайней мере, внешне, — сказала мама. — Длинноволосый гангстер из Чикаго.

— Пожалуй, что-то есть, — снисходительно согласился Андрей.

— Оставь в покое мой гребень, — велела мама и снова повернулась к Максиму: — Я уверена, что все дети придут на студию в пальто или куртках.

— Не придут. А если придут, им не так важно. Они в ряду стоят, и незаметно, если помятые. А я впереди, у самого... ми... крофона...

Последние слова Максим произнес угасшим голосом. Потому что взглянул на брата.

Андрей стоял к Максиму спиной, но его отражение смотрело на младшего брата ехидно и выразительно.

Сейчас скажет: «Оставьте в покое нашего солиста! Ему нельзя нервничать, а то он в самый важный момент вместо ноты «си» возьмет ноту «до»».

Ух, слава богу, не сказал. Только хмыкнул. Максим топорливо объяснил родителям:

— Сами же станете говорить, что неряха, если увидите на экране, что я мятый.

— Не лишено логики, — заметил папа.

— А ну вас, — сказала мама. — Пусть идет хоть голый. Не ребенок, а варвар.

Андрей наконец убрался от зеркала, и Максим скользнул на его место.

Какой же он варвар? Варвары косматые, немые, страшные, вроде разбойников. А он вполне симпатичный человек. Вообще симпатичный, а в новой форме — особенно.

Форма темно-красная, а точнее — вишневого цвета, жилетик с латунными пуговками — тугой в поясе и свободный в плечах — оставляет открытыми белые рукава и воротник рубашки. Легонькие штаны отглажены так, что торчат вперед складками, словно два топорика (а ноги у Максимки — как тонкие длинные рукоятки у этих топориков — еще незагорелые, светлые, будто свежеструганное дерево). На ногах красные сандалии. И носочки тоже красные. Форму недавно выдали в ансамбле, а обувь купила мама. Потому что Максим будет стоять впереди хора, и все на нем должно выглядеть как с иголки.

Все пока так и выглядит. А лучше всего пилотка. Тоже вишневая, из тонкого сукна, с белыми кантами на верхних швах и вышитыми серебром крылышками на левой стороне. Потому что младший хор в ансамбле называется «Крылышки».

А все вместе — два хора, два оркестра и танцевальная группа — называется так длинно, что сразу и не запомнишь: «Детский музыкально-хореографический ансамбль Дворца культуры имени Чкалова».

Дворец построен для летчиков. Говорят, когда-то в этом районе был главный аэродром. Потом появились реактивные лайнеры, летное поле стало тесным, и аэропорт перенесли далеко за город. На старом месте сохранилась только площадка для маленьких самолетов и вертолетов.

Но управление областного Аэрофлота тоже осталось здесь. А недалеко от управления — и Дворец культуры.

Максимкин отец — не летчик, он инженер на «Строймаше». А мама — завуч в художественном училище. Ну и что? В ансамбле занимаются не только дети летчиков. Где их столько наберешь? Просто приходят ребята, которые живут не очень далеко. А Максим даже и не сам пришел в

ансамбль. В марте на уроке пения услышал его суровый на вид дядя с рыжими клочкастыми бровями (все думали, что это инспектор гороно). Услышал и грозно сказал после урока:

— А ну, голубчик, пошли со мной. Немедленно.

Максим охотно пошел, потому что сурового дядю он ничуть не испугался, а после пения ожидался диктант.

Они пришли во Дворец культуры, в большую комнату, где стоял трехногий сверкающий рояль. Его поднятая крышка напоминала косою китовый плавник, а клавиши — пасть кашалота. Дядя с клочкастыми бровями начал давить на клавиши и требовать, чтобы Максим голосом повторял их музыку. Это было совсем не трудно, и Максим повторял, только тихо, потому что стеснялся. Потом дядя стал играть песенку про кузнечика, которого сожрала бессовестная лягушка, — эту песню все знают.

И Максим должен был петь. Наверно, у него не очень получилось. Дядя вдруг оборвал игру, поставил Максима между колен и сказал не сердито, а как-то жалобно:

— Дружище, не смущайся, пожалуйста. Очень прошу. Ты ведь можешь петь. Ты ведь, если откровенно говорить, любишь петь.

Максим слегка осмелел и тихонько сказал:

— Ага.

— Дома, когда ты один, ты наверняка поешь. Я в этом совершенно уверен.

Максим осмелел еще больше и ответил:

— Смотря что...

Дядя стремительно обрадовался:

— И прекрасно! Здорово! А что ты хочешь? Что любишь? Давай!

Максим вспомнил, что после диктанта еще природо-ведение, которое он совершенно случайно не выучил. И спросил:

— А можно с гитарой? Я с роялем не могу как-то...

Дядя сорвался с круглой табуретки, умчался из комнаты и тут же вернулся с блестящей гитарой.

— Что будем? Давай...

— Я названия не знаю...

— Ладно, посмотрим. Ты начинай, я подыграю.

Начал Максим, наверное, не очень здорово:

Приглушенно тлеют огни,
И лагерь наш в сумраке тонет

Но голос его догнала гитара, и стало легче. И песня была такая, что если уж запел, то надо петь как следует. Потому что сразу кажется, что кругом опасность и скоро — в атаку.

В кустах не расседланы кони,
И песня в ночи не звенит

Дальше Максим и сам не знал, как пел. Но, видимо, голос его звучал чисто и тревожно, потому что слова в песне были тревожно-звонкие:

Средь тонкой ночной тишины
Не дремлют повстанцев дружины
И как нервы, стальные пружины
В ружейных замках взведены

Когда песня кончилась, дядя отложил гитару и задумчиво сказал:

— Д-да, любопытно... Это откуда такое произведение?

— У брата слышал.

— Он тоже поет? — быстро спросил дядя.

— Да нет, у него на магнитофоне...

— Ну ладно, Максим Рыбкин. Меня зовут Анатолий Федорович, я руководитель ребячьего хора. И ты, дружище, от меня не сбегай, пожалуйста.

Максим не сбежал. Зачем? По крайней мере можно было петь, не стесняясь. Не то что дома, где мог услышать и начать дразниться Андрей. Правда, не все песни нрави-

лись, но что поделаешь? Так не бывает, чтобы все на свете нравилось. Зато одна песня, про первый полет, была для Максима самая лучшая.

С этой песней он и будет выступать сегодня на телевидении, на концерте, посвященном Дню пионерии.

Хорошо, что с этой песней! Пускай мама с папой не летчики, пускай он сам не летал еще ни разу, даже пассажиром, но раз он поет про летчиков, значит, хоть какое-то, хоть самое маленькое отношение к ним имеет. Значит, пилотку с крылышками носит не зря. Вот так!

Максим посильнее сдвинул пилотку на левый бок и еще раз с удовольствием оглядел себя в зеркале.

Конечно, хорошо, если бы уши были чуть поменьше и не торчали в стороны. И если бы вместо белобрысой коротенькой прически была темная и волнистая — не такая длинная, как у Андрея, но вроде. И если бы губы оказались потоньше, а нос попрямее и с мужественной горбинкой, как у папы. Но нет так нет. В общем-то Максим и так неплох.

Что ни говорите, а внешность для человека — важная вещь. Именно из-за внешности Максим попал в солисты. Конечно, ему это не говорили, но он догадался. Он случайно слышал после репетиции, как поспорили Анатолий Федорович и начальница всего ансамбля Алевтина Эдуардовна.

Анатолий Федорович только с виду грозный был, а на самом деле очень добрый. Он на ребят никогда не кричал, даже если баловались на репетициях. Но в тот раз, с Алевтиной Эдуардовной, он разговаривал сердито. Они поссорились из-за Алика Тигрицкого.

— Пожалейте ребенка! — возмущался Анатолий Федорович. — Вы наслаждаетесь его голосом, как конфеткой, а весь хор сбивается и начинает хихикать, когда Алик поет: «Товарищ летчик, возьмите меня, я очень легкий!»

Это была правда. Хихикали. И Максим опять едва не засмеялся за кулисами. Потому что в самом деле — когда

Алик, по прозвищу Шеф-повар, со своим круглым, как тугой мешок, животом и похожими на подушки коленями, выходит к микрофону, под ним поскрипывает сцена.

— Но, дорогой Анатолий Федорович, — ласковым голосом возражала Алевтина Эдуардовна, — ведь у вас хор, а не балет. Прежде всего следует думать о звучании...

— Об искусстве надо думать! — почти зарычал Анатолий Федорович. — Целиком об искусстве! Когда посреди серьезной песни в зале начнется хохот, какое, к черту, звучание! И каково будет самому Тигрицкому? Нет уж, пускай поет о макаронах — там все на месте: и внешность, и голос, и содержание.

— Но как же песня о полете? Ведь мы все-таки чкаловцы!

— Будет вам песня! В хоре не один Алик с голосом...

Через день Анатолий Федорович оставил Максима после репетиции и осторожно спросил:

— Максимушка... Потянешь «Первый полет»?

Конечно, он знал, что эта песня Максиму больше всех нравится. Максим оробел и застенялся. Шепотом сказал:

— Не знаю... И на концерте?

— Там видно будет. Попробуем?

Первый раз получилось неважно. Потому что подошла Алевтина Эдуардовна и, поджав губы, смотрела на Анатолия Федоровича. Максим сбился...

— Ну ничего, — грустно сказал Анатолий Федорович. — Ничего, Рыбкин. Потом еще... попытаемся.

Максиму стало жаль его. И он немного рассердился. И сказал:

— А можно еще раз?

Анатолий Федорович торопливо поднял крышку рояля:

— Еще? Ты хочешь?

Максим кивнул и зажмурился. И представил, как ветер качает ромашки на краю летного поля. И какие пушистые белые облака бывают над аэродромом, когда раннее утро... Он так это здорово представил, что пропустил начало.

— Ой, простите. Можно снова?
И опять пошло вступление:

Над травами, которые
Качает ветер ласковый,
Над кашкой и ромашками
Растет веселый гром

Это просыпаются разноцветные спортивные самолеты. Летчики прокручивают моторы. А на краю аэродрома собираются мальчишки — те, кто очень хочет в небо. Те, кто часто летает во сне.

Максиму почти каждую ночь снится, что он летает...

Он кончил петь и опять испугался. Не получилось?

Анатолий Федорович улыбался. Он посмотрел на Алевтину Эдуардовну и сказал:

— Э?

Посмотрел на Максима и сказал:

— Э!

И показал большой палец, хотя это, наверно, было не педагогично.

Конечно, голос у Алика гораздо лучше, чем у Максима, тут и спорить смешно. И умения у него больше. И фамилия Тигрицкий для солиста годится больше, чем Рыбкин. Но полет есть полет, если даже он не на самом деле, а в песне. Что поделаешь, если Алик весит килограммов пятьдесят, а Максим в два раза меньше!

И, наверно, не только в этом дело. Максиму кажется, что Алику все равно, какую песню петь. Он про макароны и про летчиков поет одинаково. Наверно, Алику никогда не снится по ночам, что он летает. Недаром Алик совсем равнодушно отнесся к новой форме с серебряными крылышками на пилотке.

А форма что надо! Младшему хору завидовали даже старшие ребята. Конечно, не те большущие парни, которые поют басами, а кто перешел в большой хор недавно.

Завидовали, хотя получили голубые костюмы с модными пиджаками и расклеванными брюками. Еще бы! Таких пилотов им не дали.

Но, конечно, одна пилотка, без формы, выглядит не так хорошо. А мама этого не понимает.

— Надень хотя бы легкую курточку.

Братец Андрей глянул ехидно и выжидательно. Сейчас скажет: «Ну что ты, мама! Какая курточка? Надо, чтобы все блестело. Представляешь, идет наш артист по городу, а прохожие оглядываются: ах, не из тех ли это мальчиков, которые только что выступали по телевизору? Ах, не он ли пел самую главную песню? Подумайте, какой молодец!»

И самое ужасное, что он будет прав. Потому что есть у Андрея скверная способность: он видит младшего брата насквозь.

— Ну что ты, мама! — начал Андрей, и Максим съехал в душе. — Какая курточка... На улице уже сплошное лето. Пускай закаляется.

Нет, временами брат бывает вполне порядочным человеком. Мама сказала, что все это скоро кончится ее гибелью, и велела Максиму убираться.

— И не опаздывай к обеду. Пусть хоть в субботу семья пообедает вся вместе, по-человечески.

— Мам, ну как «не опаздывай»! Концерт кончится в час, а в школу — к половине второго. Мне только-только добежать.

— Здравствуй, моя радость! Почему же ты пошел без портфеля?

— А у нас не будет уроков. Будет экскурсия в парк.

— Представляю, как ты отделаешь в парке свой мундир... Не забудь пообедать в буфете.

— Ага... Ой, а деньги?

— Растяпа. Забыл?

— Да не забыл. Просто вчера кончились. Больше нет.

— Нет мелочи? А карманы звенят!

Мама отправилась в комнату и вернулась с Максимки-

ными школьными штанами и курткой. Тряхнула. Послышалось бряканье.

— Это же не деньги, — торопливо сказал Максим. — Это так... Я вытащить не успел.

И он поскорее начал вынимать из карманов то, что звякало: две гайки, связанные веревочкой, желтый латунный ключ, фотокассету без крышки, старинный пятак и сломанную запонку.

— У всех дети как дети, а у меня Плюшкин, — печально сообщила мама. — Убирай немедленно свои сокровища.

— Уберу, уберу.

Рядом с полкой для обуви стоял картонный ящик. Там по отделениям были разложены у Максима всякие вещи, из-за которых мама называла Максима Плюшкиным.

Вообще-то Плюшкин — это жадина-помещик из книжки «Мертвые души», которую Максим не читал, только по телевизору видел такую пьесу. Было не очень интересно, однако он специально смотрел, чтобы выяснить, похож ли на Плюшкина.

Нет, Максим — не Плюшкин. Тот был сумасшедший скупердяй, а Максим просто жалеет брошенные вещи.

Вот, скажем, совсем небольшая вещь: значок с буквой Д и футбольным мячом — «Динамо». Кто-то старался, делал его, а потом он, наверно, висел на груди у болельщика. А затем — раз! — оказался на тротуаре: булавка отвалилась. Думаете, не обидно? Кто бы его пожалел, если не Максим? А булавку еще можно приделать, и значок пригодится кому-нибудь.

Или вот: граненая пробка от графина. Конечно, графин для нее сразу не подберешь, но можно пробку привязать и вертеть. И смотреть сквозь нее. Все вокруг делается расплывчатым, танцующим, а от стеклянных граней разлетаются, как бабочки, разноцветные пятнышки.

Плюшкин никому ничего не давал, а Максиму не жалко. Если вам что-то надо — пожалуйста! И эту пробку, и значок, и подшипник, и колеса от игрушечного грузович-

ка, и голубую пепельницу с трещиной, и пластмассового солдатика, и мотки проволоки... Лишь бы для пользы. Лишь бы все были довольны: и вещи, и люди.

— Оставь в покое свой утиль и слушай меня, — сказала мама. — Мелких денег у меня нет. Возьми пять рублей и не вздумай потерять сдачу.

— Когда я терял? — слегка обиделся Максим.

— Хорошо, хоть этого за тобой не водится. Но кто знает... Куда ты их положишь?

На форме был только один карманчик — нагрудный. Плоский и тесный. Мама затолкала в него свернутую пятирублевую бумажку и два троллейбусных билетика.

— Смотри не вытряхни. А платок куда денешь?

— Зачем он мне? Мам, я побегу!

Мама улыбнулась, взяла Максима за уши, притянула и чмокнула в нос.

— Беги. Желаю удачи.

— Ни пуха ни пера! — крикнул из комнаты папа.

— Жми, старик, — сказал братец Андрей.

ПРО ВЕСЕЛЬЕ, СТРАХ И СМЕЛОСТЬ

Иногда кажется человеку, что внутри у него тугие струны и звонкие пружинки. Это если за окнами утро, золотое от солнца и синее от неба. И если впереди праздник. И сам ты — ловкий, быстрый и красивый — легко скачешь вниз по лестнице с третьего этажа. Летит за тобой по ступеням пулеметный стук: тра-та-та-та-та! Вот сейчас, сейчас, через полсекунды отскочит от удара ладонями дверь подъезда и кинутся тебе навстречу весенние улицы!

Ура!

Ой, нет...

Ура-то ура, а мама, кажется, была права. Вернуться, что ли?

Но когда взят такой разгон, возвращаться невозможно.

Да и примета плохая: удачи не будет. А Максиму сегодня удача нужна до зарезу!

Он обнял себя за плечи, постоял посреди двора, встряхнулся. Подышал на ладошки, потер ими ноги, на которых высыпали мелкие пупырышки. Ничего, это с не-привычки. Он же не старая бабушка, чтобы кутаться и дрожать. К тому же на улице, на солнечной стороне, будет, наверно, теплее. Вперед!

И правда, на солнышке было не так холодно. Раз-два, раз-два! И скоро Максим перестал вздрагивать. Он уже не прыгал, а просто бойко шагал, стараясь обходить пушистые тени подстриженных «под шарик» тополей.

На тополях висели длинные зеленые сережки с мелкими семечками. Потом из семечек полезет щекочущий пух и разлетится по городу. Но это еще не сегодня, а когда совсем вырастут листья. А пока листья маленькие, острые. Листиковый детский сад. Даже издалека видно, какие они клейкие и свежие.

На асфальте валялись желтые кожурки от лопнувших тополиных почек, похожие на раскрытые клювики. Они тоже липкие. Приклеились к новым Максимкиным подошвам. От этого сандалии перестали щелкать по тротуару. Но все равно Максим старался ступать твердо. И прохожие, кажется, с удовольствием оглядывались на такого смелого закаленного мальчика в необыкновенной форме...

Улица шла под горку. Большие здания кончились, и начинался квартал с деревянными старыми домами. А там...

А там — чтоб он провалился! — на вторых от угла воротах сидел Витька Транзя (сокращенная кличка от прозвища Транзистор). Что-то он там приколачивал — кажется, вертушку.

Да неважно, что он приколачивал, а важно, что сидел и поглядывал по сторонам. И пройти незамеченным не было никакой возможности.

Максим сбавил шаги, сердито вздохнул и... свернул направо.

Конечно, это не очень храбрый поступок. Ну, а что делать? Подлый Транзя обязательно прискребется. Если бы Максим шел в обычном костюме — тогда еще неизвестно. Может быть, Транзя и поленился бы спускаться с ворот. А увидев Максимкину вишневую форму, обязательно спрыгнет и загородит дорогу.

«Ах ты моя Рыбачка, ах крохотулечка! Какой красавчик! Какая курточка, какие штанишки, какие пуговики... А ну стой, когда старшие с тобой беседуют! Вот так... Ах, какая пилоточка!. Дай-ка примерить...»

И что? Спорить? Бесполезно. Убегать? Стыдно. Стоять и ждать? Пилотку заберет, и неизвестно, что дальше. Может быть, и отдаст, а может быть, на крышу забросит. Да и самого Максима ловкой подножкой кинет в пыль и покажет. А потом сам же поднимет, будет чистить и «жалеть»: «Ах мой беденький, упал нечаянно...»

У, Транзя ехидная... Чтоб тебя с ворот сбросило!.. Всегда ко всем, кто слабее, привязывается, а к Максиму чаще всех. Подойдет сзади незаметно, одной ладонью рот зажмет, а другой давай волосы выдирать на затылке. Наматывает на ноготь — и дерг! А потом ладонью по шее — трах! Катись, мол... И так всюду: и на улице, и в школе.

Максим представил Транзину улыбочку — тонкую и длинную. А глаза, несмотря на улыбку, скучные какие-то. На губе болячка, а лицо будто серой пылью присыпано. Это, наверно, от курения. Транзя каждый день в туалете курит со старшеклассниками. Все про такое дело знают, и ничего ему все равно не бывает. Что с таким сделаешь, если привяжется? Что? Вообще-то Максим знал — что. Не такой уж Транзя сильный, ростом лишь чуточку выше Максима... Но нужна смелость, а Максим — трус.

Никто из людей, пожалуй, не знал про это. Но сам Максим про себя знал, что трус. Себя-то не обманешь. Иногда только забыть про это можно, а потом опять — испугаешься чего-нибудь, и на душе кисло. А делать нечего. Все равно жить надо, раз уж такой уродился. Трусы ведь

тоже люди. А жизнь у них нелегкая: трус должен все делать, как нормальные люди, да еще заботиться, чтобы никто не узнал про его боязливость.

Правда, есть надежда, что трусость пройдет. Ведь меняются же у людей с возрастом характеры. Может, и у Максима изменится. Может быть, даже скоро. И тогда Транзя не обрадуется. Максим и сегодня не так уж и боялся. Он, может, и не свернул бы в переулок, если бы не новая форма.

В конце концов, у него скоро важное выступление. Не может он из-за какого-то Витьки Транзистора портить себе нервы. Не имеет права. У него должно быть веселое настроение... Тем более что утро такое хорошее. Небо отражается в стеклах, как в темной воде, а солнце отлетает от них горячими вспышками. И надо шагать!

Теперь, кажется, налево нужно повернуть, чтобы потом выйти на улицу Титова, где троллейбусы.

Максим повернул и оказался в переулке, где не бывал ни разу. Не удивляйтесь. Он приехал в этот город недавно, после зимних каникул.

Раньше Максим жил в новом городе, который вырос вместе с большим заводом. Дома там были многоэтажные и в общем-то похожие друг на друга. Улицы прямые, без хитрых поворотов и закоулков. Максиму казалось тогда, что все города такие. А приехал сюда и увидел замечательную пестроту. Корпуса в двенадцать этажей поднимались над бревенчатыми домиками и старинными зданиями из красного кирпича. К этим зданиям лепилось железное кружево балконов. Улица Гоголя мимо нового гастронома и детского сада вдруг выводила к высокой церкви с башнями, куполами и узкими окнами. Правда, в церкви теперь никто не молился, а работала контора «Кинопрокат», но все равно интересно.

Максиму иногда казалось, что в этом городе полным-полно всяких тайн и кладов. И в самом деле, в газете один раз напечатали, что рабочие ломали старый дом и

нашли в стене жестяную банку с золотыми монетами. Какой-то купец в давние времена запрятал. Но монеты — ерунда. Наверно, можно и оружие найти, которое с Гражданской войны осталось! На чердаках этих старых домов может все, что угодно, оказаться. Вот бы отыскать «маузер» или шашку! В музей можно отдать на почетное место. Но не сразу, конечно, а сперва поиграть. Витька Транзя тогда ходил бы тихий как мышка.

Жаль, что Максим живет в новом пятиэтажном доме, а не в таком вот маленьком и старинном, как этот, где плотники чинят ворота.

Ворота были красивые, большие. На потемневших створках деревянный узор, похожий на солнышко. Но уж слишком они покосились. И, наверно, поэтому хозяева решили заменить столбы.

Двое мужчин тюкали топорами, вытесывали из соснового бревна балку.

Максим остановился. Очень здорово блестело отесанное дерево! Как слиток золота. И щепки отлетали тоже золотые. Одна — длинная и широкая — шлепнулась на траву недалеко от Максима.

Максим смело шагнул поближе. Плотники не Витька Транзистор, драться не будут.

— Дяденьки, можно я возьму щепку?

Плотники распрямылись. Один был молодой и хмурый. Он, не выпуская топора, достал пачку «Беломора», щелчком выбил папиросу, вытянул ее губами. Стал нашивать спички. Другой бросил топор и глянул на Максима. Он был старый, с серебристой щетиной на худом подбородке и вокруг впалого рта. А глаза — синие-синие.

— Ух ты сверчок! — сказал старый дядька, будто очень обрадовался. И заулыбался. Стали видны редкие прокуренные зубы. — Щепку тебе? А чего ж, бери, коли надо, хоть все. Тебе зачем? На растопку, что ль?

— Да нет. Как сабля, — объяснил Максим и помахал рукой.

— Ну бери, бери саблю, воюй, чапаевец!

— Спасибо.

И Максим зашагал, оглядываясь иногда на хорошего старика. Плотники опять стучали по балке, но старший один раз придержал топор и посмотрел вслед Максиму.

А щепка была замечательная. С крепким сосновым запахом, с медными чешуйками коры на одном боку и свежим срезом на другом. Максим шагал, хлопал себя этим срезом по коленкам, и крошечные капельки смолы на миг прилипали к коже.

Узенький тротуар повел мимо низкого забора из некрашенных реек. Здесь выросли уже довольно крупные лопухи. А из лопухов поднимались пыльные стебли прошлогоднего репейника. Большие, выше Максимки.

Максим жалел живые растения, но репейник-то был сухой. Самый подходящий, чтобы испробовать саблю. Максим красиво развернулся и рубанул. Ж-жих! Но толстые стебли оказались словно из проволоки сплетенные. Верхушки только вздрагивали, а не падали. Р-раз, раз! Острые края щепки уже затупились, а упрямый репейник стоял, будто смеялся...

— Чего тут расхулиганился? А ну иди отсюда!

Это над забором появилась женская голова. Наверно, хозяйки огорода. Максим увидел тюрбан волос, обмотанный розовой косынкой, мелкие сережки и злющие глаза. Сначала он вздрогнул, а потом удивился:

— Разве я хулиганю? Я играю.

— «Играю»! Ишь размахался!

Максим пожал плечами.

— Вам разве жалко? Я старый репейник рублю.

— Домой иди и руби что хочешь!

«Дура какая-то», — подумал Максим, но вежливо сказал:

— Это же не ваш репейник. Он на улице растет.

Тетенька в розовой косынке несколько секунд хлопала губами и набирала воздух. Потом взорвалась:

— Ишь!.. «Не ваш»!.. Еще культурный на вид, а какой! Как со старшими... Сейчас собаку отцеплю!

Максим не испугался собаки. Но зачем связываться? Он пошел. Он даже не очень расстроился; а просто думал, какие разные встречаются люди...

Щепка стала зазубренной и теперь не годилась для оружия. Но все-таки было жаль ее — ведь она только что служила саблей.

В конце переулка, где уже виднелась улица Титова и мелькали желто-красные троллейбусы, Максим заметил синюю лужу. Наверное, она осталась от ночного дождика. Вот и хорошо! Пусть щепка станет корабликом. На краю тротуара Максим подобрал пустой спичечный коробок. Щепка — это корпус корабля, коробок — штурманская рубка. Счастливого плавания!

От парохода углом разбежались волны, и он ушел к другому берегу. Но Максим на тот берег не спешил. Он сидел на корточках и смотрел в перевернутое небо. Там, далеко внизу, в темно-синем воздухе плыло светлое растрепанное облако. А на краю неба отражался сам Максим. Все такой же ладный и симпатичный — с белым треугольником рубашки в вырезе жилета, с крылышками на пилотке, с алой звездочкой над кармашком.

Звездочку Максим носит последние деньки. Послезавтра на дружинном сборе его примут в пионеры. Многих в классе уже приняли, но Максиму старшая вожатая Римма Васильевна в тот раз сказала:

— Ты, Рыбкин, человек пока новый. Прояви себя в коллективе, а в мае решим.

Максим тогда расстроился: как себя проявлять, он не знал. Но, видно, как-то проявил, потому что сейчас решили принять. Наверно, уж менять решение не станут. Особенно если увидят, как он поет по телевизору...

Максимкины мысли прервала сирена. В переулок на полном ходу свернула «Скорая помощь». Жизнь устроена сложно: у кого-то праздник, а у кого-то беда. Максим от-

скочил от лужи, чтобы не забрызгало. Проводил машину глазами. В кабине рядом с шофером сидела женщина в белом халате и белой шапочке — такой же, как у школьного врача Светланы Сергеевны. Той самой, которая делает ребятам прививки.

Вспомнил Максим Светлану Сергеевну, и тут же его стало грызть беспокойство. Потому что перед весенними каникулами, на уроке чтения, когда настал тот жуткий момент и учительница Софья Иосифовна сказала, что теперь в кабинет врача пойдут Иванов, Стременко и Рыбкин, Максим не выдержал. Он встал и удивительно спокойным голосом сообщил:

— А мне совсем недавно укол делали. В старой школе. Если снова, то, наверно, это вредно.

— Да? — подозрительно сказала Софья Иосифовна. — Тогда об этом должна быть запись в медицинской карте.

— Не знаю. Но мне точно делали. Я еще на другой день в школу не ходил, потому что температура была и болело.

Максим врал с холодным отчаянием человека, над которым висит смертельная опасность. Не было в нем тогда ничего сильнее страха.

Максим боялся в жизни многого. Хулиганов вроде Транзи. Оставаться в пустой квартире поздно вечером. Грозы — когда грохает над самой головой... Но страх перед уколами был особенный.

Всего два раза делали Максиму прививки — в первом и во втором классе. А страх был постоянный. Потому что кто знает, когда следующий раз? Конечно, Максим не всегда помнил о страхе. Но, собираясь в школу, он обязательно думал: «А вдруг сегодня?» И когда видел вдруг, что в школьном вестибюле мелькает белый халат, сразу начинал мучиться: не готовятся ли? И если посреди урока в тихом коридоре начинали стучать каблучки, он вздрагивал.

Сразу представлялась медсестра или врач. Она приближалась (стук-стук-стук) неотвратно, и в руке ее покачивалась блестящая круглая коробка, а внутри коробки — шприцы. Они похожи на громадных комаров с прозрачными брюшками и беспощадными жалами. Когда нажимают на поршень, из жала бьет удивительно тонкая струйка, а потом на кончике иглы повисает капля. А затем... «Ну, голубчик, повернись, не бойся...» Ага, не бойся!

И страшно не только потому, что больно. Хуже всего жуткое ожидание, тихое звяканье металла, замирание в душе. И неизбежность. Ведь никуда не сбежишь, не спрячешься. И приходится через силу улыбаться и делать вид, что все это чепуха на постном масле. Потому что есть одна вещь, еще более страшная, чем укол. Насмешки! Если узнают, что трус...

Ехидный, похожий на колючего морского конька Мишка Стременко и так уже который раз подозрительно поглядывает на Максима...

А каблучки — стук-стук-стук... Слава богу, мимо! Но это сейчас мимо. А ведь все равно когда-то настанет момент: «Рыбкин, к врачу!..»

И вот он настал.

И Максим не выдержал. Он врал, хотя и понимал, что вранье очень скоро может открыться.

Не открылось. Наверно, поверили. Или забыли про Максима в суете многих дел. Но страх то и дело возвращался: вдруг узнают? Тогда все. Во-первых, избежен сам укол. Во-вторых, весь класс будет смеяться.

А Римма Васильевна скажет: «И ты, Рыбкин, после такого вранья надеешься стать пионером?»

Впрочем, сегодня в школе Максим почти не будет, потому что экскурсия. Завтра выходной. А послезавтра уже прием в пионеры. Наверняка ничего не успеет открыться. А дальше уже каникулы на носу.

За каникулы Максим подрастет и окрепнет. И воспитает силу воли. И смелость. Он и сейчас уже стал чуть-чуть

смелее. Раньше боялся петь перед залом, а сейчас не боится. Ну, если по-честному, то самую капельку. Не боится, а волнуется.

И надо шагать, потому что до концерта не так уж много осталось времени.

Пора! Максим расправил плечи и... Ух ты! Рядом с его сандалией лежала замечательная вещь! Винт с головкой и накрученной гайкой. Длиной с Максимкин мизинец, толщиной чуть побольше карандаша. Прекрасный новый болтик со свежей острой резьбой. Такой для чего хочешь пригодится!

Болтик был полувтопан в сырую землю. Максим выковырнул его, наскоро отмыл в луже, вытер листом подорожника.

Жаль, что положить некуда. В плоский кармашек на жилете не сунешь: будет проступать под материей, да и запачкать может. Ну и ладно! Можно в кулаке нести. Хорошая находка — хорошая примета. Значит, все будет хорошо.

ПОЛЕТ

Максим не бывал еще в тех местах, где телестудия. Но заблудиться было трудно. Телемачта — высотой почти двести метров, и ее видно отовсюду. Можно пешком добраться, а можно и на троллейбусе. Анатолий Федорович объяснил Максиму, что надо проехать всего три перегона, и будет остановка «Телецентр».

В троллейбусе были свободные места, но Максим не сел. Он встал на задней площадке, спиной к окошку, и закинул руки за трубчатый поручень. Солнце сквозь стекло сразу начало припекать Максиму плечи, за окнами побежала назад веселая улица с разноцветными вывесками, большими деревьями и прозрачными стеклами магазинов. Максим немного посмотрел на улицу и стал разглядывать болтик. У болтика была шестигранная головка. На головке — выпуклые цифры «12». А гайка плавно ходила по

резьбе — не очень свободно и не очень туго. Ну просто прелесть что за винт! Даже мама, наверно, не скажет, что Максим — Плюшкин, потому что такой болтик кому угодно понравится...

На третьей остановке Максим выскочил на солнечный асфальт и сразу же задрал голову. Прямо над ним на страшную высоту взлетала кружевная телебашня. Среди редких белых облаков виднелись ее антенны, похожие на оперения стрел. Вот бы забраться!

Но тебе, пожалуй, заберутся! Башня — за высоким решетчатым забором, в заборе — проходная: красивый домик с двумя окошками и дверью. А у двери стоит широкая тетя в берете со звездочкой, в синей куртке и с большой кобурой. Кобура спускается из-под куртки на двух ремешках — как у военных моряков и летчиков. А под кожаной крышкой (Максим сразу разглядел) торчит круглый металлический затылок рукоятки с кольцом. Значит, «наган».

Максим огляделся. А где ребята? Ведь было сказано: собраться у входа. Максим нерешительно шагнул к тете с «наганом».

— Извините, пожалуйста. Здесь ребята должны были собраться, чтобы выступать. Вы не знаете?

Тетя обернулась и расплылась в улыбке:

— Еще один! Глянь, какой ладненький. Знаю, знаю, собираются. Велено сразу пропускать, чтоб не ждали. А то некоторые, вроде как ты, раздетые прискакали. Прозяб небось?

Вот тебе и на! Максим и думать забыл про холод. На улице настоящее летнее утро, даже ветерок и тот не холодит.

— Проходи, проходи, чижик, — сказала тетя и слегка отодвинулась. Максим скользнул было в щель между ее круглым боком и дверным косяком. И остановился. Рядом с собой, в небывалой близости, увидел он опять тугую кобуру с торчащей рукояткой.

— А он заряженный? — уважительным шепотом спро-

сил Максим и поднял на тетю серьезные глаза. (Потрогать бы хоть пальчиком! Но нельзя, конечно.)

— Заряженный, — со вздохом сказала тетя. — Если не заряженный, чего тогда таскать зря тяжесть-то?

— А боевыми или холостыми?

Тетя-вахтер опять улыбнулась:

— Холостыми стреляют, когда кино снимают. А у меня пост.

— Это если шпионы полезут? — догадался Максим. Потому что в самом деле, если пролезут диверсанты да рванут телебашню, сколько железа посыплется на соседние кварталы! Все дома порасшибает!

— У меня не пролезут, — успокоила тетя и погладила кобуру. — У меня даже таракан не пролезет, не то что шпион. А хорошим людям — всегда пожалуйста... Ну, беги в дом, грейся, а то вон коленки-то синие...

— Все не синие, — снисходительно объяснил Максим. — Это немного смола прилипла от шепки.

И он запрыгал через двор на одной ноге, а вторую поднял, чтобы помусоленным пальцем оттереть пятнышки смолы. А потом не стал. Все равно сразу не ототрешь. Да смола ведь и не грязь. Ею даже, говорят, ревматизм лечат...

В вестибюле студии было уже полным-полно народа. И девчонки из хореографической группы, и длинноволосые, как Андрей, парни из старшего хора, и ребята из оркестра — с большими футлярами, где лежат всякие инструменты. И, конечно, народ из «Крылышек».

Мама была права: большинство пришли в плащах, куртках или спортивных костюмах. Но Максим тоже был немножко прав: кое-кто заявился так же, как и он, — не побоялись, что озябнут. И не только ребята из «Крылышек». Вон прислонился к стенке круглолицый сероглазый мальчишка в такой же, как Максимкина, форме, только

не в вишневой, а зеленовато-голубой. Значит, из музыкантов.

Небольшой, не старше Максима, а играет в оркестре! Интересно, на каком инструменте? Может, спросить? Нет, неловко почему-то.

Хотел Максим побежать к своим, из хора, но увидел, что мальчик-музыкант смотрит на него. Потом оттолкнулся от стенки, подошел к Максиму, голову набок наклонил и спросил:

— Тебя как зовут?

Глаза у него были веселые. Максиму понравилось, что он просто так вот подошел и спросил. И он ответил поскорее:

— Максим...

— Максим, купи слона.

— Какого... слона?

Лицо у мальчика стало слегка грустным. Он вздохнул:

— Все говорят «какого слона»... А ты купи слона!

Глаза у него сделались хитроватыми.

«Игра такая!» — догадался Максим. Но не стал показывать, что догадался. Потому что незнакомый мальчик ему нравился, и сделалось весело.

— Я бы купил... — начал он.

Мальчик опять вздохнул и перебил:

— Все говорят «я бы купил». А ты возьми и купи.

«Вроде «белого бычка», — подумал Максим. Но тут же почувствовал, что не совсем «вроде». Потому что представился ему слон — большой и печальный. Он стоял где-то, привязанный за ногу к толстому столбу, и никто не хотел купить беднягу. Все только отговаривались.

— Если денег хватит, — серьезно сказал Максим.

— Все говорят «если денег хватит». А ты не считай — возьми и купи!

— А в квартиру влезет?

Мальчик понимающе улыбнулся.

— Все спрашивают: «В квартиру влезет?» А ты просто возьми и купи.

— Ладно!

— Все говорят «ладно»! А ты...

И тут принесло Маргариту Пенкину — старосту хора «Крылышки».

— Рыбкин! Где ты бродишь? Анатолий Федорович всех уже собирает! Распеваться пора!

— Ой-ей-ей! — насмешливо сказал Максим, чтобы мальчик из оркестра не подумал, будто он боится Ритку. — Где это я брожу? Наверно, за сто километров!

Он попрощался с мальчиком глазами и пошел за Пенкиной. Они шагали длинным коридором, и Максим смотрел, как на Риткином затылке прыгают белые с черными горошинами банты.

— Пенкина, купи слона, — сказал он.

— Да ну вас! — бросила она, не обернувшись. — Все с ума посходили с этим слоном. И так переживаешь из-за концерта, а они еще...

Подумаешь, переживает. Может, Максим тоже волнуется, только не кричит об этом в коридоре.

Они пришли в комнату, где собрался хор «Крылышки». Оттого что на всех стенах были зеркала, казалось, будто народу здесь целая тысяча. Толпились, переговаривались, смеялись, ойкали от случайных и неслучайных толчков локтями. Те, кто пришли тепло одетые, укладывали теперь свои пальто и куртки на длинные столы. Вот будет потом неразбериха!

Алик Тигрицкий стащил через голову мохнатый громадный свитер и весело повернулся к Максиму. Он совсем не злился, что Максим будет вместо него петь песню про полет.

— Рыбкин, купи слона!

— Да я уже знаю, — сказал Максим.

— Все говорят «да я уже знаю»... — обрадовался Алик.

И тут раздался голос Анатолия Федоровича:

— Друзья! Минутку внимания! Скоро начинаем. А пока — подготовимся...

И тогда у Максима и вправду от волнения засосало внутри.

Студия не похожа была на зрительный зал Дворца. Вместо сцены — ступеньки и маленькие помосты разной высоты. Вместо стульев для зрителей тоже ступени — полукругом, как ряды на стадионе. Там уже сидели ребята в пионерской форме — зрители из разных школ. Ребят из ансамбля посадили вперемешку со зрителями. Под потолком включили целые шеренги прожекторов. И еще прожектора — большущие, на длинных ногах. Их стекла были затянуты марлей, а то, наверно, можно было совсем ослепнуть.

Операторы катали по полу тяжелые камеры на высоких, похожих на столбы подставках. За камерами извивались черными змеями кабели. Опять появился Анатолий Федорович.

— Эй, «Крылышки»! Полетели на сцену!

Что? Уже? Максима даже слегка затошнило от волнения. Но это была пока репетиция. Даже не репетиция, а прикидка: где кому стоять и сидеть. Оказалось, что хор не будет выстраиваться в три шеренги, как обычно, а ребята рассядутся вразброс на ступеньках и больших фанерных кубиках.

— Так будет естественнее, — сказала Анатолию Федоровичу кудрявая девушка с микрофоном на груди.

Анатолий Федорович нахмурил дремучие брови.

— Непривычно это. Что ж заранее не сказали?

— Ну, вы такие молодцы! Справитесь! Справитесь, ребята?

«Крылышки» радостно завопили, что справятся. Сидеть было интереснее, чем стоять рядами.

— Порепетировать бы, — сказал Анатолий Федорович.

Но девушка с микрофоном торопливо объяснила, что репетировать уже некогда: «Осветители и так затянули подготовку, и время поджигает».

Анатолий Федорович посмотрел ей вслед и позвал Алика и Максима:

— Ну что, коллеги? Страшновато?

Алик помотал головой. Солист Тигрицкий имел большой опыт и никогда не волновался. А Максим сказал:

— Маленько... Ох...

— Ничего, ничего. Вы уж не подведите... А то и так все через пень-колоду... Э, Максимушка, у тебя что с рукой?

А было не «с рукой», а «в руке». Болтик. Максим так его и носил в кулаке. Он разжал пальцы и показал находку:

— Некуда положить.

Ладонка была вспотевшая, красная, со следами смазки и рубчиками от резьбы.

Анатолий Федорович покачал головой. Вытянул из кармана платок и начал вытирать Максимкину руку. А потом и болтик.

— Это что? Талисманом запасся, чтобы не бояться? Э?

— Да нет, просто нашел. А куда девать?

— Ага! А я думал, это у тебя амулет для храбрости. Ты с ним петь собираешься?

— А можно?

— Ну... можно, наверно. Только ты уж постарайся.

Максим кивнул... и почувствовал, что волнение прошло. Сделалось спокойно, уютно, и даже чуточку спать захотелось. Наверное, от тепла. Разные светильники и прожекторы так нагрели воздух, что стало как летом на черноморском пляже. Максим с сочувствием поглядел на старших ребят: как они жарятся в своих костюмах?..

«Крылышки» опять рассыпались по зрительским местам. На площадку перед камерами выходили другие группы. Тоже что-то прикидывали, о чем-то спорили.

Наконец откуда-то сверху донесся радиоголос: «Всем внимание! Сейчас начинаем!»

Старший хор — в голубых пиджаках и клешах — выстраивался на площадке.

Вышла вперед незнакомая женщина — молодая, в красивом пушистом свитере. Улыбнулась и заговорила отчетливо и весело:

— Дорогие ребята! Уважаемые телезрители! Сегодня в нашем концертном зале выступают юные артисты: певцы, музыканты, танцоры. Конечно, это пока не настоящие артисты, это такие же ребята, как вы. Просто они очень любят петь, плясать, играть на музыкальных инструментах. А учатся этому они в своем пионерском ансамбле...

Появилась ведущая — пятиклассница Светка Данилевская. И в навалившейся тишине голос ее был очень звонким:

— Выступает детский музыкально-хореографический ансамбль Дворца культуры имени Чкалова!..

Потом еще минут пять: кто художественный руководитель, кто концертмейстер, кто дирижер, кто композитор... Наконец старшие запели.

Максим назубок знал их программу и потому не очень слушал. Больше следил за операторами у камер. Иногда камеры поворачивались к зрителям. Значит, сейчас Максима видят в телевизорах! Мама видит, папа, Андрей. И ребята...

Максим старался изо всех сил сидеть солидно, а болтик покрепче стиснул в кулаке.

Хор спел две песни про космонавтов, потом про «Зарницу». После этого на площадке появился оркестр. Точнее, не весь оркестр, а несколько человек — самых младших. С трубами, флейтами и барабаном. Серебряный контрабас был таких размеров, что совсем упрятал под собой мальчишку-музыканта. Лишь ноги торчали да голубая пилотка. Барабан тоже оказался великанским. Однако и девчонка-барабанщица была не маленькая — худая, но высокая, выше всех.

А впереди оркестра встал тот мальчик, что встретился

в коридоре: «Купи слона...» Он держал медные тарелки. Лицо у мальчика было серьезное. Но Максиму показалось, что за серьезностью прячется хитроватая улыбка: «Это я на первый взгляд такой спокойный, а вот как возьму да гряну...» Максим тихонько засмеялся и постарался встретиться с мальчиком глазами. Но тот стоял будто в строю — сдвинул пятки, опустил руки и глядел прямо перед собой. Ну и пусть. Все равно он с Максимом немножко знаком, и Максим рад, что выступает такой хороший человек. Жаль, что они раньше не встречались. А как встретишься? Хор и оркестр занимают в разные дни...

— Старинная мелодия! — объявила Данилевская. — Марш отдельного Кубанского пластунского батальона «Морской король»! Исполняет младшая группа духового оркестра! Дирижер Евгений Сергеевич Кочкин!

Евгения Сергеевича можно было бы звать просто Женей: он оказался чуть постарше Максимкиного брата Андрея. Евгений Сергеевич легко вспрыгнул на площадку и поднял руки. Маленький музыкант с тарелками покосился на дирижера и чуточку улыбнулся. Они заиграли.

Марш был красивый. Местами немного печальный, но все равно боевой. Он Максиму очень понравился. А больше всего понравилось, как мальчик ударял тарелками. Грянет, потом широко разведет и плавно опустит руки. Он был почему-то без пилотки, и после каждого удара у него от толчка воздуха торчком вставал отросший русый чубчик.

Максиму хотелось, чтобы марш звучал долго-долго. Но, что поделаешь, он кончился. И тогда Максим хлопнул вместе со зрителями изо всех сил. Жаль, что мальчик с тарелками не посмотрел на него: наверно, не заметил среди многих мальчишек и девчонок.

Ребята из танцевальной группы сплясали «Тройку», и наступила очередь «Крылышек». Народ в вишневых пилотках отовсюду стал сбегаться к площадке и усаживаться, как договорились. Получилось шумно и даже бестолково.

«Неужели весь этот кавардак видно на экранах?» — с беспокойством подумал Максим. Наконец расселись. Три большие телекамеры смотрели на них темными выпуклыми стеклами. На одной камере над объективом горела красная лампочка. Значит, эта камера как раз и работает. Максим старался на нее не смотреть. У него опять от волнения заныло внутри. Но тут он сообразил, что песня о полете еще не сейчас. Есть время, чтобы собрать всю смелость. Рядом с камерой, так, чтобы не попасть на экраны, встал Анатолий Федорович. Опять бойко затопала к микрофону Светка Данилевская.

— Выступает хор «Крылышки»! Художественный руководитель и дирижер Анатолий Федорович Вершков.

Зрители захлопали, а хор смотрел на Анатолия Федоровича. Тот незаметно кивнул, поднял руку: внимание...

Сначала вместе, без солистов, спели «Кузнечика»: как его слопала лягушка. Потом Алик пел свои «Макароны». Это шуточная песня, как один итальянец очень хочет похудеть, но ничего не может с собой поделывать: больше всего на свете он любит вкусные макароны и, как увидит, сразу на них набрасывается.

Алик пел здорово, смешно. Зрители долго хлопали и веселились. А Максим понимал, что вот наступает и его минута. И даже ноги ослабели.

«А ну, прекрати, — сказал он себе строгим маминым голосом. — Прекрати сию же минуту. Изволь держать себя в руках!»

И это немножко помогло. Потом он увидел, как ему улыбнулся Анатолий Федорович, и эта улыбка тоже помогла. В самом деле, чего нервничать? На репетициях-то он пел нормально. А здесь что? Ребят не так уж много, зал меньше, чем во Дворце. Будто в комнате поешь. А про камеры не надо думать, вот и все...

— «Песня о первом полете»! Солист Максим Рыбкин!

Ух ты, как стало тихо! Почему это? Или только так кажется? Ну ладно...

Максим поднялся, сжал в кулаке болтик и храбро пошел к микрофону. Правда, по пути он зацепил ногой фанерный кубик, на котором сидела Пенкина, и чуть не потерял равновесие. Но не потерял. Никто и не заметил, наивно, как он споткнулся.

Микрофон был похож на черную решетчатую грушу. Груша торчала на блестящей палке — как раз на уровне Максимкиного подбородка. Максим не стал подходить к микрофону вплотную: чего он будет прятаться за него от камер? Анатолий Федорович кивнул ему: «Правильно».

Максим встал прямо-прямо и опустил руки. Не будет он руки держать за спиной, как Алик. Не о макаронах поет, а о летчиках... Интересно, правильно ли сидит на голове пилотка? Сейчас уже не проверишь... Не сбиться бы... Главное, как запоют, сразу представить поле и самолеты. Ну а как же иначе? Он сразу и представит. Небо, облака, траву, легкие разноцветные аэропланы. И себя недалеко от машины с серебристыми крыльями.

Зазвучал рояль. И вот уже началась песня. Но это еще не его, не Максимкины, слова. Пока поет хор:

Над травами, которые
Качает ветер ласковый,
Над кашкой и ромашками
Растет веселый гром:
С рассветом просыпается,
Под крыльями качается
Наш маленький
учебный
городской аэродром.

Пока еще сигнала нет
От строгого диспетчера,
Пока пилоты прячутся
От солнца под крылом,
Мальчишка в синей маечке,
Дежурным не замеченный,
В траве стоит, не двигаясь,
И взглядом просит он...

Максим для убедительности еще крепче сжал болтик. Глянул поверх голов зрителей. Прожекторы светили в гла-

за и грели, как летнее солнце. Максим слегка прищурился и запел:

Товарищ летчик!
Ну что вам стоит?
Я жду уже три недели...
Ведь это совсем-совсем простое
Для вас, для летчиков, дело.

Мне очень надо подняться в небо —
Я летчиком тоже хочу быть,
А в небе ни разу, ни разу не был..
Возьмите, сделайте чудо!

Он пел, и ему уже казалось, что он в самом деле просит летчиков, чтобы взяли в полет. И если будет просить очень убедительно, изо всех сил, тогда, может быть, и в самом деле случится чудо.

Ведь я не прошусь ни в тайгу, ни на полюс,
Ни в жаркие страны далекие.
Мне лишь на минуту взлететь над полем...
Возьмите!
Я очень легкий!

И потом, как последний, отчаянный довод:

Ведь я ничуть не боюсь высоты,
Я прыгал два раза с крыши!..

И тихо. На секунду тихо. И каждый раз, когда Максим кончал на этих словах, он чуточку боялся: возьмут? Он знал, что возьмут, и все равно с напряжением ждал, когда хор совсем развеет тревогу. И хор закончил песню:

Рванули на клочья
Воздух
Винты,
Прижались от ветра трава и кусты:
Машина с мальчишкой рванулась —
Все выше!
Выше!
Выше..
Выше...

Песня затихла постепенно и плавно, как затихает звон мотора, когда самолет уходит к горизонту.

И стала нарастать тишина. Какая-то удивительно плотная тишина и очень долгая. Что же это? Так и будет? А что теперь делать?

И вдруг кто-то хлопнул. И еще! И сразу рванулась, понеслась трескучая река аплодисментов, и Максим в первую секунду испугался даже больше, чем тишины. Не так уж много народа, откуда же столько шума? Хлопают, хлопают. Кто-то даже крикнул: «Молодцы!» Как в хоккее. Максим растерянно оглянулся на хор. Ребята стояли и тоже хлопали. Подошел и встал рядом с Максимом Анатолий Федорович. Взял Максима за плечо. Максим глянул на него удивленно и вопросительно. Алексей Федорович улыбнулся ему мельком, потом стал смотреть в зал и несколько раз поклонился. Быстрыми шагами подошла красивая женщина в пушистом свитере — та, что открывала концерт. Нагнулась сбоку над Максимом.

— Тебя зовут Максим? Поздравляю, Максим, ты хорошо пел. — И, выпрямившись, спросила: — Верно, ребята?

Аплодисменты опять налетели, как шумный ветер. А когда приутихли, она спросила:

— Тебе нравится петь?

— Ага... — сказал он сипловато от смущения. И поправился: — Да, нравится.

— Ты, наверно, не первый раз выступаешь на концерте?

— Первый... То есть солистом первый. И по телевизору...

— Ну, тем более поздравляю. Удачное начало... Ты кем хочешь быть, Максим?

Он беспомощно глянул на Анатолия Федоровича. Но тот ободряюще улыбался: «Держись».

— Я не знаю, — почти шепотом сказал Максим.

— Но все-таки! Может быть, летчиком?

— Может быть, — согласился Максим. Но обманывать

не хотелось, и он опять повторил: — Не знаю... Правда, не знаю. Я еще не решил...

Кажется, это был неудачный ответ. А что сказать? Максим свел брови и досадливо потер лоб кулаком. Зрители засмеялись. Максим поспешно опустил руки. Женщина в свитере тоже смеялась

— Ничего, Максим, время еще есть, успеешь решить...

А что у тебя в кулаке?

— Это так, болтик, — растерянно объяснил Максим и раскрыл ладошку.

— Интересно. А зачем он тебе?

Долго было про все рассказывать. Максим набрался храбрости, улыбнулся и сказал:

— Для крепкости...

Ведь я ничуть не боюсь высоты

Лето вначале кажется сказкой. Потом привыкаешь, но первые дни — радость и праздник. А самый первый летний день — настоящее чудо. Все — чудо! Запах короткого дождика, который вымыл асфальт (хотя дождя не было, а проехала поливальная машина). Стайка желтых бабочек над газоном. Согретый воздух, обнимающий со всех сторон, отвесные лучи, которые греют плечи сквозь тоненький жилет и рубашку. И чудесная легкость: нет на тебе ни пальто, ни тесной куртки с кусачим воротником. Скачешь и словно купаешься в солнечном воздухе. А если разбежаться и посильнее ударить подошвами об асфальт, можно подскочить и полететь к облакам, похожим на большие белые парашюты.

Тепло, тепло, тепло... Даже не верится, что утром ца-рапал ноги и шею колючий холодок. Те, кто пришел на студию одетым, теперь тащили свое имущество под мышками. Только Алик Тигрицкий натянул свитер — он берет свой голос от малейшего дуновения.

«Крылышки» разлетались от проходной во все сторо-

ны — по своим улицам, домам, школам. Максима догнала Маргарита Пенкина.

— Рыбкин, ты можешь стать гордостью ансамбля, если будешь работать над собой, — внушительно сказала Ритка. — И если не станешь зазнаваться.

Максим досадливо вздохнул и ускакал вперед — чтобы не портить настроения. Ненормальная какая-то! Разве он хоть чуточку зазнается? Просто радуется, что все хорошо получилось. И все ребята радовались: песня-то общая. Вон левое плечо все еще гудит — это Вовка Семенов подошел, сказал: «Молоток!» — и трахнул с размаху ладонью. Дружески, конечно, однако крепко.

А на щеке, наверное, до сих пор красный кружок с четырьмя бугорками — след от пуговицы. Это Алексей Федорович прижал Максима к пиджаку. Изю всех сил прижал и сказал:

— Молодчина, Максимушка, спасибо тебе.

А за что ему спасибо? Это всем на свете спасибо, что так здорово было. Алексею Федоровичу — за то, что учил и не сердился, когда Максим путался в нотах (если честно, то и сейчас путается, но, говорят, слух выручает). Мальчику-музыканту — за «слона», за сверкающие медные тарелки и боевой марш «Морской король». Алику — за то, что не обиделся. Вовке — за приятельский тумак. Женщине-диктору — за хорошие слова. И всем, кто слушал и хлопал... Летнему дню спасибо за тепло и радость. И мастеру, который сшил вишневую форму — такую, что в ней легко и песни петь, и по солнышку шагать вприпрыжку, и красивым быть: прохожие поглядывают и улыбаются... И крепкому железному болтику спасибо.

Максим шагал, радовался, перебрасывал болтик из ладони в ладонь. И вдруг подумал: а куда идти?

В школу рановато. Если поспешить, можно заскочить домой, узнать, понравилась ли передача. Но это будет неинтересный, торопливый разговор. Во-первых, мама засадит обедать, а есть совсем не хочется. Во-вторых, скажет,

чтобы переодевался. Нечего, мол, казенную одежду трепать. Но в школьных штанах и куртке он заживо сварится — вон какое солнце! А новенькую пионерскую форму трогать нельзя: она приготовлена к послезавтрашнему сбору.

Да, по правде говоря, не только в этом дело. Просто хочется Максиму быть таким, как на выступлении. И не хвастовство это вовсе. Ну, может быть, только чуть-чуть... Просто он чувствует, что, если снимет форму «Крылышек», потеряет частичку радости. А зачем?

Нет, лучше уж сразу в школу. А чтобы не прийти слишком рано, можно попетлять по незнакомым улицам. На каждой улице — лето. И на каждой — что-то неизвестное. И все надо узнать. Ведь это теперь его, Максимкин, город.

Максим прикинул примерное направление к школе, перешел дорогу и свернул за угол.

Улица называлась Восточная и была тихая. Дома — разные: деревянные и каменные. Некоторые одноэтажные, а чаще по два и три этажа. Но все старые. И тротуары старые — не асфальтовые, а из стертых гранитных плит. В трещинах пробилась яркая травка и желтели одуванчики. Максим шагал, стараясь не наступать на них. В одном месте плиты были выворочены, и улицу пересекала глубокая траншея. Видимо, водопроводчики меняли здесь трубы. Но сегодня была суббота, и никто не работал. Через траншею перекинут был мостик из досочек. Но это — на другой стороне улицы. Там у чугунных узорчатых ворот стояли две девчонки — наверно, класса из пятого — и поглядывали на Максима.

Максим посмотрел за траншею, и внутри у него слегка заглодело. Но как быть? В конце концов, нельзя же трюсить всю жизнь!

Ведь я ничуть не боюсь высоты,
Я прыгал два раза с крыши...

Он отошел, вздохнул и крепко сжал болтик. И разбежался так, что ветер засвистел в ногах. Р-раз! Он перелетел! Мельком увидел под собой темную глубину траншеи с голубым осколком воды и упал на четвереньки в кучу рыхлой глины.

Вскочил, отряхнул глиняные крошки и пошел, не оглянувшись на девчонок.

Но так спокойно и независимо шел он недолго. Потому что на тихой улице послышался громкий плаксивый голос. Кто-то кричал и причитал за углом высокого дома.

Максим заторопился и свернул в переулок. На тротуаре стояла худая, как палка, тетенька в синем платье и клетчатом платке. Платок закрывал всю голову, лоб и шею. Голова была похожа на клетчатый шар с маленьким остроносом лицом. Тетенька стояла прямо, как на сцене, и, глядя перед собой, голосила:

— Сгорим, сгори-им ведь, паразит он проклятый, утюг-та не выключен, и ушел, чтоб его машина переехала, опята наберется по уши, висельник окаянный!..

Толстый дядя в полосатой рубашке, две женщины с большими сумками и очень высокий гражданин в очках стояли неподалеку и переглядывались. Видно, понять не могли: что за невыключенный «утюг», который ушел куда-то, и почему его должна переехать машина.

Максиму тоже стало интересно и сделалось немного жаль крикливую тетеньку.

Подошла еще женщина — видно, знакомая. Ухватила голосистую за локоть. Громко спросила:

— Что с тобой, Марина?

Тетенька с девчоночьим именем Марина стрельнула по сторонам глазами и опять запричитала:

— Только на минутку вышла к Нюре за маслом, велела паразиту: «Никуда не уходи», — ключ не взяла, а он уже смылся, дверь захлопнул! Только бы за воротник залить ради субботы, а что утюг горит, сообразить — ума нет! Ой,

пожар будет на всю улицу! Ой, будет!.. Там газеты рядышком лежат, все равно что растопка...

— Ну ясно, — сказал толстый дядя женщинам. — Муж сбежал, ключа нет, утюг калится. Это надо же: уходить — и не выключать электроприборы.

— На минутку вышла-то, кто же его знал! — жалобно откликнулась Марина. И захныкала, не поворачивая головы.

— Подожди ты! Может, твой Витя выключил утюг-то, — сказала знакомая.

Марину опять прорвало:

— Выключит он, как же! Сроду ничего не выключает, палец о палец стукнуть дома не желает, чтоб он отравился! Наделаем пожару, всю жизнь не расплатимся, будет знать, рожа запойная!

— Дело понятное, — сказал толстый дядя. — Все может кончиться возгоранием.

— Тогда, наверное, есть смысл немедленно позвонить пожарным, — откликнулся высокий гражданин.

Несколько остановившихся прохожих ему возразили: а вдруг утюг все же выключен и пожарные приедут зря? Неприятность будет.

— Пока ведь не горит. Ежели бы горело, дым бы из форточки шел. Она открытая.

Все посмотрели наверх. Над нижним кирпичным этажом поднимались еще два — деревянные, и на верхнем, под узорчатым карнизом большого окна, темнел квадрат распахнутой форточки.

Подошли две девчонки — те, что стояли у ворот, когда Максим прыгал. Тоже стали смотреть на форточку, быстро поняли, что к чему. Одна сказала:

— Если бы кто залез да выключил...

— Это, пожалуй, здравая мысль, — откликнулся высокий гражданин.

— Но кто рискнет? Тут необходимы ловкость и сноровка.

Может быть, они просто так говорили, но у Максима

под рубашкой забегали холодные мохнатые жуки. Показалось, что все смотрят на него. Если ловкость и сноровка, то у кого? Не у толстого же дяди и не у этих пожилых женщин с кошелками. И не у девчонок с глупо приоткрытыми ртами.

Наверно, видели передачу и уже вспоминают, как он пел про полет.

Здесь, конечно, не песню петь. До окна с форточкой метров семь: если стукнешься, шепки будут... А пилотка? А эти слова: «Ведь я ничуть не боюсь высоты»? Попробуй теперь сделать вид, что тебя ничего не касается, попробуй уйти! Может быть, ничего не скажут, но как будут смотреть вслед...

И как потом ходить по городу в пилотке с крылышками?

Максим глянул на водосточную трубу. Даже не оправдаешься, что старая и не выдержит. Или что грязная — перемажешься ржавчиной. Как назло, новая, прочная, покрытая коричневой масляной краской.

В конце концов, по шесту в спортзале он лазил, не падал...

И по правде говоря, как было бы здорово, если бы сейчас на виду у всех он спас от пожара дом...

Чувствуя замирание в душе, Максим снял пилотку и положил в нее болтик. Потом расстегнул и скинул жилет. Протянул все это высокому гражданину в очках:

— Подержите, пожалуйста.

Гражданин с почтением взял Максимкино имущество. Зрители запереговаривались:

— Ишь, смелый малец...

— А чего! Он как перышко, враз доберется.

— Перышко! Мать-то видела бы...

— Да поймаем, коли оборвется...

— Ты, мальчик, главное, не бойся, забудь, что высоко...

— Граждане, зачем вы разрешаете? А если что случится?

— А если пожар?

— Мальчик, не надо!

«Не надо!»! Теперь никуда не денешься, нужно держаться до конца. Максим, не оборачиваясь, подошел к трубе и здесь сбросил сандалии и носки. Глянул вверх, вдоль трубы. И все, наверно, смотрели, как он — ловкий, гибкий и быстрый — готовится рискнуть. Сзади тяжело затопали — подошел толстый дядя.

— Давай-ка, акробат, я подсажу повыше. Все легче будет.

И не успел Максим вздохнуть, как оказался в двух метрах над землей. Почти на уровне второго этажа.

Он вцепился в трубу. Сжал ее коленями, ступнями, ладонями. Прижался грудью и даже щекой. Будто приклеился. Посмотрел вниз. Все с ожиданием глядели на него. Максим вздохнул и полез...

Труба хотя и блестящая была, но не очень скользкая. И не очень шершавая — не царапалась. Она словно прилипла к ногам и ладоням. Угол дома был в тени, труба не нагрелась от солнца и приятно холодила. Максим после каждого рывка прижимался к ней щекой. Это прогоняло боязнь.

В общем, лезть было не очень трудно, и Максим понял, что до третьего этажа доберется.

А вот как дальше?

Он подтянулся последний раз, встал на перемычку, соединявшую трубу со стенкой. Железо было тонкое и резало ступни. Максим сжал зубы, зашипел от боли и поскорее перебрался на длинный карниз, который отделял второй этаж от третьего.

Окно с форточкой было третьим от угла. Цепляясь за косяки, за выступы деревянных узоров и переплеты рам, он стал пробираться вдоль стены. Снова стало жутковато, и, чтобы не дрожать, Максим уговаривал себя: все это не страшно, до земли всего два этажа, а если точнее — то полтора, потому что первый, каменный, — не настоящий этаж, а почти полуподвал. И если что случится, толстый дядька обещал поймать...

До окна он добрался. Подергал створки. Они, конечно, не открывались. Теперь начиналось самое сложное. Внизу переговаривались, давали Максиму советы и даже требовали, чтобы он спускался обратно. Но он не обращал внимания. Он знал, что выход один — лезть в форточку.

Он дотянулся до верхнего карниза, встал пальцами на узенькую кромку подоконника. Нижний край форточки оказался на уровне груди. Максим сунул в форточку голову и руки, лег грудью на переплет, зацарапал коленками по скользкому стеклу. И, сам не зная как, начал проталкиваться все дальше, дальше. Наконец перевесился и радостно свалился вниз головой в комнату.

Нет, не зря он сюда забрался! В комнате уже плавал едкий дымок. На шерстяном одеяле, накрывавшем стол, вокруг чугунной подставки утюга расползлось коричневое пятно, похожее на большого краба. Максим дернул шнур, схватил за ручку утюга, ударил им по подставке. Она со звоном покатила и легла у двери. Максим поставил на нее безопасный теперь утюг. Потом, кашляя от запаха горелой шерсти, подошел к окну, дернул запоры. Распахнул створки. Снизу, одинаково приоткрыв рты, смотрели на него разные люди.

— Все! — сказал Максим. — Выключил. Еще немного, и загорелось бы. Одеяло уже дымилось.

Он был сдержан, а душа у него ликовала. Две девчонки переглянулись, снова задрали головы и вдруг заплодировали. Как на концерте. И тогда другие люди, взрослые, тоже захлопали. Все. И толстый дядя, и женщины (они аккуратно поставили на тротуар сумки), и высокий гражданин в очках (он повесил Максимкин жилет на локоть). И даже трое больших мальчишек — они подошли, когда Максим забирался в окно. И еще разные прохожие.

Максим даже отодвинулся на полшага от подоконника. И, наверно, слегка покраснел. Второй раз за сегодняшний день его награждали аплодисментами. Снова он был

победитель. Может быть, напрасно он совсем недавно считал себя трусом?

Максим сделал спокойное лицо и перегнулся через подоконник. Надо было узнать, как выбраться из квартиры. Он не успел даже спросить. Голосистая Марина одна из всех не хлопала и, едва Максим наклонился, закричала:

— Ты иди, мальчик, иди в коридор, там дверка с замочком. Ты иди отопри, а я поднимусь!

И, не сгибаясь, торопливо засемила во двор, словно ходячая синяя палка с клетчатым шаром-набалдашником.

Максим через кухню вышел в коридор. Здесь горела желтая лампочка и почему-то пахло ржавчиной и керосином. На стене висела жестяная ванна, велосипед без переднего колеса и старые пальто. На высокой двери с деревянными завитушками поблескивал новый накладной замок. Он был сложный — с рычажками и кнопками. Как на секретном сейфе! Максим понажимал, подергал, но без всякого результата. За дверью слышались поспешные мелкие шаги.

— Как открывать-то? — нетерпеливо спросил Максим. — Я в школу опаздываю.

— Кнопочку, кнопочку снизу нажми, а рычажок отведи, оттяни его...

Кнопочек на замке было две. Максим нажал их по очереди и вместе, подергал рычажки. Попытался повернуть граненую ручку. Замок сопротивлялся с железным упорством. Максим стукнул по нему кулаком, отбил сустав на мизинце, сунул палец в рот и шепеляво произнес:

— Ну и шиштема! Я не жнаю, што делать!

— Заело! — запричитала Марина. — Его, как сильно хлопнешь, завсегда заедает!

Максим вынул изо рта палец и сердито потребовал:

— Ну слесаря тогда зовите. Мне же в школу надо скорее.

— Где его в субботу найдешь, слесаря-то? Вот уж если Витя придет...

Жди, когда ее Витя явится!

Успех всегда прибавляет сил. Максим чувствовал в себе сердитую смелость. Решительно шлепая босыми ступнями, он опять прошагал к окну. В конце концов, это даже лучше — вернуться на землю тем же рискованным путем.

— Замок у нее заело, — с ехидной ноткой громко объяснил Максим зрителям. — А мне в школу пора.

Он ловко перебросил ноги через подоконник и опять встал на узенький карниз.

— Мальчик! — сказал гражданин в очках. — Не надо! Сейчас нет особой необходимости, а...

Но договаривать он не стал. Какой смысл? Максим уже двигался к трубе. Он пробирался вдоль стены цепко и ловко. Рубашка выбилась из-под резинки на штанах и, наверно, красиво трепетала на ветерке. Максим не боялся. Путь по карнизу был знаком, а по трубе он спустится в два счета — это ведь не вверх карабкаться. Один раз у него дрогнула и сорвалась рука. Девчонки громко ойкнули. Но это лишь прибавило Максиму храбрости. Он вцепился в трубу и, поглядывая вниз, начал спускаться. Толстый дядя подошел и растопырил руки.

— Спасибо, я сам, — сказал Максим. Скользнул до конца трубы и с облегчением ступил на ее изгиб — в полуметре от земли.

В эту секунду нижнее колено трубы вырвалось из скоб и грянулось о землю. Вместе с Максимом.

Он грохнулся на бок, плечом и локтем, и отлетел к фундаменту, с размаху стукнувшись левой коленкой о шершавые кирпичи.

Секунду он лежал оглушенный. Потом подумал: «Вот глупо-то! У самой земли. Смеяться будут». Быстро сел. Посмотрел на локоть: сильно ли порвана рубашка? Странно: не порвана и даже почти не испачкана. Это хорошо!

Он толкнулся о землю ладошками, чтобы вскочить и засмеяться вместе со всеми. В колене словно взорвалась

маленькая бомба — на сто колючих осколков! Максим тихонько ойкнул и посмотрел на колено. Там было что-то красное и блестящее. Максим зажмурился, и его слегка затошнило.

Максима обступили и пытались поднять.

— Осторожно, осторожно!.. Очень больно, мальчик? (Еще бы! Боль нарастает резкими толчками. Такая, что слезы уже не сдержат.)

— Тише, товарищи, ногу не трогайте. Вдруг сломана! (Этого еще не хватало! Ведь послезавтра сбор!)

— «Неотложку» надо, шов придется накладывать... (Мамочка! Какой еще шов?)

— Не надо шов, на мальчишках все подсыхает... (Вот и хорошо...)

— Да, подсыхает! Смотрите, земля попала! А если заражение? Надо прививку...

— Не надо! — отчаянно сказал Максим.

— Тише, тише, мальчик, не бойся. Нужно перевязать. У кого есть чистый платок? (Как назло, платок дома остался!)

— Девочки, у вас есть платок?.. Эх, а еще девочки.

— Тут больница недалеко. Давайте мы на руках дотащим! (Это большие мальчишки. Им что! Возьмут и дотащат. А там...)

— Спокойно, товарищи. Где раненый? Дайте-ка я возьмусь.

Это был густой командирский голос. Максим разлепил мокрые веки. Сквозь повисшие на ресницах капельки он увидел громадного человека.

Человек был большущим в высоту и ширину. Как башня. Башня, одетая в синюю форму гражданского летчика. Где-то в подоблачной вышине маячила белая клеенчатая фуражка с голубым околышем. Этот необыкновенный летчик словно весь состоял из круглых больших складок. В складках необъятный живот, обтянутый форменным пиджаком. Складками повисла шея над белым воротничком.

ком сорочки. В складках крупное лицо. И оттуда, с вышiny, добродушно и внимательно смотрели на Максима очень синие глаза. Такие же синие, как у плотника, который подарил золотую щепку.

Люди расступились. Человек-башня вытянул из брючного кармана белоснежный платок размером с небольшую скатерть. Потом, колыхаясь складками, присел над Максимом. Мягко, но решительно взял в большущие пальцы его ногу...

Плотная повязка придавила, ослабила боль, сделала ее нестрашной. Летчик поднял Максима.

— Ступить можешь?

Максим попробовал. Шепотом сказал:

— Могу, если несильно.

Рукавом вытер ресницы, помигал и спросил:

— А где моя пилотка?

Высокий гражданин торопливо подошел:

— Вот, пожалуйста. И винтик ваш...

Максим улыбнулся:

— Это мой болтик.

Ему помогли надеть жилетик. Натянули носки и застегнули сандалии. Летчик, увидев пилотку, пророкотал:

— Эге, да ты тоже из авиаторов. Неудачно сел?

Максим опять улыбнулся, посмотрел на колено. И снова испугался: сквозь платок проступало красное пятно. Летчик сказал обступившим людям:

— У меня тут машина. Сейчас отвезу пострадавшего товарища в нашу санчасть. Там посмотрят.

Взрослые зрители обрадованно запереговаривались: как все удачно получается!

Им-то что! Это ведь не им, а Максиму в санчасть, где на стеклянных полках всякие блестящие штуки: щипцы, ножницы, шприцы...

— Может, не надо? Подсохнет, — жалобно сказал он.

Летчик проорчал что-то по-медвежьи, подхватил Максима как щепочку и понес. Куда денешься с такой высоты из таких могучих лап?

А может быть, все еще обойдется? Перевяжут — и дело с концом. Не обязательно же прививка...

Максим слегка успокоился. Сидеть было удобно. Он плыл над тротуаром, покачиваясь как в люльке. От летчика пахло крепким одеколоном и табаком. У него были седые брови, клочковатые светлые волосы и большой круглый нос в прожилках. А глаза были ласковые. И Максим вдруг подумал, что летчик похож на Деда Мороза, которого побрили и одели в форму.

Летчик принес Максима к старенькому «Москвичу», усадил на переднее сиденье. Сам зашел с другой стороны, стал втискиваться в кабину. «Москвич» застонал и присел на рессорах.

— Старость... — сказал летчик и немного смущенно покосился на Максима. Потом озабоченно спросил: — Не болит? Не сгибай пока ногу.

Максим глянул на колено и коротко вздохнул: красное пятно сделалось больше.

Летчик стал торопливо давить на педаль стартера. «Москвич» зачихал.

— Сейчас, быстренько доедем...

— А куда? — спросил Максим.

— Туда, где управление Аэрофлота. Может быть, видел?

— Конечно, видел! Я там во Дворце в ансамбле занимаюсь. Видите, и форма такая: хор «Крылышки».

— Вот и отлично, — прогудел летчик. — Я сразу понял, что ты из наших... А чего это ты приземлился так неладно?

— Да... из-за одной растяпы, — небрежно сказал Максим. — Утюг оставила включенный, а дверь захлопнулась. Пришлось лезть на третий этаж. Хорошо, что успел: уже гореть начало...

— Да ты герой, — серьезно сказал летчик.

У Максима уши стали теплые, и он отвернулся к окошку. Они уже ехали. Скоро замелькали дома на знакомой улице Титова.

— Сейчас домчимся, — опять зарокотал летчик. — Там тебя быстренько починят. Промоют, перевяжут... Ну, укольчик в одно место, без этого никто не проживет. И будешь прыгать как новенький.

— Укольчик-то зачем? — слабым голосом откликнулся Максим.

— Надо, братец. Чтобы глупого риска не было. У нас в сорок пятом году бортмеханик был — всю войну целехонький прошел, а потом руку поранил, загрязнил и помер. На двенадцатый день скрючило всего от столбняка. Так что лучше уж сразу делать как надо.

Вот и все. Никакой надежды. Теперь, даже если была бы возможность спастись, Максим не стал бы убегать. Потому что укол — это страшно, однако помирать в неполные десять лет — тоже что хорошего? Особенно когда у тебя на счету столько побед, а кругом лето...

ОВИДА

«Москвич» остановился у здания, где было управление Аэрофлота. Но не у главного входа, а сбоку. Летчик со скрипом выбрался наружу, обошел машину, открыл дверцу с Максимкиной стороны. Добродушно протянул большие ладони:

— Ну что, пилот, пойдем на ручки?

Неизбежное приближалось. У Максима в животе и груди ощущалась холодная пустота, а в ней противно и односторонне стонали беспокойные струнки. Все это и называлось «страх». От такого чувства слабеют ноги, если даже они обе здоровые.

Но, кроме страха, в человеке есть гордость. Она со страхом борется, и они стараются друг друга повалить на лопатки. В Максиме никто из них пока не повалил другого.

Максим стал вылезать из «Москвича».

— Я сам пойду.

— А не больно?

Максим осторожно ступил на левую ногу. Боль толкнулась в разбитом колене, но терпимо. Это был пустяк по сравнению с тем, что Максима ожидало.

— Ничего, можно идти, — уныло сказал он.

— Ну и молодец.

Они прошли через садик, и Максим увидел в стене голубую дверь, а на ней белый кружок с красным крестом. Вот такая жизнь! Боишься, боишься, и наконец все равно случается то, чего боишься.

Он вспомнил слова летчика про «положенное место» и успокоил себя, что, наверно, это не так больно, как под лопатку. Хотя, с другой стороны, конечно, неприятнее... Но ведь в санчасти у летчиков наверняка все врачи — мужчины. Так что ладно уж...

В прохладном коридоре был ряд белых дверей. Летчик пошел к самой дальней. Максим, прихрамывая, — за ним. Струнки в нем перестали стонать, но дрожащая пустота внутри осталась.

В санчасти все оказалось так, как ожидал Максим. Бинты, склянки и блестящие штучки на стеклянных этажерках. Белые стулья и тахта, накрытая клеенкой.

Только врача-мужчины не было, а была девушка. В халате и шапочке, как у Светланы Сергеевны в школе. Совсем-совсем молоденькая. Она подняла тоненькие брови и смешно удивилась:

— Ай, Иван Савельич! Вы опять к нам? Что случилось?

— Со мной ничего, Любушка, не случилось, — откликнулся летчик, и от его густого голоса на стеклянных полках что-то звякнуло. — Вот пилота привез пострадавшего. Неудачно зашел на посадку парень...

Он шагнул в сторону и открыл Максима, который стоял за его могучей спиной.

— Ай-яй! — опять воскликнула медсестра. — Это внучек ваш, Иван Савельич?

— Бог с тобой, Любушка. У меня внучка, Наташка. А это

просто наш человек. Видишь, форма с крылышками. Так что чини молодца.

— Ясненько, — сказала Люба и встретила с Максимом глазами. Глаза были веселые. Но Максиму было не до веселья, и он отвел взгляд. Люба подошла, крепко ухватила его под мышки, лихо пронесла над полом и усадила на тахту. Клеенка на тахте была холодная. Максим вздрогнул. Люба торопливо спросила:

— Ты что, маленький? Боишься?

— Нисколько, — замогильным голосом сказал Максим.

— Ну и замечательно!

Она взялась за платок на колене. Размотала стремительно, а сняла осторожно.

— Ух ты... Красиво... Ну ничего. Это с виду неприятно, а на самом деле не страшно. Ободрал сильно, вот и все.

Максим краешком глаза глянул на колени, мигнул и стал смотреть на окно. Там на травяное поле медленно опускался оранжевый вертолет.

Люба отошла к шкафчику и зазвенела склянками. С каким-то пузырьком и ватой опять направилась к Максиму.

— Не бойся, это не йод, жечь не будет.

Максим только плечом шевельнул. Да хоть бы сто бутылочек йода! Это ведь не шприц с неумолимой тонкой иглой.

Жидкость из пузырька шипела и пенилась, как газировка. И холодила. Потом на ногу лег сухой плотный бинт. Боли почти не было. Максим с надеждой посмотрел на Любу: «Может, все?» Но она доставала из-под стекла никелированную коробку. Максим успел заметить, как вертолет за окном отразился в этой коробке оранжевым огоньком. Из коробки появился шприц.

Иван Савельевич сидел у двери. Белая табуретка под ним казалась совсем крошечной. Он сочувственно смотрел на Максима. Потом подмигнул: «Ничего, держись». Люба повернулась к Максиму.

«Сейчас скажет: «Снимай штаны», — тоскливо подумал он и вспомнил, что давно еще про такой случай смотрел в каком-то кино. Зрители в зале веселились. Но в том фильме в переделку попал большой парень и от медсестры сумел отбрыкаться. А Максиму что делать? Он маленький...

Но Люба была хорошая медсестра. Она сказала:

— Расстегни рукавчик.

Максим непослушными пальцами стал дергать пуговку на обшлаге. Люба подошла вплотную и шепотом снова спросила:

— Ты что, боишься?

Врать уже было бесполезно. Максим с коротким вздохом сказал:

— Маленько...

— Не бойся ничуть, я незаметно. Посмотри в сторону и сосчитай до трех.

Максим ощутил на руке холодок проспиртованной ватки и... Он втянул воздух сквозь сжатые зубы.

Ничего себе «незаметно»! Он так стиснул в кулаке болтик, что головка чуть не проткнула ладонь.

— Все-все-все! Ты герой.

Все?

Значит, все...

Все!!

Конец подлому страху! Не надо больше замирать и вздрагивать!

И вдруг Максим разозлился. А почему он дрожал? Почему боялся до тошноты? Из-за этой секунды?.. «Сосчитай до трех...» Даже и не сосчитал. Ну, пришлось потерпеть — один миг. А из-за страха мучился сколько? В тысячу раз больше, чем от укола. Дурак и тряпка! А еще и вправду героем себя воображал...

— Рукав не опускай пока, пусть подсохнет, — ласково сказала Люба.

Максим кивнул и встал, осторожно ступив на забинто-

ванную ногу. И улыбнулся. Все-таки сильнее злости была радость освобождения. Радость, что страх позади. Впереди — день, похожий на праздник... А бояться Максим больше не будет никогда. Хватит, помучился. Теперь-то он знает, что глупо дрожать из-за пустяков.

Иван Савельевич тоже встал — со вздохами и шумом, но быстро. Это было похоже на рождение нового острова, который поднимается со дна океана.

— Ну, Любушка, я забираю молодца. Довезу домой. А?

Люба нерешительно посмотрела на Ивана Савельевича. Потом на Максима — слегка виновато.

— Еще не все... Это ведь такая сыворотка, ее нельзя сразу в полной дозе. Через часик еще раз надо.

Наверно, она увидела несчастные Максимкины глаза и заторопилась:

— Можно у нас в садике посидеть или погулять. Посмотреть, как самолеты летают. Часик быстро пройдет... Тебя как зовут?

— Максим, — сказал он шепотом и отвернулся к двери.

Он чувствовал себя так, будто сделали ему удивительный подарок и тут же отобрали. Посмеялись...

Иван Савельевич громадной ладонью взял его за плечо — словно седло положил на Максима.

— Мы вместе подождем. Мне теперь торопиться некуда, все равно в отпуске. Посидим, побеседуем. Пошли, Максим, в садик.

Максим захромал к двери. Потом вдоль коридора. Горькая досада разъедала его. Максим украдкой даже стукнул по стене кулаком с болтиком. Потому что досада была злая. Злая и... без боязни.

Максим удивленно прислушался к себе. Страх не было. Почти не было. Так, мелкий осадочек... Что это? Может, весь запас страха израсходовался на первый укол, потому что Максим не знал о втором?

Они вышли в скверик и сели на сколоченную из реек скамейку. Максим еще раз словно прошупал свои нервы.

Каждый сантиметр. Не затаился ли страх где-нибудь? Не выскочит ли опять, не разбежится ли по жилкам? Нет! В самом деле нет. Сердце стучало ровно и смело.

Конечно, предстоящий укол не радовал. Но когда Максим думал про него, не было ни тошнотворной слабости, ни дрожи. Жаль только, что надо ждать целый час. А если бы прямо в эту минуту, Максим бы и не побледнел даже. Разве что самую капельку...

Значит, кончено? В самом деле, не надо, значит, вздрагивать при неожиданных шагах в школьном коридоре. Не надо бояться, что ехидный Мишка Стременко заподозрит в тебе труса и скажет про это всему классу!

Эти мысли прогнали досаду. И к Максиму опять пришла радость — спокойная радость смелого человека.

За палисадником, на краю аэродрома, стоял длинный деревянный дом с тонкими антеннами и высокой мачтой. Над мачтой качалась надутая теплым ветерком «колбаса» — длинный сачок, сшитый из поперечных черно-белых полос. Это чтобы летчики видели, откуда ветер, когда заходят на посадку.

Садись и взлетали часто. Серебристые с голубыми полосками «Ан-2» и пестрые двухместные аэропланчики. И вертолеты, похожие на разноцветных стрекоз. Воздух мелко дрожал от стрекота моторов. И Максим подумал, что похоже, будто он попал в волшебную страну громадных кузнечиков.

Чтобы палисадник не мешал видеть летное поле, Максим с ногами забрался на скамью и сел на высокую спинку. Потом вспомнил о прилипших к подошвам тополиных почках и мусоре и торопливо скинул сандалии в траву: скамья недавно была покрыта ярко-голубой блестящей краской.

Максим покосился на Ивана Савельевича, но тот вроде бы ничего не заметил. Он сидел, сняв фуражку, и смот-

рел на самолеты. Максим со своей высоты видел его громадные плечи, погоны с широкими золотыми угольниками, редкие седые пряди, сквозь которые просвечивала розовая кожа.

Большой красно-желтый вертолет низко-низко прошел над ними. Мелькнула тень, и показалось даже, что от сверкающего винта дохнуло ветром.

Иван Савельевич взглянул на Максима, и они улыбнулись. Будто были оба летчиками и понимали друг друга без слов.

И Максиму очень-очень захотелось хоть какое-то отношение иметь к этой пестрой крылатой жизни. Он не выдержал, сказал:

— А мы сегодня по телевидению выступали. Я там песню про первый полет пел. Вы не видели утром передачу?

— Не видел, — огорченно откликнулся Иван Савельевич. — Вот жалость! Если бы знать... Все равно без пользы утро провел. Хотел отпускные дела оформить, да забыл, что суббота и контора наша закрыта.

— А вы здесь работаете? — спросил Максим, чтобы поддержать разговор.

— Работаю... Пошел было на пенсию, да не могу. Пускай хоть на земле, да все же у самолетов, к своим ребятам поближе.

— А вы на каких летали? — осторожно спросил Максим.

— Я, Максимчик, на всяких летал: и на «Ту-114», и на «Илах», и на «Ан-10». Во время войны был штурманом на Севере, на тяжелых бомбардировщиках... А до войны, не поверишь даже, на дирижабле приходилось летать...

— На дирижабле? — изумился Максим. — Как в кино «Гиперболоид инженера Гарина»?

— Вроде. Только побольше.

— А на таких? — Максим кивнул вслед зеленому учебному самолетику, мелькнувшему над головами.

— На таких само собой... Я ведь сейчас в кабину еле

втискиваюсь, а раньше был стройненький, даже не верится. Вроде тебя.

Максим засмеялся. Он представил Ивана Савельевича маленького, тощенького, в его, Максимкиной, вишневой форме, но с головой как сейчас — большой, седой, в белой фуражке. Иван Савельевич тоже усмехнулся.

— Да... А сейчас — только пассажиром. Да и то врачи не советуют.

— Сердце, да? — понимающе спросил Максим.

— А холера его знает... И сердце, и печенька, и селезенка, и все на свете... Я ведь, Максим, очень старый.

— Ну уж «очень», — вежливо возразил Максим.

— Очень, брат. У меня старший внук уже летает. А младшая вроде тебя. Чуть постарше, наверно. Недавно в пионеры приняли.

— Меня тоже послезавтра примут, — ревниво сказал Максим. — Уже на отрядном сборе у шестиклассников, у наших шефов, проголосовали. Меня бы и раньше приняли, да я в этой школе недавно.

— А, приглядывались, значит, — заметил Иван Савельевич.

— Наверно... Но теперь уж все. Теперь весь класс у нас будет пионерский. Кроме Тыликова...

— Тыликова?.. Постой-ка. Что-то знакомая фамилия... Нет, тот Тупиков. Был у нас штурман на Диксоне... А что за личность Тыликов? Неужели злодей такой?

Максим пожал плечами:

— Да не злодей... Ведет себя плохо. С Софьей Иосифовной спорит все время. Один раз из резинки начал стрелять, скачет на переменах...

— Да-а, — непонятно сказал Иван Савельевич. — Это конечно... Хотя Наташка у меня тоже скачет. А в чем еще грешен Тыликов?

— Ну вообще... Софья Иосифовна говорит, что непослушный.

Иван Савельевич сморщил лицо.

— Ну, брат, и характеристика. А что значит «послушный», «непослушный»? Непонятно.

Максим удивился:

— Почему непонятно?

— Ну, смотри сам. Вот, например, летчики у нас. Пишут им характеристики. Если хороший, пишут: умелый, знающий, смелый, дисциплинированный... А можешь представить, чтобы написали: «послушный пилот», «непослушный штурман»?

Максим поморгал от неожиданности. В самом деле, получалась чушь.

— Но летчики же большие. А мы еще нет...

— Понятно, что «нет», — слегка сердито заметил Иван Савельевич. — А учиться быть большими как раз и надо, пока маленькие, потом поздно будет. Я это и Наташке своей все время говорю...

Это было, кажется, правильно. Конечно, правильно! Не будет же Иван Савельевич зря говорить. Но это было непривычно...

— А вот вы сказали «дисциплинированный», — вспомнил Максим. — Разве это не все равно, что «послушный»?

— Ишь ты! — возразил Иван Савельевич. — Дисциплинированный — это когда человек дело знает, умеет в сложной обстановке разобраться, умеет четко выполнять команды и сам командовать, если надо. Умеет быстро решение принять, товарищей не подведет, глупостей не наделает... Дисциплина — это когда человек сам за себя отвечает... А послушный — что? Смелый он? Неизвестно. Друга в беде не бросит? Кто его знает. В опасности не растеряется? Тоже неясно. Работать умеет? Поди разберись... Послушными, милый мой, и овечки бывают. А человек, когда надо, должен уметь за правду постоять. Уяснил?

— Уяснил, — четко ответил Максим и хотел сказать, что вообще-то Тыликов никогда не дерется, только один раз отлупил здорового четвероклассника, который срезал с куртки Светки Мешалкиной красивую нашивку. Но не

сказал. Он увидел, как от калитки через сквер движется к ним та самая Марина. У которой уют...

Ей-то что здесь надо?

Может, вспомнила про открытый кран или невыключенный газ и попросит Максима опять лезть в квартиру? Ну уж дудки.

— Вот и хорошо, вот и ладно, — издалека запричитала Марина. — Я уж извелась было, а соседи-то сказали, куда вы поехали, я и побежала следом.

Максим порозовел. Было ясно, что Марина спохватилась: не поблагодарила вовремя спасителя. Теперь специально прибежала. Может, награду будет предлагать? Вот еще! Больно нужна ему награда...

— Ты, мальчик, отдай сразу денежки, и все хорошо будет, — ласково пропела Марина. — Отдай и не бойся, мы не скажем маме с папой. Всякое бывает...

— Что? — ошарашенно сказал Максим.

— Денежки-то, которые на столе были, они где? Взял ведь! Ну, честненько признайся да отдай. У меня же зарплата не как у летчиков...

— Тетенька, вы с ума сошли? — громко сказал Максим и встал на скамейке. Боль резко ударила его по колену, но он тут же забыл о ней. Ему стало вдруг смешно. Очень смешно. И, смеясь, он объяснил: — Не было там никаких денег. Только одеяло прогорелое.

— Ты не ухмыляйся над взрослым человеком! — уже совсем не певуче заговорила Марина. — Деньги, они сами в окошко не улетят. А мне пять рублей терять тоже резону нет.

— Вы что? Думаете, я вор? — тихо спросил Максим и взглянул на Ивана Савельевича: тот сидел с непонятным лицом и смотрел не на Максима, а на Марину. — Да нет у меня ничего! — крикнул Максим. — Глупости какие! У меня и карманов нет, смотрите!

Он дернул пуговицы, распахнул жилетик, крутнулся на здоровой ноге.

— Ну? Куда я сунул ваши деньги? Съел, что ли? Куда? — И вдруг замолчал. Моментально, словно от выстрела. Только выстрела не было, а была ужасная мысль: «Нагрудный карман! Машины пять рублей!»

Никакой страх перед уколом, никакие другие страхи не сравнить с этим ужасом. Что же теперь? Как он докажет?

— Иван Савельевич, — беспомощно проговорил он, — у меня только вот . Но это мои...

(Только что говорил: нет ничего, даже карманов нет — и вот!)

— Это правда мои... Я забыл. Это мама дала на обед... (Кто же дает ребятам на обед пять рублей?)

Ему плевать было на глупую Марину. Но Иван Савельевич! Он теперь что думает!

Максим выдернул из кармана свернутую пятирублевку, торопливо протянул ему.

— Смотрите, это мамина! Честное слово! Я не брал...

Иван Савельевич посмотрел удивленно и, кажется, с жалостью.

А Марина цапнула деньги.

— Ну-ка, ну-ка! Не брал!..

Она поднесла синюю бумажку к острому носу, словно обнюхать хотела.

— Вроде не та, не замусоленная .. Обменял, поди, в кассе... Или паразит Витька унес?.. Говори честно, где взял деньги-то!

Иван Савельевич шумно вздохнул и с напряженным лицом стал подниматься со скамьи.

— Я не брал! — отчаянно повторил Максим. — Иван Савельевич, ну правда! Ну, давайте мы съездим домой, я близко живу, мама сразу скажет! Я близко...

— Тихо, тихо, малыш, — сказал Иван Савельевич.

Он двумя пальцами взял у Марины деньги и осторожно сунул в Максимкин кармашек. Он смотрел на Марину сверху вниз. И хотя она была высокая, сейчас казалась какой-то укороченной.

— Гражданочка, — насупленно произнес Иван Савельевич, — оглянитесь, пожалуйста. Во-он туда. Там калиточка, видите? Закройте-ка ее. Пройдите и закройте с той стороны. Здесь служебная территория. Я сейчас вахтера позову.

— Чего-чего? — по-воробыному прочиркала Марина. — Чего такое? Вахтера? Да зови, зови, не пугай, я пуганая! Я сейчас сама милицию позову. Завелись жулики на мою голову!

Могучая складчатая шея Ивана Савельевича стала вишневой, как Максимкина пилотка. Он с бульканьем набрал в себя воздух и грянул:

— Бр-рысь!

Максима пригнуло словно шквалом. Из-под крыши диспетчерского дома рванулись и перепуганно загалдели воробы. Марину отнесло метра на три. Там она повернулась и быстро-быстро засемила к калитке. Так в одном мультфильме бегал тощий глупый придворный: сам длинный, ножки короткие, но подвижные — они обгоняли туловище, и тело придворного изгибалось, взмахивало ручками, но не падало.

Иван Савельевич смотрел Марине вслед, пока она не исчезла за углом. Потом потер шею и насупленно глянул на Максима:

— Что-то я тебя не понимаю...

Максим стоял перед ним на скамейке, испуганный и озадаченный.

— Не понимаю, — повторил Иван Савельевич. — Ты же не виноват. А если не виноват, зачем трепыхаешься и дрожишь, будто кролик? У человека гордость должна быть, а ты оправдываешься, как воришка. Если прав, чего бояться?

— Я ее и не боялся. Я боялся, что вы... подумаете...

Иван Савельевич взял Максима за локти, осторожно притянул к себе.

— Максим, Максим, молодая твоя голова... Я семь де-

сятков лет прожил. Что же я, хорошего человека от жулика не отличу? Эх ты, журавленок... Ну что ты, Максим... Ну, не надо. Эх, братец, это уж совсем зря...

Конечно, это было зря. Но что мог Максим сделать? То ли от неожиданной ласки, то ли от всех недавних переживаний прорвались у него слезы, и он начал вздрагивать, прижавшись к Ивану Савельевичу как к скале.

— Ай-яй-яй... — сказал Иван Савельевич. — Ну довольно, Максим. Ты меня всего промочишь.

Чтобы хоть как-то сбить неловкость, Максим пробормотал сквозь всхлипы:

— Если бы знал, ни за что бы не полез утюг выключать...

Иван Савельевич сел, подхватил Максима, усадил на колени.

— Да ты что, летчик! При чем здесь эта глупая тетка? Ты же дом спасал. Там столько людей живет...

И правда... В самом деле, он же дом спасал! Но... он же об этом не думал. Если честно говорить, он же ни капельки не думал о доме. Он думал только о себе: какой он бесстрашный, ловкий и красивый! Люди могли без жилья остаться, и всем казалось, что Максим из-за них рискует. И аплодировали... А он думал, какой он герой...

От стыда у Максима разом выключились слезы. И, перекладывая из руки в руку болтик, он стал сердито тереть ладоньками лицо. И не сообразил, что левая ладонь — вспотевшая и грязная от болтика.

— Ох, как ты разукрасился, — сокрушенно сказал Иван Савельевич. — Как в книжке: усатый-полосатый. Пойдем-ка...

И он повел Максима за палисадник, на край летного поля. Там из травы торчала загнутая железная трубка с медным краном.

Иван Савельевич набрал воды в ладонь, как в ковшик, и двумя движениями смыл с Максимкиного лица грязные полосы. Максим сердито фыркнул.

— Утереться нечем. Платок-то я у Любушки оставил, — пробормотал Иван Савельевич.

Максим еще раз фыркнул, выдернул из-под резинки на штанах подол рубашки и торопливо вытер лицо.

— Ишь как ловко, — одобрил Иван Савельевич. — Ну что? Пойдем к Любушке, Максим-герой?

— Герой! — со злым отчаянием повторил Максим. — Если хотите знать, я трус... И, наверно, хвастун.

— Почему? — удивился Иван Савельевич.

Максим от злости на себя готов был объяснить про все: про уколы, про Транзистора и про то, для чего лазил выключать утюг. Но трудно это было, и нужные слова не нашлись. Он хмуро ответил:

— Такой уж уродился.

— Ты хороший уродился, — серьезно произнес Иван Савельевич: наверно, он думал, что просто Максиму стыдно за недавние слезы, и сказал: — Это ничего, что плакал. От обиды бывает. На меня один раз командир эскадрильи накричал ни за что. Я уж здоровый парень был, двадцать четыре года, а разревелся вдруг как девчонка. До сих пор помню... Он даже испугался, уговаривать начал...

Максим улыбнулся. Но иногда он еще вздрагивал от недавних слез. И когда пришли в кабинет, Люба это заметила.

— Максим, ты плакал? Неужели так больно? Ну, теперь я совсем остороженько буду, не бойся, маленький.

— Да ничуть я не боюсь, — хмуро сказал Максим.

— Тут совсем другая причина. Обида, — объяснил Иван Савельевич. — А в общем, дело уже прошлое.

Максим почти равнодушно глянул на брызнувшую из иглы струйку. Сам удивляясь своему спокойствию, подставил руку.

Радость постепенно возвращалась к нему. В конце концов, он все равно спас дом. А хвастливые мысли — что ж! В следующий раз будет умнее. Зато он не струсил. И сейчас не боится. Ой... Но все равно он не боялся...

Максим встал и помахал рукой, чтобы скорее подсохло место прививки.

— В понедельник забеги, перевяжу ногу. И справочку выпишу про прививку. Это чтобы зря не кололи, если снова обдерешься. Сейчас у меня штампа для справки нет, — сказала Люба. — Договорились?

— Договорились, — весело согласился Максим.

— Забежит, забежит, — пообещал Иван Савельевич. — Он и ко мне забежит. С внучкой познакомлю.

Когда сели в машину, Иван Савельевич спросил:

— Куда теперь? Ты говорил, близко живешь.

— А можно лучше в школу? У нас экскурсия.

— Можно-то можно. А как нога?

— Да не больно уже нисколько.

— Поехали.

И через две минуты они были у школы.

— Вот хорошо. Спасибо, Иван Савельевич. А то я думал, что опоздаю.

— Максим, — негромко сказал Иван Савельевич, — ты, если захочешь, правда, заходи в гости. Самолеты покажу, снимки разные. Я недалеко живу. Улица Громова, дом пять, квартира тоже пять. Запомнишь?

— Конечно, запомню! Спасибо.

— Ну, лети, журавленок...

ЖИЛА-БЫЛА ЗОЛУШКА...

Да, жила-была Золушка. В Газетном переулке, в деревянном доме недалеко от высокого берега. Правда, не совсем такая, как в сказке. Мачехи и злых сестер у нее не было, а были мама и бабушка, которые Золушку любили.

По-настоящему звали ее Таней.

Тогда почему Золушка?

Потому что часто руки и лицо были у нее перемазаны. Не из-за тяжелой работы (хотя работы она не боялась),

а от возни с велосипедом и с красками, которыми Таня разрисовывала деревянные щиты, сабли и перья для стрел.

А еще потому, что была она не очень красивая и все думала, как бы с помощью волшебства сделаться красавицей.

Иногда, если мамы и бабушки не было дома, Таня — Золушка подходила к зеркалу и разглядывала свое лицо. Не поймешь, что за лицо. Круглое и для тонкой шеи совсем неподходящее. Глаза — не то голубые, не то серые и сидят, пожалуй, чересчур далеко от переносицы. И веснушки... Если бы нормальные веснушки, тогда еще ладно, а тут словно кто-то начал рисовать и бросил: в одном месте несколько точек, в другом... И волосы — вроде бы не рыжие, но какие-то рыжеватые. И растрепанные. Из таких не получают ни мягкие локоны, ни тяжелые косы. Вот и приходится стричься «под мальчишку».

Таня надевала самое красивое платье, мамины бусы, бабушкину кружевную накидку, украшала голову маленькой короной из серебряной бумаги и кружилась по комнате. Как на королевском балу.

Впрочем, это ей быстро надоело.

Во-первых, кружись не кружись, а прекрасной принцессой не станешь. Во-вторых, Таня в глубине души знала, что хотя она и не красавица, но в общем-то ничего, привлекательная. Это еще год назад, во втором классе, сказал Юрка Воронихин своему соседу по парте — громким шепотом, на уроке математики. Тане эти слова понравились и запомнились. Однако до Юрки она в тот раз все же дотянулась и треснула учебником. Какое ему дело? Подумаешь, принц!

Дело в том, что Золушка — Таня мечтала о настоящем Принце. На то она и Золушка.

Принц должен быть стройный, красивый и смелый. Добрый и веселый. И непохожий на знакомых мальчишек. Они все какие-то неподходящие. Или трусоватые,

или наоборот — чересчур нахальные. И болтливые, хуже девчонок. Никакую тайну не доверишь. Да и не стали бы они слушать про ее тайны. Разве они поймут, что Таня — это Золушка? Они только себя героями воображают.

А чем они могут похвастаться перед Таней? То, что они умеют, умеет и она. Не хуже мальчишек гоняет на велосипеде, и на мечях дерется, и с плотов ныряет...

Таня снимала бусы, накидку, нарядное платье и бумажную корону. Натягивала джинсы и мальчишечью рубашку. Вскакивала на велосипед. Пока Принц не нашелся, приходилось быть и Золушкой, и Принцем сразу.

Она гоняла футбольный мяч и прыгала через скакалку, играла в разведчиков и в классы, ухаживала за беспризорными котятками и время от времени дралась. А иногда уходила на берег и там превращалась в Принцессу.

И все у нее было: дворец и богатства, тайны и оружие, солдаты и придворные. Правда, не живые, а из пластилина, но все равно красивые.

А Принца из пластилина не сделаешь. Он должен быть настоящий.

Они вдвоем отправлялись бы в путешествия, сражались с врагами и делали открытия. Она перевязывала бы Принцу раны и спасала от разных опасностей. Потому что принцы, они хоть и герои, а все равно мальчишки и за ними нужен глаз да глаз...

В этот день Золушка не ждала чуда. Даже не думала ни о чем волшебном. Она думала о простых вещах: покататься на велосипеде или пойти к Юрке Воронихину и попросить книжку «Девочка с Земли»? Книжка эта про космос и всякие приключения. Поразмыслив, Таня сообразила, что велосипед никуда не убежит, а книжку Юрка может кому-нибудь отдать.

Юрки дома не оказалось, и Таня слегка расстроилась. Но не очень. Потому что погода была чудесная — первый

по-настоящему летний день. В такую погоду просто невозможно огорчаться. К тому же завтра воскресенье. Да и до каникул совсем немножко осталось.

Таня шла-шла, ни о чем важном не думала, по сторонам смотрела просто так и... Сказка пришла, когда ее не ждали.

По улице шел Принц.

Он шел по другой стороне, легкий, стройный и загадочный.

Сразу было видно, что это Принц. Во-первых, он нездешний — всех местных мальчишек Таня знала. Во-вторых, его костюм переливался царственной темно-вишневой краской, а пуговицы сверкали золотом. Не хватало, пожалуй, только блестящего плаща и тонкой шпаги. Но и без них Принц был замечателен. И его вишневая пилотка с серебряной вышивкой была ничуть не хуже средневековой шапочки с перьями.

На ноге у Принца светилась свежая повязка, и раненая нога, наверно, болела. Но Принц старался не хромать, шаггал прямо и уверенно. Это означало, что у него твердый характер.

И лицо у Принца было славное. Таня лишь мельком его увидела и не вблизи, но сразу разглядела.

Сердце у нее сперва остановилось, а потом заметалось в грудной клетке, как пойманный в западнку воробей. Но Таня взяла себя в руки.

Раз уж случилось чудо, нельзя, чтобы оно исчезло!

Таня дала Принцу пройти сорок шагов и незаметно пошла сзади.

ДЖУНГЛИ И ОПАСНОСТИ

Максим все-таки опоздал.

В классе было удивительно пусто и тихо. Как небольшие лужайки, светились под солнцем зеленые парты. С доски улыбался добродушный пират в полосатой фу-

файке и сапогах с отворотами — таких разбойников часто рисовал Владик Малашкин. У двери валялся фантик от ириски «Кис-кис». Вот и все.

Максиму стало немножко грустно. Конечно, ничего страшного не случилось, но все-таки... весь класс где-то радуется и веселится, а он здесь один.

Максим вышел в коридор. За соседней дверью отчетливый голос диктовал:

— «Люблю грозу в начале мая... Люб-лю гро-зу... в нача...» Волков, сейчас пойдешь за дверь!.. Пишем: «... в начале ма-я...»

В дальнем конце коридора маялся у окна выгнанный за какие-то грехи второклассник. В музыкальном классе осторожно, одним пальчиком, играли музыку Грига «В пещере горного короля». Максим эту музыку любил. Он хотел подойти поближе и послушать, но тут раздались гулкие шаги на лестнице, и в коридоре возникла завуч начальных классов Анна Андреевна. Максим Рыбкин машинально встал поправее, одернул свою коротенькую форму и снял пилотку.

Анна Андреевна остановилась. Зорко глянула по сторонам. Тут же заметила несчастного второклассника, замершего у окна. Заметила и Максима. Секунду она размышляла, к кому пойти сначала. И направилась к Максиму.

— Здравсте, — сказал Максим и на всякий случай улыбнулся.

— Любопытно узнать, почему ты не на занятиях, — заявила Анна Андреевна и сверху вниз глянула из-под круглых очков. Она была большая, строгая, с крупной коричневой бородавкой над левой бровью. Когда Анна Андреевна сурово шевелила бровями, бородавка тоже шевелилась. Но Максиму чего бояться, если не виноват?

— Наш класс на экскурсии, а я...

— А ты не на экскурсии. Вот я и спрашиваю: почему?

— А я по дороге ногу разбил, — храбро сказал Максим и для убедительности покачал забинтованной колен-

кой. — Меня в больницу отвезли. Пока перевязку делали... Потом два укола. Вот и опоздал.

Анна Андреевна как-то неуловимо, в одну секунду, из строгого завуча превратилась в большую добрую тетю.

— Бедненький, — сказала она и даже чуть присела, чтобы разглядеть бинт. — Болит ножка?

— Не-а... — сказал Максим небрежно. — То есть болит, но ходить можно.

— Что же ты домой не пошел?

— Ходить-то можно, — повторил Максим. — Я хотел на экскурсию. Только все уже ушли, а где парк, я не знаю.

— Не знаешь, где парк? — удивилась Анна Андреевна.

— Да. Я недавно в этом городе живу. Еще не успел...

— А! Ты Рыбкин из третьего «В», — вспомнила Анна Андреевна. И заново, внимательно оглядела Максима. — А что у тебя за костюм? Это в прежней школе у вас такая форма была?

— Нет, это ансамбль «Крылышки». Мы сегодня утром по телевизору выступали.

— Ну? Да ты у нас знаменитость! Поздравляю... А до парка дорога простая. Выйдешь сейчас на улицу Кирова и садись в любой троллейбус. До остановки «Парк культуры». Это совсем недалеко, дорога все время вдоль реки. Парк на берегу расположен. Доберешься?

— Доберусь. Спасибо.

— Пожалуйста, — улыбнулась Анна Андреевна. — Только будь осторожен, вторую ногу не покалечь... И как это тебя угораздило?

Максим открыл было рот, чтобы небрежно объяснить, как он спасал от пожара дом, но Анна Андреевна уже превратилась в завуча. Выпрямилась и сурово глянула в ту сторону, где недавно тосковал второклассник. Того, конечно, уже не было. Анна Андреевна строго поправила очки. Максим понял, что разговор окончен, и тихонько сказал:

— До свидания.

Уже на улице он подумал: «Если парк недалеко и на берегу, то, наверно, можно пешком, вдоль реки». Потому что день был такой хороший. Зачем толкаться в троллейбусе? У реки интереснее.

Максим весной был с папой на берегу, но тогда на откосах не было зелени, а на воде кружились ноздреватые серые остатки льдин. И день был пасмурный, ветренный. А сейчас на реке, наверно, совсем не так...

Берег был в четырех кварталах от школы.

Бинт немного ослаб и почти не мешал стигать ногу. Бежать было бы трудновато, но ведь и шагом до реки несколько минут.

Улица выходила прямо на откос. Когда-то вдоль берега тянулся деревянный палисадник, но теперь он разрушился. Сохранились только отдельные столбики и перекладины.

Максим сорвал лопух, стер с перекладины пыль и сел, вытянув забинтованную ногу.

За рекой были деревянные улицы и лишь кое-где поднимались новые дома. У самой воды стояли две старинные церкви. Возможно, под ними были подземные тайные ходы и подвалы с кладами.

Река текла широко и свободно. У ближнего берега она была мутновато-желтой, но вдали отражала небо и казалась вполне голубой. На дальнем, низком берегу разлив подступил к домам, и на рыжей глинистой дамбе суетливо трудился оранжевый экскаватор.

Все это Максим разглядел с высоты своего берега.

Этот берег был удивительный. Словно какой-то великан в давние века нагромоздил у реки земляные глыбы, взрыхлил и перемешал их, а потом все засеял семенами высоких трав.

Если представить, что летишь на самолете, то можно подумать, будто под тобой горы, заросшие джунглями.

Слева от Максима, примерно в километре, темнели, как зеленая туча, груды деревьев. Там, наверно, и был

парк. Ну конечно! Вон поднимается над зеленью громадное кружевное колесо! Великан, который мастерил берег, видимо, забыл там свой велосипед.

К колесному ободу были прицеплены кабинки. Колесо тихо вертелось, и кабинки совершали полет.

Максиму захотелось поскорее в парк. Идти по верху было нельзя: к самому берегу подступали заборы. Но по откосу, среди бурьяна, репейников и полыни, ветвисто разбегались тропинки. Этот путь был интересным и заманчивым. Он звал, как охотника зовут таинственные заросли.

Максим по скользким подорожникам съехал на подшвах до первой тропинки, сделал шаг и оказался по плечи в траве. Здесь была шелестящая тишина и запахи растений. Вокруг переплелись молодая зелень и серые стебли прошлогоднего бурьяна, мягкая полынь и сухая конопля. В сандалии закатились глиняные крошки, за ворот посыпались колючие семена, ежики прошлогоднего репейника обрадованно вцепились в штаны и рукава рубашки. Ну и что же? На то и джунгли. Максим растопырил локти и храбро зашагал сквозь травяную тайгу.

Тропинка прыгала с уступа на уступ. Иногда ныряла в темные провалы, где еще лежали остатки снега. Он был серый с черными крошками, и поэтому Максим не стал задерживаться, чтобы слепить снежок.

Скоро Максим выбрался на свободное место — на зеленый бугор с веселыми веснушками одуванчиков. Здесь тропинка раздвоилась. Одна дорожка тянулась к верхней кромке берега, снова через заросли, другая — вниз. Максим выбрал нижний путь — поближе к воде.

У воды на узкой полосе песка тянулся валик из обломков коры, сухих веток, щепок. Валялись мелкие доски и даже бревна. Максим вспомнил, что это называется плавник. Среди плавника могли оказаться интересные вещи. Он пошел, перешагивая через доски и коряги; сзади на плотном песке оставались четкие следы его сандалий.

Но скоро полоса твердого песка прервалась. Сверху бежал в реку ручей. Это был небольшой ручеек, но в рыхлых откосах он вырыл целый каньон, а ниже устроил вокруг себя мешанину из жидкой глины и песка.

И никакого мостика.

Максим глянул вверх. Забираться в кусачие джунгли, а потом лезть через каньон, конечно, не хотелось. После этого опять целый час отцепляй репы.

Максим прищуренным взглядом посмотрел на тот берег ручья. Ширина песчано-глинистой каши вместе с ручьем была метра четыре. А глубина казалась совсем небольшой, по щиколотку.

После смелых дел, которые сегодня успел Максим совершить, отступать ли перед ручейком?

Он снял сандалии, затолкал в них носки и кинул обувь через ручей. Потом осторожно, однако без боязни ступил в месиво.

Ух какое оно было холодное! Наверно, в ручье была талая вода из остатков снега. А может быть, его питали холодные ключи. Максим сразу увяз до середины икр и передернул плечами. С чмоканием выдергивая ноги, он добрался до ручья. Ручей был еще холоднее. А погрузился Максим еще глубже, до колен, и замочил край бинта. Но зато близок был конец опасного пути. Максим сделал шаг, второй... и вдруг почувствовал, что больше нельзя шагать: когда он пытался поднять одну ногу, другая в тот же миг уходила глубже.

Максим испугался не сразу. Сначала он просто остановился, чтобы подумать: как легче выбраться. Но едва начал он думать, как понял, что все равно погружается — если даже не шевелиться. И тогда он почувствовал, как тихо и пусто вокруг. Лишь наверху гудели невидимые автомобили.

Максим вспомнил про зыбучие пески, в которых люди исчезают с головой, и у него заledenели не только ноги, а даже затылок.

Неужели? Неужели это правда может быть? Через несколько дней найдут в глиняной жиже промокшую пилотку... А может, вообще ничего не найдут! Если дождь смоет на песке следы, оборвавшиеся у ручья...

А что будут думать мама с папой? И Андрейка?

Фу, какая чушь лезет в голову! В полутора метрах от твердой земли. В конце концов, можно плюхнуться плашмя и дотянуться вон до того сухого выступа с кустом бурьяна.

Но падать в жидкую глину! А форма?

Яростно дернулся Максим вперед! Но зыбь не пускала, и он тут же ушел в нее с коленями. Бинт скрылся.

Максим испугался сильнее. Но все же он, конечно, не верил всерьез, что может потонуть. Иначе в его голове не запрыгали бы другие тревожные мысли. А они запрыгали.

Сначала Максим подумал, что жидкая грязь доберется сквозь бинт до раны и тогда уж наверняка случится какое-нибудь заражение. Но тут же вспомнил про уколы и успокоился: после них не страшны, конечно, никакие микробы. Другая опасность была серьезнее: ноги ломило от холода, и дело могло кончиться воспалением легких. Или ангиной. В любом случае Максим надолго охрипнет. Как же тогда петь? И если заболит, когда же его примут в пионеры?

Но эти мысли занимали его лишь несколько секунд. Он погружался. Ледяная жижа пошла все выше по ногам и почти добралась до штанов. Теперь, если даже упадешь, не дотянешься до суши! Закричать?

Максим отчаянно оглядел заросшие откосы. Кто услышит? Да и, несмотря на жуткое положение, кричать было стыдно.

Если бы в реке тонул, другое дело. А то увяз из-за собственной глупости в какой-то каше посреди сухой земли, и теперь, значит, надо орать «спасите»?

Нижние кромки штанов уже коснулись жижи и начали

намокать. Может быть, все же рвануться и упасть плашмя, а потом — изо всех сил руками, ногами?

Максим еще раз кинул взгляд на откосы... Сверху, прыгая с уступа на уступ, бежала девчонка. С жердью! Максим сразу понял, что девчонка, хотя она была с короткой стрижкой, в джинсах и полосатой, похожей на тельняшку майке. Совершенно по-девчоночьи она кричала:

— Ой, минуточку, минуточку подержись, я сейчас!

ЗОЛУШКА И ПРИНЦ

На твердом берегу Максим отдышался и украдкой глянул на девочку. Он чувствовал, что выглядит не геройски: взъерошенный, испуганный, с перемазанными ногами. Недавняя опасность казалась теперь пустяковой. Подумаешь, увяз повыше колен! А девчонка, наверно, хихикает про себя над его испугом.

Максим сделал равнодушно-досадливое лицо и небрежно сказал:

— Ч-черт... Угораздило влипнуть. Чуть не извоzilся.

— Здесь не очень опасно, — сказала девочка. — Выше чем по пояс ты бы не увяз.

Максим опять бросил на девочку быстрый взгляд: это что, насмешка? Но нет, у нее даже в глазах не было улыбки. Она просто успокаивала Максима. Он пожал плечами.

— По пояс! На кого бы я стал похож! И так...

Он посмотрел на свои ноги. Они были словно в пятнисто-серых мокрых чулках. По ним сбегали струйки жидкой глины, оставляя светлые полоски.

Максим пошевелил грязными ступнями:

— Пойду отмываться.

Он хотел направиться к реке, но девочка ухватила его за рукав.

— Не сходи с ума! Вода знаешь какая ледяная!

Ноги у Максима все еще ломило от недавнего холода, но он хрбро усмехнулся:

— Наверно, не леденее, чем там. — И он кивнул на ручей.

Но девочка сказала, не отводя спокойных голубовато-серых глаз:

— Не выдумывай, пожалуйста. Пойдем наверх, там есть колонка. И бинт надо сменить.

Значит, она разглядела повязку под слоем глины?

— Где же я возьму другой бинт? — сказал Максим.

— Пойдем.

Максим пожал плечами. Как мужчина, уступающий женскому капризу. Взял сандалии и стал подниматься за девочкой по змеистой тропинке.

Идти босиком было непривычно. Под ноги попадали острые крошки. Максим несколько раз оступался и чуть не потерял равновесие. А схватиться за стебли он не мог — в одной руке обувь, в другой болтик. Даже там, внизу, хватаясь за спасительную жердь, Максим не выпустил его. Верный болтик был по-прежнему с Максимом. И, ощущая в пальцах привычную ребристую тяжесть винта, Максим тихо радовался этому, несмотря на все неприятности.

Они поднялись на высокий берег и оказались в старом переулке — вроде того, где Максим утром нашел золотую шепку и болтик. У пробитого лопухами асфальтового тротуара стояла колонка. Девочка поднатужилась, подняла рычаг. Колонка крякнула, шевельнулась и ударила в бетонную площадку круглой стеклянной струей. Брызги встали облаком, и несколько маленьких радуг загорелись вокруг Максимкиной спасительницы.

— Подставляй ноги, — велела она.

Максим подставил. Струя била туго, но вода после ручья казалась очень теплой. Будто кипяченой. Глина смылась в несколько секунд!

Максим, прыгая то на одной, то на другой ноге, торопливо натянул носочки, застегнул сандалии. Одернул форму, поправил пилотку. И стал опять аккуратным и симпатичным Максимом Рыбкиным — почти таким же, каким

был утром, уходя из дома. Только на краешке штанов темнела полоска невысохшей глины да бинт остался серым и запачканным.

— Наверно, грязь под него попала. Надо менять, — опять сказала девочка.

— А где... — начал Максим, но она перебила:

— Подожди здесь, я быстро сбегая, я близко живу. Не вздумай уйти.

Максим слегка улыбнулся.

— Зачем же мне уходить?

Она тоже улыбнулась, и они впервые посмотрели друг другу в лицо не украдкой, прямо.

— Знаю я... — сказала девочка. — Мальчишки такие боязливые. Даже занозу бояться вытащить, а если перевязка, то вообще...

— Пф! Вот еще! — откликнулся Максим.

— Значит, жди.

— Ага.

Она побежала и один раз оглянулась, а он стоял у колонки и смотрел, как она бежит.

Потом девочка скрылась за углом. Максим, чуть-чуть хромя (колено снова заболело), подошел к лавочке у незнакомых ворот. Сел. Приготовился ждать.

Но девочка уже возвращалась. Опять бегом. Она так быстро вернулась, что на ее рыжеватых прядках не успели высохнуть капельки, попавшие от струи у колонки. В кулаке она держала пакетик со стерильным бинтом и маленькие ножницы с кривыми концами.

Максим украдкой вздохнул и вытянул ногу. Девочка села перед Максимом на корточки и снизу вверх взглянула на него. Сначала серьезно. А потом они опять немножко улыбнулись. Будто протянулась между ними какая-то ниточка. Будто они поняли что-то без слов. И неясно что, только все равно стало хорошо.

Девочка нагнула голову, шелкнула ножницами и принялась разматывать мокрый бинт. И так, не поднимая лица, вдруг тихонько сказала:

— Меня зовут Таня...

— А меня — Максим.

Пальцы у девочки на секунду остановились: она словно удивилась такому имени. Или просто хотела покрепче запомнить его. Потом она заторопилась и быстро, но осторожно сняла повязку.

Максим посмотрел на открытую коленку и отвел глаза: картина была не очень веселая.

— Ух ты! — сказала Таня. — Где это ты сумел так?

— Да случайно... из-за одной тетки, — равнодушным голосом сообщил Максим, глядя поверх Таниной головы. И обрадовался, что может рассказать о своем геройстве и не будет тут никакого хвастовства. — Шел по улице, а она стоит и голосит: «Ой, пожар будет, ой, сторим!» Ушла, утюг не выключила, дверь захлопнула, а ключ не взяла. Все кругом охают и стоят. А если по правде пожар? Ну, я полез на третий этаж, утюг выключил. Там уж дымилось... А спускаться стал и сорвался... А она потом догнала и говорит, что я со стола деньги сташил!

Максим вспомнил, как это было, и не выдержал спокойного тона, переглотнул от обиды.

— Два укола пришлось делать. Ерунда, конечно, да из-за этого в школу опоздал. А она со своими рублями... Да наплевать. Не ее ведь спасал, а дом.

— Правда, какая глупая, — согласилась Таня. — Вместо спасибо такие гадости говорит человеку... Не сгибай ногу, сейчас забинтую... А ты ей что сказал?

— А я... я даже растерялся, — признался Максим. — Зато один летчик вступился. Он ей так ответил! Она до сих пор, наверно, вздрагивает.

— Ну и правильно, — откликнулась Таня.

Она говорила спокойно, вела себя сдержанно. А сердце колотилось радостно и быстро. Потому что случилось задуманное! Не в мечтах, а всерьез она перевязывала рану Принцу, совершившему геройство. Ну, пускай он не уби-

вал драконов и не сражался с врагами, а просто спас от пожара дом. Ничего себе «просто»! Забраться на высотищу, получить ранение! И не в сказке, а на самом деле... Пускай у него нет шпаги и шелкового плаща. Где сейчас возьмешь принца со шпагой? Максим и так красивый и смелый.

Конечно, Таня помнила, что мальчишки — все равно мальчишки. Даже принцы. И прихвастнуть они могут, и глупостей наделать. Такие уж они все уродились. Мама не раз говорила, что даже у взрослых мужчин часто ветер в голове. А у маленьких, значит, тем более. К тому же полностью сказочных героев, конечно, не бывает. Но Максим больше всех на свете походил на Принца, Таня это сразу увидела. И, главное, ни капельки не зазнается перед девочкой... Хотя, конечно, трудно зазнаваться, увязнув чуть не по пузо в глине... Но ведь потом-то он мог уйти. А он, наоборот, сразу сказал, как зовут. А может быть... Может быть, он тоже мечтал с давних пор о Золушке?

А если нет, то, может быть, сейчас начал мечтать? Ведь все-таки она его спасла, рану перевязала... Она затынула узелок и распрямилась.

— Вот и все.

Максим тоже встал.

Вот сейчас он скажет: «Ну ладно, спасибо, я пошел». И уйдет?

— Не туго? — торопливо спросила Таня. — Может, переделать повязку?

Максим осторожно согнул ногу.

— Туговато, но ничего. Потом ослабнет и будет в самый раз... — И запоздало добавил: — Спасибо.

— Спасибо, — сказал он и вдруг понял, что не знает, как теперь быть. Сказать «пока» и отправиться в парк? Неудобно сразу уходить. А если по правде, то и не хочется.

Максим с бинта перевел взгляд на Таню. Она смотрела

вопросительно и немножко виновато. Потом смутилась и начала торопливо заталкивать ножницы в тесный карманчик на джинсах, пришитый у колена.

— Не надо, — сказал Максим. — Споткнешься если, ногу пропорешь.

— Я не споткнусь.

— Кто знает, — солидно возразил Максим. — Я вот тоже не думал, а грохнулся... А потом в этой каше увяз. Тоже ведь не ожидал... Хорошо, что ты подошла, — добавил он неожиданно, потому что вдруг отчетливо вспомнил ледяное цепкое болото и свою беспомощность. На миг он даже забыл, что надо выглядеть как можно храбрее. И сказал искренне: — Я там даже перепугался немного.

— Ты от неожиданности перепугался, — успокоила Таня. — Это с кем угодно бывает.

И Максим подумал, что она хорошая.

И хорошо, что он застрял у ручья.

— А что ты делал внизу? — спросила Таня.

— В парк пробирался.

— Понизу? — удивилась Таня.

— А что?

— Ну... ничего. По улице же удобнее.

— А понизу интереснее. Будто в джунглях. Я такого берега раньше не видел, потому что мы не здесь жили.

Он заметил, что Таня обрадовалась:

— А правда, как в джунглях? Будто вот-вот индейцы выскочат!

— Да... Или вообще тайна какая-нибудь...

Таня коротко вздохнула, нерешительно глянула на Максима и почему-то слегка побледнела.

— А там правда... есть одна тайна. Не выдашь?

— Никогда в жизни, — поспешно сказал Максим и тоже заволновался.

— Тогда пошли. Дай руку... Ой, а что у тебя в кулаке?

— Болтик, — улыбнулся Максим. — Я его утром нашел. Он сегодня весь день со мной. — И разжал пальцы.

— Хороший. Береги, — сказала Таня. — Ну, идем. И они стали спускаться по тропинке.

ГНЕЗДО ЛАСТОЧКИ

Это был заросший травяным кустарником уступ. Ни сверху, ни снизу нельзя было его разглядеть. Да и с тропинки, которая пробежала в трех шагах, он был незаметен. Но Таня потянула Максима за собой, они скользнули между могучих старых репейников и оказались на узком твердом карнизе.

«Тайный уступ», — с удовольствием подумал Максим. И увидел щель. Большой пласт земли был словно откопнут ножом великана и слегка отошел в сторону. Но он не оторвался, потому что его связывали с глинистым обрывом запутанные травяные корни. На них висели крошки и паутина.

— Пошли, — шепотом сказала Таня и боком пробралась в щель. Пробрался и Максим — осторожно, стараясь не запачкать форму, которой и так уже досталось. Впереди было темно, и в глазах плавали зеленые пятна.

— Здесь у входа шнурок, — прошептала Таня. — Надо дернуть. — И, видимо, дернула. Потому что зажегся яркий кружок фонарика и осветил тайную пещеру.

Что это было? Жилище разбойников, подземелье рыцарского замка, индейский вигвам, капитанская каюта? Или все вместе?

Небольшая комнатка или даже нора, вырытая в толще берега. Размером чуть больше ящика из-под пианино. Стены были выложены кусками старой фанеры, а земляной потолок едва не касался Максимкиной пилотки. Но это Максим уже потом разглядел. А в первый миг он зажмурился от блеска серебряных звезд. Они были вырезаны из фольги и расклеены по стенам. Красный фанерный

щит с желтым крылатым львом и два деревянных меча висели напротив входа. А на других стенах увидел Максим самострел, два лука, старую фехтовальную рапиру, колчан со стрелами, половинку полевого (а может быть, морского) бинокля, карту Южной Америки и пышный индейский убор из перьев.

— Это ты... все сама? — изумленно спросил Максим.

Таня быстро повернулась. При свете фонарика ее глаза сильно блестели.

— Тут же была пещера. Я только немного подрыла. А потом все устроила. Нравится?

— Еще бы! — сказал Максим.

Вот это была девчонка!

— Оружие тоже сама делала?

— Конечно, сама. Еще в прошлом году... Про это гнездо никто-никто не знает, только я одна... И еще ты...

— Сюда никто и не доберется, — понимающе сказал Максим. — Место крутое, входа не видать... А если враги полезут, можно одному против сотни держаться. Позиция что надо!

Откуда могут взяться враги, Максим не знал, но отчетливо представил, как они лезут снизу через кусты. В звериных шкурах, с топорами, в глухих, похожих на ведра с прорезями шлемах... А он стоит на карнизе, сшибает их с откоса блестящим мечом и загораживает Таню. Хотя она не захочет, наверно, загораживаться, она сама меч возьмет.

— И подход легко держать под прицелом, — продолжал он. — Можно я посмотрю самострел?

— Конечно!

Таня торопливо сняла с гвоздя оружие. Максим упер в живот приклад, натянул на крючок резиновую тетиву. Выдернул из колчана стрелу и заложил в желобок. Прицелился в светлую щель выхода, где качались верхушки трав.

— Только не пуляй зря, стрела потеряется, — предупредила Таня. И спохватилась: — Нет, если хочешь, стреляй, конечно!

— Не буду, — сказал Максим. — Жалко стрелу. — Он положил стрелу у ног и вхолостую шелкнул тетивой. — А перья можно примерить? — Он показал на индейский убор.

— Бери. А я пилотку примерю, ладно?

В пилотке Таня стала очень похожа на мальчика. А на кого стал похож Максим в головном уборе индейского вождя, сказать было трудно: ведь он себя не видел. Если бы зеркало найти...

А зеркало было! Небольшое, с отбитым углом, оно висело в маленькой нише. В этой нише, как на сцене крошечного театра, толпились разноцветные мушкетеры, пажи и придворные дамы. Из пластилина. Здесь же лежали еще не смятые пластилиновые брусочки. Максим с любопытством глянул на это лилипутское дворцовое общество, но решил, что познакомится с ним позднее. Украшение на собственной голове интересовало его больше. Цепляясь за глиняный потолок, он устроился перед зеркалом.

Конечно, курносое и светлобровое лицо не очень походило на орлиный лик вождя ирокезов. И перья были не орлиные, а, скорее всего, от курицы, только покрашенные в разные цвета. Но все равно что-то индейское было сейчас в Максиме. И он счастливым шепотом сообщил:

— Ах-ха-ха! Я гроза всех западных прерий!

Сбоку появилась Таня в пилотке. Их головы оказались рядышком, и Танины волосы зашекотали Максимкино ухо. Максим и Таня в зеркале улыбнулись друг другу.

— Я похожа на стюардессу, да? — сказала Таня.

Максим слегка обиделся за нее.

— Почему на стюардессу? Просто на летчика.

— А что за пилотка? — спросила она. — И вообще почему такая одежда у тебя? Форма какая-нибудь или просто так?

— Конечно, форма, — сказал он.

И тут его словно сбросило! Будто за язык дернул

кто-то! Бывает же так: не думаешь хвастаться, нисколько не хочешь врать, и вдруг сами собой выскакивают из тебя дурацкие обманные слова!

— Это форма школы космонавтов, — самым обыкновенным голосом сказал он.

И тут же перепугался! Вдруг Таня видела утром передачу и сейчас поймет, какой он хвастун! Хотя нет: если бы видела, то не спросила бы. Она смотрела удивленно и в то же время с уважением.

— Как это «школа космонавтов»? Такой кружок, да?

Сказать бы, пока не поздно, «я пошутил». Но она так смотрела... И Максим произнес:

— Не кружок. Школа. У взрослых — училище, а у нас школа — для подготовки.

Таня села на дощатый ящик из-под мыла, взяла Максима за рукав.

— Садись. Расскажи.

Максим вздохнул и сел рядом. Совесть уже сверлила его, как бормашина, но язык словно работал сам по себе. Да и некуда было отступать.

— Это для подготовки полетов, — сказал Максим с самым серьезным видом. — Пока летают взрослые, но когда-то придется и детям. Когда другие планеты будем заселять. Это же скоро. Вот и готовят... Это не очень известная школа. Не совсем секретная, но все-таки... Ведь с космонавтикой связано.

Теперь Таня смотрела недоверчиво, с полуулыбкой. И, помолчав, снисходительно сказала:

— Космонавты не бывают в коротких штанишках.

Можно было смутиться или обидеться. Можно было сказать: «Не хочешь — не верь!» Максим чуть-чуть это не сделал. Но получилось бы, что он не прав. А он почти поверил в свою космическую школу. И сказал спокойно и убедительно:

— Мы же еще не взрослые. Мы вообще самая младшая

группа и только готовимся. Но все равно когда-нибудь придется лететь.

— Честное пионерское? — спросила Таня. Но не требовательно, а скорее жалобно.

Максим грустно качнул головой.

— Ты же видишь, я еще не пионер. Нас в пионеры знаешь когда принимают? Только после... — Он чуть-чуть не сказал «после первого полета», но это было бы уже явное вранье. И он объяснил: — После цикла тренировок. А мне еще два захода на невесомость...

Таня смотрела не отрываясь. Но не в лицо Максиму, а чуть опустив глаза. Кажется, звездочку на жилете разглядывала.

«Сейчас скажет: «Дай честное октябрятское» — и тогда капут», — понял Максим.

Она не сказала. Сняла пилотку и стала разглядывать серебряные крылышки.

Максим не знал, конечно, о чем она думает. А Таня думала: «Может быть, он и не хвастает. Может быть, и правда есть такая школа... А если хвастает... ну и что? Он же мальчишка. Это же простительно. Все равно он храбрый и симпатичный. Просто он этого не понимает и хочет показаться лучше. Ну и пусть. Зато он сразу понял, какое хорошее здесь гнездо. И в оружии разбирается, как настоящий Принц, который всю жизнь носит шпагу...»

— Эта пещера знаешь как называется? «Гнездо ласточки», — сказала она.

— Это потому что на высоком берегу, — понимающе откликнулся Максим. — Они всегда на обрывах гнезда делают.

— Тебе здесь нравится?

— Конечно, — искренне сказал Максим.

— Ты только никому про «Гнездо» не говори.

— Никому. Я же обещал.

— А сам... если захочешь, хоть когда приходи. Если даже меня не будет...

— Ладно, — тихо сказал Максим. — Только я... лучше, когда ты...

И тут он окончательно понял, какой же он свинья и хвостун. Наплел какую-то чушь про школу космонавтов. Как теперь разговаривать и смеяться с легким сердцем? К тому же все равно она узнает. Разве тогда придешь в «Гнездо ласточки»?

Забывшись, он стукнул себя кулаком с болтиком по колену. По забинтованному! Боль круглыми толчками раскатилась по всем жилкам. Тогда Максим сжал зубы, встал, снял индейское оперение и повесил на гвоздь. Зажмурился. И так, зажмурившись, тихо сказал:

— Таня, я наврал... про космическую школу.

И украдкой посмотрел на нее.

Таня, кажется, не удивилась. И, главное, не обиделась. Вроде бы даже обрадовалась чуточку. И только спросила:

— А форма?

— Да чепуха, — с облегчением сказал Максим. — Это просто ансамбль во Дворце культуры. Хор «Крылышки». Мы сегодня по телевидению выступали.

Вот теперь она удивилась:

— Правда?!

Максим тоже удивился: чего она так?

Он не понимал ее. А ведь Таня была девочкой. Для девочек артисты почти такие же знаменитые люди, как космонавты.

Конечно, не каждый мальчишка, поющий в хоре, — артист, но если по телевидению...

И потому она сперва обрадовалась, а потом недоверчиво сдвинула брови.

— А если ты опять... Ну, опять просто так придумал?

— Да что ты! — Он торопливо взялся за звездочку. — Вот честное октябрятское! Да хоть кого спроси, что утром была наша передача! Я там песню про летчиков пел. Не веришь?

Он совсем не думал теперь хвастаться. Просто хотел,

чтобы она поверила. Изю всех сил хотел! И если получилось немного хвастливо, то это уже совсем случайно. Таня поверила. И попросила, как в первый раз:

— Сядь. Расскажи.

— А ты не злишься?

— Из-за чего?

— Ну... что наврал.

— Ты же сразу сказал, что пошутил... А выступать страшно?

— Нет... то есть чуть-чуть, пока не начал. А когда поешь, то уже не страшно... Мне болтик помогал, — улыбнулся Максим и опять разжал ладошку. — Я вместе с ним выступал.

Таня серьезно кивнула и пальцем покатила болтик на Максимкиной ладони.

— Конечно, с таким легче... А песня хорошая?

— Еще бы!

— А можешь сейчас спеть?

— Сейчас?

— А что? Ну, пожалуйста, — попросила Таня. — Ты не стесняйся, ты забудь, что я тут сижу. Будто ты один.

Но Максим, конечно, застенялся. И глупо спросил:

— А зачем петь?

— Ну вот... — тихо сказала она. — Я же не видела передачу. Мне же тоже... хочется ведь послушать...

— Здесь акустики нет.

— Чего нет?

— Тесно. Звучать совсем не будет. И музыкального сопровождения нет. И хора. Эту песню с хором поют.

— А ты попробуй без всего. Может быть, хоть немножко получится! Хоть чуть-чуть! Сначала как будто хор, а потом сам.

Она говорила жалобно и в то же время настойчиво. И не отводила глаз от его лица. И Максим вдруг понял, что опять может оказаться обманщиком: наговорил про выступление, а петь не хочет. Значит, наврал? Но не это

было главное. Главное, что Таня могла обидеться. Но и это не все.

Дело в том еще, что Максиму захотелось петь. Неловко было, но все равно хотелось... И, подавляя в себе смущение, он сбивчиво согласился:

— Ладно. Только я не знаю... Как уж получится.

— Конечно! — торопливо сказала Таня. Вскочила и поспешно отодвинулась к стенке.

Максим глубоко вздохнул, развернул плечи, уперся позади себя кулаками в ящик. Посмотрел на солнечные облака в светлой щели выхода. Они были прошиты белой реактивной ниткой.

Максим запел:

Над травами, которые
Качает ветер ласковый,
Над кашкой и ромашками
Растет веселый гром...

Он пел вместо хора и, по правде говоря, не очень старался. Ведь это было только вступление. А когда слова хора кончились, Максим помолчал, мысленно слушая музыкальные такты. И начал свое. Без боязни, чисто, по-настоящему:

Товарищ летчик!
Ну что вам стоит?..

И отчаянное желание полета, надежда на чудо и тоска по высокому небу опять пришли к Максиму.

Мне лишь на минуту взлететь над полем...
Возьмите!
Я очень легкий!

И его, разумеется, взяли в конце концов. И он торжественно рассказал об этом в песне. А замолчав, посидел несколько секунд, словно возвращаясь из полета. Сюда, в «Гнездо ласточки». И вопросительно взглянул на Таню.

— Какой ты молодец, — сказала она. — Самое честное слово, молодец! Ты меня позовешь, когда у вас будет где-нибудь концерт?

Он кивнул. И подумал, что концерты ведь и в самом деле еще будут. И Таня придет. И, наверно, мама с папой придут. И, может быть, даже Андрей. И ребята из класса... А подумав о классе, Максим встревожился.

— Ты знаешь, мне пора, — сказал он огорченно. — Наш класс в парке, и мне тоже надо туда. А то ругать будут.

— Жалко, — сказала Таня и смутилась.

Максиму тоже не хотелось уходить. Даже страшновато стало: вдруг больше не получится у них с Таней такой хорошей встречи. Хотя она и говорила «приходи, когда хочешь», но кто знает...

— А пойдем вместе в парк, — вдруг сказал он. Это неожиданно вышло даже для него самого.

— Я? — удивилась она.

— Ага. Пойдем!

— Там же... ваши ребята. Я никого не знаю.

— Ну и что! Ты со мной, — храбро сказал Максим.

ВОЙ

В городе, где раньше жил Максим, все было молодое. И деревья. Они были тоненькие и не закрывали солнца. А здесь был старый парк с раскидистыми тополями и кленами. Листья еще не совсем выросли, но уже давали хорошую тень. Ветки переплелись в зеленую крышу.

Максим и Таня вступили под деревья. Зеленый воздух был проколот тонкими лучами, и эти лучи запятали песок на аллее круглыми отметинами, похожими на желтое конфетти. Максим осторожно ступал по ним, а они прыгали по его ногам. И казалось, что эти круглые зайчики — теплые и чуть-чуть пушистые.

На главной аллее встречались редкие прохожие, но ребят не было видно. Ни своих, ни чужих. Однако издали доносился веселый шум многих голосов. Там где-то веселился и третий класс «В» школы номер одиннадцать. Но торопиться и бежать не хотелось. Под зелеными сводами

высоких тополей и кленов идти было спокойно и тихо. И они шли, держа друг друга за руки.

Потом Максим увидел, как навстречу шагает Светка Мешалкина — из его класса.

Мешалкина его тоже увидела. И остановилась.

— Ры-ыбкин... Какой ты краси-ивый...

Однако на Максима посмотрела она лишь мельком и устала на Таню.

— Где это ты гулял, Рыбкин? Все думали, что ты заболел.

«Заболел! Передачу они не смотрели, что ли?»

— Ну и правильно думали, — сказал он сердито. — Я в самом деле в больнице был. Два укола схлопотал от заражения.

Слова про уколы Светку не потрясли. Она продолжала с любопытством поглядывать на Таню.

— Где наши? — спросил Максим.

— Где... На аттракционах, конечно. Вон там, — она махнула за спину.

— А ты куда?

— Я отпосилась. На этих сумасшедших каруселях у меня все равно голова кружится, а дома масса дел. Надо еще пионерскую форму готовить для послезавтра. У тебя форма готова?

— Все у меня готово, — небрежно откликнулся Максим, но при мысли о скором празднике ощутил короткий толчок радости.

— Смотри. А то Римма Васильевна тебя сейчас сразу спрашивать начнет.

— Она разве здесь?

— Конечно. Ты ничего не знаешь. Софью Иосифовну вызвали на конференцию, а Римма Васильевна пошла с нами, чтобы посмотреть, организованный у нас получается отряд или не очень.

— И, конечно, сказала, что не очень, — догадался Максим.

— Конечно! Тыликов всех подводит. Ведет себя, как... как... не знаю даже кто. В общем, как Тыликов.

— Мы пошли. Пока, — сказал Максим, и они с Таней зашагали к аттракционам: дорогу к ним показывали голубые фанерные стрелки на столбах.

А Светка, разумеется, стояла и смотрела им вслед. Потом окликнула:

— Рыбкин! Можно на минуточку?

Максим оставил Таню и неохотно подошел:

— Ну?

— Это кто? — шепотом спросила Мешалкина и стрельнула глазами в Таню.

Максим внутренне напряжился и независимо сказал:

— Таня. Знакомая. А что?

— Мне-то ничего, — равнодушным голосом объяснила Светка и стала смотреть на верхушки деревьев. — Смеяться будут. Скажут: невесту привел.

— Ну и дура! — вспыхнул Максим.

— Я-то не дура, я ведь не смеюсь, — спокойно сказала Светка. — Пока, Рыбкин. Я пойду.

— Ну и топай...

Он вернулся к Тане и взял ее за руку. А в другой руке сжал болтик. И они пошли туда, где были голоса и смех.

Деревья кончились, и Максим увидел поле чудес. Взлетали разноцветные лодки качелей. Вертелись карусели, похожие на пестрые зонтики с подвешенными лошадками и колясками. Медленно поворачивалось в небе колесо великанского велосипедиста, подымало на небывалую высоту кабинки с пассажирами. Они почти цеплялись за солнечные облака. Пассажиры казались с земли пестрыми лилипутиками. И, наверно, там, у неба, им было очень хорошо. Как в полете...

У Максима даже сердце заныло — так захотелось в высоту.

Но сначала надо было объясниться с Риммой Василь-

евной. Где она? Кругом столько народу! Наверно, из всех школ сюда сошлись экскурсии. Мальчишки и девочки носились по дорожкам, стояли в очередях у каруселей, играли в чехарду, толпились у автоматов с газировкой. В одном месте две большие девочки водили с первоклассниками хоровод, в другом — целый класс обступил учительницу, и они громко что-то репетировали.

Но среди этой неразберихи и мелькания Максим разглядел красную испанку.

Римма Васильевна всегда была в этой испанке — и в школе, и на улице. И, наверно, даже дома. Словно родилась в ней. Вокруг испанки у нее мелко кудрявились светло-желтые завитки — такая девчоночья прическа. Из-за этой прически, из-за белой блузки и красной испанки Римма Васильевна походила на восьмиклассницу. Особенно когда бодро шагала и громко командовала. Но это если не вблизи. А когда рядом, то видно было, что она уже взрослая. И не потому, что морщины — их как раз почти не было, лишь у глаз немножко. Дело в том, что Максиму казалось, будто у нее губы как у старушки, только подкрашенные. Римма Васильевна про это, наверно, знала, поэтому губы держала всегда поджатыми, и рот ее был похож на тонкую щель. Это еще больше придавало Римме Васильевне решительный вид...

— Подожди, — попросил Максим Таню. Подошел к вожатой и поздоровался.

— А говорили: болеешь, — сказала Римма Васильевна. — Что с тобой случилось, почему не пришел к половине второго, как все?

— В поликлинику попал из-за ноги...

Римма Васильевна покосилась на его бинт.

— Ладно. Потом объяснишь Софье Иосифовне. А сейчас иди к ребятам и занимайся, чем все занимаются. По общему сигналу — ко мне.

— А где все и чем занимаются? — поинтересовался Максим.

— Отдыхают. Катаются на аттракционах. А кое-кто, вроде Тыликова, бегают неизвестно где и нарушает дисциплину, — с неожиданной досадой сообщила Римма Васильевна. — Тебе не советую. Ты послезавтра будешь в пионеры вступать и должен вести себя образцово. Понял?

— Понял, — кротко сказал Максим.

— Кстати, пионерская форма у тебя готова? Полностью?

— Все готово. Давно еще.

— Ну иди...

Максим подбежал к Тане:

— Давай на колесо!

Она запрокинула голову:

— Такая вышотища. Я там помру!

— Не... — успокоил Максим. И неожиданно пообещал: — Я тебя буду за руку держать, крепко-крепко.

Он тут же смутился и поддал сандалией пустой стаканчик из-под мороженого. А Таня быстро кивнула и опустила голову.

Они подошли к колесу. Вот это удача! Почти весь Максимкин класс был здесь. Даже Тыликов, который ничего не нарушал, а спокойно стоял в очереди за Верой Ковальчук. Он первый увидел Максима и громко сказал:

— Ура! К нам пополнение из десантных частей!

Все заоборачивались. И слышались обычные слова: «Макс, привет!.. Ты откуда?.. Разве ты не болеешь?.. А говорили...» Ехидный Мишка Стременко спросил:

— А почему красный мундир? В пожарники записался?

Вот балда! Телевизор он не смотрел, что ли?

И вообще странно: никто ни слова о передаче. Даже «артистом» не обозвали. Будто и не было ничего! Неужели все из-за первого летнего дня прогуляли концерт?

Максим озадаченно поглядывал на ребят.

На костюм его никто, кроме Мишки, не обратил внимания. Впрочем, это как раз понятно: из-за теплой погоды почти все были не в школьной форме, а кто в чем, и

Максим не очень выделялся в пестрой толпе. Но почему ребята молчат про выступление?

Все ясно, никто не смотрел! Наверно, прочитали в программе слово «концерт» и не включили телевизоры. Лодыри! Небось мультики смотреть всегда готовы... Зря он поскромничал и не намекнул вчера в классе, что будет выступать.

От огорчения Максим на полминуты забыл про Таню. Но быстро спохватился и встал с ней в хвост очереди.

Громадное колесо поворачивалось над ними, вознося в поднебесье кабинки со счастливыми — с теми, кто дождался своего часа. Максим запрокинул голову и с радостным замиранием следил за ними. Ведь скоро и он... И не замечал, что многие в это время следят за ним. И за Таней. Девчонки перешептывались. Мишка Стременко что-то с улыбочкой сказал Вере Ковальчук. Та громко ответила, что он глупый, как кочерыжка.

Таня выдернула из Максимкиных пальцев ладошку.

— Ты пока стой, ладно? Я в киоск сбегая, где марки продают. Я про космос собираю.

— Только недолго, — попросил Максим.

Вера Ковальчук вдруг сказала:

— Пойду я. Лучше на качелях покачаюсь. А здесь стоишь, стоишь...

— Забоялась, — сказал Тыликов.

— Ну и забоялась! Не все такие герои...

— Меньше народу — больше кислороду, — сообщил Стременко.

— Фиг тебе — меньше народу! Я Рыбкина поставлю на свое место. Иди, Максим.

Это было прекрасно! Сразу на десять человек ближе!

— Рыбкина девочки любят. Он у нас обаятельный, — отомстил Стременко.

Максим промолчал: дурака словами не вылечишь.

— А что это за девчонка с тобой была? — вдруг спросил Тыликов. Он по-хорошему спросил, без насмешки, просто. И Максим так же просто ответил:

— Это моя знакомая, Таня... Представляешь, я сегодня на берегу в глине увяз, а она меня выволокла. Застрял, как в болоте — ни туда, ни сюда. Просто потеха. Если бы не она, весь бы перемазался.

— Я уж и смотрю, что глина, — сочувственно заметил Тыликов и колупнул на Максимкиных штанах подсохшую серую полоску.

— Чепуха, отчистится, — сказал Максим.

— А как у тебя с концертом? Нормально? — вдруг вполголоса спросил Тыликов.

У Максима прыгнуло сердце.

— Все... нормально... А ты видел?

— Не... Мамка за картошкой послала, потом в аптеку. Да я и не знал, в какое время покажут.

— А откуда знаешь, что концерт?

Тыликов усмехнулся и хотел что-то сказать. Но подошла Таня, и он промолчал.

— Ой, вот мы уже где! — обрадовалась Таня.

— Вставай, — сказал Максим и отодвинулся, надавив спиной на Тыликова.

И тут возмутился Мишка Стременко:

— Смотрите на нее! «Ой, вот мы уже где!» А ты тут стояла?

— Мы же вместе, — сказал Максим.

— Это вы сзади вместе были, а сюда тебя Верка одного поставила!

— Как это одного, если мы вместе?

— Какие хитрые! — зашумели те, кто стоял позади. — Ковальчук одна была, а их двое!

— Эта вообще не из нашего класса!

— Если не из нашего, то не человек? — спросил Максим.

— Да ладно вам, — сказал Тыликов ребятам. — Пусть стоят.

— Ты не лезь, Тыля! Пускай очередь занимают и стоят!

— Ладно, Таня, пойдем на старое место, — гордо сказал Максим.

Старое место было за Владиком Поляковским. Но за ним теперь стояла длинная и вредная Зинка Ступина.

— Мы здесь стояли, — объявил Максим Зинке. — Владик, скажи.

— Ага, стояли, — послушно подтвердил маленький смирный Поляковский.

— Гуляй, — сказала Зинка. — Кто стоял, тот стоял, а если кто бегал, это не мое дело.

— Ну-ка пусти, — потребовал Максим и попытался отодвинуть Зинку локтем. Зинка была на голову выше Максима и сама его отодвинула довольно решительно.

— У, дерево, — растерянно сказал Максим. Не драться же со Ступиной! И смешно, и невыгодно: хоть и девчонка, а отлупит. Но отступить тоже было нельзя. — Кому говорят, пусти!

— Что за крик?

Голос был насмешливый и очень знакомый. Максим даже вздрогнул: сзади стоял Витька Транзистор!

Это был непохожий на себя Транзя: причесанный, в новеньких джинсах и белой рубашке. К рукаву его булавками была пришпилена широкая повязка с голубыми буквами «ПП». Максим сразу догадался, что это «Пост порядка» или «Патруль порядка», о котором недавно говорила в школе Римма Васильевна.

Но почему в этом патруле Транзя, от которого никому житья нет? А может быть, он срочно перевоспитался? Что-то не похоже. Вид, конечно, приглаженный, но глаза все равно вредные.

За Транзей стояли двое незнакомых мальчишек — класса из пятого или шестого.

— Что за крик? Почему нет порядка? — повторил Транзя с язвительной улыбкой. — Это Рыбкин нарушает? Ай-яй, какой невоспитанный...

— Я здесь стоял! — сказал Максим.

— Он стоял, — подтвердил Владик Поляковский и заработал от Зинки Ступиной незаметный шлепок по затылку.

— Он сам не знает, где стоял, — заявил Мишка Стре-

менко. (Ну что Максим ему сделал плохого?) — То тут, то там лезет. А она совсем не стояла. — Мишка ткнул пальцем в Таню.

— Сам ты не стоял! — сказал Тыликов.

— Стояли они! Мы видели! — зашумели девчонки, которые были впереди.

— Это что здесь происходит? — прозвучал взрослый голос, и все на миг замолчали: увидели Розу Михайловну — учительницу из третьего «Б». Роза Михайловна была пожилая, с черной прической, похожей на кавказскую папаху, и строгая. — Почему такой беспорядок? Это опять Тыликов верховодит?

Тыликов сказал:

— Как что — сразу я.

— Это Рыбкин, — с улыбочкой объяснил Транзя. — Это воспитанный тихий Рыбкин лезет без очереди, да еще не один, а с подружкой.

— Мы стояли! — крикнул Максим.

— Тихо, тихо, — сказала Роза Михайловна. — Все должны стоять на своих местах. Никто не должен нарушать дисциплину.

И она удалилась, уверенная, что навела порядок и распустила спор.

— Ясно, моя Рыбочка? — спросил Транзя. — В очередь! Занимать надо, моя хорошая. Во-о-он там! Топай-топай-топай... — И он показал в хвост очереди, где только что пристроился в полном составе еще один класс.

— Ну их, пойдём куда-нибудь, — шепотом сказала Таня. Максиму все еще хотелось покататься на колесе.

Но стоять здесь после всего, что случилось, было тошно.

— Пойдем в тир. Я пятьдесят копеек могу истратить вместо обеда.

И они пошли рядом, не оглядываясь. Все замолчали. Потом Тыликов окликнул:

— Макс, иди на мое место! А она — на Веркино!

— Спасибо. Мы в тир, — сказал Максим.

Где тир, они точно не знали и слегка заплутали в аллеях. Оба молчали. Максиму было неловко за ребят. И за себя: не смог добиться справедливости. Чтобы заглушить неловкость, он досадливо сказал:

— Этот Транзя такая шпана. Все знают. А туда же, в патруль...

— Противный, — согласилась Таня.

Заросшая дорожка снова привела их на край площадки с аттракционами.

И тут, словно его звали, опять появился Транзистор! Выскочил из кустов. Теперь он был один. Увидел Максима с Таней и злорадно заухмылялся:

— Что, не пришлось покататься, Рыбочка? Видишь, как нехорошо лезть без очереди.

— Знаешь, что у него на повязке? — громко спросил Максим у Тани. — «ПП» — подлая прилипала.

Он был уверен, что вблизи от учителей и вожатой Транзя не посмеет его тронуть. Но тот вдруг прыгнул и толкнул Максима в кусты. А сам — следом. Теперь кругом были только ветки. Транзя ловко выкрутил Максиму руку.

— Пусти!

— Говори: «Витенька, прости, я больше никогда не буду».

Максим увидел круглые Танины глаза и понял, что потеряет сознание, а говорить такие слова не будет.

Но боль была нестерпимая. Транзя надавил еще сильнее, и Максим упал коленками в траву.

— Отпусти, гадина, — сказал он сквозь слезы. И вскрикнул, ткнувшись лбом в корень куста. Разжал пальцы и выпустил болтик.

Уголком глаза он видел, как Таня бросилась с поднятыми кулаками и тут же отлетела — спиной в гущу веток: это Транзя двинул плечом. Потом он отпустил Максима и поднял его за шиворот. Болтик лежал в траве. Максим сразу нагнулся, но Транзя наступил на болтик и отпихнул Максима. Он подобрал болтик сам.

— Отдай! — сказал Максим.

— Ах какой нехороший! С железками ходишь. Чтобы драться, да?

— Хулиган паршивый, отдай сейчас же! — бесстрашно сказала Таня.

Но Транзя хихикнул, вышел из кустов и с открытого места показал им дулю — с болтиком вместо большого пальца. Таня потемневшими глазами глянула на Максима.

— Давай догоним и налупим!

— Попробуй налупи, — беспомощно сказал Максим. — Нам же и попадет. Скажут, на школьный патруль порядка напали.

Таня промолчала и отвернулась. И Максим понял, что она догадалась про его страх. Он стал растирать руку: Транзя чуть не вывернул ее из сустава.

— Пойдем тогда... — тихо сказала Таня. И они пошли, и Максим все тер и тер руку, хотя она уже почти не болела.

— Мне домой надо, — вдруг сказала Таня. — Я пойду.

Максим растерянно остановился.

— А может... в тир?

— Нет, дома забеспокоятся, если я долго...

— Пойдем вместе.

— Тебе же нельзя. Вожатая заругает.

Это была правда.

И Максим не знал, что делать.

— Ну, пойду. До свиданья, — сказала Таня.

— До свиданья... — потерянно сказал Максим.

Она повернулась и тихо пошла, не оглядываясь, с опущенной головой. И свернула за зеленый павильон, где была комната смеха.

Вертелись карусели-зонтики. Шум и смех были кругом. И солнце было такое же яркое, как раньше. Но сразу все стало плохо. Будто Максим потерял что-то очень хорошее или обманул кого-то. А что же, так и есть! И обманул, и потерял.

Ощущение потери мучило еще и потому, что не было

болтика. Максим за день так привык к нему, что порой забывал: носил в кулаке и не думал о нем. Но сейчас рука не чувствовала привычной тяжести. Потерял...

Максим брел боковой аллеей. Видеть никого не хотелось, а уйти далеко от ребят было нельзя: вдруг всех позовут. Он шел и все думал, как уходила Таня — печальная, с опущенной головой. Из-за него... И как теперь с ней встретишься, что скажешь? Она даже не напонила, чтобы приходил завтра...

А Транзя, словно нарочно, решил попадаться на пути Максима! Теперь он опять был не один. Трое их было. Сбоку от аллеи на песчаном пятачке они стояли на коленках и что-то разглядывали на земле, сдвинув головы. Низко-низко наклонились и толкали друг друга плечами и локтями.

А рядом стоял мальчишка-первоклассник в голубой матроске. Он со слезами повторял:

— Ну отдайте! Отдайте!

Максиму было так горько, что он уже почти не боялся. Пускай Транзя опять привяжется, если охота. Максиму все равно. Он подошел совсем близко и увидел, что Транзя с приятелями гоняет по песку черного рогатого жука. Мальчишки подталкивали жука лучинками, а Транзя — Максимкиным болтиком.

— Отдайте... — безнадежно повторил первоклассник и посмотрел на Максима. От слез его коричневые глаза были как за стеклышками.

Транзя с друзьями не видел Максима. Они спиной к нему были повернуты и видели только жука.

— Не ваш же жук! — сказал первоклассник.

— И не твой «жежук». Общественный, — ответил Транзя. — Он в парке живет, значит, государственный. А ты поймал и мучаешь.

— Это вы мучаете! А я домой возьму, он у меня жить будет!

— Значит, ты браконьер, — сказал Транзя и хихикнул.

Потом он так щелкнул по жуку, что бедный рогач отлетел на полметра.

Максим опять посмотрел на блестящие глаза первоклассника, потом на Транзю. Он видел его спину с шевелящимися под рубашкой лопатками и туго натянутые джинсы с задним карманом. На кармане была клеенчатая нашивка в виде футбольного мяча.

Транзя прицелился и занес над жуком болтик — словно печать, которую хотел приклепнуть с размаху.

В Максиме, видно, сгорел предохранитель. Ужасаясь тому, что делает, он отвел назад ногу и врезал сандалией по карману.

Транзя икнул и ткнулся головой в песок. Максим прыгнул ему на спину и замолотил кулаками по шее! За себя, за Таню, за жука, за первоклассника! За болтик! За страх и слезы!

Это было всего секунду. Потом все замелькало, перевернулось, и Максим оказался припечатанным к песку. От сильного удара почти онемело плечо, а Транзя навалился и кормил, кормил его песком... И улыбался.

Но он сбоку навалился, и ноги у Максима были свободны. Максим отчаянно рванул вверх правую ногу — трахнул врага коленом. По носу.

Колено было твердое, а нос мягкий. Транзя пискнул. Максим изловчился и трахнул снова. На этот раз попал Транзе по скуле. На колено ему упали теплые тяжелые капли. Транзя отвалился в сторону.

Максим вскочил. Первое, что он увидел, — жука и болтик. Жук был живой: лежал на спине и дрыгал лапками. Первоклассник схватил его и побежал по аллее.

А Максим схватил болтик и приготовился отбиваться от разъяренного Транзи.

Но Транзя поднимался медленно. Из носа у него текли две темно-красные струйки, а скула была голубая.

— Эт-то что?

По аллее спешила Римма Васильевна.

— Эт-то кто?

— Это он, — размазывая кровь по щекам, простонал Транзистор и локтем показал на Максима: — Псих! Кинулся со спины как бешеный...

— Та-ак! — сказала Римма Васильевна. — Рыбкин!

— Чего? — плюясь песком, дерзко сказал Максим. Он пучком травы оттер с колена красные Транзины капли. Потом выпрямился, отряхнул и надел пилотку. Он был победитель. Он все отстоял: и «Гнездо ласточки», и болтик, и себя самого. А Транзя — гад, это все знают. И первоклассник в матроске подтвердит.

— Это ты устроил драку? — замороженным голосом спросила Римма Васильевна.

— Я! — сказал Максим. — Потому что он сам! Он ко всем первый лезет! Еще патруль...

— Я лез? — яростно крикнул Транзя.

— Он не лез! — сказали хором его приятели. Они наконец пришли в себя.

Сбегались на шум ребята. Подошла Роза Михайловна.

— Не думала я, что Рыбкин такой фрукт, — сказала Римма Васильевна. И велела приятелям Транзи: — Отведите Витю, пусть умоется.

Транзя, шмыгая носом, пошел. Но через два шага оглянулся.

— Он железкой дрался! Поглядите у него в кулаке!

— Врешь! — крикнул Максим.

Римма Васильевна крепкими пальцами разжала его кулак и взяла болтик.

— Ах, вот оно что, Рыбкин...

— Но он врет! Он его сам отобрал! — отчаянно сказал Максим.

— А почему ты кричишь? Что это за разговор?! Что он у тебя отобрал? Ты до крови избил железным винтом члена нашего школьного патруля.

— Да неправда!

— Что еще неправда? Ладно, в школе разберемся.

Роза Михайловна взяла вожатую под руку:

— Знаете, этот Транзин тоже не сахар...

— Разберемся, разберемся...

Они отошли на несколько метров, но Максим услышал, как вожатая говорит:

— Я с таким трудом привлекла Транзина к общественной работе, и если сейчас...

Максима обступили ребята.

— Он теперь тебе проходу не даст, — сообщил Мишка Стременко.

Вера Ковальчук сказала:

— У тебя песок на спине. Пстой, отряхну.

Тыликов пообещал:

— Я Ваське, брату своему, скажу. Если Транзя еще полезет, он ему вделает.

— У меня тоже есть брат, — сказал Максим. — Да я и сам, если один на один... Подумаешь, Транзя...

Римма Васильевна встала поодаль.

— Все сюда! Все ко мне! Едем домой! — громко восклицала она и хлопала над головой ладонями. Хлопки звучали, как выстрелы пистонного пистолета. На локте у вожатой висела желтая сумочка.

В ней лежал Максимкин болтик.

ВОЙ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Когда автобус остановился у школы и третьеклассники высыпали на тротуар, Римма Васильевна велела встать в круг.

— В школу никто не заходит! Там идут занятия, нечего шуметь! Все отправляются по домам. Не забывайте, что послезавтра сбор! Особенно те, кого принимают в пионеры! Готовьтесь! Имейте в виду: у кого не будет белых гольфов и синих пилоток, на сбор может не приходиться. Все разошлись! Рыбкин — за мной!

У Максима защемило сердце. Послезавтра — сбор. Все у него готово, и отглаженный галстук висит на специальных плечиках с круглой перекладкой, чтобы не осталось складок. Да все это, видно, зря.

Вожатая маршировала по притихшим коридорам, а Максим с повисшей головой двигался следом. Они вошли в пионерскую комнату. Там было очень солнечно. Светился желтый лакированный стол, сверкали на тумбочке фанфары, сияли обручи на барабанах. Горячая искра горела на остром наконечнике знамени. Огненным светом пылало это знамя и отрядные флажки. Настоящий праздник солнца и пламени!

Но это был не его, не Максимкин праздник. И Максим остановился в дверях, тоскливо обводя глазами солнечные стены.

Римма Васильевна дернула от стены пластмассовую табуретку и села у блестящего стола, спиной к окну. Положила перед собой сумочку.

— Что встал в дверях? Иди ближе.

Максим сделал несколько шагов.

— Не отворачивайся и смотри мне в лицо, когда я с тобой разговариваю.

Максим, чувствуя близкие слезы, поднял глаза. Он все-таки поднял. Но лица Риммы Васильевны не увидел. На фоне горящего солнцем окошка лишь темнел силуэт ее головы с кудряшками и острой пилоткой. А маленькие уши просвечивали темно-розовой краской.

— Я жду! — сказала Римма Васильевна.

— Что? — сипловато от подступивших слез спросил Максим.

— Ах, что! Ты не знаешь? Я жду целых пять минут, когда ты соизволишь объяснить свою дикую выходку.

— Он же первый полез, честное слово, — сказал Максим кудряшкам и прозрачным ушам.

— Не лги! Все видели, как ты петухом налетел на него! Сзади!

— Он тоже всегда сзади... Вы ведь самого начала не видели... Спросите у ребят.

— Ты меня не учи! Мне известно, кого и как спрашивать, и я спрашиваю тебя. А за ребят нечего пря...

В этот миг стукнула дверь, и в комнату из-за спины Максима шагнул учитель.

Максим знал, что это учитель физики, а имени его не знал. Он только слышал от Андрея, что это хороший учитель — веселый и справедливый. Но Андрей дома называл его просто «Физик».

Физик был молодой, коренастый, светловолосый. Максиму казалось почему-то, что раньше этот учитель служил на флоте. Ему очень подошла бы штормовая куртка с тельняшкой вместо серого костюма и галстука. Правда, ходил Физик без морской раскачки, прямо и легко, даже строго как-то. Но лицо его, скуластое и толстогубое, никогда не было строгим.

Итак, учитель физики шагнул в комнату и встал сбоку от стола. А на стол мягко положил большую блестящую пластину.

— Добрый день, уважаемая Римма Васильевна.

— Что это? — слегка удивилась Римма Васильевна, отразившись, как в зеркале, в никелированной жести.

— Это от глянцевателя, — вкрадчиво сказал Физик. — Полюбуйтесь, что сделали ваши «фотографы» из штаба друзей природы, которых по вашей просьбе я пустил в фотолaborаторию.

— Что именно? — недовольно поинтересовалась Римма Васильевна.

— Они изуродовали поверхность. Как прикажете глянецовать на этих царапинах и вмятинах? Кроме того, они сожгли лампу в увеличителе и уронили в фиксаж запасной объектив.

— Куда уронили?

— В раствор гипосульфита. Выражаясь популярнее, в закрепитель.

— Можно с этим чуть позже? Сейчас я закончу один разбор...

— Угу. Я подожду, — сказал Физик и отошел к боковому окну. Там он неожиданно повернулся и внимательно глянул на Максима.

— А это что за юноша в блистательном вицмундире? Это у ваших горнистов и барабанщиков такая форма?

— Не знаю, что за форма, — раздраженно откликнулась Римма Васильевна. — А этот «симпатичный юноша» сейчас в парке устроил безобразную драку с командиром поста порядка.

— Да неужели? — усмехнулся Физик. И кажется, не поверил. — А на вид вполне воспитанное дитя, только слегка помятое.

— Это «воспитанное дитя», к вашему сведению, избило одного пятиклассника железным винтом... — Она со стуком выложила из сумочки болтик.

— Я не бил его винтом, — тихонько сказал Максим и ощутил пустоту и безнадежность. Потому что ничего нельзя было доказать. Но он все-таки попытался еще раз: — Я не бил. Это у него был винт. Он у меня его отобрал.

— Совершенно верно! А почему отобрал?

— Ну спросите у него! Я-то при чем? — сказал Максим так отчаянно, что это было похоже на негромкий крик.

— А ну-ка... Ну-ка веди себя прилично, — с тихой угрозой произнесла Римма Васильевна. — Это что такое? — И вдруг крикнула: — Ты как разговариваешь!

Максим вздрогнул. И скорее от испуга, чем от желания спорить, громко сказал в ответ:

— А вы как? Говорили «разберемся», а сами только кричите.

— Ух ты... — удивилась Римма Васильевна. — А ты, оказывается, орешек... — Она повернулась к физику: — Видите? А мы говорим: «трудные, трудные»... Самые трудные — не те, кто в туалете курит и с уроков сбегает, а вот такие. Благополучненькие с виду. У них уже язык подвешен, умеют со старшими спорить по всем правилам. Рассуждают!.. А еще собирался в пионеры!

— А может быть, сначала... — заговорил Физик, но вожатая торопливо сказала:

— Хорошо, хорошо. Сейчас разберусь с этим субъектом, и поговорим.

— Поговорим, — согласился Физик и стал лицом к окну. Римма Васильевна отчетливо сказала Максиму:

— Отвечай, почему затеял драку.

Отвечать было трудно: слезы скребли горло и вертелись в уголках глаз. Максим прошептал:

— Потому что он всегда лезет. И болтик отобрал.

— Почему ты не мог сказать учительнице или мне? Из-за какого-то паршивого болтика бросился избивать товарища!

Ну как ей объяснить? Из-за болтика! Как рассказать про Таню, про то, как она уходила из парка? Про борьбу со страхом, про отчаяние?

Как?!

— У меня просто лопнуло терпенье... — с трудом сказал Максим.

— Что-о? — тихо протянула Римма Васильевна и часто задышала. — Ах, терпенье... А у меня? У меня оно железное, чтобы выносить ваши ежедневные фокусы? А?! Отвечай!

И она с размаху припечатала свою ладонь к лаковой крышке стола.

Пластина подскочила и дзенькнула.

Этот металлический звук словно толкнул Максимкину память. С таким же звоном сталкивались медные тарелки... Дзэнн! И светлый чубчик у маленького музыканта вставал торчком. Дзэнн! И ослепительно вспыхивали на тарелках отблески прожекторов. А трубы вели упругую и боевую мелодию марша. Чуть-чуть печальную, но сильную и смелую.

И эта мелодия, вспомнившись, тихо зазвучала в Максиме. И, слыша ее, он стал распрямляться.

Конечно, и до этого он стоял прямо. Но теперь он выше стал держать голову, плечи расправил, перестал суетливо дергать складочки на штанах, спокойно опустил

руки. А главное — он распрямился в душе. Словно маленький, но смелый и дружный оркестр стоял сейчас у него за спиной. И слезы начали отступать.

Почему надо бояться, если не виноват? Почему надо плакать, если не боишься? За что на него кричат? За то, что первый раз он победил страх?

— Лучше бы этого Транзина спросили, зачем он приставал, — сказал Максим.

— Ты меня не учи! И не Транзин, а ты собирался вступать в пионеры.

Значит, пока он был трусом, никто не возражал: ни вожатая, ни одноклассники, ни шефы из шестого класса. А сегодня, когда он впервые вел себя как человек, — в пионеры нельзя?

— Я и сейчас собираюсь, — сказал Максим.

— Да? — язвительно спросила Римма Васильевна.

— Да, — упрямо сказал Максим. — На отрядном сборе у шефов уже проголосовали.

— Ну-ну! Ты думаешь, они станут тебя принимать, если я расскажу о твоём поведении? — с усмешкой откликнулась Римма Васильевна.

— Я тоже расскажу, — тихо, но уже бесстрашно сказал Максим. — Я правду расскажу.

— Ты... ты хочешь сказать, что я буду говорить неправду?

Максим не отвел взгляда. Его глаза привыкли, и теперь он видел лицо вожатой. Он смотрел прямо в зрачки Риммы Васильевны.

— Конечно, — все так же тихо, но с силой произнес он. — Вы говорите неправду. Зачем? Вы просто не любите, когда с вами спорят.

— Да! — решительно сказала Римма Васильевна и снова хлопнула по столу. И пластина опять отозвалась дребезжащим звоном. — Да-да-да! Представь себе, не люблю! И никто не любит! Если каждый с такой поры начнет со взрослыми спорить, тогда хоть в петлю лезь! И в пионеры

принимают не драчунов, не хулиганов, а послушных учеников!

Пусто и просторно сделалось вокруг Максима. И тихо-тихо. Словно оказался он один в громадном поле. А над полем беззвучно кружил красный самолет. И, помня слова старого летчика, Максим отчетливо сказал в этой тишине:

— Послушными овечки бывают. А за правду надо воевать.

Несколько секунд (а может быть, очень долго) Римма Васильевна сидела, словно не понимая, что случилось. Потом лицо ее вытянулось, выщипанные брови поднялись, а рот приоткрылся, будто она собиралась сказать: «Ах, вот оно что? Тогда все ясно!»

Однако ничего она не сказала. Потому что учитель физики, о котором забыли, не то громко хмыкнул, не то кашлянул. Максим быстро взглянул на него. Физик по-прежнему стоял у окна и старательно смотрел на улицу. Что он там увидел?

Максим опять посмотрел на вожатую. Теперь лицо у нее было скучным и усталым.

— Убирайся, — утомленно произнесла она. — Борец за правду...

Максим круто повернулся на скользких подошвах и зашагал к двери. Он чувствовал, что после таких слов может не говорить «до свидания». Он негромко, но плотно прикрыл за собой дверь. И пошел по тихому пустому коридору.

Максим не боялся. Он понимал, что могут быть большие неприятности, но страха теперь не было. Потому что в пионеры примут. Все равно примут! Если надо, он в самом деле придет на сбор и перед всеми расскажет, как было! Разве можно, чтобы человека ни за что взяли и не приняли?

Конечно, ей спорить проще. Она вожатая, она большая. Крикнула: «Убирайся!», ладонью трах — и кончен

разговор. А если он прав? Он же все равно прав! Справедливость победит, не надо только бояться.

Максим сердито и обиженно шурился, но шагал твердо. И решительно сжимал кулаки. Нет, он правда не боялся. Только смутная тревога слегка грызла его: словно забыл или потерял что-то.

Болтик, вот что!

Максим остановился. Он стоял всего секунду. Потом так же четко зашагал назад. Нельзя сдаваться. Если бросить болтик, это будет предательство. Болтик — как живой, он выручал Максима, а Максим выручал его. А сейчас болтик забросят куда-нибудь, и станет он валяться в мусоре, одинокий и бесполезный.

Неприятно снова оказаться перед разозленной вожатой. Ох и раскричится! Страшновато даже. Но Максим заставил себя вспомнить оркестр, и марш «Морской король» снова зазвучал в нем. Запела труба, и взметнулись блестящие тарелки. И под их звонкий удар Максим толкнул дверь.

Римма Васильевна и Физик о чем-то спорили, стоя у тумбочки с горнами. Они разом замолчали. Лицо у вожатой было обиженным, а учитель сдержанно улыбался.

А болтик лежал по-прежнему на желтом лакированном столе. Максим сделал к столу от двери пять широких шагов. Он не опускал глаз. Вожатая и учитель физики следили за ним с непонятными лицами.

— Здесь остался мой болтик, — громко сказал Максим. — Извините, но он мне нужен.

Максим накрыл болтик левой ладонью и сжал пальцы. Они ощутили привычную ребристую тяжесть. Максим повернулся и пошел. Ему не сказали ни слова. Поэтому он чуть-чуть задержался на пороге. Но так и не дождался ни вопроса, ни упрека. Тогда, не оглянувшись, он негромко сказал:

— До свидания.

В коридоре он вдруг почувствовал, что слабенько дро-

жат ноги. Странно даже. Ведь он не боялся. Правда не боялся! Может быть, это просто от волнения? Волнение — это не страх, это можно. Он вновь заставил шагать себя твердо, и марш «Морской король», нарастая, опять зазвенел в нем: упорная песня труб и вспышки медных тарелок.

«Все равно примут! — сжимая болтик, думал Максим. — Все равно! Все равно!»

Но снова сквозь эту решительность его уколола тревога. И еще. Сильнее.

Что такое?

А вот что: Максимкина дорога лежала мимо кабинета врача.

«А если узнают, что я наврал тогда про укол?»

Если узнают — тогда конец. Тогда не видать пионерского галстука.

Максим представил, как это будет: грозные упреки Софьи Иосифовны, усмешки ребят, довольные глаза Риммы Васильевны: «Я же говорила...» Он даже зажмурился. Даже остановился. Еще яснее постарался вообразить, как может случиться... И вдруг понял, почувствовал: ничего не будет. Он сам придумал себе эти ужасы, потому что в нем жил страх. А сейчас страха не было. А если и был, то маленький, сморщенный, забившийся в самый темный уголок. Этот страх сам боялся Максима.

Что может быть? Скорей всего, и не вспомнят, если не спохватились за два месяца. А если и спохватятся?

«Как же это получилось, Рыбкин?»

«Ну, я не знаю. Мне помнилось, что делали прививку».

«Как это «помнилось?»»

«Наверно, перепутал с прошлым годом. Я разве отказывался? Просто предупредил. Ну, делайте сейчас, пожалуйста».

Вот и все.

Однако это было не все. Максим не пошел дальше. После того, что случилось, после того, как он задушил страх и стал победителем, ему хотелось прогнать последнюю маленькую боязнь. Снять с души накипь обмана.

Он вздохнул, переступил, набираясь решимости для отчаянного признания, и дернул дверь!

Она не открылась... Она была заперта!

Будем честными до конца: Максим не огорчился. Наоборот. Но теперь совесть его была чиста, и он знал, что не станет больше врать и бояться. С облегченным сердцем выскочил он на лестницу, увидел в окне голубое небо с белым следом самолета. Вспомнил, как такой же след прошивал облака, которые стояли над рекой, над «Гнездом ласточки».

И тут догнала его новая тревога.

Таня!

Она, конечно, до сих пор презирует его. Вспоминает, усмехается, и ее серо-голубые глаза обидно шурются.

Он был хвостун и трус! Таким она его и запомнила.

Он для себя решил спор с Транзей. А для Тани? Как она узнает? Она и сейчас думает, что Транзя ходит гордый, а у Максима заячья душа...

Максим выскочил из школы и торопливо пошел к реке.

«ПРИДУ ЗАВТРА!»

По знакомой тропке Максим скользнул через шекочущие заросли на тайный уступ. Зорко глянул сквозь перепутанную траву: нет ли кого поблизости? Не было. Прислушался. Стояла тишина, только крошки сухой глины, срываясь вниз, шелестели среди стеблей.

Максим нырнул в щель.

Была сплошная темнота. Максим нашупал и дернул шнурок. Яркий глаз фонарика послушно вспыхнул под потолком. Все оказалось в точности так, как раньше, когда они уходили. И упавшая стрела лежала у входа. Значит, Таня не приходила. И, наверно, сегодня уже не придет.

Максим присел на ящик, и сделалось ему грустно. Когда они встретятся? И встретятся ли вообще? И, конечно,

Таня думает: «Трус, трус...» А он уже перестал бояться! Он уже не такой, как два часа назад.

Как ей об этом сказать? Может, оставить болтик? Правильно! Она увидит и все поймет!

А если не поймет? Вдруг подумает, что подлый Витька Транзистор выследил «Гнездо ласточки» и побывал здесь? Или еще что-нибудь не то подумает?..

Написать бы письмо. А как? Нет ни карандашика, ни бумаги... А может быть, есть? Максим обвел глазами стены. Оружие, индейский убор, карта... В нише маленькие дамы и мушкетеры замерли в неподвижном танце. Рядом с ними лежат кусочки пластилина — чтобы лепить новых воинов и придворных.

А ведь в древности люди писали на глиняных табличках! Выдавливали буквы!

Максим вскочил и ощупал пластилиновые брусочки: который помятче? Все были одинаковые, жесткие. Тогда он выбрал темно-красный, немного похожий по цвету на вишневую форму. Отложив болтик, он долго разминал пластилин и шлепал им о доски ящика. Получилась лепешка.

Усевшись перед ящиком на корточки, Максим взял стрелу и провел по пластилину. Ничего, можно писать. Но что?

«Здравствуй, Таня! Ты, наверно, думаешь, что я струсил. А я просто не хотел драться, потому что послезавтра мне вступать в пионеры, а Римма Васильевна сразу скажет, что я хулиган... Но потом...»

Нет, это будет неправда. Хватит врать.

«Здравствуй, Таня. Сначала я побоялся связываться с Транзей, а когда ты ушла...»

Нет, неловко писать про это. И опять получится, что он трус. А он уже перестал быть трусом, зачем же про это вспоминать? Лучше так:

«Когда ты ушла, я понял, что все-таки надо его отлупить».

Это уже лучше. В самом деле так было: она ушла, а он понял... Только слишком длинно получается. Может быть, проще? «Я понял, что надо его отлупить...»

Нет, не так. Можно еще яснее и короче.

И, склонившись над пластилиновой табличкой, Максим начал выцарапывать наконечником слова. А белое перо на хвосте у стрелы размашисто двигалось над его пилоткой. Вот что получилось:

«Пришлось его отлупить. Приду завтра в 2 ч. Максим».

Потом он подумал: «А вдруг она завтра до двух здесь не появится?» И тут же успокоил себя: «Появится! А если нет, я оставлю ей новое письмо».

Рядом с пластилиновой табличкой Максим положил болтик — свидетельство своей победы. И сразу пожалел его: болтику скучно будет одному в темноте.

Максим опять взял его, вздохнул, побаюкал... и догадался! Перевернул болтик и вдавил в пластилин. Плоская головка с аккуратным числом «12» оттиснулась рядом с подписью, как настоящая печать. Правда, цифры получились наоборот, но Таня все равно догадается.

Теперь все-все было хорошо! Максим выключил фонарь и хотел поскорее выбраться из пещеры. К солнышку, к свежей траве, к лету.

Но снаружи вдруг зашелестело, защелкало по листьям, и появилась словно занавеска из стеклянных ниток. Это, не закрывая солнца, набежала тучка с первым летним дождем. Будто нарочно, чтобы пошутить с Максимом и не выпустить из «Гнезда».

Он не обиделся на тучу. По веселому шуму капель, по их солнечному сверканию он понял, что это ненадолго. И правда, через две минуты дождик убежал, оставив на обрыве блестящую траву. А на фоне сизого облака за рекой появилась яркая крутая радуга. Вернее, две радуги — одна внутри другой. Эти разноцветные ворота размытыми полосками отразились в воде, и там их с размаху разорвал на лоскутки белый катер на подводных крыльях.

Максим выбрался на тропинку. Глина стала скользкой, а листья травы мокрыми ладошками хватили его за ноги. Рукава рубашки намокли оттого, что по ним шелкали сырые верхушки. Но это были пустяки, это было даже приятно.

Небо совсем расчистилось, а у тучки, убежавшей за реку, золотом горел косматый край. Блестели на том берегу окна и мокрые крыши. Дышать было легко-легко.казалось даже, что если сорвешься с обрыва, то не упадешь, а полетишь как птица. Полетишь в этом удивительном воздухе, где вечер начал незаметно рассыпать похожие на солнечную пыль золотые искорки.

Но Максим не сорвался. Скользя сандалиями, он поднялся на край высокого берега. Он немного устал, но было ему радостно и спокойно.

Потому что сделал он все как надо.

После дождика резко пахло тополиной свежестью. И Максиму стало так хорошо, что захотелось обнять ближний тополь. Обнять и сказать спасибо за этот летний вечер, за недавний теплый дождик, за радугу.

За свою радость и победу.

Он так и сделал. Обхватил серый рубчатый ствол и прижался к нему щекой, грудью, коленями. Он уже не боялся испачкать вишневую форму.

Он стоял, сливаясь с тополем, и слушал лето.

Начинался легкий ветер, он качал ветки. Большая теплая капля упала Максиму на висок и покатила по щеке. Он улыбнулся и закрыл глаза.

Кто-то легко тронул Максима за плечо. Он оторвал щеку от ствола и не спеша повернулся.

Перед ним стоял мужчина. Максим смотрел на него снизу вверх, ввысь. И при таком взгляде не сразу узнал этого человека. А потом понял, что это учитель физики.

Максим не удивился и не встревожился. Просто подумал: «Вот опять учитель физики». Улыбка все еще была у Максима внутри, но на учителя он смотрел серьезно. Серьезно и спокойно.

— Ты плакал? — негромко спросил учитель. Максим покачал головой.

— А это? — сказал Физик и коснулся мизинцем щеки Максима — там, где осталась влажная дорожка.

Максим снова улыбнулся. Чуть-чуть.

— Это капля с дерева, — объяснил он и посмотрел на листья.

Физик тоже посмотрел вверх.

Потом они посмотрели друг на друга.

— А я думал, плачешь, — все так же негромко сказал учитель. — Не обижайся. Иногда бывает, что человек держится храбро, пока нужно, а потом плачет, когда один. От обиды или усталости.

— Я знаю. Но я не плакал. Даже не хотел, — сказал Максим.

— Ну и молодец. Тогда давай руку, и пойдем.

— Куда? — удивился Максим.

— Куда... Домой, наверно. А что ты здесь вечером на берегу делаешь?

— Я... играю, — сказал Максим и отвернулся. Но ему не хотелось врать и придумывать. И ему почему-то нравился Физик. — У меня здесь тайна, — тихо объяснил он и снова поднял на учителя глаза. — Но это не моя тайна, вы не спрашивайте.

Физик кивнул:

— Не буду... Но, признаться, ты меня напугал со своей тайной.

— Я? Как?

— Как... Понимаешь, выскочил ты... то есть ушел, сердитый такой, решительный. А я тоже... пошел. Смотрю: ты впереди движешься. Получилось, что нам по дороге. А потом — ты к реке. Я думаю: не решил ли ты сгоряча в воду головой?... Ну, это я шучу, конечно, — торопливо засмеялся Физик. — Но все равно странно: с обрыва исчез — и нет тебя. И долго нет. Согласись, любой бы затревожился...

— Да, пожалуй, — подумав, произнес Максим. — Но я же не знал.

— Сейчас все в порядке, — сказал Физик. — Ну а как насчет того, чтобы домой? Идем?

И он протянул руку. Максим дал свою. Не с болтиком, а другую.

Они шагали дружно и неторопливо. Максим украдкой поглядывал на Физика и думал, что впервые в жизни идет, держа за руку учителя. И не с классом, а вдвоем. Интересно, как Физика зовут? Неловко спрашивать.

Он дома узнает, у Андрея. А через три года Максим сам будет изучать физику и, наверно, каждый день будет встречаться с этим учителем.

Жалко, что Римма Васильевна, а не Физик вожатый в школе.

— А насчет приема в пионеры не беспокойся, — вдруг сказал Физик — Все будет в порядке.

— Я и не беспокоюсь, — ответил Максим. И почувствовал, что, кажется, опять соврал. — Нет, я беспокоюсь, но не боюсь, — поправился он. И сердито прищурился.

— Вот и хорошо, — улыбнулся учитель.

— Конечно, хорошо, — независимо сказал Максим и гордо посмотрел сбоку на Физика.

Но беспокойство, которое опять всколыхнулось в нем, оказалось сильнее гордости. И он спросил тихонько:

— А... правда? Все будет в порядке?

— Да, — сказал Физик.

И это твердое «да» прогнало от Максима проснувшуюся тревогу. Насовсем. Если бы он шел один, то, наверно, двинулся бы вприпрыжку — от накатившейся радости. Но его ладошка была в руке у Физика. Поэтому Максим лишь заулыбался. И нечаянно сбил шаг.

— Что? Нога болит? — спросил Физик и поглядел на Максимкин бинт.

— Ничуть не болит!

— Крепкий ты человек, — с уважением сказал Физик. — Прямо как твой болтик.

— Почему крепкий? Нога ведь правда не болит.

— Верю, верю... Ладно, мне пора сворачивать. До свидания, Болтик.

— До свидания... — сказал Максим. И когда они разошлись, когда учитель был уже в пяти шагах, Максим вдруг решил: — А как вас зовут?

Наверно, это было не очень вежливо — спрашивать вот так, в спину. Мама не похвалила бы. Но Физик обернулся, будто ждал вопроса.

— Роман Сергеевич меня зовут. А что?

— Так... А вы знаете Андрея Рыбкина из девятого «А»?

— Знаю, — серьезно сказал Роман Сергеевич. — Способный юноша.

— Это мой брат, — с удовольствием сказал Максим.

— Надо же! Очень приятно. Привет Андрею Рыбкину. У них, кстати, послезавтра контрольная.

— А нас вы будете учить в шестом классе?

— Надеюсь... Если ничего не случится.

— Что же может случиться? — с легким беспокойством спросил Максим.

— Мало ли что, — усмехнулся Роман Сергеевич. — Скажем, вдруг назначат заведующим гороно...

— Да ну уж... Может, не назначат, — успокоил Максим.

Роман Сергеевич засмеялся, помахал рукой и зашагал к повороту.

«ТЫ С НЕВА УПАЛ?»

Вечернее солнце светило в спину, и впереди Максима на асфальте смешно шагала удивительно длинная и тонконогая тень. Она прихрамывала. Потому что Максим тоже прихрамывал: опять стало болеть колено. А кроме того, ныло плечо, по которому ударил Транзя. И во всем теле, как тяжелая вода, колыхалась усталость.

Но не думайте, что Максим шагал уныло. Он просто

неторопливо шагал. Настроение все равно было радостное. И Максим улыбался: впереди его ждало только хорошее.

Пожалуй, лишь одно не очень хорошо: Максимкин потрепанный вид, наверно, огорчит маму...

Проходя мимо витрины булочной, Максим глянул на свое отражение в стекле. Да-а... Вид, конечно, не тот, что утром. Обшлага и локти у рубашки серые, верхняя пуговка на жилете висит на нитке, сам жилет помят, а штаны — те вообще в гармошку. Ноги побиты и поцарапаны, словно Максим дрался со стаей камышовых котов. А бинт! Даже не верится, что он был когда-то белый...

А впрочем, ладно! Он возвращается победителем, а победителей, говорят, не судят. Тем более что пилотка с серебряными крылышками по-прежнему как новенькая ловко сидит на голове.

Максим глотнул и торопливо отошел от витрины. Потому что, кроме самого себя, он разглядел за стеклом батоны и поджаристые караваи.

От голода мягко кружилась голова. Ох, скорей бы домой! Жаль, что бежать сил нет.

На углу стояла тележка с навесом и надписью «Пирожки». Морщинистая пожилая продавщица в белом халате и такой же, как у медсестры Любы, шапочке нагнулась и шуршала промасленными бумагами. Максим, глотая слюну, подошел и протянул пять рублей.

— Дайте, пожалуйста...

Она выпрямилась так быстро, что Максим не договорил.

— Нету сдачи! Ты бы еще сто рублей дал! Не видишь, что ли, деньги уже сдала!

Как он мог видеть? Он видел только пирожки — пузатые, золотистые. Они горкой лежали в алюминиевой корзине. Они были, наверно, с мясом и рисом. Но, в конце концов, не умрет же он! Лучше потерпеть, чем стоять перед ней и кланяться.

Максим пожал плечами и пошел прочь, стараясь не хромать. И услышал за спиной ворчание:

— От горшка два вершка, а с такими деньгами...

Откуда они берутся, такие вредные? И эта, и Марина, и та тетка за забором, когда Максим рубил щепкой репейники...

— Мальчик! — вдруг услышал он тот же голос. — Мальчик, подожди!

Что ей еще надо? Придраться хочет, откуда деньги? Не ее это дело. Максим остановился, посмотрел назад.

— Мальчик! — позвала продавщица несердито. — Подожди сюда.

Он опять пожал плечами и подошел.

— Возьми, скушай, — сказала продавщица и протянула пирожок в бумажной салфетке.

— Да что вы, не надо, — торопливо произнес Максим и, кажется, покраснел.

— Возьми, возьми, не сердись.

Она была теперь совсем не злая. Улыбчивая и чуточку виноватая.

«Спасибо, не хочу», — хотел сказать Максим, но пирожок был такой изумительно аппетитный, что рука потянулась к нему сама. А язык сам сказал:

— Спасибо большое...

— Кушай на здоровье. Не обижайся на старую, это я на солнце настоялась, умаялась за день...

Максим еще раз сказал спасибо и пошел, оглядываясь.

Странно... Сердитая она или добрая? Хорошая или плохая?

А может быть, и Марина не совсем плохая? Может быть, у нее жизнь такая, измучилась со своим пьяницей Витей...

Но все равно. Если тебе плохо, зачем кидаться на не виноватых?

Зачем думать, что все плохие?

Вот у Ивана Савельевича жизнь была тоже нелегкая, а он сразу понимает, кто плохой, а кто хороший.

«Улица Громова, пять, квартира пять». Максим обязательно пойдет в гости. И может быть, Иван Савельевич попросит знакомых летчиков, чтобы Максима прокачали...

Конечно, попросит! И они, конечно, согласятся! У такого доброго человека и друзья наверняка добрые.

Хорошие люди всегда выручают и помогают. Медсестра Люба, учитель Роман Сергеевич... И Таня!

Максим завтра обязательно пойдет на берег. Хорошие люди иногда просто слово скажут, а от этого уже весело. Например, тот синеглазый старик, подаривший щепку. И вахтерша на телестудии...

Если бы мог Максим, он бы сделал в ответ им тоже что-нибудь доброе. Обязательно!

Только что он может? Песни петь умеет немножко. Если бы можно было сделать еще один концерт и придумать для этих людей самую хорошую песню! И чтобы они знали, что это для них...

Ветер тоже был добрый. Плотный и очень теплый. Он пришел со стороны солнца и мягко подталкивал Максима в спину, помогал идти.

Пирожок исчез. Максим даже крошки слизнул с ладони. И осталось лишь сладкое воспоминание о мясной начинке и поджаристой корочке.

Голод тоже остался. Только раздражился пуще. Что такому громадному голоду маленький пирожок? Папа в таких случаях говорит: «Слону дробинка».

Слону...

«Купи слона...»

Максим улыбнулся и повернул на улицу Гризодубовой. Он никогда по ней раньше не ходил, но знал, что она должна привести его почти к дому. Это была короткая дорога.

И он очень удивился, когда улица через два квартала вильнула и уперлась в серый расшатанный забор.

Что же делать? Даже обхода не видно. А возвращаться — это сколько лишнего пути?

Во многих местах доски были оторваны. Слон бы не пролез, а Максим легко скользнул в первую же щель: может, есть тропинка напрямик?

Тропинка была. Она змеилась в большой траве, пересекала просторную площадку — не то пустырь, не то заброшенный стадион. На одном краю площадки стояли покосившиеся футбольные ворота, на другом дощатое строение — сарай или гараж. Солнце еще не ушло за горизонт, но уже пряталось за высокими домами, и над пустырем висела голубая вечерняя тень. Это было еле ощутимое начало сумерек.

Ровно шелестел ветер в траве да на близком аэродроме стрекотали моторы.

Максим пошел по тропинке. Она вела мимо сарая. Максим думал, что это совсем заброшенный сарай, но, когда подошел близко, услышал голоса.

Трое мальчишек выкатили из-за угла странную штуку на разнокалиберных колесах. Максим был в нескольких шагах, но его не увидели.

Потому что сначала ребята, согнувшись, возились со своей колымагой, а потом выпрямились и задумчиво на нее уставились.

Максим стоял по пояс в старом бурьяне. Он не знал, что делать.

Незнакомые мальчишки — это риск. Но тропинка проходила рядом с ними.

Если обойти стороной, по траве, скажут: ходит тут и выслеживает. Если повернуться и незаметно уйти... Но куда пойдешь? Да и опять это будет трусость.

А собственно говоря, чего бояться? Мальчишки совсем не похожи на вредных людей. Спокойные такие, делом занятые. Самый маленький — лет семи, белобрысый, тощенький и глазастый. Неуловимо на кого-то похожий. Два других — наверно, из шестого или седьмого класса.

Один — коренастый, с темными веснушками на острых скулах, другой — высокий, почти со взрослого, но узкоплечий и с тонкой шеей, а волосы легкие — от ветра шевелятся.

Лица у них были серьезные и задумчивые. Коренастый мальчик тискал пальцами подбородок, а глазастик встревоженно посматривал то на него, то на высокого.

Максим решил, что можно идти без опаски. Но неловко было пройти, будто мимо пустого места, молча. И... ну, в самом деле, интересно же, что они делают. Максим набрался смелости и спросил:

— Это у вас что?

Они разом на него посмотрели.

Коренастый мальчик оставил в покое подбородок и удивленно сказал:

— Вот это да! Ты с неба упал?

Высокий улыбнулся, и улыбка была у него дружелюбная. А голос неожиданно тонкий:

— И правда с неба. Видишь — летчик.

— Это не летчик, — строго сказал глазастик. — Это из Дворца, из музыкального кружка. Нашему Веньке тоже такую форму дали, только немножко не такую.

— Он где, твой Венька? — сердито спросил коренастый. — Обещал проволоку принести...

— Нету проволоки, — спокойно объяснил глазастик. — Не нашел. А сам скоро придет, только телевизор досмотрит. Там чего-то важное.

— «Важное», — хмуро отозвался коренастый мальчишка. — Обещал, а теперь «нету». Мы этим «нету» будем ружью тягу крепить?

— Он, Олег, ничего не обещал. Сказал, что посмотрит. А раз не нашел, помирать теперь? — солидно возразил мальш.

Потом они, словно разом вспомнив про Максима, опять посмотрели на него.

— Это у вас автомобиль такой? — спросил Максим.

Сооружение из труб и реек держалось на трех колесах:

задние от велосипеда-подростка, переднее — от детского самоката. Больше всего эта штука походила на макет допотопного автомобиля. Только задние колеса стояли слишком далеко друг от друга.

— Ага, автомобиль. Атомный... — отозвался коренастый Олег.

Высокий мальчик улыбнулся:

— Перестань... — И объяснил без всяких шуток и важности: — Это яхта на колесах. С парусом. Вот... — Он показал на длинную жердь, которая лежала у стены. Жердь была обмотана серой материей, и Максим понял, что это парус.

— И поедет? — спросил он.

Высокий мальчик кивнул:

— Побежит. При таком-то ветре...

— Если проволоку найдем, — сердито заметил Олег.

А малыш ткнул пальцем в железную петлю на оси маленького колеса и объяснил, серьезно глядя на Максима:

— Вот здесь надо проволокой привязать, чтобы руль не соскакивал. Это теперь самое главное дело.

Максим пригляделся.

— А если винтом?

— Где его взять? — досадливо сказал высокий. — Как назло, найти не можем. Вадик сегодня все свалки обшарил.

Это заметно было. Голубая футболка на животе, джинсы на коленях и даже щеки были у маленького Вадика в ржавчине.

Что же оставалось делать? Все само собой получалось. Конечно, Максим привык к болтику и полюбил его. Но болтик не может все время жить у него в кулаке. Он должен быть на нужном месте, чтобы пользу приносить. А здесь, у колеса, место было самое подходящее.

Максим вздохнул и раскрыл ладонь.

— Такой подойдет?

Они все трое разом уставились на болтик. И разом за- улыбались.

Даже хмурый Олег. А высокий мальчик сказал:

— Нет, ты в самом деле с неба упал! Ты наш спаситель.

И они, стукаясь лбами, нагнулись у колеса и начали прилаживать болтик. А Максим сел на корточки рядом. Маленький Вадик оглянулся на него и доверительно сообщил:

— Вот Венька обрадуется.

«На кого он похож? — подумал Максим. — Я, наверно, встречал его брата в ансамбле. Интересно, он в каком кружке?» Но спросить постеснялся.

— Мы сегодня по телевизору выступали, — сказал он, и получилось так, что он и про себя, и про Веньку сказал.

— Венька говорил, да мы не смотрели, — откликнулся высокий мальчик. — Замотались и забыли. С утра с этой штукой возимся.

Он распрямылся и с высоты глянул на Максима:

— Ну, спасибо за винт. Мы тебя обязательно покатаем. Тебя как зовут?

— Максим.

Высокий мальчик растерянно заморгал.

— Не может быть... Меня тоже Максим!

Это здорово получилось! Сразу сделалось так, будто они почти друзья.

— Мы тебя обязательно покатаем, — повторил высокий Максим. — Сколько хочешь.

— А когда?

— Как начнем испытывать, сразу позовем, — неожиданно сказал Олег. — Нам еще один человек не лишний будет. А ты парень дельный.

В Максиме поднялась теплая волна благодарности.

— А когда испытывать? — спросил он.

— Завтра, — сказал высокий Максим. — Сегодня тае- лаж поставим, а завтра — отдать якоря... Если ветер не упадет.

— Такой ветер не упадет, — решительно сказал Вадик. И Максим ему поверил.

— Да, а ты где живешь? — спохватился высокий Мак- сим. — Как мы тебя найдем?

— На улице Техников. Дом три, квартира сорок. Вто- рой подъезд.

— Это же рядом, — сказал Олег.

— Разве рядом? — нерешительно откликнулся Мак- сим. — Я не знаю... Я тут недавно живу. Пошел напрямик по улице Гризодубовой, а она пропала.

Ребята засмеялись. Высокий Максим сказал:

— Никуда она не пропала. Сейчас выйдешь за ворота, и она дальше тянется. А через квартал — твоя улица... Зна- чит, дом три, квартира сорок?

— Да, — сказал Максим. — Только не забудьте... Я пойду.

Солнце уже совсем ушло, и Максим вдруг сообразил, что дома, должно быть, беспокоятся.

— Пока, — сказал Олег и протянул руку.

И высокий Максим — тоже.

И маленький Вадик протянул перемазанную ржавчи- ной ладошку.

ОГОНЕК В ТРАВЕ

Что говорят все мамы, когда сын является позже на- значенного срока, помятый, взъерошенный, с боевыми ссадинами? Они говорят одни и те же слова:

— Боже мой! Где тебя носило? На кого ты похож?!

Что должен делать сын? Сокрушенно вздохнуть, опу- стить глаза и всем своим видом показать, что он и сам очень огорчен, что это было совершенно случайно и — главное — самый последний раз. Тогда можно избежать нагоняя или в крайнем случае ослабить его.

Но в Максиме, несмотря на усталость, пела радость победителя. В ответ на мамины слова он неосторожно со- общил:

— Это потому, что день такой был. — И посмотрел на маму радостными глазами.

Мама сухо поинтересовалась, что это был за день и где в течение этого дня Максим околачивался. Не на экскурссии же он был с утра до вечера.

— Почему с утра до вечера? — слегка обиделся Максим. — Сперва передача, потом...

— Максим! — строго сказала мама. А папа крикнул, отложил журнал и странным голосом спросил:

— Ты что же, станешь утверждать, что был на передаче?

— А где же я был? — изумился Максим. — Да вы что, сами разве не видели?

— Ну, знаешь ли... — сказал папа. — Это просто не по-мужски: так изворачиваться. Неужели ты будешь доказывать, что передача была, если ее не было?

Максим по очереди посмотрел на папу и маму. Они не шутили.

— Да вы что! — громко сказал Максим. — Вы просто прозевали передачу, а теперь говорите!

— Не смей грубить! — воскликнула мама. — Это выходит за всякие рамки! Мало того, что все сочиняешь, еще и голос повышать начал!

— Я? Сочиняю? — тихо спросил Максим.

Почему так подло устроен человеческий организм? Когда правда на твоей стороне и говорить надо гордо и спокойно, в горло набиваются колючие крошки, а в глаза начинает щипать и появляются скользкие капли...

— А кто сочиняет? — вкрадчиво спросил папа. — Может быть, мы?

— Вы просто перепутали программу.

— Ничего мы не перепутали. По местной программе были новости и концерт, только не твой, а хора имени Пятницкого. А по Московской — утренняя зарядка и «Человек и закон». Вот и все.

— Значит, телевизор сломался!

Мама неприятно засмеялась:

— Это просто великолепно! Сломался и превратил ваш ансамбль в русский народный хор!

— Телевизор в полном порядке, — сказал папа. Он не поленился встать и торжественно щелкнул клавишей выключателя. — Полюбуйся.

Максим не стал любоваться. Он повернулся и прохромал на кухню.

На кухне вкусно пахло горячим ужином. Но есть уже не хотелось. То, что случилось, погасило прежнюю радость и придавило Максима тройной тяжестью.

Во-первых, не было передачи!

Во-вторых, как он мог ляпнуть глупые слова про сломавшийся телевизор?

В-третьих, почему они не верят? Разве он когда-нибудь обманывал?

Если двойку получал, дневник не прятал; если виноват был, никогда не отпирался. Потому что многого на свете боялся Максим, но мамы с папой не боялся никогда. Конечно, случалось, что ругали его крепко, если было за что, а от мамы один раз даже перепало по затылку — за разбитый фарфоровый чайник (папа тогда сказал шепотом: «Эх ты, а еще педагог»). Но это же минутное дело. Потом все равно пожалеют и простят.

Почему же не верят?

Максим положил на газовую плиту локти, на локти — голову. Рядом стояла теплая кастрюля и ласково грела щеку. Максим сделал несколько крупных глотков и загнал слезы вглубь. Но все равно было горько.

— Может быть, у них просто была репетиция, а им не сказали? — произнес в комнате папа.

— Ах, оставь, пожалуйста! — возразила мама. — Просто у него разыгралась фантазия. В этом возрасте бывает.

— Ничего не разыгралась, — сказал Максим.

— Не смей подслушивать! — откликнулась мама.

— Я не подслушиваю. Вы сами на всю громкость... Если не веришь, позвони Анатолию Федоровичу...

«Репетиция!» Тогда сказали бы, когда настоящий концерт будет. И зачем было камеры включать?

Но почему не было передачи?

«Фантазия...» А может, правда все приснилось? И студия, и песня... И оркестр, и мальчик с тарелками?

Почему он, этот мальчик, все время вспоминается? Тарелки были такие блестящие и так здорово звенели, чтобы еще лучше и сильнее звучал марш...

И марш опять отозвался в Максиме. Громко и уверенно. Максим даже удивился. Голову поднял.

Нет, это не в нем. Это в комнате! Припадая на левую ногу, он заскакал к двери.

На экране телевизора играл оркестр. Тот самый! И мальчик-музыкант вскидывал и плавно разводил в стороны сверкающие тарелки. Его показали крупно, по пояс. Тарелки вспыхивали так, что экран не выдерживал блеска — блики делались черными. А волосы у мальчика весело вставали торчком после каждого удара.

Он смотрел без улыбки, и только в глазах были веселые точки. Он прямо на Максима смотрел! Он словно пришел на выручку Максиму.

— Это же наши! — крикнул Максим. — Это же мы! Вот! Ура!

— То есть... Ах, ну конечно! — воскликнул папа и посмотрел на всех так, будто сделал открытие. — Конечно! Почему вы решили, что будет прямая передача? Как правило, делают запись, а потом показывают!

А марш звенел. Победный марш! И Максим смотрел на экран сияющими глазами.

— Тебя еще не показывали? — встревоженно спросила мама.

— Да нет, нет. Еще не сейчас...

— Максим, — внушительно сказал папа, — мы были не правы. Ты нас извини.

— Ладно, ладно, — торопливо сказал Максим. — Вы смотрите как следует. Тут все интересно.

Он скакнул к дивану и забрался с ногами. К папе. Мама выключила люстру, и при мягком свете торшера экран стал ярче.

Мальчик последний раз взметнул тарелки, и марш отзвучал. Зрители захлопали. Максим на миг увидел себя: как он колотит кулаком с болтиком о раскрытую ладонь. И мама с папой увидели. Мама даже ойкнула.

Но тут появились танцоры...

...Все было, как на концерте. Даже показали, как сбегается на площадку хор «Крылышки». И Максим опять увидел себя! Но сел он неудачно, позади Риты Пенкиной, и, когда пели «Кузнечика», на экране видна была только Максимкина пилотка. Ну ничего... Вышел Алик Тигрицкий. Заложил руки за спину, кивнул пианистке. Запел.

— Какой красивый голос, — сказала мама. — И какой славный здоровый ребенок. Не то что наша щепка.

— Не хватало еще, чтобы он стал такой же круглый, — шепотом возмутился папа.

— Да тише, — жалобно сказал Максим. Алик допел и с достоинством поклонился. А у Максима внутри все замерло. Потому что сейчас, сейчас...

— Песня о первом полете! Солист Максим Рыбкин!

Батюшки, неужели это он? Маленький такой, с перепуганными глазами! Взъерошенный какой-то. Пилотка, правда, на месте, но застежка у жилета сбита набок. И штаны перекошены: одна штанина длиннее другой... Трах! Чуть не сбил Пенкину с сиденья.

— О, гиппопотам... — страдальческим шепотом сказала мама.

Максим сжался. Почему он такой? Зачем хлопает глазами и растерянно оглядывается? И шевелит губами. И что там на студии, дураки, что ли? Для чего во весь экран показывают, как он стиснул кулак с болтиком? Тем более что тут же видно, что другая рука испуганно теревит пальцами краешек штанов и что на обшлаге расстегнулась пуговица... «Да перестань ты стискивать свой болтик, дубина!»

— Не волнуйся, не волнуйся, Максим, — сказал папа. Это он тому Максиму, который на экране. Но теперь-то чего там «не волнуйся»!

Поздно уже...

Показали опять лицо. Зачем он хмурит брови и смотрит прямо в камеру, балда?

Боже мой, это ведь жуткий и окончательный провал! Неужели кто-нибудь из знакомых ребят смотрит? Сколько смеха будет в понедельник! И как злорадствует Транзя!

Запели... Чего уж теперь петь-то! Издевательство одно. Хорошо только, что перестали его показывать, показывают ребят...

Над травами, которые
Качает ветер ласковый...

Ой, как это сделали? На экране — поле с ромашками, трава волнуется. Маленький самолет стоит в траве. Идет сквозь траву к самолету мальчишка. Вроде Максима. Это, наверно, из какого-то кино.

Через кинокадры с ромашками во весь экран медленно проступило Максимкино лицо. Он уже не шевелил бровями и губами. Он напряженно смотрел с экрана и ждал. Потом запел.

Он пел и просил о полете. Но не жалобно, а скорее с какой-то сердитой настойчивостью. Это что же, у него такой голос? Совершенно незнакомый. Не такой высокий и чистый, как у Алика, но какой-то звенящий. Звенело отчаянное требование чуда!

Это что же, его глаза? Во весь экран. Зачем? И прямо в этих глазах — опять аэродром, и бегущий мальчик, и сверкающий круг винта... И опять Максим — во весь рост.

...Возьмите!
Я очень легкий!

Папа тихо кашлянул. Вдруг показали какого-то кудрявого мальчишку среди зрителей. Он сидел, подавшись

вперед и прикусив губу. Конечно, переживал. Наверно, ему неловко было за Максима.

Но тогда... Тогда почему так струится трава под взлетающим самолетом? И так искрится солнце в мерцающем круге пропеллера? И хор отозвался так радостно:

Машина рванулась — все выше!
Выше!
Выше...
Выше...

И затихла песня. И скрылся у солнца самолет. И Максим притих, затаился, только сердце — как пулемет...

— Малыш ты мой, — тихонько сказал папа. — Вот какой ты у нас...

А мама ласково притянула его за уши и чмокнула в нос. Это что? Значит, им за него не стыдно? Значит... не так уж и плохо?

И в этот миг из телевизора вырвался шумный плеск. Это были аплодисменты. Максим вздрогнул.

Конечно! Это же было! Уже было!

Там, на студии, была победа, и он стоял тогда радостный и оглушенный — такой же, как теперь, на экране. Как он мог забыть? Испугался начала и забыл про конец! А конец — вот он! Хлопают свои ребята, хлопают незнакомые мальчишки и девчонки. И мальчик-музыкант! Максим не видел его со сцены, а сейчас он здесь. Хлопает так, что волосы опять торчком встают от ударов воздуха. Как от тарелок!

Неужели это он, Максим, дал ему радость? Ему и другим...

А вот Анатолий Федорович вышел. И женщина-диктор.

— Тебя зовут Максим? Поздравляю, Максим, ты хорошо пел. Верно, ребята?

— ...Ты, наверно, не первый раз выступаешь на концерт?

— ...А кем ты хочешь быть, Максим? Может быть, летчиком?

Ох, почему у него такой глупый вид? Ну, не глупый, а все-таки растерянный...

— А что у тебя в кулаке?

Ой, ну для чего это?

— Это так, болтик...

— Интересно. А зачем он тебе?

— Для крепкости...

И ладонь — во всю ширину экрана! С болтиком!

И все хлопают, никто не смеется. Кроме мамы. Мама повалила Максима, стиснула ему плечи и сквозь смех сказала:

— Весь на виду, как есть! Ох, Максим, Максим! Даже здесь показал, какой ты барахольщик!

Но она это совсем необидно сказала. И Максим засмеялся и заболтал в воздухе ногами, потому что все, оказывается, было прекрасно.

Мама ухватила его за ногу.

— Стой, голубчик. Рассказывай наконец, почему бинт, почему глина на штанах? И все остальное.

— Ой, только поем сначала, — простонал Максим. — А то помру.

— Тогда марш мыть руки.

— У-у...

— Что значит «у»?

— Мам, — весело сказал Максим, — купи слона.

— Какого слона?.. Что еще за новости? Одному пленку для магнитофона, другому слона. Что такое слон?

— Все говорят: «Что такое слон?» — печально откликнулся Максим. — А ты — возьми и купи слона

— Я серьезно спрашиваю...

— Все серьезно спрашивают, — перебил Максим. —

А ты не спрашивай. Просто возьми и купи слона.

Мама посмотрела на папу. Папа смотрел на Максима и покусывал губы.

— Я не понимаю... — начала мама.

— Все говорят «не понимаю». А ты просто купи слона.

Мама вдруг заулыбалась:

— Все говорят «купи слона»! И никто не хочет мыть руки. Марш в ванную, а то я тебя тапочкой!

Максим захохотал и скрылся.

Потом он сидел на кухне и ел. Он ел за обед и за ужин. Суп, сосиски, манную кашу с джемом. Пил чай с ирисками «Кис-кис». И рассказывал. Про концерт. Про револьвер у вахтерши. Про уют, третий этаж, форточку и Марину.

— Взять бы да всыпать как следует, — жалобно сказала мама. — А если бы ты сломал шею?

— А если бы дом сторел?

— Человек дороже дома!

— Тут вопрос чести и самолюбия, — сказал папа.

— Тут вопрос глупости, — сказала мама.

— Ничего же не случилось, — сказал Максим. — Дело прошлое.

Мама выразила надежду, что в будущем ее сын не станет так бестолково рисковать головой.

Максим на всякий случай сказал «ладно» и поведал про Ивана Савельевича, потом — мимоходом — про уколы и, наконец, как появилась в садике Марина и как отправил ее обратно Иван Савельевич.

— Ну и ну, — вздохнула мама. — Денек был у тебя бурный... Перестань жевать конфеты, лопнешь... А ногу надо перевязать. Болит?

— Не-а...

— А откуда все-таки глина?

— Это я в парк шел по берегу и увяз у ручья. Думал, что совсем перемажусь, да одна девчонка помогла...

— Не девчонка, а девочка. Надеюсь, ты ее поблагодарил?

— Ага. Мы потом играли. У нее на берегу есть тайна...

— А зачем тебя понесло на берег, это не тайна?

Максим не успел ответить. Пришел Андрей.

— Эх ты, — сказала ему мама, — прогулял. А Максима все-таки показывали. Совсем недавно.

— Не прогулял. У Галки Жильцовой видел, — отозвался Андрей. — Не дитя — народный артист. Имей в виду, Макс, Галка в тебя влюбилась.

— Больно надо...

— А еще Максим рассказывал про свои подвиги, — заметил папа.

— Как Транзистора вырубил, уже рассказал?

(Откуда он все знает?!)

— Не транзистор, а утюг, — вмешалась мама. — И не вырубил, а выключил. Хотя бы дома не бросайся своими словечками.

— Именно Транзистора, — спокойно разъяснил Андрей. — Мелкую шпану младшего переходного возраста. Именно вырубил. Точнее — расквасил нос и поставил фингал.

— Максим, ты дрался? — широко раскрывая глаза, спросила мама.

— А чего! Он сам сколько раз первый приставал! Если полезет, еще дам...

— Только не рыпайся первый, — посоветовал Андрей. — А то бывает: силу почуял и пошел на всех отыгрываться. Транзя с этого начинал.

— Я не Транзя, — небрежно сказал Максим.

Потом он пошел в их с Андреем комнату, чтобы посмотреть новую «Пионерскую правду». Но он сделал ошибку. Надо было сначала включить свет, а потом плюхаться на тахту. А он сразу плюхнулся, и вставать стало лень. За окнами ровно шумел теплый ветер. В комнате качались, как туман у крыльев самолета, сумерки. Какое уж тут чтение! И Максим стал лежать просто так.

...Когда вглядываешься в сумерки, в них можно увидеть разные картины. Великанов, старинные города, море с парусами... Максим увидел джунгли. И осторожно пошел среди синих пальмовых листьев, лиан и высокой травы. И вышел на поляну. Там стоял громадный серый слон.

Максим попятился. Слон его увидел. Встал на задние лапы, выпятил живот и не спеша побежал к Максиму. Максим — от него.

— Стой, стой! — затрубил слон голосом Ивана Савельевича. — Ты куда? Не бойся.

Максим вспомнил, что он теперь не трус, и остановился.

Слон подошел вплотную, и над Максимом нависло его брюхо — круглое и необъятное, как дирижабль, на котором в молодости летал Иван Савельевич.

— Ты куда? — повторил слон. — Какой хитрый! Купил, а теперь убегаешь.

— Разве я вас купил? — осторожно спросил Максим.

— А как же! Ты же сам маму просил, вот она и разрешила.

— А куда мне вас девать?

— Все говорят «куда девать», — печально вздохнул слон. — Раз купил — думай.

— А чем вас кормить?

— Все говорят «чем кормить»... Ирисками, конечно!

— Ладно, — сказал Максим. — Во дворе за гаражами как-нибудь устрою...

— Нет уж... — опять вздохнул слон. — Лучше я здесь буду. А ты в гости приходи. Ириски не забудь...

Максим обрадовался и хотел сказать, что не забудет, но раздался резкий звонок...

Максим открыл глаза. Слон пропал, и опять была синяя от сумерек комната.

Снова зазвонили. Мама, видимо, открыла. Максим улышал:

— Вы к кому, мальчики?

— Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Максим здесь живет?

— Да... Но уже поздно. Кажется, он приткнулся где-то и спит.

— Не сплю! — сказал Максим и выскочил на свет. Потому что он узнал голоса. В дверях стояли Олег, высокий Максим и Вадик.

— Мы за тобой, — сказал высокий Максим. — У нас все готово.

Мама охнула:

— Что у вас готово на ночь глядя?

— Одна интересная штука, — торопливо сказал Максим. — Надо испытать. Да, ребята? Главное, что ветер...

Мама, видимо, приготовилась твердо заявить, что никуда Максим не пойдет, и... встретилась с его взглядом. И наверно, поняла, что сегодня Максим стал гораздо взрослее, чем вчера. Она оглянулась на папу, вздохнула и снова посмотрела на ребят.

И тогда маленький большеглазый Вадик сказал:

— Да вы не волнуйтесь, пожалуйста. Мы его проводим назад.

Мама тихонько засмеялась и махнула рукой:

— Только не больше чем на полчаса.

Над потемневшей травой в синем вечернем воздухе трепетало треугольное крыло — распушенный по ветру главный парус. Он показался Максиму живым.

— Садись, — сказал Олег. — Держись за трос. А как услышишь «отдать тормоза» — дергай эту штуку. — И он положил Максимкину ладонь на деревянный рычаг.

Рычаг был гладкий и теплый.

Максим устроился, как на скамейке, на узкой доске позади левого колеса. Правой рукой ухватился за проволоку — она тянулась к доске от верхушки мачты. Там, над мачтой, над верхним дрожащим углом паруса, переливалась белая звезда.словно кто-то высоко-высоко подвесил граненую елочную игрушку и ее раскрутило ветром.

А больше звезд не было, вечер еще не потемнел. На западе догорал желтоватый чистый закат.

Однако дальние дома и заборы уже смешались в темную массу. И теперь неясно было, большая здесь площадка или маленькая и далек ли будет путь. И от этой неясности да еще от ожидания появилась легкая тревога.

В зарослях слева от футбольных ворот помигал и за-

жегся яркий фонарик (и Максим вдруг вспомнил Таню и «Гнездо ласточки»).

— Сейчас! — крикнул маленький Вадик. Он сел впереди, а высокий Максим — сбоку, у правого колеса.

Олег встал за яхтой.

— На стаксель-шкотах... — сказал он негромко.

— Есть на стаксель-шкотах! — очень звонко откликнулся Вадик.

И маленький треугольный парус — впереди главного — натянулся и мелко задрожал.

— На гика-шкоте...

— Есть на гика-шкоте! — сказал высокий Максим.

Большой парус перестал полоскать и упруго выгнулся под напором ветра. Максим через проволоку ощутил его тугую вибрацию. Яхту качнуло. Максим глотнул от волнения.

— Отдать тормоза!

— Есть! — крикнул Максим и поднял рычаг. Что-то щелкнуло под колесом. Олег подтолкнул яхту и прыгнул на заднее сиденье. Они двинулись. Сначала тихо. Мягко трянуло на кочках. Еще, еще... Скорость быстро нарастала, и яхта зазвенела натянутыми тросами. Ломкие стебли захлестали Максима по ногам. Потом он почувствовал, что его плавно приподняло. Левое колесо оторвалось от земли! Максим тихо крикнул: он решил, что сейчас они опрокинутся. Но яхта легко бежала с креном на правый борт, а левое колесо, замедля вращение, летело над верхушками травы.

И стало совсем не страшно. Весело стало! Чтобы уберечь ноги, Максим подобрал их повыше, а потом, словно подчиняясь радостной команде, вскочил на доску!

Он вцепился в тонкую оттяжку мачты и летел над травмами — прямо туда, где светил фонарик. Теплый ветер бил его в левое плечо и рвал у локтей широкие рукава рубашки.

Это был полет! Это была песня!

И кажется, что летели они долго-долго...

Фонарик мелькнул слева.

— Садись! — крикнул Олег. — Поворот!

Максим присел на корточки. Он едва удержался — так его кинуло к мачте. Гик с пришнурованным нижним краем паруса пронесся над головой. Паруса хлопнули и натянулись опять. Левое колесо запрыгало по земле. Яхта побежала мимо футбольных ворот. Впереди опять горел фонарик.

— Тормоз! — крикнул Олег. — Жми!

Максим локтем навалился на рукоять.

Яхта остановилась так резко, что мачта качнулась вперед, а Максим не удержался и мимо колеса кубарем скатился в траву. Его тут же подхватили и усадили на земле.

— Целый? Живой?

— Как огурчик! — весело сказал Максим.

— В следующий раз так не жми. Надо плавно...

Это сказал не высокий Максим и не Олег. И не Вадик. Это подошел мальчик с фонариком. Фонарик он небрежно вертел в руке, и луч упал на его лицо. И Максим быстро встал. Слегка болело от удара забинтованное колено. Только это была чепуха. Он все равно встал и радостно засмеялся. Он сразу понял, что это Венька. Потому что щуплый большеглазый Вадик был непонятным образом удивительно похож на брата — круглолицего, с мягким светлым чубчиком, который так весело вставал от ударов медных тарелок.

— Это ты! — сказал Максим.

— А это ты! — весело отозвался Венька. — Я сразу понял, когда сказали, что Максим...

Что еще говорить? Все было так хорошо: и ребята, и ветер, и трава, и яркий фонарик. И переливчатая звезда над мачтой, и трепещущий парус. Максим сказал:

— А я купил слона. Его кормят ирисками...

И Венька не ответил: «Все говорят...»

Он обрадовался. Он сказал:

— Вот молодец!

СОДЕРЖАНИЕ

Та сторона, где ветер. <i>Повесть</i>	5
Оруженосец Кашка. <i>Повесть</i>	257
Тень Каравеллы. <i>Повесть</i>	383
Болтик. <i>Повесть</i>	565